

МИЦКЕВИЧ



*Мезислав
Яструн*

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Annotation

Книга о великом польском писателе Адаме Мицкевиче

- [Яструн Мечислав](#)
 - [КНИГА](#)
 - [ГОД 1812-й](#)
 - [СЧАСТЛИВЫЙ КРАЙ](#)
 - [ФЕРНЕЙСКОЕ ПОВЕТРИЕ](#)
 - [«ФИЛАРЕТОВ СКАЗ»](#)
 - [РОМАНТИКА](#)
 - [РАЗБОЙНИЧЬИ РОМАНЫ](#)
 - [ПРОЦЕСС](#)
 - [СЕВЕРНАЯ ПАЛЬМИРА](#)
 - [ПАША](#)
 - [В МОСКВЕ И ПЕТЕРБУРГЕ](#)
 - [ПУТЕШЕСТВЕННИК](#)
 - [ВЕЙМАР, ANNO 1829](#)
 - [НА АЛЬПАХ В СПЛЮГЕНЕ](#)
 - [В РИМЕ](#)
 - [ВОССТАНИЕ](#)
 - [КНИГА](#)
 - [СКИТАЛЬЧЕСТВО](#)
 - [ВРЕМЯ СТРАДАНИЯ](#)
 - [ПИР У ЯНУШКЕВИЧА](#)
 - [ПРОРОК](#)
 - [ЦАРЕВНА ИЗРАИЛЬСКАЯ](#)
 - [ЛЕГИОН](#)
 - [Я СПЕШУ В БАТИНЬОЛЬ!](#)
 - [«Трибуна Народов»](#)
 - [CARITAS\[239\]](#)
 - [Библиотекарь Арсенала](#)
 - [В Краю Воспоминания](#)
 - [Последний Путь](#)
 - [Даты жизни и творчества Мицкевича](#)
 - [Краткая библиография](#)
 - [Иллюстрации](#)

- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)

- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)

- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)
- [97](#)
- [98](#)
- [99](#)
- [100](#)
- [101](#)
- [102](#)
- [103](#)
- [104](#)
- [105](#)
- [106](#)
- [107](#)
- [108](#)
- [109](#)
- [110](#)
- [111](#)
- [112](#)
- [113](#)
- [114](#)
- [115](#)
- [116](#)

- [117](#)
- [118](#)
- [119](#)
- [120](#)
- [121](#)
- [122](#)
- [123](#)
- [124](#)
- [125](#)
- [126](#)
- [127](#)
- [128](#)
- [129](#)
- [130](#)
- [131](#)
- [132](#)
- [133](#)
- [134](#)
- [135](#)
- [136](#)
- [137](#)
- [138](#)
- [139](#)
- [140](#)
- [141](#)
- [142](#)
- [143](#)
- [144](#)
- [145](#)
- [146](#)
- [147](#)
- [148](#)
- [149](#)
- [150](#)
- [151](#)
- [152](#)
- [153](#)
- [154](#)
- [155](#)

- [156](#)
- [157](#)
- [158](#)
- [159](#)
- [160](#)
- [161](#)
- [162](#)
- [163](#)
- [164](#)
- [165](#)
- [166](#)
- [167](#)
- [168](#)
- [169](#)
- [170](#)
- [171](#)
- [172](#)
- [173](#)
- [174](#)
- [175](#)
- [176](#)
- [177](#)
- [178](#)
- [179](#)
- [180](#)
- [181](#)
- [182](#)
- [183](#)
- [184](#)
- [185](#)
- [186](#)
- [187](#)
- [188](#)
- [189](#)
- [190](#)
- [191](#)
- [192](#)
- [193](#)
- [194](#)

- [195](#)
- [196](#)
- [197](#)
- [198](#)
- [199](#)
- [200](#)
- [201](#)
- [202](#)
- [203](#)
- [204](#)
- [205](#)
- [206](#)
- [207](#)
- [208](#)
- [209](#)
- [210](#)
- [211](#)
- [212](#)
- [213](#)
- [214](#)
- [215](#)
- [216](#)
- [217](#)
- [218](#)
- [219](#)
- [220](#)
- [221](#)
- [222](#)
- [223](#)
- [224](#)
- [225](#)
- [226](#)
- [227](#)
- [228](#)
- [229](#)
- [230](#)
- [231](#)
- [232](#)
- [233](#)

- [234](#)
 - [235](#)
 - [236](#)
 - [237](#)
 - [238](#)
 - [239](#)
 - [240](#)
 - [241](#)
 - [242](#)
 - [243](#)
 - [244](#)
 - [245](#)
 - [246](#)
 - [247](#)
 - [248](#)
 - [249](#)
 - [250](#)
 - [251](#)
 - [252](#)
 - [253](#)
 - [254](#)
 - [255](#)
 - [256](#)
 - [257](#)
 - [258](#)
 - [259](#)
 - [260](#)
 - [261](#)
 - [262](#)
 - [263](#)
 - [264](#)
-

Яструн Мечислав
МИЦКЕВИЧ

**КНИГА
ПЕРВАЯ**



ГОД 1812-й

Адам Мицкевич увидел свет в сочельник на хуторе Заосье, близ Новогрудка, на землях Великого княжества Литовского^[1] в самом что ни на есть медвежьем углу Европы. Год его рождения — 1798-й — был весьма беспокойным годом, ибо за ним потянулась долгая череда бурных лет, столь же чреватых последствиями для нашего старого континента, как и те годы, которые только что миновали.

Соседи и друзья Миколая Мицкевича и Барбары Маевской, новогрудского адвоката и его жены, предсказывали маленькому Адаму беспокойное будущее, ибо он родился в год, смерти последнего польского короля^[2]. К тому же стоило только поменять местами две последние цифры года его рождения, чтобы получился 1789 год — дата ужасного парижского переворота. Восстание Тадеуша Костюшки^[3] донесло отголоски этого переворота до здешних мест, до берегов Немана. Имя Якуба Ясинского^[4], польского якобинца, который пытался поднять восстание в Вильно, обещая свободу крестьянам и дворне, — имя Якуба Ясинского не пользовалось особыми симпатиями в этих краях, где шляхта более всего на свете любила покой и была глубоко погружена в хозяйственные заботы. Крупные землевладельцы Великого княжества Литовского, да и массы мелкой шляхты не очень-то стремились к насильственным переменам, напротив, они страшились их, точно так как градобития, засухи и мора.

Миколай Мицкевич, недавний участник Костюшковского восстания, недавний член Комиссии Гражданского Правопорядка, теперь не слишком ориентировался в изменениях, потрясавших устои мира. Правда, он почитывал газеты и книжки, но ни он сам, ни его менее начитанные соседи не сумели бы истолковать событий, современниками которых им довелось стать, ибо для этих исторических событий не нашлось бы слов в их повседневном лексиконе, в языке понятий, которыми они оперировали в праздники и в будни.

Без особого волнения воспринял Миколай Мицкевич спустя год после рождения своего сына Адама изрядно, впрочем, запоздавшую, весть о государственном перевороте во Франции, где 18 брюмера, то есть 9 ноября 1799 года, Наполеон Бонапарт, первый консул республики, пришел к власти. В нем нашла своего избранника война, и война эта должна была вскоре превратиться в войну наций. Близилась новая эпоха, грозная и

тяжкая не для одной только Франции. Под новый год нового столетия Фридрих Шиллер писал в оде к другу:

Где предел для мира уготован?
Где найдет свободу человек?
Старый век грозой ознаменован,
И в крови родился новый век.

Сокрушались старых форм основы,
Связь племен разорвалась: бог Нил,
Старый Рейн и океан суровый —
Кто из них войне преградой был?

Два народа, молнии бросая
И трезубцем двигая, шумят
И, дележ всемирный совершая,
Над свободой страшный суд творят.

Злато им, как дань, несут народы,
И, в слепой гордыне буйных сил,
Франк свой меч, как Бренн в былые годы,
На весы закона положил.

Как полип тысячерукий, бритты
Цепкий флот раскинули кругом
И владенья вольной Амфитриты
Запереть мечтают, как свой дом^[5].

Новогрудский адвокат не читал этих стихов поэта-ясновидца. Много лет спустя их прочтет его сын Адам. Для него дата провозглашения Наполеона императором станет особо знаменательной, ибо спустя сорок семь лет под давлением общественного класса, к которому он принадлежал, а также в знак уважения к памяти великого императора Адам Мицкевич с доверием и надеждой встретит весть о перевороте, совершенном племянником Наполеона — Луи Бонапартом.

Новогрудская земля, земля долин и холмов, дремучих лесов и густых хлебов, казалась отрезанной от всего мира, казалась безнадежным захолустьем, где обычаи дней минувших законсервировались на веки

вечные.

Окрестная шляхта, слабо ориентирующаяся в политических делах, ревностно занятая охотой и сутяжничеством, жила под скипетром императора всероссийского прежней жизнью, такую же, как и во времена Речи Посполитой, — жизнью, которая с каждым годом становилась все большим и большим анахронизмом. Крестьяне отрабатывали панщину, ютились в курных избенках, понурые и согбенные неимоверным бременем, к которому они почти привыкли, точь-в-точь как узники привыкают к тюрьме своей.

Вильно, старый город древних литовских князей, был уже как бы собственной тенью. В полуразрушенных башнях и стенах замка витало эхо событий настолько отдаленных и настолько преобразившихся в течение столетий, что уже невозможно было расслышать в нем истинный отзвук деяний, от которых остался лишь тревожный крик ночной птицы.

На горе Миндовга кресты пронзали небо, стародавние курганы таили в своих недрах ржавое оружие да рыцарские кости. Полуобрушившиеся валы хранили память о татарских набегах; народная молва плутала в тех давних временах, путая разбойников немцев с язычниками пруссами, рассказывала о жестоких и кровавых нашествиях, о которых в народе осталась лишь смутная память, память сонная и неверная. Были и более свежие воспоминания — о шумливых сеймиках^[6] и громогласных сеймах, на которых не однажды приходили к кормилу власти партии Радзивиллов, Несёловских, Володковичей, Рейтанов^[7].

До 1806 года семейство Мицкевичей жило на два дома: на хуторе и в городе. В 1801 году родился Александр, спустя три года — Ежи, еще год спустя — Антось, который умер всего пяти лет от роду. А Миколая Мицкевича, отца их, все более и более затягивали судебные дела, ради разбора которых ему приходилось по целым неделям пропадать в Новогрудке. Пришлось расстаться с хутором и перебраться на постоянное жительство в город. Адам и брат его Францишек, старше его двумя годами, стали посещать там школу отцов-доминиканцев. Адам воспитывался в захолустье, в отсталой литовской провинции, но он впитывал и познавал тот мир, который окружал его. В этих городишках еще прозябала старинная простонародная традиция. Адам узнавал и запоминал сказания, гнездившиеся на этом клочке земли. Прислуга, которая впоследствии с большим, чем шляхетская братия, пониманием восприняла его первые народные творения, питала фантазию мальчика обрывками старинных преданий и песен. Старый слуга пана Миколая, прозванный Улиссом, ибо

он был хитроумен и многоречив, рассказывал детям В темной пекарне прекрасные и жуткие сказки. В этой пекарне, фантастически озаряемой трепещущим пламенем, когда из черной печи длинными деревянными лопатами извлекались благоуханные караваи, рассказы хитроумного Улисса оживали и, казалось, вместе с тенями металась по потолку и стенам. Сказки старика как будто вылезали из словесной оболочки и живые вставали перед глазами детей.

Служанка Гонсевская, когда вечером сходились девчата на посиделки, как в давние рыцарские времена, напевала разные тоскливые песенки. Девчата вторили ей сильными юными голосами. В родительском доме жили прирученные животные, там были волчонок и лис, а позднее также и ворон. Хозяин дома любил животных.

Но пора сказок, зверушек и птиц кончилась — пришла пора военных забав. В детстве все шло обычным порядком, в нем не было ничего сверхъестественного. Точно так же воспитывались и все иные сверстники сыновей пана Миколая Мицкевича, новогрудского адвоката, также происходившие из не очень-то родовой шляхты; время шло, и шляхта эта постепенно беднела и медленно, но верно деклассировалась.

Адам не чувствовал себя обособленным от здешнего простого люда. С любопытством глядел он на белорусских крестьян, приехавших из отдаленных деревень, восседая на снопах соломы; глядел на литовских татар и евреев. Потом, бывая в разных уголках Литвы, он внимательно присматривался к обычаям ее обитателей. С теплым сердцем вспоминал он на склоне лет эти края своей молодости. Он говорил, что в сказках и песнях белорусов затаена вся прелесть их земли. Говорил о языке литовского статута^[8] как о «языке наиболее гармоничном и наименее искаженном из всех славянских диалектов», с любовью вспоминал своих земляков, утверждая, что «нет народа чище, чем наши колтунястые белорусы».

В раннем детстве он рассматривал каменные топоры позабытых и поросших быльем времен и дивился коренному зубу допотопного зверя, который почтительно именовали «зубом дракона».

Иными интересами жил младший брат Адама — Александр. Охотнее всего он засиживался на кухне или в людской избе, прислушиваясь к рассказам девчат, которые так любила пани Барбара, жившая бок о бок со служанками, во всем доверяющая им, мало заботясь о том, что сельские истории и сплетни, передаваемые девчатами, не очень-то подходят для слуха малолетнего Олесья, который тут без всяческих сантиментов ревностно восполнял пробелы своего образования.

Александр Мицкевич, в просторечье — Олесь, рассказывал позднее

Адаму, что повивальная бабка, по фамилии Молодецкая, положила новорожденного Адама на книгу и на книге этой ножиком перерезала ему пуповину. Олесь показывал Адаму в отцовской библиотеке эту таинственную книгу. Она была переплетена в черную кожу и называлась «Судебный процесс». Может, так оно и было, а может, иначе — никто ни тогда, ни потом не дознался правды.

— Вот, знаешь, — говаривал таинственно Олесь Адаму, — нас всех принимала Давидкова, еврейка, которая иногда к нам заходит, на кухне сидит, маменька ее любит; и вот эта Давидкова считает себя, подумать только, нашей бабкой; это потому, что она была при нашем рождении, это значит, когда мы рождались — я, Францишек, Юрко и бедняжка Антось. А вот твоей бабкой была Молодецкая. Понял теперь?

Адам делал вид, что понимает, но он нисколько не интересовался этими туманными материями, его нисколько не привлекали все эти домашние сплетни, которые зарождались среди прислуги и в лице Олесь обретали чрезвычайно жадного и заинтригованного слушателя.

И, однако, под отчим кровом из сплетен и простонародных небылиц начала мало-помалу зарождаться легенда. Позднее, когда Адама уже не было в живых, в тех краях рассказывали, что в сочельник, в ночь его рождения, творились небывалые дива, что в ту ночь заговорила скотина, лежавшая на теплых подстилках в занесенных снегом хлевах, и когда одни утверждали, что ведь всегда в каждый сочельник скотина говорит человеческим голосом, другие продолжали упорствовать и уверять, что нет, что для этого необходим исключительный случай, особенная такая оказия, вот, например, как эта, когда являлся на свет величайший в этих краях человек.

Может быть, дети, рожденные в позднейшие годы, были склонны видеть вещи невиданные, внимая этим повестям, рассказываемым с благоговением старшими; может быть, эти дети шли в Новогрудок или в Заосье, шли по засыпанному снегом двору к хлеву, в котором лениво пожевывали сено лежащие на земле животные, и удивлялись, не слыша из их уст человеческой речи; и уж, наверно, пробивающееся сквозь щели стойла сияние восковой свечи казалось этим детям неким сверхъестественным сиянием. Но все эти басни родились или могли родиться уже в гораздо более поздние времена. А сам он, Адам, в определенном периоде своей жизни придавал ему только известное значение, маловажному, вообще-то говоря, факту, а именно тому, что он явился на свет в сочельник и что из двух имен — Адам, Берnard, данных ему при крещении, первое было согласно легенде именем первого на земле

человека.

В те времена еще никто не видел необычайного нимба над головой Адама. Дети росли, вот только младшенький, Антось, отдал богу душу, а Францишек начал стыдиться своего горба, который только теперь стал заметен, да и увеличивался с каждым годом. Но именно наперекор немилосердной природе этот брат-горбун при каждом удобном и неудобном случае проявлял отчаянную отвагу и энергию. Именно он во время новогрудского пожара спас жизнь отцу. А между тем здоровье Миколая Мицкевича стало все больше и больше сдавать. К его недугу — семейное предание говорит, что у него было кровохарканье, — прибавились заботы, которые, как воронье, кружились над прикованным к постели. Больной, зарабатывающий все меньше и меньше, он вынужден был теперь расплачиваться по старым долгам, еще костюшковских времен, когда он, будучи простым солдатом, производил реквизицию провизии по дворам для пана Якуба Ясинского. А к тому же он задолжал своим друзьям Чечетам немалую сумму. Бывший костюшковский повстанец и заговорщик, у которого не однажды бывали с таинственными поручениями эмиссары из герцогства Варшавского^[9], Миколай Мицкевич медленно догорал в возрасте, в котором в более счастливых краях люди только начинают жить полной жизнью. Он не успевал улаживать дела своих клиентов, без него происходили судебные сессии, кондесценции и каденции. И хотя все были готовы к этому с давних пор, кончина Миколая Мицкевича произвела немалое впечатление в Новогрудке, где все его знали, а очень многие уважали и любили.

Это произошло 16 марта 1812 года. В воздухе повеяло весной. Над горой Миндовга предвечерние облака шли так низко, что едва не касались кладбищенских крестов. Еще лишенные листьев березы, которые росли возле коллегии отцов-доминиканцев, были как будто сотканы из света.

Адам только мельком видел мертвое, словно вылитое из воска лицо отца, который уже перестал быть его отцом. Перестал, потому что с этого мига он останется для сына только в метрике, в биографических заметках, там и только там, — если дело идет о стороне официальной, о гражданской стороне дела. Но образ его останется также — и это важнее всего — в памяти сына; и только гораздо более поздние годы затмят и этот его земной образ, единственный и последний.

Горели погребальные свечи. Пани Барбара закрыла лицо руками. Два дня подряд она молчала, не вымолвила ни слова. Детям казалось, что она лишилась языка.

Адама в ту минуту занимала мысль, которой он ни с кем не хотел

поделиться: в день смерти отца разбилось зеркало — не было ли это как-то связано с прискорбным событием? Ночью, когда все спали, он подходил к разбитому зеркалу. Он не снял его, не желая ничего менять в убранстве комнат, которые помнили присутствие навсегда отошедшего. И Адам осторожно ощупывал длинную и острую, режущую пальцы трещину. Зеркало теперь было темное, в нем отражался только сумрак, стоявший в комнате.

*

И вот в эту заброшенную, богом забытую литовскую глушь в некоем году от рождества Христова в году, полном бряцания оружия и глухого эха пушечной пальбы, вкатилась вдруг — так по крайнее мере казалось тогдашним литвинам — Европа, которая вместе с армией императора продвигалась форсированным маршем на восток.

Наполеоновские войска приближались к Литве. В первой половине июня французы перешли Неман под Ковно. Император Александр оставил Вильно и поспешно удалился в глубь России. 17 июня французы вошли в город. Русские войска не оказали им сопротивления. 28 июня, в двенадцатом часу, император Наполеон въехал в Вильно. Он тотчас же образовал временную правительственную комиссию. Акт о возвращении Литвы в лоно Польши был оглашен одновременно с утверждением нового городского самоуправления.

Тем временем брат Наполеона, король вестфальский Жером Бонапарт, подошел к Новогрудку. Когда последние отряды русских войск покинули город, мародеры начали разбивать и грабить лавки.

Вступление французских войск и польских улан произошло внезапно. В старые улочки Новогрудка влетело галопом с полтора десятка кавалеристов на взмыленных конях. Они были покрыты пылью, в расстегнутых мундирах. Вскоре Адам увидел, как на рыночную площадь въехал целый кавалерийский отряд в ярких мундирах, в касках под чехлами. Солдаты быстро спешили, иные остались при конях, с морд которых свисали клочья жемчужной пены; кто пустился в город на поиски квартир, а кто колотил прикладами или эфесами сабель в двери еще запертых лавок.

Наполеоновская армия заполнила Новогрудок и окрестные села. Местное население сперва приветствовало пришельцев, как своих, ибо и

впрямь в этом войске было великое множество поляков, также и из здешних мест, с Литвы. Я сказал бы, — и, насколько мне известно, так именно и говаривали в семействах нотариусов, судей и бакалавров новогрудских, — что это римские легионы явились в литовские дебри. И не один из юношей в Новогрудке, взирая на наполеоновских орлов и оружие и слыша звуки французской речи, повторял в памяти латинскую оду Каэтана Козьмяна^[10], сложенную поэтом в честь великого императора. Позднее, когда переменчивая Фортуна изменила Бонапарту, поэт этот не сохранил ему верности и сочинил оду, в которой всячески поносил побежденного. Но пока победителей торжественно встречали во всех городах, городках и местечках княжества Литовского. А победители дивились нищете и убожеству этого края и тем невероятным контрастам, которых не было уже в их отечестве, во всяком случае, в столь ярких проявлениях. Они прошли через Германию, еще недавно кичливую, а теперь сокрушенную и услужливую до подобострастия; прошли через мещанскую Германию, чистенькую, опрятную, застроенную скаречно и целесообразно. Там они не видели нужды столь разительной, как в этих краях, которые были дальней окраиной былой Речи Посполитой. Они видели хозяйства белорусских и литовских крестьян, глинобитные курные халупы, в которых люди спали бок о бок с животными с прямо-таки евангельской простотой. Крестьянин, запуганный, с непокрытой головой, жестом молитвенного поклона или движением сеятеля касаясь руками земли, склонялся к ногам императорских солдат, словно прося у них пощады. Французы не понимали этих поклонов, не знали, что этими жестами немой покорности здешние мужики пытались ублажить своих феодальных господ, так же как и царских чиновников — крапивное семя самого низкого пошиба, опричников Российской империи, лихоимцев и взяточников,

На этой народной нужде, на барщинном труде мужика вырастали шляхетские усадьбы и усадебки, деревянные, правда, но построенные со вкусом; усадьбы с въездными воротами, белеющие под сенью лип, дубов или тополей. В этих усадьбах и усадебках обитали люди добропорядочные, люди весьма неравнодушные к своим дворянским гербам, ревниво хранящие в резных сундуках и скринях вместе с дворянскими грамотами стародавние праздничные кунтуши и жупаны. Существование «крепостных душ» было для них чем-то настолько само собой разумеющимся, настолько естественным и натуральным, что никоим образом не вторгалось в сферу их нравственных переживаний. Не только российское правительство, но и собственная их католическая церковь освящала и санкционировала права, переходящие от отца к сыну. Мелкая сельская шляхта, частенько живущая

не намного зажиточней, чем числившиеся за ней крепостные, шляхта строптивая, склонная к скандалам и вооруженным наездам на чужие владения, шляхта малопросвещенная, но зато весьма зависимая от сиятельных магнатов, — вот эта самая шляхта была, с одной стороны, опорой давно обветшалоу уклада, а с другой — из этой же среды выходили люди, которые становились вдохновителями народных мятежей и восстаний, которые позднее сражались на баррикадах Парижа, да и всюду, где только вспыхивала борьба за свободу. Это был материал легковоспламеняющийся, склонный к крайностям, исполненный противоречий и в то же время не лишенный необычайных озарений мысли и чувства. Под напором экономических и социальных сдвигов они выдвигали из своей среды героев, которые, оторвавшись от своего уже угасающего класса, порою становились реформаторами политической и культурной жизни своего отечества. Эти шляхтичи, гордые своими дворянскими гербами, шляхтичи, облачавшиеся по воскресным и праздничным дням в кунтуши, а в будни прикрывавшие свою наготу белыми халатами в черную полоску, не слишком-то отличались от сермяжного мужичья.

Для французов, во всяком случае, разница между крестьянами и мелкой шляхтой представлялась абсолютно неуловимой.

Язык вооруженных пришельцев был тогда, пожалуй, самой серьезной, да, по сути дела, и нерушимой преградой между ними и местным людом. Их понимали только в княжеских палатах либо в Вильно, среди ученых, профессоров, да еще в элегантных светских гостиных. А простой народ помалкивал или же бормотал нечто совершенно неуловимое для слуха наполеоновских гренадеров. Не однажды дело доходило до крайне горестных недоразумений. Так, например, некоего управляющего имением, подозреваемого в шпионаже, французы расстреляли, отнюдь не дожидаясь появления толмача. Литовские крестьяне в некоторых селах после вступления туда французов не желали отрабатывать барщину. Они возмущались, когда управители с палками в руках гнали их на работу, рыча и проклиная на чем свет стоит, точь-в-точь как в прежние времена. В прежние времена! Неделя, которая прошла со дня вступления в Литву императорской армии, стала как бы рубежом, разделяющим две эпохи.

В одном из самых больших поместий Минской губернии суровый пан, ненавистный крестьянам за жестокое обращение с ними, за бесконечные побои и денежные штрафы и, наконец, за человекоубийство, пал под ударами бунтовщиков.

И тут-то как-то внезапно выяснилось, что, собственно, такое

наполеоновская армия, с кем она водит дружбу, за чьи интересы она стоит горой. Вожаки бунта были расстреляны по приговору военно-полевого суда. Под вечер их привели к какому-то овину. Мрачно глядели они исподлобья, кудлатые и угрюмые, и в ту минуту они показались французам точь-в-точь похожими на братьев своих, испанских крестьян, падавших под залпами карательных отрядов каких-нибудь три года назад.

По селам мужики-глашатаи возвещали подневольному люду декреты литовского правительства, декреты, призывающие отрабатывать барщину, грозящие суровыми карами тем, кто самовольно покинет имение. При этом, однако, крестьянам обещали волю (как в Герцогстве)^[11] после окончания военных действий. Мужики не верили. И все-таки они возвращались к трудам своим с ненавистью и горечью в сердцах.

Наполеон был недоволен приемом, оказанным ему в Литве, несмотря на то, что поначалу вступление его войск было встречено с радостью. Однако очень быстро наступило разочарование. Да и не диво! Грабежи и насилия становились в порядок дня везде, где только располагалась «великая армия». Она, эта «великая армия», расплзлась по огромным пространствам этого лесистого, влажного и хлебородного края, разжигая по ночам костры, гоняя табуны коней и скота на водопой, распевая свои скабрезные песенки, загаживая землю и насилуя баб.

Ничего этого не видел и не понимал четырнадцатилетний Адам. Да, пожалуй, будь он тогда и вдвое старше, он бы немногим больше понял из проносящихся прямо перед его глазами событий. Для него это было прежде всего большим парадом, пышным смотром всех родов войск и всех видов оружия. Ведь истинную правду о делах и событиях мы узнаем, как правило, уже только в перспективе времени, ибо кругозор истории чрезвычайно похож на земной горизонт. И кругозор этот будет расширяться или суживаться в зависимости от нашего движения во времени. Нам нужно несколько отойти во времени настолько безучастном, что в нем исчезнет и расплывется всяческая ненависть и жестокость, а заодно и любовь.

Постигнет ли Мицкевич, который теперь глазами ребенка смотрит на армию императора, увидит ли он хоть когда-нибудь всю подлинную правду этой эпохи? Спустя двадцать с лишним лет взором зрелого человека взглянет он на этот романтический месяц и на день вступления наполеоновских войск. И что же он увидит? То, что уже сделалось историей, не перестало быть для него сказкой. Вопреки всему он смотрел еще теми, детскими, чистыми очами. Вот поэтому «Пан Тадеуш» и завершается прекрасной надеждой вопреки тому, что последнюю его страницу озаряет пламя заката. Нет в нем даже предчувствия позднейших

событий, воспоминание о которых, словно мороз по коже, пробирало свидетелей отступления наполеоновской армии. То, о чем умолчал поэт, намеревался описать в воспоминаниях своих его брат Александр. Он рассказывал своему племяннику в годы, когда Адама Мицкевича уже не было в живых, о той жуткой военной зиме, о зимней жатве смерти, крови и голода. Он рассказывал о трупах, валяющихся вдоль дороги, как срубленные почерневшие деревья, о руках, смерзшихся в камень, о руках, выступающих из сугробов. Король Жером возвратился в Новогрудок с войском, которое превратилось теперь просто в банду жалких оборванцев. Солдаты жаждали только одного: нажраться, напиться, завалиться спать и, если это возможно, помереть не вставая. В избах, в которые они денно и ночью врывались, промерзшие до костей, с одеревенелыми ногами, им повторяли одно и то же: «Хлеба нема, есть вода».

Общественные здания, школы, дома новогрудских жителей переполнены были обтрепавшимся солдатьем. По залам и в сенях жгли костры. Стужа крепчала с каждым часом. Непобедимые наполеоновские гранатеры сидели около костров, понутив головы, и молчали. Император, прибывший в Вильно в легких санках, укутанный в медвежью шубу, двинулся отсюда, все время сменяя лошадей, прямым ходом в Париж. Русские войска вскоре вступили в Литву. Победитель Наполеона, великий медлитель, престарелый генерал Кутузов отдавал в Вильно рапорт Александру Первому.

*

Одновременно с этими событиями, великими и неотвратимыми, как природные катаклизмы, протекало и маленькое жительство обывателей Литвы и Новогрудка, и вскоре великие дела должны были уступить место делам будничным и повседневным.

В память об этом годе войны юный воспитанник новогрудской публичной школы прибавил к своему имени имя императора и подписывался теперь следующим образом: Адам Наполеон Мицкевич. Он рано начал писать стихи, так же как и его ближайший друг и однокашник Ян Чечот^[12]. Стихи писали также и другие новогрудские школьники. Словом, в этом не было ровным счетом ничего необычайного. В те времена слагали оды и куда более пожилые люди, почтенные и высокочтимые граждане, что было вообще-то говоря злополучным плодом тогдашнего

школьного обучения и всеобщего распространения школярской, поэзии.

Даже пан Миколай, отец Адама, слагал некогда оды и, случалось, декламировал наизусть польский перевод «Готфрида»^[13], поэмы Торквато Тассо.

Первые поэтические опыты юного Адама не слишком отличались от подобных же попыток его школьных товарищей. Именно такое ученическое (но рифмованное!) сочинение написал Адам еще в 1811 году под впечатлением пожара, опустошившего тогда часть Новогрудка.

Но о знаменательном годе, о годе 1812-м, он написал лишь много лет спустя, многому научившись, вооружившись жизненным опытом. И также лишь много лет спустя он вспомнит в стихах, которые и сами будут величайшим чудом, о чуде, якобы происшедшем с ним в детстве, когда, в тяжком недуге, посвященный своей матерью Пречистой Деве, он, Адам, воскрес и выздоровел.

Поэзия вопреки тому, что она, казалось бы, является самым непосредственным из всех языков этого мира, отнюдь не извергается внезапно, подобно вулканической лаве, и не прорывается, как родниковая вода, — о нет, поэзия питается опытом долгих лет, мудростью, которая таится и в живой жизни и в пыльных фолиантах, сочиненных на протяжении многих столетий; и если поэзия — это голос чувства, которое постигло самое себя, то все в ней — даже: внезапный взрыв, даже легчайший вздох — все должно быть прежде взвешено на незримых весах.

Обо всем этом новогрудская школа говорила с Адамом не языком живых народов.

Нет, его учили любви к древнему Риму, как будто отчизной его была Италия. Читая Тита Ливия, Светония, Тацита, он тосковал по той отдаленной отчизне. А когда позднее научился вздыхать по юной соседке Иоасе, стилизовал ее в грезах своих под юную римлянку.

Спустя три года после отлета римских орлов Наполеона Адам-Мицкевич выезжает в Вильно, дабы поступить в тамошний университет^[14], в этот «предмет в Вильне значительный», как писал о виленском учебном заведении его позднейший профессор Иоахим Лелевель^[15].

С начертанным по-латыни свидетельством новогрудской публичной школы, в котором подтверждалось полное его прилежание ко всяческим наукам и безупречное поведение, кандидат в студенты отправился в первое свое странствие — из Новогрудка в Вильно.

СЧАСТЛИВЫЙ КРАЙ

Князей литовских ты ровесница, дубрава,
Понар, и Свитези, и Кушелева слава!
Когда-то отдыхать любили в чаще дикой
Витенис, и Миндовг, и Гедимин великий.
Однажды Гедимин охотился в Понарах,
На шкуру он прилег в тени деревьев старых
И песней тешился искусного Лиздейки,
И убаюкан был журчанием Вилейки;
Железный волк ему явился в сновиденьи,
И понял Гедимин ночное откровенье:
Он Вильно основал в непроходимых чащах,
Тот город волком стал среди зверей рычащих,

...А между тем кругом, налево и направо,
Литовские леса темнели величаво!
Кудрявый хмель обвил черемуху багрянцем,
Рябина расцвела пастушеским румянцем.
С жезлами темными орешины-менады
Орехов жемчуга вплели в свои наряды,
А подле детвора: шиповник и калина,
Устами тянется к ним спелая малина...

Невозможно описывать пейзажи Литвы после него. Видение свое, порожденное тоской, Мицкевич навязал современникам и потомкам; кажущийся копиист этих пейзажей и хроникер времен дня и года, он навязал свое видение с такой силой, что люди уверовали в осязаемую подлинность этих картин. Позднее их не раз сличали и проверяли, и все необычайно и удивительно сошлось, совпало и согласилось, но забывали только об одном — что смотрели уже не собственными своими глазами, но очами изгнанника, который из дальней дали, с парижской мостовой увидел такую Литву, Литву своего детства. Реализм пейзажей «Пана Тадеуша» —

реализм особенный. Как на полотнах великих мастеров, детали выполнены здесь с необычайной точностью и тщательностью, и именно они создают обманчивое впечатление, что перед нами отражение в зеркале или на гладкой поверхности озера. Но в действительности же они подчинены законам того неистового видения которое заранее озаряет любой предмет, словно лучами некоего вознесения.

В одном из писем к друзьям^[16] юный ковенский учитель описал свою «прогулку в долине, достойной всяческих похвал»: «Трудно и вообразить, не то что увидеть, по крайней мере в Литве, нечто более великолепное, — пишет он за девять лет до песни о ковенской долине в «Конраде Валленроде» и за добрых полтора десятка лет до пейзажей «Пана Тадеуша», — огромные горы, извилистой линией тянущиеся почти на полмили, посредине зеленая долина причудливо изгибающаяся, то узкая, то пошире, но всегда ровная, полная цветов, перерезанная небольшой речушкой. Солнце было прямо напротив меня, но горы бросали тень, и когда я продвигался ущельем, то одна, то другая сторона приятно зеленели в солнечных лучах, между тем как середина все оставалась в тени. Прибавь еще, что горы покрыты чудеснейшим лесом в виде огромных куртин. Деревья коим по несколько десятков лет или, скажем для округления, столетние, густо сплетенные рябины, белая черемуха, темные ели с длинными косами, березы, высящиеся колоннами и этажами, — восхитительнейший вид, а утро — пение птиц, журчание воды и нечто еще более приятное: идущие по лощине на базар в Ковно литвинки с корзинами...»

В этом описании для друзей перед нами предстает тот самый пейзаж, что и в картинах «Пана Тадеуша», писанных также для друзей. Но время уже коснулось всего этого своей рукой: позолотило прежнюю нищету, показало ее не без прикрас. Поэт был уже тогда давнишним изгнанником; друзья его постепенно начинали забывать краски счастливого края. Если бы не действие времени, в этом случае — благодетельное, мы получили бы нечто в духе «Садов» Делиля. Именно так Каэтан Козьян, поэт наблюдательный, ученый и трудолюбивый, писал свое «Землепашество». И ведь не Ученость и Трудолюбие, а Тоска, Муза, исполненная любви, водила пером поэта, узревшего живыми очами счастливый край, которого нет на свете.

Еще в мрачные дни ноября и декабря 1850 года Мицкевич вспоминает этот край в беседе с земляком. Он вспоминает Ромайнье и Вендзяголу, Дзевьентне и Руске Сёло, плавни Невяжи, край вод и лесистых холмов.

Только там люди были счастливыми и верными; счастливыми, ибо

счастьем были для него воспоминания о временах, которые прошли и больше не терзали его, и верными, потому что память его никогда ему не изменяла.

И, однако, земля эта не была счастлива. Жили на ней в нужде миллионы крестьян, жили в угнетении, которое после поражения Наполеона и отмены законов, обещавших скорое освобождение, стало еще нестерпимее. Только в некоторых жмудских селах да в Щорсах, где несколько позже гащивал молодой Мицкевич, царила некая законность, регулирующая взаимоотношения между крестьянином и помещиком. Во всех прочих местностях размер оброка и барщины зависел только от доброй воли пана помещика, а воля эта бывала доброй не часто. В то время как сентиментальные усадебные барышни проливали слезы, оплакивая долю сугубо воображаемых пастушек и пастушков, владельцы этих усадеб сплошь и рядом не позволяли вполне реальным пастушкам выйти замуж за хлопцев из другого села, дабы, упаси боже, не разбазарить инвентаря живых душ; ну, а мертвых свободно и невозбранно переносили на безымянное сельское кладбище их оставшиеся в живых родичи. Ненависть к панам была всеобщей и повсеместной, и разве только страх до поры до времени удерживал ее, как пса на цепи. «Это ужасно!» — говаривал о тогдашних взаимоотношениях просвещенный князь Адам Чарторыйский^[17], но, будучи сторонником постепенных и сдержанных реформ, по сути дела, стремился только к тому, чтобы ошейник душил не до смерти. Первые реформаторы добивались только личной свободы для крестьянина, чтобы он мог приобретать землю, однако они не выступали против закона, согласно которому земледельцы с земли, ими обрабатываемой, платили подати помещикам. Им, этим реформаторам, казалась просто забавной мысль, что крестьяне могут предъявить какие-то претензии на владение землей, которая не принадлежала их предкам, которую они только арендуют у помещиков.

В «Дзеннике виленском»^[18] Пашкевич, который изучал положение крестьянства в этом счастливом краю, писал словами, исполненными жестокой правды: «Всюду видишь только неограниченные права владельцев и слепую покорность землепашцев, и никаких гарантированных для них прав и свобод донныне нет; целью этих законов не является счастье крестьян, — они, крестьяне, не могут добиться собственного блага».

Пять лет спустя виленский филомат напишет на маленьком клочке бумаги фразу, которая была детищем французской революции, но которой перечила суровая действительность этого края:

«Счастье всех — наша цель и дело».

В 1817 году «Уличные известия»^[19], орган «Общества бездельников», поместили на своих столбцах преисполненную беспощадной иронией картинку, изображающую «машину для порки крестьян». Но все эти голоса и протесты не имели особого практического значения, они не долетали даже до заброшенных сел, где в руках помещика было право жизни и смерти. В великой аллегории преступления и наказания, во второй части «Дядюв», молодой Мицкевич выводит адскую тень злого пана помещика. Вся эта мстительная аллегория как бы целиком выхвачена из уст народных, из уст народа, жаждущего справедливого отмщения.

Да и где обитало счастье в этом краю? Разве только в усадьбах богатых помещиков, в забавах и на охоте, в масленичных гуляньях, развеселых свадебных пирах, в звоне бокалов, украшенных родовыми гербами; в затишье старинных парков, вокруг виленских дворцов. А может, и там его не было?

Бульвары с двойными рядами итальянских тополей вели от берегов Вилии к Арсеналу, и оттуда на Антоколь, место прогулок для пеших и конных. Вот подъезжает легкая открытая коляска. Галопирует всадник. На старинной гравюре город поднимается среди зелени: на переднем плане — Вилия, дальше — Замковая гора, похожая на гору королевы Боны в Кременце, конусообразная; направо от нее — холм с крестами, налево — костелы и дома. Эта гравюра висела над письменным столом Мицкевича в Париже. А если мы — в фантазии своей — войдем внутрь пейзажа и окажемся в городе Вильно начала XIX века, то мы увидим проезжающие мимо нас кареты, запряженные четверней, с фореитором, с ливрейными лакеями, желтые и светло-зеленые экипажи. Обыватели Вильно знают чуть ли не каждый из этих экипажей.

«Вот бежит темно-рыжий рысак доктора Галэнзовского, а широченные раскормленные серые в яблоках доктора Баранкевича ежедневно в один и тот же час как вкопанные застывают у подъезда собственного дома его постоянной пациентки, достопочтенной госпожи Янович, в то время как зеленый попугай достопочтенной пани верещит с балкона, расположенного как раз над элегантным магазином пана Фьорентини, и поглазеть на эту диковину сбегаются целые полчища еврейских ребятишек»^[20].

А Немецкая улица так и роится от экзотических фигур евреев в лисьих и собольих шапках и евреек в особых головных платках — шпрейтухах. По этой же улице, сопровождаемые воплями и завываниями плакальщиц, движутся погребальные шествия на иудейское кладбище.

В еврейском квартале мелочные лавчонки стоят, тесно прижавшись к домам, прямо на тротуарах. Торговки восседают на колченогих табуретках, а зимой — на прикрытых глиняных горшках, наполненных тлеющими углями. Лавки похожи на мрачные берлоги. В лавках этих можно купить все, что душе угодно, начиная от ржавых скобяных изделий и кончая искусственными цветами и недорогими, но фальшивыми драгоценностями.

Профессор Виленского университета Юзеф Франк^[21], который в мемуарах своих описал Вильно начала XIX века, поражался хаотическому смешению стилей и сокрушался, что на улицах Вильно такая непролазная грязь. И действительно, бок о бок с дворцами торчали здесь глинобитные лачуги, а на площади рядом с ратушей громоздились какие то дощатые балаганы. В боковых улочках можно было наткнуться на свиней, непринужденно совершающих променады. К собору вела немощеная улица. Собор этот возвышался на просторной площади, в том самом месте, где некогда пылал священный языческий огонь. Поврежденный пожарами, собор затем был отстроен в классическом палладианском стиле.

Во времена, о которых мы пишем, школяры и студенты, обитавшие тут в великом множестве, задавали тон в городе. Их можно было увидеть всюду, на всех площадях и улицах Вильно.

Жители главной улицы могли из окон наблюдать, как учащаяся молодежь спешит на лекции. Вот «в дрожках с фартухом, заложенных четверней прекрасных лошадей», едут на лекции в университет молодые графы Плятеры. В виленских дворцах в ту эпоху обитали представители знатнейших фамилий: Тышкевичи, Четвертынские, Володковичи, Плятеры, Радзивиллы... Анфилады этих дворцов уставлены были тяжелой золоченой мебелью, диванами, обитыми голубым, лазоревым или пурпурным муаром. На стенах картины: тут — Бачарелли, там — Рустем^[22], иногда портрет князя во младенчестве или младенца-графа в виде Купидона с луком.

Театры ставят псевдоклассические трагедии. Балы и празднества не прекращались, как будто в те времена усталость после великих исторических событий тщилась излиться в блеске и гононе развлечений. Улицы Вильно, ничем не освещенные, занимали свет из окон домов, где гремели пиршества и танцы. Университетская молодежь из богатых семей принимала деятельное участие в этих забавах. Даже ветхий сквалыга пан ректор Малевский^[23], буквально трясущийся от старости и скупости, приезжал, случалось, в собственных санях на званый бал, сбрасывал тяжелую шубу и шел потолкаться среди молодежи. «Городская зима»^[24] Мицкевича, хотя сам он и не принимал участия в этих игрищах богачей,

ничуть не плод фантазии.

На рассвете улицы города отполированы полозьями, домовитый дым валит из всех труб. Окна дворца Паца смотрят на площадь ратуши, на маленький костел Святого Николая, на магазин литографий Лесайе и на клинику, окрашенную охрой. Перед монастырем отцов доминиканцев и перед коллегией пиаристов на улице, вымощенной каменными плитами, начинается утреннее движение. По обе стороны собора, в перспективе — заснеженные холмы. Приземистые одноэтажные или двухэтажные домики низко присели. Ставни в некоторых домах еще заперты. Перед Острой Брамой^[25] появляются первые попрошайки. Они долго будут тут торчать на морозе, назойливо клянча и истово бормоча молитвы. Университетский двор заполняется студентами, спешащими на лекции. Некоторые входят в костел Святого Яна рядом со зданием университета.

*

Мицкевич приехал в Вильно 12 сентября (старого стиля) 1815 года и поселился у однофамильца своего, ксендза Юзефа Мицкевича, который охотно поддерживал бедных студентов. После первого года занятий, во время коего он изучал физику, химию, алгебру, латынь и греческий, юный студент получил степень кандидата философии. В следующем году он перешел на отделение словесности и свободных искусств, где уже в предыдущем году начал изучать латынь и греческий. Здесь он увлеченно штудировал классическую филологию, всеобщую историю, поэтику и риторику и, сведя знакомство с Томашем Заном и Юзефом Ежовским^[26], вступил в «Общество филоматов».

Виленский университет тех времен, куратором которого был князь Адам Чарторыйский, принявший этот пост еще в 1803 году по повелению царя Александра Первого, являлся в те времена как бы наследником века Просвещения. Он собрал в своих стенах прославленных профессоров. Здесь преподавал математику и астрономию Ян Снядецкий, химию — брат его, Енджей, отец Людвики Снядецкой^[27], судьба которой переплелась с судьбами двух великих польских поэтов.

Немец Готфрид Эрнест Гроддек^[28], ученик геттингенского профессора Христиана Готтлоба Гейне, преподавал философию, в новом для тех времен духе интерпретируя классическую древность, познания о которой

значительно углубились благодаря изысканиям Винкельмана, Гердера и Лессинга; результаты новых исследований Гроддек популяризовал весьма умело и не без увлечения. Благодаря этому профессору, завоевавшему себе исключительную популярность у Виленской молодежи, Мицкевич и приобрел основательные познания в словесности и классической древности.

Интерес к теории литературы пробудил в юном студенте Леон Боровский^[29], профессор словесности. Боровский применял научный анализ отдельных произведений; таким образом, метод его приближался к философскому методу.

По сути дела, несмотря на романтическое содержание большинства своих творений, Мицкевич всегда оставался классиком, эллином и римлянином в языке польском, так же как и его славный предшественник и маэстро Станислав Трембецкий^[30]. Но сильнее всех иных профессоров должен был повлиять на жизнь Мицкевича молодой еще историк Иоахим Лелевель. Он собирал на лекциях своих целые толпы молодежи, толпы, которые никак не могли уместиться в зале, даже когда лекции происходили в поздний час. Стихи, в которых юный поэт приветствовал возвращение великого историографа, обошли город^[31] в тот момент, когда Лелевель уселся в ректорское кресло, щуплый, сутуловатый, одинокий среди множества профессоров в торжественных тогах и беретах. Стихотворение это приветствовало «коронного профессора» как «цель молитв» молодежи. Стихотворение, обремененное всей тяжкой оснасткой поэзии классицизма, прославляло Лелевеля за то, что он «ложь разоблачил бесчисленных писаний», что «из самой лжи преданий» извлекал правду. Чтобы не ударить лицом в грязь перед Лелевелем (а профессор этот был необычным эрудитом), поэма юного филомата чуть не прогибается под бременем исторических фактов. Метафоры этого стихотворения чем-то сродни классическим полотнам Давида, — в них многопудовая лексика Трембецкого вступает в противоречие с латинскими звучаниями Горация. Метафоры эти заполняли пробел от греков и римлян и до французской революции, до Наполеона и его легионов, когда «рождает мстителей земли любая пядь». Профессор-республиканец, по всей вероятности, радовался, внимая своему понятливому ученику. Профессор был нехорош собой — горбоносый блондин с вечно растрепанными волосами, со странными глазами, — казалось, он всегда смотрит вдаль, в пространство сквозь туман, застилающий его взор.

Под письмом к Иоахиму Лелевелю, написанным 31 мая 1823 года,

письмом с просьбой помочь а получении паспорта, бывший ковенский учитель подписывается: «Ваш неизменно благодарный ученик и друг». Эти дружеские чувства Мицкевич сохранил до конца дней своих.

И до конца дней своих хранил он в памяти лица людей и образы той земли, того края, который ему пришлось покинуть на заре юности, чтобы никогда уже не вернуться домой.

Над письменным столом в его парижской квартире до конца его дней висела гравюра, представляющая вид города Вильно. Земля, на которой он изведal столько радостей и столько бедствий и неудач, много лет спустя покажется ему земным раем, а ведь была она всего только грешной землей.

ФЕРНЕЙСКОЕ ПОВЕТРИЕ

Прошла весна 1817 года, как и каждая весна на Литве, в краю счастливом, буйная, тем более дерзновенная, чем дольше тянулась зима, весна, изо всех сил обороняющая свою младенческую свежесть от летнего зноя, от опаляющего дыхания душного лета — поры созревания и раздумий. Уже зелень в виленских садах медленно выгорала и благоухала уже не столь опьяняюще. Листва покрывалась позолотой — первой приметой зрелости.

Юный студент разгуливал однажды летом в Виленском ботаническом саду. Он только что отдал профессору Боровскому свои поэтические труды и теперь собирался как раз отправиться на квартирку, где еще совсем недавно проживала некая Анеля.

Анеля — одно только имя осталось от этой девицы; только смутные воспоминания о ней имеются в письмах Мицкевича за июнь (точная дата отсутствует) 1817 года и за июль того же года (снова нет точной даты).

Он постоял перед этим домиком, некогда столь милым ему, взглянул сквозь решетчатую ограду на деревья и на выгоревшую траву. Окно Анелиной комнаты опустело. Исчезли стоявшие тут прежде горшки с цветами.

Он обратился к прислуге, которая копошилась в саду, осведомился у нее о барышне Анеле. Прислуга ответила ему, что барышня принимала у себя также и других мужчин. А один приезжий, из Житомира, остался даже разок на ночь. Спал в гостиной, рядом с барышниной комнатой. «А нынче новые господа въехали, я у них теперь и служу», — деловито проговорила служанка, но Адам уже не слышал ее слов.

Спустя некоторое время — теперь уже не считал ускользящих месяцев, — переводя «Воспитание девушки» Вольтера, он, испытывая благодетельное чувство мести, наградил распутную госпожу Гертруду именем своей бывшей приятельницы Анели, не пощадив также и дочери госпожи Гертруды. Некоторые черты Анели он придал также Зыле в поэме «Мешко, князь Новогрудка», которая была своего рода пересказом вольтеровского «Воспитания принца». Переводя «Орлеанскую девственницу», он с особенной жестокостью живописал фигуру распутной Жанны, памятуя об измене, жертвой которой он некогда пал.

«Теперь я остался один в опостылевшем мне Вильно, — писал он

другу своему Яну Чечоту, — и так как я не вижу ни ее, ни тебя, я более чем несчастен — о, если бы ты знал все остальное?!.»

«Остальное» язвило память студента, засело в его памяти, как заноза, которую нужно было во что бы то ни стало вырвать из сердца, что, очевидно, не могло произойти без кровопролития — первого, но не последнего. Ему помог Вольтер, насмешливый и мятежный Вольтер, с писаниями которого Мицкевич познакомился, едва только прибыл в Вильно, Вольтер, этот иконоборец, превозносимый до небес совершенно влюбленной в него молодежью, весьма чтимый достопочтенными профессорами, которые ведь прежде всего были воспитанниками Века Просвещения. Слава его облетела весь мир, слава, которая вместе с войсками генерала Бонапарта докатилась до рубежа двух столетий; слава, которая раструбила имя Великого Насмешника в Италии, в Англии и в Германии, а теперь уже слава эта взмыла в облачные сферы, успев задеть легкими своими стопами также о колокольни костелов и кровли Виленского университета.

Однокашники Адама, вскоре после того как он прибыл в Вильно, причастили его бунтарским книгам Насмешника. Им пришлось по вкусу ирония Богоборца. Чечота в писаниях Вольтера восхищал их антирелигиозный и антиклерикальный тон. Малевский^[32], хотя его несколько раз шокировали отчаянная дерзость и иконоборчество метра, так же как Чечот, был влюблен в его острую иронию, в его легкокрылую музу.

Мицкевич, вырвавшись, наконец, из-под мрачной опеки отцов доминиканцев, теперь вольно и радостно вдыхал тот самый воздух, тот самый ветер, который столь восхвалял великий знаток сочинительского искусства маэстро Станислав Трембецкий, рекомендуя писания этого дерзкого француза, узника Бастилии и остроумного пророка революции.

Вольтер, вынужденный бежать из пределов своего отечества, большую часть жизни провел в местечке Ферней, в Швейцарии. Итак, маститый Трембецкий поучал юношей в искусных стихах:

Предрассудки утратит и станет умнее
Тот, кто вволю надышится ветром Фернея.

И не он один превозносил великого француза. Конец XVIII столетия ознаменовался появлением многочисленных польских переводов из Вольтера. Просвещенные монахи-пиаристы перелагали и даже ставили его трагедии; охотно подражал ему Томаш Каэтан Венгерский^[33]. Вольтер был

тем тараном, которым польские писатели наносили удары по стенам твердыни глупости и обскурантизма.

Виленская молодежь великолепно ощущала, до чего оздоровляюще действует этот задиристый и озорной «фернейский ветер». Ян Чечот писал Мицкевичу два года спустя после переписки о прискорбном происшествии с Анелей: «О, до чего трудно приходится нынче молодежи, или, вернее сказать, сколь скверно воспитывают учеников своих отцы доминиканцы, если из тех, что нынче окончили школу, куда меньше толковых, чем среди тех, кто окончил ее в прежние годы! И впрямь, никакой пользы не почерпнули они из стольких лет, проведенных в ученье! Счастье еще, что мы вырвались на свет из этого сумрачного хаоса!»

Над этими юношами вскоре должно было взойти солнце «Оды к молодости», в лучах которого

Ломают льды весенние воды,
С ночью свет сражается тьмою...

Юный вольтерьянец прохаживается в примечаниях к «Мешко, князю Новогрудка» и по адресу «Новых Афин»^[34] ксендза Хмелевского, а в финале поэмы недвусмысленно намекает на ксендзов: «они сосут кровь твоего народа, расшатывают устои твоей страны». В «Орлеанской девственнице» юный поэт-переводчик с особым удовольствием резвится, излагая, как святому Доминику приснилось пекло, чтобы в позднейшей оригинальной поэме «Картофель»^[35] снова призвать небесного покровителя своих новогрудских опекунов, благочестивых отцов доминиканцев:

...Кто славит Смерть, Войну и Пытки, ведь живьем
Он альбигойцев жег, от ярости ощерясь,
Чтоб не весьма свою распространяли ересь.
Гремит он, как гроза, всем по грехам воздав,
И следует за ним угрюмый волкодав;
Святой к архангельской, видать, стремится власти,
И факел тлеющий смердит в собачьей пасти...

Долгим столетиям темноты, долгим векам увенчивания предрассудков и коронования предубеждений поэт противопоставляет новую эпоху

человечества, начатую американской и французской революциями:

Но над руинами встает звезда свободы,
Свет правды и наук увидят в ней народы,
Тиранов рухнет власть, любовь растопит лед,
И Капитолий ввысь свой купол вознесет.
И смертный перед ним застынет изумленный,
Когда король-народ, всей властью облеченный,
Всех деспотов своих на гибель обречет
И новой вольности в Европе свет зажжет!

Годами трудился юный Мицкевич над трагедией в вольтерьянском духе и в конце концов бросил своего «Демосфена», чувствуя, что не в силах сравниться с недостижимым образцом. И в самом деле, он в ту пору шел как верный ученик по стопам великого мастера, шел вслед за тем отважным философом, голову которого во фригийском колпаке увидел как-то на гравюре, привезенной из далекого Парижа в город Вильно.

Он всей грудью вдыхал вольный фернейский ветер, чтобы, очистив младую кровь от монашеской доминиканской отравы, выйти навстречу избавительным и всеисцеляющим бурям беспокойного столетия, которое сумело совместить в своем роге изобилия дары разума и чувства, весть о могуществе человека и о слабости человеческой. Точь-в-точь как он, студент Виленского университета, соединил в сердце своем пылкое восхищение Декларацией Прав Человека и Гражданина с первой чувственной страстью, пламенную любовь к человечеству, вызволяющемуся из феодальных пут, с простодушной любовью к цветам и деревьям отеческого края, ибо для всеобъемлющего духа нет вещей настолько малых, чтобы он не смог прочесть в них иероглифов и символов великого дела человечества на земле.

«ФИЛАРЕТОВ СКАЗ»

Богиня Разума, возведенная XVIII веком на престол, восседала на нем не слишком уверенно. После наполеоновских войн правительства победоносной реакции тщатся воскресить предреволюционные общественные взаимоотношения. Священный союз жаждал, чего бы это ни стоило, повернуть историю вспять, на пути, уже пройденные ею. Но маховик истории остановить невозможно, можно разве что замедлить первые его обороты. На обломках алтаря Разума пытались вновь утвердить алтарь религиозной догмы — и вот был воскрешен орден иезуитов.

Польша не возвела ни единого Храма Разума, стало быть, и сносить было нечего. Отсталая в развитии общественных форм, она пыталась смягчить резкость новизны. Польские либералы первых двух десятилетий XIX века пытаются примирить воду и пламень.

«Либеральный дух, — писал «Паментник Варшавски»^[36] в 1816 году, — не упрекает ни приверженцев свободы за то, что они поддерживают ужасы анархии, ни приверженцев религии за то, что им случалось восхвалять Варфоломеевскую ночь».

Против этого кроткого, всепримиряющего духа и поднялась иезуитская реакция, поддержанная родимой шляхетской темнотой, ханжеством и суевериями.

Смелым пером ответил иезуитам Ян Снядецкий; он измывался над богословами, пытающимися своими сутанами затмить и погасить «Светоч Разума». Он выступал против доморощенных обскурантов, которые провозглашали, трубили в самые уши народу, породившему Коперника, унижительный принцип: «Тот, кто родится на сей земле, годится разве для того лишь, чтоб трудиться из-под палки». Иезуитские принципы прочно засели в шляхетских мозгах. Обскуранты могли быть спокойны за будущность нации на задворках Речи Посполитой, несмотря на то, что царские власти в 1820 году прикрыли Полоцкую академию и изгнали иезуитов.

Когда император Александр стал царем польским, на Литве, обескураженной недавним поражением Наполеона, преследованиями и трауром по множеству утраченных иллюзий, как это ни странно, начала господствовать большая свобода. Ощутили ее прежде всего учебные заведения и печать. Тогда-то и было основано «Общество бездельников»,

поддержанное такими личностями, как Енджей Снядецкий, Шимкевич, Шимон Жуковский^[37].

В эту эпоху Европа Священного союза буквально кишела бесчисленными тайными обществами. Набирались силы организации масонов и карбонариев, множились клубы записных мятежников против обветшалого общественного строя, против тирании правительств.

Александр Первый мечтал о том, чтобы направить движение вольных каменщиков в тихое русло; в этих целях он и сам вступил в масонскую ложу. Литовским масонам в то время не приходилось конспирировать. Из недр масонства вышли смелые реформаторы нравственной жизни. «Шубравцы» (бездельники), иронически назвавшие себя этим именем, спустя некоторое время отошли от масонских лож, ибо масонство отталкивало их своим чрезмерно пышным церемониалом, граничащим порою со средневековой мистикой.

С масонами не порвала, однако, новая организация Виленской молодежи, принявшая имя филоматов^[38]. Организация эта явно переходила от целей общеэтических и самоусовершенствовательных к реформаторским и патриотическим. «Общество филоматов» в первом параграфе своего устава, казалось бы, отмежевалось от какой бы то ни было политической деятельности; общество должно было преследовать прежде всего и исключительно просветительные, научные, нравственные цели. Председателем общества был Ежовский, секретарем — Петрашкевич. Число участников было поначалу ничтожно малым, новых принимали с оглядкой. Юзеф Ежовский, председатель общества, был студентом весьма начитанным в классической словесности, философом вообще и даже — чем черт не шутит! — кантианцем, хотя и не по летам уравновешенным и даже несколько заскорузлым и, может быть, не вполне справедливым в своем морализаторском педантизме. Большой разносторонностью в увлечениях и страстях отличался Томаш Зан. Все отзывы о его характере, дошедшие до нас, совпадают в одном: все дивятся его нравственной чистоте. Но в противоположность Ежовскому Зан терпимо относился к слабостям человеческим, и, хотя нас и может удивлять у такого желторотого юнца чрезмерно наставнический тон,

Томаш Зан не грешил менторством. Просто так у него выражалась искренняя забота о человечестве. И у него самого было немало слабостей, особенно он был равнодушен к прекрасному полу. Но, по-видимому, слабость эта была у него совершенно платонической. Это целомудрие Зана, эта его сладкоречивость, его страсть все на свете поэтизировать были бы

почти невыносимы в компании жизнерадостных юнцов, если бы не то уважение, которое они испытывали к его учености. Он был ревностный математик и естествоиспытатель. Таким образом, его весьма скромные занятия поэзией носили характер совершенно частного увлечения. Его пастушеские триолеты, которые он посылал в эпистолах своим разным виленским прелестницам, были выдержаны в духе давно уже миновавшей сентиментальной эпохи.

Эти милые безделки в стиле рококо были красноречивым свидетельством отсталости юных виленских провинциалов: время в западной Европе шло в ту пору куда как быстро, а им нелегко было угнаться за Западом.

Ян Чечот, которого мы уже знаем по его переписке с Мицкевичем, во многом напоминал Томаша Зана. Но всех их превосходил, однако, Францишек Малевский, разумный и ясномыслящий правовед, который в этом дружеском кружке был, пожалуй, ярчайшим представителем эпохи Просвещения. Наименее притязательным среди товарищей был Онуфрий Петрашкевич^[39], человек практичный, дотошный, толковый организатор; он выделялся среди всех этих зеленых юнцов даже внешностью своей — у него были обвисшие усы. Он был грубоват, движения его были резкие и размашистые. Был еще Домейко^[40], позднейший мемуарист, который в чрезмерно, быть может, плаксивых воспоминаниях воздвиг монумент филаретам. В тени этих корифеев общества оставался невзрачный и простоватый Лозинский^[41].

Деятельное участие Мицкевича в обществе закончилось с его выездом на должность учителя в Ковно. Все общество и после приема новых членов не превышало числом четырнадцати человек. Оно подразделялось на кружки в зависимости от того, какому роду наук посвящали себя его члены.

На заседаниях оглашались труды и лекции из областей, которыми занимались участники кружка. Целью общества была взаимопомощь в учении и в нравственном самоусовершенствовании. Термин «добродетель» повторяется в уставе общества с чрезмерной, быть может для нашего слуха, назойливостью.

Следует, однако, помнить, что дело шло о римской Virtus — о добродетели, как ее понимали древние римляне, и о том, что язык этих юнцов в условиях политической неволи неизбежно должен был отличаться известной иносказательностью.

Из тоски по полному освобождению духа, отрешенного от земных пут, — это выражение звучало тогда возвышенно и искренне — родилась

теория лучей, явно заимствованная из учебника химии профессора Снядецкого: наивная теория лучистых существ, платоновская республика виленских студентов. За исключением Зана, никто ее не мог толком уразуметь, над «лучистыми» посмеивались, но, к счастью для них, они не были лишены чувства юмора. Неизвестно, вполне ли серьезно излагал эту теорию Адам Мицкевич первой возлюбленной своей, супруге доктора Ковальского; известно только, что она соглашалась выслушивать его лекции в минуты, когда ей хотелось привлечь и усмирить юного ковенского филарета, чья порывистость и необузданность великолепно контрастировали с несколько надуманной «лучистостью».

Согласно теории Томаша Зана лучи души человеческой образуют вокруг возвышенного характера некий ослепительный ореол: ежели такая возвышенная душа встречается с иною столь же возвышенной душою, то ореолы эти сливаются в радугу любви. Таков был сугубо умозрительный и теоретизирующий Эрос Томаша Зана. «Одни называли меня лучистым со зла, — заявил Томаш Зан перед следственной комиссией Виленского университета, ибо эта комиссия заподозрила в теории лучей некий политический подвох, — другие называли меня так, иронизируя, а третьи от чистого сердца называли меня лучистым, весьма лучистым, архилучистым, сверхлучистым. И, напротив, о юношах, ведущих более рассеянный образ жизни, мы, филоматы, нередко отзывались так: он не весьма лучистый, вовсе не лучистый, бесстыжий, распутный, развратник...»

«Весна была чудная, — вспоминает далее Томаш Зан, — дни погожие, трава и деревья зеленели, утром и под вечер мы выходили на Поплавы и в рощи читать руководства по наукам, по коим нам предстояло экзаменоваться. После дневных трудов наши дискуссии о теории «лучиков» были развлечением и отдыхом; обычно мы вели эти дискуссии, попивая молоко в хате под Рыбишками, перед возвращением в город. Такие занятия и такие молочные пиры повторялись почти ежедневно. После экзаменов вошло в обычай ходить в ту сторону на прогулку, пить молоко, спорить и распевать песенку:

То ли медом, то ли млеком
Золотой струился век:
Больно сладким человеком
Был когда-то человек...»

Вот именно таким образом, на вешних лугах под Рыбишками, «лучистые» хлебали молочко, зубрили и дружным хором распевали о златых веках человечества, когда люди были еще сладки, как мед.

Очевидно, в своих показаниях перед следственной комиссией Томаш Зан умышленно подчеркивал всю младенческую невинность филаретской идиллии. Эти чудесные весенние пикники на лоне природы могли, однако, происходить только нелегально: «лучистые» выбирались из города окольным путем, дабы не привлечь внимания полиции. На одной из таких загородных вылазок Томаш Зан вдруг запел новую песню:

Эй, больше в жизни жара!
Живем один лишь раз.

Филареты ответили ему дружным хором и начали «поддавать жару» и наслаждаться жизнью, лакая молочко и резвясь на свежей травушке-муравушке.

Таковы, стало быть, были удовольствия той поры. Но не только развлечения, а и споры.

Темперамент этих юнцов жаждал жизни, жизни в полном смысле этого слова, вольности, которой в краю не было.

Мицкевич, как глава отделения в «Обществе филаретов», произнес страстную речь на одном из собраний: «Несчастливые обстоятельства, в которых ныне пребывает отечество наше, содействуют, и содействуют ужасающе, унижению и опошлению наших соотечественников... Те подлые существа, — говорил он о стремящихся только к выгоде да наживе своих современниках, — столь отлично знают себе цену, что между высшими вещами и между собой усматривают лишь смехотворно малый контраст, — вот почему Гомер сказал, что боги у всякого раба сразу же отнимают половину души».

Тут не было где развернуться его бурной натуре. Ненависть его к тогдашним обывателям, к их «мнению», к их деликатному лицемерию была непостижима для его друзей. Не могло оставаться длительным и взаимопонимание между ним и Томашем Заном. Сам «архилучистый», по-видимому, отлично понимал, какая бездна их разделяет. «Знаю, что в себе ничего такого не обретаю, — писал он с трогательной искренностью, — чем мог бы тебя к себе надолго привлечь. Знаю, что ты меня не можешь узнать по деяниям моим, а знаешь только по моим слабостям, ошибкам, грезам, злключениям, признаниям, желаниям и мнениям».

Мицкевич ощущал себя прочно связанным с друзьями, деятельность общества он, пока жил в Вильно, поддерживал; в переписке его содержатся многочисленные замечания и целые разделы, посвященные делам организационным и делам общества. Одаренный столь необузданным темпераментом, он в делах общества выказывает немалую осторожность, трезво оценивает политические условия, в которых действовала организация. Он чувствует себя ответственным за ее безопасность и совершенство. Вступая в общество, он был переводчиком Вольтера, а простился с филаретами пламенным романтиком, изнемогающим в неустанных борениях с самим собою. Сотрудничеству и постоянному общению с этим кружком любящих его товарищей он в значительной мере обязан своей общественной и гражданской зрелости, поскольку «Общество филоматов», подобно немецкому «Тугендбунду», было не только литературным и научным объединением, но ставило перед собой также и гражданские цели.

Тут впервые в жизни Мицкевич ощутил сладость общения с другими людьми. И даже тогда, когда, изнемая под бременем неразделенной любви, он ищет уединения, он знает все же, что окружен чувствами и помыслами друзей, которые о нем по-братски заботятся.

Ящик Пандоры, который он, по выражению Малевского, носил в груди своей, содержал утехи и отрады, а отнюдь не зародышей змей. Только позднее это все изменится, но что-то от юношеского настроения останется в нем и на склоне лет. Он отплатил впоследствии друзьям своим за их добрые чувства даром великим и в то же время причиняющим боль, — он обессмертил их, хотя они и не заслуживали бессмертия. Другие, столь же или не менее достойные, чем они, не удостоились этой милости. Милости, впрочем, жестокой, ибо она лишила их вечного успокоения. Благодаря ему и по его прихоти они стоят перед нами, как живые, со всеми своими слабостями и смешными сторонами, которых они устыдились бы, ибо все они были людьми образованными, воспитанными, обладающими житейским тактом и чувством юмора.

Филоматы до конца оставались крайне малочисленным обществом. Но большой наплыв кандидатов в члены кружка вынудил их создать Дочернее общество, которое Ежовский назвал «Обществом филаретов»^[42]. Это новое общество расширялось с каждым месяцем. В Вильно прибыл тайный организатор революционных союзов Огинский^[43]; он принес вести о русской молодежи, которая готовила заговор, возглавляемый Пестелем и Муравьевым. Эти русские инсургенты пытаются завязать отношения с

польской молодежи. Появился Станислав Ворцель^[44], будущий польский социалист. Внезапно по указанию ректора Шимона Малевского, который в страхе перед российскими властями пытался склонить филаретов к самороспуску, была сожжена часть архива общества. Остальное спас Онуфрий Петрашкевич. Правда, установлено, что в остатках архива не было ни богоборческих помыслов, ни революционных воззваний. Но подозрительность царской полиции передалась также попечителю — князю Чарторыйскому, Происками князя, который в ту пору играл на руку Новосильцеву^[45], был снят с поста ректор Малевский. Новый ректор, Твардовский^[46], пойдет еще дальше, будучи покорным орудием в руках Новосильцева. Вслед за Малевским наступила очередь других профессоров, пользующихся всеобщей симпатией.

Малевский, передавая ректорские прерогативы Твардовскому, подчеркнул, что по поручению его сиятельства князя-куратора он внимательно и неусыпно следил за поведением студентов Томаша Зана, Теодора Лозинского и Адама Мицкевича, учителя, и не нашел в их действиях ничего, что потрясло бы устои господствующего порядка. Но это мало помогло. Они остались на заметке. Ежовскому и Мицкевичу власти отказали в выдаче заграничных паспортов. А ведь они, по всей вероятности, вовсе не намеревались бежать из страны, быть может, им это даже и во сне не снилось. Может быть, они попросту хотели совершить заграничный вояж. Но уже само желание выехать за границу не импонировало властям предрежащим.

Осторожность не помогла, а уж в недостатке осторожности филоматов никак нельзя было упрекнуть. Именно эта осторожность не позволила Зану наладить взаимопонимание с будущими декабристами относительно грядущих совместных действий. Мы сказали бы, что эти «лучистые» были осторожны не по возрасту, но они были в то же время ребячливы в своих платонических фантазиях, смешны и трогательны в своем пресловутом «молитвеннике лучистых» (явно подражающем католическим молитвам), где после обращения к Отцу, Лучу Света, то есть, видимо, к Томашу Зану, следовало: «Лучезарная Фея, радуйся, Зан с тобой».

Эта вот божественная Фея и была Диотимой «лучистых», ибо в конце концов и в их стройные ряды, вернее — в тесный кружок этих юных платонистов, прокрался коварный Эрос. Они шутя толковали о некоем «эрометре», то есть приборе, указывающем температуру любовного, эротического пламени.

Томаш Зан представлял, кажется, исключение. Он слагал песенки в

честь пресловутой Фели, но встречался с ней не часто, а уж, едва завидя ее, алел как маков цвет и смущался до последней степени. Филоматы не очень-то жеманничали в своем кругу, любили ввернуть при случае крепкое словцо и порой изъясниться на своем студенческом жаргоне, полном двусмысленностей.

«Однажды по своей опрометчивости, — пишет Отто Слизень^[47] в своих мемуарах, — я, сам того не желая, восстановил Томаша Зана против себя, когда он в черном фраке и лягушачье-зеленых панталонах в обтяжку — тогда их уже носили — галантно развлекал прекрасный пол, толкуя о значении различных цветов. При виде зеленых его панталон мне взбрела на ум некая двусмысленность, и я в полном восторге прошептал ему на ухо свою остроуту. Но, заметив внезапное и грустное изменение его лица, я слишком поздно вспомнил, что высшая добродетель филомата — держать язык за зубами. На весь остаток вечера я испортил ему настроение. Он ушел домой раньше, чем обычно, и еще той же ночью подарил слуге своему эти злосчастные панталоны».

Зан, как некогда Плотин, стыдился своего тела, Прочие филоматы были, правда, не столь целомудренны. Адам, а он среди филоматов и «лучистых» был не из последних, едва ли был исключением среди друзей, и не он один знал любовь не только по соблазнительным книжонкам да трепетным взглядам. Эти молодые дюжие хлопцы были отличным человеческим материалом: из них можно было сделать и профессоров и солдат. При соответствующем стечении обстоятельств они могли бы стать революционерами. Они ведь конспирировали, и, пожалуй, весьма умело. Виленский процесс вызовет в них сильное чувство солидарности, великую сплоченность и готовность идти на жертвы. Этот кружок юношей, прекрасных в своем стремлении к нравственному совершенству, воспитанных Веком Просвещения, его пылким свободолюбием и наивной верой во всеобщее единение разумного человечества, этот кружок литовских поляков, прислушивавшийся к хору братских организаций — франкмасонов и карбонариев, сам по себе, без Мицкевича, не имел бы голоса.

Уставы общества, сочиненные этими ребятами, занудливы без меры, песенки, сложенные виршеплетами из филоматов, не выходят за рамки сентиментального шаблона давно уже истекшего столетия. Адам дал голос этому сообществу добрых друзей, голос настолько могучий, что его даже не сразу поняли.

«Ода к молодости» родилась из совместных мечтаний о переустройстве мира, она началась с крепкого пожатия филаретских

дланей, но взвилась так высоко над землей, что почти исчезла с глаз, поднялась куда выше, чем аэростат Бланшара^[48], воспетый некогда Трембецким. И что из того, что полет ее был обременен завитушками в стиле классических од, в сочинении которых так понаторели поэты герцогства Варшавского. Она поражала отдельными оборотами простонародного звучания, напоминала обращение к бойцам на марше, призыв к идущим в бой.

Друзья молодые! Вставайте разом!

Символика вольных каменщиков сочеталась тут с шиллеровской идеалистической риторикой. Узы дружбы, опоясывающие землю, — из масонских воззваний — и романтическое презрение к Разуму!

Однако логика стиха, ставшего революционным гимном, ничуть от этого не страдает.

Для самого Адама эта «Ода» была неожиданностью. Она родилась в ту ковенскую зиму, когда он все еще чувствовал себя пришельцем, не вжившимся еще в улицы этого города, мрачные и чужие; среди «бесчувственных льдов» ковенской зимы произошло извержение вулкана, чья лава была так горяча, что пыла ее хватило на целое столетие.

И когда он писал эту оду, в которой обороты залоснившейся классической поэзии то и дело сменялись выражениями обыденными, простонародными до дерзости, слышал ли он, когда писал эту архиоду, слышал ли он за своей спиной разноголосый говор и тяжкую поступь босых и оборванных армий Великой Революции, идущих в бой против недругов свободы?

Конечно же, в его груди был восторг тех солдат французского народа, которых позднее в лекциях по славянской литературе он назовет передовыми бойцами человечества. И разве когда он слагал этот боевой гимн, могучий, как «Марсельеза», изощренный и утонченный, как оды Горация, и насквозь франкмасонский, как песнопения вольных каменщиков и карбонариев, — разве когда он писал это воззвание, обращенное ко всему свету, в убогой комнатухе ковенского учителя, разве он уже не слышал перед собой слившихся в единый гомон голосов грядущих поколений, разве он уже не видел уст еще не рожденных юношей и девушек, уст, которые сквозь столетия будут повторять этот гимн молодости, этот стих, не приспособленный для жеманных, деликатных, нежных губок, стих, который нужно петь, широко разевая рот, во весь голос, чтобы его услышал

весь мир, чтобы ему внимали современники и потомки?

Он был обязан своей фантазии этой способностью гиперболизировать будничные явления, а вернее — способностью видеть в отдельных проявлениях всю целостность, все единство жизни: покажите ему каплю воды, он в ней увидит океан; дайте ему в друзья полтора десятка желторотых конспираторов, а он увидит в них юность, борющуюся за дело человечества, революцию, всегда готовую к прыжку в будущее, вперед.

Вот так, размышляя над грядущими судьбами нашей старой планеты, в пору сумеречной ковенской зимы и на исходе ее, ранней весной — на солнце, отражающемся слепящими лучами от снега, он увидел этих юношей, которые на силу отвечают силой, а руки их такие могучие, что они способны ими обнять шар земной. Увидел их, прекрасных и сильных, в битве с кентаврами, в буре, в напоре приближающихся времен, в горниле, в котором закаляются новые формы, и на просторах вольной, освобожденной уже земли, на просторах, щедро залитых солнцем.

Ода была написана для юных друзей поэта, но круг их с каждым годом должен был увеличиваться, расти, расширяться, чтобы, разрастаясь, наконец, спустя столетие вырасти в великий народ грядущего.

Зан и Чечот не понимали «Оды». Малевский, поскольку он начитался Шиллера, пытался убедить приятелей, что «Ода» все-таки кое-чего да стоит.

«Вот это полет, — говорил он, — вот мысль! Вот поэзия! На конфетной обертке таких стихов не найдешь!

Да ее нам и сравнивать не с чем! Ни один поляк еще так не писал».

Впрочем, он был не вполне убежден в этом своем суждении; делал оговорки относительно некоторых оборотов, чересчур дерзких на его взгляд.

Да, это вовсе не было праздным поэтическим времяпрепровождением, когда некой декабрьской ночью 1820 года эти юные виленские энтузиасты и философы изнуряли себя над стихами, которые прислал им в письме ковенский учитель; стихи эти были необычны потому, что именно тут исключительно ярко выразилось противоречие между поэзией и жизнью. Творение настолько переросло материал, из которого оно, казалось, возникло, так отклонилось от всяческих образцов и шаблонов вследствие мощного толчка, который дал ему поэт, что изумление филаретов было совершенно обоснованным. И впрямь ни один поляк еще так не писал!

Назначение этих стихов было иным, прицел их более дальним. Они целиком были устремлены в грядущее. Поэтому не «Оду к молодости» декламировали на своих частых пирушках, кружковых и именинных, наши

пылкие виленские филареты, а все ту же буршевскую песенку:

Эй, больше в жизни жара!

И барышня Фелиция Мицэвич, преображенная в этом стихотворении в таинственную музу, сладко жмурила глазки, когда Томаш Зан выпевал своим почти девичьим голосом последний, самый удачный куплет.

Молодые, здоровые и крепкие литвины вторили ему гулким басом, повторяя ту свирепо-беззаботную строфу о Времени и Смерти:

Кровь стынет в бедном теле,
Поглотит вечность нас,
И взор затмится Фели, —
Вот филаретов сказ.

Юнцы, они с беспечностью юности измывались над неотвратимым уделом любого смертного. Они смеялись, обнимая друг друга, кровь их бурлила, радость жизни распирала их.

Но их не ждали бескрайние нивы и сверкающие города новою мира, мира, который они стремились возвести. Перед ними простиралась беспредельная пустыня изгнания, бесконечность скитаний от Белого до Аральского моря.

РОМАНТИКА

Веймар — обитель престарелого Гёте, — Веймар был одним из тех блаженных островов, о которых могли бы мечтать романтики, если бы сбывшуюся мечту они не считали мечтой-изменницей. Нет, счастье, которое возникало из сочетания гения поэзии с гением житейским, с пониманием обыденной жизни, — такое счастье было не про них.

То была, однако, всего лишь резиденция. А они продолжали свои поиски в безысходной тоске, в извечном неумении приладиться и применить, чтобы потом, в разочаровании, обрести горькую усладу блаженной муки. Ибо цель их была призрачна и недостижима, как пресловутый «Голубой цветок» Новалиса, была вероломна и коварна, как море и горы, — она, эта цель, таилась в сумрачных пейзажах, и в трепете высоких деревьев, потрясенных бурей, и на сельских погостах, где лежали увядшие венки и к памяти живых взывали полустертые эпитафии; она, эта цель, укрыла какие-то свои тайны в полуночных соловьиных трелях, она дремала, казалось, в руинах замков, там, где некогда кипела жизнь, — а теперь все это минуло, исчезло и былем поросло.

Счастье было только одним из воплощений мечты. Несуществующее и именно поэтому истинное.

Порою казалось, что к нему можно прикоснуться, что его можно ощупать рукой, заглянуть в его лучистые очи.

Тогда оно принимало образ женщины. Глаза у этой женщины были огромные, лицо бледное от непрестанной и безысходной нежности, от чрезмерной впечатлительности ума и сердца.

Она шла, о нет, скорее, плыла, в широком платье, похожем на колокол, в платье, скрывавшем ноги. Женское тело было окружено непроницаемой завесой из шелка, муара, органди либо муслина. Облаченная в непроницаемо-глухой наряд, женщина казалась ходячим готическим собором.

В стихотворении Гёте, большого знатока амурных дел, Купидон нетерпеливыми движениями помогает любовнику раздеть возлюбленную, а затем с лукавой и скромной миной спешит потупить глазки...

Разнузданность неотрывно сопутствовала сладострастию, но Соловей Поэзии не часто пел о них.

Недостижимость любовного счастья или разочарование в нем

искажают образы земной любви и придают ей мистическую окраску.

Стихи к Пречистой Деве, сочиненные немцами-лютеранами, являются, по сути дела, гимнами недостижимому счастью.

Поэты эти шли путем, который проторил безутешный Данте. По стопам Платона шел немец Гёльдерлин, даруя имя Диотимы — Сюзетте Гонтар, супруге франкфуртского коммерсанта.

Если романтик впрягает вселенную, небо, звезды в оглобли своего опуса, если порывы свои он набрасывает на исполинском фоне тысячелетий, то он поступает так из чувства отречения и из ощущения неисполнимости.

Неисполнимость есть непереносимое слагаемое любви у романтиков.

Но чем больше опозитизированный предмет воздыханий становится непохожим на свой прототип, тем более разительным оказывается контраст между поэзией и житейскими буднями.

Поэты-романтики подняли очи к небу и впервые узрели звезды во всем их великолепии. За эти мгновенья утраты равновесия они расплачивались впоследствии страданиями, воображаемыми правда, но от этого не менее реальными.

Слишком ревностно любимые богами, они умирали молодыми, как Шелли, как Китс.

Так увядал от чахотки юный немецкий поэт граф фон Гарденберг, прозвавший себя Новалисом, то есть «братом звезд».

Жизнь его и смерть были как бы кратким изложением романтики, романтизмом в самом сжатом очерке.

Этот юноша со сказочно огромными и сказочно глубокими очами, похожий на евангелиста Иоанна с картины Дюрера, поэт и философ, как Гёте, наделенный склонностью к пантеизму и универсализму, но, увы, начисто лишенный человеческой сметки и житейской основательности этого великого буржуа, — этот задумчивый мечтатель был как бы самым крайним выражением эксцентрических устремлений романтизма в самом раннем его периоде.

Поэзия является для него единственной реальностью.

Этот серафим, сам того не ведая, проделал путь молодого Данте. Он помолвлен с тринадцатилетней Беатриче, маленькой глупышкой Софи Кюн, которая вскоре скончалась от чахотки.

Глупышка Софи боится мышей и пауков. Обожает вегетарианский суп и говядину. Страшится замужества. Курит трубку и боится привидений.

«Любовь моя, — характеризует свою невесту Новалис, — меня иногда удручает. Она совершенно холодна. Она, верно, станет заправской

домашней хозяйкой».

Однако после безвременной кончины этой девочки поэт обожествил ее:

«К Софи у меня религиозное чувство, а не любовь». Эротика Новалиса приобретает нездоровый оттенок: он испытывает вождление к умершей.

Другая его невеста Юлия, в то время, когда Новалис уже погибал от чахотки, чуть ли не у постели умирающего изменяет ему с его братом Карлом.

Старый граф фон Гарденберг после кончины сына пишет своей супруге: «Радость, вызванная тем, что мы избавились от Юлии, дает мне силы легче перенести утрату».

Жизнь безжалостно отмщала тем, которые пытались бежать из ее пределов, сойти с ее кругов.

Земные хвори одолевали серафимов; за мгновения неземных экстазов им приходилось горестно расплачиваться, приходилось осушать горькую чашу.

Лорд Байрон, изгнанный из отечества, запутавшийся в сетях противоестественной любви к своей сводной сестре, убегает от английского общества к романтическим корсарам и в этой сугубо вымышленной компании благородных разбойников обретает желанную пристань.

Дочь его, Ада, воспитывается у леди Байрон, — она не ведает, кто ее отец. Портрет поэта, затянутый зеленой тафтой, не выдает девочке черт ее отца. Несчастье, которое идет по пятам романтического поэта, находит легкий доступ в его сердце. Да поэт и не обороняется — он дразнит Смерть, этого неотвязного спутника судьбы человеческой.

У этого красавца каинова печать на бледном челе, и он лелеет ее, поскольку эта печать отверженности является частью его житейской программы. Он прихрамывает, что не мешает ему быть замечательным пловцом и туристом. Людское злословье, которым он окружен, — это как бы частица той ауры, которую отверженный распространяет вокруг себя. Когда Байрон навещает госпожу де Сталь в Коппэ, общество, собравшееся в салоне, разглядывает его как некую заморскую бестию, диковинного и опасного зверя. Одна из дам упала в обморок, другим было не по себе, словно бы они находились в обществе самого «господина Дьявола».

Во время пребывания в Италии Байрон знакомится с графиней Гвиччоли. Графине тогда было двадцать три года, но выглядит она самое большее семнадцатилетней девочкой. У нее белоснежное лицо, пышные темно-каштановые кудри, глаза, оттененные длинными ресницами,

совершенство изваяния, грация, соединенная с элегантностью, и только легчайший налет меланхолии омрачает ее прелестные черты.

Когда Байрон описывает ее красоту в беседе с капитаном Медвином, он совершает это с таким же равнодушием, с каким прославленный живописец Джорджоне описал Палаццо Манфрини в Венеции. Однако в поэзии элементы реальности, преображенные с великой силой, мы сказали бы — с напыщенным преувеличением, приобретают почти дантовскую форму и почти дантовский тон. Есть в этом жажда возвысить житейское, сделать жизнь пламенной, как солнце, а потом представить сумрак, холодный, как полярная пустыня. Никакого улаживания, никакого компромисса. Отсюда уже рукой подать до лжи. Однако в этой лжи, в этой фальши не было никакой преднамеренности, она возникала произвольно, ибо слишком несовместимы были те миры, которые вопреки всему вынуждены были сосуществовать.

У поэтов «романтической школы», как, например, у Гёте в «Вертере», конфликт между буржуазией и феодальным строем отражен в зеркале человеческой личности. До космических масштабов вырастает раздор с действительностью у Гёльдерлина и Новалиса. Человек, одиноко противостоящий вселенной, тщетно ищет для себя места в ее пустынях.

Борьба личности в буржуазном обществе с враждебной ей социальной действительностью как бы маскируется борьбой с призраками и видениями. Поэт-романтик считал, что борется с некой неопределенной силой, когда отворачивался с отвращением и презрением от бренных земных дел, которые, увы, со всех сторон осаждали его.

Незрелость немецкой буржуазии, ее неготовность к борьбе за свободу искала себе оправдания в собственном бессилии. В то же время, однако, романтическая школа была школой чрезмерной чувствительности. Именно эта чувствительность покорила Мицкевича, но польский поэт умел преодолевать свою слабость. Два первых его поэтических томиков ударили по обычаю, порожденному феодальным строем, они были связаны с народом не только тематикой и реминисценциями на темы сельских песен, но также и тем, что они придали этой новомодной чувствительности черты всеобщие, общенародные. Та страна чувствительности, которую воспевала его поэзия, стала доступна для простых людей, не умеющих расшифровывать иероглифы и символы поэзии классицизма.

Романтика Мицкевича, хотя она и шла весьма сложными путями и перепутьями, не была в конечном счете романтикой одиночества. За ней стояли народ, простой люд, общество. Байронизм Мицкевича далек от прототипа, точно так же как и его вселенская мистика, которая в

отображении польского поэта утрачивает тот преисполненный презрения к жизни оттенок потусторонности, который, подобно Черному Охотнику, шел по пятам романтических искателей одиночества.

Протесты против мистического универсализма впервые прозвучали в отчизне Байрона. Иеремия Бентам противопоставил человеку одинокому «экономического человека», попытался согласовать стремление к личному счастью с общественным долгом. Утилитаризм будет долго сражаться с мистическим стилем, от которого не свободны даже письма Меттерниха. Певец буржуазии — Бальзак вовлечен в сугубо романтический роман с госпожой Ганской и сохраняет верность своему чувству.

Верность в чувствах столь велика, что смахивает порой на упрямство, она находит, быть может, какой-то эквивалент в стабилизации жизни после наполеоновских войн. Пастушеская идиллия завершилась кровавой трагедией. Теперь гражданская жизнь под охраной права — не столь уж замечательного, но как бы то ни было права — стремилась к новым иллюзиям, к новым обольщениям. Романтики обрели их в средневековой стилизации. Позднее условия переменились, декорации, обветшавшие уже, переживают, однако, современные им общественные, экономические и политические условия. Взгляните на героинь романов Жорж Санд так, как их изображал Леполь. Скажем, на воображаемый портрет Лелии. Ее большие глаза смотрят в даль, которой нет в природе. В осиной талии пажа, в театрально сложенных руках есть прелестное постоянство, постоянство красоты. Если героини этого позднего романтизма изменяют своим возлюбленным, то они изменяют в силу несчастного стечения обстоятельств, бунтуя против судьбы.

За романтическим отвращением к жизни кроется жажда напряженной жизни. Она есть также и в мистическом универсализме. Однако великое разочарование народных масс после наполеоновских войн побуждает тогдашних писателей также к попыткам непосредственного воздействия на политическую и общественную жизнь. Еще в последнем великом приключении, в последней великой аванюре Байрона в Греции очень много корсарства, много поэтического жеста, которому подмостки Любви уже кажутся тесными. Но для потомства Миссолунги звучало, как Фермопилы. Байрон скончался в военном лагере, под бряцание оружия, возвещающего наступление вольности. Почти как Леонид при Фермопилах.

Он не успел скомпрометировать себя, как Ламартин, на имя его падала правда, тень великого Сатаны, но его никогда не омрачала тень предательства. Еще в июльской революции и в ноябрьском восстании порыв свободы устремлен ввысь. На полотне Делакруа «Свобода» девушка

с пышной обнаженной грудью в левой руке держит ружье, а обрывок знамени — в правой, воздетой к небесам.

«Сдвинуть твердь с орбиты бывалой», как в «Оде к молодости», представлялось еще делом не столь уж сложным, чтобы пыл юных и сильных людей не смог преодолеть препятствий, пусть даже самых могущественных. Что знали варшавяне, слыша треск первых ружейных выстрелов в ноябре 1830 года? Только что начинается война за свободу? Какая? Ради кого? Об этом не спрашивал в те времена средний поляк.

В Париже 28 июля 1830 года мемуаристка герцогиня де Буань, глядя из окон своего дома на улице д'Анжу на людей, выламывающих тротуарные плиты и поспешно возводящих баррикады, изумлялась: это было противно здравому смыслу. А они, эти юноши, знали только одно — свободу. Но какую свободу? За то ли они проливали кровь, чтобы Луи Филипп, герцог Орлеанский, уселся на трон вместо Карла десятого; за то ли, чтобы наступило царство монополистов и банкиров? Ответ должен был прийти спустя восемнадцать лет. А вместе с ним умерла романтика. Юноша Мицкевич мог еще писать: «Чертеж небесной сферы для мертвых дан светил, для нас же — сила веры вернее меры сил», мог выразить необузданную веру в «чудеса пыла». После 1848 года это была уже только мистика.

Во времена, когда Мицкевич начал творить, до литовского мелкошляхетского захолустья доходят лишь слабые отзвуки романтизма. Этому слабому отголоску он сумел придать мощь первичного, живого голоса.

Все началось с сердечных неурядиц. У него уже были готовые познания о тайнах любовных страданий, познания, почерпнутые из книг. Недоставало только предмета любви.

Когда Мицкевич в обществе Томаша Зана приезжает в Тугановичи на вакации 1819 года, предмет этот предстает его очам в образе девушки годом младше его. Тугановичи расположены в Новогрудском уезде, неподалеку от Плужинского бора и озера Свитезь.

Барский дом с колоннами, со службами, в обширном тенистом саду после смерти предводителя Верещака управлялся его вдовой и двумя его сыновьями Михалом и Юзефом. Усадьба была не без претензий на дворец большого пана, но сельский дом этот был уже скорее воспоминанием о самом себе, хотя не раз еще оглашался гомоном игр и пиров и хотя ворота его были широко распахнуты для гостей из окрестных усадеб. Вся его прелесть была в пейзаже, в высоких старых деревьях, которые его добродушно опекали.

Мицкевич вспоминал потом дни, проведенные в тугановическом саду как единственную счастливую пору своей жизни. Но это было уже тогда, когда к воспоминаниям примешалась тоска по утраченной молодости. А теперь, когда он вылез из неуклюжей таратайки и, расправляя занемевшие ноги, пошел по аллее тугановического парка, ничто необычайное его здесь не поразило. Парк был обширный и разросшийся, как это бывает обычно при больших усадьбах и помещичьих дворцах. Огромные вековые липы, тополя, грабы и кое-какие хвойные — вот какие деревья были в саду.

Встречать приезжих вышли молодые хозяева — братья Верещаки, Михал и Юзеф; Михал был особенно приятен и симпатичен. Они приветствовали Томаша Зана с радостью, как старого знакомого, а Мицкевича гостеприимно и с той сердечной простотой, которая, как позолотой, покрывала потом в душе поэта каждое воспоминание о любимой его Литве.

Когда молодые люди, непринужденно беседуя, подходили к крыльцу белого усадебного дома, к ним на крыльцо выбежала сестра панов Верещаков, светловолосая, с движениями такими легкими, как будто она отмахивалась от развевающейся на ветру вуали; она была в скромном длинном платье, которое, однако, обрисовывало форму ее ног, когда она, сделав полшага, задержалась, явно вспомнив, что ей отнюдь не подобает сломя голову бежать им навстречу.

Какая-то птица именно в это мгновение перелетела со свистом и пропала в гуще парка, а вместе с нею и ее тень, которая, впрочем, чуть отставая, скользнула по тропинке.

Так это все тогда и началось.

Первое впечатление было не особенно воодушевляющим, и, во всяком случае, о любви еще не могло быть и речи. Мицкевич сравнивал Марылю с другими женщинами и не усматривал в ней более высоких качеств. В письме к Чечоту, писанном осенью 1819 года, признавался: «...у меня есть некий идеал возлюбленной — странный, чтобы не сказать — чудаческий, и я не нахожу ничего похожего на этот идеал».

Но позднее совместные прогулки и беседы сделали свое. Остальное довершило чтение вслух. Совместное чтение «Новой Элоизы» или какого-нибудь иного романа не было столь уж новой идеей, столь уж небывалым предлогом для любовного сближения двух людей. Мария Верещак знала такие сцены из романов. Она читала также о несчастной Франческе да Римини, о ее любви к Паоло и о том свидании, когда влюбленные, читая повесть о Ланселоте, сами по его примеру попали в любовные сети.

И, конечно, она знала те великолепные терцины, в которых говорится о

лобзании, ведь она читала по-итальянски, я для нее в качестве эпиграфа к стихотворению в альбом Мицкевич пишет:

Nessun maggior dolore... [\[49\]](#)

Теперь она читала эти волшебные строки с возлюбленным:

Над книгой взоры встретились не раз,
И мы бледнели с тайным содроганьем,
Но дальше повесть победила нас.

Чуть мы прочли о том, как он лобзаньем
Прильнул к улыбке дорогого рта,
Тот, с кем навек я скована терзаньем,

Поцеловал, дрожа, мои уста.
И книга стала нашим Галеотом!
Никто из нас не дочитал листа.

Галеотом, посредником любви, должен был стать здесь, на пригорке, недалеко от тугановической усадьбы, кроткий и влюбчивый швейцарец Руссо.

По-видимому, он недурно справился со своей задачей.

Галеотом, то есть посредником, бывал также иногда, особенно по вечерам, рояль — фортепьяно, как тогда говорили. Мария недурно играла и пела. Она не знала, как быть. Порожденная словесностью, музыкой и пением, эта несколько придуманная любовь преображалась в истинную страсть. Страсть будет перехлестывать за рамки стиля, в котором так хотела бы ее удержать невинная соблазнительница.

Беседы их, которые, к несчастью, никто не записал, беседы, о содержании которых можно только догадываться по скудным письмам, бывали, иногда бурными, — ведь юный влюбленный легко впадал в гнев, а возлюбленная его была нежно-чувствительна и ранима и отчаянно избалована домашним воспитанием. Однажды дело дошло до бурного объяснения. Резкие слова юного педагога вызвали тогда возмущение в этом семействе с хорошими манерами, в этом доме, где считалось простонародной невоспитанностью слишком явно выражать свои чувства и вообще касаться каких бы то ни было щекотливых тем.

«...когда за столом у Верещаков, — вспоминал те минуты поэт, — я с гневом, оскорбительно, на чем свет стоит, честил поляков, все

возмутились». Томаш Зан молчал, но был глубоко оскорблен.

«Однако же я очень скоро успокоился. Перед тем как отправиться спать, я попросил Зана спеть его любимую песню. Если бы кто другой ушел, не сказав мне ни слова, я подумал бы, пожалуй, что он не расслышал мою просьбу, но ведь Зан был не таков, он прекрасно слышал каждое слово и тотчас же постигал, почему оно произнесено... Ничто не дрогнуло в лице Томаша, он промолчал и ушел. Если бы кто мог тогда увидеть мое лицо, он заметил бы на нем жестокую судорогу гнева...»

Впрочем, Мария Верещак и впрямь внимательно смотрела ему в лицо, которое предстало теперь перед ней в новом свете.

«Вулкан! — подумалось ей. — Сколько чувства!» То было, однако, нечто, чего она не могла принять, — ведь она была такой чуткой к чужим мнениям и очень недолюбливала простонародность, разумеется, нестилизованную простонародность.

Ах, он, конечно, преувеличивал!

Может быть, подсознательно, но его бесила в Марии, да и вообще в этой хорошей семье с могущественными родственными связями, та лицемерная деликатность, то бессердечное участие к бедствиям народным, которые были свойственны и ей самой и всему ее семейству. Она жила от трудов этого народа, который чувствительная девушка-фантазерка охотно превратила бы в фарфоровых пастушков и пастушек.

Гордость его была глубоко уязвлена. С ним здесь обращались учтиво, но, как возможный претендент на руку дочери хозяйки дома, он отнюдь не принимался в расчет.

Понятия неравенства сословного и имущественного укоренились здесь глубже, чем вековые деревья в тугановическом парке.

Он не мог, однако, оторваться от этой семьи. Чувствовал, что тут всюду была какая-то частица его существа. Адам не представлял себе счастья где-нибудь в другом месте. Нужно было не замечать обид и этой ценой оставаться здесь как можно дольше.

И что же, он ухитрился, он постарался не замечать. Случались теперь дни, когда между влюбленными царила великолепная гармония. Они вместе совершали далекие прогулки, смеялись и шутили, явно пренебрегая стилизацией. Однажды разгуливая над озером, прильнув друг к другу, они увидели рыбака, который, закинув невод, размышлял о чем-то, попыхивая трубкой.

Он обратил к ним лицо, изборожденное морщинами, старое, но посвежевшее от загара. На голове у него была нахлобучена покривившаяся фуражка; в зрачках — золотые отблески: то ли отблески рыбьих чешуек, то

ли отсветы лучших времен, прожитых тут, над водами.

Они поболтали с ним.

Он рассказывал о своем тяжком труде, о рыбьих повадках, о капризах и причудах того омута, из которого он добывал себе пропитание и кормил всю свою семью. Они дивились спокойствию и умиротворенности старика, который так сросся с этим краем озер, холмов и лесов, что даже его одежда, чрезвычайно бедная, приняла на себя некий отблеск этого пленительного ландшафта. Он хранил в памяти всяческие небылицы, которые ходили в округе с незапамятных времен. Никто не знал, с чего они начались, отчего они пошли. Они терялись в сумраке сельского простонародья, как и его собственное детство, о котором он не умел уже поведать ничего определенного. Старик говорил на ломаном белорусском языке, словно нехотя, но заметно было, что он верит в то, о чем говорит.

Словно собственным внукам рассказывал дед, так сердечно обращался он к ним, вовсе чужим ему. Не закончив одной сказки, заводил другую, да и не сказку, а быль, ведь все это якобы происходило некогда здесь, вот на этом самом месте, неподалеку от мрачного Плужинского бора. Повторялась в ней, в этой былине, как припев, поговорка о возрасте этого озера:

Когда эта вода была молода...

Мария, внимательно выслушав старика, воскликнула:

— Вот поэзия! Напиши что-нибудь в этом роде!

Для нее это была уже поэзия, — ведь она читала в сентиментальных романах о счастливой участи рыбаков и пастырей и, как сквозь туман, вспоминала некое красивое стихотворение немецкого поэта о рыбаке, которого завлекла в омут русалка.

Сказка показалась Мицкевичу действительно прекрасной. Особое очарование придавало ей присутствие этой удивительной девушки, которую он, правда, не совсем еще понимал, ибо ее было нелегко постичь, она не поддавалась прямолинейным определениям. Порой казалось, что она вся соткана из фантазии и серебристо переливается, словно воздух над Свитезью; порой вдруг его поражала ее прозаичность, слишком явная готовность подчиниться укладу, господствующему в доме Верещаков, и традициям рода. Иногда казалось, что она ровным счетом ничем не отличается от окрестных барышень, от капризных панночек, которые дожидаются замужества в усадьбах по всему околотку, от шляхтянок, из которых многие уже почитывали романы и знали толк в сентиментальных разговорах. Случалось порой, что эта кроткая девушка умела вдруг, когда он касался какой-либо очень личной темы, заморозить беседу словом учтивым, но холодным как лед. В ней была чувствительность, но не было

страсти. Поэтому ей легко было скупиться на проявления любви: одарять ими изредка, как бы с расчетом, так по крайней мере могло показаться возлюбленному, а может быть, и вовсе нелюбимому. Да и нежность ее была непродолжительной; обещание, казалось бы затаенное в ней, было иллюзорным. Эта непостоянная и недобрая возлюбленная была — после каждой встречи Адаму приходилось убеждаться в этом — в поведении, жестах и разговоре исполнена непостижимой прелести.

Кстати, она была великолепно осведомлена о производимом ею впечатлении, поскольку домашние и соседи, не скупясь, отпускали ей комплименты.

Мария, эта пасторальная девица, оказалась расчетливой не по возрасту. В позднейшие годы Мицкевич не раз вспоминал об одном вечере, который он провел в тугановической усадьбе; о некоем вечере, когда появление Марии прервало его разговор с ее матерью, старой госпожой предводительшей. Пожилая дама была очень близорука, она не сразу узнала вошедшую дочь и спросила у Адама: «Кто эта королева?» Королева, впрочем, была облачена в чрезвычайно скромное клетчатое платье.

И в сельском наряде она королевой глядела.

Да нет, какая там королева! До конца дней своих оставалась она впоследствии со своим мужем, со своим Лоренцо, в этой литовской глуши. До чего же отличался этот весьма благопристойный, но несколько скучноватый господин, ничуть не фантазер, от окрестных шляхтичей, пылких, заядлых и готовых немедленно ринуться в драку! Конечно, времена и люди стали спокойней. В народе жили уже только смутные воспоминания о прежних наездах, похищениях и процессах.

По всей вероятности, их было не так уж много, потому что госпожа Верещак вспоминала всегда об одном только грандиозном и спорном деле, а именно о том, как Володкович несправедливо присвоил себе поместье Обуховича, подобно тому как мать Адама некогда постоянно рассказывала о старом мстительном Соплице, жаждавшем гибели ее мужа.

*

Литовская Валерия или Элоиза, переменчивая и капризная, чувствительная до смешного и преисполненная недоговоренностей, — вот какова она, Марыля Верещак. Когда она сбегает с крыльца белой усадьбы в Тугановичах, осененной высокими старыми тополями, она дополняет стиль

героинь Руссо или баронессы Крюденер приметамы местного окружения, местных нравов и обычаев, неведомыми тем былым мечтательным особам.

Она охотно пользуется французским в письмах и в разговорах также вплетает французские обороты в польские фразы, произносимые несколько нараспев, со здешним провинциальным акцентом, но она никогда не забывает, что она отпрыск старинного рода Верещаков. Когда она входит в обширный тугановический сад, или, скорее, парк, в белом платье и склоняется, чтобы сорвать цветочек, присяжному читателю сентиментальных романов она может представиться пастушкой, разумеется, идеальной пастушкой. Настоящие пастушки не разгуливали в белых платьях до пят. Они и знать не знали, ведать не ведали о том, что их нелегкое бабье житье таит в себе такую бездну поэзии. Они доили коров и употребляли простонародные, порою довольно грубые выражения. Любовь их была стремительной и бурной, без утонченных приготовлений и обольстительных завес, она заставляла их врасплох на чердаке фольварка или на стогу сена в душные знойные летние ночи, и, когда они занимались этой самой любовью, им некогда было глазеть на звезды.

Юный студент узрел пастушку из романа в то мгновение своей жизни, когда он был уже всецело подготовлен к восприятию любви горестной и трагической, ибо для него не было в то время иной любви. В нем медленно созревала готовность к восприятию чувства, та готовность, которая предшествует зарождению чувства.

Обычно говорят о внезапном рождении любви, о любви с первого взгляда. Забывают, однако, что этому первому взгляду предшествует длительная подспудная незаметная работа, напоминающая приготовление деревьев весной к приятию почек и листы. Эта подспудная работа ускользает от нашего внимания. Он мог бы в те дни встретить и другую женщину. С большой долей вероятия можно было бы предположить, что он влюбился бы в нее столь же сильно, как и в Марию. В момент, когда происходит действие этой повести, мы видим их вдвоем под раскидистыми старыми деревьями тугановического парка.

Они поднялись с каменной лавки, прислоненной к стволу старого дуба, они идут по аллее, ускоряют шаги и внезапно задерживаются, беседуя о чем-то своем; их беспокойные, но сдержанные движения выдают внутреннюю тревогу.

Марии Верещак — девятнадцать. У нее не очень правильные черты лица, маленький рот, она худенькая, невысокая. В ней нет ничего особенно привлекательного. Можно бы смело сказать, что она некрасива, если бы не очарование, которое, однако, принадлежит не столько ей, сколько попросту

является неотъемлемой привилегией юности.

Взглянув на ее мать, старую предводительшу, в чертах и фигуре которой не трудно увидеть будущий облик этой девушки, можно было испытать тревогу, обеспокоиться непрочностью прелести юной Марии, тем, что эта прелесть неизбежно улетучится, когда Мария вступит в зрелые годы. Это два лица, из которых второе, на которое уже легла печать возраста, также обладало когда-то нетронутой свежестью черт; это как бы обе стороны медали времени, а ведь время тут, в Тугановичах и Плужинах, творит свое дело с осмотрительностью: неторопливо, но зато обстоятельно. Тут хватает времени, чтобы сочинять длинные каллиграфические послания, чтобы округлять буквы, чтобы росписи крестьянских повинностей составлены были подробно и детально, а счета, которые ведет сама пани предводительша, не знали пробелов или неточностей.

Приезжают с визитами соседи. Кое-кто из них уже читал Шиллера, и всем знакомы сочинения Красицкого^[50] и Трембецкого. Среди них иногда встречается мемуарист не последнего разряда, который перескажет потомству то да се, ибо ведь все в этом необыкновенном веке чрезвычайно заботятся о том, чтобы оставить след в памяти потомства, в этом «краю воспоминаний». Ревностность мемуаристов объясняется тем, что шляхтичи весьма чтили свою личность и ее феодальное право бесконтрольно хозяйничать в привольных вотчинах Времени. Итак, мемуарист пишет: «Особенно часто гащивали мы в Тугановичах, где тогда обитали два холостяка — Михал и Юзеф Верещаци. Часто мы там встречались с их матерью, очень милой, кроткой старушкой, госпожой предводительшей. Она приезжала с ближнего фольварка, из Плужин, со своей дочкой, привлекательной Марией, у которой, хотя ее и нельзя было назвать красавицей, черты лица были исполнены прелести, а в глазах выражались доброта и участливость; Как в разговоре, так и во всем своем обхождении она была симпатична, сдержанно весела; то оживленная, то меланхолически-задумчивая, всегда интересная и привлекательная»^[51].

Когда спустя шесть лет после кончины Мицкевича сын его^[52] познакомится с Марылей в Вильно, в эпоху так далеко отстоящую от времен, когда развевался этот юный роман, он, Владислав Мицкевич, скажет о ней решительно и лаконично: «По-видимому, она никогда не была красивой».

Друзья поэта, те пылкие виленские студенты, которые вопреки сентиментальной стилизации отличались весьма здравым отношением к делам любовным, говорят о ее внешности: «Женщина как женщина», но

восторгаются ее духовной красотой, поражаются ее начитанности и умению поддерживать беседу, вернее — даже не умению, а искусству, явно отклоняющемуся от шаблона.

Немного было тогда шляхтянок по усадьбам и усадебкам на Виленщине или в Ковенской округе, которые могли бы посоперничать в этом с панной Марылей.

Но, очевидно, и следа не осталось бы в памяти потомства от нее и от других друзей Мицкевича, хотя они отнюдь не были заурядными студентами, если бы не могущество его поэзии, которая исторгла всех окружающих поэта и состоявших с ним в каких-либо отношениях из пекла забвения, чтобы обречь эту горстку людей на иные виды муки, — ведь он лишил их счастья забвения.

Пройдет сто лет, и эти двое останутся в тугановическом парке. Пройдет двести лет — и белое платье Марыли, длинное, до щиколоток закрывающее ноги, будет «белеть среди темных деревьев», ибо это Марыля пройдет «меж черных веток в белом одеянье».

Историки литературы скажут: Адам Мицкевич написал вторую и четвертую части «Дзядов», потому что влюбился в Марылю Верещак, Но мы знаем, что это еще не вся правда.

Однако мнение ученых-литературоведов привилось, и его повторяют школьные учителя в целях образования и воспитания детей, которые, прежде чем испытают силу любви на себе, должны узнать ее из буйных жалоб и пылкой скорби романтического поэта.

Быть может, впрочем, мы обречены вертеться в этом заколдованном кругу туманных гипотез о побуждениях, по которым автор написал то или иное творение, на основе скурых сведений о его жизни и пытаюсь узнать о жизни его из его творчества.

Наши интимные дела порой не очень ясны нам самим, особенно тогда, когда они еще только совершаются, ну, а когда они застывают во времени, когда мы, наконец, обретаем должное удаление и перспективу, мы дополняем их чем-то из нашего последующего опыта и из позднейшего равнодушия, в холодном сиянии которого они выступают, правда, четче, но мы, к сожалению, уже не в состоянии тогда ручаться за верность рисунка. А все те, которые взирают, чуждые тем давно прошедшим делам, из еще большего отдаления, из другого времени, те, которые глядят совершенно иными глазами, чем современники этих событий и этого творчества, — что они, далекие потомки, в самом деле, могут знать о том, что тогда совершалось? Они уже так отделились во времени, что между жизнью поэта и его творчеством для них возникает некий знак равенства. Отдать

снова жизнь жизни, а поэзию поэзии — это, как сказал бы Экклезиаст, горькая услада. Знак равенства, по мере того как уплывает время, становится все более естественным символом компромисса с теми отдаленными годами; чем большей внушающей силой обладает творение, тем больше уходят в тень события, на фоне которых это творение возникло.

Однако между творчеством и жизнью нет тех отношений, что между следствием и причиной. Подобно повернувшей вспять реке, следствие может тут впадать в причину.

Перспективное сокращение времени, когда его окутывает туман нашего неведения, как бы сглаживающий и заполняющий все его неровности, является причиной того, что целые эпохи сливаются для нас, сторонних, в некой единой всеупрощающей формуле.

В чувстве Мицкевича к Марии есть этапы и разделы очень разные, есть нарастание новых явлений, вследствие чего при расставании оба они уже не те, какими мы их узнали при первой их встрече в Тугановичах.

Что было в этой усадьбе, в этом парке, в этих людях такого, что именно здесь беспощадно напал на него крылатый злодей и повалил его наземь? Если он поднялся с земли, то только благодаря литературе.

«Разбойничьи романы» подготовили его к любви, а спасла и уберегла от самоубийства собственная книжка, для него благодетельная, а для других занятая. Как Данте, он умертвил в ней не только любимую девушку — он умертвил также и самого себя, чтобы воскреснуть из мертвых. Да и не те уже были времена, чтобы умирать от любви. Давно уже был написан «Вертер» и еще раньше «Новая Элоиза». Перед домом Гёте в Веймаре, в саду на весенней влажной земле или на снегу не оставляли уже таинственных следов туфельки Шарлотты фон Штейн. Фауст медленно погружался в сумерки одряхления. Тугановический парк под сенью своих старых деревьев навсегда позабыл тайну первых встреч влюбленных, весьма начитанных, конечно, но и весьма неопытных в любовных делах. Чрезмерная стилизованность в их житейском обиходе должна была весьма удлинить дистанцию во времени между первыми, еще робкими взглядами и первым объятием и поцелуем.

Эти длительные приготовления только взвинчивали цену поцелуя. Фантазия влюбленных, не обремененная воспоминанием о реальных картинах, заработала с удвоенной силой. И, едва дошло до поцелуев, растущая страсть, на пути которой, как запруда, стояли жизненный уклад и сословные предрассудки, да и предписанная ими самими стилизация, — эта растущая страсть обрекла влюбленных на бесполезные и напрасные муки.

Во всей этой любовной литургии в тугановическом саду финальной церемонией должно было оказаться таинство лобзаний. Слишком мало, чтобы осчастливить, и предостаточно, чтобы смертельно уязвить! Кощунственное по тогдашним понятиям сравнение поцелуя с таинством святого причастия — эта метафора, соединяющая небо и землю, дабы выразить огромность счастья и огромность страданий, — кощунственное сравнение, повторяющееся в четвертой части «Дядюв», весьма четко обозначает пределы этой земной любви.

Поэтическое творение, даже когда оно самым явным образом очищено от примеси случайных обстоятельств, все же воспроизводит атмосферу тех переживаний и тех испытаний, которые предшествовали его появлению на свет божий.

Читая «Vita Nuova», едва ли возможно почерпнуть из текста какие бы то ни было определенные детали образа реальной Беатриче, однако можно постичь самый характер дантовской любви.

Не стоит принимать за чистую монету подробности и детали поэмы Мицкевича — даже тогда, когда их подтверждают иные свидетельства; ибо подробности и детали эти преобразованы до такой степени, что получили иной смысл. И все-таки нетрудно услышать в страстных проклятиях и пылких восторгах Густава — героя «Дядюв» — явную любовную неутоленность.

Именно такая неутоленность продиктовала Шиллеру чудесные стихи о поцелуе: не просто стихи — гимн, исполненный религиозного настроения. Поет этот гимн Амалия в «Разбойниках»:

Светлый образ жителя Валгаллы,
Друг мой был всех юношей милей:
Очи — моря синего кристаллы
В майском блеске солнечных лучей!

Поцелуи друга — обаянье!
Как две искры, вспыхнувшие вдруг,
Как два тона арфы при слиянье
В одностройный, неразрывный звук, —

Пламенели, душу сплавивши с душою,
На устах звуча, сливались...
Сердце рвалось к сердцу... небеса с землею
Вкруг счастливцев растоплялися.

Друга нет, напрасно, ах, напрасно
Звать его в кручине и в слезах!
Нет его — и все, что в жизни красно,
Все звучит мне безнадежным «ах»!

Первая строфа этого стихотворения в переводе молодого Мицкевича, который произвольно изменяет пол возлюбленного предмета, не достигая силы оригинала, сохраняет, однако, тональность гимна.

В последующих строфах, однако, тот же пылкий, задыхающийся, прерывистый шепот после страстного лобзания:

Так пылают и уста и лица,
И душа сливается с душою.
Млеет небо, и земля ложится
Возле ног разбившейся волною!

Это не просто описание соединения влюбленных уст, это выражение самого восторга, самого наслаждения, выражение, достигнутое не подробным анализом ощущения, прикосновения, а переадресованием этих плотских дел в эфирные области фантазии.

Молодой поэт долго бился над этим несравненным шедевром, а когда сам попытался в конфискованном впоследствии чрезмерно бдительной цензурой описании поцелуя передать его ощущение, сравнивая его с причастием, он тем самым лишил описание страстности, подчеркивая вместо этого романтическую святость любовного таинства.

Это одновременно и кульминация тугановического романа. Перед юным поэтом была стена. Глаза предводительши и ее челядинцев, глаза братьев Марии, глаза друзей и нахлебников бдительно следили за влюбленными. Сколько осмотрительности должен был проявить пан Тадеуш, чтобы прокрасться в альков Телимены! Густав, герой «Дзядов», конечно, тоже решил бы на нечто подобное, но обстоятельства складывались не в его пользу.

И не только обстоятельства интимного порядка. Ромео и Джульетту в литовском издании разделяет стена не менее безжалостная и непреодолимая, чем реальная стена в Вероне. Мария Верещак — невеста графа Вавжинца Путткамера^[53]. Граф Путткамер несколькими годами

старше Мицкевича, бывший офицер наполеоновской армии, а ныне Весьма состоятельный и благополучный помещик Лидского уезда.

Снисходительность графа Путткамера к влюбленным легко может показаться великодушием. Следует, однако, помнить, что граф не принимал слишком близко к сердцу ухаживания бедного студента, позднее ковенского учителя. Он доверял Марии, верил, что она не совершит безумного шага и не пойдет на мезальянс. Оказалось, что он не ошибся.

Вскоре после первых свиданий с Марылей Мицкевич едет в Ковно на должность учителя. Он натаскивает не слишком способных учеников, готовится к урокам, а по ночам читает, читает, читает. Восторг перед Шиллером так и пышет из всех его тогдашних писем:

«О трагедии «Разбойники» писать не в состоянии. Ни одна другая не произвела и не произведет на меня столь сильного впечатления. Тут приходится все время быть то в небесах, то в аду: середины нет. А отдельные картины, мысли, способ изъяснения...»

Перевел стихотворение «Свет и тепло», пытался перевести «Резиньяцию», но это стихотворение ему никак не давалось. Правда, это было только вступление к подлинной романтике. Но для поэта, воспитанного на Горации и Трембецком, Шиллер был романтиком чистой воды.

Ковенский учитель был совершенно очарован чудом этой поэзии. Был он как тот сказочный герой, который внезапно наткнулся на несметные сокровища в горной пещере, и вот он застыл как замороженный, не в силах оторвать очей от ослепительного, нестерпимого сияния драгоценностей,

Тогда-то он и начал слагать первые свои баллады,

*

Приглашенный вместе с Томашем Заном, Адам летом 1820 года едет в тугановическую усадьбу, совсем еще не предвидя печального исхода этих веселых каникул.

Тугановический сад был в пышном летнем наряде. Мальвы и подсолнухи окружали усадьбу, беленые стены которой резко выделялись на фоне темной зелени дубов, лип и грабов.

Полевые цветы, никем не кошенные, благоухали на солнце и в сумерки. Сквозь переплетения ветвей виднелись мягкие очертания холмов, виднелась чуть не вся эта счастливая земля.

Однако, к великому сожалению, тут обитали не только деревья и цветы; люди, ненужные свидетели, шныряли по тропинкам, толпились в господском доме.

Вечера, проведенные в гостиной госпожи предводительши, Мицкевич коротал за игрой в шашки. Бывали дни, когда ему едва удавалось перемолвиться словечком с Марией. Он начинал жалеть часы, проведенные в Щорсах в одиночестве, за чтением и писанием. Семейство Верещаков, несмотря на то, что Михал был «вольным каменщиком» и, следовательно, чуть-чуть демократом, — масонство было тогда в самом цвету, — обращалось с молодым учителем, с безукоризненной вежливостью, не лишенной, впрочем, оттенка известного вельможного превосходства; с той безупречной учтивостью, которую и впрямь не в чем было упрекнуть, но которая, увы, тем больше его раздражала. Он жил только ожиданием свиданий... Эти тайные встречи (о которых тем не менее знали все домашние) происходили не однажды — ночью, около полуночи, ибо Марии были по душе романтика и театральность. Когда Томаш Зан застал ее однажды одетой в голубое платье, с бусами того же цвета на шее — это было уже после того, как она рассталась с Мицкевичем, — Марыля сразу же заперлась в своей комнате, чтобы показаться ему чуть позже в траурном наряде.

Позже, когда Мицкевич многократно вызывал в памяти проведенные здесь дни, он путал последовательность событий, из которых каждое имело для него огромное, а после разлуки и решающее значение. Он сохранял среди прочих памяток и писем записочку, которой Марыля приглашала его на некое ночное свидание:

«В 12 ночи, в четверг, там, где меня оцарапала ветка, а если бы что-либо крайне важное помешало, тогда у межевого камня в пятницу, в пять часов».

Когда в саду или на холме за усадьбой он ожидал ее прихода, слух его, чуткий, как у егеря на охоте, различал малейшие шелесты и шорохи. Он хранил в памяти множество подробностей, которые только для него могли иметь значение, неповторимых подробностей, ибо язык не в силах передать их сути, их мгновенного, преходящего, эфемерного смысла. Чаще всего он обходил в этих воспоминаниях сцену прощания, как странники стараются избегать опасной дороги.

Стихи, которые он посвятил этой сцене, являются лишь давним отзвуком; они вопреки всему были выдержаны в стиле обязательном для сентиментальных романов. Когда он перечитывал их в позднейшие годы, они его уже не волновали.

Прекраснейшие страницы «Вертера» и «Новой Элоизы» тоже утратили для него свое бывшее очарование.

Неповторимо это первое, испытанное в юности потрясение; неповторимо, как сирень, еще влажная от рассветной росы. Что случилось с беседкой, местом их свиданий, с беседкой, где Вертер и Лотта почувствовали бы себя как дома? Конечно же, она стоит теперь покинутая и пустая. И разве не всякое прощание есть последнее прощание? — спрашивал он себя.

Он помнил, что рассердился, когда она ничего не отвечала ему на его страстные обвинения, на ненависть, которая спускала с цепи силой подавляемые восклицания. Да, ненависть. Но ненависть, которая способна была в любой миг швырнуть его перед ней на колени. Он увидел тогда ее глаза, участливые и печальные, и гнев его вдруг остыл. Он помнил, что она сорвала еловую веточку и подала ему ее движением, исполненным грации. Только поразмыслив на досуге, он понял, как фальшив был этот романтический жест.

Он поднимался с постели в бедной ковенской комнатушке, зажигал свечу и глядел на свою тень на стене, тень, которая была ему единственным другом в несчастье. Он помнил, что внезапно сделалось светло от луны, которая снова прорвала завесу туч; ветер сильнее зашумел в ветвях.

Кажется, что именно тогда она быстро убежала. Отошла, но не просто удалилась, а именно отошла, исчезла, растворилась в отдалении.

Он знал теперь, что потерпел полное и окончательное поражение.

*

Дом в Тугановичах до дня свадьбы Марыли с графом Путткамером да и в течение нескольких дней после свадьбы гремел танцами, гомоном гостей, которые съезжались толпами. Дом был наполнен бряцанием охотничьих ружей, смехом и сумятицей — в него понаехала вся окрестная шляхта, гости обоего пола из соседних хуторов и усадеб. Мария заперлась в своей комнате и не показывалась гостям. Сердце ее было опечалено.

Вполне ли искренней была эта печаль?

Не наше дело проникать в интимнейшие тайники ее сердца. Она заперлась в своей комнате и в который раз перечитывала наиболее трогательные и наиболее подходящие к ее нынешним обстоятельствам места из романа баронессы Крюденер «Валерия».

А Мицкевич в эти дни обретался в Вильно. Он долго и трудно приходил в себя, ибо чувствовал себя больным после этого первого большого потрясения, а потом возвратился в Ковно. Он опоздал, прибыл в школу только после четырнадцатого сентября и, получив нагоняй от ректора за несвоевременное возвращение и неповоротливость, начал давать уроки, «одичалый, отупевший, мрачный».

Он искал успокоения в чтении. Но книги, даже те, в которых идет речь о несчастьях, не любят несчастных. Должно было пройти некоторое время, пока он снова обрел способность читать запоем и писать, с трудом, правда, но с радостным трудом.

Уже в первый год пребывания в Ковно, на заре этого изгнания, он внимательно читает «Nocturna et diurna manu» Овидия. Вчитывается в «Tristia» латинского поэта, переводит отрывок из них слогом, на коем не трудно распознать явный штамп ремесленного классицизма.

Теперь, на втором году пребывания в Ковно, он вновь увлекается Шиллером, в особенности «Марией Стюарт», позднее «Фаустом», «Вертером» и романом баронессы Крюденер.

Любовь к классической поэзии в его воображении не противоречит восхищению романтикой.

Одиночество, на которое он теперь обречен, благоприятствует чтению величайших творений различных веков и культур. Даже в период самой искренней увлеченности романтической и сентиментальной поэзией он не выпускает из рук классиков. Но нет, он не создан для того, чтобы корпеть над книжками, роль эрудита не по нему! Несмотря на то, что познания его растут с каждым месяцем, что его умственный кругозор небывало расширяется, Мицкевич не утрачивает первозданной свежести чувств: он реагирует так же, как прежде, стремительно и бурно; при всей сложности своей он прост, как герои Гомера, которые легко рыдают и еще легче гnevаются.

В начале пребывания в Ковно он совершенно одинок, он остался наедине со своей любовной мукой, о которой он вынужден умалчивать даже в письмах к друзьям.

Эта переписка также и позднее заменяет ему непосредственный контакт с людьми.

«Ах, ты не знаешь, как дорого стоит жить! — писал он в письме к Юзефу Ежовскому. — Родишься в муках, также мучительно будешь умирать... Ах, мой Ежи, идеалы! Сны и дым, а после них пустота! Таков уж закон природы; после каждого наслаждения должна быть оскомина. Происходит же она оттого, что из отрадного состояния трудно сразу

перейти в обыкновенное, так, чтобы не почувствовать отвращения... А если переходишь от идеалов к пустыне, что же там найдешь? Хуже, чем ад».

Неприятный осадок у него должна была оставить также интрижка с красивой женой некоего ковенского доктора. Он свел знакомство с этой семьей еще в первые дни пребывания в Ковно.

Госпожа Ковальская должна была занять место Марыли. Но это было не легко. Ей, Ковальской, как-то не по себе в этой нашей романтической повести. Конечно, она даже не предчувствовала, что роман с юным ковенским учителем как бы обнажит ее перед глазами потомков. «Никогда на меня Ков[альская] не производила большого впечатления, — уверяет Мицкевич в письме к Яну Чечоту (Ковно, 19 февраля 1820 г.), — пока я не застал ее раздувающей угли под кофейником. Откуда это? Румянец, а скорее избыточный жар в лице показался бы нежному глазу несентиментальным, не очень привлекательным, а мне он показал в ее особе ангела, Венеру и т. д. и т. п.».

Венера распорядилась собой с вольностью, свойственной этой прекрасной богине. Она принимала возлюбленного в спальне, ради внешнего благоприличия иногда представляясь больной.

Молодой учитель не без похвальбы расписывает в письме к приятелю эти свидания с Венерой (письмо к Онуфрию Петрашкевичу): «...Нарисуй себе в воображении, если можешь, божество с переливающимися на плечах волосами, посреди белых муслинов, на великолепном ложе, в прекрасной комнате».

А все началось так невинно, с совместной прогулки в санках до ближнего фольварка. Адам заглядывал под шляпку прелестной дамы, пил с ней из одной чашки.

А завершилось все это или почти завершилось эпизодом, достойным кисти старых голландцев.

Другой поклонник госпожи Ковальской, галичанин Нартовский, камергер австрийского двора, за картами, явно подстрекаемый опьянением, оскорбил бедного ковенского бакалавра.

Мицкевич, не мешкая, стукнул его канделябром по голове.

Стряслось это происшествие на пасху. Дело едва не дошло до дуэли, поскольку и доктор Ковальский, счастливый обладатель Венеры, почувствовал себя оскорбленным разнузданностью обоих соперников. Богиня с трудом помирила разбушевавшихся поклонников.

В протоколе дела их грядущие взаимоотношения были регламентированы следующим образом: если Адам входит в дом к

Ковальским, то господин камергер, буде он там уже сидит, должен тут же подняться и откланяться, а ежели наоборот — входит господин камергер, а Адам сидит, — тот должен незамедлительно подняться и уйти.

За картами, за шашками, за вином в закопченной дымом от трубок и чубуков комнате Любовь Земная, с пышными формами Венеры; в грезах — Любовь Небесная: легковейная, кисейная, меланхолическая панна — видение, воспоминание. Но за это воспоминание в те времена платились душевным покоем, платились головой,

Такова уж оборотной сторона романтической любви.

Историки литературы игнорировали ковенскую богиню, недооценили ее роли. Недооценил ее, впрочем, и сам поэт. Но кто ведает, не она ли спасла Густава из «Дзядов», то есть самого Адама, в трудные для него часы?

Любовная неутоленность в платоническом общении с Марылей здесь находила компенсацию. Любовь Земная, воплощенная в ковенской возлюбленной, исцеляла, врачевала раны, нанесенные Любовью Небесной. Эта Земная Любовь относилась к нему с такой добротой, с такой истинной снисходительностью!

Она милостиво соглашалась даже выслушивать его безмерно долгие лекции на темы о «лучах» и «лучистости», весьма школярской теории, порожденной достопочтенным Заном и прочей филоматической братией. Содержание этих «лучистых» лекций было скучным и унылым, но привлекательными были уста, которые их излагали, живые и полнокровные; привлекательными были глаза неопределенного, зеленовато-голубого цвета, увлекали буйные темные волосы, которые можно было растрепать.

Но что же, однако, поделывала Любовь Небесная?

В феврале 1821 года Мария Верещак обвенчалась с графом Путткамером. Позднее рассказывали, что в течение длительного времени она вела монашеский образ жизни и вовсе не допускала мужа к себе. Романтическая грусть вступает тут в явное противоречие с произвольным комизмом ситуации.

Романтика не выносит компромисса, романтика держится на почтительном расстоянии от супружеского ложа.

Насколько искренней, куда человечней оказывается Мицкевич в своем откровенном распутстве с госпожой Ковальской!

И когда Марыля изображала печаль по отвергнутому возлюбленному, он, этот возлюбленный, испытал в это время действительную смерть существа, утрата которого была для него одновременно утратой последних

остатков детства. Он снова посетил старый родительский дом, в котором умер некогда его отец, а сейчас — печальная, всеми покинутая мать. Вокруг него была пустота, наследие всеразрушающего времени.

«Никто меня не встретил, — пишет поэт в августе 1821 года, — не услышал я былого: «Адам, Адам!»

И такая тоска охватила меня, что я долго не мог опомниться. Я обошел все уголки, открыл двери кладовой. В это время сверху сходит наша старая служанка, которую я едва узнал в темноте, — да и трудно было узнать ее: она побледнела, и видно было, что давно нуждается. Узнав друг друга, мы долго плакали вместе... Я бежал в Руту, но не выдержал здесь даже дня...

Я снова повидался с женщинами, с той Иоасей, которую я когда-то так любил (хоть в ней и не было ничего особенного), с грустью заметил, что все вызывает во мне отвращение и что я вовсе не могу думать о женщинах, особенно здесь, в двух шагах от Тугановичей».

О кратком своем пребывании в Солечниках Вельких, расположенных всего в одной миле от Больценник, он думал, когда писал далее: «Путткамеры живут только в миле отсюда... Всего одна миля! Гуляя, я спрашивал о каждой дорожке, желая попасть на дорожку, ведущую к Марии, и хотя бы глянуть в ту сторону.

Но я выдержал искушение и не поехал. Да ее там и не было. Из Руты еду в Тугановичи. В самых воротах я встретил карету и сразу узнал, или, вернее, почувствовал, что там была М. Не знай, что сделалось со мной. Мы разъехались, что-то в белом показалось на минуту. Я не смел оторваться, совсем не знаю, как добрался. Узнаю, что встретился с М., о чем в душе уже знал.

Жилой дом теперь иной, все перестроено, — не могу узнать, где был камин, где стояло фортепьяно».

Нет, это отнюдь не ненаписанная сцена из «Вертера», это отрывок из письма поэта к Яну Чечоту. В этом осушении чаши горечи до дна весь Мицкевич. Он деятелен даже в страданиях и не опускает глаз при виде жесточайшего для него зрелища.

После этой прогулки в новогрудские края он возвращается в Ковно, трясясь в мужицкой телеге, подпрыгивающей на ухабах.

Возвращается в Ковно лишь затем, чтобы повидать свою Земную Любовь, которая защищала его от Любви Небесной.

Но Любовь Земная, узнав, что Адам навсегда покидает Ковно, не приняла его с распростертыми объятьями. Он не мог обещать ей, что останется. А ведь именно этого она прежде всего хотела. Не мог он и обещать, что забудет о Марыле. Что оставалось госпоже Каролине?

Неужели она должна была пасти лошадь, подаренную госпожой Путткамер поэту, как шутили в Ковно: одна doncella подарила ему клячу, а другая ее кормит!

Мицкевич понимает причину охлаждения своей возлюбленной. Но не может ничего изменить. Из окон своей квартиры, расположенной против окон квартиры Ковальских, он видит свет в покоях Венеры.

Сейчас ровно полночь.

Лишь ветер шумит на развалинах старых...

*

Выходит в свет первый том стихотворений Адама Мицкевича в количестве пятисот экземпляров. На титульном листе виньетка: ангелочек бряцает на лире. Под ангелочком надпись: «Вильно. В типографии Юзефа Завадского^[54]. 1822».

Благодаря энергии Чечота удалось раздобыть пятьсот подписчиков.

Первое издание быстро разошлось,

«Больше всего покупали прислуги и горничные, — вспоминает позднее поэт в разговоре с Александром Ходзько^[55], — хлопнули второе издание, 1 500 экземпляров. Завадский предлагает, чтобы я за сто рублей продал ему эти стихи в собственность. Если бы кто другой, ну, скажем, хоть еврей какой-нибудь, предложил мне это, я согласился бы, ну, а тут не согласился, потому что терпеть не мог Завадского».

*

Трудно сказать, когда приходит роковой час. Вот он пробил — и спадают все личины, все, что было маскарадом; развеиваются чары поэзии, вступает в свои права жестокая истина чувства.

Письма и разговоры Вертера, в которые Адам вчитывался так усердно и пылко, что они почти стали его собственностью, сцена смерти Вертера, которую он столько раз пережил, эта сцена, полная житейской суеты в последнем жесте, эта смерть, так влюбленная в жизнь, — все это показало вдруг юному учителю всю свою никчемность, условность, литературщину

в сравнении с тем, как он сейчас сам чувствовал.

Это уже не была ни меланхолия, ни кроткая грусть, была это «буря в воображении», которая навещала его теперь, куда более жестокая, чем белые метели, гудевшие за окнами его лачужки печальной ковенской зимой. Весна медленно, нерешительно, как бы колеблясь, подготавливала почву для своего ежегодного пира.

Впервые в жизни Адам почти не заметил ее прихода. Он глядел мертвым, остекленелым взором на клейкие почки каштанов, на ярко-зеленые листики, проклевывающиеся из веточек, еще не сбросивших оцепенения.

Его жажда любви, не найдя выхода, неистовствовала, безумствовала, разбиваясь о ледяной затор, взывала к смерти, как будто смерть могла спасти его от этой жизни.

Повторяя в чувствах своих извечное и великолепное безумство неисчислимых поколений рода человеческого, повторяя его с большей утонченностью, изощренностью, с большим пониманием всех оттенков любовной боли, он имел как будто право воображать, что впервые переживает любовь во всем могуществе ее и во всем ее отчаянии.

Так никто доселе не любил на этом литовском холме, где в шляхетских усадьбах любовные трагедии если и случались порой, то не приобретали той широты, того размаха чувства, которое хотело бы объять вселенную, жизнь и смерть, все необъятное пространство и весь этот избыток вместить в одном человеческом сердце. Эти трагедии завершались разлукой, печалью непродолжительной или же выражались в похищении, в увозе, в тех *raptus puellae*, которые нормировались правом весьма земным и суровым. Аффекты сдерживались многочисленными соображениями — отношениями сословными и официальными, — точь-в-точь как перси юных шляхтянок — корсетом и лифом. Дорога к алтарю была густо обставлена социальными и церковными формальностями.

У алтаря кончалась юная любовь.

То, что начиналось, впоследствии должно было быть воздаянием за покорность государственным узаконениям и церковным догмам, то есть чаще всего попросту освященным лицемерием,

Любовь была сугубо сословной.

Одно дело — крестьянская любовь, другое — шляхетская, и совсем иное — магнатская,

Марыля выбрала графскую.

Совершалось все это без чрезмерных потрясений, и, во всяком случае, несчастья, не поименованные и не разглашенные жестоким и вероломным

языком поэзии, сгорали одиноко, как свечи в пустом костеле.

Любовная поэзия тех времен была тепленькой водицей. Это были вирши Францишка Карпинского и стишки Францишка Князьнина^[56], сладенькие и безобидные.

Когда по этим краям проезжал в 1812 году Наполеон с томиком «Вертера», томик этот был первым на Литве экземпляром сего жестокого романа. По-видимому, и Марыля Верещак спустя десять лет была одной из первых, правда критически настроенных, читательниц гётевского романа.

Если бы не гениальность ковенского учителя, роман этот оставался бы тут совершенно никому не известным.

После выхода четвертой части «Дзядов» в Вильно не распространилась мода на юных безумцев с еловой веточкой в руке — отнюдь не так, как в отечестве Гёте, где эпидемия самоубийств охватила часть немецкой молодежи, а голубой фрак и желтый жилет Вертера стали модным нарядом во многих странах.

Никогда с большей явственностью не совершалось обоюдное таинство проникновения жизни в поэзию и поэзии в жизнь, чем в ту эпоху — от лет, непосредственно предшествующих Великой революции, и до угасания наполеоновской эпопеи.

Стирались рубежи; герои поэм и трагедий бродили среди людей, только что вышедших из мещанских лавок и контор; люди из лавчонок и контор завоевывали знаки рыцарского достоинства.

Стража у городских ворот пропускала их на одинокие загородные странствия, точно так же как в одно прекрасное утро пропустили Вертера на последнюю его прогулку, во время которой он потерял шляпу и утратил остатки здравого рассудка.

*

Когда Мицкевич уехал в Вильно, отчаяние его еще усилилось. Перемена места не исцелила его, друзья не помогли. «Ничего почти не делает, — писал Чечот, — трудно с ним говорить; молчит, курит трубку, много ходит, вечно погруженный в размышления, а ни о чем добром не думает, потому что всеми его помыслами завладела Марыля. Словом, опротивел ему мир и жизнь опротивела, еще немного — и мы опротивеем ему.

Живет в мире фантазии. И, может быть, приятно там жить ему, а нам

неприятно глядеть на его муки, утрату здоровья, истощение всех сил и на полнейшее бездействие...

Влюбленные — это *civiliter mortui*. Живут, как будто не жили для света».

Пережить любовь во всей ее беспомощности, в воображении, разгоряченном чтением «разбойничьих романов», а позднее испытать на себе ее удары, ее обнаженное и безжалостное могущество, претерпеть все это — и не покориться способен только здоровый и смелый человек. Поэт сам искал добровольных мучений, хотел испить до дна чашу своих несчастий, не страшился растравлять рану.

Соль сыпали в нее все эти излишние, уже «посмертные» свидания с Марией, которая приезжала с мужем в Вильно из расположенных поблизости Больценник,

В Ковно Адам искал панацеи в любви-заместительнице; чувства его, успокоенные, удерживали сознание в состоянии полусна; а тут, в Вильно, чувства бурлили, и этим еще подогревали страстность мечтаний. Мария была спокойней, жила со своим Лоренцо в согласии, ей по душе была деликатность мужа.

Супруг ее, Вавжинец Путткамер, отлично понимал ее сентиментальные чудачества; снисходительно к ним относился и даже порой потакал им, ибо понимал, что они неопасны, знал, что Мария слишком хорошо воспитана, что она не совершит ничего противоречащего правилам хорошего тона. Да ему и нечего было волноваться. Если он стал бы ревновать, если бы он устраивал ей сцены, неизвестно, как бы обернулось дело. Но граф Путткамер был прежде всего человеком разумным, практичным и снисходительным.

Во время одного из свиданий Мария подарила безутешному влюбленному перстень. Зачем она сделала это? Плохо отдавая себе отчет в том, что творит, она только распалила его жажду. Перстень и миниатюру. Она вовсе некрасива на этой миниатюре, Марыля.

Но он уже ничегошеньки не видел. Какую бы вещь он ни получил от нее, он носился бы с ней, как с самой Марылей. Есть нечто от коварного фетишизма в этих дарах романтического Эроса. «Прядь нежную... девичьих кудрей», — вспомнит Густав, герой «Дзядов», позднее, когда мятежные волны любовного безумия уже притихнут и несколько улягутся.

Нет, оторвать я эту прядь не смею,
Прядь нежную... девичьих кудрей.
Но только положил ее на грудь себе я —

Как власяница обвилась вокруг
И в грудь впиалась... и тело жадно гложет...
Задушит, загрызет!

Есть в этом чувственном самооголении нечто подобное отравленному воображению средневекового схимника. Так же как и в смешении имени Марии Верещак с именем Пречистой Девы. Когда в античных мифах Гермес, посланец богов, отстригал локон смертному, это означало его, смертного, скорую кончину; когда романтические возлюбленные дарили друг другу ленты для волос или отрезанные локоны, это должно было означать верность до доски гробовой и верность за могилой.

Так, Софи, невеста Новалиса, потеряв пучок волос возлюбленного, просит его, чтобы он еще раз остригся: «nochmals sich schären (!) zu lassen, nähmlich den Kopf».

Марыля стриглась коротко, à la Titus, по тогдашней моде. Прядь ее волос золотится, если положить ее на ладонь.

Люди трезвые и практические, взирая на эти парикмахерские манипуляции возлюбленных, не могли, наверно, удержаться от улыбки: экая стрижка романтических овец и баранов!

На троицу 1822 года, в пору великого торжества зелени, которая переживает младость свою в гуще деревьев, в ароматах цветов, в прелести ветвей, склоненных над водой, Мицкевич гостит в Больценниках у четы Путткамер.

Марыля непременно хочет, это ясно следует из ее поведения, повторить историю Вертера, Альберта и Лотты, хотя ее явно не устраивает трагический финал этого романа.

Еще мгновенье, и она снимет со стены над постелью своего мужа пистолет, сотрет с него пыль и отдаст мальчику, который заждался, маленькому посланцу смерти. Ах, нет, боже упаси! Но все-таки Адам, как Вертер, должен отправиться в далекое странствие по опасным тропам, путям и перепутьям, среди лесов, в которых, конечно, скрываются разбойники...

Нет, до этого не дошло, это так только в глупых мечтаниях, в бестолковых грезах перед сном, когда человек и сам не отвечает за то, что ему примерещилось.

Но вопреки опасениям друзей поэта это пребывание вблизи возлюбленной благотворно на него повлияло: «...недавно провел с ней две недели. Ее вид и разговор лучше всего меня успокаивают. Что будет

дальше, не знаю!»

Во время этих двух недель, проведенных в Больценниках, Мария была с ним нежна. Может быть, эта нежность болезненной уязвила бы его теперь, если бы она не была горестной, скорбной нежностью. Очи Марии смотрели с неподдельной меланхолией. Ей действительно было жаль этого юношу, который так ее любил, диковатого, конечно, но искреннего. Быть может, она заходила слишком далеко, когда, играя на фортепьяно, напевала белорусскую песенку, песенку здешнего простого люда, песенку, откровенность которой импонировала ее романтическому голоску:

Ах, через мой двор,
Да, через мой двор
Тетерка летела.

Ах, не дал мне бог,
Ах, не дал мне бог,
Кого я хотела.

Граф Путткамер, посмеиваясь, вторил ей, хотя песенка эта уязвляла его чувства.

Но достойный восхищения стоицизм, с каким этот красивый и неглупый мужчина терпел капризы жены, должен был, безусловно, опираться на более прочные основания. Если бы мы знали ближе конфиденциальные подробности их супружеской жизни, то для нас, быть может, прояснилась бы тайна той великолепной формы, в которой мы всегда застаем графа Вавжинца.

В позднейшие годы своей жизни он предстает перед нами как просвещенный гражданин, как помещик, охотно идущий навстречу крестьянам, как прекрасный сельский хозяин. Он не был бурным в проявлениях чувств, умел держать себя в руках, впрочем, по-своему любил жену, вежливо и учтиво, хотя в позднейшие годы их супружества отнюдь не чурался любовных авантюр и амурных интрижек.

Снисходительность его заходила столь далеко, что он ни разу не обратил внимания жены на неуместность ее жестов, которые, по мере того как росла слава Мицкевича, пребывающего где-то в прекрасном далеке, приобретали оттенок все более пустопорожней экзальтации.

В излюбленных местах своих уединенных прогулок Марыля клала камни со специально выбитыми надписями: «Утраченным иллюзиям» или

«Обманутой надежде».

Граф, прохаживаясь по саду, думал: «Ну что за шутовские выходки», — но не говорил ни слова. Впрочем, это ведь было в те времена, когда верным песикам водружали в усадебных парках надгробные монументы. Так, например, по свидетельству Габриэлы Пузыниной, урожденной Гюнтер, чугунную плиту с надписью «Невинность — верности» от детей околевавшему псу положили однажды в парке, где Габриэла играла в детстве.

Немалый повод для размышлений дает следующая подробность, отмеченная Эдвардом Хлопицким:

«Когда на свадьбе ее племянницы, Софьи Верещак, жених иллюминировал беседку Марыли и ввел в нее жену свою в обществе госпожи Путткамер, этот сюрприз пробудил в почтенной тетушке столь глубокие чувства, что она, с глазами, полными слез, склонила лицо свое на грудь племянницы и в течение длительного времени пребывала в состоянии экстаза, преисполненного печали и упоения».

В этой экстатической позе несчастной возлюбленной Марыля Верещак должна была остаться в памяти потомства. Следует сказать, что она приложила немало усилий, чтобы оказаться на высоте положения в этой трудной роли. Если она не всегда умела при этом сохранить такт и чувство меры, в этом нет ничего удивительного, — ведь она была одновременно и прежде всего женой и матерью, существование ее не оборвалось внезапно, как жизнь героини романа, с последней дочитанной до конца страницей. Жизнь ее была куда более сложной и более трудной, чем жизнь героинь госпожи Крюденер и госпожи Жорж Санд.

Следует признать, что у нее был неплохой литературный вкус. Когда она получила однажды от Мицкевича французский перевод «Вильгельма Мейстера» Гёте, она раскритиковала книжку, неучтиво заметив: «*Chacun son goût*», чем даже несколько испугала юного поэта, который как раз собирался выслать ей экземпляр своей первой книжки «Баллады и романсы». Она получила, наконец, с опозданием, не по вине автора, этот томик, которым должна была открыться новая эра польской поэзии и который для нее был вещицей чрезвычайно близкой и глубоко личной.

Она читала его, как читают письма, между строк, — понимала каждый намек, каждое умолчание. «Ох, как же стремлюсь видеть Вас перед моим выездом из этих краев!» — пишет она ему, несмотря ни на что.

Среди однообразия житья в Больценниках, прерываемого разве только наездами в Вильно, среди скуки, которой не в силах развеять ни верховая езда — у Марыли была кобыла по кличке Гурыся, — ни игра в шашки, ни чтение романов, переписка с друзьями возмещает отсутствие общества.

Марыля переписывается с Чечотом и Заном, и в этих посланиях, писанных по-французски, стилизует свое любовное приключение по образу и подобию любимых романов. Письма эти, адресованные друзьям Мицкевича, являются в то же время письмами к нему самому.

Таким образом, она соблюдала требования хорошего тона и в то же время не порывала контакта с покинутым возлюбленным, подбрасывая пищу его страданиям, словно опасаясь, как бы они, часом, не отпылали чересчур быстро.

Иногда, нарушая условности, она обращается прямо к возлюбленному. В письме от 18 августа 1822 года она пишет:

«Ты страдаешь, мой друг! Ты несчастлив, ты не обращаешь на себя внимания! Скажи мне, что вызывает твои страдания, какое средство тебе необходимо? Забудь меня, мой друг, если это нужно для твоего счастья и спокойствия. Если бы для твоего счастья нужна была только моя любовь, ты был бы даже слишком счастлив. Но нет! Вместо того чтобы хоть что-нибудь сделать для твоего счастья, это я, одна я причиняю тебе столько страданий. Ты не можешь себе представить, как удручает меня эта мысль. Будь рассудительным, мой друг, не пренебрегай твоим талантом. Забудь эту любовь, которая составляет твоё несчастье. Если для твоего спокойствия нужно, чтобы ты меня больше не видел, я согласна на это. Даю тебе полную свободу действовать, как тебе будет угодно, только бы ты был счастлив, доволен и спокоен. Единственная вещь, на которой я настаиваю, это сохранение твоего здоровья. Подумай о том, как оно мне дорого. Будь великим, мой друг!»

Влюбленный читал эти фразы, в меру условные, как читал бы текст приговора; каждая из них имела для него важный, а главное, безапелляционный смысл. Он не замечал пропасти, которая разверзлась между стилем и истинным содержанием письма.

Так исследователь жизни поэта, от преходящих деяний которого не осталось даже воспоминания, готов под каждый образ и звук его стихов подставить истинные факты и события.

Мицкевич все еще надеялся. Это неправда, что он был как дерево, обугленное пожаром. Он жил, дышал, слова его были меткими, шутки язвительными, особенно когда он обращался к друзьям, которые хотели помочь ему, спеша, словно с холодными компрессами, с утешениями и назиданиями, ибо его горячее состояние им уже представлялось опасным.

Преподавал он в ковенской школе, как и прежде; в иные мгновения его даже радовало то, что у него есть это занятие; по вечерам играл в бостон на

деньги; слушать музыку боялся; читал Байрона с таким восторгом, что не хотел теперь брать в руки иных книг, ибо они ему казались лживыми.

Только Байрон, этот мрачный и великолепный Байрон говорил правду!

Столь же несчастливый и стократ счастливейший, ибо его превозносят тысячи незнакомых ему людей за смелость, с какой он говорит правду! Каин и святой!

Шла осень, долгая, сонная ковенская осень. Все дольше приходилось жечь свечи в шандалах, закапанных воском. По стенам комнаты, в которой он готовился к лекциям, бродила тень, — тень была много старше его.

В начале октября, узнав о выезде Марии в Вильно, он поехал туда, гонимый непреодолимой жаждой увидеть свою мучительницу. Себя самого он пытался уверить, что едет, чтобы еще раз испытать постоянство своего сердца. Но ехал угрюмый, неряшливый, с отросшими космами, а глаза его лихорадочно пылали.

Он ощущал в себе, как корсары Байрона, зловещую жажду мести.

Бедный ковенский учитель ехал в трясущейся одноконной тележке, чувствуя себя мстителем.

День был ясный, но холодный. В прозрачном воздухе сквозь нагие сучья деревьев вырисовывались колокольни виленских костелов. Вскоре подковы зацокали о выщербленную мостовую перед монастырем отцов миссионеров. Он ехал дальше, вдоль стены, с которой свисал плющ; с отвращением и мстительной печалью поглядывая на стройные фигуры девушек и парней, на их поступь, легкую и сильную; очами Франца Моора он встречал беглые взгляды, настолько прекрасные именно в это мимолетное, исчезающее навсегда мгновение, что они достойны были длительного воспоминания, а может быть, и бессмертия. Его уязвляла красота мира, от которого он хотел отгородиться. Тщетно!

Приехав в Вильно, он не мог собраться с духом, чтобы посетить Марию. Встретил ее случайно, на улице, в ненастье, в дождь и слякоть. Она смотрела на него чуткими, все понимающими голубыми очами. Но назавтра, когда он, поднявшись по расхлябанной деревянной лестнице, постучался в ее комнату, она встретила его с почти оскорбительной холодностью.

Свидание их, это и вправду посмертное свидание, было с первых же слов неудачным. Они роняли резкие, злые слова, взаимные упреки, обвинения. Правда, так жестоко высказанная, оказалась вдруг бессильной и несправедливой. Только молчание могло им еще помочь понять друг друга. Но они предпочли говорить и жестоко ошиблись,

«Мария, — писал Мицкевич после расставания с Марылей из Ковно

17 октября 1822 года, — после всего того, что ты мне сказала во время нашего последнего свидания, я не решаюсь много писать тебе! Если ты взглянешь на этот листок с таким презрением, с каким смотрела на меня, мне кажется, что я и здесь почувствую этот взгляд. Но нет, дорогая Мария, ты меня простишь, ты меня простила, хотя я сам дал повод так обращаться со мной.

О, если бы ты знала, что я потом перечувствовал, обдумывая свое ребяческое, дикое и грубое поведение! В то время, когда ты меня встречала с невинной, ангельской радостью, я отвечал с каким видом? Каким тоном? Тебе, непривычной к этому, не ожидающей этого от меня!.. Возлюбленная Мария, я тебя чту и обожаю, как небожительницу. Любовь моя столь же невинна и божественна, как и ее предмет.

Но я не могу удержаться от страшного волнения, когда вспоминаю, что я потерял тебя навсегда, что я буду только свидетелем чужого счастья, что ты забудешь обо мне; часто в одну и ту же минуту я молю бога, чтобы ты была счастлива, хотя бы и забыла обо мне, и вместе с тем готов закричать, чтобы ты умерла... вместе со мной!...

Правда, моя Мария, ты часто преувеличиваешь мою вину, часто ошибочно понимаешь или не хочешь понять того, что я говорю, не обращаешь внимания на мое положение.

Давно, после первого знакомства, я сказал что-то пренебрежительное об общественном мнении. Как долго ты помнила это! Какое отвратительное и обидное толкование дала моим словам!

Когда по приезде моем в Вильно я не хотел или, вернее, не смел видеться с тобой, я не знаю, как ты это истолковала; но знаю, что не в мою пользу. Не удивительно, что и теперь за все, что я выговорил так быстро, что я произнес в диком увлечении, чтобы обидеть тебя (признаюсь и в этом), чтобы отомстить тебе за злые часто шутки, — не удивительно, что ты меня за это сейчас же осудила.

Злые шутки, любимая Мария! Злые были шутки и часто уязвляющие до глубины души. Ты сказала мне, что я напрасно потерял время на поездку в Вильно, желая мне дать понять, что я был слишком ребячлив, похваляясь перед тобой там, что приехал лишь затем, чтобы повидать тебя.

...Дорогая, единственная моя! Ты не видишь пропасти, над которой мы стоим!»

Когда это удивительное письмо, должно быть куда правдивейшее, чем четвертая часть «Дзядов», приходит в Больценники, графиня Путткамер, только что соскочив с лошади, еще не сняв амазонки, бежит в свою комнату, переодевается, поправляет волосы, свежая, раскрасневшаяся от

резкого ветра; позднее просматривает корреспонденцию, курит трубку, ибо она с недавнего времени подвержена этому пороку, который ей не очень-то к лицу, но который доставляет ей великое наслаждение.

...не видишь пропасти, над которой стоим...

Нет, она видела ее! И совесть непрестанно ее мучила. «Если бы Лаврентий был злой, если бы он бил меня, я была бы счастливее! — размышляет Мария. — Ах, если бы я могла умереть... уснуть навеки...»

Но умереть не так легко. Юность вечно занята думами о смерти, но только в воображении.

И он жил тоже. Взахлеб пил черный кофе, курил чубук, постепенно успокаивался.

Тем временем в Вильно печатался второй томик стихотворений и поэм Адама Мицкевича. В начале мая, когда соловьи самозабвенно выводили свои рулады в Ковенской долине и в виленских садах, в Больценниках и в тугановическом парке, друзья поэта разрезали страницы новых экземпляров «Гражины» и «Дзядов».

РАЗБОЙНИЧЬИ РОМАНЫ

А книжки светские ты тоже любишь все же...

Ах, эти книжки! Сколько зла, безбожья!

Новый литературный жанр не является только новым сочетанием слов, новой комбинацией образов, идей и понятий. Нет, возникновение нового жанра похоже на открытие дотоле неведомой страны. Страна, в которую впервые вступал теперь молодой Мицкевич, была таинственной, как ночь.

Днем все формы и контуры определенно и резко очерчены. Днем все предметы нерушимо стоят на своих местах. Вот таким днем и была поэзия классиков. День этот состоял из определенного числа часов, порядок их был установлен заранее. Однако в новооткрытой стране время не было размерено с такой же точностью. Каждое слово как бы отбрасывало тень, и тени эти ползли неведомо куда.

Впечатление таинственности, возникающее при чтении иных немецких баллад, было настолько сильным, что их непроизвольно хотелось сравнить с неким озером в сумерки или ночью.

Где же еще могла происходить драма рыбака из стихотворения Гёте, если не над Свитезью в лунную ночь?

Только теперь ковенский учитель увидел это озеро, на которое, впрочем, не раз смотрел уже, но смотрел-то иными глазами, трезвым взором человека, для которого самым естественным светом является солнечный свет. Но в этот миг он взирал на него иначе. Была ночь, ясная, но ветреная. Покой озера был нарушен. Поверхность его в некотором отдалении от берегов лоснилась и поблескивала, как будто бы там разлили кипящий расплавленный металл; поближе к берегу кипели черные волны; брызги падали на берег. Почему он прежде не замечал великолепия этой стихии?

Трембецкий воспевал своим нерушимым александрийским стихом каскады в садах Софьи Потоцкой, каскады, взнузданные камнем благодаря прилежному труду и непреклонной воле человека. «Послушной нимфой исполнен был приказ».

Мицкевичу был по душе этот стих, достойный Расина. Страна, в

которую он входил теперь, явно высмеивала человеческую изобретательность и трудолюбие. Есть красота уничтожения, и есть красота созидания. В той картине, которая простиралась перед ним, было больше разрушительной стихии, чем в пожаре Новогрудка, каким это событие запомнилось ему, тогда еще ребенку.

Пламя истребило тогда только дела рук человеческих и людской скарб, а этот новый, нынешний пожар грозил уничтожить привычные категории, пространства и времени, доселе столь же ясные и четкие, как поэтические рецепты Горация и Буало.

Он возвратился домой, зажег свечу, взглянул на часы. Был двенадцатый час. Сколько раз он зажигал и гасил ее, равнодушно задувая огонь! Теперь он увидел в кругу ее тени таинственную прелесть. Фитилек, воткнутый в восковую массу, давал жалкий свет, едва достаточный, чтобы можно было полистать книгу, настроичить письмо или подготовиться к лекции.

Доселе он и не думал о том, что красота является чем-то условным. Существует она только тогда, когда ее замечают. Варвар, который в поднятом со дна морского изваянии Венеры видел только мраморную глыбу, не более примитивен, чем мы, равнодушно проходящие мимо предметов, для которых искусство и поэзия еще не придумали названий, которых они еще не умеют назвать. Мы не предчувствуем даже, что они могут таить в себе нечто большее, чем то, что мы знаем о них из повседневного опыта. Человеческая способность к восприятию бытия растет одновременно вглубь и вширь, одинаково объемля пространство и время.

Тот, кто первый в литовских лесах вырезал на древесной коре сердце, пронзенное стрелой, был великим поэтом. Иероглифы наших треволнений и стремлений изменяются не потому, что мы жаждем их изменить, а потому, что они перестают хоть что-то говорить нам.

Мы непрестанно движемся, приближаясь к некоему очередному горизонту наших понятий, чтобы потом пересечь и оставить за собой эту воображаемую линию и очутиться перед новым горизонтом в полном изумлении, что мир не кончается, не имеет предела.

Когда Мицкевич слагал стихотворение «Первоцвет», он еще не слишком отошел от тех сентиментальных виршей Карпинского, которые знал наизусть. «Ах, Марыля, добрый гений», которая вошла в эти стихи вместо Лауры или Коринны, была единственной новостью, хотя старый поэт эпохи Станислава порой умел пойти и дальше, в той, например, строфе, которую можно повторять непрестанно, без усталости, желая доброй

ночи:

Доброй вам ночи,
Перси и плечи,
Ясные очи,
Сладкие речи.

Это было куда более чувственно и, пожалуй, куда более правдиво, чем возносящиеся к небесам сентиментальные вздохи.

Даже стихотворение «Романтика», хотя оно и содержало в себе программу поэта и даже полемику с ученым старцем, еще несло на себе явную печать сентиментализма.

Но хотя это и так, лексика этого стихотворения была куда разговорнее, проще, обиходнее, чем это было принято прежде, была словно подслушана из уст народных.

Были там такие обороты, от которых у классиков вставляли волосы дыбом: «Девушка мелет чушь в исступленьи...» Классицистам казалось, что сам поэт мелет чушь, а он только изъяснялся так, как изъяснялись его окружающие.

Да, он был ужасно грубым и невоспитанным и никак не мог импонировать образцово-показательным варшавским поэтам.

В «Свитезянке», пожалуй, он зашел ненамного дальше в этом направлении, но охотнику придал чувства, неведомые пасторальным Лаурам и Филонам, — более человеческие, более гармонирующие с дикой природой, которая не имела ничего общего со слащавым и подстриженным пейзажем идиллии, в духе которой он и слагал свою изумительную мрачную балладу.

Пышные, хотя тяжеловесные и скованные, обороты Трембецкого вступают здесь в противоречие с небывалой окрыленностью, не знакомой прежде польскому языку, с неожиданным и мощным синтаксисом, способным изобразить кипение озерных волн и появление девы, поднимающейся из вод.

Мицкевич оживил пастушков и пастушек, влил им в жилы свою клокочущую кровь, вложил им в грудь живые сердца, повелел им издавать жалобы голосом, пробирающим до костей, ибо человеческим и человеческим.

Вместе с ними ожила природа. Уже в балладу «Люблю я!», где немало пасторальных строк, вторглась «заросль густая», и призрачность

романтической ночи, и «сруб колокольни», а в примечаниях к балладе мы находим несколько оборотов, которые выдержаны почти в стиле отчета или дневника: автор вдруг настолько приближается к нам, что мы уже готовы трактовать его творение чуть ли не как частное письмо к друзьям.

Однако это не так. Разбивая каноны одного стиля, он подменял его другим, отнюдь не менее отдаленным, несмотря на усиленное сближение, от непрерывно, непрестанно струящегося потока того сырого материала, который зовется жизнью и временем.

Те, которые забывают о простейшем обстоятельстве, что поэзия по необходимости пользуется знаками, иероглифами, которые отнюдь не тождественны жизни и времени, как таковым, готовы сию же минуту подставить на место Свитезянки госпожу Ковальскую, на место Марыли из той или иной баллады Марию Верещак, не замечая, что в бессмысленной жажде сближения не покрывающих друг друга образов они путают и смешивают сугубо несоизмеримые величины.

Отсюда и горькое разочарование всех тех, которые, рассматривая миниатюру, изображающую барышню Верещак, говорят: «Так, стало быть, вот как она выглядела?»

До нас не дошел портрет супруги доктора Ковальского. Но если бы он дошел до нас, мы бы тоже дивились, как могла эта полнотелая Венера Ковенская превратиться в искусительницу из озерных вод и неужели, «волн чуть касаясь стройной стопой, радугой в озеро канув, брызги рассыпав дерзкой рукой, мчится она средь туманов»?!

Когда в определенном периоде исследований жизни поэта, или, назовем это грубее, на определенном этапе развития альковной сплетни, которая выдает себя за науку, утверждалось, что записочка Марыли, где она назначает свидание: «В 12 ночи, там, где меня оцарапала ветка...», — относится не к прощанию, а только к одной из встреч в какой-то рощице в Тугановичах или р Больценниках, биографы были буквально ошарашены и повергнуты в горестное изумление. Однако вскоре они нашли выход из создавшегося положения и отнесли к этой проникнутой снобизмом записочке позднейший сонет поэта: «Свидание в лесу».

Так, например, строка:

Дай руку мне, позволь, я ножку поцелую...

по их мнению, говорит о ручках панночки Верещак и о ее ножке, которую несмелый, робкий обожатель хочет, но не смеет поцеловать, ибо

тогдашнее высоконравственное отношение к любовным делам не позволяет ему этого...

И грех ли вместе быть с возлюбленным своим?
Я так почтителен, я говорю так мало.
Так на тебя гляжу, земной мой херувим,
Как будто ангела мне небо ниспослало.

В этом стихотворении стараются не замечать возвратной волны сентиментализма, чистейшей условности, не имеющей ничего общего с так называемой действительностью. Но путем изъятия персонажей любовной драмы из рамок сугубо условного сонета и подмены их реальными лицами с хорошо известными именами и фамилиями совершенно неожиданно достигается комический эффект, которого сам автор никоим образом не имел в виду.

Изготовление живых картин из творений великих мастеров живописи никогда не удастся: фигуры Рембрандта или Брейгеля не имеют рук, которые можно пожать; их написанные на холсте женщины не имеют ног и грудей, которые можно было бы поцеловать. И слава богу, что не имеют!

Молодой Мицкевич, разрушая каноны сентиментально-классической поэтики в этой первой ковенско-виленской эпохе своего творчества, не был, да и не мог быть последовательным, — его пристрастие к привычным ему формам ежеминутно сталкивалось с новой любовью, великолепные образцы которой, уже остывающие и блекнущие на родине поэтов, которые их создали, очаровывали его и принуждали изменить лексический строй психологической метафоры.

В ранней его балладе «Тукай» драма Фауста упрощена и представлена куда более банальной, ее даже и сравнивать нельзя с прообразом, но пейзаж, который неожиданно в ней возникает, хранит еще в себе влажное дыхание и дикие чары литовской глуши:

Путь среди болот змеится,
Полон скрытого значенья,
Мимо зарослей Гнилицы,
Вдоль Колдычева теченья,
Где темнеет снизу пуща,
Темно-хмурая дуброва,
Где приветствует идущих

Головой гора Зярнова...

В «Лилиях» уже не только природа, но и человеческие поступки, нравственные метафоры приобретают жизненность, которая как бы взрывает оковы стихотворного размера. Но именно этот короткий размер ускоряет бег времени и бег событий.

Юмором так и искрится «Пани Твардовская» — баллада, вся даже раздумывавшаяся от примет здешних, тутошних, шляхетских; баллада, которая так далеко за собой оставляет надуманного и недодуманного «Тукая».

А в некий час боязнь чрезмерной новизны и привязанность к увядающей прелести заставляют поэта возвратиться на мгновение к бубнам и пищалкам «Певца».

В сонете «Воспоминание» вместо Марии появляется Лаура. Удивления достойно, что до сих пор корифеи альковного литературоведения не попытались выяснить, кому именно принадлежали данные волосы и груди: барышне Марыле или пани Ковальской?

Но даже в произведениях, писанных по всем шаблонам классицизма, внезапно возникают образы и картины в новом великолепном и мрачном стиле романтиков. Ученая поэма «Шашки», посвященная Францишку Малевскому, завершается необычайным видением, описанным языком, насыщенным всеми ядами романтической школы:

В пустынной келье дни я проводил и ночи,
Бессонные во мрак вперив уныло очи.
Однажды в час, когда становится слабей
Огонь свечи, вдруг луч рассек толпу теней.
Остолбнев, гляжу, своим глазам не верю:
Я вижу ангела, стоящего у двери.
О боже благостный, да это же она!
В лучистой мгле волос и, как заря, бледна,
Одета в облачко, с нагрудной розой алой,
Она передо мной в волнении стояла.
Я видел так ее, как ныне вижу вас.
Была такую же, такую столько раз
Я любовался встарь, — божественней, пожалуй,
Прекрасней быть нельзя. С минуту постояла
И тихо к столику направила свой шаг.

Глазами встретились мы с ней, и близко так
Друг к другу лицами мы были и сердцами!
Так близко! Лишь доска лежала между нами.
С тех пор благой господь мне в предрассветный час
Явленье чудное ниспосылал не раз...

Разумеется, тональность этих стихов еще напоминает романы баронессы Крюденер, а, впрочем, как знать, может быть, и Фабрицио дель Донго в своей Пармской обители был бы очарован этой картиной.

Но обожествление возлюбленной отразилось уже в «Гимне на день благовещения Пречистой Девы Марии» с великолепной в своем жизнелюбии последней строфой, подобной удару грома.

Все усложняется внутренняя жизнь поэта, — в «Пловце» («О море бытия») шекспировский Гамлет перемежает свои медитации с байроническими жалобами. Это произведение, написанное в апреле 1821 года, еще не сгармонировано с написанным на год раньше стихотворением «Прочь с глаз моих!..».

Потрясающая психологическая правда этого стихотворения «К. М....» («Прочь с глаз моих!..») концентрируется в перечислении фактов, из которых каждый имеет особое значение и иной особый тон, а все оно в целом проникнуто выражением все той же любовной муки.

Тень, теперь уже не только силуэт, что на стене комнаты повторяет движения человека, как в послесловии к балладе «Люблю я!», нет, теперь она является метафорой памяти:

Чем дальше тень, тем кажется длиннее,
И темный круг ее ложится шире;
Чем дальше я, тем горе все сильнее, —
Ты не найдешь отрады в целом мире.

В этих стихах все к услугам правды переживаний поэта: сухая груша, шелестящая в саду, и летучая зарница во тьме ночной, и шахматы, и камни, и книга, и свеча.

Слова смолкают, переступая порог этого стихотворения, но за тишиной их стоит вселенский гомон, стоят речи и клятвы всех влюбленных во всей вселенной.

Можно точно проследить, как по мере расширения круга чтения

расширяется кругозор молодого поэта. Он читал, а не почитывал, — читал Шиллера, Байрона, Гёте, — и книги, без преувеличения, то уносили его в поля блаженных, то низвергали в геенну огненную.

Францишек Малевский, который присылал поэту книги из Вильно в Ковно, что-то все мешкал с присылкой «Вертера». Он хотел, чтобы поэт читал «Энеиду». И был на сей раз недурным психологом, — он страшился, что чтение горестного романа Гёте разбередит только любовные раны друга.

Когда Мицкевич прочел «Страдания молодого Вертера», он почувствовал, что распахивается замкнутая дотопе в его груди Книга Вещей и Дел, которой он, должно быть, не раскрыл бы никогда, если бы не таинственное прикосновение чужеземного поэта.

Он читал эту книгу не так, как читают роман о чужой жизни — с интересом, но в то же время и с ощущением дистанции, которая позволяет воспринимать чужие переживания не всецело как собственные и вследствие этого не испытывать боли, идя только путем сравнений, путем аналогии, отнюдь не отождествляя себя с чуждым опытом.

Так, человек, следящий за игрой в шашки, хотя и принимает участие в победах и поражениях игроков, воспринимает их все-таки иначе, чем его друзья, непосредственно заинтересованные в исходе партии. Он не читал запоем, нет, он не раз прерывал чтение на половине фразы. Прерывал потому, что чувства и образы перехватывали дыхание в его груди и умножались в его воображении.

Он закрывал книгу, задувал свечу и шел, быстро шел по аллее, знакомой ему до последнего бугорка; шел, как будто принужденный к усиленному движению слишком уж разыгравшейся сумятицей понятий.

Тот, кто теперь столкнулся бы с ним лицом к лицу, увидел бы молодого человека среднего роста, чуть косолапого, как злорадно подметили его приятели филоматы.

Его лицо, резко очерченное, ясно видимое в это мгновение в лунном свете, выдавало примесь чуждых черт — то ли литовских, то ли финских. Растрепанные темные волосы, низкий лоб, глубоко посаженные глаза дополняли портрет молодого человека, портрет, который не привлекал внимания ничем необычным.

А поутру мы увидим его беседующим с двумя соседскими ребятами на берегу узенького ручейка; мостки, переброшенные через этот ручеек, соединяли две лужайки, покрытые буйной растительностью, еще мокрой от вешней росы.

«Поразительно, — подумал молодой человек, — до чего мной

овладела эта книга. Я гляжу на все ее очами. Может быть, поэтому охотно беседую теперь с детьми. Просто поверить невозможно, что язык этот есть обиходная речь коммерсантов, счетоводов, чиновников, педантов, прусской солдатни, язык Фридриха Великого! Или торжественные и скорбные фразы Жана Поля». Ничего подобного не было тогда на польском языке.

Возвратившись домой, он перечитал вступление, которое, верно, знал уже наизусть:

«Я снял все траурные погребальные покровы, возлежавшие на гробах, я заглушил величавое утешение всепрощающих речей, чтобы только вновь и вновь повторять себе: «Ах, ведь все это было не так! Тысячи радостей навеки сброшены в бездну, и вот ты стоишь одиноко здесь и вспоминаешь их! Страждущий! Страждущий! Не читай сразу всей разорванной книги прошлого. Не довольно ли скорби?»

Мощные периоды оригинала невозможно было, однако, воспроизвести на ином языке. Они утрачивали звучание торжественное и единственное потому, быть может, что для поляка каждое из этих выражений, не употребляемое в повседневном жите-бытье, было однократным, помещенным только тут, раз навсегда, ради того только, чтобы выразить это ощущение, столь будничное и столь неповторимое.

Но роман Гёте, хотя в нем и не было столь же печальных периодов, хотя фразы его были куда проще, дышал искренностью, чем и превосходил даже эту величественную и скорбную рапсодию Жана Поля.

Больше всего изумляет здесь то ни с чем не сравнимое мгновение, когда печатное слово на глазах у читателя превращается в нечто более живое, чем сама жизнь, в нечто во сто крат приумножающее могущество этой жизни. И не равна ли, спрашивал он сам себя, роль поэта роли всемогущего творца?

И когда он писал четвертую часть «Дядюв», исправляя и очищая тот мощный монолог, который на фоне современной ему польской словесности казался чудищем из краев неведомых, но, по сути дела, неразрывно сросся со здешней жизнью, бытом, укладом общественных отношений, а поэма эта исполнена такой словесной мощи, что от некоторых мест ее современников бросало в жар и холод, — так вот, слагая эту поэму, Мицкевич советовался с друзьями, требовал от них критических замечаний, даже вымаливал их, ибо он все еще колебался по поводу некоторых выражений и, как и пристало выученику классицистов XVIII века, был в этих делах педантичен до мелочности и бдителен до чрезвычайности. К тому же тогдашняя цензура отличалась редкой придирчивостью и неусыпностью.

Техника, способы работы, трактовка словесного материала у Мицкевича даже в этом, самом что ни на есть архиромантическом жанре остались в сфере поэтики классицизма. Воображение его было уже романтическим несколько не в меньшей мере, чем у поэтов романтической школы.

Мысль довести Густава до дома священника с веточкой каштана, превращающейся мгновенно в свете молний в кипарисовую ветвь; сплетение ее с волосами любимой — все это достойно было позднейшего исступленного романтика, пожалуй, единственного французского романтика Исидора Дюкасса, который писал под псевдонимом граф де Лотреамон и который, слагая спустя десять лет после смерти Мицкевича свои «Песни Мальдорора», недаром сослался на «Импровизацию» Конрада; однако нигде Мицкевич не порывает с нормальным синтаксисом, с величайшей тщательностью придерживается естественной логики фразы в противоположность немецким романтическим поэтам, в программу которых входило стремление по возможности затуманить логический смысл, чтобы тем яснее выступила на поверхность экспрессия чувства.

Они мечтали о стихах, в которых лишь одна или две строчки были бы понятны на фоне иных, логический смысл которых был бы по возможности затуманен.

У Мицкевича в иные мгновения особенного неистовства чувств наступает нечто вроде помутнения зримой поверхности его слога. Есть в излияниях Густава отдельные места, которые лишь с виду имеют некий определенный смысл. А по сути дела, они погружены в горячечный бред.

Классицист, глубоко засевавший в душе Мицкевича, приказывает ему, однако, оправдать эти отрывки сходством со сновидением. По возможности оправдать безумием Густава. Партнер его, священник, чаще всего изъясняется спокойным и уравновешенным тринадцатисложником, как это и приличествует сыну просвещенного века.

Введение этой фигуры было, собственно, уступкой в пользу здравого смысла той эпохи, которая стояла у колыбели Мицкевича и позднее руководила с кафедр Виленского университета учеными занятиями юного стихотворца. Благодаря такой рационалистической оправке эту неистовую поэму смог бы понять даже Каэтан Козьян, если бы обладал доброй волей и набрался терпения; впрочем, только понять, но отнюдь не простить.

Поправки, которые вводил Мицкевич в свою свеженаписанную поэму — чернила которой еще не просохли, — марая бумагу, наскоро царапая,

подобно Тукаю из баллады, гусиным пером, остервенело, яростно, свирепо, как если бы тут дело шло о жизни и смерти, поправки эти умеряли неистовство первого порыва. Неистовство это было и во второй части «Дзядов», которая является отчасти морализирующей притчей, отчасти фантастической оперой. Поучения призраков западают в память глубоко, приходят откуда-то издалека, как будто и впрямь с того света. Адское видение злого пана, истязаемого мужиками, превращенными в хищных птиц, было протестом против феодального уклада на Литве, протестом куда более сильным, чем все статейки «Уличных известий».

Обжигающая горечь сочетается в этой поэме со сладостью детской невинности, два горчичных зернышка заключают в себе зрелую мудрость взрослых.

Ад, чистилище, рай в языческом белорусском обряде, показанные в сиянии пылающей водки; заклятья, взятые прямо из уст Литовской Руси. И со всем этим абсолютно реалистическим образом связаны любовные переживания поэта...

Немного тут осталось от чтения «Вертера».

Одно из первых польских романтических творений завещало польскому романтизму особый путь, сочетая реальность с фантастикой в пропорциях, неведомых ни в каких иных краях.

*

После выхода второго тома как классики, так и романтики в Варшаве спрашивали: почему в «Дзядях» есть вторая и четвертая части, куда же подевались первая и третья? Первая была, но в отрывках.

*

Ян Чечот первымзнакомился с этими разрозненными фрагментами «Дзядов», которые позднее были изданы по посмертным рукописям и последовательность которых не вполне ясна. Читал так, как никто после него.

Творение в рукописи, едва просохшие строки, с помарками и

поправками, производит совершенно иное впечатление, чем то же самое сочинение в печатном виде. Тем более если лично знаешь автора, если считаешь его своим закадычным другом, если всю мифологию поэмы вместе с ее топографией тебе ничего не стоит расшифровать; в таком случае поэма влияет и воспринимается совершенно по-иному, еще не покрытая той тенью таинственности, в которую могущество печати облекает написанное от руки слово, когда отчуждение и отдаление создают новую перспективу и придают иной оттенок смыслу.

Впрочем, эта вторая, окончательная форма, конечно, является более совершенной в выражениях.

*

Чечот не был орлом, не было у него орлиных крыльев, да к тому же у него слишком на слуху была поэзия классицизирующих краснобаев, чтобы он мог воспринять эту фантастическую поэму, которой автор ее придавал особый вес. А ведь Мицкевич до такой степени ценил ее и относился к ней с таким уважением, что страшился, не будучи в ударе, продолжать ее или объяснять вставками. Каждая подробность в отдельности была Чечоту отлично известна и не представляла трудностей. Девушка, Охотник, Старец и Ребенок, Хор юношей — все это, особенно после второй и четвертой частей, не было темно и непостижимо.

Он знал, конечно, что творения романтические нельзя читать так, как читаются вирши Трембецкого или Князьнина. Таинственный полумрак, который их окутывает, является неотъемлемым свойством новой поэтики — так Чечот, несколько по-простецки объяснял самому себе. А вот оды Козьяна или басни Красицкого, напротив, как бы залиты солнечным светом!

Девушка читает роман баронессы Крюденер. Ну что ж, теперь я знаю имя героини. Зеркало и свеча,

конечно же, еще сыграют какую-то магическую роль в дальнейшей части поэмы. Перед зеркалом стоит, однако, замороженный юноша. Кто же такой Черный Охотник?

Густав

Мне помощь не нужна в ночи от первых
встречных,

И речь о чем ведешь — мне трудно догадаться.

Охотник

Ну что ж! Понятнее я буду изъясняться.

*

Ян Чечот принадлежит, пожалуй, к наиболее понятливым читателям «Дзядов», и все-таки от его внимания ускользает магия времени, олицетворениями которого являются все персонажи этой драмы. Не вполне ясно постигает он причину смертельного поцелуя замороженного юноши. Не ведает, сколько отчаяния в этой балладе об окаменелом.

Истинным поэтическим шедеврам присуще изумительное и обаятельное свойство: со временем они проясняются, выявляя все новые или только все более полные значения; смысловые тонкости, погруженные прежде в полумрак.

Чечот смутно ощущал, что в этой поэзии смысл никогда не был однозначным и что вообще предметы и люди перерастали здесь рамки своих обыденных ролей, что персонажи выходят за пределы ролей, которые им предназначены в жизни, исходя из их принадлежности к определенному сословию, из свойственного им рода занятий.

Охотник не был тут обычным охотником. Камень не был только камнем, зеркало — только зеркалом. Чечот дивился многократности этих значений, но ведь он не знал, не мог знать, что в них зарождается новый поэтический век. Его поразило, однако, нечто иное, гораздо более близкое привычкам и вкусам тогдашних читателей стихов. Несравненная гармония этих строф, как бы заключенных в хрусталь, благозвучие их настолько полное, что, казалось, идеям и мыслям поэмы аккомпанирует некая приглушенная музыка.

«Это лучше, чем Байрон», — внезапно подумал Чечот и, сам не зная почему, ощутил, как в нем подымается гнев. Отложил рукопись, прошелся несколько раз по комнате и, уже успокоенный и безмятежный, вернулся снова к чтению. Только теперь прочел вслух монолог Девушки:

Свеча недобрая! Некстати догорела.

Могу ль теперь уснуть? Дочесть я не успела...

«Вот и я не могу уснуть». И в эту ночь Ян Чечот так и не сомкнул глаз.

*

Когда Мицкевич показал старательно переписанную увесистую тетрадь своих стихотворений и поэм профессору Боровскому, тот похвалил только «Гражину». Поэма эта не отклонялась слишком далеко от классических образцов. То, что в ней было свежим и живым: язык, обороты, более простые и естественные, чем это допускала классическая эlegantность, — все это, безусловно, в глазах профессора не было, достоинством поэмы.

Мицкевич начал свои попытки в эпическом роде с перевода «Орлеанской девственницы» Вольтера; пробовал свои силы также в сочинениях «Мешко, князь Новогрудка» и «Жывила». Но этим робким сочинениям было еще очень далеко до Гомера.

И, однако, истинно гомеровской является в «Гражине» верность жизни. Простота героев этой литовской поэмы, простонародный язык их казались в те дни воистину сенсационным событием после напыщенных творений вроде «Ягеллониды» Томашевского^[57].

Своей пластичностью «Гражина» превосходит «Конрада Валленрода», созданного несколько позднее и затрагивающего родственную, историческую тему.

Если пластику поэмы в иных частях ее мы можем сравнить с пластикой грубо вытесанных изваяний, то в других ее частях это пластичность картин, выдержанных в темном колорите и не омраченных, однако, а вопреки слабому освещению набросанных с необычайной интенсивностью, как, например, вот в этой строфе, проясненной до предела каждого значения:

Кто при луне закончить путь спешит?
За тенью тень ветвистая бежит,
И топот слышен, — верно, это кони,
И что-то блещет, — верно, это брони.

И словно в виде группы конных скульптур моделирован, в свою очередь, образ вечной готовности литовских воинов:

Иль не довольно Витольд на коне
Держал Литву? Навеки ль, в самом деле,
Кольчуги наши приросли к спине,
Ко лбу заклепки шлема прикипели?

Ненависть к крестоносцам, которая в двусмысленной аллегории «Конрада Валленрода» получит более глубокое выражение, уже тут, в «Гражине», прорывается с такой непосредственностью, что она не раз в истории Польши новейших времен служила нации, словно надпись, выбитая на камне, с вечной силой и правдой выражения, будто *memento*, непрестанно обновляемое историей.

И, однако, это точное определение Германской империи не было результатом непосредственной ненависти, которая рождается в столкновении с бесчеловечным террором врага. Оно возникло благодаря чувству эпохи, благодаря историческому реализму. Но история позднейших лет, поднося свое разбитое зеркало к страницам поэмы, отразила их на своей неровной поверхности, изламывая ее смысл своими полными ужаса событиями.

Когда зеркало в руках строгой наставницы народов Клио трепещет, этот трепет передается также и поэзии.

В «Гражине» в большей степени, чем в «Валленроде», классическая ясность сочеталась с романтическим полумраком.

По сути дела, вопреки иным воззрениям появление ее вместе с «Дзядами» во втором томике не создавало дисгармонии. Романтичность «Гражины» была более глубоко скрытой, более потаенной, но не менее выразительной.

Поэзия Мицкевича в те дни с каждым месяцем становилась все глубже. Фантазия его насыщается чтением великих поэтов.

Слушая песни немцев-сплавщиков с Вилии, он размышляет о корсарах Байрона, в окрестных корчмах он узнает персонажей из шекспировских драм.

Переводит несколько фрагментов из «Гяура» Байрона и несколько сцен из «Дон Карлоса» Шиллера, продирается с увесистым лексиконом сквозь шекспировские дебри, — ведь романтики признавали великого англичанина своим.

Ослепленный этими чужеземными сокровищами, он с чувством соболезнования взирает на отсталость большинства польских литераторов, которые еще вязнут в канонах классической школы. А они в то же время

смотрят на него свысока и ни во что не ставят его поэзию. Так, например, Ян Ходзько, автор «Пана Яна из Свислочи», считал «Баллады» и «Дзяды» сочинением неудачным и даже смехотворным.

Еще в то время, когда Мицкевич готовил к печати первый том своих стихотворений, Ян Снядецкий с яростной иронией нанес удар по чарам и суевериям романтизма, критикуя анемичные, правда, рассуждения Бродзинского^[58]. Устами знаменитого профессора гласило само Просвещение. Он метил в немецкий романтизм, в котором видел угрозу прогрессу, обращение вспять, к средневековью.

Дело, однако, было куда сложнее, чем это представлялось ученому.

В салонах томик Мицкевича был встречен хохотом и возмущением. Отчим Словацкого, господин Бекю^[59], повторял «а кыш, а кыш» с таким акцентом и выражением лица, что все общество падало со смеху. Юлиуш, будущий поэт, а тогда совсем еще мальчик, расплакался от стыда. Осинский^[60] и Козьян высмеивали темные или простонародные выражения этой новоявленной поэзии.

А ведь сила этих творений была именно в языке, в речи — не книжной, но живой; она естественно входила в стихотворный размер, в размеры, отшлифованные и вылизанные прежними, старинными, давними поэтами и входила она совсем не так, как входит бедная родственница в дом богача.

Вносила свой неповторимый дар: молодость, свежесть.

Поэзия эта не обращала внимания на предписания «хорошего вкуса»; простонародные выражения, порою редкие, но вразумительные, она ставила на место выражений истертых, обкатанных и гладких.

Эта поэзия была наивна и проста, как народ, она разделяла его несчастья, его предрассудки и его силу, не приглаженную воспитанием.

Она умела перевоплощать даже тогда, когда казалось, что она черпает прямо из народного источника. Такого поминального обряда «Дзядов», как в поэме, не было на Литовской Руси.

Несколько строк из народной баллады выросли в «Лилиях» в нравственную драму.

Романтики были мастерами творить в народном духе. При этом они нередко шли на невинные фальсификации. Так, Брентано выдумал романс о Лорелее и выдал его за создание народного воображения.

Нередкая в романтической поэзии приписка: «Из народной поэзии», «На мотив народной песни», — отнюдь еще не означает подлинной зависимости от песен народа.

В Польше, где народ еще влачил ярмо феодализма, поэзия молодого ковенского учителя пролагала дорогу к признанию прав крестьянина, к признанию его прав гражданства в сфере общественного самосознания.

Поэзия эта вопреки пронзительным жалобам Густава и общему сумрачному колориту вовсе не была проникнута пессимизмом.

Густав не кончил смертью в дословном, реальном смысле, как Вертер, в стране, где разочарование зажиточных слоев после разложения феодального строя искало выхода в сферах потусторонних, не подчиненных законам экономики и вообще не имеющих ничего общего со здравым рассудком.

Густав бунтует против ясновельможных панов, против тирании червонца и титула.

«Ода к молодости», ходившая в списках, открыто призывала ответить силой на силу.

Простой человек, мужик, охотник, девушка из «Рыбки» или «Романтики» добиваются прав сердца, права свободно жить полной жизнью.

В фольварках оценил меня привратниц вкус,
Пока нет лучших книг — в поместьях я ценюсь,—

шутил позднее поэт.

ПРОЦЕСС

Все началось с полнейших пустяков. «В четвертом классе Виленской гимназии, — как сообщает мемуарист Эдвард Массальский, — какой-то сопляк, кажется Плятер, после ухода одного из преподавателей, прежде чем вошел следующий его коллега, громко скрипя мелом по доске, написал: «Виват Констанция». Другой, если не ошибаюсь Чехович^[61], исправил: вместо «Констанция» — «Конституция»; третий прибавил на конце восклицательный знак, четвертый снова что-то там поправил, кажется, приписал фразу: «Ах, что за сладостное воспоминание!»; кто-то другой прибавил «для поляков». Университетское начальство, которому подчинялась гимназия, посадило учеников, замешанных в истории, на трое суток под арест на хлеб и воду. Тем временем множатся надписи мелом на стенах монастыря отцов доминиканцев, где была бурса, то есть ученическое общежитие. Орфография их явно выдает руку провокатора: «ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОНСТИТУЦИЯ, СМЕРТЬ ДИСПОТАМ!»

Следственная комиссия, в которую вошли Пеликан, Байков, Шлыков, Лавринович, Ботвинко^[62], начала действовать под председательством сенатора Новосильцева.

Ректор Твардовский, невзирая на его явное пресмыкательство перед властями, был взят под арест. Его императорское высочество великий князь Константин требовал действий стремительных и беспощадных. Начались усиленные поиски отягчающих обстоятельств.

Эти пресловутые отягчающие обстоятельства выискивались даже в ученических тетрадках. Ректор Твардовский, выпущенный тем временем из-под стражи, должен был пространно изложить принципы своего метода обучения. Но именно этот сократовский метод — метод вопросов и ответов — пришелся властям не по вкусу. Бедные мальчуганы, авторы злосчастной надписи мелом на школьной доске, этой «Конституции третьего мая», переделанной из «Констанции», пошли в солдаты. Они так и не вернулись из изгнания. Новосильцев действовал хитроумно и в то же время цинично. «Природа обидела этого человека, — пишет о сенаторе в своих воспоминаниях Анна Потоцкая, — как бы желая, чтобы отталкивающее выражение его лица служило предостережением тем, которых его ловкость и двоедушие могли ввести в заблуждение. Он косил самым невероятным образом, и когда один его глаз, глядел ласкательно, другой пронизывал до

глубины души, проникая в самую суть помыслов, которую хотели скрыть от него...» В эпоху процесса филаретов Новосильцев, в прошлом выдающийся государственный деятель, начинает явно опускаться. Зачастую он допивается до положения риз. Тогда лицо сенатора, некогда известного в Европе дипломата, багровеет, а из уст его вырывается невнятное бормотание. Пьяницей, распутником и азартным картежником был доктор Пеликан, новосильцевский наушник и прихлебатель; доктор Бекю был раболепным низкопоклонником. Байков, один из главных советников сенатора, — отъявленным садистом. Дневник, оставленный им, необычайно занятен. Байков в нем попросту оголяется, явно не отдавая себе отчета в гнусности автопортрета, которым он себя увековечил. Описывая следствие по делу декабриста Кюхельбекера^[63], Байков отмечает: «Сенатор был совершенно пьян во время, следствия... Сенатор упился нынче до бесчувствия... несколько раз валился в канаву. Грязного и помятого, я уложил его, наконец, в постель». Таких людей присылал царизм на подвластные ему окраины. О них говорили: «Это те, с новосильцевской псарни!»

Первым из филаретов, который попал под арест, был Янковский^[64]. У него нашли антиправительственные статейки и стихи о распутстве Екатерины Второй. Янковский струсил и начал выдавать своих друзей. Тогда пошли дальнейшие аресты. Мицкевича и Зана арестовали 23 октября.

В тюрьме, в базилианском монастыре, «пробудилась жизнь филаретская, — как пишет Игнатий Домейко в своих сильно идеализирующих людей и эпоху позднейших мемуарах. — Днем водили нас в суд, каждого под охраной двух солдат с ружьями, и инквизиторствовали со всем москальским формализмом, с угрозами, хитроумными придирками, прицеплялись к каждому слову, действуя ложью и вымыслами, которые применяются всегда, когда выслеживают преступление; только что не били. Зато по ночам подкупленные нами надзиратели позволяли нам собираться вместе и проводить более веселые часы.....Зана с самого начала держали под стражей в самом дворце, где вела разбирательство комиссия, и безжалостно с ним обходились: он брал на себя ответственность за все, хотя, по сути дела, никакой вины не было. У базилианов сидели: Ян Соболевский, Фрейенд, ксендз Львович, Гедройц, Адам Сузин^[65], Александр Ходзько и другие ученики Зана... Полночь бывала для нас восходом солнца, мы собирались в келье Адама и до рассвета проводили ночь в тихой, но не печальной беседе. Фрейенд устраивал чай и смешил нас... В той же келье на Новый год читал нам

Адам свое прекрасное стихотворение «Скончался старый год...», а с заутрени в ночь рождества господня долетело до нас сопровождаемое далеким органом приглушенное песнопение «Грядите, пастыри...».

Случилось также, что однажды ночью, в первом часу, полицмейстеру взбрело в голову посетить наше узилище, а мы, собравшись в келье Адама, преспокойно пили чай; и вдруг — шум в коридоре, бряцание ключей и ружей; перепуганный унтер сделал вид, что сразу не смог отыскать ключ от дверей, ведущих в наш коридор; полицмейстер чуть не лопнул от ярости, но мы воспользовались замешательством, и в момент, когда высадили двери, каждый был уже на своей койке и задул свечу, а при дверях каждой кельи уже стоял тюремщик с ружьем навтыжку, словно во фронт перед императором... За все время, проведенное в заключении, Адам, кроме помянутого стихотворения, ничего не писал, но читал много и очень охотно общался с нами, охотно вступал в беседу; порой задумывался и замолкал, но был спокоен». И не только спокоен. «У отцов базилианов я повеселел», — признался он впоследствии. Только поражение ноябрьского восстания представило ему эти минувшие времена в жестоком свете; обратив взор к тем дням, он глядел на них сквозь кровь и слезы миллионов людей, взывающих о спасении. А теперь, во время следствия, он держался бодро, отвечал смело, не поддавался упадку духа и отчаянию. Как будто бы общее несчастье закалило его, отодвинуло в тень сердечные дела.

Из кельи базилианов он смотрел на эти былые сердечные дела, словно с каменной вершины; словно Боннивар, прикованный к колонне в подземелье Шильонского замка, смотрел он на муки первой, неразделенной любви. Звезды, которые он порой видел из окна кельи, мерцали ясно, они будто предвещали ему дальний путь в неведомые края. Стояла полночь. Ясно мерцала Большая Медведица. Алел Марс. Поблескивала Венера-Анадиомена, но острие ее огненной стрелы достигало очей Адама. Его смешили усилия следственной комиссии, которая, стремясь выяснить авторство песенок «лучистых» и филаретов, приказала Мицкевичу и Одынцу записывать их по памяти. Они на скорую руку импровизировали приглаженные и усмирненные, далекие от прежнего вольнолюбия варианты, которые, случалось, пересказывались другим товарищам по заключению; а те на допросе перед комиссией декламировали эти песенки в измененном виде, к вящему изумлению следователей, которые были убеждены, что это импровизации, а нисколько не аутентичные песенки, которые певали юные филареты на свободе. Однако подследственные отвечали весьма ловко и изворотливо, а главное, их ответы вполне совпадали, особого разнобоя в них не было. Но филареты не знали еще, что, собственно говоря, признания

их не возымеют особого влияния на их судьбу, которая была заранее предрешена, поскольку именно такого, а не иного приговора требовала государственная мудрость, представленная Новосильцевым и его сворой.

Тем временем аресты и преследования захватили широкий круг лиц. В Крожах Байков открыл «Общество черных братьев». Янчевский^[66], основатель этого общества, был отдан в солдаты. В Клейданах за расклеивание на стенах листов с надписями два школьника были сосланы на всю жизнь в Нерчинские копи. В Поневеже ученик тамошней школы был подвергнут телесному наказанию за листок все с тем же злосчастным поминанием конституции и сослан в Сибирь. Так это невинное словцо «конституция», начертанное школьной рукой школяра в краю, где все польское в царствование Александра Первого не слишком подавлялось, так это невинное словечко разрослось в символ борьбы за свободу. Его вызвали из-под земли угнетатели.

Но именно этого они и добивались. Интриге подавала руку не останавливающаяся ни перед чем Провокация. Францишка Малевского по требованию великого князя прусские власти выдали в руки царских жандармов. Едва только он был доставлен из Берлина, где проживал ради ученых занятий, как его подверг допросу сам великий князь, который, так и не вытянув из юноши ни одного мало-мальски ценного признания, отослал его Новосильцеву.

В героическую фигуру вырос, правда, один только Зан, тишайший среди филаретов, невинный, как дитя, тот самый «треугольный», как его называли (у него на лоб свисал треугольный клочок); этот «архилучистый» доказал, что для него не было пустым звуком то, что он провозглашал, то, за что он теперь сидел в одиночном заключении, отделенный от товарищей. Но и он отнюдь не был кальдероновским Стойким принцем. Правда, он взял на себя всю вину, желая этим способом спасти друзей, но в признаниях своих, так же как и Малевский, не только утверждает, что общество не ставило перед собой патриотических целей, но даже издевается над этими целями, называя их лживыми. «Мы не творили времени, — очень верно заметил Зан, — время творило нас», «Обо всем добром знаю, — признает дальше «лучистый», — а о злом не ведаю: патриотизм мог быть при этом, но не он был целью наших помыслов и деяний...»

Филареты применяли афоризм Макиавелли: «bisogna esser volpe e leone» (Нужно быть лисой и львом).

Забавно, что проводили его в жизнь романтические влюбленные и рыцари Томаш Зан и Ян Чечот. Мицкевич признания свои сопровождает

припиской, в которой выражает сожаление, что «без необходимости принял было участие в беседах «Общества филаретов». Он всегда ёл осторожен; еще в спокойные времена считал, что беседы и прогулки могут подвергнуть филаретов опасности. Чувство законности было тогда очень сильным. Не чужды его в какой-то мере были даже царские чиновники, которые, впрочем, никогда не останавливались перед тем, чтобы его нарушить. Поэтому Новосильцев столь старательно плел сеть своих интриг. Оппортунизм князя Чарторыйского историки объясняют дальновидной заботой о судьбах нации и о молодежи, но не решаются объяснить таким же образом оппортунизм доктора Бекю. И ведь именно этот неудачливый, невезучий господин, этот злосчастный отчим поэта Словацкого, был сражен молнией небесной, а вовсе не князь Адам Чарторыйский. И как бы мы ни рассматривали жизнь Томаша Зана, он едва ли может показаться кому-либо менее ясным и героичным. Сосланный в Оренбург и затем, после долголетнего изгнания, возвратившийся в отечество, он сохраняет былой юношеский идеализм. Склонность к кроткому мистицизму, склонность, которую развила в нем тюрьма, только возрастает с годами. Киргизские степи и молоко степных кобылиц, которое он пил тогда более десяти лет, сделали его мечтательную натуру еще более мечтательной. Он не проклинал своих преследователей. Глаза его, привычные к бескрайнему кругозору, затуманивались слезами в отчизне, тесной для изгнанника, который вернулся в былые края, но не нашел уже былых людей. В их лицах и душах произошли перемены, несомые временем. Он не мог заснуть под кровом, убежал в поля.

А пока он из узилища своего пишет письма, по-прежнему сентиментальные, Марыле, своей богоравной Пери. «Я зеркало времени, которое для нас только приятно протекло». В келье своей он находит товарища по несчастью — крохотного паучка. И его он тоже как бы озарил своей всеобъемлющей любовью, он, который, как о нем позже скажет Мицкевич, ДАЛ ПРИМЕР ВЕЛИКОЙ ЛЮБВИ.

Выход Томаша Зана из заключения — это выход апостола из римских катакомб. Женщины с платками у глаз и взволнованные мужчины приветствуют Зана и одновременно прощаются с ним, ибо он должен отправиться в дальний путь, на «Кавказскую линию».

Заклученных окружает атмосфера любви и сочувствия в течение всего времени, что они отбывали наказание у базилианов. Из города приходили посылки и книги. Они читают в своих кельях, занимаются, пишут письма и дневники. Приговор, подписанный 14 августа 1824 года, обрекал на высылку из польских губерний десять филоматов и стольких же филаретов.

Зан должен был еще в течение года отбывать наказание в крепости. Чечот и Сузин — в течение полугода.

Мицкевич был выпущен уже 21 апреля — Лелевель взял его на поруки. Поэт вышел из заключения, став сильнее и, пожалуй, даже веселее. Навещал друзей, которые еще сидели в кельях. Импровизировал несколько раз на таких общих сборищах. Но неопределенность дальнейшей судьбы очень удручала его.

Летом того же года он распрощался с Ковальской в Ковно, куда для этого специально ездил. Совершил поездку в Палангу, где впервые в жизни увидел море. После полугодичного заключения он рвался к широким просторам. Его ожидала дальняя дорога, но не та, о которой он мечтал. 25 октября, когда на Антоколе падали листья и ветер крутил флюгеры на башнях, он покинул Вильно вместе с Яном Соболевским, отправившись в принудительное странствие в некие отдаленные губернии Российской империи.

СЕВЕРНАЯ ПАЛЬМИРА

Утром 7 ноября 1824 года после шедшего всю ночь ливня Нева вышла из берегов и с ревом ринулась на приступ. Троекратный пушечный залп с Петропавловской крепости, предупреждающий жителей об опасности, казалось, был сигналом к атаке.

Мутные, вспененные воды хлынули в широкие улицы. До половины второго этажа вздымались волны. Оставшиеся в домах спасались, забираясь на крыши.

Трупы людей и животных, уносимые вместе с вещами, взметаемые на стены домов, разбивающиеся о звенья мостов, принимали в который уже раз слепые удары стихии, которая словно мстила теперь за годы подчиненности и дисциплины, за годы, проведенные в гранитных оковах.

Ночь превратила Северную Пальмиру в некое подобие Ахерона. Стихия немного присмирела, но затишье это казалось более зловещим, чем рокот вод, чем паническое бегство людей и животных, чем жуткий вид всплывающих трупов.

Черные тучи нависали низко, только над морем проглянула синяя, более светлая полоса неба; на нее-то и указывали друг другу испуганные петербуржцы, предрекая еще большую беду.

Но на следующий день вода значительно опала, небо прояснилось и ударил мороз.

Кварталы города, опустошенные вчерашним наводнением, выглядели ужасно. Там и сям валялись вздутые трупы людей и животных. Кое-где наводнение снесло дома, погребая под развалинами жителей, не успевших бежать.

На улицах от Невы до Екатерининского канала водой были залиты первые этажи, картину уничтожения являл собой Васильевский остров.

*

Именно в этот день три литовских изгнанника прибыли в Петербург. То, что для обитателей Петербурга было несчастьем, для них было скорее благоприятным обстоятельством. Чужой город, местопребывание

враждебного им правительства, которое обрекло их на изгнание, город, занятый собой в ту минуту, подводил итоги убыткам, нанесенным наводнением.

Город молился в церквах, где били в колокола, умоляя господу смилостивиться. Люди, которых коснулась общая беда, как правило, лучше людей, которым слишком долго везло в жизни. Во время наводнения можно было увидеть высших должностных лиц империи запросто беседующих, в полнейшем согласии и преотличном взаимопонимании, с простонародьем.

Чиновники в расстегнутых мундирах здесь, где человек без мундира и ордена немного значил, сбросили гордыню с души и показали, что под этим мундиром у них обыкновеннейшее человеческие тела и что они, собственно говоря, ровнехонько ничем не отличаются от расторопных приказчиков, от ражих колбасников, извозчиков, жалких окраинных жителей, удивших летом рыбу в невских каналах, от брадобреев и камердинеров. Несчастье сравняло людей. Но, увы, ненадолго.

Изгнанники из Литвы чувствовали, что наводнение пришло им на помощь. «Прекрасные дни пережил я в Петербурге, потрясенном наводнением», — писал Малевский.

Он и Ежовский, как люди более практичные, чем Мицкевич, быстро уладили соответствующие формальности и стали подыскивать жилье. Помогли им в этих хлопотах проживавшие в Петербурге поляки: Пшецлавский^[67], автор мемуаров, позже прозвавший себя Ципринусом, Каспар Жельветр, петербургский поверенный польских магнатов и добрый польский шляхтич, и, наконец, Сенковский и Булгарин.

Пришельцы не без некоторого даже удовлетворения разглядывали картину разорений, вызванных потопом. Петербург в эти дни утратил обычно присущую ему холодную неприступность и гранитность. Наводнение лишило город спеси, показало, что и он смертен.

По каналам плыли стволы деревьев и мебель, утварь, подхваченная водой; на одной из улиц изгнанники увидели польский корабль со сломанными мачтами, который остался тут стоять после потопа, будто боевой ковчег, выброшенный на булыжную мостовую.

Улицы медленно заполнялись людьми, которые спешили уже к покинутым делам. Пролетки и дрожки с боролатыми возницами тащились по уличной слякоти.

Одним из первых петербургских знакомых, которых Мицкевич начал посещать, был Юзеф Олешкевич, живописец и мистик. О нем рассказывали всяко. Посмеивались над его чудачествами, но признавали, что он добрый и, более того, отличный человек.

Олешкевич жил в громадном доме Котомина на Екатерининском проспекте. В доме этом было несколько подъездов, выходящих на смежные улицы.

Во флигелях котоминского дома ютились девицы легкого поведения. В другой части дома проживали почтенные купцы и чиновники. Там же помещалась и мастерская Олешкевича.

В мастерской Олешкевича царил тот особого рода беспорядок, которым отмечены обиталища художников определенного типа, не организующих своего труда с надлежащей пунктуальностью, не взвешивающих каждый час.

Олешкевич был мистиком также и в том ремесле, которое трактовал как призвание и повинность одновременно. Теперь он трудился над каким-то новым полотном; впрочем, в эту минуту оно было повернуто к стене. Хозяин мастерской не хотел показать гостю начатого творения.

— Не знаю, стоит ли продолжать, — сказал он, — ну, а если бы, однако, показал кому-нибудь, прежде чем закончил, знал бы наверняка, что не стоит. Не смог бы закончить.

Я очень мучаюсь над каждой подробностью, не знаю, удастся ли мне выразить то, что я задумал; сквозь это широкое окно, — говорил он дальше, и лицо его приобрело теперь умиротворенное выражение, — я вижу небо. Но меня интересует скорее, как бы это сказать, свет мрака, трудновыразимое ощущение, подобное тому, которое я испытываю, читая писания Якова Беме и Сен-Мартена.

Мицкевич с возрастающим интересом смотрел в лицо говорившего.

Его познакомил с Олешкевичем бывший студент, некогда закончивший Виленский университет, Юзеф Пшецлавский, позднейший мемуарист и царский чиновник. С тех пор личность Олешкевича, этого художника и мистика, с каждым днем занимала все больше места в его помыслах.

Поэт ощущал, как в нем загорается какое-то неопределенное стремление под влиянием слов этого человека, который был магистром ложи Белого орла у петербургских масонов, и этот высокий сан каким-то образом связывал его с таинственной практической деятельностью, по-видимому выходящей за рамки масонского ритуала.

Должно быть, живопись была только одной из многих его страстей.

С такой же страстью он изучал каббалистику.

Он вчитывался в библию и пытался придать своим полотнам тревожный колорит, что ему в общем не очень удавалось. Они были слишком уж зализанные, в них была какая-то почти школярская заученность и робость.

Олешкевич был поклонником Давида, но не обладал талантом французского живописца.

В углу мастерской стояло громадное полотно — «Смерть Клитемнестры». Это было творение раннего периода творчества художника. Фигуры больше натуральной величины, колорит почти черный.

Когда Олешкевич со свечой в руках демонстрировал гостю отдельные детали картины, они будто оживали, начинали существовать, но существование их было заемным, как лунный свет.

Мицкевич не разбирался в картинах как художник, специалист или знаток. Его вкус был воспитан отнюдь не на шедеврах. Дамель, Рустем, Норблин^[68], Баччарели — вот лучшее, что он мог увидеть в Вильно.

Произведения искусства занимали его исключительно со стороны литературного содержания.

Теперь, в сиянии свечей, среди петербургской ночи они приобретали таинственную прелесть, которая, увы, среди бела дня вовсе не была им свойственна.

Глядя на Олешкевича, слушая его признания и воспоминания, он размышлял о том, сколь велика разница между этим отшельником и художником жизни Александром Орловским^[69], с которым он успел познакомиться несколько дней назад.

Орловский жил в мраморном дворце, неподалеку от императорского дворца. В комнатах его был целый арсенал великолепного оружия, служившего ему аксессуарами для картин, библиотека и полотна великих мастеров. Он писал маслом и рисовал с той же легкостью, с какой иные танцуют.

Простоватый, он ничем не напоминал этого мечтателя, который все штудировал мистические откровения Сведенборга^[70]. Забавно, что этот тайновидец и сердцевед, когда писал портреты, а написал он их множество, тщетно старался придать физиономиям своих моделей выражение силы. Ему мешала манера, которую он перенял от мастеров чрезмерной гладкописи.

Портрет Мицкевича, написанный этим художником в 1828 году, свидетельствует, с каким напряжением Олешкевич пытался одушевить безжизненный холст.

Поэт опирается на левую руку, он застыл в неудобной позе, локоть его держится на подпорке из книг, очи вздеты горе.

Из пышного галстука выступает лицо, худое, почти аскетическое. Пальцы правой руки будто окоченели; рука эта никак не гармонирует с

головой, которая существует как бы отдельно от прочего тела.

Мы узнаём низкий лоб поэта, но взгляд его, как бы направленный вниз, «будто стремящийся нечто вырвать из недр земных», художник-мистик насильственно обратил ввысь, к небесам.

Таким увидел его Олешкевич, как бы выделив некую частицу личности поэта, подметив в его выражении ту задумчивость, погруженность в думы, которая иногда также и на людях всецело овладевала им и отделяла его вдруг от окружающих как бы непроницаемой преградой.

Если в портрете поэта на фоне крымских скал кисти Ваньковича^[71] есть наряду с задумчивостью некая диковатость, подчеркнутая хищным разлетом романтической бурки, то в портрете, написанном последователем Якова Беме и Сен-Мартена, есть выражение некоего странного вознесения.

Вот почему лицо это явно отрывается от туловища, написанного, впрочем, с превеликой старательностью. В синевато-зеленых глазах мерцают небесные отблески.

Мицкевич слушал теперь нечто вроде лекции художника; Олешкевич говорил торопливо, чуть не захлебываясь, порой даже с пылом, — и вдруг замолкал, чтобы снова вернуться к оборванной фразе.

Он невероятно много знал, — это видно было по различным именам и цитатам, которыми он уснащал свою речь, нередко темную и запутанную.

В иные мгновения Мицкевичу казалось, что он беседует с мастером старой итальянской школы. Олешкевич говорил сразу о нескольких вещах. Мысль его непрестанно перескакивала с одного предмета на другой, и, однако, во всем этом была своя логика.

Вегетарианец, аскет, совершенно не думающий о себе, исполненный снисходительности даже к величайшим преступникам, он и сам некогда вел жизнь распутную и безалаберную. Олешкевич пытался оправдать даже преступников с той необычайной кротостью, которая присуща была разве что первым христианским мученикам. Он верил, что человек от природы добр. И, обвиняя царский строй, в самом царе он старался увидеть и оправдать человека.

К делам политическим у него был свой, особенный, сугубо личный подход: исключительно только Аракчеева обвинял он в дурном влиянии на императора Александра.

С ужасом говорил он о сибирской каторге и о телесных наказаниях в армии.

— Наказание шпицрутенами я считаю гнуснейшим пережитком варварских времен. До шести тысяч палок, то есть до гибели жертвы, и

гибели в страшных мучениях!

Шесть тысяч ударов наносит тысяча человек, стоящих сдвоенным строем. Человек, проведенный несколько раз по этой улице казни, превращается в кровавое месиво, в комок мяса, ревущего от боли.

Я видел однажды такую казнь. Это невозможно вынести. Я упал на колени, но просил не милосердия несчастному, а отмщения насильникам! Друзья еле оттащили меня, как безумного, и увели с этого казарменного плаца.

— Взгляни! — И он показал Мицкевичу небольшую композицию, представляющую сцену казни.

Видно было, как живописец пытался, чего бы это ни стоило, с огромными издержками труда и усердия выразить то, что он чувствовал тогда. Но в словах его было несравненно больше выразительности. Олешкевич почти зарыдал, он стал перед картиной, развел руками и произнес тихо, как бы стыдясь:

— Нет, это невозможно выразить.

А миг спустя, когда его помыслы отлетали от картины, он начинал нечто вроде лекции о вечном сопротивлении вещества и о непроницаемости любой вещи, любого предмета, которые якобы не позволяют извлечь из них свет, замкнутый в них.

— Я размышлял над законами, управляющими линией и цветом, занимался химией и алхимией, мечтал подсмотреть природу в ее скрытой от человеческого ока мастерской.

Эллины кое-что знали об этом. Ты никогда не задумывался над потаенным смыслом элевсинских таинств? Наши масонские ложи погрязли в немецком педантизме. Таинственность наших ритуалов не включает в себе более былой первородной силы.

Голос наших гиерофантов прошел сквозь мертвенную школу докторов не ангельских. Но помнишь ли? Не перехватило ли у тебя дыхание, когда к груди твоей прикоснулась сталь шпаги, когда ты услышал стук молотка и бряцание оружия, когда ты положил руку на евангелие, когда ты ощутил в руке своей холодный треугольник циркуля?..

Верховный Строитель Мира был тогда с тобой.

Стоит утесом над пучиной,
Вздымая гордую главу.

Помнишь ли ты эти потрясающие слова песни?

— Помню, — ответил Мицкевич, пронзенный внезапным воспоминанием о том мгновении.

— Здесь иные люди, — говорил дальше художник. — Ты познакомился с ними. Я люблю этих юношей, но они так не похожи на меня. Они оттачивают кинжалы, варят яд, они чтят силу, верят только в деяние, на которое они, увы, не способны. Я их не понимаю... Но это благородные люди, ты их еще узнаешь поближе.

Мицкевич смотрел в глаза собеседника. Они были большие, с длинными ресницами под дугами черных бровей.

Голова, облысевшая посредине, была с боков обрамлена густыми волосами, в черноте которых уже мерцали первые нити седины.

Олешкевич сидел перед поэтом сутулый, улыбающийся и словно чуть стыдящийся того, что говорил.

Несколько кошек дремало по углам комнаты. Серая с пушистым хвостом спала на книге, положенной на табурет.

Олешкевич бережно снял кошку и, улыбаясь, показал Мицкевичу заглавие книги: «Чудеса эдема и преисподней» Сведенборга.

— Я приобрел ее, еще когда жил во Франции, — промолвил он, как бы обращаясь к самому себе. Французы лишены того ощущения тайны, которое есть у Сведенборга, мастера среди мастеров. Я жил в тех краях. Розенкрейцеры, иллюминаты, мартинисты, мишеллисты. Бог весть когда это было!..

В шандалах догорали свечи, морозная петербургская ночь уступала место утренней заре. Розовый луч зари, проникший в комнату, освещал большое полотно, изображающее борьбу Иакова с ангелом. Густо наложенные, яркие мазки выступили теперь из мрака, картина ожила в этом свете, заимствованном у природы.

— Нет способа, — промолвил Олешкевич, — вырвать у природы то, что она ревниво хочет утаить для себя. Леонардо... Ему одному была введена тайна. Может быть, я не должен писать. Не знаю.

Этот первый луч зари — вечный мой победитель. Каждый раз он почти бьет меня на рассвете, когда я лежу в темноте, слушая, как жук-древоточитель грызет сухое дерево козел с распятыми на них подрамниками.

Ты полагаешь, что этого нельзя услышать?

Рассвет озарил фасады дворцов, берега Невы, одетые в гранит, чугунные ограды. Рассвет мерцал на шпигеле Адмиралтейства. На Сенатской площади Медный всадник удерживает коня в непрерывной скачке. Пробежали первые прохожие, зябко постукивая каблуками по оледенелым

тротуарным плитам. Резкий ветер дул от Невы, когда Мицкевич возвращался домой, кутаясь в бурку, потому что стужа пробирала до костей и вдвойне ощущалась после бессонной ночи, проведенной в жарко натопленной мастерской художника.

За ним на почтительном расстоянии шел какой-то человек, который не спускал с него глаз. Иногда он останавливался за каким-нибудь изгибом большого каменного дома или у ограды заснеженного сада, проходил вдоль дворцов с колоннами и вдоль зданий, перед которыми стояли часовые в киверах, с ружьями на плече, с примкнутыми штыками. Порою они топали и хлопали в ладоши, чтобы согреться. Крысиными шажками трусил этот человечек между прохожими и снова возвращался к спокойной, размеренной походке канцеляриста, быть может чиновника сенатской канцелярии.

Когда поэт исчез в подъезде своего дома, человек, наблюдавший за ним, постоял еще довольно долго против этого неприглядного здания, зевнул, надвинул шапку на заалевшие от мороза уши и отошел неторопливо, как будто еще намереваясь вернуться.

*

31 декабря 1824 года поэт Александр Бестужев записал в своем дневнике: «31.XII. Среда. — Дежурный. Вечером до 11 часов у нас сидели Миц[кевич], Еж[овский] и Малев[ский]. Пили за новый год».

Чуть ли не в тот же день другой молодой русский революционер и поэт Рылеев пожимал руку польского изгнанника. Они знали Литву не только понаслышке: Бестужев бывал в этом краю, а Рылеев в 1818 году в Несвиже (тогда он был еще офицером) сумел сблизиться с литовскими поляками, изучил польский язык, познакомился с польской литературой и в «Думах» своих подражал «Историческим песням» Немцевича.

Петербургские заговорщики готовились как раз к решительной схватке. Филоматов, жертв царской тирании, они приняли с распростертыми объятьями. И сразу же посвятили их в свои планы, как будто эти злополучные изгнанники, за которыми по пятам увязывались шпики, как будто бы эти несчастные юные литвины могли чем-то помочь им, петербургским конспираторам, в их рискованном предприятии.

Филоматы, приученные к сугубой осторожности, страшившиеся преждевременного выявления своих намерений и замыслов, были

оглушены воинственной риторикой неустрашимых россиян, которые, беря пример с римских заговорщиков и французских конспираторов, почти открыто святили кинжалы, которые должны были одновременно вонзиться в грудь ненавистного Цезаря. Из очей этих юных россиян глядела неудержимая отвага.

Взирая на прекрасные и мужественные черты Кондратия Рылеева, польский изгнанник думал, что ныне перед ним наяву исполняется мечта о деянии, способном изменить мир. Это в них воплощалась его мечта о порыве, способном осчастливить даже того, кто пал, не успев завершить деяний своих. На силу они намеревались ответить силой. Им было мало одних слов. Поэзия их не искала блеска в подборе необычайных гипербол, нет, она жаждала кинжалов и пистолетов.

«Тайные общества, — скажет позднее Мицкевич, — состояли из самых благородных, самых деятельных, восторженных и чистых представителей, русской молодежи. Никто из них не преследовал личных интересов, никто не был движим личной ненавистью... Заговорщики действовали в открытую. Их безупречная честность всегда будет вызывать восхищение. Пятьсот человек, а может и больше, принимали активное участие в заговоре. Это были люди всех чинов и рангов. В течение десяти лет они общались друг с другом в стране, находившейся под надзором сильного и подозрительного правительства, и, однако, никто не выдал заговорщиков. Больше того, в Петербурге офицеры и чиновники собирались в квартирах, окна которых выходили на улицу, и никому не удалось установить цели их собраний. Общественное мнение было сильнее угроз правительства».

В квартире Рылеева собирались заговорщики, спорили, неистовствовали до поздней ночи, а порой и до утра, обсуждая основы грядущего строя, пререкались и шумели, как будто царизм был уже низвержен и дело шло только о том, чтобы выработать исходные принципы конституции нового государства, основанного на справедливых началах.

Мы еще видим их: молодых людей, покурывающих трубки, пьющих чай из беспрерывно шумящего самовара в квартире, наполненной табачным дымом и гомоном споров. Мы видим этих завзятых спорщиков, кричащих, и шумящих, и вопящих, разделяющихся на группы, как будто на явно непримиримые стороны, отчаянно воюющие друг с другом. Мы видим их, дискутирующих о грядущем вселенском счастье.

Молодой человек, темноволосый, с внимательным взглядом исподлобья, чужой тут — это сразу видно — по привычкам, языку, костюму, некто Адам Мицкевич, держится чуть в стороне. Он как будто

оробел перед буйством и явностью того, что тут готовится. Он слушает, как они спорят о делах политических и общественных, как в диспутах тех ничтоже сумняшеся тасуют целые столетия; слушает, как славят давно уже мертвый уклад древней Руси, ее вече и патриархальность; слушает, как эти пылкие петербуржцы с ненавистью говорят о реформах Петра Великого.

Юный русский романтик Александр Одоевский (тот самый, который позднее в благородных стихах восславит польских повстанцев 1830 года) вмешивается в спор об основах грядущего строя; с развевающимися волосами, с пылающим взором декламирует он стихотворение гражданственного содержания, в ритме, четко запоминающемся, исполненном риторичности, страстной и звучной.

Первенство здесь принадлежит Рылееву, адепту ложи «Пламенеющая звезда», члену Северного общества. Он душа этого кружка. Только что он возвратился из поездки на Украину, в Тульчин, куда выезжал, намереваясь договориться о тактике совместных действий с Южным обществом. Рылеев пользуется авторитетом среди сверстников, да и среди людей старше его годами.

— Кондратий хочет говорить, — раздаются голоса.

Кондратий сбрасывает с плеч широкий плащ и разводит руками, как бы собираясь всех обнять.

— Царь и царское семейство погибнут первыми. Часть войска поддержит нас. Будьте начеку! Знаете ли, почему вечером так пусто на улицах Петрограда? Все сидят по домам и читают девятый том «Истории государства Российского» Карамзина, учатся по этой книге ненавидеть деспотизм, изучая времена Ивана Грозного!

Заговорщики отвечают взрывом смеха.

Кондратий тоже смеется и продолжает:

— Знаю, что дело не легкое и не безопасное, плохо кончил в нашем отечестве не один из тех, кто осмелился бунтовать против притеснителей. Все это так. Но разве трус достоин вольности?

Кто-то из присутствующих вскакивает на стол и пылко декламирует стихотворение Рылеева «Гражданин»:

Пусть с хладною душой бросают хладный взор
На бедствия своей отчизны
И не читают в них грядущий свой позор
И справедливые потомков укоризны.
Они раскаются, когда народ, восстав,
Застанет их в объятых праздной неги

И в бурном мятеже ища свободных прав,
В них не найдет ни Брута, ни Риеги.

Заводят поначалу тихо, а после поют все громче жестокую песенку, то ли финскую, то ли монгольскую, мстительную и прекрасную песню о кузнеце, куящем ножи на царя и на вельмож. Припев подхватывают хором: — Слава! Слава!

Кто-то подходит к окну, с опаской выглядывает на улицу. Слышна тяжкая поступь. Задвигают занавеси. Утихают. Догорают восковые свечи, канделябры закапаны воском, в комнате душно от табачного дыма.

В самый разгар этих приготовлений, когда петербургские заговорщики обнажали кинжалы и упивались спорами о вольности, Мицкевич оценивал реальные шансы переворота и перехода власти в руки горсточки людей, готовых на все, но не имеющих великого опыта французских инсургентов; в стране, где поработанные мужики спали сном неволи и слепого повиновения; в стране, просторы которой были удобным для такой спячки логовом.

Он ощутил безмерность этих пространств на своем пути в Россию.

Против заговорщиков было опиравшееся на террор, беспощадное и коварное государство: самодержавие, полчища жандармерии, шпииков, наушников, массы чиновников — система, основанная на недоверии и доносительстве. Заговорщикам противостояла аракчеевщина, чернейшая реакция, светская и духовная; попы, отбивающие поклоны, пекущиеся только об умножении доходов: золота, жемчугов и драгоценных тканей в церквах, — традиция, выросшая из византийской мглы, чудовищная в своей неприспособленности к новым условиям жизни; ведь жизнь эта, несмотря на географическую отдаленность, на всю ярость холодных вьюг, уже воспринимала кое-что из теплых веяний Запада.

А эти заговорщики, воображение которых разыгрывалось при чтении латинских и французских книг, восхваляли российскую древность, в обычаях и песнях своего простого народа видели они жизненный образец для всей российской нации.

Не было среди них единогласия, когда речь заходила об образе правления грядущего государства.

Одни хотели после свержения деспотизма ввести конституционную монархию, другие намеревались установить республику. Мицкевич знал в общих чертах проект конституции, выработанный Никитой Муравьевым; знал также республиканские замыслы Пестеля.

Руководящую роль в заговоре играли литераторы, чиновники и военные; Бестужев и Рылеев также прежде служили в армии в офицерских чинах.

79 офицеров, находящихся на действительной службе в армии, и 14 офицеров флота входили в число заговорщиков.

Царизм не мог полагаться на армию. Тут-то и таилась величайшая угроза самодержавию. Жестокие, бесчеловечные кары не в состоянии были предотвратить возмущения: все чаще вспыхивали солдатские бунты.

Мицкевич вскоре начал разбираться в характере заговора. Он не предрекал ему успеха, ибо не верил, что пассивные народные массы поддержат кучку заговорщиков. Да и заговорщики испытывали колебания не только относительно будущего образа правления; они не знали также, во имя чего и какими словами призвать народ на борьбу.

«Что мы будем кричать на улицах? Что скажем народу, дабы он понял нас и пошел за нами?» — размышляли тираноборцы.

Пожалуй, наиболее четкую программу действий выдвинул Муравьев. В его планы входил не только вооруженный переворот, но также и организация нового, республиканского строя.

Рылеев долго колебался между умеренной, принадлежащей Муравьеву концепцией будущего государства и гораздо более радикальными предложениями Пестеля.

Не было согласия даже в том, надлежит ли царя и его семейство умертвить или же позволить им бежать за границу.

У петербургских тираноборцев были сомнения этического порядка. Те самые, которые от Кондратия Рылеева, быть может, унаследует мицкевический Конрад Валленрод, средневековый рыцарь, герой поэмы об измене и любви. Тирады их были куда острее, чем их стилеты.

Во время пирушек и холостяцких попоек, среди дыма трубок, когда вино ударяло в голову, клич «Смерть царю!» вырывался из уст заговорщиков, нисколько не заботящихся, что их могут услышать с улицы.

Во время одной из таких бесед, в которой Мицкевич принял участие и пил вместе с русскими друзьями, дело дошло до тоста «Смерть царю!». Польский поэт отставил свой бокал с шампанским. Все были изумлены. Ведь у него же были причины большие, чем у них, российских заговорщиков, осушить этот бокал на погибель самодержавцу.

И они обратили к нему взоры, вопрошающие или иронические.

Он объяснил им: хотя в решительную минуту он их не оставит, но одни слова в столь трудном деле ничего не стоят, напротив, они только убаюкивают истинное стремление к действию. Пусть они пойдут сейчас с

кинжалами, сколько их там есть, Брутов, пусть спешат сейчас в царский дворец!

Поостыли, ринулись к польскому поэту, пожимая ему руки. Они доверяли ему, как одному из своих. Он отвечал на их рукопожатия.

Глаза его застилали слезы счастья, высшего счастья, какого только может достичь человек, счастья, источником которого является чувство братского единения с другими людьми. Однако он оценивал конкретную политическую ситуацию с осмотрительностью, изумлявшей тех, которые были введены в заблуждение его склонностью к порывистому слиянию в едином чувстве со всеми.

Теперь он смотрел на годы, проведенные в Вильно и Ковно, как на наивную сельскую идиллию. Только тут впервые в жизни он наткнулся на стену, на чугунную ограду петербургских учреждений; только тут он увидел с близкого расстояния всю всепоглощающую махину великодержавья.

Он постиг беспощадный закон, управляющий жизнью этой державы. Он знал, что заговорщикам стоит только оступиться, чтобы рухнуло все их дело, благородное, конечно, но роковым образом зависящее от недисциплинированных исполнителей, лишенное безотказно действующего аппарата. Он знал, что в случае поражения побежденным не будет пощады. Виселица или ссылка в Сибирь ждут колеблющихся ныне: убить царя или позволить ему спастись бегством. Но если не будет пощады побежденным, то значит и борющийся не может щадить тех, с кем он борется.

— Должен ли погибнуть Аракчеев? — спросил однажды Бестужев.

— Да, должен, и погибнет непременно.

Чей «изъян» в сердце будет носить герой поэмы «Конрад Валленрод» — Кондратия Рылеева или самого поэта?

А может быть, эта двусмысленная поэма, которую он задумал еще в базилианской келье, является, по сути дела, неким наглядным пособием, показывающим, к чему может привести сентиментальная трактовка действий в эпоху, которая создала Шиллера и Байрона.

Гуманная риторика, которую маркиз Поза противопоставляет административной мощи короля Филиппа, утрачивает всю свою трагическую суть перед лицом фактов из совершенно иной сферы.

Заговор Фиеско входил в круг жестоких деяний, — не потому ли Шиллер отдал его судьбу в руки случая, как бы желая оправдаться?

Быть может, пушкинский «Медный всадник» должен был быть ответом на нравственные церемонии, угрызания совести бунтовщиков?

Вместо обмана и благородства — мелкое безумие, мания преследования маленького человека...

И, однако, когда Мицкевич познакомился с драгунским капитаном Якубовичем и экс-поручиком Петром Каховским, которые ожидали только приказа организации, дабы исполнить то, о чем непрестанно твердили заговорщики, то, что в конце концов признал неизбежным Кондратий Рылеев: цареубийство, — когда Мицкевич познакомился с ними, он содрогнулся.

Чувство законности, уважения к жизни человеческой было тогда сильным: наполеоновские войны миновали, царствование Александра Первого, начавшееся либеральными веяниями, в течение десятилетий выработало в благородных людях отвращение, к ненужному кровопролитию. Однако гуманное воспитание было на руку той системе, которую Аракчеев построил на развалинах либерализма раннего периода царствования Александра.

Заговорщики не вспоминали, что император еще за шесть лет до начала войны с Наполеоном не очень-то разбирался в средствах, когда он считал нужным пробудить в массах русского народа ненависть к усмирителю Европы.

Они позабыли о его манифестах к народу, называющих Наполеона врагом человечества, который жаждет вкупе с иудеями уничтожить христианство.

Цареубийства отнюдь не были в России новостью. Но люди, стоящие во главе заговора, слишком утонченные и слишком склонные все усложнять, не обладали решимостью Каховского, который сказал позднее на следствии: «Тот силен, кто познал в себе силу человечества».

*

Но до того как эти слова вырвались из уст Каховского, до того как декабристы вышли на Сенатскую площадь, чтобы продемонстрировать свою трагическую неподготовленность, до того как все это совершилось, петербургская жизнь шла своим чередом.

Польские изгнанники воспринимали ее с той свежестью впечатлений, которой не притупила еще привычка, стирающая чрезмерную четкость рисунка. Оппозиция, ставшая повседневной, в особенности в кругах интеллигенции, не мешала петербуржцам выполнять свои служебные

обязанности и заниматься обычными делами.

Чиновники шли по утрам в свои присутствия; салоны, освещенные канделябрами, полны были гомоном будничных разговоров, споров и сплетен, тем разноголосым гомоном, который входит в быт привилегированного слоя любой нации.

Мицкевич увидел их вблизи: чиновников широко разветвленной администрации, людей, гонящихся за «чином», пресмыкающихся перед властью. Они были подобны глине в руках обстоятельств. Это были люди не хорошие и не плохие; повиновение заменяло им мораль. Их деморализовала власть, самовлюбленная и благоприятствующая темноте.

Изгнанники познакомились в невской столице с множеством людей, отнюдь не с одними только революционерами. Познакомились, например, с весьма учтивым и услужливым профессором, преподававшим восточные языки в Петербургском университете, с человеком, которому в грядущем была приуготована довольно-таки неприглядная роль.

То был Сенковский, поляк по происхождению, совершенно обрусевший на царской службе.

Они познакомились также с Булгариным, которого Пушкин впоследствии заклеил язвительной строфой. Знакомства эти могли пригодиться им тут, на чужбине, где изгнанники были отданы на волю случая и благоприятного либо неблагоприятного стечения обстоятельств.

Они были тут словно естествоиспытатели, изучающие флору и фауну неведомой страны не ради сладости познания, а для того, чтобы избежать опасности в будущем.

Филоматы неуютно чувствовали себя, им не по себе было в «Петербурке», — так тогда в литовской глуши произносили имя российской столицы. Они знали, что за ними следят. Нужно было проявлять массу осторожности, чтобы не дать пища доносчикам, наушникам и шпионам. А это было нелегко в городе, где тайные общества, пренебрегающие правилами конспирации, готовились к выходу из подполья.

С первой минуты их пребывания в столице над изгнанниками нависла угроза перевода в иные губернии.

Русские друзья не щадили сил и стараний, добиваясь того, чтобы польским изгнанникам было назначено место, наиболее подходящее для них. Благодаря ловким хлопотам и, должно быть, щедрым даяниям удалось добиться у властей перевода Мицкевича, Малевского и Ежовского в южные губернии.

Они выбрали Одессу, о которой, впрочем, был уже разговор в Вильно.

«Монаршая благосклонность, — писал Малевский 12 декабря 1824 года, — позволила нам теперь избирать свое местопребывание безо всяческих ограничений...»

Дело было не столько в монаршей благосклонности, сколько в благосклонности друзей, которые полюбили юных литовских изгнанников. А они все еще тянули с отъездом, готовились к дальнему странствию, которое в зимнюю пору действительно требовало соответствующей экипировки.

Купили медвежью полость, волчьи шубы, теплое белье.

Ибо в полном разгаре была петербургская зима, чрезвычайно морозная и резкая.

Нева, скованная стужей, казалась гранитной, как и ее берега. Медный всадник в студеном воздухе тех январских дней непрестанно сдерживал коня в извечной скачке, как будто хотел напомнить прохожим, что ничего не изменилось, что мощь самодержавия по-прежнему существует и бодрствует.

Зимний дворец в снегу, казалось, видит сон — холодный и беспечный, спокойный и беззаботный.

Рылеев напомнил Мицкевичу, когда они однажды проходили мимо памятника Петру Великому, тайные, распространявшиеся в списках стихи Пушкина:

Когда на мрачную Неву
Звезда полуночи сверкает
И беззаботную главу
Спокойной сон отягощает,

.....

Глядит задумчивый певец
На грозно спящий среди тумана
Пустынный памятник тирана,
Забвенью брошенный дворец.

И слышит Клии страшный глас
За сими страшными стенами,
Калигулы последний час
Он видит — в лентах и звездах,
Виной и злобой упоенны,

Идут убийцы потаенны,
На лицах дерзость, в сердце страх.

Молодые люди, идя над руслом Невы, похожим на «альпийскую стену», вышли к Зимнему дворцу. Не было тут слышно поступи потаенных убийц. Царила глубокая тишина, тишина настолько беспредельная, что, напрягая слух, можно было услышать «страшный глас Клии», страшный голос музы Клио, которой ведомы былое и грядущее.

ПАША

Три ссыльных поляка преодолели гигантское расстояние с севера на юг в санях за относительно краткий срок. «Почти трехнедельное путешествие, — писал Малевский, — не оставило после себя никаких приятных воспоминаний, но, впрочем, и неприятных тоже. Дело здесь неслыханное — но от Бельта до Понта Эвксинского я проехал в одних санях. Вихри гудели вокруг моей кибитки, зрители скрежетали, проклиная железные полозья, но вопреки всему этому и я и кибитка моя въехали в Одессу».

Одесса тех времен была молодым еще торговым портом, куда обильно стекалось зерно из житниц Подолии, Волыни, Украины, Херсонщины. Город в те времена был еще невелик и не отличался красотой. Порою в этом раю апельсинов и волошских орехов было страшно выйти из дому из-за густой известняковой пыли или из-за слякоти. Население города состояло главным образом из купцов и негоциантов. Греки, евреи, итальянцы и турки богатели тут на хлебной торговле. Среди хлебных амбаров и приземистых купеческих домов вскоре начали подниматься дворцы польских и российских магнатов с Подолии и Украины.

В этом многоязыком городе, где зерно превращалось в золото, в городе коммерческого капитала и золотых плодов, где, как говаривал Мицкевич, волошскими орехами были вымощены улицы, в городе, по которому разгуливали черноморские ветры, процветала не только шумная торговля. Здесь также свила гнездо деятельность тайных обществ. Наряду с масонской ложей «Понт Эвксинский», тут обреталась «Гетерия», руководившая восстанием греков, и тут же пользовался поддержкой союз будущих декабристов.

Одному из своих друзей, Туманскому^[72], Бестужев адресовал следующее письмо, рекомендуящее молодых поляков:

«Рекомендую тебе Мицкевича, Малевского и Ежовского. Первого ты знаешь по имени, а я ручаюсь за его душу и талант. Друг его Малевский тоже прекрасный малый. Познакомь их и наставь; да приласкай их, бедных... Будь здоров и осторожен и люби нас. Рылеев то же говорит и чувствует, что я.

Твой Александр»

Приписка Рылеева: «Милый Туманский. Полюби Мицкевича и друзей

его Малевского и Ежовского: добрые и славные ребята. Впрочем, и писать лишнее: по чувствам и образу мыслей они друзья, а Мицкевич к тому же и поэт — любимец нации своей».

Рекомендательные письма — а их, видимо, было несколько — приезжие отдали в руки адресатов и были приняты с распростертыми объятиями. Эти письма были не пустячной вещью для них, заброшенных в неведомые края, одиноких среди разноликой толпы обитателей Одессы; для них, которые должны были заново учиться ходить в каждом новом месте, ибо разок споткнуться грозило катастрофой. Приходилось соблюдать осторожность. По пути в Одессу останавливались в Киеве; там они встретились с заговорщиками, которые на «Контрактах», то есть во время знаменитой киевской ярмарки, в сумятице разнообразных дел, развивали и свою тайную деятельность. Тут Мицкевич подружился с Головинскими из Стеблёва над Росью и, не заботясь о промедлении в дороге, провел у них несколько дней. В Стеблёве он беседовал с Проскурами, соседями Головинских, причастными к заговору декабристов. Нужно было увертываться, нужно было проявлять исключительную осторожность и держать язык за зубами. Задача нелегкая для молодых, темпераментных людей. Но работа в «Обществе филематов» принесла свои плоды. Изгнанники ясно сознавали, что должны помогать счастливому случаю, ибо они в этих трудных и небезопасных обстоятельствах были отданы прежде всего на милость провидения.

Мицкевич и Ежовский поселились в здании Ришельевского лицея, но пока не вели еще никаких школьных занятий, ожидали вакансий. Малевский должен был получить место в канцелярии графа Воронцова, того самого, который, по словам мемуариста Ф. Ф. Вигеля, став наместником Бессарабского округа, бросил на Одессу отблески престола и озарил ее жителей.

Одесса купцов, Одесса негоциантов и дворян начала задавать балы. «Избранное» общество — представителей аристократии, дворянства и богатых коммерсантов приглашала графиня Воронцова, — общество чуть пониже рангом собиралось у самого графа. Позднее салоны наместника и его супруги затмил салон генерала Витта^[73] и Каролины Собанской.

В момент, когда трое филаретов поселились в Одессе, Витт и Собанская переживают лучшую, блистательнейшую пору своей жизни.

Отец Яна Витта, голландец родом, был генералом Речи Посполитой, а его мать, гречанка, ставшая впоследствии женой Щенского Потоцкого^[74] из Тульчина, воспета была Трембецким, а потом Словацкий в поэме своей

озарил ее имя ослепительным сверканием стиха, а заодно окутал и тенью недосказанности. Недосказанной осталась она в поэзии. Зато сын ее досказал свою жизнь до конца.

Первое впечатление, вынесенное Мицкевичем из разговора с графом Виттом, которому он представлялся, как попечителю Одесского учебного округа и командующему войсками южной провинции, оказалось вполне благоприятным.

Граф Витт — ему было уже за сорок — сохранил юношескую свежесть духа, сыпал остротами, говорил гладко, и с той светской свободой, которую дает лишь долголетняя салонная практика. Он стремился нравиться не только женщинам; ластился к людям, которые приходились ему по душе; у него была обворожительная улыбка, смуглое лицо; он был невысокого роста, но ловкий, стройный и подвижный. Уже после первого разговора с Мицкевичем Витту почудилось, что он видит поэта насквозь. Ему понравилось лицо этого молодого поляка, сильное, правдивое, хотя Адам и смотрел исподлобья. Витт, человек, лишенный истинных духовных запросов и творческого полета, питал уважение к людям, которые обладали внутренней красотой, непостижимой и недоступной для него, шпиона и провокатора высокого класса. Этот юный поэт не казался Витту личностью, которая могла бы чем-то угрожать престолу и отечеству. Это ведь не был ясновельможный польский пан того масштаба хотя бы, что влиятельный магнат пан Леон Сапега, которому Витт во время некой конфиденциальной беседы сказал даже, желая подольститься к нему, а заодно и испытать его, что он, генерал Витт, готов объединиться с заговорщиками, конечно, только после кончины императора Александра Первого, которому он слишком многим обязан. Витту весьма импонировало общество людей с либеральными взглядами. Быть может, они должны были служить ширмой для его шпионской деятельности, быть может, он стремился казаться кем-то иным, не тем, что он есть на самом деле. Он не был просто шпионом невысокого пошиба, без особых претензий — напротив: он чувствовал себя на своем месте лишь в самом центре широко разветвленной интриги. В нем не было ни капельки бюрократизма. Генерал терпеть не мог казенных бумаг, интерес к жизни и к людям не позволял ему просиживать кресло в своем служебном кабинете. "Крупная провокация — вот чего жаждало его сердце, вот где могло развернуться его стремление к сенсации и влечение к драматическим эффектам!

В салоне генерала Витта собиралось порядком разношерстное общество. Наряду с пани Собанской и ее братом Генриком Ржевуским^[75],

блистательным рассказчиком и польским магнатом с головы до пят, бывали тут русские армейские офицеры, землевладельцы Подолии и Украины и чиновники канцелярии Воронцова. Дух Тарговицы, дух национального предательства, незримо витал над здешними салонными поляками. Собанская не скрывала своей близости с Виттом, не стыдилась того, что обязана ему роскошными туалетами, в которых показывалась посетителям салона. С супругом своим, графом Собанским, заправилой крупного торгового дома, она жила врозь. Графиня была хороша собой и не лишена восхитительных светских достоинств. Все в ней, разумеется, кроме физической прелести, было только иллюзией; но высокое ее искусство именно в том и заключалось, что иллюзии она умела придавать черты правды и естественности.

Такой узнал ее Мицкевич. Она вовлекла его в свои заманчивые тенета, прежде чем он успел постичь, что он уже в рабстве у этой красивой дамы тридцати с лишним лет. Она жаждала приключения, нового и необычайного. Ее привлекал этот хлопец, чуть диковатый и слишком порывистый, неблаговоспитанный и легковверный, как это ей по крайней мере казалось. А он снова ощутил безумство чувственного желания. У этой женщины были лучистые глаза, но совсем не такие, как у Марыли; в лучистости их таилось вождление и обещание.

Она отдалась ему со всей искушенностью многоопытной женщины. Пыталась ли она имитировать страсть? Отнюдь нет. Но, утратив границы между правдой и вымыслом, она не могла уже чувствовать со всей полнотой. Каждая мысль ее, даже правдивая, становилась мнимой, как радуга, когда она пыталась ее высказать.

Она и сама не знала, когда говорит правду, когда лжет, — многоопытная и чрезвычайно искушенная, она теперь утрачивала власть над собой. Слишком часто повторяла она тоном приказа циничную формулу великосветских дам: ври так, чтобы самой не знать, правда ли то, что ты говоришь, или ложь. И все же теперь она была склонна к уступкам, которые ей самой могли бы показаться безумными. Уже после первого интимного свидания с этим юношей она отказалась от двойственной роли, которую обычно играла в такие мгновения. Она не допытывалась у Адама ни о каких подробностях его жизни, которые могли бы иметь хоть самую незначительную ценность для шпионских отчетов. Графу же она представляла дело таким образом, что ее свидания с Мицкевичем могут ему, Витту, пригодиться, что информация, которую она добывала у молодого поэта, может внести нечто новое в картину исполинского заговора, разоблачению которого отныне целиком посвятил себя граф Витт

— сын польского генерала и гречанки.

Собанская вела рискованную игру. Следовало незамедлительно обратить дело в шутку. Страстность юного изгнанника ни в коем случае не должна нарушить связь, соединяющую ее со светом, вне которого она не мыслила своего существования. Она знала, что прелесть ее недолговечна: эту жестокую истину поутру высказывало ей зеркало, когда она вставала с тяжелой головой после ночи любовных утех. Собанская не могла строить свое будущее на романе с литовским изгнанником, с человеком, который был на прескверном счету в правительственных сферах.

Неопытный поэт принимал ее колебания за угрызения совести, и эта притворная борьба между долгом и страстью только придавала ей блеск в его глазах. Но пробужденная, крепнущая страсть, не находя достаточного выхода в общении с Собанской, которая томила любовника слишком продолжительными паузами между двумя свиданиями, перебрасывается на других, более податливых женщин.

Девушка, случайно встреченная на балу, девушка, которую любовь обременила не более, чем шарф бального платья, приводила поэта на остаток ночи к себе домой. Утро уже сияло вовсю, когда он засыпал рядом с ней, этой или совсем иной, на постели под пышным балдахинном. Не зря он писал позднее другу: «[в Одессе] я жил как паша...»

Весна, такая ранняя в этих местах, пробуждалась с перевозданной силой.

«На вознесенье, — рассказывал Малевский, — появляется тут в продаже множество птиц в красивых клетках. Дамы, даже высшего круга, и семейства с детьми приезжают на рынок, покупают птичек и выпускают их на волю». Изгнанники, хотя им недурно жилось в Одессе, завидовали все же вознесению пташек. О возвращении в Литву не могло быть и речи. Легкое житье, любовные интрижки, званые обеды, балы и театр — вот что им оставалось. Ну и что же? Они не вправе были слишком горько сетовать на судьбу. По сравнению с другими филаретами они выиграли в этой печальной лотерее.

Вот они отправляются на бал в купеческом собрании. Огромный зал, озаренный каскадом огней, как бы переливающихся из канделябров в поставленные у стен зеркала. Госпожа Потемкина, с талией Юноны, в длинном небесно-голубом платье, в белой шляпке, — истинная царица полонеза. Этим танцем открываются балы даже в императорском дворце.

«Даже в «Яне из Тенчина», — писал Малевский, — не было танцовщицы, исполняющей полонез лучше ее... Я гневался на род мужской. Не было никого, о ком можно было бы сказать: вот партнер для

нее. Один Кочубей не тускнел рядом с ней...»

В театре подвизаются итальянские актеры, которые после многолетних умеренных триумфов на подмостках Сиенны, Феррары или Болоньи в поисках счастья добрели до этих краев. Итальянская опера, которая так тешила Пушкина, обитавшего в Одессе за два года до прибытия туда филаретов, пришлась теперь по душе и нашим изгнанникам. «Волшебный стрелок» Вебера подал Мицкевичу идею строф «Хора охотников». Актрисы, нарумяненные и в легковых нарядах, казались олицетворением призрачного любовного счастья. Богини соблазна, сходя с подмостков, заносили на свои уже не слишком девственные ложа нечто от этой эфемерной прелести; а ведь прелесть эта наэлектризовывала зрителей, превратившихся в слух и зрение, на краткий миг, весь окутанный алым бархатом и залитый светом рампы. Упование на счастье было прекраснее, нежели его воплощение. Быть может, потому, что ни в ком не найдется достаточно сил, чтобы выдержать лучистый взор богини.

Разумеется, тело ее было таким же, как тела всех прочих женщин. Прелесть, очарование придает ей классическая поэтика, тут, под солнцем юга, более близкая Мицкевичу, нежели байроническая прелесть, которая, увы, всенепременно оставляет горький осадок.

Но с нею рядом обитает и байроновская Лейла, вся, кажется, веющая отравленным воздухом меланхолии.

Это госпожа Иоанна Залеская, супруга Бонавентуры Залеского^[76], в доме которой, расположенном рядом с домом госпожи Шемиот, частенько бывал молодой литвин.

Иоанна некрасива, но глаза ее выразительны, даже, пожалуй, чересчур выразительны. Ее печаль исполнена страсти. Это второе воплощение счастья, менее привлекательное, но зато более постоянное. Есть что-то глубоко тревожное в этом сочетании заманчивости счастья с постоянством, которое противоречит самой сущности счастья. Ведь счастливым нельзя быть, им можно только бывать!

Залеская является полнейшей противоположностью Собанской, ибо Каролина Собанская свято верит в постоянство счастья, и время для нее лишено непрерывности: оно распадается на приятные часы и мгновения.

Мицкевич носил в себе предчувствие всех этих образов, всех этих олицетворений счастья, воплощений любовной иллюзии, которые теперь предстали перед ним, как богини перед Парисом. Но каков был суд, каков был приговор нового Париса?

Ах, брошу всех людей — скажи мне только: где ты!

Ах, будь ты здесь, со мной, — я отрекусь от света! —

сказал поэт как-то в «Отрывке» первой части «Дзядов». Эхом возвращается этот голос в мечтах Альдоны:

Ах, пред судьбою доброй и злою
Небо я видела только с тобою!

Но приманку иного счастья, наслаждение, проистекающее из лицезрения красоты, он носил в себе издавна и, еще не зная Востока, создал очаровательную картину гарема, которую он впоследствии как бы увидел воочию в Одессе, где он провел неполный год. Да, этот период его жизни изобиловал наслаждениями, но изобиловал и заботами и муками совести, порою терзающими душу юного паши:

Гречанки, лезгинки поют и играют,
Под песни их пляшут киргизки:
Здесь небо, там тени Эвлиса мелькают
В обетных глазах одалиски.

Паша их не видит, паша их не слышит...

На вечере в одном из польских домов Мицкевич знакомится с графом Петром Мошинским^[77], предводителем дворянства Волынской губернии. Этот предводитель принимает участие в деятельности тайной организации «Общества соединенных славян». Он знаком с Рылеевым, Пестелем и Бестужевым. Мицкевич беседует с ним с глазу на глаз. Поэт потрясен тем, что услышал из уст Мошинского. Он видит теперь всю бессмысленность и бесплодность своей жизни в изгнании, под бдительным оком полиции. Он узнает людей бесстрашных, конспираторов; людей, одушевленных одной идеей, живущих ради одной цели. Мицкевич сравнивает с бездушным и ложным блеском Собанской и бесполезной и бесплодной печалью Иоанны Залеской пламенную веру Евгении Шемиот в единственную правду деяния. Ах, если он и впрямь собирал тут материал к «Валленроду», дорого же обошелся ему этот его труд!

Руки у него были связаны, да и отречься от житейских услад он не мог

и вынужден примириться со страданием. Он вынужден был упиваться, как герои Байрона, отравленными утехами, чтобы обрести забвение. И если после вечера, проведенного с Иоанной, печальной и нежной, он шел отдохнуть в объятьях графини Гурьевой, неунывающей россиянки, супруги одесского градоначальника, он не задумывался о том, что где-то, в каких-то душевных тайниках, на самом доньшке его непостоянства, погребено смятение чувств, беспокойство совести... Однако можно ли его в этом обвинять? Летописец жизни поэта должен беспристрастно занести эти факты в свои анналы и не высказывать своего суждения.

Было бы преувеличением предположить, что поэт жил в эту пору, легкую и тягостную в одно и то же время, среди роскоши. Одесские салоны лишены были столичного блеска. Опера была второразрядная, убогая, захолустная итальянская опера. Донжуаном он не был, хотя и менял тогда женщин с чрезмерной свободой. На свое платье и внешность поэт не обращал ни малейшего внимания, — он ведь никогда не был щеголем и не мог, если бы даже и хотел, соперничать по этой части хотя бы с Виттом, точно так же как с блистательным Генриком Ржевуским, братом Каролины Собанской, поэт едва ли мог состязаться в искусстве легкой, сверкающей остроумием салонной болтовни.

Однажды по поручению Витта госпожа Собанская предложила Мицкевичу принять участие в увеселительной поездке по Крыму. Поэт с радостью принял предложение, не догадываясь о тайных целях, которые скрывались за этим выездом генерала от жандармерии если не на остров Киферу, то на Крымский «полуостров любви». В поездке, кроме госпожи Каролины и ее благообразного, но, увы, фиктивного супруга, должны были принять участие Генрик Ржевуский и некто Бошняк, которого Мицкевичу представили как натуралиста-любителя. Генерал Витт с очаровательной улыбкой излагал перед поэтом красоты и прелести странствия, которое им предстояло свершить в столь блистательном обществе. Роскошные пейзажи Тавриды, горы и море, великолепие дикой природы и унылая красота руин, памятников истории. Сам Байрон превосходно чувствовал бы себя в этом краю!

Таким именно образом излагали граф Витт и Собанская цели поездки доверчиво внимающему им простаку литвину. Другое объяснение, которое знали только эти двое, генерал и Каролина, а может быть и ее брат, ибо он был человеком «верным», звучало бы примерно так: Ян Витт, генеральный шпион в генеральском мундире, должен был отправиться в инспекционную поездку по Крыму. Этого требовало пребывание Александра Первого в Таганроге. В соответствующих сферах опасались покушения, и это

ускорило поездку.

Бошняк, соглядатай меньшего масштаба, но руководствующийся не столько каталогами трав, сколько инстинктом шпиика и разведчика, был правой рукой генерала.

Веселое и беспечное, к тому же несколько пестрое общество недурно маскировало политические цели неожиданного вояжа. Из Одессы отплыли 25 июля. В Севастополе путешественники вышли на сушу. Витт и Собанская задержались в Евпатории.

Мицкевич вместе с Генриком Ржевуским бродили в горах, топча облака на Чатырдаге; им случалось спать на диванах гиреев, и однажды в лавровой роще они играли в шахматы с ключником покойного хана.

На горной тропке скрипучая арба, в которую запряжен белый вол, проезжает мимо путников. Тучи, блуждающие там и сям, позволяют оценить расстояние от моря, лежащего глубоко внизу, от моря, совершенно недвижимого с этой высоты.

Исхлестанные горным ветром, обожженные солнцем, возвращались они из этих странствий к спутникам своим. Пани Каролина также совершала недалекие прогулки в амазонке: стройная, гибкая, бронзовая, словно Диана, пани Каролина гарцевала на лошади, привычной к горным тропам.

Мицкевич был неважным наездником, но все же кое-как справлялся с делом. Ржевуский сыпал шляхетскими анекдотами, метким и ярким словцом, живописуя целые картины, подобно Орловскому, тому питерскому художнику с литовскими вкусами и замашками.

Ржевуский был чревоугодник и пьянчуга, грубоватый, как старинные шляхетские запивохи и чревоугодники, и если худощавый и деликатный в обхождении Витт резко контрастировал с ним, то тем не менее в одном они были схожи — в полнейшей нравственной безответственности.

Общество развлекал ученый энтомолог Бошняк, беспомощный, неряшливо одетый, испуганно позыркивающий из-под очков, которые он берег как зеницу ока. Вечно толковал он о своих мушках и букашках, о редкостных видах растений, вплетая порой неожиданные вопросы о семье поэта, о его друзьях, о положении дел в краю, из которого поэт прибыл.

В вопросах этих не было ничего необычного.

Спустя некоторое время за обедом у генерала Витта Мицкевич увидел натуралиста в полковничьем мундире с эполетами, при всех регалиях. Поэт с трудом узнал его. Бошняк выпрямился, помолодел. Он стоял перед поэтом навтыжку, маленькие глазки его, уже не прикрытые очками, быстро бегали... Пообедав, Мицкевич осведомился у генерала:

— Но кто этот господин? Я полагал, что он занимается исключительно ловлей мошек.

Витт весело рассмеялся.

— О! — ответил он. — Он помогает нам вылавливать самых различных букашек.

С тревогой думал теперь Мицкевич о своем недавнем визите к Густаву Олизару^[78]. Он ехал один и свернул тогда с дороги, чтобы оказаться в очаровательном уединенном месте у подножия Аю-Дага. Польский поэт Густав Олизар жил здесь совершенным отшельником. Ходил на берег моря слушать рокот волн или писал в своей комнате. Когда Мицкевич заговорил о Пушкине, Олизар ничего не ответил.

Только позднее Мицкевич уразумел причину этого молчания. Олизар был влюблен в Марию Раевскую^[79]. Он и Пушкин были соперниками. Когда Раевская отвергла его, он поселился в этом сказочно прекрасном безлюдном уголке.

Вечером, когда вершина Аю-Дага чернела на меркнувшей лазури, они вспоминали общих знакомых, говорили о петербургских заговорщиках, с которыми Олизар оставался в близком контакте, — беседовали о положении в Европе, России и Польше. Никто их не мог подслушать здесь. Бывали часы, когда им в этой черно-лазоревой горной пустыне казалось, что время прекратило течение свое, поток событий остановился.

Но это была только иллюзия.

Время было беспокойное. Витт, вызванный в Таганрог, к Александру Первому, узнал подробности о готовившемся покушении на императора.

Власти, несмотря на то, что Мицкевич вел себя безукоризненно, не считали желательным держать его в южной провинции. Благодаря протекции Витта, поэт получил соизволение на выезд в Москву. Была в этом, безусловно, заслуга Собанской, но также и Витт, который не подозревал, что у его любовницы заправский роман с молодым поэтом, благоприятно отнесся к этому проекту.

В рапорте полицейским властям Витт дал благоприятный отзыв о Мицкевиче.

Шпионы и соглядатаи тоже порой не чужды симпатий и антипатий, но эти извинительные человеческие слабости нисколько не мешают им заниматься своим гнусным ремеслом...

Александр I внезапно скончался в Таганроге. Все были убеждены, что он отравлен. О смерти императора Мицкевич узнал по дороге в Москву.

Пани Собанская распрощалась с поэтом в избытке чувств; она даже и

сама не ведала: может, она и вправду искренна в эту минуту.

Слезы ее, пусть даже и поддельные, абсолютно ничем не отличались от слез любящей женщины, когда она разлучается с любимым, быть может, навсегда.

Впрочем, они еще встретятся. Тогда пани Каролина будет женой посредственного французского поэта господина де Лакруа, моложе ее на добрый десяток лет. Сестра пани Каролины, Эва Ганская, сделала более удачную карьеру. После долгих перипетий, из которых можно было бы выкроить отличный роман, она вышла за Бальзака.

Мицкевич выехал из Одессы 13 ноября почтовой коляской, колокольчик которой погребальным звоном звучал в его ушах. Ему казалось (ведь он совершенно протрезвел, а такая трезвость близка смерти), что никто не будет долго его оплакивать.

И только одной женщине отъезд молодого изгнанника причинил настоящую боль: Иоанне Залеской, грустной, невзрачной Альдоне из пустыни одесских гостиных.

В МОСКВЕ И ПЕТЕРБУРГЕ

Из Одессы в Москву Мицкевич ехал целый месяц. По дороге он задержался в Харькове. В Москве поэт поселился вместе с Ежовским у Малевского, в гостинице Лехтнера на Малой Дмитровке, позади Страстного монастыря.

Князь Дмитрий Голицын, московский генерал-губернатор, зачислил его чиновником в свою канцелярию. Это была должность чисто номинальная, попросту помещающая политического изгнанника на определенное место в чиновничьем реестре, определяющая его место в гражданской иерархии, в соответствующей паспортной рубрике.

Поначалу изгнанники жили уединенно. Их осторожность была вынужденной. Прибыли в первопрестольную в момент, когда после кровавого подавления восстания декабристов пошли массовые аресты и ссылки.

Никто не чувствовал себя в безопасности даже в собственном доме.

«Вскоре в Москве, — пишет очевидец^[80], — начали хватать по ночам и вывозить в Петербург...

Это произвело на всех такое впечатление, что почти все стали ждать ареста».

Люди ложились спать одетыми. Матери держали для сыновей наготове валенки, шубы и провизию.

Пустыни Сибири внезапно подступили к окнам московских домов. Шепотом рассказывали о бойне на Сенатской площади, о сражении, которое произошло на юге, где взбунтовался Черниговский полк; раненный в бою Муравьев-Апостол был своими же людьми выдан в руки гусар Гейсмера.

Москва была глухой и безлюдной, несмотря на то, что каждый день с утра улицы по-прежнему оглашались криками лоточников и колбасников; несмотря на то, что по утрам растворялись двери, чиновники спешили в свои присутствия, колышущиеся отряды войска выступали из казарм.

Красная площадь поскрипывала под их поступью. Золотые купола соборов были припорошены Снежной пылью, Кремль стоял сумрачный, как во времена Ивана Грозного. Похожая на каменную вышивку церковь Василия Блаженного утонченностью и чистотой своего зодчества, казалось, высмеивала преходящие человеческие треволения.

Тот, кто стал бы тогда на Поклонной горе и услышал утренний благовест сорока сороков, увидел их золотые купола в лучах зари, кто издали услышал бы нарастающий рокот исполинского города, не поверил бы даже, сколько тревог, сколько отчаяния, сколько мучительного ожидания таилось теперь под крышами этих приземистых домов, в узких переулках и вокруг звездообразных площадей.

Издали все сливалось в единый равномерный гомон; желтые, лазоревые и серые тона смягчала равнодушная белизна снега. У Тверской, Калужской или Дорогомиловской застав городские, как обычно, задерживали сани прибывающих. Из тысяч труб поднимался дым, друг жизни человеческой. Миновал памятный декабрь 1825 года. Наступили студеные недели зимы нового года. Пришла весна и лето, и после долгих месяцев арестов, следствия, ссылок и жуткого тревожного ожидания был вынесен приговор.

13 июля были повешены Рылеев и четверо его товарищей. Бестужев погиб позднее в горах Кавказа, в карательном отряде, в стычке с горцами, которым он некогда хотел дать свободу.

*

Как-то под вечер осенью 1826 года Мицкевич вылез из дрожек перед домом Сергея Соболевского^[81] на углу Собачьей площадки и Борисоглебского. Вошел в темные сени и по деревянной лестнице поднялся на второй этаж. Постоял, будто для того, чтобы перевести дух, у дверей комнаты, которую знал уже по прежним визитам. Соболевский прислал Мицкевичу билет с приглашением на вечер у себя с припиской: «Александр Пушкин читает нынче сцены из «Бориса Годунова».

Прежде чем потянуться к звонку, Мицкевич попытался вспомнить лицо Пушкина, которое видел недавно на какой-то миниатюре. В дверях стоял Соболевский. Распахнув объятия, встретил Мицкевича этот библиофил и приятель поэтов. Домик Соболевского был как будто специально создан для таких сборищ. Затишье царило в нем, и тихие были кругом улочки и крохотная площадь, обставленная амбирными и сонными особняками, крашенными охрой.

Соболевский ввел Мицкевича в комнату, скупо освещенную восковыми свечами. Тут было несколько мужчин, которые непринужденно болтали, покуривая трубки. Среди них в широком плюшевом кресле сидел

большоголовый человек с непокорными курчавыми волосами. Поднялся, и тогда оказалось, что он невысокого роста. Мицкевич смотрел теперь в лицо Пушкина. Сходство этого лица с миниатюрой было как будто разительным, но в действительности лишь иллюзорным.

Портрет был только мертвой маской в сравнении с живым, переменчивым лицом. Он бессилён был выразить душу этого человека. Портрет был столь же невыразительным, как и общепринятые французские светские фразы, которые бездумно слетали, с уст гостей, когда они представлялись и здоровались. Сквозь черты этого лица, как темный пейзаж сквозь завесу тумана, проступали черты африканского прадеда: нижняя челюсть была несколько выдвинута вперед, толстые губы гармонировали с темными вьющимися волосами, рыжеватые бакенбарды оттеняли белый воротничок; галстук был завязан несколько капризно, небрежно, на байроновский манер.

Пушкин разговаривал с непринужденностью светского человека. В несхожести его с прочими собравшимися было что-то от прелести неведомого мира.

Веневитинов, красивый высокий юноша с девичьим лицом, нечто вроде Ахима Арнима русской поэзии, был полной противоположностью Пушкину. Говорил мало, почти не улыбался...

Веневитинов был одним из первых русских поэтов, которые восторгались поэзией Гёте и немецких романтиков. В эти тягостные времена для Веневитинова и его друзей бегство в страну мистической философии было самозащитой, спасением от духовной смерти. Действительность сделалась слишком жестокой, чтобы они могли ее принять. Союз Пушкина с «любомудрами», как называли в Москве этих юных романтиков, едва ли мог остаться продолжительным.

Пушкин был воспитан на французских образцах, любил классическую поэзию Шенье, его поэтическая фраза впадала в горацанское русло, в ней была латинская сладость, чуждая мрачному тону немецкой романтики. У Пушкина не было вкуса к абстракции, к холодному, отвлеченному мышлению. Земные образы оживляли его поэзию. Философия Шеллинга не нашла в нем понятливого ученика. Его чародейство повиновалось законам русской земли, русского климата и исторической эпохи.

Впрочем, как это ни странно, величайший поэт России был потомком африканца Ибрагима Ганнибала, который дослужился до чина генерала артиллерии в войсках Петра Великого.

Бурный темперамент не однажды диктовал Пушкину резкие эпиграммы, которые создали ему множество врагов. Остроты Пушкина

дразнили правительство, которое как огня боится показаться смешным хоть в чьих-нибудь глазах. Никто не мешал ему писать о любви Онегина к Татьяне, воспевать красоты земли и неба, но это не насыщало поэта, который ценил язвительную и мятежную риторику «Дон Жуана» и «Дон Карлоса».

Он читал теперь по рукописи отрывки из своей драмы. Читал голосом ясным и спокойным. Заметно было, что он избегает аффектации, что совершенно сознательно, быть может насилуя свой темперамент, умеряет голос, сглаживает акценты чувств, обрезает крылья чрезмерно патетическим тирадам.

Веневитинов, Погодин, Соболевский, Рожалин^[82], Киреевские, Мицкевич слушают диалоги «Бориса Годунова», произносимые автором в одно и то же время буднично и проникновенно. Русские, привыкшие к стиху Ломоносова и Державина, поражены и удивлены безыскусственностью и волшебной легкостью пушкинского языка. Они то и дело вскакивают с кресел, прерывают чтение рукоплесканиями. «Некоторых охватил жар, — записал наблюдавший эту сцену Погодин, — других пробирала дрожь... Долго смотрели друг на друга, а потом бросились к Пушкину; начались объятия, гомон, смех, полились слезы...»

Мицкевич произнес только одну-единственную фразу: «*Tu Shakespeare eris, si fata sinent*». Фраза эта не звучала фальшиво в тот миг, когда впечатление от чтения было еще свежо. Почему он произнес ее по-латыни? Для того ли, чтобы она приобрела весомость римской эпитафии, или просто шутки ради, дабы разрядить чрезмерно напряженную атмосферу?

Пушкин, как только отложил рукопись, совершенно переменялся; лицо его снова приобрело непринужденное выражение, на полных губах заиграла добродушная улыбка.

Спустя несколько месяцев после знакомства с Пушкиным Мицкевич писал Одынцу^[83]: «Как-нибудь напишу о нем более пространно; теперь лишь добавлю, что я знаком с ним и мы часто встречаемся. Пушкин почти одного со мной возраста (на два месяца моложе), в разговоре очень остроумен и увлекателен; он много и хорошо читал, знает новейшую литературу; его понятия о поэзии чисты и возвышенны. Написал теперь трагедию «Борис Годунов»; я знаю из нее несколько сцен в историческом жанре, они хорошо задуманы, полны прекрасных деталей».

Мицкевич медленно привыкал к новой жизни в чужом городе. Он обладал способностью, вернее даром, привлекать к себе людей, сам о том не думая. В одних пробуждал к себе уважение, в других интерес. Те, кому

удалось сблизиться с ним, дарили его тем наиболее бескорыстным чувством, которым мужчина может наградить мужчину, — пониманием. Это были люди, для которых каждое новое поэтическое творение, где бы оно ни возникло, было откровением. Признавали, как это тогда говорилось, братство высших духовных интересов. Каждое новое стихотворение Гёте принимали тут с восторгом, его комментировали и многократно переписывали. «Веселые вечера, — по свидетельству Погодина, — происходили один за другим у Киреевских за Красными воротами, у Вяземского, у Погодина, у Соболевского на Собачьей площадке, у княгини Волконской^[84] на Тверской. Мицкевич проявил дар импровизации. Приехал Глинка, товарищ Соболевского... Была, значит, и музыка».

*

Разговоры Мицкевича с Пушкиным не записали ни Ксенофонт Полевой^[85], ни Малевский. Они не хотели идти по стопам Эккермана^[86]. Конечно, это были беседы беглые, неточные, ускользающие от пера, которое тщилось бы их увековечить, текучие, как текуче каждое мгновение жизни. Оба поэта были заняты великим множеством дел значительных, важных и пустяковых, подчинялись настроениям и капризам эпохи и окружения. Нам, в отдаленной перспективе, эпоха эта кажется тихой и упорядоченной, почти манящей, как, скажем, влечет нас войти в свою глубь полотно старого мастера, но, когда мы приближаемся к нему, нас отталкивает плоскостность измазанного красками холста.

Во всяком случае, бесспорно одно, что на протяжении одного или двух вечеров, уединившись в обществе беседующих друзей, Пушкин и Мицкевич говорили о будущем, следовательно, о том измерении, которое, как и прошлое, присутствует в человеческих расчетах и грезах, но только гораздо более заманчиво, ибо незримо. В государстве царя Николая Первого эта категория времени, которой не касался ни один летописец, хотя бы он был талантливей самого Карамзина, была еще чем-то совершенно иным, чем в других странах. Чтобы жить, чтобы вытерпеть отталкивающее настоящее, нужно было размышлять о будущем. Только там сияло солнце и простирались безмерные просторы вольной жизни.

Мицкевич «говорил о временах грядущих, когда народы, распри позабыв, в единую семью соединятся», в таких выражениях вспоминает об

этом Пушкин в своем неоконченном стихотворении о польском поэте.

Пушкин сидел теперь рядом с Мицкевичем. Свет канделябров озарял сосредоточенные лица собеседников. Когда Мицкевич переставал говорить, становилось так тихо, что они почти слышали, как тают восковые свечи.

Пушкин опер курчавую голову на руки и слушал французскую речь польского поэта о грядущем братстве народов. Этот молодой поляк не питал ненависти к русскому народу. Он разделял с лучшими людьми тогдашней России ненависть к тирании, душа его, как и их души, была ранена после декабрьских событий; как все они, он любил вольность. Какую вольность? Этого он не мог бы точно определить, так же как Муравьев-Апостол, Рылеев, или Бестужев, или Пестель — благородные смельчаки, которые погибли, не сумев сказать, каково же будет грядущее устройство славянства и всего человечества. Жил в них всех импульс, который дала отважным душам французская революция, ее деяния и ее утопия. Им не давали спать иные строфы Шиллера и Байрона. Они верили в грядущее, единственный край, не подвластный царским указам.

Пушкина удивляла в его польском сверстнике та редкостная способность, с которой этот изгнанник умел ограждать себя от всегда опасной склонности к обобщению, склонности, которая свойственна большинству человечества. Никто из филаретов, кроме Томаша Зана, не мог с ним в этом сравниться. У заурядно мыслящих людей достаточным поводом для неприязни или ненависти является чуждость. Мицкевич не только старался понять чужих ему — умел их полюбить, ибо в нем было широкое ощущение единства человеческих дел. Вот почему он смог впоследствии сохранить приязнь к русским друзьям, даже к тем, которые не выдержали великого испытания душ, великой пробы душевного благородства в 1830 и 1831 годах.

Но чувство братства и любви не может постоянно сопутствовать человеку. Разрываемый множеством дел, подверженный мелким уколам зависти, внезапной досады, неприязни, человек не живет каждую минуту самим собой, не всегда может быть собой.

Минуты беспричинной радости, вызванной шампанским, обменом взглядами, радости, вызванной женской прелестью, проходят. Участники беседы медленно расходятся по домам, идут по московским улицам, пустынным в этот поздний час, среди приземистых одноэтажных домов; проходят по площадям, мимо уютных маленьких дворцов, крашенных охрой, освещенных луной; стучат в двери унылых белокаменных домов и в ворота деревянных городских усадебок.

В конце мая 1827 года, перед отъездом Пушкина в Петербург, должна была состояться прощальная встреча друзей на даче Сергея Соболевского. Летнее обиталище Сергея Соболевского расположено на пустыре рядом с Петровским дворцом, куда некогда в дни пожара Москвы перебрался Наполеон. Вокруг простираются поля в весеннем уборе, огороды или парующая земля.

Мицкевич прикатил на дрожках в Петровский парк в отличном расположении духа, хотя и был зверски голоден. Рассказал, смеясь, что не смог на этом пустыре найти хотя бы самой что ни на есть жалкой харчевни, купил колбасу у разносчика, съел ее всю, а сейчас у него в животе пусто и пить ему хочется отчаянно...

— Что это еще за намеки?! — промурлыкал Соболевский и пригласил поэта к столу. Медленно съезжались друзья-москвичи, жалуясь на дальнюю дорогу в это чертово Петровское, где растет всяческая дичь и торчит пустой дворец, кое-как покрашенный снаружи. Приехали и Ксенофонт Полевой, тот самый, который впоследствии увековечил в своих записках этот день, Александр Муханов и множество других.

— Я был с Пушкиным на народном гулянье, — сказал Муханов. — Он скоро будет здесь.

Спустился вечерний сумрак, лакеи зажгли свечи, в сиянии которых все окрасилось в праздничные тона. Стол был уже накрыт. Ждали только Пушкина. Он вошел, какой-то рассеянный, невнимательный, разговаривал не улыбаясь, что, как утверждает Полевой, всегда было у него признаком дурного настроения. Те, кто знал его ближе, с грустью заметили, до чего он изменился за последние месяцы. Сквозь привычную живость его речи, взора, движений проглядывала заметная для них тревога, как будто на лицо его отбросили тень недавние события, о которых не принято было говорить на дружеских сборищах и веселых вечерах, как не говорят о смерти в доме, полном воспоминаниями об отошедших.

Пушкин немного поел, говорил очень мало и вдруг ушел, ни с кем не попрощавшись.

Всем стало ужасно не по себе, так что даже вино не в силах было помочь, хотя они и снисходительно относились к хандре, ежели она на кого из них нападала. Слышали еще в темноте за окном грохот коляски, в которой укатил Пушкин.

А он в это время погрузился в грустные размышления, тут, на этом пустыре, в темноте, в которой не чувствовалось весны, хотя была это одна из последних майских ночей. Коляска скакала по камням и выбоинам, спина возницы, едва различимая в бледном сумраке, двигалась то влево, то вправо. Тишина стояла кругом, испарения подымались от свежей пашни, тяжелый запах глины смешивался с запахом зелий и сорных трав.

Пушкин с горечью думал о том, что случилось с ним в последние годы. Со стыдом вспоминал теперь свои разгульные ночи, интрижки, лживые обеты, вечную игру, из которой ничего нельзя было извлечь для подлинной жизни. Сколько уже лет он мечтал об одном — уехать! «Ведь это единственная страна на свете, — думал он, — из которой человек, не узник и не солдат, не вправе уехать за границу. Император является тут надзирателем исполинской тюрьмы и цензором мысли».

...Ну что за блажь! Ненависть тоже требует известных усилий...

Коляска теперь медленно выехала на одну из дорог на распутье. По привычной ассоциации Пушкину вспомнились его собственные стихи, написанные год назад. Он вновь увидел их, как будто это был не просохший еще набросок, еще не утративший в печати своей первой мятежной прелести:

Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился,
И шестикрылый серафим
На перепутьи мне явился...

Где ж теперь этот шестикрылый серафим, который явился ему на перепутье? Темной листвой ива свисает с мертвого неба. На небе не видно звезд. Вместо них мигают в отдалении тусклые светцы в окнах невидимых домов.

А ведь снова начнется то же самое. Споры, карты, вино, мимолетная улыбка красавицы, улыбка, которой уже не дано власти воскрешать из мертвых. Может быть, следовало остаться там, в Михайловском, где тихо опускались зимние сумерки, где дряхлая няня рассказывала сказки, более правдивые, чем сама жизнь. Остаться там и смотреть и слушать, как пылают и потрескивают дрова в печурке, как в окна стучится снежная вьюга, как проходит молодость. Вернуться к лампе своей, вокруг которой клубится мгла, остаться среди книг и рукописей, требующих немилосердного труда и великого терпения.

Вспомнил он тот памятный день 8 сентября прошлого года, когда приехал в Москву, доставленный фельдъегерем по приказу Николая Первого, который решил освободить его от своей отцовской опеки и от сельского уединения и почтил его длительной беседой и сомнительной милостью. Сам император будет читать все, что Пушкин напишет нового, будет служить ему советчиком. Практически это означало усиление надзора за каждым его шагом и усиление цензуры его творений. Русский Овидий, вытребованный из ссылки в далеком Михайловском, попадает в неволю царского двора, в неволю, по которой он так опрометчиво тосковал.

Вспомнил теперь беседу с царем, свежескоронованным, беседу, которую нельзя и не следует помнить. Вспомнил, с какой жаждой предавался потом шуму развлечений и литературных споров. Вспомнил диспуты с «любомудрами», вместе с которыми взялся было за редактирование «Московского вестника». Вспомнил дом Сергея Соболевского, где поселился по прибытии в Москву. Вспомнил пейзажи русского юга, которые привез с собой в памяти и которые привык призывать в мрачные минуты. Черное море, бьющееся о берега, Одессу, небесную лазурь над Грузией и Крымом.

Вспомнил гречанку, которая, может быть, была возлюбленной певца Лейлы, а теперь продавалась другим. Увидел вблизи ее пухлые алые губы и огромные очи на смуглом лице.

Вспоминал женщин, белых и сонных, которые сходили со старинных портретов в его объятия, улыбаясь двусмысленно, ибо двусмысленна тайна жизни и смерти. Он мечтал, и в мечтах ему грезился зной пустыни, жар тропиков, снившийся ему не раз в морозные зимние ночи. Ничего не было определенного в этом мире, который окружал его и был вместе с ним. Ощутил себя узником себя самого, узником собственных глаз, рук и мыслей. Услышал голос: «В тюрьму, мой принц?» Ответил этому голосу: «Вся Дания — тюрьма». Да. Весь мир тюрьма. В нем — подземелья, своды, казематы.

Ему стало холодно. Он поплотней закутался в свое широкое пальто, нахлобучил на голову шляпу. Подъезжали к городской заставе. Стоявший при шлагбауме стражник посветил прибывшему фонариком в лицо.

*

Князь Вяземский, друг декабристов, человек, знающий Польшу и ее

литературу, поэт средней руки, но человек умный и благородный, от души полюбил польского поэта. Княгиня Зинаида Волконская дарила Мицкевича симпатией, которая ему, избалованному «одесской графиней», казалась почти ледяной, и он даже делал упреки прекрасной даме в ловком и вычурном стихотворении «На греческую комнату», жалуясь, что «в раю приобщился, увы, только полуспасенью».

Это была женщина большой красоты и ума, который очаровывал хотя бы потому, что очаровывало ее телесное обаяние. О ней писал Пушкин:

При толках виста и бостона,
При бальном лепете молвы
Ты любишь игры Аполлона,
Царица муз и красоты... —

и завершал этот салонный ямб прелестнейшим комплиментом:

Певца, плененного тобой,
Не отвергай смиренной дани,
Внемли с улыбкой голос мой,
Как мимоездом Каталани
Цыганке внемлет кочевой.

Среди людей высоких интеллектуальных качеств и светского лоска Мицкевич преобразается. Это уже не прежний диковатый юнец, буйный облик которого смягчала только тень задумчивости, не Густав, возлюбленный Марыли Верещак и Каролины, супруги доктора Ковальского из Ковно. В гостиных княгини Волконской и госпожи Елагиной^[87] он порядком пообтерся в высшем, несколько снобистском обществе, приобрел салонные манеры; а то, что он соблюдал их без особого педантизма, та свобода, с которой он двигался, только придавали ему привлекательности. Поэтов в те времена ценили высоко и прощали им некоторые странности и отклонения от неизбежных условностей, царящих в аристократических салонах.

«Все в Мицкевиче возбуждало и привлекало сочувствие к нему, — свидетельствует в записках своих Вяземский. — Он был очень умен, благовоспитан, одушевителен в разговорах, обхождения утонченно-вежливого. Держался он просто, то есть благородно и благоразумно, не

корчил из себя политической жертвы; не было в нем и признаков ни заносчивости, ни обрядной уничижительности...» «При оттенке меланхолического выражения в лице он был веселого склада, остроумен, скор на меткие и удачные слова».

В писаниях мемуаристов об этой эпохе жизни Мицкевича больше всего упоминаний о его удивительном таланте импровизатора. Импровизации узника в келье базилианского монастыря были только прологом.

Мицкевич охотно импровизировал. Однако его писательский метод был полной противоположностью вольничанью и хаосу. У него был бурный темперамент, он был порывист и внезапен в своих реакциях, но нельзя ставить знак равенства между темпераментом человека и художника. Понятия вдохновения, озарения и способность к импровизации были неотъемлемой принадлежностью романтического словаря.

Современники восторгались его импровизациями. При звуках музыки слушатели, разгоряченные вином, не в силах угнаться за потоком быстро извергаемых слов; они в упоении от ритма фраз, их поражает бледность, заливающая лицо говорящего, им импонирует удивительная способность мгновенного сопряжения образов и понятий.

Мицкевич не позволял записывать этих поспешно извергнутых мыслей. Записанные, они утрачивают всю свою прелесть и становятся в общем скверными стихами и скучной прозой. В те времена, когда экзальтация еще никого не повергала в смущение, стихи или отрывки прозы, декламируемые с напыщенной интонацией, сильнее воздействовали на слушателей и в особенности на дам. Свидетельствам современников мы не склонны верить. В импровизациях не было великой поэзии, была изумляющая поэтичность, хотя, конечно, то тут, то там она порой ослепляла сверканием истинного бриллианта.

«Мицкевич много импровизировал, — пишет Вяземский, — под музыку фортепьяно, с удивительным искусством, сколько я мог понять сам и по восхищению слушателей... Кончил он фантазией на «Murmure» Шимановской^[88], и поэзия его была тогда ропот и удивительно согласовалась с музыкой...»

На картине Мясоедова^[89], представляющей Мицкевича импровизирующим в кругу московских друзей, поэт на фоне зала с колоннами держит речь, патетически разводя руками. Кроме слушателей, две нагие псевдоримские статуи внемяют его вдохновенной импровизации.

Поэт импровизировал преимущественно французской прозой,

поскольку русским языком владел слабо. Импровизации эти вызвали много шума в салонах, и они-то самым решительным образом прославили имя Мицкевича в Москве и Петербурге.

Прогремела импровизация о Самуэле Зборовском^[90], которую поэт создал в декабре 1827 года, во время своего пребывания в Петербурге, где он находился, улаживая дела, связанные с печатанием «Конрада Валленрода». В этих импровизациях немало от романтического шаманства. Порой они напоминают спиритические сеансы, во время которых пиит вызывает призрак поэзии. Слушатели видят этот призрак потому только, что жаждут увидеть его...

Стилизация — это одна из популярнейших разновидностей стиля. Стилизация в те времена очень модна. Восхищаются «греческой комнатой» княгини Зинаиды Волконской, мешаниной стилей, чем-то вроде склада старой рухляди, тогдашним шедевром стилизации, который в наши дни показался бы полной безвкусицей.

Импровизации приближали слушателей к поэту, позволяли им как бы непосредственно общаться с таинством его гения. Этой непосредственности не могли бы иметь творения, опубликованные печатным способом, да к тому же еще на чужом языке, не знакомом большинству русских друзей поэта.

В декабре 1826 года вышли в свет «Сонеты» Мицкевича, в Москве, в университетской типографии, изданием автора, тщательно напечатанные, с литографированным приложением персидского перевода сонета «Вид гор из степей Козлова».

Сонеты посвящены были «Спутникам путешествия по Крыму». Это посвящение имело свой смысл, скрытый от взора читателей. Цензор мог без малейших колебаний подписать к печати экземпляр сонетов, посвященных столь безукоризненным и даже весьма заслуженным перед государством людям, как Витт, Собанская, Бошняк...

«Любовные сонеты» весьма верно отразили одесские настроения поэта. Известная деланность и принужденность этих произведений коренилась как в кругу чтения, так и в условностях светской жизни, которую он вел в Одессе, лечась от недавних ран, еще очень болезненных. Можно бы сказать даже, что условностью, литературщиной он защищался от назойливых воспоминаний и от раздумий о будущем, о том, что ждет его в грядущем.

Не в этих стихах, которые были попросту стилистическим упражнением в духе Петрарки, следует искать истинного, настоящего Мицкевича. Зато мы находим его в нескольких других созданиях. В

частности, в двух элегиях, писанных в 1825 году, и в «Размышлениях в день отъезда из Одессы». Есть в них правда страсти, обнаженная с отвагой, отличающей лучшие лирические творения Мицкевича. Есть в элегии «К Д. Д.» мечта о недостижимом счастье, которая возвратится в стихотворении «На Альпах в Сплюгене», уже успокоенная, умиротворенная и куда более рассудительная.

И не столь важно, какая женщина или какие женщины стояли у колыбели этих стихов. Истины, высказанные здесь, обладают свойством великой поэзии — всеобщностью. Суровая правда говорит из многих строф, вся прелесть которых во всеобщей подтвержденности выраженного тут опыта. В этих стихах нет отчаянного вопля четвертой части «Дзядов», но в них есть опыт, окутанный глубокой печалью. Двадцатисемилетний Мицкевич в «Размышлениях в день отъезда» называет себя «старцем, знающим житейские химеры». Одесские безумства не принесли ему отрады. Суровым итогом завершается пребывание в Одессе:

Летим же — ведь крылья целы для полета!

Летим, не снижаясь, — все к новым высотам!

Повеление, заключенное в этих строках, должно было осуществиться в «Крымских сонетах».

Они своим поэтическим совершенством затмевают «Любовные сонеты». Это, правда, тоже поэзия чувств, но чувств, обостренных до пределов ясновидения. Зрение и слух становятся сверхчувствительными орудиями познания.

Экзотика Востока, столь милая Гёте и Байрону, не только забавляет здесь и захватывает. Она сочетается с нравственной серьезностью поэта, впитывающего образы земли, моря и неба. Это первый горный пейзаж в польской поэзии, прелесть которого, как землю неведомую, открыл юный романтизм.

Если условность, близкая классицизму, преобладала в любовных сонетах, то тут ее разбивает отважный порыв поэта. Это правда, что и тут в иных сонетах можно подметить параллелизм двух поэтических школ, которые почти всегда сосуществуют в поэзии Мицкевича. После великолепного романтического пейзажа в четверостишиях «Аю-Дага» следуют терцеты, которым присуща условная, достойная Урсына Немцевича^[91] литературность.

И это все после необычайной свежести «Степей Аккермана», после

сонета о море и сердечной тревоге, после радостного «Плавания», почти вырывающегося из рамок сонета, после картин ночи и гор, после ужаса пропасти, после неустанного порыва воображения, которое низвергает небо и, превратив его в море, ледяной стеной вздымает его над землей.

К «Крымским сонетам» оказалось необходимым приложить небольшой словарь, столько в них было иноземных слов, весьма далеко отошедших от народных строф «Баллад и романсов»; сонеты эти не были также, как выяснилось, удобочитаемы для поклонников стихов, писанных в манере классицизма. Когда томик новых стихотворений вышел из печати, Мицкевич воспринял его появление с той холодной трезвостью, которая у каждого творца обычно уравнивает энтузиазм, как будто природа желает вознаградить себя за чрезмерную щедрость, с какой она одаряет счастьем создателей прекрасных и долговечных творений.

За победу над превратностями, непостоянством и брэнностью быстротекущего времени поэты должны расплачиваться мгновениями той жуткой трезвости, которая умерщвляет радость завершения нового труда. Так было и теперь. Но вскоре мысль о новом творении, которое он уже с некоторых пор писал, а задумал еще раньше, — мысль эта ожила в пустоте, возникшей после выхода в свет «Сонетов». Он жил помыслами о новой поэме. Писал ее урывками, не в том порядке, в котором позднее эти фрагменты были расположены в уже завершенном творении.

Поэма была косвенным откликом на декабрьские события. С несчастьем русских друзей Мицкевич неразделимо переплел несчастья своей отчизны, разглядев тесную связь между неудавшейся революцией декабристов и процессом и ссылкой филаретов.

Имя Кондратия Рылеева, Пророка русского народа, он дал герою своей поэмы, Литвину. Имя это обладало милым поэту звучанием — оно напоминало поэму Байрона. Совпадало оно также с именем гроссмейстера ордена крестоносцев. Могущество царизма оказалось сильнее, чем предполагали декабристы; могущество ордена было сильнее литовских сил. Кондратий Рылеев пал в борьбе. Если бы он действовал хитрее и коварней, — как знать? — быть может, он теперь оказался бы победителем.

Нужно было отодвинуть сюжет повествования в глубь столетий, в средневековье, в излюбленные романтиками края; нужно было показать ужас немецкого нашествия и завоевания, хотя ближе и жесточе в те дни было царское завоевание. Политический смысл должен был быть заслонен романтической основой, песней о злочлечениях Альдоны.

Москва, когда он прибыл в нее из Одессы, была подавлена ужасом поражения, ему слышался страшный крик: «Горе!»

Его деятельная натура, искавшая разрешения в практической сфере, не могла примириться с пассивным выжиданием. Если единственное оружие рабов есть измена, Конрад выбирает это оружие.

Мицкевич увидел вблизи могущество царизма. Гранит и чугун Петербурга поразили его, буквально потрясли, как только он прибыл туда. Должно быть, так смотрели взятые в плен финские крестьяне на растущий город Петра Великого. С тем же гранитом невской столицы позднее столкнулся взор Пушкина, и русский поэт приказал безумцу Евгению померяться силами со скачущим всадником.

В «Конраде Валленроде» поэт отомстил за все свои унижения, за горькую милость царской администрации, за порабощение слова, за муки друзей-филаретов, за необходимость притворствоваться и одурачивать деспота, за горькую отраду пребывания в обществе Витта и Бошняка, за печальную зависимость от их настроения и, наконец, за вынужденную бездеятельность в тот миг, когда Русские Друзья вышли на Сенатскую площадь.

Поэма должна была быть ответом на упреки соотечественников, которым не по душе были его триумфы в московских салонах. Отвечая Чечоту на его подозрения, он объясняет ему в письме от 5-го января 1827 года, что глупо было бы в их положении корчить Дон-Кихота.

«Ты цитируешь моавитян!... скажу откровенно, я готов есть не только трепной бифштекс моавитян, но и мясо с алтаря Дагона и Ваала, когда голоден, и все же останусь добрым христианином, каким был».

Те, которые общались с ним тогда, не могли даже почувствовать ту страшную трагедию рабства, которую он переживал со всей силой не притупившихся еще чувств. Как шильонский узник, он был прикован цепью к колонне, хоть и не употребил этого сравнения, избрав другое, более грозное, из Ветхого завета: «Яко Самсон единым потрясением столпа...»

Он чувствовал теперь, слагая свою политическую поэму, что это занятие вовсе не хитрость и не бегство, но сама борьба, хотя единственным его орудием было свежечиненное гусиное перо...

*

— Не определить точно, какой вы хотите вольности, — это значит погубить ее. В нашем языке есть еще другой термин: свобода, — говорил

Вяземский французскому послу в салоне княгини Волконской, куда только что вошли Мицкевич и Малевский.

Они были противоположностями и взаимно дополняли друг друга. Малевский, лысеющий блондин с приятным лицом, был парнем трезвым и скромным; Мицкевича он боготворил, даже вплоть до отречения от собственной любви. Когда легкокрылая сплетня принесла в Вильно весть из Москвы, что Францишек и Адам ухаживают за одной и той же дамой, Малевский в письме к сестре пишет с прелестной наивностью: «Оба мы уже под третий крестик добираемся, а десять лет совместного существования, его проседь в черных волосах, моя плешь оберегают нас от всякого несогласия. Милый Адам, вся моя собственная любовь перед ним покорно склоняется, его большой талант и еще большая душа не допускали меня никогда до мысли о соперничестве с ним. Вы вырвали у меня глубокие слова, но это потому, что меня возмутили ваши сведения».

Оба изгнанника преждевременно ощущали бремя лет на своих еще не поникших плечах. Теперь же, когда они входили в салон княгини, ничего от этой «старческой» позы не было в них.

Вяземский кончил разговор, учтиво обращаясь к вошедшим:

— Позором нашего времени является подавление свободы мысли, грядущее вынесет свой приговор...

Он взывал к грядущему, к этой единственной инстанции справедливо мыслящих, но, увы, достаточно неверной и обманчивой и, подобно индийской богине, скрывающей свой лик. Он взывал к грядущему также и потому, что отказался уже от борьбы в настоящем. Князь Вяземский после декабрьской катастрофы старался привыкнуть к новой ситуации.

Поскольку вошло еще несколько незнакомых лиц, молодые люди не поддержали опасного разговора. Рядом с ними болтали женщины в надушенных платьях, с розами, заткнутыми за корсажи.

— Княгиня превосходно читала вчера свой роман, написанный по-французски.

— Я не знала, что княгиня пишет, — вмешалась в разговор молодая дама с широким, чуть татарским лицом.

— Не только пишет, но и играет в домашнем театре. В Москве только и разговору, что о ней!

— Я только что из Петербурга.

— Такой игры, как игра княгини в «Танкредe», я никогда прежде не видывала, — сказала пожилая дама в пудренном парике, — хоть оперу ту в Петербурге смотрела несколько раз.

Дамы продолжали оживленно болтать о княгине, которая все еще не

появлялась. И вдруг княгиня вошла, легкая и утонченная, ведя другую красивую даму, которая, поклонившись, обвела собравшихся взором голубых очей. Фамилия ее была известна в салонах Москвы: Мария Шимановская, урожденная Воловская.

Путешествуя по Европе, Мария Шимановская очаровывала людей такого масштаба, как Бетховен и Гёте. Никто не считал ее годов. Казалось, что она все еще та самая красивая девушка, которая поражала своим талантом во времена, когда, как пишет мемуарист (Станислав Моравский^[92]), «вслед за великолепным двором Наполеона, — Пер, Родэ, Керубини, словно подхваченные вихрем этой великой кометы-светоча, просияли посреди Варшавы».

Она была теперь матерью двух хорошеньких молоденьких девушек, Гелены и Целины. Те, которые были желанными гостями в ее салоне, чувствовали, что, если бы им нужно было сделать выбор между дочерьми очаровательной пани Шимановской, выбор был бы нелегким делом.

Недавно был сочинен ноктюрн «Le mugure», который принес ей славу в Петербурге.

Мицкевич беседовал теперь с госпожой Шимановской об общих знакомых, о Пушкине, которым она восхищалась, хотя и не была высокого мнения о его мужской красоте. Ее прелесть была действительно неоспорима. Верно писала о ней графиня Блудова, что Шимановская была хороша прелестью, соединенной с той мечтательной, поэтической грацией, которую придает примесь еврейской крови и прирожденное польское кокетство.

По просьбе княгини госпожа Шимановская села за фортепьяно и начала музицировать со свойственным ей мастерством. Сквозь раскрытые двери «греческой комнаты» видны были в сиянии этрусской лампы скульптуры и вазы.

*

Из дневника Гелены Шимановской:

«Четверг, 22-го [ноября 1827 г.]. Князь Вяземский прислал нам сочинения Одынца и Мицкевича. В полдень пришел сам с этим последним, которого маме представил.

Суббота, 8-го [декабря 1827 г.]. Г-н Мицкевич декламировал отрывки из своей поэмы «Валленрод» и еще кое-что. Говорил превосходно».

Из письма Францишка Малевского:

«Москва, 28 ноября 1827 года. Я не вслушивался в концерт г-жи Шимановской, которая мне как артистка очень понравилась, а как нежная, вечно занятая своими детьми мать просто привела в восторг! В январе г-жа Шимановская будет в Петербурге».

Мицкевич — Марии Шимановской:

«Москва, декабрь 1827. Госпоже моей посылаю поздравления и прощальный привет в три часа утра, укладываясь в дорогу, среди шума и беспорядка. Вспоминайте иногда о нас, играя рондо Кленгеля, которое у нас и доселе звучит в ушах. Мы ожидаем в Петербурге известий о концерте из газет, а что нас еще больше занимает, известий о Вашем здоровье из писем, которые мы надеемся получить в нашем посольстве. Доброй ночи или скорее добрый день, потому что недалеко и до рассвета. Добрый день барышням Гелене и Целине; надеюсь еще застать их в Москве».

*

Роман с княгиней Волконской не удался. Другие женщины уже не привлекают его с такою силой. В течение некоторого времени воображение Мицкевича занимала барышня Каролина Яниш^[93], немочка с Мясницкой, которая пишет стихи, занимается живописью и пытается переводить великих поэтов. Она покушалась также и на произведения Мицкевича. Он бывал в доме ее родителей, начал обучать ее польскому языку и влюбил девушку в себя, не слишком отдавая себе отчет в том, какие, собственно, чувства он к ней питает. С портрета Бинемана смотрит милое, нежное, полудетское личико. Каролина Яниш, тезка ковенской докторши, особа несколько сонная и мечтательная, как это обычно свойственно молодым девушкам, еще только пробуждалась к жизни. Поэт был первым мужчиной, проявившим к ней интерес; она чуть не боготворила Адама, который был старше ее почти на десять лет. Следует признать, что он и сам подогревал это чувство, быть может, не вполне осмотрительно. Она свято верила его любовным клятвам. Посылая ей из Петербурга два своих новых томика, поэт пишет достопочтенному папаше Яниш: «...прошу передать м-ль Каролине два новых польских томика. Если ей угодно будет подарить мне-взамен книжку, по которой она училась читать по-польски, эта книжица будет мне дороже всех парижских и лондонских изданий».

Но это была только прекрасная ложь. Молодой поэт, мужая, как будто

утрачивает чувство действительности в делах любви. Одесские интрижки сделали свое, они показали ему, как просто завоевывать сердца многих женщин. Он был слишком темпераментен, чтобы быть постоянным.

Когда он познакомился в Москве с Евдокией Бакуниной, дочерью сенатора, кузиной великого Кутузова, ее обаяние, образованность, живой ум очаровали его так сильно, что он в иные мгновения готов был жениться на ней. Он помнил о ней до конца дней своих. Когда старшая дочь поэта, — рассказывает Владислав Мицкевич, — впервые в жизни надев вечернее платье, пошла ему показаться, — «Поверь мне, — сказал ей отец, — что все эти ваши наряды ничего не значат и что мужчины в общем-то не обращают внимания на то, как там какая выглядит и какое на ней платье. Мне самому в былые времена очень нравилась одна особа, которую все находили некрасивой; жаль только, что она была православная, не то я, может быть, женился бы на ней».

В то же время он получал письма от опечаленной пани Иоанны Залеской, которая жила воспоминаниями о нем.

Летом 1827 года Залеские приехали в Москву. Госпожа Иоанна — лишь затем, чтобы добровольно испытать муки ревности. Мицкевич поручил ей не без некоторой жестокости особую миссию: забрать его письма у Каролины Собанской, этого донжуана в юбке, преисполненной коварства изменницы и кознодейки.

«Бывают минуты, — писала Залеская год спустя, — когда тоска превосходит мои силы... Живу более одиноко, чем когда-либо, и это мне немного помогает. Так черно, так черно у меня на душе, что только могильное одиночество может мне принести облегчение. Сжалось и скажи мне... Прощай, прощай. Есть чувства, которые принадлежат скорее небесам, чем земле...»

Думая о ней, Мицкевич посвятил «Валленрода» Залеским.

Пребывание супругов Залеских и приезд брата Александра^[94], совместный осмотр Москвы, салоны и развлечения, визиты в «лучших домах» почти не оставляют времени для работы. Мицкевич с трудом завершает «Конрада Валленрода». Месяц спустя брат поэта пишет Лелевелю:

«Адама нашел гораздо более углубленным в работу, чем надеялся его найти. Валленрод закончен при мне, и я слышал декламацию всей этой повести из уст автора и был, так же как и прочие слушатели, в восторге. Одна песнь вайделота в несколько сот строк изложена гекзаметром; попытка эта, как мне кажется, очень удалась, какое-то оригинальное течение этого стихотворного размера столь приятно, что ухо не ощущает

никакой необходимости в рифмах».

Но поэт не был доволен своим творением. «Валленрод меня не очень восхищает, — писал Мицкевич осенью 1827 года Одынцу, — есть прелестные места, но все в целом мне не очень-то по вкусу. Пишу теперь новую поэму, весьма странную, размахнулся широко и не ведаю, когда она будет напечатана; пишу с большим, чем когда-либо, наслаждением, ибо пишу для себя самого, ни о чем прочем не заботясь».

Творение это никогда не увидело света, и неизвестно, было ли оно когда-либо завершено, зато «Конрад Валленрод» был готов. Теперь должны были начаться цензурные хлопоты, долгие и утомительные попытки добиться разрешения на выход в свет весьма двусмысленной поэмы, которая была защищена разве только средневековым забралом.

Тем временем дела любовные, в которые он так неосторожно впутался, гнали его из Москвы куда настоятельней, чем поэма, которая, впрочем, давала ему превосходный предлог для поездки, ибо печататься она должна была в Петербурге.

«Залеские, с которыми мы провели лето, — писал позднее поэт, — недавно уехали; одна моя знакомая и приятельница распростилась с этим миром. Утрата ее была для меня весьма прискорбна».

Для того чтобы окончательно избавиться от этих прискорбных осложнений, а также для того, чтобы подготовить печатание «Валленрода», поэт выехал вместе с Малевским 1 декабря 1827 года в Петербург. Поехали они под опекой князя Голицына, однофамильца московского губернатора, которому Мицкевич посвятил великолепное четверостишие:

Если в сердце таишь ты о вольности грезы,
Нам в беседе словами легко пренебречь:
Я пойму твои вздохи, а ты — мои слезы,
И мне руку пожмешь — это польская речь.

Принял их Петербург холодный, гранитный, в тумане, поднимающемся с болотистых побережий Финского залива. Однако вскоре этот туман растает в ослепительном сиянии канделябров, в шумных бальных залах, на приемах у русских друзей, в домах поляков, обитающих в столице Российской империи.

«Прибытие Мицкевича в Петербург вызвало небывалую сенсацию, — пишет в письме к Лелевелю Миколай Малиновский^[95], который после нескольких лет разлуки возобновил знакомство с поэтом. — Русские и

поляки состязаются в изъявлении ему своего уважения. У нас тут не жизнь, а масленица... Мицкевич внешне несколько изменился, отпустил бакенбарды, что придает ему солидность. Импровизаторский талант он довел до изумительной степени совершенства».

Поэт задумал трагедию о Барбаре Радзивилл^[96].

«Валленрода» читал только в избранном кругу. Излишняя громогласность здесь могла бы лишь повредить: слишком шумная молва, буде она разрослась бы вокруг его новой поэмы, могла бы привести к небезопасным последствиям.

Да и кто из слушателей способен постичь прелесть стиха, утаенную в рыцарской повести, среди дерзких намеков в духе Макиавелли? Кто сумеет оценить неслыханно утонченный рисунок вот этих строк:

Лишь ветка литовского дикого хмеля
К любимому тополю прусского края,
К заветной стремилась за Неманом цели,
Венком завиваясь, любовью пылая,
По веткам, по лилий листам пробиралась
И к милому другу, дрожа, прижималась,
Да лишь соловьи из дубравы у Ковна,
С певцами из гор запуцанских слетаясь,
Как встарь, по-литовски рокочут любовно,
На острове родственном перекликаясь,
Вражды и границы не чувствуя словно.

Открылась новая страница польской поэзии, но Адам писал Циприану Дашкевичу^[97]: «Милый Дашкусь, я тут живу, как пес на привязи, и грызу корректуры Валленрода, которого порой проклинаяю. Францишек обо всем договорился и приступил к печатанию».

Несколько позднее он пишет, намекая на Каролину Яниш, Художницу (как он называет ее в письмах, по-видимому не слишком ценя ее поэтические опыты), и на адресата, который был влюблен в эту самую Художницу:

«Как идут твои кампании? Ты должен прислать мне подробный рапорт. Но от Мясницкой крепости прочь! Еще моя осада не снята, и кто знает, не предприиму ли я новый штурм».

«Нет сомнения, — признается он в другом письме, — что мне Художница нравилась, но все же я не был влюблен до такой степени, чтобы

ревновал или жить без нее не мог. Ты неправильно предполагаешь, что дела у нас далеко зашли. Я до сих пор еще не сделал предложения».

«Состояние вещей таково: если бы она была действительно настолько богата, чтобы сама себя содержать как жена могла (ибо, как знаешь, сам себя еле могу прокормить), и если бы она со мной отважилась ездить, я женился бы на ней, хотя кое-что в ней мне не по душе... Но это, однако, возмещается ее прелестными и добрыми качествами. Доведайся стороной (если возможно), есть ли у нее состояние. Никаких обещаний от моего имени давать не следует, ибо мое положение доньше сомнительное».

В одном из писем он пишет однако:

«...неужто же меня Художница настолько очаровала, что я стал отчаянно холоден к другим женщинам? Притом я еще и бродяга, и разные занятия не оставляют времени, чтобы думать о дурном, а следовательно, я веду себя архипримерным образом».

Письма Дашкевича тревожат его, ибо друг сообщает ему о болезни Художницы. «Если бы я был хоть отчасти причиной, — пишет поэт, — это было бы для меня большим несчастьем. Великий боже, ужели я в этом повинен? Никогда ей не говорил, что люблю ее; даже в шутку; никогда не говорил о женитьбе, любил ее больше, нежели показывал. Теперь я в прескверном положении».

Действительно, положение его было отчаянным. Получал письма от госпожи Иоанны Залеской, полные унылых упреков и страстной печали.

«С г-жой Б. тоже горе, — пишет он далее Дашкевичу. — Наши шутки и болтовню она приняла всерьез. Пишет мне, спрашивая, помню ли я о ней, или, быть может, это было развлечение только».

Естественно, мне пришлось написать ей, выставя обстоятельства, из-за которых нам следует оставаться только друзьями и ничем более.

Ни в одну из них я не был влюблен.

Художница мне больше нравилась лицом, более приятная; г-жа Б. — по характеру и уму, ибо она совсем некрасива.

Но последняя мне недоступна».

«Если тебя прогневит это мое письмо, то подумай о том, что и я уже прежде мог иметь к тебе претензию. Ты знал мои отношения с нашей милой усопшей Красовской. Может быть, я был виноват? Быть может, я не проявил осторожности?»

Так вот, даю тебе слово чести, что с обеими нынешними я был гораздо менее фамильярен и еще более осторожен. Оказывается, что никакая опытность не помогает и что нужно бежать, бежать. Поэтому я здесь совершенно порвал с той (если помнишь) приглашенной к Б., и мы с ней

только друзья, а все прежнее как в воду кануло».

Бежать... Как в воду кануло...

Ничего иного не оставалось ему в положении столь усложненном, когда он перепутал столько нитей, а ведь из них теперь вязались прочные путы. Да он ведь и убежал из Москвы. Угрызения совести и печали некстати настигли его и здесь, настигли в холодном Петербурге.

Но он быстро стряхнул с себя бремя угнетенности. Воспоминание даже о печальных вещах светит в нем ясно, как лампа, не причиняет ему ни малейших страданий.

Даже смерть Красовской^[98], о которой трудно забыть, не омрачает его души. Мицкевич садится в ямщицкие санки, покрытые буркой, едет в Москву. Лет саней, снежная вьюга, которая так и пляшет вокруг позванивающей бубенцами и дымящейся на морозе упряжки, опьяняют его; он летит по снежным просторам России как завоеватель, а не как изгнанник. Он минует села, занесенные снегом, села, где живут в угрюмом повиновении, в крепостной зависимости и в нужде широколицые люди с глазами чистыми и печальными.

Во время этой поездки Мицкевич вынужден был задержаться, настигнутый сильной метелью, в нищей заброшенной деревушке, в нескольких верстах от Москвы. Сумрак уже стлался по земле, тьма стала полной, снежный шквал ускорил ее наступление.

Почтовая тройка увязала в бесчисленных сугробах, лошади, исхлестанные вьюгой, тяжело переводили дух. Хуже всего было то, что одна из них совершенно некстати расковалась и нужно было немедленно ее подковать. Проехали мимо бревенчатой церквушки, засыпанной снегом, и вот прямо в глаза пыхнул огонь из придорожной кузни.

Путник, с головы до пят закутанный в шубу, глядел теперь, как кузнец, славянский Геркулес с окладистой светло-русой бородой, вместе с сыном-подручным выковывал подкову в искрах пламени; он был виден путнику до пояса, мускулистый, в кожаном фартуке, словно кентавр, отлученный от своей конской половины.

Выпряженный жеребец тихо ржал, выказывая таким образом испуг перед огнем и удовольствие от тепла. Путник и возница отправились на ночлег в избу кузнеца, чрезвычайно бедную и убогую, где одна только клетушка неверно освещалась чадящим каганцом.

Но радушие кузнеца, его жены и сына вознаградило путника за неудобство ночлега. Хозяева сразу же поняли по его выговору, что он чужеземец, поляк, и совсем захлопотались; им хотелось, чтобы он чувствовал себя в этой бедной избе, как у себя дома.

Мицкевичу вспомнились мужицкие хаты на Виленщине и в Ковенском уезде, так похожие на эти, тут на Руси, и люди с таким же взглядом — дружелюбным, но тревожным.

О чем же он мог говорить с ними, если не о податях, не о барщине, не о злоупотреблениях вельмож и царских чиновников? Они говорили ему обо всем, что было их жизнью, откровенно, не опасаясь, что он предаст их.

— Пускай бы народ жил так, как хочет жить, а не как того хотят баре, по-божьему, не по воле чиновников, — торжественным и тяжким, как царские врата, слогом кузнец изложил свою тайную мысль, которую, конечно, вынашивал долгие годы; нянчил, вынашивал, пестовал — и вот делился ею с чужеземцем так, как поделился бы с ним хлебом. — Чтобы не отделяли людей от людей, какой бы это был народ!

Вот он всю жизнь трудился в поте лица, а теперь как нищий.

— Проезжал тут вчера через наше село генерал, весь в звездах и крестах. В Москву ехал, Я ему тоже подковал коня. Он на меня даже не глянул. Для такого барина мужик, ремесленник значит куда меньше, чем загнанная кляча. Да и что это за жизнь? Вот сына на будущий год в солдаты возьмут. Доведется ли еще когда увидеть его?

Заберут у отца и матери любимое дитяtko, и останется от него разве что след на снегу. Очень уж тяжкая нынче солдатская служба. За пустячную провинность — палки.

Путник вспомнил петербургских заговорщиков, их вечную заботу об этом народе, который хоть и привык как будто к своей неволе, но вопреки этому лелеял в своем воображении картину счастливой жизни, словно воспоминание о золотом веке, которого, увы, никогда не было.

Снились этим людям — простым и твердым — деревья, приносящие райские плоды, поймы, усеянные тучными стадами, родниковые воды и поля золотой пшеницы, какое-то мужицкое единение, славянское, народное.

Их убаюкивала всеобщая, извечно присущая всем людям мечта о счастье, та же, что у петербургских заговорщиков, та же, что у филаретов, та же, что у Пушкина, которому кот ученый, идя по золотой цепи, говорил сказки о счастливой земле; та же, что и у Мильтона, живописующего потерянный рай.

В заснеженной избе, будто в самой средоточии зимней мглы, на неоглядных просторах России, чужеземец-путник, лежа на медвежьей полости, расстеленной на полу, видел свой филаретский сон о золотом веке грядущего человечества, о земле без тиранов и рабов, о веке великого просвещения.

Пробудившись на заре, он попрощался с хозяином и уселся в санки,

всей грудью вдыхая студёный, но изумительно бодрящий воздух зимнего утра.

После возвращения в Москву Мицкевич поселился у Циприана Дашкевича в конторе Московского ассигнационного банка, в просторной и удобной квартире.

Вскоре он получил первые экземпляры «Конрада Валленрода». Поэма вышла из печати 21 февраля. Разрешение на выход в свет подписал цензор Анастасевич^[99], вымарав только один стих:

Ты же — раб; у рабов лишь одно есть оружие — измена.

Декабристы не дожили до выхода в свет «Валленрода», но те, которые негласно разделяли их образ мыслей, приняли поэму с пониманием и сочувствием.

Пушкин, с которым Мицкевич по-настоящему сдружился именно теперь, читает поэму в рукописи с помощью знакомых поляков, которые переводят ему ее на русский язык, строку за строкой, фразу за фразой.

И, поражённый красотой поэмы, Пушкин переводит несколько десятков строк вступления, передавая одиннадцатисложник оригинала четырёхстопным ямбом, излюбленным стихом русской эпики. Стесненные ямбическим размером, широкие фразы подлинника не всюду сохранили прелесть свою в переводе.

Мицкевич мог радоваться приему, который встретила поэма, прославившаяся еще в рукописи, у русских друзей и у кое-кого из близких ему поляков. Слава поэмы, однако, должна была в дальнейшем еще более возрасти. Об этом позаботилась история ближайших нескольких лет, на которую, впрочем, творение это оказало известное влияние.

А пока поэт проводит дни в обществе старых друзей, поляков и русских.

«Жизнь моя, — пишет Мицкевич в письме к Зану, о котором не забывает, время от времени посылая ему и Чечоту небольшие суммы, — течет однообразно и, сказал бы, пожалуй, счастливо — настолько счастливо, что боюсь, как бы завистливая Немезида не уготовала мне какие-нибудь новые беды. Спокойствие, свобода мысли (по крайней мере личная), порою приятные развлечения, никаких сильных и страстных волнений (разумеется, личных). Надеюсь, что летом пробудится и большая охота к труду; сейчас я довольно ленив, хотя много читаю и думаю. Дни мои идут ровно: утром читаю, иногда — редко — пишу, в два или три

обедаю или одеваюсь, чтобы отправиться на обед; вечером езжу в концерт или еще куда-нибудь и возвращаюсь чаще всего поздно».

И, однако, в эту счастливую пору его не покидает мечта о выезде на Запад. А пока ему предстоит еще возвращение в Петербург. Он живет в Москве, что называется, на чемоданах. Все его труды приобретают теперь оттенок временности.

Русские друзья устраивают ему прощальный пир, дарят ему серебряный кубок, на котором выгравированы фамилии: Баратынский, братья Киреевские, Рожалин, Полевой, Шевырев, Соболевский.

Баратынский продекламировал стихотворение, в котором призывал польского поэта освободиться от влияния Байрона. Пусть не преклоняется перед чуждыми божествами, ибо он сам бог!

Баратынский прочел недавно «Валленрода» и был поражен, обнаружив в нем явные отзвуки корсарских поэм великого британца. Стихотворение как бы поучающее, но, по сути дела, исполненное глубочайшего уважения к Мицкевичу, библейская елейность сочетается в нем с интонациями салонного комплимента; и после начального укора оно неудержимо устремляется к эффектному пуанту!

«Уехал из Москвы не без сожаления, — признавался Мицкевич Одынцу в письме от 28 апреля 1828 года. — Я жил там спокойно, не зная ни больших радостей, ни печали. Перед отъездом литераторы устроили мне прощальный вечер (мне уже не раз делали сюрпризы подобного рода). Были стихи и песни, мне подарили на память серебряный кубок с надписями присутствовавших. Я был глубоко растроган, импровизировал благодарность по-французски, принятую с восторгом. Прощались со мной со слезами»,

В Петербурге среди старых друзей застал Пушкина и Вяземского. Последнюю апрельскую ночь провел у Пушкина в обществе Муханова, Вяземского, Хомякова, Крылова, Жуковского и нескольких других русских литераторов.

Пушкин откликнулся редко: задумчивый, мрачный, он больше молчал, но сквозь молчание его пробивалась тревога.

Он жил в эти дни без плана, хаотично и бурно. То бросался в вихрь столичной жизни, посещал балы, то страстно играл, картежничал, то вдруг, позабыв обо всем, запирался дома и писал.

В разговорах Пушкин теперь. весьма скрытен и уклончив. Остроты его исполнены резкости и горечи в отличие от шуточек благодушно иронического Крылова, который именно этим широким покладистым юмором покорила Мицкевича. Среди мимолетных утех, которые набивали

оскомину, Пушкин не забывал о жестокой судьбе друзей-декабристов. В «Послании в Сибирь», написанном меньше года назад, он предвещал им свободу. Каждая попойка с петербургскими приятелями была для него теперь пиром во время чумы.

В мрачном расположении духа читает он на одном из сборищ в середине мая отрывки из «Бориса Годунова». Мицкевич и Грибоедов внимают чтению. Грибоедов и Муханов — это в тот миг последние каким-то чудом уцелевшие живые обломки заговора декабристов. И для них эти платоновские пиры стали пирами во время чумы.

В один прекрасный день Мицкевич навещает Пушкина на его квартире. Застает его за картежным столом. Просит, чтобы играющие не прерывали игры, сам ставит карту, несколько раз возобновляет ставку и, не сказав ничего, кроме нескольких бессодержательных слов, уходит.

Только те, кто легенды и поэзию буквально переносят на жизненные события, могут верить, что русский и польский поэты беседовали между собой исключительно о поэзии да о спасении человечества.

Эти чудаки хотят, чтобы они, поэты, животрепетные и полные молодых сил, были заживо облечены в бронзу унылых и неуклюжих монументов, посмертно сооруженных признательными соотечественниками...

*

У Дельвига, поэта, которого в сонете своем превозносил Пушкин, разговор переходит в жаркую дискуссию. Пушкин, по свидетельству Подолинского, говорил «с жаром, порой остроумно, но не гладко»; Мицкевич — «тихо, плавно и всегда логично». Русские мемуаристы в своих воспоминаниях постоянно признают превосходство Мицкевича, как будто хотят этим загладить обиду, причиненную царским правительством польскому поэту.

Правда и то, что это был один из печальнейших периодов в жизни Пушкина.

И, однако, под покровом цинизма и преувеличенной трезвости, как будто выставленной напоказ, русский поэт вынашивал глубоко затаенную печаль. Стихотворение «Воспоминание», под которым стоит дата 19 мая 1828 года, является одним из самых трагических его творений.

И, с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклиная...

Мицкевич перевел это стихотворение, которое стало ему вдруг так близко, ибо он сам узнал, как больно язвят «змеи сердечной угрызенья». Он чувствовал, как в изгнании цепенеет его сердце.

В морозных сугробах севера он мечтал о странах юга.

И, должно быть, тоскою по этому сладостному теплу порожден перевод из Петрарки.

Мицкевич перевел эти стихи в 1827 году, когда он короткое время гостил в Остафье у князя Вяземского. В Остафье был дом с колоннами в парке, высокие деревья которого вечером напоминали туи и кипарисы Италии. Над ветвями как бы застыла огромная безбрежная синева.

К этой эпохе относится перевод диалога Гёте «Путник». Свободный стих то удлиняется, то вновь укорачивается, легко и непринужденно, рифмы, которых нет в оригинале, в переводе играют и блещут.

Сладостность итальянского юга — действие происходит вблизи Вероны — наполняет теплом строфы, говорящие о счастье и великолепии творения. Путник прощается с женщиной, повторяя нежную молитву о семейном счастье среди идиллической природы:

Будь здорова!
Природа! Страдальцы в пути устают,—
На могиле прошедшего
Пилигримом стою утомленным;
Ты в полуночный час
Приведи меня в тихий приют,
А в полдневный главу мою
Увенчай свежим лавром зеленым.
А когда, после долгого трудного дня,
Я вернусь в мою хату,
Позлащенную солнцем заката,
Вернусь отдыхать, —
То пускай у порога
Красивая женщина встретит меня,
Моего малолетнего сына
Прекрасная мать!

Если бы только стихи эти не были переводом, комментаторы, конечно, без особого труда разыскали бы прототипы их в ближайшем окружении поэта.

Которую из московских салонных красавиц, по их мнению, имел бы в виду Мицкевич, создавая образ женщины?

В сопоставлении с этими стихами перевод отрывков из «Божественной комедии» Данте, выполненный в 1825–1827 годах, как бы опережает время. В поэзии Мицкевича постоянно уживаются звучания разной силы и тембра — от ноток согласия с жизнью, ноток доверчивых и кротких, и до неукротимо трагических аккордов.

После сладостного звучания эротического стихотворения Петрарки и идиллии Гёте этот фрагмент «Ада», переданный великолепным суровым языком, служит как бы уже предвестьем польской преисподней — предвестьем третьей части «Дзядов».

Мицкевич переводит также квази-сербское стихотворение «Морлак в Венеции»^[100], то самое, которое под иным названием перевел Пушкин. Переводит касыду о Шанфари, пользуясь французским переложением и дословным переводом с арабского, выполненным Сенковским. Мицкевичу до того пришлось по душе эта ориентальная поэма, что он сразу же после нее зарифмовал по переводу Лагранжа^[101] арабское стихотворение об Альмотенабби.

Весь блеск, все великолепие восточной поэзии Мицкевич вскоре использовал в своем «Фарисе». Уверяют, что этот гимн в честь человеческого могущества поэт написал после безумной гонки в грозу и в ливень. Впрочем, ехал-то он в сугубо неромантическом экипаже — в расхлябанных извозчичьих дрожках. Но так ли уж важно, на чем и как ехал поэт? Ведь в поэзии первоначальный импульс может быть неощутимо слабым: капля дождя может сойти за океан, одно-единственное деревце может вызвать к жизни картину допотопных дебрей.

Ярость фариса, которую ретивые комментаторы впоследствии пытались перевести на язык аллегорий, нисколько не нуждается в комментариях.

Однако тот факт, что кое-кто тщетно пытался переложить физические явления на язык отвлеченных понятий, доказывает только, что эти мощные прозрения, эти видения, раскаленные добела и пущенные в неустанный полет, неизмеримо переросли материал, из которого они некогда возникли.

Прочитав «Конрада Валленрода» и переведя вступление к поэме, Пушкин нескоро с ней расстался. В этом создании поэта и друга, человека, с которым он делился тайнами своего сердца, Пушкина привлекал коварный язык — подлинный язык «политической брошюры». А ведь именно так называл «Валленрода» Мицкевич, всегда такой несправедливей, к своей поэзии, так быстро отвергающий каждое свое творение, порою еще пахнущее типографской краской. Подспудный смысл поэмы о крестоносцах был понятен Пушкину, и сквозь собственную боль после казни друзей-декабристов в те страшные дни он различал красоты польской поэмы. Он восхищался ею, оценивая ее не только глазами знатока, художника, которому ведомы все тайны писательского мастерства, но прежде всего глазами человека, сочувствующего страданиям чужого поэта, свидетеля и почти соучастника живой трагедии, которая соединяла их обоих в общем деле. По мере того как русский поэт вчитывался в текст «Валленрода», он постепенно привыкал к звучанию польского языка, к самому этому языку, столь суровому и в то же время столь великолепно способному выразить каждое движение, каждую мысль, точно и пластично, наподобие увлажненной ткани, плотно прилегающей к форме, которую она облачает,

В поэзии Мицкевича Пушкин восхищался тем, что как бы дополняло его собственное творчество: тем мрачным и яростным тоном, тем порывом чувства, благодаря которому каждая фраза польского поэта звучала как приказ; Пушкин дивился могуществу воли, которая была из стихов настолько естественных, как будто они сами подвернулись под перо, без всякого участия осознанного искусства и без всякого отбора.

Пушкин видел, что перед ним результат высшего мастерства. Взглянул на письмо, лежащее среди бумаг, исписанных рукой поспешной и нетерпеливой: между строфами и на полях были небрежно начертаны женские головки и какие-то смешные уродцы. Он рисовал их, сочиняя стихи. Вот голова Калипсо, вот шарж на чиновника. «Завтра буду с Вяземским на обеде у графини Лаваль. Завтра скажу ему, что вновь размышлял о «Валленроде».

«Политическая брошюра», — вновь вспомнился ему пренебрежительный отзыв автора о своем детище... Какая мощь в этих суровых гекзаметрах, где волнуется море, и, будто на море, нежность хватает за горло в мгновенья, когда ее совсем не ждешь. Если бы это было написано по-русски, если бы его не отделяла от поэмы завеса чуждых слов, полупонятных, под звуками которых надо доискиваться подлинной сути,

мысленно перелагая и близкие сердцу слова необычайную прелесть, скрытую в твердых чужезычных словосочетаниях!

Именно в эти минуты он явственно услышал рокот моря. Пенится Черное море у скал пустынных, черное только по имени, а по сути — темно-зеленое, светлое в лучах солнца, выбрасывающее на берег ракушки и водоросли, только что вырванные у самого берега с неглубокого дна.

Склонился над страницей поэмы и снова, чуть шевеля губами, прочел:

Эти речи он вел на лугах; а на взморьи Паланги,
Где бушующей грудью без устали море вздыхает
И потоки песка извергает из пенистой пасти,
Мне иное говаривал старец, внушая: «Ты видишь,
Как лугов наших свежесть заносит песками? Ты видишь,
Как растения тщатся пробиться сквозь саван смертельный?
Но напрасно! Все новые толпы песчаных чудовищ
Наползают на них своим брюхом белесым, душа их,
Затемняя им жизнь, превращая их зелень в пустыни...
Сын мой! вешние всходы, что заживо взяты в могилу,—
Это братья родные, литвины, народ угнетенный!
А песок, изрыгаемый морем, — то Орден тевтонский!»
О, как сердце мое истребить крестоносцев ярилось,
Как стремилось в Литву! Но удерживал старец порывы,
Говоря: «Лишь свободные рыцари, выбрав оружие,
Могут в честном бою состязаться открыто с врагами.
Ты же — раб; у рабов лишь одно есть оружие — измена».

Завороженный размеренной поступью этих стихов, он вжился на миг в несчастье подъяремного народа, воочию увидел молодое поколение, принужденное служить в чужой армии, в чужих учреждениях; ненавидел насилие, которое навязывает им всемогущий недруг, и стыдился — не за себя, ибо он не был в этом повинен, и, так же как те юноши, друзья изгнанника, ненавидел тиранию. Нет, он не сойдет с этой трудной стези. Неужели нужно любить собственную отчизну ценою порабощения миллионов других людей? Разве нужно им насильно навязывать чуждый закон, который является для них только хилой, а не правом, звуки чужого языка, который прекрасен, но красота его тотчас же становится призрачной, как только за ней возникают нагайка петербургского полицмейстера и солдатский штык? Нет! Он ощутил себя снова сыном своего народа,

который жаждет вольности на собственной земле, но не хочет ни чужих земель, ни чужих сокровищ. Порабощение одного народа другим, сильнейшим, — что может быть более отталкивающим, ибо ведь вслед за отвагой, не щадящей собственной жизни, шествуют страх и раболепие, гнусная лезть и подлость... Порабощение русского народа царским правительством, деморализация, порожденная тиранией, деморализация, распространяющаяся, словно холера, доносительство, подозрительность, недоверие... Пушкин знал, что о каждом его шаге, о каждом слове, произнесенном в присутствии нескольких лиц, назавтра или еще в тот же день осведомляются власти. Не столь уж давно шпиками были составлены рапорты о том, что он публично оскорбляет правительство и генералитет, чиновников и дворянство. Царь и его двор знали, что Пушкин думает о власти, которая держала русский народ и покоренные нации в железных тисках. Из уст в уста передавалась некогда сказанная им опрометчивая фраза, что-де привилегированная каста дослужилась уже до виселицы и что он первый готов затянуть петлю на шее любых прислужников тирании. Но с тех времен, когда он еще мог высказывать то, что думал, прошли годы. Затем настали дни угрюмых внутренних борений. Теперь со страниц «Валленрода» снова пахнуло зноем былой страсти: Пушкин восхищался отвагой, с которой поэт-изгнанник показал в своем творении отчаяние и гнев угнетенных. В таких вот зорях закатывалась трагедия польской и русской молодежи, трагедия филوماتов и декабристов. Смелость! Но какая ужасная смелость! Смелость раба, единственное оружие коего — измена.

За строками поэмы слышится топот жандармских сапог и простирается бескрайняя пустыня Сибири. Царь Александр, этот «ангел мира», вспомнилось теперь Пушкину, вознамерился закатать его туда ради блага всего государства Российского, всей империи, опасным и грозным врагом которой внезапно оказался он, Пушкин, чьим оружием было слово, и только слово. Позднее эта радостная неожиданность — ссылка на юг, в самое средоточие солнечного пыла и в самый центр революционного заговора. Он приветствовал теперь Пестеля в памяти своей, вызвал из мрака образы Орлова и Пущина, их, которые были гражданами грядущих дней. Ах, жить бы в мире, в котором не нужно было бы покоряться всевластной глупости! Жить в мире свободном, отважным зодчим которого был бы разум, а не произвол дураков и тиранов! Он задумался, уже в который раз с тех еще совсем недавних пор, над недолей Руси. Реформы Сперанского, Строганов и Воронцов, проект Мордвинова, давным-давно миновавшие годы его детства. Двенадцатый год, первое потрясение, от которого содрогнулась Россия и запылала Москва. Весь народ восстал

тогда, защищая отчизну, насиженные места, — курные хаты родимой нужды, которая была, однако же, своею нуждой.

А когда восемь лет спустя Семеновский полк поднял бунт, эти «тайные реформаторы России» заколебались в первый раз; вот эти колебания и погубили их 14 декабря. Раевский, Давыдов... масонская ложа «Овидий». Восстания в Италии, Испании, Греции. «Союз благоденствия» и долгие беседы с друзьями. Вечное напряжение нервов, ожидания, надежды, разочарования. На процессе декабристов выяснилось, что его мятежные стихи заговорщики знали наизусть, что его «Кинжал» воспринимали как призыв к цареубийству. Поручик Громницкий на следствии записал эту оду по памяти. Пушкин вспомнил теперь свое хитроумное письмо к Жуковскому, всячески заверяющее адресата, что «Кинжал» не был направлен против правительства. Придворный поэт, стараясь спасти мятежника, проявил явную готовность поверить в это маловероятное истолкование вольнолюбивой оды.

«Послание в Сибирь», привезенное туда, на каторгу, женой Муравьева, свидетельствовало, что Пушкин остался верен общему делу. На рукописи «Полтавы» он, забывшись, нарисовал повешенных, и словно тень тюремной решетки пала на эту поэму, искусно прославляющую подвиги Петра. Что же дальше? Он остался один, как певец Арион в его стихах, тот «таинственный певец», певец тайного дела, который после гибели челна сушит на солнце под скалою свою влажную ризу. Он уцелел! Надолго ли? Да и выдержит ли он сам? Не пойдет ли по бархатным следам Жуковского?

Его истерзали процессом из-за «Андре Шенье», обвиняли в кощунствах «Гавриилиады». Главнокомандующий Петербургского и Кронштадтского округов учредил тайный надзор за опасным поэтом.

Пушкин отвлекся на миг от этих помыслов и воспоминаний. Был поздний час. Лампа на столе начала меркнуть. Титулы книг, стоящих на полках, — русских, французских, английских — погружались во мрак... Поэт устроился поудобнее в кожаном кресле; ему еще не хотелось спать, но он был слишком измучен, чтобы приняться за какую-нибудь работу. И, словно мелодия сказки, слышанной в детстве, всплыли в душе его слова поэмы, которую он только что читал, слова, которые он затвердил на память:

Как сама не в себе она: все это замечают,
Видел сам я вчера — она вышила розу зеленым,
А листочки и стебель из красного вышила шелка.

И вовсе не во сне, ибо он сознавал свое состояние и даже улавливал каждый шелест за окном, перед его глазами начали проплывать картины из разных лет жизни, спутанные, неполные, лица давно не виденные, образы земли и моря. И вдруг одно из этих видений застыло прямо перед ним — яркое, четкое, позлащенное светом, сияющее. Увидел и услышал раскидистую чинару, всю в листовном шелесте. Почуял запах нагретой солнцем зелени, мог различить каждый отдельный листок; хрупкие цветы и пышные травы в этой чарующей уединенности, которую он сам из себя вызвал, но как будто без всякого участия сознания своего. Прелесть этой картины была исполнена такой силы — он отдал себе в этом отчет мгновенье спустя, — что картину эту сопровождала приглушенная мелодия флейты, цевницы, свирели, журчащая, словно родник, укрытый среди холмов, — мелодия эта звучала равномерно, будто часовой механизм, словно аккомпанемент мыслям блаженным и неведомо где начинающимся.

Он изумился, что только сейчас заметил под сенью дерева юную девушку, сидящую в стороне, с руками, сложенными на коленях. Волосы ее, стянутые красивым узлом, ложились на спину. Рядом с ней сидел пастух, одетый в звериную шкуру. Он перебирал пальцами по отверстиям флейты, раздувая щеки. Звук флейты был настолько проникновенным, что он, безучастный свидетель этой сцены, казалось бы банальной, ибо известной по стольким изображениям, возникшим в жестоком веке, наперекор этому жестокому веку, — что он, безучастный свидетель, ощутил внезапное сердцебиение и, тщетно прижимая руки к груди, пытался усмирить этот мощный рокот забурлившей крови, рокот, который охватывал его всего, овладевал всем его существом, спирал дыхание в его груди. Всегда при виде истинной красоты он испытывал чувства, которых не умел себе позднее объяснить и тщетно старался удержать разрастание их, подобное мгновенному распространению пламени. Сколько раз он поддавался могущественному обещанию счастья, обещанию, по правде сказать, неисполнимому! Но никогда не испытывал он такого сладкого и в то же время болезненного восторга, как теперь, при виде этих двух людей, что возникли перед ним, то ли наполовину вызванные из его прошлого, то ли наполовину принадлежащие временам грядущим, тому золотому веку, который род людской либо переносит в будущее, либо смутно вспоминает, как дела, которые уже происходили некогда, в давних и неведомых, баснословно отдаленных временах.

В этой теплой, устланной цветами долине Грузин, в тени раскидистой чинары, он всеильной мечтою своей похищал у людей неведомых, быть может у людей грядущего, свое собственное счастье.

Он вспомнил Руссо и приветствовал его, как наставника и друга, вспомнил Сен-Симона и ночи, проведенные над его писаниями.

Ожили вновь страницы, давно не читанные, ибо упала на них теплая тень, светлая улыбка, которой уже нет на земле. Узнал очи, уста, локоны Амалии Ризнич. Снова явственно услышал рокот моря. Пенится Черное море у скал пустынных, черное только по имени, а по сути — темно-зеленое, светлое в лучах солнца, выбрасывающее на песок ракушки и водоросли, вырванные с вязкого дна у самого берега.

Который нынче может быть час? Часы в тусклом отблеске луны показывают четверть первого. В коридоре кто-то отворяет двери, и вновь воцаряется тишина. Да, неутоленность красотой не однажды причиняла ему нестерпимую боль, — так он истолковывал себе свою пресловутую переменчивость, легкость, с которой он нарушал любовные клятвы ради вновь познанной прелестницы, бросая прежнюю, переходя из-под власти одной под власть этой новой, единственно желанной. Его обвиняли в распутстве, видя источник ее в той примеси африканской крови, которую он унаследовал от своих предков. Но в слепой страсти, овладевавшей им при виде красоты, было вечное искание совершенства, которого он не знал доселе, погоня за призраком счастья, приманкой, ускользящей у него из рук, как Дафна из рук Аполлона, который был для него истинным богом.

А может быть, это все еще тот недавний восторг, когда, подъезжая под Ижоры, клялся, что возвратится снова, чтобы взглянуть в глаза необыкновенному видению? Вспомнил езду в санях, когда лошади неслись галопом в метельном мраке. Настойчивая память принесла ему одновременно тепло и благоухание, вкус и прикосновение. Ясность ощущения былого поразила его и встревожила. Он почувствовал на руке прикосновение жарких губ, живое прикосновение уст в тот миг, в то мгновенье, он удивился столь радостно, что это радостное изумление мог теперь повторить в воспоминании в свежести, не нарушенной ни днями, ни годами. Он не сумел бы определить или увековечить приметы тогдашнего мгновенья, ни тем паче выразить его мимолетную прелесть в описании, которое всегда разочаровывает, ибо чем оно подробнее, тем более лживо, но он ощущал это мгновенье и вызывал его из небытия всеми силами своей фантазии. Красота этого мгновенья была подобна красоте юной узницы из стихов Андре Шенье, которого он очень любил, красоте, не выраженной непосредственно в словах и образах, но возносящейся из слов, как запах возносится над лугом; те, однако, что познают сладость этой красоты, будут трепетать, как она, до конца своих дней, проведенных с нею рядом.

И так же, как и ей, конечно смерть страшна
Тому, кто жизнь проводит с нею.

Он по долгому опыту знал наслаждение, возникающее из ощущения власти над фантазией, которой, впрочем, всегда умел поставить четкие пределы. И сейчас из этого внутреннего ритма вынырнул уже в его сознании первый абрис земли еще неведомой, но уже желанной всеми чувствами и всем сердцем. Замысел новой поэмы, фантастической, как сказки из «Тысячи и одной ночи», и в то же время выросшей из недр русской земли, из легенд и пословиц ее народа, поэмы, глубокое содержание которой он облек бы в форму такую простую, что она могла бы присниться и пастуху в Грузии и пряхе в Тверской губернии. Эта поэма должна была вырасти из прошлого, из преданий старины глубокой, но вся устремлялась бы в грядущее, точно так же как жизнь рода человеческого на земле. Он беседовал как-то о замысле такой поэмы с Мицкевичем. Польский поэт был очень удивлен, что и ему пришла подобная мысль.

Мицкевич не был удовлетворен «Валленродом» и принялся за новую поэму, весьма странную, как он выразился, и о печатании которой в будущем он даже и не думает.

Пушкин любил этот первый, как бы вступительный период рождения поэмы, когда видятся только легкие очертания, когда все еще как будто в тумане и разве что только какая-нибудь подробность, какая-нибудь сцена или фигура вдруг облекается в плоть и всплывает в воображении, озаренная неким сиянием. Так и теперь видел — и кто знает? Быть может, встретились в это мгновенье видения обоих поэтов? — большие, солнцем залитые просторы; видел людей в труде и в забавах, храмы здоровья и прелести, юношей, купающихся в реке, выходящих как раз из воды, сияющей, как изумруд, в наготе мускулистых тел; детей в садах; старцев, которые под сенью ветвей, отягченных плодами, вкушают заслуженный отдых на склоне долгой жизни.

Он дал убаюкать себя этим блаженным мыслям и образам, не слишком отличавшимся от сновидений, которые иногда настигают нас в чистое морозное утро, настигают, когда мы спим с раскрытыми окнами в горной хижине или в новой квартире, после переезда, когда не все еще готово и белизна свежоштукатуренных стен предвещает неведомые события.

Но прежде чем этот первый контур замысла выкристаллизуется, прежде чем разрозненные нити соткнутся в ткань в мозгу поэта так, чтобы роза была вышита красным шелком, а листья ее — зеленым, а не наоборот,

должно утечь еще немало времени, той бесценной материи, что выстилает жизнь, подобно эфиру, заполняющему межпланетное пространство.

Не утратить из него ничего, ни единого дня не потратить даром, не отдать житейскому разладу ни единого часа! Он вновь ощутил давно уже не всплывавшие в сердце радость и доверчивость. Встал, распахнул окна и дал себя овеять весеннему ветру, предрассветному весеннему ветру. Но в эту минуту тело отказалось повиноваться ему. Дремота охватила его.

А тем временем молодая, с перстами пурпурными Эос нисходила на фронтоны классических зданий, нисходила на Неву, окованную гранитом, заставив порозоветь ее темнолознящуюся поверхность, блеснула перед Зимним дворцом, молодая Эос бросила луч на колоннаду дома Мижуева на Фонтанке, где проживал Вяземский, нежно притронулась к барельефам на доме Лаваля, озарила Адмиралтейскую иглу, потом она пролетела над лесами недостроенного Исаа-кия и пустой в этот миг Сенатской площадью, перепрыгнула через Неву и потерлась об ощеренную жерлами пушек Петропавловскую крепость. По Невскому уже тянулись бесчисленные экипажи, фаэтоны, ландо, дрожки, прогалопировал блистательный эскадрон лейб-гвардии, прогрохотали по мостовой зарядные ящики, засопела шестерка лошадей. На Большой Мещанской, где ютилась петербургская голь, день, начавшийся еще до рассвета, теперь выхватил из мглы бледные, испитые лица обитателей Северной Пальмиры, той самой черни, того простонародья, под грязным покрывалом, за сумрачной ширмой которого почивает чистейшее зерно нации.

*

Из дневника Гелены Шимановской:

«Понедельник 11 [февраля 1823 г.]. Вечером господа Хондзынский, Ивановский, Головинский были у нас и сказали, что г-н Мицкевич приехал.

Вторник, 19 [февраля 1828 г.]. Господа Дашкевич, Мицкевич, Скальковский, Яцкевич, Кашевский были у нас. Мицкевича матушка передела дамой. В седьмом часу оделись и поехали показаться г-же Z, оттуда с Юлиней и г-ном Скальковским, переодетым в дамское, к г-же Залеской. Застали там разных лиц, переодетых... Вскоре приехала мама с Мицкевичем и князем Вяземским, но их сразу же узнали. После маскарада танцевали, а после ужина Мицкевич импровизировал. Сперва сам говорил, а потом просил, чтобы ему дали тему. Князь Вяземский подсказал ему

наваринскую битву, которую Мицкевич воспевал так, как будто уже давно был подготовлен. Мицкевич, куря трубку, приближается к фортепьяно, аккомпанирующая особа играет ноты «Лаура и Филон», а он импровизирует под этот напев. Лицо его вдруг проясняется, озаряется, глаза горят светом гения».

Из дневника доктора Станислава Моравского:

«Мария Шимановская была прекрасна. А для меня, пожалуй, даже более чем прекрасна, потому что сильна, резва и необычайно привлекательна лицом и обаятельна. Хорошего роста. Фигура истинной музы, прямая, шикарная и форм прилично полных, опьяняющих чувства... Как г-жа де Сталь, она любила носить тюрбаны, которые были тогда в превеликой моде, и они удивительно шли ей... Но что меня больше всего поразило при этом первом визите, это ее ненаигранная и ангельская легкость, обходительность, с какой на первую просьбу, на первую тень просьбы, хотя бы просьбы трехлетнего дитяти, не чинясь, не дорожа своим талантом, она садилась тут же за фортепьяно...

Шимановская уже была за фортепьяно, когда в залу с пером за ухом, с пальчиками в чернилах, очень смело вошла молоденькая, но уже сформировавшаяся особа с милым личиком, но несколько сутуло держащаяся: была это старшая дочка г-жи Шимановской— Гелена...»

Из письма Францишка Малевского:

«6 апреля 1829 г. Г-же Шимановской очень повезло. Императрица поручила ей заниматься со своей дочерью. Я уверен, что теперь у нее отбою не будет от уроков в городе. Мне всегда приятно бывать у нее, я люблю ее материнскую заботу о детях; теперь, однако, мне реже придется показываться, ибо невесть чего наговорили. Что за беда нам, холостякам, с барышнями...»

Беда была действительно и с матерью и с барышнями. Барышни и впрямь были еще очень молоды; Геленка решительная, смелая, сметливая и разумная не по летам. Целина, правда еще почти ребенок, обжигала уже взором черных глаз. Мицкевич великолепно чувствует себя в доме Шимановской; концерты, балы-маскарады, препирательства с Целиной, пригласительные билетки, стилизованные в сказочном духе, где пианистка именуется Архимузыкальным величеством, поэт — Романтическим величеством и т. д., — все эти развлечения, шуточные споры и серьезные беседы позволяют ему забыть о людях и событиях, о которых лучше не вспоминать.

Барышня Гелена Шимановская 31 июля 1828 года записывает в своем дневнике:

«В шесть утра отправились на Сенную. Мицкевич покупал картошку. Обедать отправились в Екатерингоф. Обед. Мицкевич декламировал балладу «Воевода».

Барышни знали уже балладу «Три Будрыса». Восхищаясь ритмом этих стихов, пляшущим, стремительным, захватывающим. В балладе о трех Будрысах куда более реальная, чем за окнами их квартиры, витала снежная заметь, слышен был приглушенный снегом топот коня. «Нет на свете царицы краше польской девицы. Весела, что котенок у печки, и как роза румяна, а бела, что сметана; очи светятся, будто две свечки!» Это сравнение не понравилось госпоже Марии, потому что она терпеть не могла кошек, но зато оно очень веселило Гелену и Целину, чернооких, с густыми темными ресницами и бело-румяной кожей.

*

В то время как в Петербурге и Москве росла слава Мицкевича, варшавские классики фыркали и дулись на него за «Сонеты» и «Валленрода». Для них Мицкевич все еще был тупоголовым провинциалом, варваром, будто только что выкарабкавшимся из пинских болот, который дерзновенно преступал законы поэтической науки. Поэт расправился с ними, варшавянами, в статье «О критиках и рецензентах варшавских», которой он открыл новое петербургское издание своих стихов и поэм.

Поэт не оставил на варшавских педантах живого места. Пронзал их остротами, измывался над ними, демонстрировал их безграмотность. Они уже так и не поднялись. Вся Варшава, не обращая внимания на гримасы зоилов, читала затаив дыхание «Валленрода». Но автор этой поэмы мечтал уже о новом творении. По-видимому, «Барбара Радзивилл» не вышла из стадии замыслов.

В письме к Одынку поэт уверяет, что бросил несколько драм в огонь, даже наполовину уже написанных, и добавляет: «...до сих пор не могу справиться с силами написать трагедию, а уже седею и без зубов остался. И все же не теряю надежды».

Критикуя «Изору» Одынца, Мицкевич излагает свой взгляд на сущность драмы. Он считает исторической только драму, наиболее отвечающую потребностям века. Байрон почувствовал дух новой поэзии и нашел ее эпические формы. Шиллер при всей своей гениальности был

только подражателем Шекспира в отношении жанра и формы драмы. Гёте только в «Геце» немного угадывал исторические стремления эпохи... Мицкевич не верит, что Польша может породить нового драматурга эпохи.

«Мы, — пишет он, — подражаем Шекспиру, Шиллеру, Гёте, по крайней мере применяя их формы к национальным». Не верит — не по отсутствию веры — в свою нацию, но не верит, ибо трезво оценивает современное положение Польши.

Эта трезвость диктует ему, среди удивительно точных суждений, такую автохарактеристику:

«У меня жестокое отвращение ко всем островам и странам, которых нет на карте, и к королям, которых нет в истории... Я отпетый шекспирист и хотя позволяю изменять формы и строй драмы, но всегда ищу поэтического духа».

Францишку Малевскому он пишет примерно в это же время: «Предки создают язык, кое-что находит поэт, кое-что на него воздействует. Прежде чем в Польше выработается язык, каким написан «Дон Жуан», много воды утечет».

Проект издания польского журнала в Петербурге натолкнулся на сопротивление цензуры. «Ирида», которая должна была служить литературе польской и русской, не вышла из сферы проектов. И ему остались теперь только частные беседы с Дельвигом, с Пушкиным и с влюбленным в немецкую поэзию Жуковским, автором баллад, поклонником Гёте.

Мицкевич находится теперь в расцвете сил, физических и творческих. Он еще не эмигрант, пребывание свое в России считает временным, не теряет надежды вернуться в родные края.

Встречи с русскими литераторами, чтение иностранных книг и журналов обостряют его критическое чутье.

Любовь к отечеству не скрывает от него недостатков и убожества национальной культуры. Воплощается в нем теперь шиллеровский идеал: «дух пламенный и опыт мудреца».

Он смотрит в столице великой державы на военные парады и смотры, в которые до самозабвения влюблен царь Николай. В резиденции насилия размышляет над учением Сен-Симона, из которого почерпнул мечту о грядущем человечестве, свободном от голода, страха и войн. Стихи и поэмы, написанные им до сих пор, не удовлетворяют его больше. Он весь в поисках. Он весь превратился в зрение и слух.

Тем временем новое издание его поэмы, задуманное уже ранее, столкнулось с препятствиями. Рапорт Новосильцева от 10 апреля 1828 года

предостерегал власти по поводу «Конрада Валленрода». Сенатор, который был куда умнее многих прочих чиновников, подметил в поэме то, что было ясно для всех, которые не принадлежали к Третьему отделению и не носили голубых мундиров.

По благоприятному для поэта стечению обстоятельств и на этот раз верх одержала чиновничья тупость, — ведь чиновники не могли допустить даже и мысли, что автор-изгнанник осмелился бы в столице царизма провозглашать «бессмысленный польский патриотизм». И случилось точь-в-точь как в петербургском анекдоте из «Пана Тадеуша», который рассказывает Телимена:

...Исправный
Полицеймейстер службу знал
И отношения понимал
Меж лицами: заметив явный
Тот дерзкий шаг со стороны
Чиновника, до глубины
Он вникнул в дело... и решился
С ним поступить он, как отец...

Этим исправным полицеймейстером должен был оказаться вежливо улыбающийся граф Бенкендорф.

Второе издание «Валленрода» вышло в свет, цензура уступила, но за эту уступку Мицкевич вынужден был прибавить к поэме вступление, в котором автор «Валленрода», применяя на практике принцип «льва и лисы»^[102], прославляет государя за его попечения о подвластных ему народах...

В защиту «Конрада Валленрода» первым выступил Булгарин, который отчаянно ненавидел Новосильцева. Фаддей Венедиктович имел к этому явные причины. Новосильцев посредством тайных козней сумел было в свое время поставить под сомнение «российский патриотизм» этого продавшегося царизму поляка.

Булгарин полностью обелил себя в глазах своего непосредственного начальства, которое, впрочем, тоже недолюбливало сенатора Новосильцева. Не любил сенатора и фон Фок, директор канцелярии Третьего отделения, терпеть не мог Новосильцева граф Бенкендорф, создатель этого ужасающе пронизательного учреждения.

Булгарин, доказывая «чистоту», то есть аполитичность, «Валленрода»,

защищал тем самым и себя и наносил удар сенатору, демонстрируя беспочвенность его придирок и подозрений.

Убежденный соединенными усилиями Булгарина и фон Фока, граф Бенкендорф написал великому князю Константину письмо по делу Мицкевича с просьбой о дозволении выдать польскому поэту заграничный паспорт.

Булгарин, который, собственно, и подсунул черновик этого письма графу Бенкендорфу, мотивировал его настоятельную просьбу плохим состоянием здоровья поэта и одновременно выдавал Мицкевичу наилучшее свидетельство, аттестуя его как человека тихого и скромного.

Прошение увенчалось вожделенным успехом. Мицкевич получил дозволение на выезд за границу.

Чтобы поэт мог добиться этого драгоценного паспорта, были подняты на ноги высочайшие инстанции. Добиться этого не могли друзья Мицкевича — князь Вяземский, Пушкин, Голицын или Волконская. В сферах полицейской бюрократии с их мнением отнюдь не считались.

Мицкевич сохранил признательность Булгарину, который в ту пору еще не был законченным негодяем.

Поэт мало знал его и так же, как в истории с Виттом и Собанской, совершенно не подозревал его в двуличности. В письме из Берлина писал впоследствии своему патрону:

«Убежден в твоём благородстве, но позволь тебе еще раз, простирая руки через бранденбургские пески и Балтийское море, напомнить о деле Томаша и других моих друзей».

Булгарину приятно было читать эти уважительные и лестные слова, вышедшие из-под пера прославленного поэта.

Фаддей Венедиктович Булгарин не был человеком сентиментальным, но, как всякий смертный, хотел казаться не тем, кем он был, а тем, кем он мечтал быть.

Письма Бенкендорфа с уведомлением о вручении Мицкевичу заграничного паспорта были направлены одновременно его императорскому высочеству цесаревичу и великому князю, его превосходительству графу Голенищеву-Кутузову и его сиятельству князю Голицыну.

В конце марта 1829 года Мицкевич поехал в Москву — проститься с друзьями. «Пошел к Мицкевичу, — пишет Погодин в своем дневнике. — Виделся с ним с удовольствием. О нашем просвещении. Россия непременно должна покровительствовать всем славянским партиям, и этою мерою она привлечет к себе более, чем войсками».

Спустя несколько дней Мицкевич присутствует на завтраке у Погодина. «Завтрак у меня... Представители русской образованности и просвещения: Пушкин, Мицкевич, Хомяков, Щепкин, Венелин^[103], Аксаков, Верстовский...

Русские друзья прощались с Мицкевичем перед его великим странствием. Не было между ним и этими россиянами ни тени неискренности и фальши.

— В вашем лице я восторгаюсь великим поэтом и люблю человека доброго и чуткого. Будьте счастливы и не забывайте нас, — сказал ему Козлов, переводчик «Крымских сонетов», несчастный слепец с лицом апостола. Многие из них чувствовали точно так же.

Среди этих прощальных пиров поэт не забыл о Каролине Яниш. Пошел на Мясницкую, предчувствуя недоброе.

Они снова были вместе, и на минуту Мицкевичу показалось, что он мог бы остаться тут, с этой девушкой, которая его любила. Но это была уже только иллюзия. Долгая разлука сделала свое, время совершило свою незримую работу. Каролина пыталась сохранить спокойствие, знала, что предмет ее несчастной любви не выносит печальных сцен и дурных настроений. Но когда она поднесла стакан к губам, когда зубы ее столкнулись с холодным стеклом, слезы внезапно хлынули из ее глаз, не первые, правда, но и не последние.

Она бежала за ним до ворот, он ласково и дружески обнял ее: «Иди лучше домой, простудишься».

По темной Мясницкой разгуливал ночной ветер и трусил дождик, первый холодный вестник весны.

«И если даже я никогда больше не увижу тебя, даже тогда жизнь моя будет еще прекрасна», — слышал еще последние слова Каролины Яниш. Вспоминал последнее прощание с Иоанной Залеской.

Вспоминал Красовскую, которая внезапно умерла. Только она одна никогда не говорила о смерти в противоположность другим женщинам, которых он знал; они с такою щедростью расточали это слово, будто и впрямь готовы были умереть от тоски в любое время дня и ночи.

Лишь тот, «кто ран не получал, готов шутить с железом», как сказал Шекспир.

Слова этих юных женщин были слишком легки, пленительны, чтобы они могли раздвинуть надгробные плиты вечной памяти.

Но он помнил. Он, который умел выжимать слезы из камня, какими слезами плакал он, когда оставался в одиночестве? Во всякой разлуке есть торжество Смерти, которая появляется вдруг в полноте жизни перед очами цветущей жизни, в мизансценах объятий и слез, которые, впрочем, легко льются и еще легче просыхают.

Когда в марте перед приездом в Москву Адам простился с Пушкиным навсегда, они не нашли слов, которые были бы способны выразить их чувства.

*

В апреле Мицкевич вернулся в Петербург. За несколько дней до отъезда зашел к Олешкевичу, чтобы с ним попрощаться.

Олешкевич очень изменился с тех времен, как поэт впервые говорил с ним в мастерской. Что же, комнаты меняются медленнее, чем люди!

Кошки мяукали, греясь в лучах солнца, падающих из широкого окна. Клитемнестра стояла на прежнем месте, черное окоченелое полотно, злополучная картина, которую автор ее ценил выше всех прочих своих творений, хотя это была, наверно, слабейшая его вещь.

«Битву Иакова с ангелом», так и не завершённую, покрывал толстый слой пыли. Олешкевич забросил живопись. Все более и более углублялся он в дебри библии и каббалистики. Предсказывал будущее каждому, кто у него появлялся.

Утверждал, что в этой книге иудейских пастырей предсказано грядущее, что притчи ее вобрали в себя все, судьбу всего человечества, долю народов и людей.

Мицкевичу не по душе пришлись эти пророчества теперь, когда он ощутил теплое веяние новой жизни, когда он должен был покинуть исполинскую царскую тюрьму — ту землю, которая породила беспощадную тиранию и маковками церквей молилась сумрачному небу; страну, где мистика переплеталась с администрацией, где великолепные порывы помыслов и великих мечтаний тотчас же вписывались чуть ли не на поля полицейских реестров и уложения о наказаниях — и поэт, словно войдя в роль старого профессора Снядецкого, с трезвостью человека от мира сего сказал, что грядущий век будет веком технических изобретений,

которые он предсказывал как раз в сочиняемой им теперь «Истории будущего».

Олешкевич загромыхал:

— Ты борешься с духом, как Иаков, но ничто тебе не поможет. Ангел одолеет и тебя. Почувствуешь десницу его. Остерегайся!

Сказав это, он успокоился, лицо его прояснилось, оно стало снова обыденным и добродушным, и Олешкевич с улыбкой показал на свою незавершенную картину:

— Это невозможно закончить. Я не вправе. Некий глас предостерег меня во сне. Помнишь? «Коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с Ним. И сказал: отпусти Меня; ибо возшла заря».

*

Мицкевич выехал в середине мая 1829 первым кораблем, отплывающим из Кронштадта. Выехал второпях, поскольку его предупредили, что полиция получила приказ отобрать у него паспорт. Видимо, друзьям удалось задержать этот приказ в недрах Третьего отделения.

«Только я, я один, сопровождал Адама в Кронштадт, — пишет Ходзько, — а почтенный Оленин, московский его приятель, помог быстрее закончить формальности на борту английского парохода «Георг IV».

Помню, что это был первый пароход, который я видел в жизни. Несколько дней спустя мы читали копию приказа о задержании Адама в Петербурге впредь до дальнейших распоряжений».

А он в это время, как только овеяло его широкое и соленое дыхание моря, ощутил радость, какой, пожалуй, не знал доселе. Глядел на волны, которые, пенясь, били в борта корабля. Морской простор был холодный, зимний, хотя месяц май уже покрывал землю цветами.

Белые чайки с дикими криками носились вслед за кораблем, с распростертыми крыльями садились на воду.

Путник закутался в плащ, оглядел радостным взором весь этот сумрачный простор и, как бы что-то вспомнив, быстро сошел вниз. Вблизи от берегов империи, которую он покидал, благоразумней было не мозолить глаза случайным попутчикам.

ПУТЕШЕСТВЕННИК

«Я стал немного сентиментальным и... даже пишу дневник путешествия, но на этот раз не пошлю тебе выдержек, так как не уверен, дойдет ли письмо», — писал Мицкевич Малевскому из Гамбурга, куда прибыл после счастливого плавания через Травемюнде и Любек. К сожалению, дневник этот не сохранился, и мы можем только приблизительно восстановить трассу этого путешествия, которая пролегла не только по морю и суше, но также и через сердце поэта. Медлительная езда, частые стоянки не кажутся ему скучны, все занимает и развлекает его: весенний пейзаж, проплывающие мимо села и городки, церкви и трактиры. В зелени, а такой буйной зелени он давно уже не видал на плоских равнинах севера, стоят сады, рожи и леса Германии. На рассвете, садясь в дилижанс, путник слышит пение птиц на ветвях тополей близ постоянного двора. В рощах, мимо которых он проезжает, перекликаются соловьи. Еще яблоня в чьем-то саду стоит вся в пышности запоздалого цветения. Воспоминания, свежие еще, не печалят. Они наполняют пространство вокруг путника, являются частью пейзажа. Насквозь пронизывает его радость существования; прошлое и будущее как бы живут одновременно в нем, но не причиняют ему страданий. Вот росный луг, усеянный желтыми калужницами, вот дома, как рота солдат — с портупьями крест-накрест, с подсумками пристроек. А потом местность изменяется, идет иная местность — вся она морщится легонько, рябит, переливаясь мягким, кротким сиянием утренней зари, в нежной бледно-салатной зелени, в бронзовых оттенках, в розоватых тонах — точь-в-точь как на гобелене. На привалах путник приятно беседует с трактирщиками, которые похлопывают его по плечу; он спрашивает обо всем, поскольку хорошее настроение позволяет ему обнимать сразу множество дел, и все представляется ему важным, как это обыкновенно бывает тогда, когда мы в счастливом расположении духа.

В Гамбурге Мицкевич проводит несколько дней, но из-за непрерывных дождей ему мало что удается увидеть.

Около 5 июня он прибывает в Берлин.

В письме к Малевскому от 12 июня он сообщает: «Сию здесь уже неделю; здешние поляки дали мне обед — ein wenig burschikos. Об этом писать долго. Я был рад, что музыка у них больше процветает, чем у нас,

песен у них много... Философия здесь заморочила всем головы. Боюсь, как бы мне не перейти на сторону Снядецкого, так мне противны гегельянцы. Хожу на лекции Гегеля. Две лекции заняли рассуждения о разнице между «разуметь» и «понимать».

Вижу, что принадлежу к старому поколению и, как *stationnaire*, не пойму здешних метафизиков».

Метафизика отталкивает его теперь, когда он живет полной жизнью, и любое жизненное явление занимает его больше, чем совершеннейшие духовные построения.

Глядя на немецких буршей во время какого-то университетского праздника, он размышляет: ну, какие к черту получатся из них метафизики?

В полном блеске, будто на военном параде (а он видал такой парад в Гамбурге), в сапогах со сверкающими голенищами, в лосинах, в мундирах с серебряными позументами, в цветных фуражках, при шпагах — вот каковы они, ученики чародеев мысли, докторов Фаустов и Шеллингов.

Поэт намеревается посетить старого Гёте в Веймаре, у него есть к нему рекомендательные письма от госпожи Шимановской. В письме к ней он жалуется на страшную скуку Берлина, пишет, что хотел бы вернуться и что он начинает думать по-старопольски, что «там хорошо, где нас нет». Но он, по всей вероятности, просто хочет быть учтивым.

В письме к Булгарину путешественник принимает иной тон, приспособляясь к адресату: «Получил тут из Варшавы известие о коронации и полное энтузиазма описание пиров и развлечений. Увы, меня там не было! Я лишь издалека разделяю счастье моих соотечественников... Сообщаю тебе только, что император наш находится теперь в Берлине, где его принимают с энтузиазмом, и, как везде слышать, он был доволен пребыванием в Варшаве, и императрица милостиво вспоминала о сердечном восторге, с которым она была принята жителями польской столицы. Таковы политические новости...»

Он писал Булгарину эту политическую ложь явно для того, чтобы доставить ему удовольствие, — ведь именно благодаря Булгарину он выехал, — а быть может, для того, чтобы успокоить его, или, быть может, для того, чтобы привлечь его на сторону Зана и Чечота, о печальной судьбе которых он вспоминает в последних строках письма; а быть может, потому также, что еще не решил, остаться ли ему эмигрантом или вернуться в пределы Российской империи.

Он стал посещать лекции Гегеля, стал ближе знакомиться с польской студенческой молодежью в Берлине. Громадный авторитет профессора, на

которого, как на непогрешимого оракула, ссылаются студенты в диспутах, его несколько удивляет и раздражает. В России к нему, польскому поэту, с уважением, граничащим с почитанием, обращались величайшие писатели страны, а здесь желторотые польские мальчишки имели свое мнение, противопоставляли его пророчествам язык точных понятий, взращенный на гегельянской диалектике. Импровизируя на студенческих пирушках, Мицкевич тщетно пытается воскресить блеск недавних московских и петербургских триумфов: новые слушатели с трудом поддаются словесным чарам. В одной импровизации тут, на земле немецкой, где великая слава окружает имена Гёте и Шиллера, он, опьяненный ощущением собственной силы, бросает вызов, который свидетельствует скорее о раздражении:

Пускай мне Шиллер или Гёте
Укажут равного... В полете
Я вечно буду впереди!
Владыка рифм, я силой духа
Для ставших воплощеньем слуха
Песнь исторгаю из груди...

Слушал эти слова бледный, со стиснутыми губами юноша Стефан Гарчинский^[104]. С ним только мог Мицкевич вести долгие беседы без пренеприятного чувства, что слова его принимаются не слишком всерьез. Гарчинский, сам пробуя силы в поэзии, с восторгом взирал на великого мастера. Речь, рассуждения Гарчинского всегда были поэтичны; свою метафизику, опирающуюся на фундамент немецкой философии, он высказывал в словах мимолетных, в образах пластических. Все это исчезало в его поэзии. Гарчинский не обладал смелостью писать так, как говорил, и писал поэтому весьма посредственно. Воспламенялся только, когда говорил. Полемицировал сам с собой, ибо Мицкевич, не слишком начитанный в писаниях философов, не поднимал голоса, позволяя Гарчинскому наслаждаться своим монологом. Мицкевич обладал фантазией слишком конкретной, чтобы рассуждения юного философа могли его убедить, однако ему полюбился Гарчинский за его бескорыстную страсть. В этом мальчугане не было ни грана от книжников и педантов, он умел о запутаннейших проблемах говорить захватывающе интересно. Когда о том же предмете вещал с кафедры Гегель, Мицкевич слушал его неохотно. Тяжелая голова профессора, невидящий взгляд, монотонный голос — г-все отталкивало его от лекций. Гарчинский был больше поэтом, чем

философом, хотя сходил за толкового гегельянца. Они беседовали много раз допоздна у окон, настезь распахнутых в берлинскую ночь.

*

Странствуя по государствам со столь различными системами правления и нравами, имея отношение к делам, из которых слагалась современная ему история, поэт все чаще задумывается над отсталостью Варшавы и Вильно, где выходят в свет книги мертворожденные, хотя и облаченные в свежие обложки, где люди старятся преждевременно, где писатели немного могут сказать им. Терзаемый этими мыслями, он обращается в письме к Лелевелю: «Быть может, в других науках у нас есть хорошие работники, но в литературе Польша на полвека отстала даже от России».

Беседы с профессором Гансом, с которым Мицкевич познакомился благодаря Гарчинскому, обратили его взор к прошедшему. Профессор Ганс излагал как раз историю французской революции и Наполеона. Говоря о Ста днях, заметил, что наполеоновскую эпопею один только Мицкевич мог бы по-настоящему изобразить. Поэт присутствовал на лекции. Несколько месяцев спустя, на Лидо, в разговоре с Одынцем, Мицкевич с восторгом говорил об императоре. А пока, распрощавшись с Гарчинским, Мицкевич спешной почтой едет в Дрезден. Оттуда он намеревается отправиться в Саксонскую Швейцарию и в Прагу.

«Дрезден тесен и темен, — пишет он Малевскому, — но много приятней Берлина; в пятидесяти шагах Эльба и прекрасные прогулки. Мне надо так много здесь осмотреть! День мой обычно протекает так: в шесть утра, если погода хорошая, в школу плаванья; после восьми с каталогом в кармане отправляюсь в картинную галерею и там сижу, вернее — хожу, до двенадцати или двух; потом с дорогим генералом^[105] куда-нибудь на обед, на дружескую беседу или с визитом... Ибо о генерале надобно бы писать столь же пространно, как о галерее и о некоторых пребывающих здесь или встреченных мною поляках».

В это время на приеме в великосветском польском доме Мицкевича впервые увидел граф Гжимала-Яблоновский и в записках своих обессмертил эти мгновенья, выставляя себе и своему классу далеко не лучшее свидетельство.

Граф пишет: «Должен признаться откровенно, что если я с пылким

нетерпением приближался к этой личности, то нашел ее для моей, в свою очередь, личности малосимпатичной. Ничего в нем тогда не было ляшского: цвет лица изжелта-зеленоватый, поры кожи широкие, взгляд надменный и угрюмый обличали происхождение скорее финно-угорское, нежели польское. Я сразу понял мерзкие эпитеты: «Stąd dzielny Rusin, stąd Lach niespokojny!»^[106].

Холодный, развращенный славословиями, тем более любезными его сердцу, что он получал их от ляхов, он непрестанно позировал... В ухватках и поведении его было нечто скорее московское, нечто от поповича.

Беседуя со мной, он расселся довольно небрежно в кресле с подлокотниками, мало уделяя внимания обществу, в котором находился.

Дочь хозяина дома, привлекательная особа, подала ему чаю; он принял с полным равнодушием и, пригубив, спокойно отдал стоящей, сказав: «Слишком крепкий...»

*

Мицкевич ехал в Прагу, как путешественник, который учится прелести чужих краев и городов, чтобы позднее они послужили ему для сравнения. Переехал мост через Влтаву, увидел Градчаны в свете заходящего солнца, стены старых улочек, теплые, замшелые. Очарование этого города, особенно в закатный час, ни с чем не сравнимо.

Старинные дома рассказывают пришельцу свою историю, свою окаменелую историю. Однажды вечером в трактире «Под вехой» путешественник попивает мед и вино с чешскими писателями Ганкой и Челаковским^[107].

Как будто прислушиваясь к нашептываниям гения этих мест, он мечтает о драме из чешской истории. Есть в этом зарождении все новых и новых замыслов творческое беспокойство, колебание.

Изобилие впечатлений, наслоение различных культур дают одновременно на воображение поэта. Теперь по ночам он слышит звон оружия Жижки, точь-в-точь как еще недавно вслушивался в шаги канцлера^[108], идущего с приговором к Самуэлю Зборовскому.

Если поэт жаловался в письме к Лелевелю на недраматичность польской истории, то это, быть может, потому, что он не знал исторических

городов центральной Польши и было не за что зацепиться его воображению.

Вообразим себе Шекспира, который не знал бы Лондона!

Может быть, он хотел, наконец, пойти по стопам Шиллера, который сюжеты своих трагедий брал из истории разных стран и народов.

Тем более что тема была близкая, славянская, связанная с битвой под Грюнвальдом^[109]. Как прежде Лелевель к «Барбаре Радзивилл», так теперь Ганка должен был доставить Мицкевичу выписки из источников к этому произведению. Еще Спустя три года Ганка, приглашая Мицкевича в Прагу, вспоминает о материалах к «Жижке»^[110], которыми поэт мог бы воспользоваться на месте.

И много лет спустя, читая лекции о славянской литературе, Мицкевич посвятит много места разбору «Краледворской рукописи», якобы обнаруженной Ганкой.

Под меланхолический перезвон пражских часов, бьющих на башнях старого города, Мицкевич отправлялся в Карлсбад. Там он должен встретиться с Одынцем, который будет ему отсюда сопутствовать в дороге.

В Мариенбаде в это время как раз обитает Меттерних.

Оба поляка запомнили его пунцовое лицо под белоснежными волосами. Так выглядит Живая История на курорте.

О мертвой истории говорили стены замка Эгер, мимо которого они проезжали по пути в Веймар.

ВЕЙМАР, ANNO 1829

Когда Гёте сообщили о приезде в Веймар двух польских поэтов, которые, подобно множеству других путешественников, желали бы лицезреть величайшего писателя эпохи, престарелый надворный советник, не спрашивая даже, что стоят их творения, выразил согласие и назначил встречу на завтра в полдень.

Именно в это время дня он привык принимать гостей, во множестве съезжавшихся в Веймар, чтобы осмотреть его как некую достопримечательность, которая — это ни у кого не вызывало сомнений — останется великой и примечательной и для веков грядущих.

Старый поэт не любил, когда его слишком назойливо просили о встрече или когда он не был подготовлен к визиту. Это отнюдь не значит, что он мысленно заготавливал беседы завтрашнего дня, — нет, он вовсе и не думал о завтрашней встрече, но, когда наутро, отдохнувший и посвежевший, он шествовал в свой кабинет, сознание, что нынче его ожидает этот единственный, заранее назначенный визитер, это сознание никоим образом не портило ему настроения.

Всякое неожиданное нашествие нарушило бы отрегулированную систему распорядка трудов и отдохновений, размышлений и удовольствий господина надворного советника. Только за ужином Оттилия походя заметила среди непринужденной светской болтовни, что один из завтрашних посетителей слывет великим поэтом, фамилия у него труднопроизносимая и что сочинил он нечто вроде «Страданий молодого Вертера».

— Его очень рекомендует госпожа Шимановская, — прибавила она с улыбкой.

Отужинав, Гёте уселся на террасе своей виллы: он не совершил сегодня даже короткой прогулки, предписанной ему врачом. Поэт чувствовал себя измученным и разбитым. Из сада, где царила тишина, столь полная, что можно было расслышать тишайший шелест листы, долетало смешанное с тишиной благоухание деревьев, которые, по мере того как сумрак становился все гуще и непроглядней, росли, вздымались и, казалось, подпирали небосвод.

Престарелый господин закутался в плед и погрузился в блаженное состояние, которое не было достаточно определенным, чтобы можно было

его как-либо назвать. Это не было раздумье. Мысль — тяжела, осязаема, ощутима, как любое деяние, она не свободна от тревоги даже тогда, когда касается вещей столь точных и земных, как утесы той или иной, определенной во времени, формации или как минералы с систематичным и сплоченным расположением частиц. Не были это также мечтания. Мечта бездонна, она втягивает в свою тень и тишину, подобно тому как ночь втягивает заблудившегося в ней путника. Все чаще и охотней он поддавался этому блаженному состоянию бескорыстного прозябания, которое, не будучи ни конкретной мыслью, ни вольной мечтой, позволяло ему отдыхать, но не так, как покоится умерший, единственным царством которого является царство абсолютного бесстрастия, — это состояние давало ему предвкушение жизни в сфере, избавленной от треволнений души и тела.

В некое мгновенье старый поэт ощутил, что это сладостное равновесие как бы поколебалось.

Пред глазами его ясно возникла картина, которую он давно уже не вызывал в своей памяти. Вспомнил, или, скорее, почувствовал, что дело идет об этой картине: Мариенбад — точно уже не определить — в году 1821, 1822, а может, и в 1823-м. Он не помнил точно, в котором это было году, но зато мог точно назвать в призванном им воспоминании месяц и даже день. Впрочем, это не было заслугой его непогрешимой памяти. Точность ее в немалой степени опиралась на педантично ведомые записки и заметки. Для кого он их делал? Для семейства? Для сына? Для потомков? Этих потомков олицетворял своей персоной скрупулезный и педантичный немец по фамилии Эккерман.

Итак, Мариенбад. Он ездил туда не только ради лечения. Ехал туда, дабы изучать утесы и минералы. И пускай он был в этих ученых занятиях, в этой трезвой науке всего лишь дилетантом — не беда; духовная гимнастика, точность научного исследования, столь глубоко отличная от точности поэтического языка, где слова сочетались, помимо всего прочего, из взаимного благоволения, — эта точность была ему жизненно необходима.

Примесь поверяющего разума является спасением для пышного воображения. Это отлично знают французы. И затем не только это; он, такой уравновешенный, кажущийся таким сдержанным, нелегко завоевывал свое положение победителя, которое так импонировало всему свету. Все это ему недешево стоило. Не только Лотта. Не только Мариенбад — этот город также не был для него всего лишь курортом и местом особо привлекательным для собирателя минералогических раритетов. Вилла

«Штадт Веймар». На террасе — он сам, только лет на семь или восемь моложе, он и сестры Левеццов. Старшая из них — едва семнадцатилетняя Ульрика. Ульрика Левеццов — он повторил имя и фамилию, как будто эти два слова были теперь не просто звуком, звуком, который исчез и расточился навсегда.

А исчез ли? А что, если он вновь взметнулся из тьмы, которая окружала старца все завистливей и неумолимей? Ведь звук этот не стерся в памяти вопреки долгим и терпеливым стараниям. «Но с этим, как со здоровьем, — размышлял он, — лечение, казалось бы, чрезвычайно действенное, подходит к концу, больной чувствует себя гораздо лучше, и вдруг...» Все дело в этом мгновении, мгновении, которое невозможно учесть. Мария Шимановская, полька, пианистка. Почему он вспомнил это имя? Ах, да. Это ясно. Но почему именно она и Ульрика Левеццов? Только теперь услышал он далекие, очевидно долетающие с какой-то отдаленной виллы, может быть, из замка звуки музыки. Он взволнованно приподнялся, откинул плед, всмотрелся во тьму уже непроглядной ночи.

Верхушки елей неприметно колыхались. Итак, Мариенбад. Ульрика Левеццов танцует на террасе под солнцем летнего утра. Она тоненькая и такая легкая, что кажется, будто вовсе не касается земли. Он несколько не преувеличил, когда впоследствии сравнил ее в одном из лирических стихотворений, которые у него почти всегда были стихотворениями почти документальными, с Иридой, богиней радуги и воздуха. Ирида — Левеццов и он, 72-летний Юпитер.

Елена исчезает, и у Фауста остается в руках покрывало. Пандора выскользывает из рук Эпиметя. Ему остается печаль. Но Эпимелея и Филерос становятся еще прекрасней, возродившись из воды и огня. Неужто не все окончено? Маститый поэт так сжился с миром метафор, что вплетал их в раздумья свои, как обыкновеннейшие обороты речи. Рокот далекой музыки, который принес на своих незримых волнах имя Шимановской, спустя мгновенье зазвучал ближе и сильнее. «Как хорошо было бы, если бы я мог быть с тобой! — думал он словами давно забытого письма к другу — Цельтеру^[111]. — Убедился на себе в ту пору в невообразимой мощи музыки! Ты бы исцелил меня от чрезмерной, болезненной впечатлительности, которая ведь и является причиной этого феномена».

Феномен этот звался Ульрика Левеццов. Гёте смотрел туда, где теперь царил полная темнота, в сторону прекрасно знакомого замка, недавно осиротевшего после кончины Карла Августа. Ему, Карлу Августу, он обязан всем! Мир подражал «Вертеру», восторгался «Фаустом». Даже китайцы рисовали трепетной рукой Вертера и Лотту на своем тончайшем

фарфоре.

Бонапарт благоволил проявить интерес к его творениям. Что дал ему мир? Ничего. Этот дом, этот сад, титул надворного советника и министра — все это у него от великого герцога. «Почему он ушел из мира до меня, старый мой друг, последний из ближайших друзей?» Поэт вспоминал опустевшие покои замка Карла Августа. Вспоминал «Римский дворец», в котором великий герцог привык проводить лето.

С явственностью бодрствующего он вступил в воспоминаниях в большую светлую комнату, увидел сквозь растворенную балконную дверь высокие липы парка. На стене вновь увидел портрет матери герцога кисти Анжелики Кауфман.

«Это очаровательный портрет, — сказал Карл Август, — как все, что написала эта художница, но, увы, в нем мало сходства». Где теперь тот, кто произнес эти слова? Кажется, всяческие сомнения излишни. «Не имел никогда времени, чтобы серьезно заняться этим вопросом, — перефразировал поэт какую-то собственную мысль, — слишком был занят всегда, но было бы, пожалуй, неразумно предположить, что...» Одно только ясно и неоспоримо: Карл Август почил в родовом склепе, усыпальнице великих герцогов, под мраморной плитой.

В завещании своем великий герцог не забыл указать, чтобы туда, к герцогским гробницам, были перенесены бранные останки Фридриха Шиллера.

«Я любил всматриваться в череп этого человека, который был во всем противоположен мне». Брал его череп в руки не так, как Гамлет с могильщиком. Нет, череп этот нравился мне как произведение природы». Волна размышлений возвратилась, снова принесла ему раздумья о Карле Августе.

Разве великий герцог ни разу не злоупотребил его доверием? Разве тогда, в Мариенбаде, когда по собственной его, Гёте, просьбе он, герцог, говорил с госпожой Левецов и ее дочерью о неких известных обстоятельствах, герцог не зашел слишком далеко?

Но если он, герцог, и совершил ошибку, то из дружеских побуждений: он один не посмеивался над одряхлевшим Фаустом, которому никакой Мефистофель не подсунил эликсира молодости. Нет, Карл Август не подвел его.

И возможно ли с чем-нибудь иным сравнить это драгоценное и деликатное чувство признательности? Когда он целыми часами излагал юной Ульрике Левецов содержание романа «Годы учения Вильгельма Мейсера», она внимала ему, быть может, с таким же чувством

безграничной признательности. Все это исчезло бесследно, развеялось как дым.

«И только доселе стоит в саду курорта Мариенбад каменная скамья, на которой мы — я и Ульрика — сидим рядом». Если бы он был моложе, ну, хотя бы на тридцать лет, никто бы не нашел в этой истории ничего необычайного. В разных городах и в разных странах влюбленные повторяют вновь старую как мир историю. Правда, ее в каждом столетии стилизуют на свой лад. В эпоху Гёте было много Элоиз, множество Абельяров и Вертеров. Они давали обеты верности до гробовой доски и даже верности за могилой, как будто сама всемогущая смерть могла интересоваться их любовными делишками.

Гёте не знал — ибо откуда ему было знать об этом? — что в варварской Литве, под сенью липы или тополя, стояла каменная скамья, точь-в-точь такая же, как в Мариенбаде.

В то же самое время, чуть ли не минута в минуту, разыгралась любовная трагедия в тугановическом парке. Во всяком случае, о ней дошла до нас самая проникновенная весть.

Кто он, этот чужестранец? Говорят, что он написал нечто вроде «Вертера». Ну что ж... Комедия страсти не кончится никогда.

Это было перед тяжким недугом. Он так страшился тогда зимы. Слушал музыку, потрясенный до глубины души, и чувствовал, что за нею, как за стеной водопада, простерлась мертвенная зима. Он выехал из Мариенбада внезапно, ибо привык быстро принимать решения, и в тот раз тоже искал спасения в многократно испытанном способе — в бегстве.

Лошади покрыты были пеной, когда он прибыл на первую станцию около восьми утра. Помнится, как теперь: он принялся писать стихи, которые позднее озаглавил «Мариенбадская элегия». Едучи далее, в экипаже сплетал строфы от станции к станции. Вечером стихотворение было завершено. Он ставил на действительность, как игрок, который почти все ставит на одну карту. В последней строфе он, быть может, высказал более, чем входило в его намерения.

Читатели не всегда догадываются, какой ценой платятся поэты за некоторые стихи.

Высшая плата — это если они не могут удержать в руках поводьев, как бы управляемых чьим-то чужим приказом. Когда теперь вспоминаешь эти строфы, то в их звучании уже не узнаешь себя:

А мной — весь мир, я сам собой утрачен,
Богов любимцем был я с детских лет,

Мне был ларец Пандоры предназначен,
Где много благ, стократно больше бед.
Я счастлив был, с прекрасной обрученный.
Отвергнут ею — гибну, обреченный.

Действительно это была всего только поэзия на случай, в которой поэт все ставил на последнюю карту. Страсть, бьющая из этих строк, порою придает им тон приказа.

Если бы Гёте знал поэму молодого Мицкевича, он, конечно, не отделался бы от нее пустопорожним комплиментом, продиктованным условностями света и притворной заинтересованностью. В этот час молодой чужестранец спал здоровым сном недалеко отсюда, в этом самом городе, под охраной башен и кровель старого Веймара.

И, однако, их разделяло расстояние большее, чем то, которое отделяет одну звезду небесную от другой. Именно в этот час, когда ночь достигла вершины, развеялись призрачные белые тучи, заслонявшие дотопе небесный купол над Веймаром, и звезды показали во всем своем великолепии. Среди города спящих старый господин принадлежал к тем немногим, которые еще не смыкали глаз.

Он глядел в прояснившийся, усеянный звездами небосвод и ощутил внезапный прилив радости и силы. Неожиданно вспомнились ему его минералы. В труднейшие минуты жизни он возвращался к ним и обретал покой — неотъемлемую привилегию ученых и исследователей.

Вспомнилась ему переписка с Леонгардом, упорство, с каким он, Гёте, продолжал придерживаться тезисов Вернера в связи с вопросом возникновения базальтов, вопреки воззрениям нептоунистов и вулканистов. В этих бескорыстных и бесстрастных изысканиях он обретал не только точку опоры, постоянную точку опоры, не подвластную капризам настроения и времени, он не только черпал оттуда наслаждение, которое познает каждый от сближения с природой; была в этих поисках истины и исследованиях также и тоска по некоему всеобщему закону, нивелирующему личность; тем удивительнейшая тоска, что он, собственно, в поэзии своей вознес права личности до высочайших пределов. Быть может, это была только лишь внешняя форма того самого стремления к всеобщеобязательному закону.

В поэзии этим законом была мифология. По мере того как он старился, дряхлел, он ощущал все яснее в каждом личном переживании то, что было в нем от всеобщего явления.

Быть может, когда нам становится за пятьдесят, мы утрачиваем способность уйти с головой в дело, полностью погрузиться в исследование.

Всякое наше чувство является уже тогда опытом.

Дерево, девушка, дом, пейзаж над озером — и это все столь прекрасное и непрестанно очаровывающее вновь и вновь, — они утрачивали все заметнее свою индивидуальную неповторимость, становясь только символами прелести и гармонии высшего порядка. Не переставая быть собою, они были только проявлениями существования на целые тысячелетия более продолжительного, чем их мимолетный час. В этом смысле все преходящее было только сравнением. Но оно было полно крови, боли и наслаждения. Так пусть же Пандора ускользает из рук Эпиметей, пусть исчезнет Елена, оставив Фаусту Эвфориона, пусть Эпимелея и Филерос еще прекраснее воспрянут из огня и воды.

«Хочу славить все живое!» — громко сказал старец и вдруг заснул. В этот миг тихо раскрылись балконные двери и вошла Оттилия, склонилась над спящим, нежно кутая его в плед теми самыми пальцами, которые спустя три года сомкнут ему веки навсегда.

Наутро Гёте встал в отличном расположении духа и, упреждая вопрос камердинера, хорошо ли ему спалось, сказал с приветливой улыбкой, как бы самому себе, не глядя в глаза слуги:

— Спал хорошо.

— Ваше превосходительство нынче принимают?

— Да. Будут два поляка.

— Жаль, что не вышло раньше, вместе с англичанами, было бы меньше хлопот.

Фридрих, осмелевший, заметив, что господин гофрат в отличном настроении, позволил себе обронить это замечание, однако же господин гофрат не удостоил его ответом.

Камердинер, чуть прищурившись, смотрел на старого господина. Вчера поздно ночью по приказу

Оттилии он вместе с другим слугой перенес дремлющего старца с балкона в спальню. Сон старого господина на этот раз был действительно очень крепок, ежели его не разбудили их хлопоты. Около двенадцати припустил дождик.

Ровно в полдень экипаж с двумя чужеземцами остановился у ворот виллы. Оба прищельца ожидали теперь в гостиной прихода Гёте. Он любил «являться», никогда не ожидал в своем кабинете. Вошел быстрым шагом, подал руку обоим полякам и сказал по-французски:

— Простите, господа, что я заставил вас ждать. Мне очень приятно

видеть друзей госпожи Шимановской, которая оказывает и мне честь своей дружбой. Она столь же очаровательна, сколь красива, и столь же любезна, сколь очаровательна.

Спустя мгновение, как бы что-то вспомнив, Гёте спросил вдруг, обращаясь к Мицкевичу:

— Знаю, что вы самый выдающийся польский поэт. Сколько вам лет?

И улыбнулся слишком тонкими губами.

Эта улыбка — воспоминание о некоем разговоре, который некогда происходил тут же, в Веймаре. Точно так же, как он теперь со своим гостем, говорил с ним тогда Наполеон Бонапарт. Мицкевич внимательно присматривался к веймарскому олимпийцу. Высокий, плотного телосложения, в долгополом голубом сюртуке, с глазами живыми не по годам, сдержанный в каждом движении.

«Глаза, — писал позднее Одынец, — карие, ясные и живые, а оба зрачка обведены какими-то необыкновенными светло-серыми, как бы эмалевыми кругами. Адам сравнил их с кольцом Сатурна».

«Этот второй — это фамулюс Вагнер», — подумал Гёте и совершенно искренне, как бы оправдываясь перед своими гостями, сказал:

— Очень сожалею, что мои сведения о польской литературе чрезвычайно скудны. Но что поделаешь? Ведь у человека столько дела в этой жизни. Но, — сказал он, давая понять, что разговор подходит к концу, — мы познакомимся поближе на обеде у моей невестки. Оттилия пригласила вас...

Первый разговор был окончен. Мицкевич, идя на встречу с Гёте, не ждал слишком многого. Он был уже человеком, знающим свет, и, следовательно, знал, что визиты такого рода никогда не имеют существенного содержания. Форма и ритуал служат тут, собственно, единственной цели: чтобы дело никоим образом не дошло до фамильярности.

Формой и шаблоном веймарский Юпитер оборонялся от назойливости света, точно так же как научился мифологическими фигурами сдерживать лирическое волнение. Поэт не любил дел, которые могли нарушить его покой, его столь тщательно выработанный жизненный распорядок. Он приветствовал в своей веймарской резиденции поэта того народа, страдания которого были ему чужды, ибо для них не оставалось места в его счастливой судьбе. Быть может, он и не одобрял разделов Польши, но его не занимала судьба страны, с которой он не чувствовал себя связанным никакими узами, страны, которой он ничем не был обязан. Англия — это был Вальтер Скотт и Байрон, великий Байрон, дружеского расположения

которого он искал. Польша — это была госпожа Шимановская. Но госпожа Шимановская была для него прежде всего красивой женщиной. В память о ней он проявил столько учтивости «für die beiden Polen».

Одынец был явно разочарован встречей, которой придавал большое значение. Он был литератором до мозга костей. Жил в мире книг и сплетен, писательская кухня интересовала его не меньше, чем сама словесность, он до смерти любил тереться в кругу знаменитостей и связывать свое имя с именами великих писателей, довольствуясь ролью тени. Как многих умеренно одаренных и неумеренно любопытных людей, его дразнила тайна гения, он считал, что стоит изменить перспективу, чтобы приблизиться к ее разрешению. Разочарование его во время описанного тут приема и во время позднейших неоднократных встреч обоих польских поэтов с Гёте проистекало из ошибочного предположения, что сам поэт непременно должен быть яснее и гораздо занятнее, чем его творения.

В то время как на деле все обстоит совсем наоборот.

Только люди, которые не изливаются в формах столь долговечных, как искусство, могут быть в разговоре действительно интересны. Так называемый творческий процесс извлекает из разума писателя возможности, неведомые самому творцу, произведение по мере его формирования становится реальностью, одним из ее элементов, воспринимает из нее способность воздействия не только на дальнейшее течение творческого процесса — реальность формирует в дальнейшем и само сознание, из которого она возникла. Однако напряжение, которого требует труд художника, влечет за собой жертвы.

Гёте, когда он отрывался от незаконченной рукописи «Фауста», медленно разряжал чрезмерную сосредоточенность духовных сил, озаряя глаза свои светом дня, который сквозь полурастворенные зеленые ставни проникал в его рабочий кабинет, — Гёте внезапно становился совершенно иным человеком. С лица его будто кто-то снимал тяжелую гипсовую маску.

Да и письма Мицкевича поражают своей особенной «прозаичностью» и будничной лексикой, лишенной всякой изысканности. Только сочинители из сорта так называемых «возвышенных душ», только приверженцы «возвышающего обмана» всегда гладки, всегда лощены и всегда поэтичны.

Визит Мицкевича в Веймар не мог ни в коем случае привести к сближению обоих поэтов. То, что разделяло их, было куда более непреодолимо, чем те «земные преграды», о которых позднее вспомнит Мицкевич в стихах о разговоре с Пушкиным у памятника Петру Великому.

И не только разница в возрасте, не только огромная слава Гёте. Молодой поэт из литовского захолустья, который только недавно приобрел

известный лоск в московских салонах, где с великой тенью Азии соперничал отблеск столиц Европы, стоял тут перед ее величайшим представителем. Спокойствие и холод, которые со свойственной тем временам гиперболичностью называли олимпийскими, были тем рубежом, который не мог перейти Мицкевич.

Могли ли они постичь друг друга? Могло ли возникнуть взаимопонимание между изгнанником, бывшим узником государства и тем, кто, исполняя функции министра в великом герцогстве Веймарском, соединял чиновничью должность с гением поэзии? Крылья этого гения были даже слишком заметны, они вылезали из-под буржуазного сюртука Великого Европейца. Все в этом доме его было упорядочено, все совершалось с точностью часов, заведенных рукой камердинера Фридриха.

Если за обедом или ужином присутствовали архитектор Кудрэ или скульптор Давид д'Анже, разговор шел о монументах и зодчестве. Сувениры, которыми Гёте одаривал своих гостей, были соразмерны славе прибывшего.

И если по просьбе Гёте Давид д'Анже начал лепить медальон Мицкевича, то уважение к этому чужеземному поэту связано было с любезным веймарскому гофрату воспоминанием о Марии Шимановской. Гёте хотел таким образом выказать ей свое уважение.

Из парка, со скамьи Шиллера, оба чужеземца могли наблюдать, как этот домосед, немецкий буржуа, бюргер расхаживает в своем саду.

Несколько дней, проведенных в Веймаре, ежедневные встречи с Гёте позволили Мицкевичу ощутить пропасть, которая отделяла его от германского поэта.

Сознание того, что эта пропасть существует, он маскировал юмором, умелой светской игрой, которой выучился в московских салонах.

Фокусы с отгадыванием хозяйки перстенька, которые такое впечатление произвели на веймарских дам и которыми всерьез заинтересовался также и Одынец, видимо, достаточно свидетельствовали о том, что поэт отрекся даже от попытки завязать более серьезные контакты с окружением. Фразы

Мицкевича, высказанные тогда в присутствии Гёте, фразы, записанные Одынцем, не выходят из рамок светского шаблона. Трудно усомниться в их достоверности. По сути дела, они и не могли быть иными. Также и замечания Гёте на тему о различиях между народами, отмеченные печатью совершенного равнодушия, обладали не большим блеском, чем алмаз, не отшлифованный и не вделанный в перстень. Только присутствующим менее опытным гостям могло показаться, что слова эти исходят из уст

изваяния. Веймарский эллин обладал, однако, исключительным чувством пропорций и обстоятельств, чрезмерный пафос пробуждал у него всегда охоту пародировать.

Вечером 29 августа Веймарский театр дал «Фауста». В глубине ложи, к которой непрестанно были обращены взоры актеров и зрителей, Гёте с неподвижным лицом внимательно следил, какое впечатление производит исполнение его трагедии.

То, что в ту минуту происходило на сцене Веймарского театра, происходило, собственно говоря, уже за пределами точно определенного времени. Автор, возбуждающий всеобщее уважение и удивление, несмотря на то, что его великолепная голова видна была еще всем зрителям мистерии, отходил уже далеко от своих современников и от самого себя. Должно быть, перебирал в памяти наброски ко второй части своего творения. Должно быть, он не думал в ту минуту о грядущих, не рожденных еще поколениях, которые будут когда-нибудь смотреть из своих лож на старую трагедию разума и на вечное возвращение юности, для него навсегда утраченной. Но никто не раздвинул этого последнего незримого занавеса. Никто из присутствующих здесь не мог предвидеть будущего. Все, однако, верили в закон прогресса, все предполагали, что у них уже за спиной те грозные события, которые потрясли мир в начале века, хотя этот век был, казалось, предназначен для того, чтобы открыть собою новую эру.

*

На следующий день — перед отъездом, — проходя по улицам Веймара, Мицкевич вышел к городским воротам, откуда вела прямая дорога среди тополей (дома по обочинам возникали редко) цвета медянки, — пейзаж великого герцогства Веймарского. Все здесь было ухожено. Зелень, припудренная уже тончайшей пылью истаивающего лета, была точь-в-точь как на полотнах Дюрера. Перед Мицкевичем была широкая, накрытая ясным небом окраина. Домики из красного кирпича, там и сям колокольни церквей, торчащие среди зелени. Странник свернул в чистенькие улочки, вокруг были дома и виллы с зелеными прямоугольными ставнями. В одноэтажных домиках спокойно трудились ремесленники. Сквозь полуоткрытые двери и распахнутые окна видны были люди, склонившиеся над работой. Купцы сидели перед домами на скамеечках. На башне ратуши часы пробили не торопясь одиннадцать, одиннадцать ударов

золотого молотка.

Только тут впервые можно было уразуметь статичность искусства Гёте. В провинциальном герцогстве не было и речи о делах свободы, разве что о деле внутренней свободы, но понятие это было доступно для немногих.

Если бы Гёте знал всего «Конрада Валленрода», то он, по всей вероятности, выразил бы изумление необычайной композицией поэмы. Так называемая трагедия неволи заняла бы его не больше, чем звучание гекзаметра, который рассказывает гомеровским размером о страшных немцах, неведомых веймарскому поэту, и о страданиях покоренных народов, о страданиях, которых он не понимал или не желал замечать с высоты своего величия. Ведь он был тут всюду, подобно снежной вершине среди невысоких холмов, видный из каждого окна, как Олимп для древних греков. И вместе с тем голос его был слышен в липовой аллее и в болтовне здешних ремесленников и крестьян, которые пришли сюда из окрестных сел. Казалось, что вот-вот они обратятся к Фаусту, который отправился на прогулку с коварным другом.

Перед каким-то домом в саду, где дерн окружал зеленым кольцом клумбу, за столиком в плетеных креслах сидели две женщины. Младшая, в широкой соломенной шляпе, которая отбрасывала тень на ее лицо, как раз поднесла стакан ко рту. Густая листва каштана осеняла эту сцену в саду. Gartenhaus показался путешественнику в это мгновение домом спокойного счастья. Для него не было нигде отдыха вовсе не потому, что его принуждало к перемене мест и лиц разочарование. Ведь он несколько не разочаровался во время визита в Веймаре, перенесенный внезапно сюда, в среду столь чуждую ему, что этой разницы, казалось, не сможет в достаточной мере оправдать ни разница в географической широте, ни разница климата и языка; он не разочаровался, поскольку не надеялся найти в личности Гёте всех тех поясов и климатов, которые вмещала его поэзия. Но ясно, что это и не могло быть иначе. Пушкин, которого он близко знал, порывистый и несправедливый, но мечтающий о всеобщей справедливости, также всецело был в своей поэзии. Рядом с этой поэзией личность его уходила в тень, как теперь — он ясно это видел — личность Гёте.

Ну, а он, Адам Мицкевич, литвин, изгнанный из отчизны, он, который слагал стихи на языке, неведомом миру, на языке, который для чужеземцев ничего не значил, не оставлял в их ушах ничего, кроме свиста и шелеста непостижимых звуков, — мог ли он оставаться самим собой в этих светских разговорах, в этой светской болтовне, когда нужно было, как по

паркетам салонов, скользить мимо затруднительных и сложных обстоятельств.

После нескольких лет, проведенных в России, первые встречи с земляками, студентами Берлинского университета, разочаровали его и повергли в смущение. Его поразила в этих юных поляках их обидчивая надменность, легкость, с которой они взрывались, реагируя на малейшую критику национального характера или ветшающих узаконений старой Речи Посполитой. Они были феодальной шляхтой до мозга костей. В мыслях и действиях они руководствовались понятиями давних предков, времен короля Станислава Августа, королей саксонских^[112] или даже еще ягеллонских. Бывали порой исключения, но на земляков, думающих иначе, чем они, тогдашние берлинские поляки смотрели как на отщепенцев. Несмотря на то, что французская революция отрядами наполеоновской армии прошла через их усадьбы, эти сыновья великопольских помещиков не желали тогда замечать людей, не принадлежащих к их гербоносной касте, а скорее смотрели на них так, как смотрят на посыльного, форейтора или цирюльника, — они видели их безликими. Нация — это была шляхта. Они были подобны иудейским пастырям, надменно взирающим на необрезанных. Вскоре они должны были уверовать в собственных пророков. Но чтобы это случилось, должна была еще обильно пролиться кровь, жертвенная и бесполезная для мира.

Вспомнил Гарчинского, который говорил об этом в Берлине с холодным всепониманием, хотя видно было, что его терзает такое положение дел. Мицкевичу казалось, что он слышит голос Гарчинского где-то рядом. Гарчинский легко оперировал мыслями, которые его занимали; как великолепный шахматист, играющий сам с собой, он одним смелым ходом сметал фигуры воображаемого противника; как фехтовальщик, тренирующийся перед зеркалом, он парировал воображаемые удары. На примерах несколько странных он демонстрировал непогрешимость гегелевского метода, великолепие гегелевской триады. Мефистофель, который хочет зла, вопреки себе творит добро. Какая логическая фигура, какой дух, свободный от страсти, возникает из сочетания этого стремления с его противоположностью? Гарчинский мечтал о поэме, которая пошла бы дальше, чем Фауст. Но когда он пытался осуществить какой-либо из своих замыслов, когда он пытался выразить это в словах, они отказывались ему повиноваться, свобода его попадала в путы псевдоклассической поэтики, фантазия не поспевала за быстролетной мыслью.

«Зачем мне эта мудрость? — думал Мицкевич, — Что мне эти мудрствования, которые никого не воскресят из мертвых?!» Сам он

чувствовал уже, что медленно приближается к границе, за которой начинается царство тени. Может быть, он ощутил это преждевременно, подобно молодому Гёте, который, слагая первую часть «Фауста», увидел перед собой холодные просторы старости. А если с этого мгновения начнется равнодушие? Еще слышны произносимые актером мудрые и сдержанные фразы, которые заклинают утраченную молодость. Разве он, Мицкевич, не высылал вперед своей мечты, подобно ему, Гёте, когда писал наиболее таинственную из своих поэм?^[113] Разве он не приказал Старцу высказать ужасную проклятие о ранней смерти внука, молитву, которая звучала подобно эху тех давних слов Софокла: «Лучше было бы не рождаться, а рожденному — умереть молодым»? Он переболел бесчувственностью забвения уже тогда, когда камню приказал плакать и зеркало наделил силой воскрешения милых черт, навсегда утраченных. Думал теперь об этой заброшенной поэме, о ее обломках, похожих на руины храма из черного мрамора. Он не мог окончить тогда этого творения, это ясно. Нужно было прожить всю долгую жизнь, чтобы собрать всю сладость и всю горечь, которая оседает на дне бытия. Он хранил в памяти балладу об окаменелом. Что еще можно было сказать об отчаянной бренности всего земного? Вспомнил хор юношей, которые в строфах на мотив деревенской песенки пытаются разохотить вдову к новым играм, к новой любви и толкуют Старцу жестокую правду великого круговорота жизни и смерти, как будто нужны ему были эти поучения, как будто бы опыт его не мог справиться с одним мгновением жизни, более могущественным, нежели безмерное пространство Смерти. Кое-что из этих обрывочных, недодуманных мыслей он вложил несколько лет спустя в поэму о крестonosцах. Альдона не сойдет со своей башни, чтобы показать прежнему возлюбленному маску вместо живого лица. Никогда! В единственном крике с башни отшельника замкнется драма времени, которое их пережило.

Любовь отчизны, ненависть врага, жажда счастья — все это кануло в вечность еще в те годы. Увидел вновь пустынное взморье Паланги, «где бушующей грудью без устали море вздыхает». Увидел пространство всеразрушающей работы Времени. И вдруг из этих мыслей, недобрых и тщетных, вынырнула голова мужчины, суровый профиль каменного барельефа, над которым тут, в Веймаре, уже несколько дней трудился Давид д'Анже, домочадец Олимпийца.

НА АЛЬПАХ В СПЛЮГЕНЕ

Двадцать пятого сентября на рассвете в дождливом тумане Мицкевич и Одынец пустились в горное странствие к рубежам Италии. Часть пути они проделали в одноконной коляске, часть — на своих двоих. Постояли у подножья Реальты — высокой скалы, возвышающейся среди столь же крутых и диких исполинов.

От подножья этой скалы, к которой прилепились древнеримские руины, начинается ущелье, называемое Via Mala. Дорога эта змеится над пропастью, среди скалистых груд. Когда вершины затянуты тучами, в пропасти клубится мрак. Каскады, ниспадающие со скал, оглашают ущелье непрерывным рокотом. Им отвечает шум Рейна, пробивающегося сквозь руины и щебень.

В этой дикой пустыне одни только арки мостов, переброшенных над пропастями, свидетельствовали о человеческой воле и о могуществе человека. Распогодилось. Обрадованные путники пошли пешком. На каком-то обрыве они увидели быка, борющегося с песком и скалистым гравием, которые, ускользая у него из-под копыт, увлекали его в бездну.

Борьба была долгая, свирепая и жуткая. Как будто сам воплощенный жизненный инстинкт единоборствовал с гибелью. Спутник Мицкевича глядел на эту жестокую схватку с природой точь-в-точь так же, как пресыщенный зритель смотрит на игру актера в шекспировской трагедии. Мицкевичу, которым овладело великое сострадание к животному, борющемуся со слепым могуществом гор, пришли на ум далекие аналогии с человеческой судьбой.

На фоне исполинских гор наши дела приобретают новое значение, они кажутся нам простыми и окончательными. В нас возникает ощущение, которое мы обычно утрачиваем, пребывая постоянно среди людей, погружаясь в мелкие заботы и будничные хлопоты. По закону некой еще не вполне изученной противоположности чувств дикость природы, еще не покоренной человеком, вызывает в душах, склонных к рефлексии, сочувствие ко всему живому.

Жестокость мертвых скал, поразительная долговечность которых как бы стремилась заполнить пустоту (ибо *natura horret vacuum* — природа боится пустоты, во всяком случае на земном шаре), возбуждала в душе странника, заблудившегося в этих горах, чрезмерную нежность.

Если гигантские межпланетные пустыни изумляют нас, как только мы пытаемся кое-как представить их протяженность, переданную в числах, то это потому, что наше существование абсолютно несоизмеримо с этими гигантами мертвой природы, настолько несоизмеримо, что мы не в состоянии снабдить их каким бы то ни было комментарием.

На привале в Андеер путникам улыбнулась маленькая девчушка, дочка трактирщика. Мицкевич смотрел на нее с нежностью, а это с ним случалось редко, ведь он говаривал, что дети милее всего тогда, когда плачут, то есть тогда, когда их выносят из комнаты. Его суровое лицо похорошело от сияния, которое падало на него как бы изнутри и озаряло его целиком; оно напоминало лампу, пылающую в каменной нише.

— О чувствах своих никто по воображению судить не может, пока их не испытал в действительности. — И прибавил еще, улыбаясь: — С детьми, как со стихами: их труднее всего купать и причесывать, как стихи труднее всего не писать, но поправлять.

Выйдя из Андеер, путники восхищались каскадом Рейна, который, ниспадая с шумом белых вод в долину, соединяется там с потоком Аверзербах. Наконец по зигзагообразной дороге путники спустились под гору.

Трактир в Сплюгене (он и по сей день существует в этой старинной деревушке) хранит в книге постояльцев фамилии обоих путников. Оба сочинителя указали, что они прибыли из Петербурга. Тут, в этом старом трактире, перед подъемом на гору Сплюген Мицкевич написал последнее свое стихотворение к Марыле.

Каменная суровость природы вырвала из его души это творение, столь взволнованное, что, когда его читают вслух, между строками стиха так и слышится прерывистое дыхание поэта. В нескольких строках передана высокогорная атмосфера Альп, все это дано только намеком, но так, что пластичность этого намека куда выразительней и полнее, чем самое подробное описание ландшафта.

Широкие строки вздымаются и опускаются, как волны, в звучных строках рокочут водопады, в них мерцают глетчеры и ощутима твердость влажного гранита. В финале стихотворения идет речь о счастье недостигнутом, да, по-видимому, и вовсе недостижимом.

Но разве эта мечтательная идиллия среди враждебной человеку природы уже сама по себе не оказывается высочайшим счастьем?

Мы в горной хижине нашли б себе приют:
Тебя своим плащом я приукрыл бы тут,

Чтоб ты у камелька пастушьего свернулась
И на моем плече заснула и проснулась!

Женщина, к которой были обращены эти стихи, по сути дела, уже не существовала, ведь она не была уже той сентиментальной барышней, которая словно бы вышла из поэзии Гёте и Шиллера и, представ перед юным поэтом на фоне парка в Тугановичах и озера Свитезь, разожгла его пышную фантазию.

Нет, она не была уже той девушкой. Да, может быть, впрочем, и не была ею никогда. Может быть, она только присвоила себе на этот краткий срок, на год, на два или на один-единственный день черты Амалии, улыбку Лотты, а может быть, она и не существовала никогда.

Путники ехали сквозь дождь и туман. Но вот альпийские ели исчезли, появились первые виноградники, а потом — уже внизу, в долине — каштаны и орешник. Мицкевич и Одынец увидели первый итальянский городок — Кьявенну.

В РИМЕ

*Вам не хватает отечественной стихии, того, что извлекается из родимой почвы, того, что древние называли *Genius loci*.*

Из Ронсильоне выехали утром 18 ноября. Веттура, запряженная четверкой лошадей в поводьях, катилась легко. Путники увидели залитые утренним солнцем невозделанные поля Римской Кампаньи, Campimaladetti. Стада огромных буйволов то и дело преграждали им дорогу. Пастухи на лошадях так и вились вокруг каждого стада, остроконечные шапки придавали им варварский вид, поперек седел у них лежали длинные палки. Рядом со всадниками по земле стлались их тени; сильно укороченные, они чем-то напоминали силуэты татарских воинов.

День был чудесный, зеленые долины, холмы и рощи напоминали путешественникам пейзажи родной Литвы. Они могли оперировать этим языком подобий и сходств, из которых исходит наша любовь к миру и людям. Пейзаж или человек, в котором мы не умеем открыть ни одной знакомой черты, пробуждает в нас разве только чувство чрезмерного одиночества. Вид неведомого нам города, когда он появляется внезапно в отдалении, всегда напоминает нечто уже некогда виденное нами, какое-то внезапно обнаруженное, нежданное сходство позволяет нам не ощущать враждебной отчужденности, с какою мы разглядывали бы предметы, совершенно незнакомые нам, если бы это только было возможно.

Солнце поднималось все выше. На одном особенно прелестном повороте дороги, с которого уже был виден купол собора Святого Петра, господствующий над городом, оба поляка вышли из экипажа, распрощались со спутниками и с веттурино, чтобы, взяв пример с пилигримов, пройти остаток пути пешком.

Город быстро приближался к ним, ибо они шли, не жалея ног, а ноги после долгого бездействия отлично им служили. Вскоре они подошли к Тибру, который показался им узеньким и грязным.

Реки, которые мы рассматриваем на картах, реки, упомянутые в истории, воспетые в поэзии, всегда разочаровывают, когда мы разглядываем их в действительности. Это чувство знают многие поляки, которым впервые в жизни довелось собственными глазами увидеть Вислу.

Теперь путники сели в легкий кабриолет. «С нетерпением и волнением, — писал позднее Одынец, — мы въезжали в Рим... Проезжая мост на «белесом Тибре», славный победой Константина над Максентием, и вспоминая о легионах, мы увидели из-за горы нечто подобное остриям копий; это были уши стада ослов, которых понукали облаченные в живописные лохмотья итальянцы; и вот разговор зашел о тогах, туниках, наконец, о консулах. Затем мы повстречали трех тучных аббатов. На каждом шагу возникали подобного рода контрасты между воспоминаниями и действительностью».

Они по немалому опыту уже постигли тот второй этап узнавания великой новизны, когда сходства уступают место различиям, а туманная фантазия вступает в спор с тем, что видишь собственными глазами; это мгновенье, полное наслаждения, всегда, однако, близкое к пределу, за коим начинается разочарование. «Недостаточно просто существовать, надо еще где-то обитать», — уловил и воплотил эту мысль

Одынец, ставший вдруг отчаянно прозаичным. Битых два часа плутали они по разным улицам, от трактира к трактиру, чтобы найти, наконец, приют в «Albergo di Eugora», на Корсо. Сняли две комнатухи очень дешево, за пять паоло в сутки. Комнатухи, обитые зеленым сукном, отличались всеобщим в эту пору недостатком — в них было ужасно холодно. Мицкевич, всегда такой зябкий, закутался в плащ, но и это не помогло. Тогда путешественники пошли пить кофе и задымили сигарами. Их до того заняли эти пустяковые дела, что они не заметили даже прелести Корсо — по этой красивой улице непрерывно катились коляски, экипажи, кабриолеты. Уже лежа в постели, они мечтали о добрых литовских печурках, в которых громко потрескивают сосновые поленья.

На следующее утро поэты отправились по привычному маршруту бродяг — туристов, посещающих Вечный город, — Капитолий, Forum Romanum, Колизей, Ватикан, собор Святого Петра. Путники расстались у моста Святого Ангела, ибо Мицкевич пошел искать дом княгини Волконской, которая сообщила Адаму о своем выезде из России. Княгиня уже в течение некоторого времени обитала в Риме. Первый обед у княгини привел Одынца в восторг. Княгиня Зинаида обладала таким естественным обаянием, она была такая гостеприимная!

Мицкевич чувствовал себя у госпожи Волконской как дома. Воспоминания жили в нем, годы пребывания в России еще не сошли в те области памяти, где царит равнодушие. Он вступал теперь в новую жизнь с навыками, вынесенными им из российских салонов. Проводницей и тут должна была остаться «прекрасная нимфа» из Москвы.

Благодаря княгине Зинаиде Волконской римские салоны распахнули свои двери перед нашими пилигримами. Как некогда в Москве, Мицкевич бывал на вечерах у прекрасной Зинаиды, на вечерах, где собиралась местная знать и люди со всего света, пребывающие в это время в Вечном городе. Княгиня также представила его российскому послу, князю Гагарину, человеку, который представлял Россию при Ватикане, поскольку царизм владел католической Польшей, а также познакомила его с князем Александром Голицыным, позднейшим калишским губернатором. На каком-то этюде той эпохи мы видим поэта, играющего в шахматы с рыжим князем. Мицкевич, придерживая неизменный чубук, внимательно следит за ходом партнера на шахматной доске.

Салоны тогдашней Италии были охвачены вихрем безумных развлечений. В те времена здесь за месяц сжигали больше свеч, чем в иных городах за год. В канун июльской революции итальянская аристократия, подобно аристократии других стран Европы, пыталась забыться и с помощью усиленных возлияний, танцев и салонной болтовни подавить страх. Тут вспоминалась Франция перед террором.

На балу у Гагарина величайшие итальянские и европейские знаменитости дефилировали в свете канделябров, по залам, полным хрусталя, парчи и благоухания духов; лица их были покрыты бледностью. По лицам многих из этих людей прошла некогда тень Великого Императора. Они видели войны, по собственному опыту познали хрупкость всего того, что так долго казалось им извечным и нерушимым, пока земля не задрожала от грохота орудий. Лакеи в желтых ливреях с серебряными галунами, в красных жилетках брали у гостей цилиндры, трости и плащи. Дамы в кринолинах, словно одетые в чашечки исполинских полевых колокольчиков, склоняли головы с высоко взбитыми прическами и гребнями в виде корон, гребнями перламутровыми и черепаховыми. Их губы улыбались, но в глазах их таилась грусть особого рода, кокетливая грусть. Эта грусть была тогда в моде, была в противоположность нашим дням не только дозволена, не только допустима, нет, она была даже предписана условностями света.

На балу у князя Гагарина Мицкевич беседовал со знаменитостями артистического мира тогдашней Европы: с живописцем Орасом Верне и скульптором Торвальдсеном. С интересом прислушивался он к разговорам итальянцев. Разговоры эти, хотя на балах старались избегать политических дискуссий, были, однако же, не вполне аполитичны. Сильные мира сего, руководствуясь известными приметами, ожидали важных событий.

— Италия стала целью интриг европейских кабинетов, — говорил

какой-то итальянский граф в коричневом сюртуке с золочеными пуговицами и в тупоносых туфлях, на носки которых он то и дело поглядывал. — Италия, — продолжал он, — подобно Германии, была полем, на котором великие державы вели битвы за собственные интересы. Мы должны были не однажды проливать кровь не ради наших целей.

— Горе Италии, — говорил другой итальянец, еще молодой, с гримасой у рта, как будто ему свело губы горечью.

— Горе Италии, — повторила некая прелестница, бледная, как на литографии Гаварни. Она повторила эту фразу не потому, что ее привлекло в ней какое-то определенное содержание, нет, просто эта фраза красиво звучала и была чрезвычайно стильной. Да и губы ее, когда она произносила эти слова, были тоже стильными губами.

В какие-то мгновения в ярком сиянии свечей, в отблесках золота и шелка казалось, что эта жизнь уже переходит в стиль, застывает сразу же, тут же на глазах. Казалось, что она утрачивает индивидуальные черты, что теперь уже невозможно отличить лицо Торвальдсена от лица Ораса Верне. Тут в некую минуту прозвучала фамилия Марии Шимановской, из уст Торвальдсена (который некогда изваял ее голову, красивую голову), и сразу же вслед за тем имя Гёте.

Звуки эти не пробудили в памяти Мицкевича в тот миг никаких воспоминаний. Они скользнули, подобно мертвенному шелесту газового шарфа одной из дам, которая тут же подняла этот шарф движением, исполненным грации. Атмосфера бала вдохновляла поэта, ему казалось, что он видит грядущие события. Он верил в эти пророчества собственного воображения. Доверял им, ибо люди несчастливые склонны любую тень принимать за признак приближающихся потрясений. Он жаждал этих потрясений и потому предвидел их.

— Армия объединится с народом, — громко сказал кто-то с такой уверенностью, как будто это уже произошло в действительности.

— Никто еще так не любил Италии. Республика не забудет ему этого никогда.

— Франция даст сигнал — Париж.

— Кто мечтает о терроре?

— Разве ты не знаешь, что при Первой империи он был одним из тех, кто нагрел руки на чужих несчастьях?

— Вы постоянно толкуете о том, что Рим рухнет, а между тем Рим стоит, как стоял, и ровным счетом ничего не изменится. Если через месяц я дам бал, вы будете говорить то же самое у меня, только я не позволю.

— Ради ваших прекрасных глаз, княгиня, я готов понести эту жертву и

разговаривать только о том, что будет угодно княгине.

— Ибо вы переносите собственные заботы на жизнь общества, на политику кабинетов. Вы полагаете, что выказываете необычайный ум, предвещая нынче воцарение террора во Франции, завтра — извержение Везувия, а послезавтра — восстание европейских наций. А между тем народ доволен и совсем не хочет изменений, которые обратились бы против него самого. Во всяком случае, у нас. Святой отец прав, когда он не заставляет читать библию. У вас апокалиптическая фантазия, как будто вы протестант. Что за ужасное сочетание!

— К несчастью, мы живем в чрезвычайно драматическом столетии. Франция является той великой сценой, на которой ставятся слишком жестокие спектакли. Должен ли я перечислить их названия: Революция, Директория, Империя, Реставрация и...

Советник российского посольства Кривцов искусно развлекал беседой графиню Терезу Гвиччоли Гамба. Десять лет назад она была возлюбленной лорда Байрона. Она сохранила прежнюю красоту. Одета была, как шептались вокруг, ослепительно. Бриллиантовое кольцо, бриллиантовая фероньера в волосах, улыбка, грация движений, легких и словно бы незавершенных, ибо на первый взгляд совершенно непринужденных, а на деле расчетливо направляемых, бессмертная слава Наполеона поэтов, создающая вокруг нее какую-то таинственную атмосферу, — все это превращало ее в салонную звезду первой величины.

— Быть может, в память милорда, — заметил Одынец без малейшего желания съязвить, — она причесана, как англичанка.

— Я был на приеме у королевы Гортензии, — заметил итальянский князь С.

— Беседовали ли вы, князь, с ее сыновьями?

— В Риме их в любой час дня можно увидеть на Корсо; они ездят верхом или в экипажах, давая ежедневно спектакль для римского простонародья.

— Правда ли, что молодые люди пользуются симпатией народа и либералов?

— Королева Гортензия знает, что делает.

— Однако, может быть, она просто бессильна?

— Гортензия Богарне, дочь Жозефины, супруга Луи Бонапарта, — наставительно продекламировал профессор Н., стремясь любой ценой вмешаться в разговор, который имел для него исторический интерес.

— А видел ли кто-нибудь из присутствующих матушку императора?

Оркестр исполнял арию из «Дон Жуана». Звуки эти ширились в

воздухе, сладком от запаха духов и пудры, ширились, незримым зодчеством повисая под лепными потолками анфилады зал, стеклянные двери которых были широко распахнуты. Музыка словно образовывала калейдоскопические мимолетные, бранные фигуры, ежеминутно рассыпающиеся по мановению дирижерской палочки и слагающиеся вновь в иное единство, не менее чарующее и пленительное.

Дон Жуан возвращался, чтобы сыграть под иными небесами свою неумирающую драму. Его, Дон Жуана, можно увидеть в пустом зале, озаренном шандалами, на которых повисли, как сталактиты, стеариновые висюльки. Заря, неудержимо рвущаяся в окна, борется с искусственным сиянием канделябров. Еще прежде чем послышится каменная поступь Командора, бледный рассвет станет первым гостем Дон Жуана.

Как грозный ангел, незримой десницей подает ему белый лист приговора.

У дверей стоят навтыжку лакеи в ливреях с серебряными галунами, в алых жилетах, лакеи с окаменело равнодушными лицами.

Время между 28 ноября 1829 года и февралем 1830 года заполнено было в Риме балами, религиозными процессиями, приездами и отъездами иностранцев. Новые знакомства завязываются тут быстро, расставания не причиняют особенной боли в городе, который является как бы памятником бренности и недолговечности человеческих дел.

На фоне руин каждое слово и каждая встреча кажутся особенно необычными, лица женщин приобретают тут особенную прелесть, ибо они предстают взору сквозь лики мадонн Рафаэля, сквозь десять или двадцать школ итальянской живописи, сквозь позолоту и античные эпитафии, столь ясные и удобочитаемые, как будто они выбиты лишь вчера.

Можно узреть даже наготу девушек и юношей под их чрезвычайно причудливым, хитроумным и волшебным нарядом, ибо мы взираем на них сквозь наготу тысяч ватиканских изваяний, которые столь совершенны, что как бы утрачивают пол и не могут уже возбудить желания.

12 декабря Мицкевич наносит визит королеве Гортензии. Он знакомится с ее сыном, будущим императором Франции. На приеме поэт говорит о звезде Наполеонов с проникновенностью, которая удивляет королеву. У княгини Зинаиды Волконской 14 декабря он знакомится с Верой Хлюстиной и ее дочерью Анастасией. Вера Хлюстина до конца его дней останется его верным и преданным другом.

Всей жизнью своею она, подобно «друзьям-москалям», с которыми связало его пребывание в России, свидетельствует, что нет таких пропастей, над которыми люди, любящие свободу, не могли бы пожать друг

другу руки.

«Познакомилась с польским поэтом, — записала в своем дневнике барышня Анастасия. — Это польский Байрон».

На визите у графа Анквича^[114] Мицкевич знакомится с Евой-Генриеттой и ее кузиной Марцелиной Лемпицкой.

А улицы Рима мокнут под непрерывным дождем. По вечерам мокрый бульжник отражает беспрерывно движущиеся фонари экипажей. Подковы тише бьют о камень, цокот их скрадывается шелестом дождевых струй. В сиянии свечей резвые кони, качающие головами, кажутся как будто исторгнутыми из варварского шествия, кажутся тянущими фантастическую арбу, а в другом месте, в другой раз они кажутся словно убежавшими из музея, застывают в каменный метоп из Селинунта.

На Капитолийской площади конная статуя Марка Аврелия подобна темной исполинской глыбе. На арке Тита не видно надписи. Сейчас, в сумраке, она кажется просто обычными, быть может, чрезмерно помпезными воротами. В этот сезон затяжных дождей и холодов приходится повременить с посещением Колизея.

Собор Святого Петра становится единственным убежищем любопытных.

Мицкевич бывает у леди Рассел и леди Гамильтон. Сочельник проводит в кругу семейства Анквич. На рауте у Потоцких видит Генриетту Анквич в бальном наряде и дивится этому преобразению сентиментальной девочки в светскую даму.

Снова бал у князя Гагарина и у Торлониа. Бал-маскарад, устроенный английской колонией.

Мадемуазель Анастасия в костюме дамы времен Генриха Третьего.

Аристократические салоны оставляли чувство пустоты и скуки. Приятнее были вечера, проведенные среди поляков. Польский художник Войцех Статтлер^[115] вспоминает один из таких вечеров: «Мицкевич сидел на канаве, протягивая руки к длинному чубуку с большим янтарем, чтобы пускать дым большими клубами, образующими облака над его головой. Так просиживал он целыми вечерами, ведя занятнейшие беседы. Стшелецкий^[116], пламенный филолог и археолог, много толковал с ним о знаменитейших римских открытиях, за которыми тщательно и непрерывно следил. Стефан Гарчинский, гегельянец, защищал от нападок нынешнее состояние философии в Германии».

В этом городе, где время застыло; в городе, где эпохи улеглись на вечный покой в слои, подобные геологическим; где шаги живых существ, топчущие камни Аппиевой дороги, глаза, постоянно задерживающиеся на надгробных надписях, не могут обладать той свободой движений и блеском, как где-либо в ином месте, — каждый пробывший здесь длительное время чувствует себя втянутым во власть гения города, того *genius loci*, который тут перестает быть только риторической фигурой.

Куда человек ни обратится, почуют на нем лучи этого гения, руки его он чувствует на плечах, склоняясь над гробницей Вергилия или Сципиона, всюду, среди тысяч надписей, таких красивых и разборчивых, как будто они выбиты только вчера.

Мицкевич был чуток к языку окружения, пластичен настолько, что прикосновение пальцев незримого властелина городов и веков, которые прошли над ним, преображало его, извлекая из него, быть может, подобно прикосновению ваятеля к мрамору, только одну из форм, которые лежали утаенные в его думах.

Или можно бы, рискуя отвлеченной метафорой, сказать, что этот Ангел Места и Времени, возлагая на него свои длани, преображал его внутренне, заставлял неожиданно чуждым себе, в его ином «я», вводя его в особое состояние, как человека, который бы внезапно увидел в зеркале лицо как будто бы и собственное, но измененное до неузнаваемости.

Легенда хочет его видеть таким, какой видится завершенная гармоничная статуя, — без учета того, с какой дистанции мы будем ее рассматривать. Однако он ежеминутно изменялся, подвергаясь воздействию атмосферы места и времени.

Легенда тщится его вынести из пространства, эпохи, из круга человеческих взоров, которые на нем постоянно покоились, и утвердить его в блистательном одиночестве, как утверждают монументы. Это закон Легенды. Она враждебна человеку, она пугливо оберегает чистоту того, который является ее возлюбленным. Борьба с Легендой — это как борьба Иакова с ангелом. И что бы мы ни говорили, Иаков покорится ангелу и с вывихнутыми руками будет лежать, бессильный, придавленный коленом ангела.

Мицкевич читает Ливия, Нибура и Гиббона; среди окаменевшей истории он хочет писать историю своей страны, мечтает о том, чтобы, осев где-нибудь постоянно, имея под рукой польскую библиотеку, посоперничать с Лелевелем.

Он фантазирует так в месяцы, когда не способен к поэтическому

творчеству; в Риме, который окружил его гигантскими воспоминаниями, взбудоражил его и не дает ему дух перевести.

Чтение чужеземных поэтов и литовский пейзаж озарили некогда фигуру Марыли. Крымские горы продиктовали ему сонеты, язык которых, как можно было бы сказать, нашептывал ему демон тех краев.

В Риме его очам предстала Генриетта.

С мгновенья, когда она вошла в поле его зрения, она не была уже собой, юной польской контессой, которая охотнее пользовалась французским, чем родным, языком, немного развращенной окружением, общественным классом и чтением, барышней на выданье; она не была уже дочерью графа Анквича, который как огня боялся мезальянса и свысока взирал на бедного поэта. Она не была уже заурядной девушкой с довольно умеренными способностями, барышней, поверхностно мыслящей и чувствующей; она не была уже эстетизирующей панночкой, смакующей горечь поэзии Байрона. Кем же она была?

Она знала, что грусть ей к лицу.

Ее образование, которым она была обязана социальному положению ее родителей, не выходило за пределы сведений, содержащихся в энциклопедическом словаре. Но обстановка, в которой она появилась пред Мицкевичем, была необыкновенной. Явиться удалось ей легко: она была достаточно привлекательна и молода, она заждалась Мицкевича, который интересовал ее в той степени, в какой прославленные поэты в сентиментальные эпохи интересуют юных дев. Фон, на котором она возникла, был достаточно великолепен даже для появления богини. Мицкевич жил одиноко, истосковался по теплу и участию.

Когда он увидел Генриетту, глаза его вспыхнули, как они вспыхивали и при виде мадемуазель Анастасии в костюме дамы времен Генриха Третьего. Генриетта, Ева, Эвуня, водила его по римским руинам, ибо роль чичероне льстила ее честолюбию. Она могла похвастать перед знаменитым поэтом своими сведениями, повторяла вызубренные по Висконти фразы без очарования. Она имела право на наивность: была молода и недурна собой. Достаточно было взглянуть в ее голубые глаза, дать себя овеять ее волосам, чтобы заемные фразы, которые еле держались на ее устах, наполнялись значительностью и мудростью. Она легко и изящно чувствовала себя в роли ангела-хранителя и поводыря. Титула ангела было не слишком трудно удостоиться в те времена, когда за женщинами не признавали никаких прав, кроме разве что права быть ангелом.

Мицкевич видел в ней воплощение простоты, искренности, не замечал, что эта простота была деланной, проштудированной, старательно

заученной, подобно прическе или покрою платья.

При звуках музыки Моцарта и Россини, на фоне Рима цезарей и папы Юлия Второго все приобретало торжественное значение. Люди не только одаряют своей красотой и мудростью вещи, среди которых живут, — они берут также от них какую-то частицу, и не наименьшую к тому же.

Истинные пропорции не могли быть сохранены здесь, где прошедшее живет в настоящем, в сочетаниях, которые не следует разъединять. Осматривать этрусские вазы, гробницы на *via Appia*, лоджии и станцы Рафаэля, быть на Форуме, в Колизее, в соборе Святого Петра и в Санта Мария Маджоре, а позднее на рауте у Потоцких во дворце Грегорио увидеть Генриетту в бальном наряде — это отнюдь не то же самое, что встретиться с той же особой на грязных улочках Новогрудка.

— Я бы вас нынче не узнал — такая вы нарядная, светская.

— Мне. больше по душе Ева в обычном платье, — заметила после бала госпожа Потоцкая госпоже Анквич, которая почувствовала себя этим уязвленной.

Старый граф Анквич с тревогой глядел на дочь. Он добивался одного, чтобы она ответила ему ясно и недвусмысленно: пусть папа будет спокоен. Получил ли он такой ответ? А ведь он для нее жил и для нее же выехал в Италию три года назад, чтобы спасти ее хрупкое здоровье.

Когда Эвуня играла на фортепьяно, граф Анквич рос, буквально рос, поднимался в собственных глазах, гордился ею, пожалуй, не меньше, чем своим графским титулом и гербом.

Далеко в родных краях, в Галиции, трудились для нее, для нее только его украинские холопы.

«Укрыл ли снег, как должно, засеянные поля, не померзло ли зерно?» — размышлял тут, на итальянской земле, граф Анквич.

— Помолись также и за Адама, — сказала Еве панна Марцелина Лемпицкая, гася свечу. Ева стояла на коленях у постели, тоненькая, похожая на девочку, в длинной ночной рубашке. Марцелина, родственница ее, была образцом набожности, мечтала о монастыре, избегала мужчин. Ее религиозный пыл приводил окружающих в некоторое замешательство. В аристократических семействах не любят преувеличений и чрезмерно явных проявлений чувств. Несмотря на это, однако, панну Лемпицкую очень хвалили.

Она терпеливо сносила как эти похвалы, которые уязвляли ее скромность, так и необходимость пребывания в обществе людей светских, людей от мира сего, которых она предпочла бы сторониться. Она отлично понимала, что Генриетта не создана для Мицкевича. Ее поразила и увлекла

его бурная и страстная натура поэта.

То, что госпожу Анквич неприятно поражало в манерах Мицкевича, то, что ее дочь Ева-Генриетта прощала ему, как польскому Байрону, то для Марцелины было величайшим его украшением. Его печаль не была притворной — напротив, ему приходилось ее иногда даже укрощать.

Мадемуазель Анастасия Хлюстина, та, при виде которой зажигаются глаза Мицкевича, полна естественности и грации, хотя она и синий чулок. Она обожает книги, картины и великих людей. Престарелый Торвальдсен в нее форменным образом влюблен, восьмидесятилетний женеvский философ Бонстеттен называет ее своим другом. В письмах Одынец восторгается ею, сравнивает ее стан с пальмой, которая в его сугубо литературном воображении, в свою очередь, непосредственно ассоциируется с пальмами Томаса Мура, похожими на девушек:

...когда, разморенные сном, качаясь,
идут на шелковое ложе.

Мадемуазель Анастасия писала Мицкевичу, хотя могла ему то же самое попросту сказать, писала, чтобы дать ему образцы своего эпистолярного стиля.

«Я отлично видела вчера по твоей мрачной мине, что ты был скорее грустен, чем болен. Знаю причину твоей грусти, и верь, что ее разделяю и понимаю. Если это может тебя развлечь, мы были бы счастливы в эту чудную погоду вновь осмотреть древний Рим, который один способен развлечь или, вернее, занять истерзанную душу».

На фоне голубого неба Кастор и Поллукс ведут коней. В церкви Ага Соелі, воздвигнутой на месте древнего храма Юпитера, пылают свечи. Под колыхание кадилъниц и позвякивание колокольчиков идет богослужение. А вот и Тарпейская скала — она совсем не страшная. Обломанные колонны, потрескавшиеся капители и аркады римского Форума сверкают белизной.

Колизей выглядит нынче как челюсть поверженного исполина. На площади Святого Петра, рядом с обелиском, бьют фонтаны. В общественных театрах дают оперы «Героиня Мексики» И «Ромео и Джульетта», в театре «Метастазио» ставятся классические комедии.

Генриетта недружелюбно поглядывает на Анастасию, которая явно соперничает с ней, когда сопровождает поэта по римским достопримечательностям. Бывают мгновенья, когда Мицкевичу кажется, что в совместной жизни с Генриеттой он мог бы обрести счастье. Однако

он слишком часто молчит и замыкается в себе. Мадемуазель Анквич несколько разочарована, хотя и не признается в этом чувстве даже себе самой. Она воображала себе Мицкевича иным: по образцу юношеского портрета лорда Байрона. Мицкевич некрасив, чрезмерно суров в обращении. Она видела, как во время какого-то спора он впал в бешенство.

Генриетта не может, естественно, принять его таким, каков он есть, она вынуждена и дальше стилизовать его в своем воображении. Она обнаружила известное сходство между ним и статуей Антиноя в Ватиканском музее. Засыпая, думает не о нем, а о статуе Антиноя. Мицкевич отнюдь не дипломат, он ровным счетом ничего не делает, чтобы понравиться господину Анквичу, напротив, делает все, чтобы отвратить от себя и отпугнуть старого графа.

Граф подмечает в Мицкевиче простонародные черты. Делится этим наблюдением с супругой. «Чего бы это ни стоило, я не допущу мезальянса». — «Поступай так, как ты считаешь нужным», — серьезно отвечает ему мать Генриетты. Повторяется старая-престарая, банальная история, которой ни один смертный не в силах избежать. Людям свойственно дислоцировать мечты свои о счастье в местах, от которых им следовало бы скорее сторониться.

Им кажется, что каждое из этих мест, существующее только в грезах, есть единственное, возведенное, как Замок Святого Ангела, на веки веков. В действительности же там находится тюрьма. Но и эта тюрьма только призрачная. Счастливые места — это не более чем метафора, но мы убеждаемся в этом слишком поздно. *Deus ipse*.

Бывают мгновенья, когда Мицкевич уверен, что если бы он поселился под одной крышей с Генриеттой, он был бы счастлив. Он не довольствуется, подобно миллионам других смертных, самой мыслью о счастье, которая, собственно, уже не есть мысль, а самое счастье.

Марцелина Лемпицкая осторожней, она не доверяет жизни. Из-за этого недоверия к жизни и счастью она отреклась от мысли о счастье, которая ведь и является счастьем. Мицкевич смотрит на Марцелину, когда она в церкви в Джедзано принимает святое причастие. Она единственная среди дам, исполняющих этот обряд, всерьез верует.

Мицкевич потрясен обликом верующей: *Genius loci* снова овладевает им. В церкви, взирая на верующую, он готов уверовать и сам.

Стихотворение его «К Марцелине Лемпицкой» рассказывает о потрясении, которое вызвал в нем облик столь великой кротости. Но воплощение счастья, которое зиждется на отречении, для него

недостижимо.

Отверг бы я все дни утех и наслаждений,
Чтоб ночь одну, как ты, провести в чаду видений.

Это не слова обращенного. Это слова ревнивца.

*

Во время прогулки в Субиако, посещая место, где стояла некогда вилла Мецената, среди обломков колонн и портиков, в Colle del Poetello, где должна была возвышаться вилла Горация Устика, гений места, как тот крылатый злодей его первой молодости, врасплох нападает на него среди Сабинских гор и приказывает ему в этом краю почувствовать себя поклонником классической поэзии.

«Я был бы рад повторить, — пишет Одынец, — *in extenso* долгий и чрезвычайно оживленный разговор *à propos* Горация. В разговоре этот Адам, как пламеннейший классик, с пылом, достойным Козьмяна, становился на защиту красоты формы и языка в поэзии...

Все различие между ним и варшавскими нашими классиками заключается в том, что эти господа в форме и языке видят только архитектурный порядок и риторику стиля, в то время как он под этими самыми выражениями понимает гармонию, тон и колорит слова, без которых никакая великолепная мысль поэзии не создаст, в то время как сама прекрасная форма и язык, независимо даже от содержания, могут пробудить поэтическое впечатление, как, скажем, мелодия песенки, пропетой без слов. Существуют даже поэты, которым самая форма и язык обеспечивают это звание, хотя с точки зрения содержания они, собственно говоря, принадлежат к риторам. Таким является у нас Трембецкий... Я никогда не видел Адама, так убежденно распространяющегося о красотах стиха и декламирующего с таким наслаждением и жаром, как тогда, когда он цитировал четверостишие Трембецкого:

То ль запряжешь ты лапландских оленей,
То ли, пленившись отваги примером,
Ставши мишенью для всех восхвалений,

Будешь ты ввысь вознесен Монгольфьером.

Повторял это раз десять, заставляя всех слышать и видеть в этих стихах все: и звон бубенцов зимней упряжки, и блеск накатанной снежной дороги, и быстрый бег коней и саней, и в конце медлительное воздымание аэростата!»

Ироническая улыбка могла появиться на устах гения этих мест, бронзового мальчугана с крыльями за плечами. Снова утечет сколько-то воды в желтом Тибре, и мальчуган этот передаст власть над поэтом бедному ксендзу в сутане^[117], простоватому и в то же время пылкому. Ксендз этот, так не похожий на Марцелину, напоминающий скорее Гарчинского склонностью к диспутам на абстрактные темы, но суровый, не разбирающийся в выражениях, прикасаясь к челу поэта, пробуждает эхо римской мостовой, по которой гонят мучеников. Бывший ученик Вольтера переходит тут под эгиду чернокнижника.

В мае 1830 года семейство Анквич выехало из Рима. Мицкевич, прощаясь с Генриеттой, подарил ей два томика своих творений в петербургском издании. Вписал ей на первой странице следующие слова: «У врат del Popolo. Уезжая из Рима, не будем плакать ни днем, ни ночью, будем в добром здравии, до свидания». В этих словах, в которых неизвестно чего больше — чувства или отречения, он навсегда простился с мадемуазель Анквич. Позднейшие их встречи не внесут ничего нового в дело, проигранное для них обоих. «Обращение к Неаполю», написанное в подражание Гёте, — это только последний вздох по стране счастья, стране недостижимого счастья.

В третьей части «Дзядов» возвратится воспоминание о Еве и Марцелине. Но в этой сцене, происходящей в сельском доме под Львовом, Ева и Марцелина являются уже только персонажами его внутренней драмы. Опутанные видением поэта, они утрачивают свою личность, перенесенные в иное время; а ведь в действительности они были тогда маленькими девочками. Тот, который положил руки на их плечи и касанием этим перенес их в свои видения, не заботясь о правдоподобии, тот не легко забывал. В образе Евы^[118], дочери стольника, Ева Анквич переживает драму, которая ей даже не снилась; она никогда не намеревалась подражать в жизни любовникам из страстных поэм Байрона. Но искушение счастья овладевает поэтом еще раз, упорное и трагическое, ибо он сознает невозможность воплощения этого счастья в действительность; оно овладевает им в путешествии по Италии и по Швейцарии, в странствии, в

которое он отправился лишь затем, чтобы забыться.

«...Ежели бы человек мог быть только путешественником или только поэтом. Но что делать, если вместе с нами путешествуют все наши пороки и капризы?» — пишет он Игнатию Домейко 23 июня 1830 года, а в письме из Женевы в Париж от 14 августа он, обычно такой сдержанный и скупой на признания, пишет госпоже Анквич с тайной надеждой, что письмо его попадет в руки Евы: «Уже две недели каждое утро я ухожу от окна почты с чувством, какого я врагам своим не пожелаю. Как объяснить Ваше молчание? Как Вы могли не подумать, что мы здесь читаем газеты, и не догадаться, что происходит в моем сердце при этом чтении?.. Несмотря на все убеждение, что с иностранцами при подобных политических волнениях ничего дурного случиться не может, поскольку их обе партии обычно щадят, я не мог не волноваться о здоровье Вашей семьи». Не только Он один беспокоился тогда о здоровье знакомых и близких. Треск выстрелов июльской революции был слышен даже в спокойной Женеве. Женевцы ожидают курьеров, ждут вестей из Парижа, бегут, кричат, жестикулируют, что тут, в этом городе, где даже веяние ветра деревьев над озером как будто бы говорит: «Silence!» — является чем-то непривычным.

Когда Мицкевич возвращается в Рим, на дворе уже ноябрь. «Больной и удрученный оставил я Милан, но приходится мириться с судьбой, — пишет он Одынцу. — Мой выбор сделан. Я, очевидно, останусь в Риме до мая или апреля. Что будет дальше, не ведаю». А в письме к Францишку Малевскому: «На севере я тосковал по югу, а здесь тоскую по снегам и лесам. Ты не поверишь, с каким наслаждением, едва не со слезами, встретил я в Альпах северную растительность: зеленую траву и ели». А ведь эта северная растительность — это была также Литва и Россия. Какие могли быть вести оттуда? В Сибири, в пустынях Зауралья, гибнут поляки, взятые за политическую деятельность, вывезенные в кибитах, умирающие с голоду, от недугов и тоски по родине. До этих далеких и студеных краев не долетят даже отголоски парижских выстрелов. Французские рабочие, поднимая оружие против тирании, верили в свободу. У польских заговорщиков не могло быть даже надежды. Пули французского народа прогнали Карла Десятого, Бурбоны пали, но от этого сотрясения парижской мостовой не задрожал царский престол. Автор «Оды к молодости» не встретил июльскую революцию надеждой. Стихотворение «К матери польке», которое возникло у него как отголосок выстрелов июльской революции в мрачные дни ноября или декабря, получило в Риме окончательную отделку. Ничего более потрясающего и более пророческого не написано на польском языке.

«Много читаю и сижу дома, сейчас над творениями аббата Ламеннэ^[119] размышляю...» «Пока в голове моей страшная мешанина, ибо я слишком много видел, мыслил и желал. Хочу теперь немного успокоиться и привести свои мысли в порядок. После волнений путешествия наступила буря, чтения всяческого рода, где Данте, винкельманисты, Нибур, газеты и хроники перемешаны у меня на столе и в голове». Он живет теперь почти в полном одиночестве. Когда по вечерам он рассказывает по двум комнатам, в которых он довольно удобно устроился, его начинает обременять одиночество, но у него недостает сил, чтобы это одиночество нарушить. Одиночества этого не мог уменьшить факт не вполне ясный даже для него самого. После многих лет, свободных от религиозных обрядов, он исповедался. Стоя на коленях в исповедальной, думал о Марцелине.

В эту минуту за окнами Рим, чуждый и заглушенный. Июльская революция докатилась сюда из Парижа и бросила тревожную тень на салоны, еще недавно столь оживленные. За окнами слышны голоса кучеров, бряцание оружия и сторожкая поступь патрулей.

Он уже несколько дней не видел ксендза Холоневского. Полюбил его за ревностность, которая у этого ксендза соединялась с простотою, с непринужденным образом жизни. Давно не видел Ржевуского, который ту же простоватость соединял с необычайным даром рассказчика. Мицкевич потянулся к письму, хранившемуся среди иных бумаг. Прочитал еще раз, как бы впервые, эти страницы, исписанные хорошо знакомым ему почерком. «Со времени нашего расставания я никогда не решалась писать тебе. Но теперь, побуждаемая Жеготой, я осмелилась прибавить несколько слов к его письму и поблагодарить тебя за четки, которые ты был так добр мне прислать. Я полагала, что свет стер в твоей памяти твою давнюю знакомую, в то время когда твой образ всегда в моей душе, каждое слово, услышанное из уст твоих, доселе звучит в моем сердце, часто мне кажется, что я тебя вижу и слышу, но это только сны воображения. Ах! Если бы я еще раз могла увидеть тебя наедине, будучи сама невидимой! Ничего более я не желаю. Быть может, после твоего возвращения ты уже не найдешь меня в числе живых. Выбей тогда крест на камне, покрывающем мою могилу, я прикажу похоронить себя с четками, с которыми никогда не расстаюсь. Бог с тобой. Написала тебе больше, чем следовало. Пускай тебя эти слова найдут в наилучшем здоровье и такого удовлетворенного и счастливого, как того тебе желает Мария.

Сожги эти каракули. Благословляю провидение, которое тебя удалило из наших краев, где холера морбус творит страшные опустошения».

Если бы читающий это письмо мог отдалиться от него на расстояние, с

которого видно, как чувства застывают в стиль эпохи, он, может быть, увидел в нем больше аффектации, чем истинного чувства. Марыля осталась до сих пор верной «страданиям молодого Вертера», верной роману, а не страданиям. Жила со своим Лоренцо, рожала детей, отнюдь не собиралась умирать; а если и писала о смерти и надгробном камне, то просто потому, что это было в стиле времени, которое в Плужинах или Тугановичах шло не спеша, подолгу задерживаясь на давних сентиментальных станциях. Вавжинец Путткамер, ее супруг, понимал, что это только стиль, и не сердился на нее, ибо он был человеком разумным. Мицкевич сам был соавтором этого стиля. Жил в нем всем своим существом, хотя отошел дальше, туда, куда она пойти за ним уже не могла. В своей римской квартирке он даже среди воспоминаний совершенно одинок; сколько раз он приближается, расхаживая по комнате, к простенку рядом с книжным шкафом, столько раз зеркало показывает ему его лицо, удивительно постаревшее! Ему еще нет тридцати двух лет, а волосы его поседели. Вечно он зябнет в этих комнатах, которых не в силах нагреть дрова, пылающие в камине. Римляне меньше страдают от зимнего холода. Северянин, перенесенный на землю юга, хуже, чем итальянцы, переносит холод и дожди их теплой отчизны. Засыпая, не может избавиться от воспоминаний, которые под его сомкнутыми веками утрачивают былые приветливые краски. На лазурных пейзажах Неаполитанского залива и Швейцарской Ривьеры лежит тень его нынешних мыслей, неотвязных мыслей, мрачных мыслей. На миг возвращается воспоминание о Шильонском замке, который он посетил в закатный час. Старый замок, мрачная крепость, которая каменным своим цоколем погружена в озеро. Из маленьких окошек в подземной тюрьме видно, что она окружена тихими водами Левана. У одной колонны, подпирающей свод, — железное звено, к которому был прикован узник Бонивар. На плитах пола в течение шести лет тюремного заключения он протоптал следы терпеливыми шагами. На другой колонне врезана в камень небрежно (как надписи на стенках, выцарапанные подростками) фамилия Вурон, которую тут сам поэт оставил на вечную память.

Разговоры с Красинским^[120] в Лаутербрунненском трактире и с Одынцем, сердечная привязанность которого и непрестанное восхищение становились ему несносны. «Я был с ним суров и несправедлив, — подумал он, — но его вечная болтовня лишала меня того, к чему я тогда стремился больше всего, — одиночества. Мой внутренний разлад происходит от невозможности выбора. Марцелина выбрала». Воспоминания об этой высокой, сложенной, как статуя, девушке

обеспокоило его; и он перенес на Генриетту великолепное мужество, Марцелины, на Генриетту, которая любила стихи Байрона. Среди образов, которые продолжали беспорядочно наплывать, он увидел вдруг фигуру Беатриче с Сикстинской фрески не так, как ее видят с галереи, но близко, тут, у самых глаз. Ее профиль с несколько пухлыми губами, палец левой руки прикасается к щеке. Какой она была живая? Кем была? Триста комментаторов и биографов Данте ничего о ней не знают и никогда не узнают. Люди, обреченные на вечное проклятие, копошатся сбившимся стадом омерзительно нагих тел, змея обвивает грузную тушу Миноса, князя тьмы. Наверху в безумных корчах клубятся нагие утопленники воздуха и этой вечно роящейся стены; их раскоряченные ноги, их ягодицы, стопы со скрюченными пальцами нависают теперь над его полусном-полубдением. Святая Анна бесполое существо с отвислой грудью, с устами, разомкнутыми блаженством или удивлением. Движение руки Спасителя, властное и гневное, это движение вспльчивого старца Юлия Второго, который здесь, во всеобщем воскрешении плоти, воскресал в образе юноши.

Внезапно эта безумная фреска, увиденная вблизи, яснее чем в капелле, которую он посетил без надлежащей сосредоточенности, эта фреска стала ему близкой, почти собственной. Только тут перед этой поразительной стеной объяснились строфы позднейших стихов:

Когда пред господом я опустил чело,
Разумное чело певца и громовержца,
Господь его вознес, вздымая тяжело,
Как радуги дугу, в тысячелучьях сердца.

Народ мой, даже в пораженья дни,
Когда печаль тебя покрое тенью,
На арку семицветную взгляни
И присягни святому единенью.

На рассвете кто-то позвонил раз, потом другой, третий раз, чуть не обрывая звонок. Еще не стряхнув с себя сна, поэт увидел в дверях Генрика Ржевуского. Ржевуский крикнул: «Восстание в Варшаве!»^[121]

Мицкевич тихо вымолвил одно только слово: «Несчастье!»

ВОССТАНИЕ

Восстание догорало^[122]. Отряды, приближавшиеся к прусской границе, не были еще разбиты, но лишились свободы действий, свободы передвижения. Так решило их собственное командование, и решение это вскоре перестало быть тайной. Весть, что повстанцы должны перейти границу и сдаться на милость прусского правительства, обежала ряды. Эти простые люди, крестьяне, гнувшие спину на пана, никак не могли уразуметь, почему, целые и невредимые, с оружием в руках, они должны по приказу начальства сдаться прусским пограничникам: они ведь вовсе не проиграли войну!

Когда их некогда скопом зачисляли в полки, их учили почитать это начальство, беспрекословно повиноваться ему. И мужики повиновались, хотя отлично знали, что их семьи, покинутые в родимых хатах, должны будут отбывать панщину и за себя и за них, хотя и знали, что если сами они падут в бою, то вдовы их будут, целый день трудясь на панском поле, трепетать за детей, без призора оставшихся в хате.

Теперь, когда им приказали все это бросить и предаться в чужие руки затем, чтобы никогда уже не увидеть тех, кто остался дома; теперь, когда им приказали расстаться с той жалкой жизнью ради другого существования, которого они не знали, ради жизни в сиротстве и в изгнании, солдаты начали роптать. Изгнание для мужика куда страшнее, чем для пана. И солдаты недоверчиво и испытующе смотрели на своих офицеров в золотых эполетах. Нет, не стоит и спрашивать. Им пробурчат в ответ что-то невразумительное, это они знали по опыту.

Если бы можно было собрать все их голоса и думы, то из них возникла бы, может быть, песнь переходящих границу, песнь, которая гласит: «Пойду за тобою страной, которая отсюда начинается, от пограничного столба с черным орлом, имя этой стране: Скитальчество. И пойдешь ты, подданный этой страны, скиталец, сквозь дождь и ветер, — не бойся, я буду с тобой».

Прусское правительство обещало полякам, что в силу конвенции к ним будут относиться надлежащим образом и они найдут покровительство в стране, границу которой они перешли по доброй воле, слагая оружие.

В Эльбинге была основана главная квартира войска изгнанников. Раненых и больных разместили в лазаретах Эльбинга, Данцига,

Мариенбурга.

Когда Россия объявила амнистию, прусские власти начали оказывать нажим на беженцев, особенно на рядовых солдат, чтобы они немедленно возвращались на родину. Те, которые поверили царской амнистии и поддались нажиму прусского правительства, пошли долгим и безвозвратным путем в Сибирь. Тех, которые сопротивлялись возвращению, погнала к российской границе прусская полиция — пруссаки били их саблями плашмя.

В Фишау дело дошло до стрельбы.

Девять изгнанников полегло от прусских пуль, многие получили ранения. Польские солдаты, решившие не возвращаться, чего бы это ни стоило, — ведь они знали, что идут в руки палачей, — ложились наземь, лицом в снег.

В некоторых пограничных пунктах беженцев атаковала прусская кавалерия, топча копытами непокорных.

Великое несчастье народа, повторяющееся в новой истории Польши каждые несколько десятков лет, было только началом одного из актов трагедии.

Несчастье это в тот момент сильнее всего ударило по крестьянам, — офицерам прусские власти выдали паспорта с правом дальнейшего следования на запад. Теперь они шли большими группами по селам великого герцогства Познанского ^[123]; они проходили по немецким городам, часто восторженно приветствуемые немецким народом, который видел в них защитников свободы.

Это были времена, когда европейские правительства не сумели еще уничтожить чувства братства в борьбе с тиранией, ибо административный аппарат их, хотя и совершенствовался с каждым годом, не был настолько могущественным и всепроникающим, пронизывающим каждую частицу общественной жизни, чтобы быть в силах уничтожить даже столь произвольные, столь стихийные проявления такого естественного сочувствия.

«Polenlieder», стихи о Польше и поляках, сражающихся за свободу, написанные немецкими поэтами в эти дни, свидетельствуют об искренности и неподдельности этого чувства. Французский народ после взятия Варшавы демонстрировал с решимостью, которая повергла в ужас Пале-Рояль. Воскликая: «Vive la Pologne!», «A bas Louis Philippe!», «Vive la République!», народ принялся возводить баррикады на улицах Парижа.

Когда в Германии восклицали: «Noch ist Polen nicht verloren», а в Париже кричали прямо в уши расположившимся биваком на площадях

отрядам войска: «Vive la Pologne!», дороги этих стран кишели оборванными польскими скитальцами, которые под изорванными мундирами и в тревожных глазах уносили с собой не только остатки свободной страны, но также и надежду на будущее.

Не удивительно, что европейские правительства смотрели на них подозрительно и досадливо. Никто не радуется тому, что в его доме размещают порох, если порох этот невозможно употребить в собственных интересах. Польские пришельцы были таким зарядом взрывчатки.

Мицкевич прибыл в Дрезден, уже кишачий бесчисленными эмигрантами. На улицах слышалась польская речь. «Мы здесь, — писал поэт, — надолго прикованы, без паспортов, без возможности двинуться с места». Терзают его отнюдь не паспортные дела, в нем растет теперь чувство вины, естественное в такой обстановке. Достаточно взглянуть в окно, выйти на улицу, увидеть этих людей, вместе с которыми он не был в бою. Было бы явным преувеличением, если бы мы сказали, что эти люди знали о нем, читали его стихи, что они помнили надписи на перевязях и транспарантах в восставшей Варшаве, надписи, которые были взяты из его поэм. У многих, у большинства, имя его не пробуждало ни малейших воспоминаний. Почему же он, еще недавно столь высокомерный и беспощадный в суждениях, не мог глядеть им прямо в глаза? Да и понятно, что не мог. Когда другие винили вождей восстания, когда, как это обычно бывает в случаях поражения, обвиняли всех в измене, слишком поспешно усматривая причины разгрома в действиях отдельных лиц, а не в том, выразителями каких стремлений были эти лица, Мицкевич молчал: Он не мог судить никого. Знал, что теперь они будут судить его бездействие; не отказывал им в этом праве. Стефан Гарчинский, который был с ними в радости и в горе, имел право писать: «Наше общее несчастье тяжким бременем давит на сердце и мысль, но не оно подрывает мою жизнь. Я узнал людей! Мерзкие! Мерзкие!» Нас не должны удивлять эти слова гамлетизирующего гегельянца. Каждое великое всеобщее несчастье, даже если оно объединяет людей в первые часы, позднее со всей жестокостью обнажает человеческую подлость. Война ни в коей мере не укрепляет веры в доброту человека; смрад гниющих трупов, вид человечества, обесчещенного человечества, — жуткое зрелище разорванных огнестрельным оружием и изрубленных холодным оружием тел — надолго поражает разум тех, которые выжили. Свежая земля, попадая в рану, может вызвать смертельный столбняк; рана, нанесенная холодным оружием и вовремя не очищенная, вызывает антонов огонь, сознание того, что человеческая жизнь дешева, Дешевле жизни артиллерийской лошади,

сознание это — как заразная болезнь. Все, которые принимали участие в войне или попали в полосу военных действий; все больны, все словно поражены каким-то странным недугом. «Чувствую, — писал Мицкевич Лелевелю 23 марта 1832 года, — себя так, словно я уже в Иосафатовой долине, и не знаю, с чего начать разговор о стольких событиях столь долгой жизни! Ты поймешь, почему я не смел забрасывать тебя письмами во время революции, спрашивая о новостях или давая советы, которые так легко давать издали и задним числом, но так трудно найти на месте в разгар событий. Бог не позволил мне быть хоть каким-либо участником в столь великом и плодотворном для будущего деле. Живу лишь надеждой, что не скрещу праздно на груди своей руки в гробу». В письме к Юлии Ржевуской^[124] признает: «Весь год после отъезда из Италии был так ужасен, что я боюсь о нем думать, как о болезни или дурном поступке, хотя вы и не поймете всей силы последнего сравнения».

И теперь, в бессонные ночи, лежа с открытыми глазами, поэт вспоминал последние месяцы пребывания своего в Риме. Дни, проведенные в бесцельном бродяжничестве, вечера, когда одиночество подсовывало ему странные идеи, которые на трезвом рассвете оказывались удивительно никчемными. Мицкевич вспоминал общедоступную читальню на площади Колонна Сциарра, книги, которые он читал для того, чтобы подавить тревогу. На родине шла тогда кровавая война. Почему он не выехал из Рима? Его звали. Он пробирался к Альпам, чтобы оттуда добраться через Германию к польской границе. Прошел февраль и март 1831 года, а он все еще сидел в Риме. Читал «De imitatione Christi», читал Данте и аббата Ламеннэ. Эти книги не приносили ему утешения. Правда ли, что он не верил в удачу ноябрьского восстания? Ну, а если даже не верил? Знал, что неверие в счастливый исход дела, справедливого дела — в этом он не сомневался — отнюдь не освобождает его — нет, он был обязан принять в нем участие, разделить с восставшими все тяготы и опасности. Сергей Соболевский, русский, друг с московских времен, одолжил ему денег на дорогу. Поэт выехал, наконец, вместе с Соболевским и князем Александром Голицыным из Рима в середине апреля. Русские, которые помогли ему в эти тяжкие для него минуты, исполнили — он знал это — свой долг перед свободой, перед вольностью, которая была им дороже, чем престол-отечество.

Почему он поехал тогда через Женеву в Париж? Он не сумел бы сейчас объяснить этого маршрута, который не приближал его к восставшим. Париж показался ему городом адским, ибо ад носил в себе он сам, медлительный и неповоротливый путник, пробирающийся окольными

путями на театр национальной войны. В воспоминаниях он увидел теперь слезы аббата Ламеннэ, единственного француза, который искренне оплакивал судьбы Польши, слезы аббата Ламеннэ, струящиеся из очей, которые, казалось, выцвели уже и погасли, оплакивая горести этого мира.

Потом он ехал с Антонием Горецким^[125] через Германию, ехал в отчаянии, в тревоге, то чрезмерно спеша, то без явной причины задерживаясь в том или ином городке. Позднее — пребывание в Познани, вечные колебания, вечная нерешительность. Он доселе помнил сад в Смелове после бури и ливня. Деревья, уже успокоившиеся, вздымали свои вершины к бледному небу. Ничто не указывало на то, что чуть восточней ширится зарево. В памяти его пронеслась неотвязная тень госпожи Констанции Лубенской^[126]. Он вспоминал ее черные пышные волосы, ночи, проведенные с нею в любовном исступлении в Смелове, в Кжекотовицах, в Будзишеве. В гостеприимном поместье Каликста Бояновского, брата пани Констанции, веселые пиры, охоты, пустопорожние разговоры. Вспоминал леса Щёдржеева, такие похожие на литовские леса, торжественные в осеннем уборе.

Усадебка в Любони и тишина, тишина; ибо вся эта светская болтовня замерла, оледенела при вести о взятии Варшавы. Все это вновь ожило в нем. Он снова увидел маленький листок, невзначай подсунутый ему светловолосой барышней, которая всматривалась в него, щуря глаза, а глаза у нее обещали немало. Мицкевич прочел: «Что сейчас в сердце твоём займет место надежды?» Отписал ей тотчас же тем же самым способом, карандашом на этом самом листке: «Что делает хлебопашец, когда поле его побито градом? Снова сеет...» И сразу же ощутил неловкость, что вот он весть о падении Варшавы вплетает в столь неуместные теперь ухаживания. Он внезапно встал и, не сказав ни слова, ушел в свою комнату.

Поэт ничего не мог знать о том, что этот листок будет храниться в семействе Лубенских и Моравских, что он будет сохранен — Легенде на потребу.

Легенда не ведает препятствий, не желает считаться с фактами. Раз уж она положила руки на плечи поэта, будет теперь пытаться любой ценой оправдать его бездействие. Скажет, например, что в Смелове, в гостеприимном семействе Горецких, хозяева дома нарочно расписывали перед ним, до чего, мол, трудно проникнуть в Царство Польское. Легенда станет уверять, что с каким-то крестьянином в качестве проводника Мицкевич перешел было границу, но что после переправы через границу, наткнувшись на москалей, вынужден был возвратиться. Легенда скажет,

что было уже слишком поздно: войска Гелгуда и Дверницкого^[127] как раз теперь слагают оружие. В Смелове стоят пруссаки. На каждом углу по четыре солдата, наблюдающих за каждым движением жителей села. Все это истинная правда, но Легенда замалчивает то, чего не смогла бы оправдать. Отвращает очи, из которых глядит мудрость веков, от блаженных дней, от участия поэта в охотах в польских лесах, от романа с графиней Констанцией Лубенской.

«Мицкевич был тогда полон грусти, а пани Констанция забывала о светских условностях, о мирских делах, чтобы утешать поэта», — так говорит Легенда. В эти мгновения она утрачивает задумчивость микеланджеловской «ночи» и гласит беспомощными устами сына и биографа поэта, который не чувствует в этих словах невольного непреднамеренного юмора. Госпожа Констанция позабыла о свете, чтобы не вовсе без ведома понятливого и снисходительного будзишевского помещика спать с поэтом в одной постели. Ну и какое это имеет значение? Разве только то, что Мицкевич упрекал себя за несвоевременную охоту и несвоевременный флирт. Легенда вновь обретает задумчивую неподвижность статуи и вещает: он хотел покончить с собой, вспоминал об этом намерении еще в 1846 году. Да, он вспоминал об этом. Не к чему было бы его участие с оружием в руках. Если бы он погиб, ущерб был бы непоправим. Лучше, что не пошел. Плутал по великому герцогству Познанскому, скрываясь под разными фамилиями, чтобы обмануть бдительность прусской полиции, побывал в разных усадьбах, под многими крышами; однажды даже ночевал на чердаке. Если охотился, то, может быть, затем, чтобы развеять подозрения; ведь он приехал в гости к графу и графине как их дальний родственник. Словом, она, Легенда, столь чуткая ко всяческим оттенкам чувств, рассуждает в эту минуту уж слишком попростецки. И теперь у нее, Легенды, пухлые щеки одного из ангелов из алтаря Губерта ван Эйка.

Брат поэта, Францишек, подпоручик третьего уланского полка, несмотря на свое увечье^[128], оседлал коня, одним из первых пустился в путь из Новогрудка, чтобы принять участие в восстании; даже этот невезучий брат был живым укором. Нужно было найти ему кров. Он поселился в Лукове у графа Грабовского^[129], он, герой ноябрьской революции, который больше, чем огня из царских пушек, страшился одиночества в изгнании, беспомощный как дитя. Францишек не слишком задумывался над тем, что стряслось. Он принимал вещи такими, как они есть, не усложняя. Он вовсе не чувствовал себя героем. Участие свое в

восстании считал настолько само собой разумеющимся, что не стоило, мол, даже и говорить об этом. Пытался утешить брата.

— Да, нелегко тебе, ну, да, бог даст, пойдем еще раз. — Хотел развеять его тоску, чувствовал в эту минуту, что почти счастлив, ибо есть у него крыша над головой.

Легенда даже мельком не взглянула на этого простодушного рыцаря.

Ее глаза, обращенные на Избранника, следят за его шагами. Легенда заботится только о том, чтобы страдание его, вся эта бесполезная мука мысли, обратилось в Творение. Если возникнет Творение, ее дальнейшая роль облегчится. Бессмертные защищаются сами и могут не заботиться о голосах, злорадствующих, злословящих и глумящихся над ними.

Бессонные ночные часы, хотя и длятся бесконечно, растворяются перед бледным рассветом — за ними следует сон, крепкий и подкрепляющий силы. Мелкие заботы, неизбежные в жизни, денежные и паспортные заботы отрывают от мыслей всеобъемлющих и, хотя и приносят множество страданий, помогают в известной степени сохранить душевное равновесие.

Душевная жизнь только в поэмах кажется чем-то цельным, постоянным и последовательным. В действительности же она делится на этапы и часы, она отрывочна и куда сложнее, чем в каком бы то ни было описании. В письме к Юзефу Тачановскому^[130] Мицкевич пишет:

«Одынец покупает плащи для солдат, кончает переводить поэму; хуже всего, что если бы он уехал на недельку, то несколько достопочтенных старушек могли бы жизнью поплатиться за его отъезд, в него влюблено чуть не с десятков почтенных особ, из коих самой младшей 72 года...»

На приемах, даваемых в честь польских беженцев речь идет не только о восстании и героизме. Героям, только что вышедшим из огня, не до театральности, они далеки от того, чтобы застывать в монументальных позах. Они отличаются прямоотой и неумностью в проявлениях чувств, их рассказы и реляции с поля брани полны прозаических подробностей, они не боятся крепких слов, даже в присутствии дам.

Пани Клаудина Потоцкая^[131], чье беспредельное самопожертвование вызывает у Мицкевича изумление, не является еще тем монументом Польки, который описали нам позднейшие мемуаристы.

Она живая женщина. Если кто-нибудь захотел бы снять с нее мерку для изваяния, она рассмеялась бы от души. Великие исторические события еще как бы находятся в текучем состоянии, они еще в распылении и в мелочах.

Еще Легенда и ее сестра Поэзия не успели удалить запаха крови, порока, мук умерщвляемых людей, позора убийства, которые несет с собой война, хотя бы и самая справедливая.

Современники этих кровавых событий не любят фраз, они трезвы.

«Поле сражения — это жестокая вещь, — записывает участник восстания^[132]. — Кто его не видел, тот не поймет ужаса, который пробуждался в сердце. Война — это гнуснейшее под солнцем преступление, вопреки всем личинам величия, героизма и славы, какие на нее нацепляют алчность и тщеславие человеческие. Подумай об этом, когда увидишь останки человека, пушечным ядром разорванного надвое, или увидишь несчастного раненого, лежащего на земле, когда по нему галопом прокатывается шестиконное орудие и перемальвает ему кости, и ты увидишь, какой ценой достаются лавры надменного победителя».

В эти дни всех раздражают и отталкивают сентиментальный стиль и байронические гиперболы. Когда один из полковников рассказывает о битве под Гроховом, стиль его репортажи настолько естественный, как будто бы он толкует о самых что ни на есть обыкновенных делах.

Никому не казалось странным, что полковник с одинаковой горячностью рассказывает о ранении Хлопицкого^[133] и о гибели собственного коня, хотя несколько поэтов выслушало эту репортажию. Никто не спросил:

— Почему вы об этом не хотите писать?

Не нужно было писать, Духи поэзии, как греческие Керы, упившись кровью, были теперь всюду; фразы, загнанные в ритм и уснащенные бубенцами рифм, звучали бы теперь фальшиво.

Беженцы жили под свежим впечатлением последних минут восстания. Они как будто уже забыли о Грохове, об Остроленке^[134] и падении столицы. И, несмотря на то, что последний акт восстания был бескровным, он сильнее всего потрясал слушателей, не принимавших участия в войне. Пронимал их леденящий эпилог трагедии, предшествующие сцены которой были залиты кровью и оглашались воплями изувеченных.

В первые часы после подавления восстания каждый рассказ участников тех дней поражает так сильно, что у слушающих спирает дыхание в груди. Эти люди, простые, несмотря на высокие воинские звания, изъясняются слогом свежим и суровым и поэтому убедительным, ведь они толкуют о событиях горестных и страшных.

Почти все они множество раз смотрели смерти в лицо, и поэтому взоры их открыты и исполнены силы. Рядом с их суровыми и правдивыми

деяниями и словами бледнеет поэзия той эпохи, Байрон кажется фальшивым и надуманным. Это ничего, что они не видят, ибо еще не могут видеть тайных пружин того исполинского механизма, который привел в движение их руки и помыслы. Они объясняют все обстоятельствами, отношениями частного порядка, вникают в психологию командующих. Они обвиняют Хлопицкого в промедлении, Скржинецкого^[135] — в бездарности, а Круковецкого^[136] — попросту в измене. Однако никто из них не вникает в тайные причины поражения. Не объяснит им этого даже Мохнацкий^[137] в своей истории восстания. История использовала их молодость, силы и способности и покинула их на чужбине. А теперь, вскоре после поражения, они мыслят еще точными категориями, среди них есть штабисты, обладающие знаниями не только теоретическими, на своей шкуре испытавшие, что такое война.

Когда Мицкевич после чьего-то душераздирающего рассказа об обороне Варшавы встал и воскликнул, что следовало скорее всем погибнуть под развалинами, чем отдать столицу, седовласый генерал Малаховский^[138], иронически взглянув на него, отпарировал: «Не для того ли, чтобы вы могли, рассевшись на руинах, воспеть погребенных?»

Не было в этой суровой отповеди намек на бездействие Мицкевича, хотя поэт иначе и не мог принять этих слов, — было только превосходство опытности, военной практики над мечтательством того, кто не корпел над планами, не думал о подвозе провианта, не держал в руках статистики убитых и не ориентировался в настроениях горожан и сельского населения. Военные специалисты, как и все, прочие специалисты, ужасно не любят, когда в вопросах их ремесла поднимают голос профаны и дилетанты.

Мицкевич не в силах теперь замкнуться в одиночестве, не может удовольствоваться одиночеством. Единственное утешение он находит в труде. Много читает, но это пассивное занятие не приносит ему успокоения. Он снова берется за перевод байроновского «Гяура», давно уже начатый. Сначала перевод шел у него с трудом, приходилось преодолевать сопротивление материала; постепенно, однако, поэт ощутил, как втягивает его эта трудная работа, исполненная коварства и очарования.

Перевод стихов норой напоминает решение шарады; бдительность, которой требует эта работа, утомляет и в то же время приносит большое наслаждение.

Сходство с игрой зиждется на том, что правила известны, но выигрыш зависит от гибкости и проворства языка, от меткости выражений.

Мицкевич, обладавший весьма конкретным воображением, искореняет

каждую неясность и двусмысленность, формирует стих за стихом терпеливо, несмотря на то, что, казалось бы, весь покоряется вдохновению, без которого не берется за перо. Тут, при переводе, вдохновение, управляемое чужою волей, воспламеняется от чужих слов, чтобы в этом пламени расплавить слова языка, настолько чуждого английским звукам, что Байрон в этой новой оправе, новой версии становится, собственно, иным, хотя и не менее великим поэтом.

Мицкевич как раз дошел до исповеди калугера^[139]. Прервал работу и зашел ненадолго в церковь, чтобы послушать орган. Стал у пустой скамьи и дал себя унести мелодиям, ниспадающим с великой силой и возвращающимся снова на вершины, откуда они вновь падали вниз, подобные альпийским водопадам, но отличные от них способностью обратного падения, вопреки законам тяготения, падения ввысь. Дал себя понести могучим волнам органа. И вдруг разверзлись над его головой своды. Он говорил позднее, что почувствовал, как будто разбился над ним стеклянный шар, наполненный поэзией. Увидел в памяти знакомое полотно из Сикстинской капеллы, в то мгновение расположенное, однако, так высоко, что он не мог различить отдельных фигур.

Между этим парящим видением и полом начали проплывать воспоминания. Ему показалось, что на одной из лавок он видит Томаша Зана в шубе, которая спасает его от оренбургских морозов, листающего молитвенник в какой-то убогой церквушке, которая, как это случается в сновидениях, была в то же время той самой церковью, где стоял поэт под бурей органа. Он увидел тут же над собой лица друзей юности. Узнавал друзей филаретов, приветствовал каждого особо долгим взглядом. Лица исчезали столь же внезапно, как появлялись, его поражала, однако, интенсивность, с которой он видел мельчайшие подробности.

Потом он услышал дребезжание упавшей монеты. Увидел совсем рядом Новосильцева, Пеликана и доктора Бекю. Дрезденская церковь превратилась внезапно во временное узилище в упраздненном монастыре отцов базилианов!

Тут произошла перемена в картинах его видения.

Спальня сенатора. Сенатор не может заснуть. Веки у него, как у Регула, отрезаны бессонницей.

В углу комнаты Мефистофель, будто в сцене из «Фауста». Картина вновь меняется. В полусне, в полубодрствовании поэт видит процессии, идущие по снегу. Удивляется, что перевернутые свечи пылают золотыми стрелами к земле. Снег неожиданно растаял, открылось небо, и вот ясно слышен запах Италии, благоухание роз в Альбано. Увидел Еву —

Генриетту. Снег снова засыпал пространство перед ним, пространство, которое внезапно опустело.

Только через минуту стало возможно различить в этой белесой мгле движущиеся человеческие фигуры. Все идут на север! Орган смолк. Очнулся из этого полусна-полумечтания, вернулся домой и еще в тот же час начал писать «Дзядов», часть третью. Как он добывал из будничной разговорной речи, которая подобна бурной реке, несущей мутные воды, — как он добывал фразы, казалось бы, такие простые, составленные без малейшего труда, так естественно, как будто они таились в польском языке уже целые столетия до него?

Скольким он обязан беседам с повстанцами, которые, как Антоний Горецкий, Август Бреза, Стефан Гарчинский или Адольф Скарбек Мальчевский, офицер четвертого стрелкового полка, изъяснялись языком, столь отдаленным от всяких светских условностей, языком, отшлифованным в огне пушек Грохова и Варшавы?

Когда Урсын Немцевич прочитал «Редут Ордона», он явно не мог согласиться с солдатским, лексиконом этого шедевра.

Старый классик гневался на такие выражения, как «редут», который рад бы заменить «дзялобитней» — батареей; косился на «люнету», «енерала» и «лысину всьруд колюмны».

Гарчинский, который в письмах не пользовался худосочным языком псевдоклассической грамматики, в своей поэзии ставил запруды перед этим потоком языка естественного и повседневного. Характеризуя в одном из писем к Мицкевичу Констанцию Лубенскую, он выразился о ней весьма вольно, что ее может как хочет вертеть каждый, кто пишет стихи. Но в стихах он никогда бы не употребил подобного оборота.

В любовных стихах, писанных в России, Мицкевич не однажды отклоняется от классических условностей. Позволяет вторгаться в святую сонета грубым выражениям, в других произведениях не страшится грубости банальных обыденных оборотов, которые только благодаря ироническому оттенку приобретают истинный смысл. Большая часть этих стихов не выдержала испытания временем: извлеченные из тогдашней эпохи и нравов, они не светят уже первоначальным блеском, утратили сладость и ядовитость.

Сколько иронии, сколько бунта против могущества денег и титула вложил этот мелкий шляхтич в маленькое стихотворение «Сватовство», кончающееся строфой:

Любил ли я? Вопрос подобный глуп вполне.

Могу ли я любить? То докажу на деле:
Ты, киска, брось слугу и вечером ко мне
В гостиницу тайком зайди-ка на неделе...

Или, например, вариант «Трех Будрысов» включает зачеркнутое позже, чрезвычайно далекое от жеманства определение красоты полек:

Словно груши их грудки, а на ножках обутки
Из лилей полевых и фиалок,
Потому, что на свете не видали вы, дети,
Ножек столь совершенных и малых.

Поэзия Мицкевича в сравнении с почти религиозной эротикой виленских лет становится все более светской и более насыщенной прозой вещей обыденных. В Дрездене эта способность к свободному пребыванию в языковой стихии только усиливается, способность пребывания в стихии, что была на устах у всех, среди идей и понятий, которых не терпела тогдашняя поэтика. Мицкевич в повстанческих стихах с огромной энергией разбивал мертвые каноны, как и в написанных как раз в это время «Дзядях», особенно в поэмах «Отрывка», где он не поколебался даже воспроизвести вывески на питерских домах и описать построение войск разных видов оружия во время смотра, описать со старательностью и дотошностью репортера, отлично сознающего, однако, свой язвительный умысел. Поэт прямо в глаза измывался над благовоспитанностью и лоском варшавских классиков:

Рискнете ль излагать нам в стихотворном виде,
Как некто сельди жрал, в кутузке некой сидя?

Он умел подробности, на первый взгляд незначительные, подчинить высокому принципу. К нему можно бы применить слова, которые он скажет о Байроне, что в поэмах своих тот придерживался такой же тактики, как Наполеон в сражениях, то есть всегда имел в виду главный пункт, на который в конце концов внезапно и всеми силами ударял, и путем захвата этого стратегического пункта одерживал победу. Он и в самом деле сражался, и в этой битве за полноту выражения современных событий

давал выход страстности, которая не находила выхода в вооруженной борьбе. Он пользовался в своей мистерии, в которой — как у Данте — политический памфлет ежеминутно сталкивается с красотой и ужасом миров потусторонних, материалом, познанным на собственном опыте, реалиями, которые испытал и сличил во время виленского процесса и во время пребывания в России.

К этому материалу присоединились свежие впечатления от путешествия через Альпы, от Рима и от Парижа. Все эти элементы можно сверить с действительностью, как реки и города на карте, но расположение их изменено, подчинено собственному поэтическому времени.

Исследователи на основе дат высказали предположение, что у памятника Петру Великому не Пушкин, но Рылеев стоит под одним плащом с польским поэтом. Позднее, обнаружив, быть может, в архивах иные даты и обстоятельства, разведут руками: ни тот, ни другой.

Тем временем фантазия поэта летела иными путями. Быть может, воспоминание о конной статуе Марку Аврелию подсказало Мицкевичу мысль о беседе двух поэтов у фальконетова Медного всадника. Разговаривал ли действительно и изменил только хронологию? Как бы то ни было, следует принять, во внимание работу фантазии, в природе которой метафоричность и движение. Кстати, поэт перенес виленский процесс в иное время — перескочил одним прыжком пропасть между 1824 и 1830 годами. Это повлекло за собой постарение на шесть или семь лет Марцелины и Евы, которых он ввел в мистерию после поражения восстания, после национальной катастрофы с той же смелостью, с какой Данте помещает в райских сферах Беатриче, которой должна была там уступить свое место Пречистая Дева. Злободневность, которую он втискивал в размер своего сжатого стиха, подъяремная актуальность еще оборонялась, хотела ускользнуть в расселины, сквозь которые просвечивали потусторонние миры.

Впрочем, она так и не ускользнула. Оказалось, однако, что с этой злободневностью в поэзии дело обстоит иначе, чем судили те, которые добивались от него, чтобы он работал иначе, в более современном материале; упрекали его в ненужности извлечения на свет божий давно уже забытого процесса виленских филаретов перед лицом великой, истинной трагедии народа, свежепролитая кровь которого еще не успела свернуться и застыть.

Легенда шла по пятам за славой поэта. Истолковывала то, что было трудно объяснить, туманные, мистические метафоры. Не умела сказать, как это, собственно, произошло, что мутная лава, извергающаяся из этого

вулкана, застыла в столь чистых формах. Демонстрировала бедную комнатуху в Дрездене, в которой поэт вел битву с дьяволом в маске Прометея. Показывала ту комнату, в которой якобы однажды ночью слышен был шум падающего тела. Легенда явно оперировала литературными реминисценциями. Знала, что так падал Данте, когда за горло хватало его слишком большое потрясение. Данте в поэме своей падал несколько раз, Мицкевич только один — в жалком номере дрезденских мебелирашек.

Легенда пытается нас уверить, что писание стихов идет тем успешней, тем большего заслуживает, восхищения, чем более оно похоже на импровизацию. «Импровизация» Мицкевича является созданием одномоментного порыва фантазии, однако является также и творением знания, разума, логики.

В поэтическом искусстве только обузданное безумие идет в счет. Вулкан содрогался непрестанно в эти месяцы. Легенда склоняется над ним, заглядывает в его пламенный кратер и слепнет от жара.

Незадолго до описываемых тут событий поэт говорил сдержанней, чем та, которая не отступает от него ни на шаг, прекрасная и мстительная, как Афина Паллада.

«Не история сама, но только поэзия придает событиям ту бессмертную осанку изваяний, под которыми их видит потомство. Бог знает, как там оно было в самом деле под Троей; но века слепо верят тому, который и сам, яко слепец, человеческим оком на это не смотрел. Но если бы мы вместо «Илиады» имели бы отчеты хроникеров, хотя бы даже они были очевидцами троянскими и греческими, бесспорно, что из них Александр Великий не почерпнул бы сил для изумления и завоевания мира».

Один бог ведает, как там оно было с процессом филаретов, но бесспорно только одно, что поэт вторично пережил его в зрелом возрасте, и всю мощь чувств, пробужденную свежим, великим страданием народа, транспонировал на те прежние, совершенно пустячные, незначительные по сравнению с этой исторической трагедией события. Произошло наложение двух эпох одна на другую, насыщение более ранних событий содержанием позднейших.

Устами филаретов вещают повстанцы. Олешкевич, которого поэт знал в Петербурге как чудака и пророчеств которого не принимал за чистую монету, становится пророком. Другие друзья времен пребывания в России также меняют облики и обличья.

В стихотворении «К русским друзьям» поэт воздвигает памятник благородным и оплакивает слабость тех, которые покорились испугу и

насилию. Нравственная красота этого воззвания не знает себе равных во всем творчестве Мицкевича. Лишь тот, кто незапятнанным прошел сквозь ад своих и чужих страданий, мог достичь такой нравственной мощи, чтобы жаждать вольности также и для недруга.

Великий реалист отделяет русский народ от правительственной системы, проникновенный и тонкий человек, с сочувствием, достойным полубога, который в «Импровизации» померялся силами со слепой силой творения, воспринимает убожество существования. Еще в Риме он задумал драму о Прометее, читал Эсхила. Теперь Конрад — Прометей является лишь одним из множества возможных олицетворений помыслов поэта. Рядом с ним появляется ксендз Петр, как две капли воды похожий на ксендза Холоневского.

Политический памфлет превращается в «Божественную комедию», которая является, однако, только человеческой.

Как на полотнах старых мастеров, неземные явления подвержены здесь земному притяжению и всем своим физическим весом валятся на головы смертных.

Грубая политическая действительность и отталкивающая сцена заклинания духов соседствуют с чистейшим визионерством. Язык то суров, неуклюж, почти тривиален, то снова вещает голосом ангельским.

В поэме много неочищенной руды жизни. Тяготение к конкретности повелевает поэту отождествлять в определенные минуты чувство с артиллерийским снарядом и развивать со всей последовательностью эту артиллерийскую метафору.

Только мощь гения спасла это творение от опасности стать попросту смешным.

Поэт ввел в драму две Польши. Демаркационная линия проходит между борцами за свободу и застывшим в классовом эгоизме так называемым высшим слоем общества. В «Варшавском салоне» поэт вложил в уста Высоцкого^[140] слова жестокие и целительные, слова, преисполненные веры в простых людей Польши:

...Народ наш словно лава:

Он сверху тверд, и сух, и холоден, но, право,

Внутри столетьями огонь не гаснет в нем...

Так скорлупу к чертям — и в глубину сойдем!

Мицкевич ввел в драму также и две России. Рядом с Байковым,

Пеликаном, Новосильцевым, рядом с царскими чиновниками — русские друзья Александр Бестужев^[141] и Русский Офицер. Бестужев предостерегает Юстина Поля^[142] в остроумных стихах, напоминающих эпиграммы Пушкина:

Лишь без толку сорвешь ты злобу,—
Что пользы одного убить!
Они вам поднесут гостинца.—
Закроют университет.
Мол, «все студенты — якобинцы»,—
И нации погубят цвет.

Любовь к отчизне здесь равнозначна любви к попоранному человечеству.

И все-таки мощная «Импровизация» ежеминутно граничит с ненавистью, человек, бунтующий против насилия мира материи, хочет насильственно осчастливить мир. Мечется, прикованный к собственной слабости. Но униженная материя мстит ему.

Миг — и Конрад превращается в Ореста. Кажется, что строфы о вампирах, которые поет Конрад перед началом «Импровизации», были подсказаны ему хором Эвменид.

Есть в этой песне как бы отзвук проклятья, которое тяготело над родом Атридов.

И песнь продолжает: ваш мир я нарушу!
Сперва я зажечь моих братцев должна.
Кому запущу я клыки свои в душу,
Тем участь вампиров, как мне, суждена.

Творя дни и ночи напролет свою драму, поэт вспоминал в какие-то минуты голову Эринии, которую видел в римском музее; голова эта называлась Medusa Ludovisi.

Он застыл перед ней когда-то в те времена, когда еще не постигал всего смысла мести, когда еще ве-рил в возможность ее исполнения, как будто, бы оно не изменяло бы тотчас ситуацию и не перелагало ответственности за преступление. Собственный опыт его тогда ограничивался только «Валленродом», да еще он сохранил в памяти

несколько строк из «Эвменид» Эсхила.

Теперь он затосковал по этой маске. Эриния, дочь мести, зачатая от семени Урана; она покоится, глаза ее закрыты. Сон лишил ее черты жестокости. Ей снится вечная справедливость. Только волосы, вьющиеся, как змеи, — вот все, что осталось от дневной тревоги.

Голову эту он снова увидел перед собой. Живя теперь в полном отрыве от обыденных дел, среди пророчеств, которые были более реальными, чем все, что его окружало, он чувствовал себя счастливым особенным родом счастья — самозабвением.

В письме к Францишку Малевскому поэт писал тем самым пером, которое еще недавно извлекало рембрандтовские тени из листка бумаги, когда поправлял одно из совершеннейших своих творений «Мудрецы», тем самым пером, которое расставляло знаки препинания в прологе «Дзядов»: «Милый брат! Я так занят уже несколько недель, что едва нахожу время бриться. Я написал столько, что количество набросанных мною в течение этого месяца строк равно трети, а может быть, и половине того, что я до сих пор напечатал. Не все еще закончено, и, пока не закончу, не уеду из Дрездена. Я здоров и тружусь, достаточно весел и, сколько возможно быть, счастлив».

А в это время Дрезден, каменный и угрюмый, тонул в вешних ливнях, которые пробегали по улицам, оставляя лужи, отражающие в себе веселые фронтоны домов над Тёпфергассе и Иоганисштрассе. Черные кареты медленно проезжали по улицам. Монументы на площадях были мокрые, а через минуту апрельскую лазурь отражали сотни окон; воробьи, чирикавая, слетались к рассыпанному овсу.

Поляки, чужие здесь, в конфедератках, в куртках или в венгерках, иные в мундирах, прикрытых плащами, в высоких шапках, но уже полуштатские, заполняли город, музеи которого, творения ваяния и живописи были теперь мертвы — никто не глядел на них.

В воздухе чувствовалось дыхание войны. Далеко отсюда, на границе, в порубежье Пруссии и Царства Польского, на пограничных столбах крохотная белая птица виднелась на черной груди двуглавого царского орла.

**КНИГА
ВТОРАЯ**



СКИТАЛЬЧЕСТВО

*Хотел бы малой птицей пролететь я
Те бури, грозы, ливни, лихолетье,
Искать погоды, веющей прохладой,
И вспоминать свой домик за оградой...*

Польские эмигранты были размещены французским правительством преимущественно в провинции, в округах, названных ДЕПО. Им оставили ту организацию, которая привела их на чужбину, — военную организацию. Довольно значительное число беженцев нашло приют в Париже. Уже 6 ноября 1831 года решено было создать «Временный Национальный Польский комитет»^[143], который возглавил последний председатель национального правительства Бонавентура Немоевский^[144]. Этот комитет просуществовал недолго. Немоевский, опасаясь вмешательства французского правительства, отклонил предложение генерала Лафайета отметить празднование годовщины восстания совместно с французскими радикалами и сочувствующими Польше.

Отказ Немоевского возмутил эмигрантов. Еще болели их свежие раны, еще дух вольности не оставил их, они еще верили, что всесветная революция не за горами.

Основанная 8 декабря новая организация — под названием «Национальный польский комитет» — избрала своим председателем Иоахима Лелевеля.

Лелевель принадлежал к тем республиканцам, которые нераздельно связывали польское дело с делом грядущей народной Европы. Видел он не только разделяющую эмигрантский лагерь, но и проходящую через всю Европу демаркационную линию. Деспотизму правительств противопоставлял идею свободы, Европе феодальных привилегий — Европу народов. Его упрекали, что польскую независимость он утопил в крови в ночь на 15 августа. Лелевель защищался, но защищался как-то вяло.

Он говорил: «Кассандра предсказала гибель Трои, но ей не поверили, а Троя все же погибла. Таким было и мое ясновидение. Это моя вина. Я понимал, что не должно быть партий, а все же мы тайно по углам интриговали. Но я всегда думал, что мы должны подать друг другу руки и

устремиться к общей цели...»

Варшава-Троя пала. Не нужно было быть Кассандрой, чтобы предвидеть дальнейшие судьбы нации. Нет, нужно было быть решительным. Решимости, воли, несгибаемости — вот чего недоставало Лелевелю. Князь Чарторыйский противопоставлял ему большее постоянство и стократ большую хитрость и изворотливость в принципах и намерениях.

Князь внешне не сопротивлялся освободительному движению, которое ширилось в Европе. Однако он восставал против всякой мысли о революционном действии. Он верил или делал вид, что верит, в демократическую эволюцию, перед которой якобы вынуждены будут отступить правительства европейских держав. Дело свободы народов и независимости Польши он ставил в зависимость от доброй воли деспотических правительств. «Не следует, — уверял он, — свергать их, ибо они сами станут более благосклонно относиться к делу народов после смены министров». Восхвалял ли он Венский конгресс?^[145] Нет, слишком непопулярен был в эмигрантских кругах этот конгресс властителей Европы; однако, вступая на стезю дипломатических действий, князь вынужден был ссылаться на решения Венского конгресса, гарантами которого были Франция и Англия.

Чарторыйский был куда последовательней Лелевеля, который, признавая республиканские принципы, на практике поддавался влиянию «солидаристических» устремлений. Он «распространитель и покровитель революционных убеждений», говоря словами Мохнацкого. Но и Мохнацкий, казалось бы краснейший и радикальнейший среди эмигрантов, этот ритор, казалось бы всегда держащий пылающий факел революция, когда речь заходила о будущей польской конституции, когда взвешивались судьбы шляхты, даже сам Мохнацкий останавливался на полпути. Подобно тому как Чарторыйский верил в то, что европейские правительства будут постепенно становиться все нравственней, так и этот «проныра», этот пламенный «якобинец» доверял дело освобождения крестьян доброй и, как он считал, настоящей и действенной воле шляхетской нации. Как же могло быть иначе, если Мохнацкий называл шляхетскую стихию «свежим воздухом нашего края»?

Эта метафора о свежем воздухе Польши не была брошена на ветер. В годы после поражения восстания эмиграция жила надеждой на близкий переворот и, соединяя с революцией свои грезы о свободном польском государстве, не могла в дебатах и пререканиях обойти проблемы грядущей конституции. Евангельские взгляды Мицкевича, изложенные им в его

«Книгах народа польского и польского пилигримства»: «Истинно скажу вам, не доискивайтесь о том, какое будет правление в Польше, довольно вам будет знать, что оно будет лучше всех вам известных», — не могли быть, однако, приняты всерьез в политической практике, которая требует четкости определений и конкретного деяния.

В эпоху, о которой идет речь, Франция входила в новый период стабилизации буржуазных правительств; июльская революция обманула ожидания французского народа; оппозиционное движение вынуждено было уйти в подполье. Союзы карбонариев, преследуемые явной и тайной полицией, в «вентах» ковали оружие, копили порох. Буржуазия, пришедшая к власти по трупам парижских рабочих, не чувствовала себя в безопасности в своих дворцах и конторах. Союзы карбонариев имели также и среди польских эмигрантов, в частности среди студентов, университета, довольно многочисленных приверженцев. Французская полиция, бдительно следившая за карбонариями, распространила свой надзор также и на польских беженцев, которые по тем или иным причинам могли возбуждать подозрение в том, что они контактируют с этими преследуемыми союзами или даже участвуют в них. На Рю Таранн, где в одном из не слишком роскошных домов собирались сварливые и громогласные эмигрантские фракции, можно было заметить в желтом свете газовых фонарей филеров с поднятыми воротниками пальто, торчащих у ворот или прохаживающихся поодиночке.

Французское правительство, предоставив польским изгнанникам убежище, под нажимом общественного мнения, с которым тогда приходилось считаться, теперь, испуганное внутренним брожением в собственной стране, стремилось любой ценой избавиться от этой буйной толпы эмигрантов, все устремления которых были направлены к свержению государственных устройств, основанных на деспотизме. Когда все уговоры воспользоваться царской амнистией не принесли желательного результата, правительство попыталось использовать старый, проверенный по отношению к полякам метод: оно пообещало им создать польский легион в Алжире или на Мадагаскаре. Как перед детьми, которых взрослые хотят «умаслить» обещанием купить игрушек, так перед глазами изгнанников замахали цветами национального флага и уланскими значками. Впрочем, добровольцы не замедлили явиться. Были также проекты переселения части изгнанников в Америку, но отдаленность этого материка пугала поляков. В Париже они чувствовали себя ближе к отечеству, а стало быть, и ближе к возвращению. Среди шума и сумятицы парижских улиц они как бы уже внимали рокоту приближающейся

революционной бури. Веру в ее близкий взрыв поддерживали распоряжения французского министра внутренних дел Тьера. После выхода в свет изданного лелевелевским комитетом воззвания к русским члены комитета получили приказ покинуть Париж. Воззвание, которое эмиссары комитета распространяли в стране, призывало к сопротивлению самодержавию. Воззвание напоминало о примере наций, жаждущих свободы. Поражение восстания 1830 года было одновременно поражением русского народа. «Среди ожесточенной борьбы, среди дикого грома пушек с трудом мог голос восставшего братского народа пробиться к вам... Вам напоминают о нем скитальцы польского народа, которые, уходя от неволи, рассеялись по белу свету и стали предостережением для народов братских, завистью разъединенных». Воззвание это, написанное столь пламенным языком, исполнено характерных для тогдашней революционной фразеологии оборотов, оно попало — наряду с разными нелегальными брошюрами — в руки российских офицеров. Оно было как масло, подлитое в огонь русского подпольного движения, которое после поражения декабристов возродилось в новых формах, чтобы повлиять позднее на революционную волю Герцена.

Тем временем в Галицию пробирались многочисленные эмигранты, солдаты 30-го года. Неудачное предприятие Заливского^[146] не ослабило надежды изгнанников, хотя и обнажило жестокий эгоизм шляхты Царства Польского, ибо шляхта не только не поддержала повстанцев, но не раз выдавала их в руки неприятеля.

Эти предприятия и попытки горстки на все готовых людей не имели даже малейших видов на успех.

Рабочие манифестации локального характера, как, например, волнения во Франкфурте-на-Майне в начале 1833 года, были для эмигрантов знаменем, которое превращалось в их воображении в зарево над Европой.

Так называемый «франкфуртский мятеж» всюду произвел, однако, большое впечатление. Молва гласила, что из Баварии идут на Франкфурт шесть тысяч взбунтовавшихся солдат, что буршеншафты во всех университетских городах держат оружие наготове и ждут только сигнала. Среди горстки молодежи, которая напала на стражу ратуши, были и поляки. Их видели отчаянно сражающимися в четырехугольных красных конфедератках, они были прижаты превосходящими силами. Восстание во Франкфурте было подавлено. Меттерних торжествовал.

Не могли также дать результатов вспыхивавшие время от времени необдуманные попытки возобновления вооруженной борьбы, попытки, которые предпринимали на свой страх и риск польские офицеры,

участники ноябрьского восстания, обреченные собственным темпераментом и жестокой иронией истории на эту безнадежную партизанщину.

Что значило предприятие нескольких сот эмигрантов^[147], которые под предводительством полковника Оборского перешли швейцарскую границу в Сен-Лежье, в Бернском кантоне?

Эти попытки, заранее обреченные на провал, скорее вредные для польского дела, Мицкевич оценивает с подлинной политической трезвостью, которая в моменты действия никогда не покидает его, подобно тому как память о реалиях всегда присутствует даже в наиболее фантастических из его поэтических замыслов.

В воззвании, выпущенном 29 ноября 1833 года, которое Мицкевич подписал вместе с Богданом и Юзефом Залескими, Домейкой и Ружицким^[148], мы читаем предостережение против необдуманных и неподготовленных надлежащим образом действий. Конрад, как только он сойдет со сцены, на которой среди ночи догорают огни свечей, на мостовую и ощутит ее твердость под ногами, как Антей, обретает единство с землей. Его уже не окружает безымянная ночь, его окружает ночь Парижа, города, помещенного в пространстве, во времени, в конкретной политической ситуации. «Встречи в Богемии и соглашения трех коронованных разбойников касались главным образом Польши. Оберегайте страну от частичных восстаний, которые, вместо того чтобы приблизить, отдаляют вожделенный день всенародного ликования».

Мицкевич понимает уже тогда, что дело Польши теснейшим образом связано с делом всеобщей революции, с восстанием народов. Верит, что дух этого времени существует в народных массах Европы. «Если бы у наблюдателей, — пишет он в статье «О стремлении народов Европы», — было хоть сколько-нибудь политической скромности и они пожелали бы осмотреться, что делается вокруг них, если бы они собрали и соединили то, что говорят в народе, его призывы и молитвы, быть может, они научились бы большему, чем из газет и книжек. Возгласы, вырывающиеся то там, то здесь из уст народа, — это одна огромная петиция, которую дух времени смиренно приносит к порогам кабинетов, палат и политических школ, прежде чем броситься на них с камнями мостовой и со штыками. Перед взрывом вулкана достаточно наблюдать цвет воды в колодцах, дым в расщелинах горы, чтобы предусмотреть опасность: горе тем, кто в это время засядет за изучение теории вулканов!»

Статьям «Пилигрима» по сравнению с возникшими ранее притчами

«Книг народа польского и польского пилигримства» свойственны более четкие акценты, более явственные с точки зрения политического содержания. Не потому, что это газетные статьи, а не параболы, не притчи; нередко бывает так, что чем чище идеология художника, тем яснее политическая и общественная мысль писателя. «Отрывок» третьей части «Дзядов» во всем своем великолепии, новаторстве и поэтической правдивости не оставляет места для двойственного истолкования гражданской мысли поэта. Статьи «Пилигрима» отделяет от «Книг пилигримства» время размышлений и опытов, которые придают раздумьям поэта большую зрелость, а стало быть, большую ясность. То была не его вина, что в позднейшие годы он сошел с этого пути. Мистицизм Мицкевича не является капризом его воображения, не является результатом его слабости. Фантасмагория, которая, невинно начавшись с Ангелюса Силезиуса и Сен-Мартена, вырастет в угрюмое древо товыянцины, долго еще корнями будет искать здоровой почвы и, так и не найдя ее, повиснет, наконец, в воздухе.

Мицкевич бунтует против ночи, которая его окружает, но условия эмиграции, но несчастное положение отчизны обрекают его на это болезненно переносимое им сплетение непоследовательностей; он обречен вечно разрываться в противоречиях тогдашней польской истории. Он не может, как Гёте, жестом олимпийца, отстраняющего романтическую ночь, пребывать в краю незакатного солнца, — нет, ему приходится единоборствовать с ночью, которая его осаждает.

Те, кому хотелось бы видеть в Мицкевиче олицетворение солнечного гения, выражают только то, что потенциально жило в его склонной к полету фантазии, обремененной, однако, силами земли и подверженной закону земного притяжения. Он был весь плоть от плоти своей эпохи и своего общества. Невозможно говорить о его творчестве, не сообразуясь ежеминутно с историей его времени, из которой он черпал все и которую творил вместе с другими. Эпохе своей он обязан широтой интересов и стилей, которыми владел. В иную, менее бурную эпоху он, быть может, остановился бы на балладах или сонетах, был бы поэтом одной чисто звенящей струны. Живи он в другую эпоху, он, быть может, создал бы цикл стихов в духе лирических произведений, написанных им в Лозанне, и остановился бы на этом.

Великая и бурная эпоха дала ему поразительное ощущение злободневности, эту способность жить одной душой с народом и человечеством. Он должен был пробуждать восторги и должен был возбуждать сопротивление.

Политические партии эмиграции не могли быть созданы «Книгами народа польского и польского пилигримства». Стилль этих книг вопреки его сходству с публицистическим языком эмигрантских газет был все же чем-то чужеродным даже в ту эпоху, которая упивалась метафоричностью.

Но эти метафоры не были вполне переводимы, или, вернее, их не следовало переводить дословно на обыденный язык, подобно тому как трудно было бы осмысленно переложить на эту обыденную речь язык ветхозаветных пророков. Метафоры эти, однако, отличались особой выразительностью в сфере понятий; выразительность эта была, пожалуй, не меньше, чем пластика видений третьей части «Дзядов».

Иные пытались переложить их мистическо-пророческое содержание на язык политических доктрин. И поступали совершенно правильно, ибо «Книги» отнюдь не были переряженной библией в том роде, например, как цикл библейских видений Рембрандта. В ниспадении их периодов была светотень библейской эпохи, в проповедническом тоне их были риторические фигуры из Книги Царств или из Книг Пророков, но творение это вещало о чем-то гораздо более близком и конкретном. «Книги народа польского и польского пилигримства» то и дело касались не только судеб изгнанников, их жизни и роли, которую они должны будут сыграть среди иноземцев, — они касались также и вопросов большой политики — текущей политики тогдашних кабинетов, фоном их была Европа, системы ее правительств и воззрения ее философов. Эти системы и воззрения выворачивались наизнанку жестокой беспощадностью объективных условий моралиста, который не знает препятствий, ибо не хочет видеть условий, моралиста, который вопреки очевидным фактам общественной жизни разрывает связи между нравственностью и событиями, формирующими эту нравственность.

В третьей части «Дзядов» нравственное устройство мира сего показано также в непосредственной метафоре; совлечение неба на землю ради свидетельства об ужасе человеческого преступления и о нравственной красоте избранников получило тут настолько завершенную поэтическую форму, что мы сразу переносимся в сферу, в которой не требуем доказательств, не исследуем, в какой степени поэт был верен фактам. Так точно верим мы в потусторонний мир Данте. Если «Божественная комедия» переносит земной порядок в круги ада и рая — в противоположность «Дзядам», которые трактуют оба света — земной и потусторонний, параллельно, — то «Книги народа польского и польского пилигримства» переводят на язык библии современные Мицкевичу факты, и общественные и политические. Есть нечто поразительное в том, что эта

странная библейская публицистика или публицистическое евангелие нашло многочисленных поклонников. Только в XIX веке, в веке исполинских превратностей, контрастов и противоречий, могли отыскаться люди, которые читали «Книги», как верующие читают евангелие. Впрочем, наивность их была не большей, чем у тех людей эпохи Возрождения, которые, видя на полотнах мастеров портреты своих друзей, своих жен и любовниц в ролях евангельских персонажей, вопреки всему верили в истинность этих чрезмерно земных метафор. Форма библейских притч не уязвляла слуха польских изгнанников, которые, как это всегда свойственно людям, обогащенным слишком болезненным опытом, склонны были верить в свою миссию, дабы придать хоть какой-то смысл страданиям своим. Порыв, который воздымал в сферу религии простые и беспощадные политические факты, подобен тому порыву, который в легендах возносил святых над юдолью земною, этот самый порыв, окрыляющий аббата Ламеннэ и ксендза Ходоневского, порожден был, несомненно, великой тоской по нравственной реформе. Из этого же источника происходили некогда всяческие ереси. Но время появления новых ересей прошло, эпоха Лютера, Гуса или Цвингли миновала. Григорий XVI, этот защитник деспотизма, этот папа, который проклял ноябрьское восстание и приказал польскому народу молиться, верить и повиноваться царю, не сжимал уже в руках карающего меча инквизиции.

Поэтому он должен был ограничиться тем, что проклял «Слова верующего» аббата Ламеннэ и «Книги народа польского и польского пилигримства», которые он благоволил назвать «сочинением, полным дерзости и развращенности». Папское бреве к епископу Реннской епархии едва ли могло иметь какое-либо практическое значение. Оно только уже в который раз подчеркивало оппортунизм официальной церкви, оппортунизм, который теперь явно выслуживался перед деспотическими правительствами Европы и Азии, открыто и бесстыдно вступал в соглашение с «купцами и торжниками», с буржуазией и аристократией Франции, Италии и Англии.

1832 год в жизни Мицкевича особенно значителен. В середине ноября этого года вышла из печати третья часть «Дзядов», а 4 декабря появились «Книги народа польского и польского пилигримства». Мицкевич, достигнув вершин творческого вдохновения в дрезденских «Дзядях», не мог держаться на этих вершинах, это ясно, но те, которые коленопреклоненные читали его поэму, как Богдан Залеский и горсточка других знакомых и незнакомых, будут ему силком навязывать роль пророка, не давая ему уже чуть ли не до конца его дней сойти с той скалы, на

которой он, как Моисей на горе Синай, беседовал с господом. Мицкевич вступает явно вопреки собственной воли и желанию на эту крутую стезю, на которой так легко оступиться; поскользшись только — и станешь смешон! Увы, на этой стезе естественные человеческие дела приобретают слишком торжественное значение. Конечно же, изгнанники — больные люди. Болезни этой, этой неуловимой атмосфере, окружающей поэта в зараженной зоне, которой является лагерь польской эмиграции в Париже, Мицкевич подчиняется медленно: быть может, «Пан Тадеуш» был подсознательным протестом против этих пророческих жестов, которые внушали ему настойчиво и на каждом шагу. «Не называйте меня, прошу, учителем: это титул страшный и тяжкий для моих плеч. Сердце ваше хочет любить и ищет совершенства, вот вы и наряжаете в совершенство ближних ваших, покрывая их позолотой, облекая в лучи. Остерегайтесь этого...» [\[149\]](#)

Мицкевич не жил в пустыне и не пророчествовал среди скал. Погруженный в денежные заботы, нередко без франка за душой, этот польский пророк ощущал бремя миссии, которую ему навязали люди больные и несчастные. Эпилог «Пана Тадеуша» ясно говорит об этих делах. Мицкевич еще отбивается от этой горькой и печальной роли, но кажется, что он уже готов подчиниться им же проклинаемому эмигрантскому апокалипсису.

Только исключительное положение пилигримства объясняет кое-что в этом явлении.

Сент-Бёв, когда он писал о «Книгах» в «Le National», со свойственным французам чувством юмора требовал от либералов и республиканцев, чтобы они вообразили хоть на минуту, что они ирландцы или поляки. Сколько понимания польских дел той эпохи в этих словах иноземного писателя!

От политического пасквиля польской «Божественной комедии» через публицистику, ищущую выхода в библейском стиле «Книг», вела прямая дорога к публицистическим статьям в «Пилигриме». Газету эту в первых числах ноября 1832 года начал издавать Эустахий Янушкевич [\[150\]](#).

Польская идея принимает тут более конкретную и тем не менее, однако, еще утопическую форму...

Мицкевич мечтает о формировании эмигрантского сейма в рамках общеевропейского совета, который создал бы устои, долженствующие служить фундаментом свободы народов. Этот польский сейм должен был бы представлять волю народов — он должен был бы консультироваться с депутатами каждой нации, — которые после свержения деспотизма взяли

бы в свои руки власть в своих странах. Этих «Мыслей о польском сейме» Мицкевич не опубликовал. Трудно было выдумать более неудачную концепцию. Сварливая, перессорившаяся эмиграция, состоящая в большей части своей из обломков феодального строя, мелкая шляхта, ввергнутая в чужую страну, где власть была в руках буржуазии, — эта эмиграция должна была, по его мысли, преобразовать Европу и укрепить законы свободы.

Мицкевич переоценивал моральные качества изгнанников и закрывал глаза на их отсталость. Но, несмотря на это, как сквозь «Книги пилигримства», так и сквозь статьи «Пилигрима» веял ветер свободы, было в них предостережение правителям Европы.

«Владыки французские и мудрецы французские, вы, которые болтаете о Свободе, а служите деспотизму, вы ляжете между народом вашим и чужим деспотизмом, как шина холодного железа между молотом и наковальной...»

«Придут дни, когда вы будете лизать золото ваше и жевать бумагу вашу, и никто вам не пришлет хлеба и воды».

Было также жуткое пророчество и в то же время утешительное: «...от великого европейского политического здания не останется камня на камне».

В душах польских эмигрантов достаточно желчи и справедливого гнева против чужеземной власти и гнета денег, поэтому они воспринимали эти апокалиптические пророчества с радостью и признательностью. Компенсировали они этим чувство неполноценности по отношению к французам или англичанам, приближали день освобождения, день возвращения.

Это ничего, что в Польше, даже свободной, но иной, чем та, к которой они порывались всеми мечтаниями своими и всеми воспоминаниями, им было бы тоже не очень по себе, во всяком случае в течение некоторого времени; что, может быть, в воспоминаниях их, когда они вернутся в Польшу, им покажутся веселей угрюмые стены доходных домов «нового Вавилона», где они жили в эмигрантской нищете. Они имели право бунтовать против всемогущества и несправедливости, против власти денег и власти паспорта. Это правда, что немного было среди них людей разумных и рассудительных. Они не любили думать.

К сожалению, «Книги пилигримства» извиняли им это их печальное свойство.

Демократическая пресса резко отмежевалась от тона «Книг». Адам Гуровский^[151], этот известный своим радикализмом красный граф, ударил

со свойственной ему яростью по «духовному аскетизму», провозглашенному Мицкевичем. Развитие наук Гуровский считал главной чертой века, доказывал в заключение, что «наше последнее восстание окончилось катастрофой не по отсутствию самопожертвования или материальных средств, но пало из-за отсутствия здравого человеческого рассудка, постигающего требования момента, в котором мы находились».

Когда с левого крыла эмиграции так атаковали Мицкевича, в то время как правое крыло упрекало его в радикализме, не следует удивляться этим упрекам, ибо анархическая позиция поэта провоцировала и раздражала политические партии, которые не могли восхвалять хаоса, да и в салонах также сокрушались над этим нисхождением Мицкевича в пресловутое чистилище публицистики и журнализма, ибо одни считали это снижением поэтического полета, а другие, более сознательные и решительные, опасались, что поэт чрезмерно впутается в дела, за которыми был уже слышен топот многотысячных голодных толп и залпы карабинеров Луи Филиппа.

В то же время участие Мицкевича как в редактировании «Польского пилигрима», так и в заседаниях на улице де ль'Юниверситэ, № 45, где помещалось «Общество взаимопомощи в ученых занятиях», или в трудах «Литературного общества» было для него насущной необходимостью, было долгом, заплаченным слишком жадной современности, которая требовала не только слов, но также и действий. Мицкевич веровал в «могущество деяния», искал оправдания для своей поэзии в действии, как будто бы его поэзия сама по себе не была деянием. Только этой вечно его терзающей жаждой непосредственного деяния можно объяснить метания поэта, его постоянные отречения от поэзии, которая была его стихией, отречения от одиночества, без которого он не мог и не умел писать. За шесть лет до начала лекций о славянских литературах он приступает к созданию «Славянского общества». В 1833 году он завершает написанную по-французски «Историю будущего», в которой предсказывает кровавые войны и революции в Европе.

Тревога, непрестанно терзающая его, отражается в его трудах; но не в их окончательной форме, которая всегда спокойна спокойствием совершенства, но в стремлениях объять необъятные и слишком разные области и жанры.

Завершив перевод «Гяура» и слагая «Пана Тадеуша», поэт планирует в то же время дальнейшие части «Дзядов», набрасывая обширные сцены затем лишь, чтобы впоследствии уничтожить их. Это повторялось многократно — вплоть до последних лет жизни поэта.

О месте любви в его жизни в эту эпоху мы ничего не знаем. Быть может, ему было не до романов, быть может, страсти были подавлены в раздорах и кутерьме, в могучих приливах творчества и в болезненных, мучительных его отливах. Зато мы много знаем о растущей дружбе его со Стефаном Гарчинским. Гарчинский, тяжело больной чахоткой, пребывает в Дрездене, позднее его перевозят в Бэс в Швейцарии, неподалеку от Лозанны, где он пытается спасти свои полуразрушенные легкие. Гарчинский был одной из жертв ноябрьского восстания; если б не участие в кампании, он, вероятно, не стал бы жертвой неисцелимого недуга.

В дружбе Мицкевича с молодым поэтом, в готовности служения ему мы видим одно из проявлений все того же пламенного стремления уменьшить собственную вину — вину воздержания от участия в ноябрьской революции. Он, такой нетерпеливый, суровый, оторванный от практических дел больше, чем это, может быть, представлялось тем, которые видят его сразу со всех сторон и во все эпохи его жизни, он, такой требовательный в личных отношениях, скорее неблагодарный, как «злое, бесчувственное дитя», встречается тут у постели смертельно больного друга с истинным ангелом доброты — Клаудиной Потоцкой. «Эта женщина примиряет с родом человеческим и может вновь вдохнуть веру в добродетель и в доброту на земле. Кажется, что в ней жизни всего на несколько часов, однако она всегда обретает силы для служения ближним»^[152].

И впрямь, ей уже недолго осталось жить. Она умерла в Женеве после неудачной попытки залечить смертельную болезнь легких. Мицкевич не находит для Клаудины никаких сравнений, столь исключительна ее доброта, воистину неземная, если только слово это способно выразить черту исключительную и не встречающуюся среди смертных. Тот, кто смотрел на нее, внимал ее речам, как будто уносился в мечтах на некие блаженные острова, где жило некое совершенное человечество. И, однако, благородство графини Потоцкой не было совершенно свободным, ибо здесь, на земле, нет свободы от законов общества. Клаудина — перед восстанием — была довольна своей жизнью, которая, может быть, пошла бы иными путями, если бы не феодальные привилегии, из которых она, Клаудина, извлекала пользу. Эти феодальные привилегии — Мицкевич не мог этого забыть — даже Марцелина Лемпицкая не считала грехом.

Клаудина не была красавицей в обычном значении этого слова, но лицо ее воплощало тот благороднейший тип красоты, который редко можно видеть в лицах живых женщин, гораздо чаще на полотнах старых мастеров. «Давид делает теперь статую св. Цецилии, — писал госпоже Потоцкой

Мицкевич после расставания с ней, — увидев ваш портрет, он глубоко сожалеет, что не может ее вылепить по вашему образу и подобию...»

Однако с характера этой прекрасной женщины никто не снял мерки для статуи. Клаудина канула в Лету, и только слова, которые посвятил ей в своих письмах великий поэт, несколько не заботившийся о красотах эпистолярного стиля, эти несколько небрежные слова останутся в памяти потомства. А пока в часы, когда решается судьба его младшего друга, Мицкевич пытается заменить отсутствующую святую Цецилию у постели больного.

«Уже неделю я в Швейцарии, — пишет он 9 июля 1833 года брату своему Францишку, — должен был сюда приехать, чтобы проведать Стефана Гарчинского, который очень слаб здоровьем и, находясь в Альпах один, как перст, потребовал товарища. До сих пор его опекала г-жа Потоцкая, после ее отъезда я останусь при нем». Второго августа Мицкевич сообщает Игнацию Домейке: «Мы уже две недели в Женеве. Стефан был так слаб, что в течение нескольких часов ежедневно мы видели все симптомы умирания. Теперь значительно лучше, но у меня нет ни малейшей надежды!» И снова возникает все время возобновляющийся в письмах из Парижа к Гарчинскому вопрос печатания и корректуры тома его стихов, за подготовкой к печати которых Мицкевич лично наблюдал, он, так ненавидевший переписывание и правку собственных творений. Тогда, в Париже, занятый статьями для «Пилигрима», заканчивая перевод «Гяура», слагая «шляхетскую поэму» и одновременно тревожимый видением дальнейших частей «Дзядов», поэт находит все-таки время, чтобы исправлять наброски поэмы «Вацлав» и других стихов Гарчинского. Он пишет с уважением другу об этих сочинениях, а свое стихотворение «Редут Ордона», написанное на основе рассказа Гарчинского, Мицкевич помещает в конце тома стихов друга, чтобы этим драгоценным даром отплатить долг ему, отважно сражавшемуся в дни восстания, в котором он, Мицкевич, автор «Валленрода», не принимал участия. «Смилуйся, — пишет он Домейке, — для успокоения Стефана прикажи напечатать его исправления, хотя бы только несколько экземпляров. Нужно знать его недуг, чтобы понять, сколько он над каждой ошибкой убивается, какие мне делает упреки и какие странные у него подозрения. Он узнал, что есть экземпляры в Дрездене и один тут, в Женеве, отсюда новые огорчения и домыслы; пришли нам сюда как можно скорей несколько экземпляров. Хотя бы уже окончилась эта типографская история, с которой столько неприятностей».

Положение Мицкевича в эти месяцы нелегкое и двусмысленное. Подверглись тяжкому испытанию его дружба и человечность. Быть может,

он и не вынес бы этого бдения над постелью умирающего, если бы исполинское видение «Пана Тадеуша», писание которого он вынужден был прервать, если бы это видение не овладело им столь полно и всеобъемлюще, что даже, глядя на бледное, исхудавшее лицо Гарчинского, он не мог не слышать музыки тихой и безмятежной поэмы, растущей в нем. Пейзажи Швейцарии он воспринимает в красках и тонах шляхетской поэмы. «Были бы у меня большие деньги, — пишет он из Бэс Одынцу, — я выписал бы сюда тебя с Зосей^[153] [...] мы купили бы двух швейцарских коров и петуха, чтобы напоминал нам Литву, распевая под окном; купили бы тоже гусей и индюков».

Действительность была иной. В номере гостиницы в Бэс, или в Женеве, или в Авиньоне лежало повергнутое на ложе недуга медленно стынувшее тело умирающего повстанца. То простерлось само Восстание. Мицкевич тоже не слишком хорошо себя чувствует; этот крепкий человек то и дело жалуется на здоровье, его мучают «флюсы», как тогда называли зубную боль, у него нет аппетита. Паспортные формальности, этот варварский вымысел современных пещерных человеков, отбирает у него время окончательно, подрывает его силы, омрачает самочувствие. Быть может, прогулка в горах отлично помогла бы ему, однако он прикован к ложу больного.

В Женеве он почти не выходит из отеля д'Экю, где остановился. По иронии судьбы неподалеку от его жилища, на улочке, откуда видно Женевское озеро и в отдалении — снежную вершину Монблана, в пансионате мадам Патте, ничего не ведая о его пребывании в Швейцарии, Юлиуш Словацкий пишет письмо матери. «Нынче утро 23 августа. Любимейшая матушка моя! Нынче день моего рождения... О мама! Мне пошел двадцать пятый год. Как течет время!.. Букет, подаренный мне, стоит передо мной. В глубине одной розы спокойно спит зеленый жук — мне кажется, что у него судьба, подобная моей, когда я тихо отдыхаю в глубине прелестного швейцарского сада...»

В наши дни не осталось и следа от пансионата мадам Патте. На тесно застроенной улочке стоят новые дома. Один из них украшен доской с французской надписью:

В этом доме с 1833 по 1836 год жил Юлиуш Словацкий, великий польский поэт.

Состояние здоровья Стефана Гарчинского в Женеве еще ухудшилось. По рекомендации врачей Мицкевич перевозит его в Авиньон. «Очень, очень плохо у нас. Можешь представить себе все горести путешествия с больным, которого из экипажа в дом надо нести на руках, в стране, где

трактирщики, посмотрев ему в глаза и находя в них мало жизни, не хотят принимать его!.. Я так изнурен, так устал от бессонницы, что больше писать не могу»^[154].

Больной перестал страдать, физические боли утихли, но зато усилилась ранимость души. Из Авиньона Гарчинский хотел перенестись дальше, все равно куда. За несколько часов до кончины он слабым голосом обратился к бодрствующей над его ложем Клаудине.

Она услышала лишь отдельные его слова. Это были споры, которые он вел с самим собой или с неким воображаемым противником. Философские термины перемежались мужицкими проклятиями. Умиравший говорил о мнимом недоброжелательстве Мицкевича.

— Да, Адам хотел истребить его творение! Потому-то и тянул с исправлениями. Потому и изменял его стихи, будто бы для того, чтобы сделать их более гладкими, но этими дружескими поправками заведомо искажал его текст...

Мицкевич, измученный бессонницей и постоянным зрелищем агонии друга, дремал в соседней комнате. Клаудина увидела, как по бледному, зловещему в этот миг лицу умирающего пронеслась внезапно улыбка, почти ангельская. Черты его разгладились и прояснились. Больной задремал. Это был его последний сон, ибо он так и не проснулся.

Есть нечто глубоко утешительное в такой легкой смерти, которая, как бы отрешившись от жестокого перехода из одного состояния в другое, сглаживает слишком острые противоречия и как бы переносит больного легко, как после укола морфия, в страну совершенного покоя. Это случилось в Авиньоне 29 сентября. Тело повстанца предали земле на местном кладбище. На мраморной доске была выбита! позднее латинская эпитафия, составленная Мицкевичем:

Рука Всемогущего Господа

Стефан Гарчинский

воин,

в войне против московского тирана

исполнявший должность

сотника познанских всадников,

поэт,

воспевший в изгнании оружие и мужей польских,

скончался в Авиньоне в сентябре 1833 года.

Мицкевич, совершенно обессиленный, возвращается в Париж. Из Авиньона он еще в день отъезда пишет: «Я похож сейчас на француза, возвращающегося после кампании 1812 года: деморализованный, слабый, оборванный, почти без сапог».

В квартире своей на Рю Сен-Николя, 73, он медленно исцеляется в многодневном одиночестве, как медведь в берлоге, посреди литовской пуши.

Лицо его в последние годы подверглось изменениям, которые не сразу приметны для тех, кто ежедневно общается с ним, однако они поражают людей, которые после долгой разлуки подходят к нему с чувством уважения и в то же время как бы испуга. Глаза остались те же, под не слишком высоким лбом, под дугами удивленных бровей, глаза, глядящие из-под надвинутых век.

Нос большой, с широкими ноздрями, очень резко выступает на исхудалом лице. Только губы стали полнее и более выпуклыми. Волосы, должно быть в последние месяцы, по цвету стали еще больше похожи на пепел, исчез их темный лоск. Они как бы окоченели; давно не стриженные, они придают его лицу чрезмерную серьезность; нездоровая желтизна кожи его сильно старит. Это только начало тех изменений, которые, пожалуй, к 1843 году лишат его черты последних остатков молодости.

Скитания, труды и дни, напряженная жизнь духа и сердца прорыли на этом лице слишком явные следы. Лицо это трагично потому, что его морщины и борозды проведены не биологическим временем, но скорбями; в нем есть что-то от чуткости натянутого лука, едва это лицо озаряется улыбкой, губы становятся похожи на тетиву, ослабившуюся, когда с нее

полетела в цель стрела.

И все же ошибся бы тот, кто хотел бы составить себе полное суждение об этом человеке на основе подробного анализа его физиономии. В этом пророке, в этом Савонароле есть нечто раблезианское.

С уст его, как бы созданных для произнесения слов возвышенных, нередко слетают простецкие ругательства и не слишком салонные выражения.

Друзья его Кайсевич и Реттель, с которыми он сейчас переписывается, или те простодушные литвины, которым он время от времени прочитывает отрывки из своей шляхетской поэмы, пользуются такой же лексикой. В их среде господствует согласие во всяческих мелочах обычаев и воспитания, согласие, которое взаимно их сближает. Они охотно подчеркивают это согласие, ибо обретают в нем на чужбине частицу отчизны.

Встречи с этими простыми людьми облегчают Мицкевичу возвращение к поэме.

Трудно проникнуть в тайну творчества. Нет ничего более обманчивого, чем попытка вычитать биографию поэта из его творений.

Великое спокойствие «Пана Тадеуша», накрывающее небесным куполом малый клочок литовской земли, подробно описанной в поэме и населенной персонажами, которые никогда не жили на белом свете, дает, казалось бы, возможность высказать гипотезу о буколическом умонастроении и о чудесном самочувствии автора поэмы.

Но как порой из умиротворенных помыслов рождается поэма искренней муки, так и из боли, из удрученности, из тысячи противоречий возникает вещь кроткая и исполненная упования.

Поэты пишут иногда, исходя из опыта долгих лет, а не из мимолетных, хотя бы и самых сильных переживаний. По крайней мере творения подлинно долговечные черпают силу свою из этого мощного резервуара, подобно артезианским колодцам, которые как бы нашептывают о существовании подземных вод.

Не такого творения требовала от поэта эмиграция, снедаемая внутренними дрязгами, борющаяся с безжалостной действительностью... Старик Немцевич желал — и в этом случае был выразителем настроений большинства шляхты, — чтобы Мицкевич описал свежие события, восстание 1831 года.

Но музу нельзя купить. Она тянулась в иные края, подалее от бурь, гроз, ливня, лихолетья.

Поэт трагического народа, народа, который столько крови пролил ради свободы своей и чужой, Мицкевич упрекал себя за эти отдохновения в

Соплицовке, но не мог иначе.

«Таким образом, я живу в Литве, в лесах, в корчмах, с шляхтой, с евреями и т. д. [...]. Если бы не поэма, я сбежал бы из Парижа», — уверял Мицкевич в письме к Одынцу.

Одно из трагичнейших его стихотворений, эпилог к «Пану Тадеушу», написанный весной 1834 года, объясняет не только происхождение, но и жанр поэмы — некой сказки о реальной стране и реальных людях:

Меж тем друзья-приятели былого
Роняли в песню мне за словом слово,
Как журавли, когда из синей дали
Над замком чародея пролетали
И крики мальчугана услышали,
По перышку на землю уронили,
И смастерил малыш из перьев крылья!..

В этой удивительной реальной сказке умиротворенной изламываются тени и чище становится небесная лазурь. Из кажущегося обычным развития повествования возникает счастливый край, посещение которого приносит отраду, подобно тому наслаждению, которое охватывает нас, когда мы всматриваемся в мирные, кроткие пейзажи старых мастеров живописи, где такое множество деталей, что при повторном обозрении все новые подробности тешат наш взор, где следы кисти, утолщения мазка с некоторого расстояния становятся пластичней, где все эти мелочи служат одной цели и вместе творят исполинскую музыку, чистейшую симфонию красок.

Эту шляхетскую повесть, о которой Ворцель писал, что она «надгробный камень, положенный рукою гения на могилу нашей старой Польши», эту шляхетскую повесть поэт вложил в руки польского народа.

Он демократизовал понятия в образы и, когда березу сравнивал с крестьянкой, оплакивающей сына, закрывал глаза на нынешние бедствия этого народа, ибо предназначал поэму для народа грядущего.

Под куполом этой эпопеи поэт слышал уже голоса будущего гражданства крепостных крестьян, голоса тогдашних крестьян, отбывающих панщину, когда они станут гражданами, голоса будущих граждан.

С цимбал Янкеля срывалась музыка будущего, звучащая громче охотничьих рогов.

Эта любовь к отчизне прошлой, и будущей, и этой, тогдашней, обреченной на скитания, извиняла заблуждения и восхваляла красоты.

Отчизна изгнанников, как бы повисшая между прошедшим и грядущим, здесь обрела почву под ногами. Поэма не усыпляет бдительности и, хотя исполнена всепрощающей доброты, не отпускает грехи злым, творит людей, которые будут лучше и прекрасней, чем его современники.

Несмотря на то, что поэма описывала минувшие дела, она устремлялась к будущему, точно так как человек, взирающий с высокой горы, как будто устремляется в беспредельное воздушное пространство. Поэма прошла сквозь опасную сферу скитальчества и попала в руки тех людей, которые, живя прошлым, волей-неволей были перенесены в грядущее, в сферу не менее реальную, чем та, которую они покинули навсегда, в тоске, в тревоге, досадуя и злясь друг на друга.

ВРЕМЯ СТРАДАНИЯ

«Пан Тадеуш» и «Отец Горио» вышли в свет почти одновременно. В маленьком домике на одной из беднейших улиц Парижа Бальзак писал свою «Человеческую комедию».

Неутомимый труженик, он среди бела дня жег лампу за занавешенными окнами, чтобы этим надежней отгородиться от столичной сутолоки, и ткал свое гигантское видение, буржуазный Шекспир и Данте в одно и то же время.

Вот король Лир, попавший в запутанные финансовые сети, трагичнее шекспировского на два столетия, вот ад буржуазного Парижа, все круги которого он должен пройти в одиночестве, без Вергилия.

Для Тадеуша Вильно является столицей, одна только Телимена представляет великосветскую испорченность — она долго прожила в Петербурге. Растиньяк, подобно тому, как позднее Люсьен Шардон, едва прибыв из Ангулема в Париж, сразу же попадает в ослепительный свет одного из этих адских кругов. Поэма Мицкевича была эпопеей шляхетской, дворянской, и, как подобает рыцарской поэме, она была изложена мерной, ритмической стихотворной речью, как «Илиада», как «Освобожденный Иерусалим». Она должна была стать надгробным камнем шляхетской Польши, но польский феодализм пережил и ее, как, впрочем, пережил и Наполеона.

Быт буржуазной Франции, похождения ее банкиров, финансистов, князей биржи, фабрикантов и притоносодержателей, рестораторов и домовладельцев странно было бы замыкать в гекзаметр или александрийский стих. Уже скромный буржуа Герман в поэме Гёте неловко чувствовал себя в стихотворных размерах, имитирующих стих Гомера или Вергилия. Доротея тщетно пыталась сыграть роль Жанны д'Арк. Только емкая проза «Вильгельма Мейстера» в соответствующих пропорциях показала немецкую буржуазию. Еще великая революция могла с некоторым успехом рядить своих героев в римские тоги и влагать им в уста речи трибунов и риториков. Полотна Давида и стиль Первой империи выражают в чересчур мешковатых или чересчур одеревенелых нарядах суть своего времени, не возбуждая иронической усмешки. Но история семейства Нюсинжен, изложенная расиновским александрийским стихом, вызвала бы непредвиденный автором взрыв юмора. Широкие периоды объективной,

бесстрастной прозы могли вместить в себя все оттенки жизни буржуазии, которая в период Реставрации, отбросив ставшие уже ненужными одеяния античных героев, откровенно и нагло расположилась в торговых и игорных домах, в банках, во дворцах и в театральных ложах. На прилавках парижских книготорговцев поэзия все уверенней вытесняется повествовательной прозой. В массе своей это проза весьма невысокого пошиба. Сенсация и авантюра подменяют в ней правду характеров, и эти две вульгарные музы способствуют популярности буржуазного романа.

Все более утрачивается чувство стиля. Занятность фабулы заслоняет все другие достоинства этого нового жанра. Никто из читателей не задерживается подольше пусть на самом великолепном описании, никто не испытывает наслаждения от формы и звучания фразы. Забавный анекдот сокращает время чтения, не слишком внимательные читатели молниеносно пробегают глазами целые главы, только бы побыстрее дойти до конца, который в схеме романа почти всегда бывает синонимом кончины или женитьбы героя. Удовольствие от чтения немногим отличается от удовольствия зрителей в цирке, на скачках или болельщиков в игорных домах. Труд ремесленника со временем уступает дорогу машинному производству, уменьшая тем самым интерес к форме и очертаниям предметов повседневного обихода. Стилль как бы исчезает. Чувство стиля требует созерцания. Созерцание требует времени. Время в буржуазном обществе чеканит свое серебро на монетных дворах, расписывается на банковских отчетах, на векселях и тарифах. Стрелки часов движутся слишком медленно, им не поспеть за суতোлкой парижской или лондонской улиц.

Польская эмиграция принесла с собой во Францию свой отечественный уклад. Она еще феодальна по обычаям, верованиям, образу мыслей. Даже тогда, когда она повторяет вслед за великой революцией ее лозунги, она все же пребывает в путях, вынесенных из отчизны. Воображение ее закоснело в своем консерватизме. Великая память Мицкевича осталась там, в краю шляхетских родов и магнатских состояний. Читатели его вербуются из того общественного слоя, который считает себя господствующим даже здесь, в эмиграции, где изгнанники предоставлены доброй воле чужеземных правительств и брошены на милость многократно сменяющихся кабинетов. Читатели не могут не влиять на творчество писателя; что бы он ни говорил, он не может выйти из круга их понятий, он может их только напрячь до крайних пределов. Законы, управляющие миром писательского воображения, почти столь же неумолимы, как и законы экономического развития общества, хотя они и

менее осязаемы. Нельзя перескочить пропасть, которая образовалась из-за отсталости целой нации в общественном развитии.

Мицкевич публикует свой перевод байроновского «Гяура» в начале 1835 года, в момент, когда огромное влияние этого поэта ослабевает, когда бунтующие против общественного строя корсары покидают экзотические моря, чтобы на мостовых городах Европы бороться за право человека не стилетом, но политической брошюрой, газетной статьей, организацией, которая является полным отрицанием одиночества. «Гяур», в мрачных строфах которого Байрон заключил свои грезы о борьбе вольных греков против тирании, печатался в типографии Янушкевича и Еловицкого^[155] не без затруднений. Наборщики бастовали отнюдь не для того, чтобы выразить протест против байронических греков или турецкой тирании (дела эти их, по всей вероятности, не слишком занимали, а сама поэма распадалась для них на отдельные куски), — они бастовали против эксплуатации, которую испытывали на собственной шкуре. Социалистические брошюры укрепляли в них чувство, что они борются за правое дело. На их сторону стала «Громада Грудзенж»^[156], на заседании 19 ноября 1835 года выпустившая резолюцию, осуждающую Александра Еловицкого и Эустахия Янушкевича с мотивировкой, в которой утверждалось, что «повышение рабочим платы является обязанностью, а снижение последней, в особенности в условиях эмиграции, преступлением против человечности».

Ничего удивительного, если впоследствии граф Водзинский называл «Громаду Грудзенж» «шедевром ветхозаветного тупоумия, ненависти и безумия». Этот стиль ни в чем не уступает стилю страстного защитника феодализма графа Зигмунта Красинского.

В эту эпоху Мицкевич все глубже погружается в мистику. Читает Сен-Мартена и видения Катарины Эммерих. Пробует писать, но замыслы пробегают перед ним как тени и как тени исчезают. Это состояние вызывает в нем тревогу, которую не может рассеять чтение мистиков. Ему кажется, что вся его поэзия до сего времени недостаточно высока, в ней нет парения, она не отвечает запросам эпохи. В письме к Иерониму Кайсевичу^[157] от 31 октября 1835 года поэт пишет:

«Мне кажется, что исторические поэмы и вообще все прежние формы уже наполовину сгнили и воскрешать их можно только для развлечения читателей. Подлинная поэзия нашего века, быть может, еще не родилась, и видны лишь симптомы ее прихода. Слишком много писали мы для забавы или для целей слишком ничтожных. Мне кажется, что вернутся времена,

когда придется быть святым, чтобы быть поэтом, когда нужны будут вдохновение и априорные знания о вещах, которых разум выразить не может, чтобы пробуждать в людях уважение к искусству, которое слишком долго было актрисой, блудницей или политической газетой. Эти мысли часто вызывают во мне скорбь, почти горечь; часто мне кажется, что я вижу обетованную землю поэзии, как Моисей с вершины горы, и чувствую, что недостойн войти в нее».

Мицкевич теперь на опасном, для поэта пути. Он чувствует, что закончилась какая-то творческая эпоха; то, что он считает мистической землей обетованной, уже обступает его, но он об этом и не ведает, всматриваясь в контуры не существующей планеты.

В это самое время Виктор Гюго всецело захвачен проблемой театрального стиля. Как несколько лет назад визит в Веймаре, так и теперь посещение «короля французских поэтов» оставили у Мицкевича лишь ощущение ненужного шага. Виктор Пави, друг Виктора Гюго, описывает этот визит, с горечью подтверждая его ненужность.

«Наш император, — говорит Пави о поэте Франции, — приподнялся с престола лишь настолько, чтобы наградить гостя покровительственным поклоном, и тотчас же обратился к фигурантам вечера, к статистам, чуждым и ему и нам, к льстивым царедворцам Славы, теснящимся у его домашнего очага и настолько занятым лестью Виктору Гюго, что имя Мицкевича не произвело на них ни малейшего впечатления... Мицкевич пришел слишком поздно. Едва только минутная стрелка висящих над камином часов в стиле Людовика XIII обежала циферблат, великий польский поэт выскользнул так же незаметно, как и пришел. Выходя с ним вместе, мы не знали, чему удивиться больше: невнимательности нашего литературного монарха с Королевской площади, наивно погруженного в свое величие, или простодушию литовского изгнанника, который возвращался домой, не заметив даже, до чего странный ему был оказан прием».

Мы угодили тут прямо в мир бальзаковских «Утраченных иллюзий», в мир неистовых литературных самомнений, неискренних похвал, мертвых условностей околотитулярного круга, интриг и секретов иерархии, недоступных для пришельца из чужих краев. Трудно обвинять Виктора Гюго в отсутствии учтивости к поэту, о котором он едва слышал, творений которого он не мог знать. Гюго был всецело в этой атмосфере литературных восторгов, которую он, конечно, презирал, но без которой не мыслил своего существования.

Овидий, изгнанный из Рима, из ненавистного ему Рима, тоскует по

Риму, жаждет возвращения, ибо вне Рима для него жизни нет.

Мицкевич в Париже был изгнанником не только в политическом, национальном, но и в социальном смысле. Он не понимал, не мог понять окружающих его парижских литераторов и людей культуры после июльской революции. Он говорил об Обетованной Земле грядущего именно потому, что сам не мог обрести ее под ногами. Он чувствовал, что в нем перевернулась страница поэзии, но не мог постичь творений, написанных в новом стиле. Раньше или позже, но должно было произойти столкновение между поэтом народа, угнетенного и отсталого в общественном развитии, между изгнанником и поэтом чувства и писателями буржуазной Франции, Франции классической даже в революциях и рассудочной до мозга костей. Случилось это на обеде, данном госпожой Собанской, ныне мадам Лакруа, женой поэта Жюль Лакруа.

На обед этот среди прочих были приглашены Фредерик Сулье и Бальзак. Жюль Лакруа и старший брат его — Поль ожидали в гостиной. Мицкевич прибыл в момент, когда хозяйка дома приглашала гостей к столу. Мадам Лакруа возлагала большие надежды на этот прием, присутствие Мицкевича льстило ее самолюбию.

— Величайший польский поэт, — представила она его, усаживая между собой и Бальзаком.

Тот, кто внимательно присмотрелся бы к этим двум людям, сидящим рядом, испытал бы удивительное чувство. Они выглядели, как люди разных эпох. Один — с лицом изрытым следами слишком явных страданий, поседевший, несмотря на молодые годы; другой — плотный, с грубо вытесанным лицом, похожий скорее на трактирщика, чем на литератора. Беседа, приправленная вином и сплетнями, как обычно в таких случаях, касалась привычных тем. Госпожа Лакруа, которая, однако, обладала литературными амбициями, по крайней мере в том смысле, что присутствие знаменитых авторов наполняло ее гордостью; госпожа Лакруа направила беседу на стезю, всегда небезопасную, когда собирается несколько сочинителей. По-видимому, среди людей любого иного ремесла и рода занятий разговор о делах этого ремесла и рода занятий связан с куда меньшим риском, чем в кругу литераторов. Однако госпожа Лакруа в этот миг позабыла об этом. Мицкевич не ценил популярного как раз в это время во Франции новоявленного литературного жанра. Ему казалось тогда, что эти новые писатели выполняют роль нотариусов современности или попросту прилежных переписчиков. Мицкевич неблагоприятно взирал на этот новый жанр и теперь, не смущаясь присутствием французских

авторов, со свойственной ему прямою и резкостью сказал, что если бы новый халиф Омар сжег бы две трети печатающихся в Париже книжонок, было бы не о чем жалеть. Французские писатели выступили в защиту новых повествовательных произведений, восхваляя достоинства этого жанра и резко выступая против нежизнеспособных уже форм поэмы и романа в стихах, которые теперь к лицу разве что подражателям, но никак не творцам. Недовольная таким оборотом дел, госпожа Собанская, донжуан в юбке, сильно уже состарившаяся, но все еще интересная, внимательно смотрела на Мицкевича. «Он очень изменился, — думала она, — поседел, помрачнел и все же, хоть прошло уже столько лет, так и не приобрел манер и не выучился основам благовоспитанности».

Для парижских писателей этот мрачный поэт, вносящий чуждый и беспокойный тон в общество, которое само отлично знало все свои пороки и достоинства, свою слабость и силу, этот поэт был прежде всего непостижим. Литераторы-парижане ютились в самых дебрях этого запутанного, сложного мира, в мире мер и оценок, которые для него, Мицкевича, ни малейшего значения не имели, — это был мирок людей, чрезвычайно далеких от его нравственной суровости, от его морализаторства, не считающегося со сложной машинерией современного существования. То была эра гигантского расцвета журнализма, с которым должны были соприкоснуться писатели, будучи от него, журнализма, не в малой мере зависимыми. Все они были в большей или меньшей степени вовлечены в денежные расчеты, как Бальзак хотя бы, в финансовые предприятия, в пререкания с типографщиками, исполненные снисходительности к миру и понимания его, частицей которого они были. Эта снисходительность, которая отнюдь не является синонимом равнодушия, обыкновенно была плодом долгих и напрасных стычек и одиноких мятежей.

Конечно же, все они на заре своей литературной деятельности верили в нравственную миссию людей пера, чтобы впоследствии взглянуть на все эти дела более умиротворенным взором. Впрочем, это не означает, что они исповедовали религию Тартюфа. Роман влек их к объективизму, объективизм — к роману. Если верить Блонде из «Человеческой комедии» Бальзака: «Роман, который требует чувства, стиля и воображения, является могущественнейшим современным жанром; он занял место комедии, которая в современном обществе невозможна, ибо она руководствуется старыми правилами. В своих концепциях, которые требуют и остроумия Лабрюйера и его проникновенного взгляда, роман объемлет факт и идею, характеры, изваянные по мольеровскому образцу, великие шекспировские

драмы и тончайшие оттенки страсти — единственное сокровище, которое оставили нам предки. Итак, роман стоит гораздо выше, чем холодная и математическая дискуссия, сухой анализ XVIII столетия. Роман — можно сказать в виде сентенции — это эпопея, — с той разницей, что он занимателен».

Это последнее определение не вполне точно. В конечном счете ведь и «Одиссея» занимательна. Занимателен также и «Пан Тадеуш», и только люди, страдающие великим недугом нации, могли не заметить этого. Французы, которые обладают таким поразительным чувством юмора, не усматривали в этих свойствах отрицательной черты. Мицкевич сам себе навязал некое снижение полета, в чем помогали ему его друзья, ученики и приверженцы. Вокруг был Париж, катящий свои экипажи по Елисейским полям, Париж Комеди Франсэз, развлекающийся в своих кабаре, в своих Водевильях и Варьете, гуляющий по Рю де Люксембург, играющий в Пале-Рояле, крикливый, грешный и восхитительный Париж, Париж, диктующий Европе моды и политические направления, сильный даже в своем падении, ибо его нельзя было миновать. Эмигранты могли решиться лишь на одноединственное — на отрицание. Тот, у кого ничего нет, хочет хотя бы в мечтах обладать всем. «Книги народа и пилигримства» потому нашли столько последователей среди эмиграции, что, не выставляя никакой конкретной программы, они обещали взамен недостижимой святости все. Но слово «все» вмещает в себя не больше содержания, чем слово «ничего». Из стремления обладать всем, из туманных грез о земле обетованной, из самозванного апостольства родились, что так естественно в эмиграции, идеи, противостоящие не только безжалостным расчетам политических кабинетов, но также и общественным идеям «Демократического общества»^[158].

«Ежедневно молиться за себя, за отчизну и ближних, за друзей и врагов, исполнять господни заветы на словах и на деле, и примером своим побуждать к тому соотечественников, и шествовать по этому пути общей силой». Эти слова из акта основания «Общества соединенных братьев» не должны нас вводить в заблуждение. Они содержат нечто большее, чем стилизованную суть катехизиса. Они кажутся нам на первый взгляд пустыми, но только в рамках времени, в котором они возникли, оживают и приобретают выразительность. Новое содержание вливает в них современная им французская утопия — сен-симонизм. Его антииндивидуалистический принцип становится фундаментом всех этих обществ, коллегий и коллективов, в которых должны были возникнуть начатки нового строя, всечеловеческого братства. Базар и Анфантен,

которые создавали *loi vivante* этого движения, обличали право собственности, объединяя учеников своих в семью, проживающую вместе, живущую за счет совместного имущества. Апостолы сен-симонизма не отдавали себе отчета в том, что они обрекают себя и своих товарищей на новое одиночество. Дома сен-симонистов на улице Монсиньи или в Менильмонтане были только островами. Анфантен, подобно шекспировскому Просперо, мог тут приказывать разве что духам. Новое общество не может возникнуть на неких идеальных островах. То, что в учении Сен-Симона было еще полунаучной теорией, в интерпретации его учеников сделалось догматом религиозной веры.

Мицкевич, подобно ученикам Сен-Симона, верил в то, что можно связать дела возрожденной церкви с делом народов. Поэтому он поддержал усилия «Общества соединенных братьев» и симпатизировал этому движению даже тогда, когда общество превратилось в весьма похожий на недавно распущенные коллективы Монсиньи или Менильмонтан домик Янского^[159]. Янский, основатель этого сен-симонистского островка на польский лад, был по профессии экономистом, последователем Сен-Симона. Должно быть, все на чужой земле, в земле Ханаанской, совершалось празднично и елейно. Ибо в конечном счете в чем была причина волнений? Несколько молодых людей, вернувшихся в лоно католической церкви, которые из этого их личного дела вдруг сделали общественное событие; итак, несколько молодых людей обращаются за благословением к тому, кто первый дал эмигрантам пример евангельской нищеты и страдания, облакаясь в ризы воображаемого паломничества. Эти молодые люди отнюдь не были отшельниками и монахами по призванию. Реттель был прежде пехотным офицером. Кайсевич когда-то служил в уланах, был, по свидетельству Виктора Пави, «высокого роста, могучего телосложения, с лицом улыбочивым и веселым, несмотря на широкий шрам от глаза до подбородка, охотно принимал приглашения и танцевал с польским ожесточением. Он не чуждался житейских соблазнов и во время богослужения входил в храм, чтобы показаться хорошеньким дамам и самому на них взглянуть».

Мицкевич должен был помочь этим юным апостолам своими светскими связями. — он, который так неохотно, даже в дни жесточайшей нужды, пользовался ими, когда речь шла о его личных делах. На его воззвание к сердцу и шкатулке Адама Чарторыйского князь отвечал письмом из Лондона, где он как раз в то время находился: «Дорогой г-н Мицкевич! Вещь, которой ты интересуешься, не может никогда быть в моих глазах дурной, следовательно, и сейчас таковою не является. И,

конечно, доброе дело, если мы можем помочь нескольким достойным молодым людям приняться за полезный труд. Пишу Сенкевичу^[160], чтобы он авансировал сумму в 600 франков. Не сомневаюсь, что она будет мне возвращена. Правда, что теперь трудные времена, они стали еще труднее со времен нашей последней прискорбной финансовой катастрофы. Но на столько еще у меня хватит, что касается кредита, ты у меня всегда имеешь полный».

Упоминание о финансовой катастрофе относилось к банкротству банка Ельского, того самого, о котором позднее в иронических стихах написал Словацкий:

Хоть нам, полякам, хлеб не сам валится в рот,
Проныра Ельский сыт — на то он и банкрот!

Наибольшую сумму потерял тогда князь Чарторыйский, все свое состояние — Людвик Плятер^[161].

Благоприятный ответ князя находит некоторым образом освещение в журнале Яна Чинского^[162] «Полуночь», в котором читаем: «Аристократия, видя беспомощность польской шляхты, и убежденная, что пустые головы ясновельможных депутатов не смогут задержать прогресса идей, решила с помощью ханжества и иезуитизма возратить то, чего не сможет уберечь гибнущая шляхта».

В своем романе «Девушка и старец» тот же Чинский обвинял Мицкевича в чванстве, эгоизме и усыплении национального духа. «Вижу, как на его призыв самые мужественные сделались монахами и одежду рыцарскую на духовное одеяние сменили. Темная ряса скрывает их грудь, на которой еще недавно сверкало оружие; в руке, в которой мгновенье назад грозили палаш, штык и пика, теперь движутся четки». Эта характеристика, «красноречивого мужа» чем-то сродни памфлету на Мицкевича в прологе к «Кордиану»^[163]. Этот Ян Чинский, некогда участник восстания, начальник штаба при командующем движением в Люблинском воеводстве, позднее, при генерале Шептыцком, яростный демократ, разделял в этом случае взгляд радикальных демократов в эмиграции на роль и значение всяческих мессианистических грез эмигрантщины.

Политические противники Чинского были о нем весьма дурного мнения. Они охотно повторяли ядовитое четверостишие Мицкевича о

Чинском.

Среди эмигрантов было немало яростных голов, отсутствие политических надежд не склоняло их к взаимной вежливости. Эмигранты страшились политической трезвости, они предпочитали приближаться со священным испугом к оловянной чаше, в которой кровь павших повстанцев была смешана со святой водой.

*

Мысль о счастье не покидает поэта, но теперь это уже не ревностные поиски в темноте, теперь она спокойней, более проникнута самоотречением, ибо научена противоречиями столь глубоко, что утрачивает личные черты. Есть в письме к Кайсевичу и Реттелю несколько фраз проникновенных и исполненных мудрой горечи.

«Тяжела битва жизни! — пишет Мицкевич. — Вы на собственном опыте постигнете удивительную вещь: наслаждения и приятности, которые убегают от нас, когда мы гонимся за ними, как только мы начинаем отрекаться от них, начинают гнаться за нами. Человек может дойти до такого страшного могущества, что едва он взглянет на безделушку, на красивое лицо, он находит их вдруг перед собой; мир будет ломиться к нему сквозь запертые двери».

Именно в минуты, когда поэт завершает «Пана Тадеуша», эту мирную эпопею, внутренний разлад не однажды приказывает ему писать мимоходом разрозненные фрагменты дальнейших частей «Дзядов», которые так никогда и не увидят света. Среди множества людей, бок о бок с которыми жил поэт, которым он по вечерам читал свежеисписанные страницы безалаберной и расчерканной вкривь и вкось рукописи, среди толпы воображаемых образов, с которыми он сейчас на дружеской ноге пребывает в литовских лесах, им овладевает столь сильное чувство одиночества, что ему, чтобы защититься от этого. чувства, все чаще приходится задумываться о неведомой женщине, с которой он мог бы разделить свою судьбу.

На вечерах у Мицкевича бывали оба Еловицких, братья Собанские^[164], приходил иногда Станислав Ворцель и Цезарий Плятер, захаживали генералы Мыцельский^[165] и Дембинский, появлялся порой Фридерик Шопен. На улице Сен-Николя, а позднее в доме на Рю де Сен, трудясь над

поэмой и исправляя ее, Мицкевич жил совершенно обособленно от города, который его окружает, мостовую которого он каждый день топчет. Удивительно, как польские эмигранты умели обособиться от той бурной жизни, которая кипела вокруг них. Среди потока буржуазного Парижа они создали остров, на котором — независимо даже от того, каких они придерживались взглядов, — господствовал обычай, привитый им в годы детства и юности, польское мелкошляхетское отношение к делам житейским, сантимент, вынесенный из-под деревянных кровель усадьбы. В письме к Юлии Ржевуской Мицкевич пишет с большой откровенностью об этом анахроническом чувстве: «Я занимаюсь своим прежним ремеслом, но в этом городе, как в корчме на большой дороге, нелегко найти спокойный уголок, и что ни день — какой-нибудь шум разрывает мысли. Как странствующему по морю снится берег, так мне постоянно снится домик под соломенной крышей, в лесу, но немного у меня надежды, что я когда-нибудь увижу его наяву. Судьба вечно приковывает меня к мостовым, которые я так ненавижу».

Письмо это было написано в 1835 году, но могло с таким же основанием носить дату предшествующих или грядущих лет. На этих мыслях о сельском крове и о лесе лежит тень уходящего в прошлое общественного строя, блуждают в этих словах его сентиментальные отзвуки грез о счастье первых людей в золотом веке, о счастье, которого никогда не было, возвращается миф о Филемоне и Бавкиде. Атмосфера старого Парижа, хотя в писаниях Мицкевича и нет упоминаний о его чарах, по-видимому, способствовала этому состоянию души.

Средневековые дома над Сеной, когда сумерки опускаются на город, приобретают вид торжественный и фантастический. На крутых кровлях и башенках скрипят жестяные флюгера. Порт Сен-Мишель вздымает свою круглую башню со стрельчатой верхушкой к бледному небу. Крутые переходы галереи и готические стрельчатые окна в эту пору ранних сумерек снова приобретают значение и смысл, давно утраченные; старые здания, дворцы и трактиры, которые неловко чувствуют себя среди бела дня, ревностно и набожно гармонируют с этим вечерним часом, прислушиваясь к благовесту колоколов Сорбонны. На площади Пре-о-Клерк тени под навесами становятся все гуще. В старой таверне деревянная лестница таинственно поскрипывает под ногами новых людей; эти ступеньки старше их на целые века. Химеры Нотр-Дам разевают пасти над городом. Срезанные башни собора кажутся теперь выше, выше и шире стали во мраке порталы, погасли розетки окон.

Все эти чары сами раскрывают свой смысл, прозрачный, как летопись,

тому, кто посвящен в историю Франции; пришелец-эмигрант не чувствует себя связанным с ними; подобно этим камням, которые являются эмигрантами из давно охладелых времен и требуют особого тепла и знания, чтобы ожить, подобно этим камням, он чувствует себя тут, на чужбине.

Едва он закончил эти «двенадцать огромных песен», едва его перестали мучить корректуры «Пана Тадеуша», чувство одиночества, соединенное с жаждой счастья, еще безликой, начинает принимать в его фантазии образы некогда виденных им женщин, и ему делается еще больнее от улыбки, мимоходом брошенной ему незнакомкой.

Это было ранней весной. На острове Святого Людовика, в лабиринте средневековых улочек, где редко слышен стук проезжающего экипажа, Мицкевич проходил мимо одного из тех домов, которые таят в своих недрах деревянные винтовые лестницы, сени, где тускло светит масляная лампа, где неуловимый запах прошлого смешивается с могучим дыханием Сены, витающим здесь в воздухе первых апрельских дней. В низком первом этаже юная девушка в алой косынке и платье, подоткнутом так, что видны были ее ноги, стройные и длинные; девушка мыла окно с таким проворством и извивалась так ловко, что была похожа на танцовщицу, которая в блеске стекол, изгибаясь всем телом, предается пляске этого ликующего времени года. Он увидел ее голубые глаза, ее маленький улыбающийся рот, несравненно изящный и завершенный. Цветущая Флора, а на самом деле, конечно, служанка или поденщица, настолько естественная в прелести своей, в прелести своих красок и движений, что даже драгоценные лионские ткани не могли бы прибавить ей очарования, напевая какую-то песенку, убежала — как будто не хотела, чтобы за ней подсматривали во время этого обряда мытья окон, — да, она убежала в глубь комнаты и исчезла во мраке.

Прохожий постоял еще минуту, задумавшись над чем-то, пронзенный сладостью мимолетного образа, похожий на юного мальчика из романа, который опускает глаза, увидев красавицу. Тогда и он припомнил вдруг давнюю московскую знакомую, почти девочку, панну Целину Шимановскую, дочь госпожи Марии. Со свойственной ему склонностью к внезапным решениям, которая всегда поражала друзей, он решил жениться на Целине, если только она еще не замужем!

Целина Шимановская выехала из Варшавы в обществе своей кузины Лауры Бжезинской. Она ехала несколько встревоженная, не вполне еще освоившаяся с удивительным, неожиданным предложением Мицкевича. Услыхав это предложение из уст доктора Станислава Моравского, она раздумывала потом в течение нескольких дней и бессонных ночей над тем, что с ней приключилось.

Мицкевича она помнила по Москве и Петербургу; тогда она была еще почти ребенком, тогда он казался ей весьма серьезным мужчиной. Великая слава, которая шла за ним, сперва вселила в Целину робость, но свойственная поэту непринужденная манера держать себя, его шутки, его порою мальчишеская веселость вскоре заставили ее настолько осмелеть, что она стала отлично чувствовать себя в его присутствии. Ей казалось порой, что слава, о которой говорили все в салоне Марии Шимановской, обременяет его, что она сковывает его движения, как слишком длинный плащ, заставляющий его спотыкаться; этим она объясняла себе известную неуклюжесть его движений и чрезмерную веселость, порой как бы несколько деланную, во всяком случае не вполне идущую к его лицу, к лицу, которое то и дело покрывалось тенью задумчивости.

В их тогдашних отношениях не было и следа неизбежного притворства или неестественности, которые обычно сопутствуют хотя бы и самым ни к чему не обязывающим разговорам мужчины с женщиной. Но, правда, она тогда была еще так молода, едва вышла из детского возраста.

Теперь все это дело, это внезапное решение поэта, обрушилось на нее, неподготовленную, смущенную, а главное, неспособную отказать. Известную легкость, способность не слишком углубляться в житейские обстоятельства Целина унаследовала от матери. Мария Шимановская была человеком искусства со всеми достоинствами и недостатками, присущими этой профессии, вернее — не столько профессии, сколько призванию, которому она отдала всю свою жажду жизни в прекрасном. Целина любила свою мать до беспамятства, без тени критики. Восторгалась ее красотой, добротой, талантом.

Мария Шимановская была не только превосходной пианисткой, чьей игрой восхищались современники, пианисткой, которой восторгался Гёте. Она была дамой большого света, которая соединяла светские достоинства с обаянием столь естественным, что каждый, кто с ней встречался, должен был поражаться этому необычайному соединению светских достоинств с простотой и добротой.

Именно из этого сочетания противоположностей и возникало своеобразное очарование. Целина росла в атмосфере несколько тепличной

и чрезмерно светской, однако так же, как и ее мать, сумела сохранить нетронутую прелесть естественности, свежую впечатлительность и великую доверчивость к людям, несмотря на врожденную робость.

Однако эта робость не настолько бросалась в глаза, чтобы сковывать ее движения и поступки. Быть может, в эту минуту, которая должна была решить ее судьбу, она вовсе не из-за робости приняла так легко и просто по меньшей мере странное предложение поэта, человека, которого она почти не знала; и не из-за робости она не решилась отказать ему, что было бы, пожалуй, наилучшим выходом из положения. Но недавняя кончина любимой матери и измена, первая, которую она в жизни испытала, измена, причинившая ей особенную боль, ибо показала ей ничтожный характер жениха, — все эти события лишили ее свободы действий и обезволили.

Бывший жених барышни Целины призадумался, как обычно говорится в подобных случаях, и — после смерти Марии Шимановской — исчез, развеялся, как призрак в балладе. Оказалось, что он попросту рассчитывал на большие, хотя и непостоянные, заработки прославленной пианистки.

После ее смерти Целина уже не была такой завидной партией, как прежде.

Целина не слишком пламенно любила этого благовоспитанного, но чрезмерно расчетливого юношу, однако ей казалось, что она любит его. При полнейшей неопытности в делах любовных подобного рода ошибки естественны и, может быть, случаются гораздо чаще, чем принято думать. Однако с момента его исчезновения она почувствовала себя нелюбимой, а ведь она так ему верила...

Нелюбимая и отвергнутая, она вдвойне терзалась и тосковала. После свадьбы своей сестры Гелены, которая вышла за Францишка Малевского, Целина решила покинуть Петербург и поселилась у родственников в Варшаве. Положение ее было далеко не блестящим. Варшава, в которой она теперь должна была жить и дожидаться замужества, казалась ей чуждой и унылой; она тосковала по Москве и Петербургу, тосковала по исчезнувшему счастью.

В такую минуту и предстал ее очам всегда элегантный, всегда приветливый и соблазнительный доктор Моравский, на сей раз в роли свата.

Едучи дилижансом по Германии, Целина думала обо всем этом, что произошло столь недавно. Тут ей было как-то странно и не по себе, то ли от пейзажей незнакомой страны в пышном весеннем уборе 1834 года, от пейзажей, которые проплывали мимо окон дилижанса, то ли от звуков чужого языка, обступающих ее со всех сторон.

Панна Лаура Бжезинская не слишком докучала ей своим присутствием, хотя панна Лаура трактовала свое присутствие как миссию, с чрезмерной серьезностью. Она везла в чемодане вместе с туалетными принадлежностями и томиком стихов Адама Мицкевича акт совершеннолетия Целины Шимановской. Акт этот гласил: «Именем Его Величества Николая I, Императора Всероссийского, Царя Польского и прочая, и прочая. Всем, кому о том ведать надлежит, ставится в известность, что в присутствии регента Воеводства Мазовецкого был зарегистрирован акт следующего содержания.

Происходило в Варшаве, в доме на улице Длугой, под номером 543. Дед и бабка Фелиции Целины Шимановской, полагаясь на известные им уже благоразумие и здравый образ мыслей своей внучки и также будучи уверенными, что выбор ею супруга падет на лицо, которое принесет ей счастье и сможет при всех условиях обеспечить надлежащие средства к существованию, они, настоящим актом, согласно статье 73 гражданского кодекса на вступление в супружество, по выбору внучки своей, Фелиции Целины Шимановской, согласие изъявляют...»

Итак, Целина ехала за своим счастьем и «надлежащими средствами к существованию», уже примирившаяся со своей долей, опьяненная путешествием и весною, которая в полном цвете днем и ночью окружала дилижанс. Никто не мог раздвинуть завесу грядущего перед этой бедной девушкой.

В Дрездене Целина встретила Одынца, который засыпал ее великолепным градом слов и привел в движение альбомы барышни Целины, переплетенные в сафьян и бережно хранимые на дне чемодана. 29 июня Целина прибыла в Париж. Едва только молодые женщины высадились из дилижанса, как их окружил гомон и блеск исполинского города,

*

Мицкевич сильно изменился со времени их последней встречи в Петербурге. Волосы его, когда он стоял перед ней с измятой шляпой в руке, лишились уже прежней юношеской черноты, они покрылись сединой, лицо осунулось и заострилось, только глаза из-под натянутых луков бровей смотрели по-прежнему, «как бы желая исторгнуть нечто из недр земных». Неполный месяц, который отделял день приезда панны Целины в Париж от

дня ее бракосочетания, пролетел быстро в приготовлениях к свадьбе, в пополнении пробелов гардероба, среди доброжелательной родни, за пустой болтовней, которая не оставляла времени разобраться поглубже в сумятице мечтаний и укоров совести.

Целина жила в этой вечной суматохе и хлопотах, жила довольная, что может не слишком вглядываться в сердце свое, которое чувало, что нелюбимо и, конечно же, не любит само.

Она относилась к Мицкевичу с превеликой симпатией и с еще большим уважением, прощала ему его суровость и нечуткость с той жертвенной добротой, с какою умеют прощать только женщины.

Ее поразило, когда он однажды вечером признался ей с безоглядной стремительностью, как бы исповедуясь за всю жизнь во все своих делах, о которых она знать не знала, ведать не ведала; это были рассказы, часто причиняющие боль и задевающие стыдливость; обо всем этом прежде ни одна живая душа не знала.

Он не упоминал имен женщин, которыми обладал, но она и не желала этого, и если не сказала ему откровенно, что и слышать об этом не хочет, то только из прирожденной застенчивости и деликатности.

— Без такой искренности в совместной жизни, — твердил он, — о счастье не может быть и речи.

Ну что же, может, они и впрямь будут счастливы!

Венчание состоялось в храме Святого Людовика Антенского. Старый поэт Урсын Немцевич повел невесту к алтарю.

«Любил ее некогда, как ребенка, добрую, живую и веселую. Целина лишилась родных, моя женитьба на другой не состоялась», — писал поэт.

Супруги поселились на Рю де ла Пепиньер, 121, напротив № 58.

«Распространяться о нынешнем счастье еще рано, — писал Мицкевич Эдварду Одынцу в августе 1834 года, — скажу только, что в течение трех недель я ни разу не был в кислом настроении, а часто чувствовал себя веселым и легкомысленным, каким давно уже не бывал. Целина тоже говорит, что она совершенно счастлива и радуется как дитя. Три счастливые недели — и это хорошо на нашем свете и в наши времена!..

Надобно тебя познакомить и с нашим хозяйством. Живем мы далеко от центра города, в тихом уголке, как в деревне. У нас только три комнаты, собственная мебель, вскоре будет и фортепьяно.

Утром Целина варит кофе, потом будто бы хозяйничает, суетится, щебечет и смеется до самого вечера...»

«Целина — жена, какую я искал, не падающая духом перед лицом всяческих неудобств, довольствующаяся малым, всегда веселая», — пишет

он в письме к брату своему Францишку.

Это постоянное подчеркивание веселости Целины очень характерно.

Чуть позднее в эту полудеревенскую квартиру на Рю де ла Пепиньер придет еще одна особа, которая в память Марыли Верещак получит имя Мария. В письме от декабря 1836 года Мицкевич сообщал Одынцу, что «Марысе уже пошел шестнадцатый месяц, здоровая, веселая, проворная, ловкая... Великая это для меня утеха, у меня нынче комедия на дому, всегда веселая и забавная». В письме этом о Целине он замечает уже только: «здорова». Позднее, когда жену, в умственном расстройстве, он вынужден будет поместить в заведение для душевнобольных, в одном из писем к ней он упоминает о своем скверном расположении духа, которое не повлияло бы благотворно на ее состояние, если бы она оставалась дома. «Терпкий» и «кислый» — это эпитеты, вечно повторяющиеся в переписке Мицкевича. Значение и вкус этих слов должна была испытать на себе юная жена поэта...

И, однако, тот самый человек, возможности которого представляются настолько неограниченными, как будто в его груди жило несколько человеческих душ и он был обитателем многих областей пространства и времени, сумел в «Пане Тадеуше» извлечь из души своей столько доброты, нежности, всепрощения, что, читая эту поэму, мы невольно забываем о едкой и опаляющей горечи его иного языка, того, по которому мы сразу его узнаем.

Если бы изъять из поэмы исповедь ксендза Робака, эта беспредельная умиротворенность и нежность ничем не были бы омрачены.

Те, которые общались с ним тогда, когда он писал свою литовскую поэму, передали нам некий отблеск его тогдашнего настроения.

«Блаженные вечера у Адама в 1833 году никогда, не померкнут в памяти друзей. Мы напевали хором, литовские, белорусские, украинские песни вслед, за поэтом. Адам охотно рассказывал нам события из времен своей юности... вызывая на взаимную откровенность, так что он вскоре узнал всю нашу подноготную...

В повседневном общении с нами он был поразительно добродушен, нежный, трогательный даже...» Несмотря на своеобразный, несколько экзальтированный стиль реляций Богдана Залеского, в этих словах присутствует некая частица правды.

Мечта о счастье, сопутствующая поэту в самых печальных житейских обстоятельствах, тут в течение некоторого времени пребывает в кругу друзей — позднее наступает реакция, возвращается скорбь, тем большая, что она связана с угрызениями совести.

Тоска по отчизне не могла бы вместиться в ее истинные границы, ибо это тоска по несуществующему счастливому краю. Просторы его, залитые солнцем, населенные людьми простыми, но воистину чарующими, изгнанник этот носил в себе, и тщетны усилия тех, которые ищут реальное Соплицово на картах Новогрудчины.

Пробуждение пришло слишком быстро.

Совместное существование супругов Мицкевич складывалось спокойно, но не настолько, чтобы Целина не ощущала известного принуждения, чтобы ей частенько не приходилось изображать веселость, которая в ее положении и при постоянных денежных заботах едва ли могла быть искренней. Целина опекала мужа с той ненавязчивой заботливостью, которая, однако, всегда готова явиться на каждый зов.

Сплетники шептали, что юная супруга не слишком ловко исполняла эту новую для нее роль.

Широко, повсеместно и со злорадными комментариями рассказывалось о странностях молодой четы.

Когда однажды — это было в первый месяц их совместной жизни — Целина по желанию мужа нахлобучила мужскую шляпу на свои чудесные темные кудри, и шляпа эта замечательно сочеталась с ее черным платьем, — возник небольшой скандалчик.

Первую скрипку в этом комичном скандале играла княгиня Кунигунда Белопетрович, урожденная Гедройц, которая с давних пор была противницей женитьбы поэта на Шимановской, а теперь привела в действие всех тетушек и кузин, весь этот бабий сеймик, крикливый и мелочной. Дело, по-видимому, дошло до князя Адама Чарторыйского; поэта, однако, только позабавило это событие, он смеялся от души.

Молва о женитьбе Мицкевича долетела на крыльях, более быстрых, чем почта, до самой Женевы и коснулась стен пансиона мадам Патте над Женевским озером. Юлиуш Словацкий сообщал своей матери, находящейся в Кременце: «Вот второй из нас — пан Адам. Вместо профессуры он взял в жены дочку музыкантши Шимановской. По-видимому, это был старинный роман, начавшийся еще в вашей столице. Не ведаю, какую Марысю он изловил — добрую ли, красивую ли. Вообще-то я не сразу поверил, когда мне об этом сказали, потому что этот Адам — настоящий сухарь, ведет себя по большей части как лакей, иногда как безумец вроде монахов из ордена братьев милосердия, он ненавидит двойные ряды пуговиц и обрывает их, чтобы они только не были парными...»

На Рю де ла Пепиньер домик в саду должен заменить поэту тот

сельский дом, о котором среди забот и хлопот он не перестает грезить.

Кухня, которую Целина старается устроить на польский лад и с которой, увы, не всегда справляется, также призвана напоминать виленские времена.

Мицкевич смотрит на покрытую осенней слякотью улицу парижского предместья, на увядшие цветы в саду и погружается в думы и воспоминания, они не получают уже выхода в поэзии, но не впитались еще, очевидно, в элегические отступления «Пана Тадеуша».

Он чувствует, как, что ни день, душа его мертвеет и сохнет. Родники молодости похожи сейчас на подпочвенные воды, и неведомо, когда они вырвутся на поверхность живительными ключами.

В эти часы изгнанник закрывает глаза на новые предметы, которыми кишит буржуазный Париж, с влюбленностью, самоотверженностью и упорством он возвращается душой к родимым вещам и вещицам. С нежностью вспоминает он о литовской телеге, тряской и неудобной: даже еще спустя десятилетие Мицкевич будет признавать ее превосходство над «чугункой».

Чубук свой он разжигает польским трутом с огнивом, утверждая, что они куда лучше химических спичек. Поэт утрачивает чувство эпохи, в которой живет, и этому забвению приписывает некое высшее, религиозное значение. «В жизни человека случаются минуты страданий или великих наслаждений, в которые время исчезает, — уверяет он Кароля Водзинского, — и человек, живя, забывает о времени и жизни. Эти мгновенья можно назвать как бы малой вечностью, ибо только они могут дать нам ощущение той вечности, в которой «времени больше нет».

*

Глядя в звездное небо над Вильбоном, Мицкевич беседует с Водзинским. Цитирует Сен-Мартена: человек перед грехопадением обладал столькими различными достоинствами, сколько звезд на небе. Пифагорейцы полагали, что земля обращается вокруг некоего средоточия планетной системы.

Ни Гикет, ни Филолай, ни Экфант, ни Гераклит Понтийский, последователь Платона, не предвидели, не постигли двойственного характера движения Земли.

Но пифагорейцы лишили Землю привилегированного положения во

вселенной. Сен-Мартен снова возвратил его ей. Согласно этому философу, дух земли пребывает в связи с человечеством. Они обладали, однако, предчувствием высшей гармонии, несмотря на то, что выражали ее в гиперболизированном культе чисел. Пифагор, толкуя о семи планетах, приспособил к ним семь тонов музыкальной гаммы, семь цветов радуги; он слышал великую симфонию вселенной. Предчувствие известных истин свойственно людям с древнейших времен.

Пифей Марсильский пишет, что древние знали уже о влиянии лунных фаз на прилив и отлив. В теории Пифагора таилось ядро системы Коперника. Феопомп упоминал о четвертой и даже о пятой части света.

Диодор Сицилийский придерживается мнения, что Луна должна быть населена живыми существами.

— Полагаешь ли ты, что это невозможно?

Мицкевич говорил это, глядя на товарища по вечерней прогулке.

Поэт приостановился, теперь видно было его лицо, очень изменившееся в ночном полумраке. Только дуги бровей и губы были ясно видны. В вышине пылал Орион, сиял алмазный Сириус, висели в вечности своей Весы, и Звездный воз, обращенный к Полярной звезде, отправлялся в путешествие, бесконечное и в то же время конечное, подобно ободу колеса.

Лук Зенона Элейского посылает те стрелы, которые висят неподвижно в каждой точке своего полета. Эллада, которая умерла на земле, воскресает в небесах, из моря клубящихся туманностей, из тонкого рисунка Галактики, куда более утонченного, чем на чернофигурных вазах. Расстояния здесь уже только относительны. Время является уже только символом, сходство — контуром, несхожим, отдаленным, как лица умерших.

Водзинскому вспомнились «Суждения и замечания», написанные, впрочем, вернее — переведенные, Мицкевичем несколько лет назад, преимущественно из Якова Бёме, Ангелюса Силезиуса и Сен-Мартена. Он подметил в этот миг сходство между строчками стихов и ритмом созвездий, но не сказал об этом Мицкевичу.

Поэт углублялся теперь все чаще в рассуждения, замечания о жизни, которые высказывал в беседах с друзьями, замечания, полные самоотверженного сочувствия ко всему живущему и страждущему.

И теперь он говорил:

— Со смертью всякого человека в жизни делается еще темней, словно в гостиной, в которой угасает лампа за лампой. Удивительно, что существуют люди, смеющие утверждать, что человек на земле может и даже должен быть счастлив, если он добивается этого.

Но что это за счастье, ежели сильная зубная боль, измена друга или

жены и тому подобные обстоятельства, весьма обыденные, за полчаса могут испепелить его?

Они вошли под сень деревьев, где стояла полная тьма. Услышали шум ветвей над головами. Почуяли запах влажной листвы. Водзинский шел медленно, он был уже очень слаб, в последнем градусе чахотки, и врачи только с трудом поддерживали в нем жизнь.

— Париж убивает меня, — промолвил он, — здесь, среди деревьев и неба, я немного ожил. Может, еще поправлюсь, но не слишком на это надеюсь. Да и не все ли равно? — Он вдруг замолк.

Выйдя из аллеи, они вновь увидели исполинский небесный простор; небо теперь показалось им еще ослепительней и огромней.

— Помню с детства, — продолжал далее Водзинский, — образ Ченстоховской Божьей Матери, весь потемневший и золотой. Всякий раз, когда я гляжу в ночь, я вспоминаю этот лик, нездешность которого производила на меня в те годы такое впечатление.

Ни один образ с тех пор не захватил меня в такой степени. Взгляни туда, не видишь ли ее черты? Нужно только хорошенько всмотреться.

Ночь, казалось, припадала к земле и обдавала ее своим сиянием. Некий метеор перечеркнул вдруг темный фон неба. Достаточно было впиться глазами в ту или иную звезду, чтобы почувствовать, до чего сиротливы люди на земле.

В этот миг множество людей всматривались в звездное небо в разных краях и странах света.

В сугробах Оренбурга мог видеть эту же Полярную звезду Томаш Зан. Одни молились на звезды, другие посылали им свои жалобы и просьбы, третьи обретали в них подтверждение своей радости и доверия к делам мира сего.

Мицкевич физически ощущал, какими глухими стенами окружает его изгнание. Он жил среди людей, больных тоской по родине, страдающих от неисцелимой ностальгии.

Вокруг них не было ничего, что возвещало бы хотя бы надежду. Оставался Сен-Мартен, утешитель слабых душ, утомленных странствием в юдоли земной.

Но ни сосредоточенное чтение мистиков, ни картина звездного неба не могли насытить души поэта. Как вокруг Данте на картине Делакруа, около него клубились видения. До сего времени он отстранял их повелительным жестом.

Но цепь изгнанничества с каждым годом все безжалостнее душила его. «Сколько уж раз, — писал он несколько месяцев спустя художнику

Войцеху Статтлеру, — я вновь и вновь предпринимаю шаги, чтобы отправиться в Альпы! Но, должно быть, пока ничего из этого не выйдет; я обречен топтать парижские мостовые».

И тогда оказывалось, до чего никчемной была свобода созерцания звездных небес.

Созвездия были, как города, возведенные из яшмы, из золота, из бриллиантов, города, в которые нельзя войти. Внизу, под этой великолепной звездной утопией, спали города Европы, вступить в которые можно было только по паспортам и визам, снабженным печатями суверенных правительств. Ничто не предвещало той европейской федерации, о которой Мицкевич писал в «Польском пилигриме», два года назад.

Крепким сном спала Европа невмешательства и золотой середины, Европа насилия одного народа над другим, угнетения человека человеком.

— Вот, — сказал он Водзинскому, — пифагорейский центр, пифагорейское средоточие, примененное к нашей земной жизни. Мы должны кружиться, чужеземцы здесь и повсюду, вокруг центра системы европейских держав, обреченные, быть может, на вечное изгнание.

И эту систему они называют идеальной. Убийство, грабеж и разбой — вот их невмешательство!

*

Эта эпоха была в его жизни бесплодной, хотя она только кажется неподвижной, как вода в глубоком пруду; ибо время это принимало, однако, всяческие удары из внешнего мира. Внезапные вести о кончинах и несчастьях близких и дорогих друзей падали на поверхность этих тихих вод, чтобы замутировать их до дна. Весть о смерти Пушкина потрясла поэта; он воспринял ее как личное крушение, как будто у него похитили и вычеркнули из жизни навсегда те молодые годы, проведенные в краю первого изгнания, где, однако, он обрел стольких друзей, среди которых рос в шуме забав и споров, в трудолюбивой тишине, в печали, но чаще в надежде.

Пушкин был наряду с Рылеевым замечательнейшим из тех друзей-россиян, к которым Мицкевич возвращался памятью.

Смерть давнего друга, внезапная, безвременная и столь ужасная и нелепая, разбередила в душе Мицкевича все минувшие дела, казалось бы,

уже угасшие, отодвинутые в тень, в какую постепенно облакаются все наши пламенные некогда, впечатления мысли и сердца. Удостоенный почестями той бездушной светской черни, которую он так презирал, затравленный царедворцами, преданный любимой женой и близкими, Пушкин погиб на дуэли с подставным лицом — гвардейским офицером, который был только марионеткой в руках царя.

«Пуля, поразившая Пушкина, — писал Мицкевич в некрологе, помещенном в «Ле Глоб», — нанесла интеллектуальной России жестокий удар. Ни одной стране не дано, чтобы в ней больше, нежели один раз, мог появиться человек, сочетающий в себе столь выдающиеся и столь разнообразные способности, которые, казалось бы, должны были исключать друг друга...

Я знал русского поэта весьма близко и в течение довольно продолжительного времени; я наблюдал в нем характер слишком впечатлительный, а порою легкий, но всегда искренний, благородный и откровенный. Недостатки его представлялись рожденными обстоятельствами и средой, в которой он жил, но все, что было в нем хорошего, шло из его собственного сердца».

Мицкевич подписал этот некролог прозрачным для многих криптонимом: ДРУГ ПУШКИНА. Долго еще после напечатания этого некролога он размышлял о друге, о днях, проведенных с ним, о мгновеньях удивительно памятных и неповторимых.

Он ощутил вновь, как рану, которая вновь дала о себе знать, привезенные ему несколько лет назад в списках стихи Пушкина, направленные против восстания.

Ему были памятны недостойные пушкинского пера стихи «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина», но он даже не упоминал о них в некрологе, в котором навеки прощался с другом.

Не все еще и доньше было для него ясно. Он знал, что Пушкин получил через Сергея Соболевского третью часть «Дзядов» со стихотворением «К русским друзьям». Молчание, которое позднее пролегло между ними, было больше чем пространство, их разделяющее.

Это пространство не было пустыней, в нем жили люди, пахали и сеяли, мучились и смеялись; в пространстве этом пролетали дожди и грозы, падал снег и расцветали цветы на лугах и в поречьях.

Выстрел, которым был сражен Пушкин, обagrив кровью снег, долетел даже сюда, на берега Сены. Быть может, убийца поэта, барон Дантес, француз, офицер царя Николая, находится здесь, быть может, переодетый в партикулярное платье, он разгуливает сейчас по улицам Парижа?

Мицкевич внутренне оцепенел. Погрузился на долгие часы в размышления о делах и предметах, весьма отдаленных от того, что его окружало. Он избегал даже разговоров; ему казалось, что одиночество отучит его от гордыни, которой преисполнена парижская жизнь, деятельная и общественная. Не так давно он сказал Кайсевичу слова, в которых не было смирения: «Слишком поздно отрекся я от гордыни и развращенности, приобретенных за десять лет».

*

От созерцания отрывают его повседневные дела, дом, растущая семья. Из вековой бездны доходит до нас его голос, замечание, брошенное мимоходом: «Есть в крике ребенка нечто, что постигают все матери».

27 июня 1838 года Целина родила сына, которому дали имя Владислав. Дом на Рю де ла Пепиньер принадлежал уже тогда прошлому. Владислав явился на свет на Рю де Валь-де-Грас, куда переехала семья изгнанников, с Рю де Марэ-Сен-Жермен. Владислав сыграет роль в посмертной судьбе Мицкевича. Станет первым, дотошнейшим летописцем жизни поэта и утаителем полной правды о трудах и днях своего великого отца. А пока он младенец, и в его плаче есть нечто, что постигают все матери, в особенности его собственная мать. Целина после вторых родов физически преобразилась, ее некогда блестящие черные глаза стали матовыми, ее темные волосы укладываются уже как бы покорней, утрачивают строптивость; однако она становится более нетерпелива, не всегда с одинаковой сдержанностью переносит кислые настроения своего супруга. Владислав растет, ему уже два месяца. Как-то на исходе августа 1838 года Мицкевич, стоя у окна, смотрит в ясное небо над Парижем и, вспомнив вдруг о болезни и прошлогодней кончине Водзинского, говорит:

— Есть некая глазная болезнь, перед наступлением которой взор так обостряется, что человек среди бела дня видит звезды.

— Когда я была ребенком, — говорит Целина, обращаясь как бы к себе самой, — я напрягала взор, чтобы ночью увидеть то, что за звездами. Мама сердилась, когда я ей об этом рассказывала. «От этого можно сойти с ума», — сказала она мне однажды, и я очень испугалась.

— Есть в умопомешательстве нечто доселе непостижимое для любых докторов. Я знавал в Новогрудке одного стряпчего, который обезумел от ревности и с топором на улице подкарауливал любовника своей жены.

Потом решил, что убил его и что за это господь бог обрек его на вечное падение в бездну. Муки этого вечного падения он рисовал поразительно живыми красками, а когда ему замечали, что он заблуждается, что он стоит на месте, а отнюдь не летит в бездну, он отвечал, что Солнце, звезды и Земля также, на наш взгляд, стоят на месте и, однако, непрерывно пролетают огромные расстояния. Не помню, есть ли у Данта круг безумных?

— Не знаю, что есть у Данта. Но знаю, почему ты вспоминаешь... Читала вчера, — она вдруг поднялась, — письмо от нее.

— Это давнее письмо, Целина, — я получил его еще в Риме.

— Я приводила в порядок твои бумаги, и оно мне случайно подвернулось под руку. Я прочла его.

— Это старое письмо. Ты ведь не хочешь, чтобы я уничтожил все, что мне памятно.

— Я хотела бы, чтобы ты вычеркнул ее из своей памяти.

Целина закрыла лицо руками и начала истерически рыдать. Он взглянул на нее с досадой, подошел, оторвал ее ладони от лица и увидел ее глаза, широко раскрытые и блестящие.

В соседней комнате заплакал младенец, и Целина как ни в чем не бывало подошла к колыбели, чтобы успокоить его.

*

Мало-помалу поэзия Мицкевича умолкала, пересыхали ключи, некогда столь живо струившиеся. Поэт начал заново перерабатывать «Историю будущего», написанную по-французски. В годах 1835–1837 он писал «Барских конфедератов» и «Якуба Ясинского», надеясь поставить их на парижской сцене. Однако этих драм, несмотря на поддержку госпожи Жорж Санд и Альфреда де Виньи, не поставил ни один парижский театр. Тяжелое разочарование ожидало поэта, который сочинил эти пьесы попросту ради хлеба насущного. В это самое время он корпел над «Историей Польши» и жаловался на трудности. «Теперь, увы! — писал он Одынцу 16 августа 1837 года. — Вижу, как трудно сделать что-нибудь хорошее! Как ужасно у нас фальсифицирована история!»

Эти труды и занятия не приносили хлеба. Бедность вкралась в дом Мицкевичей; супруги перебивались кое-как со дня на день; они чувствовали, как замыкается над ними небо, как горек хлеб изгнания.

Поэтому, когда в нескольких парижских газетах появилась заметка о том, что в Лозанне вакантна кафедра латинского языка, Мицкевич без долгих колебаний решил добиться этой кафедры, завоевать ее. Завоевать — ибо ее требовалось именно завоевать. Он убедился в этом, когда встретился в Швейцарии с друзьями, на поддержку которых рассчитывал (он выехал туда в середине октября).

Поэт прибыл в Женеву в холодный октябрьский день. Туман, не слишком густой, но ощутимый, окутывал улицы и площади. От озера веял резкий ветер, оно было теперь взбудоражено, исчезла его кроткая лазурь, столь характерная для вод этого края. Ни одного парусника не было видно на взволнованном водном просторе. Отдаленный горный пейзаж был поглощен тучами, далекий массив Монблана был окутан мглой.

Мицкевич вышел из дилижанса и, оставив свой небольшой саквояж в ближайшей гостинице, отправился сразу же по адресам, указанным ему госпожой де Сиркур, которая руководила его шагами из Парижа. В дверях одного дома он неожиданно встретил Александра Потоцкого^[166], который дал ему ценную информацию. Поздним вечером возвратился в свой крохотный отель. Когда он засыпал, женевские часы монотонно и торжественно вызванивали одиннадцатый час.

На следующий день Мицкевич выехал в Вевё, чтобы встретиться там с Генриком Накваским^[167]. Он с грустью думал, глядя на ландшафт, выступающий из утреннего тумана, предвещающего ясный осенний день, о другой Швейцарии, которую он увидел впервые одиннадцать лет тому назад. В нем не было уже ничего от прежних волнений. Он был выжжен изнутри, как печь, испытанная чрезмерно сильным пламенем.

Страна, на которую он смотрел, вопреки конкретности гранита, резкости контуров была для него мало уловима. Горы Мейлери, по другую сторону озера, откуда возлюбленный «Элоизы» писал свои письма, горы огромные, похожие на могучую симфонию, если бы она внезапно застыла в граните, вечные снега горной цепи Дан дю Миди, воды озера, с этой высоты гладкие и совершенно неподвижные, весь этот поражающий своей каменной прелестью пейзаж, как бы не впитывая воздуха, существовал обособленно, пребывал в некоем собственном времени, в пространстве, кажущемся иллюзорным, ибо оно ускользало от масштабов, которые прилагал к нему взор наблюдателя. Однако это было только заблуждение. Воздух принимал живое участие в формировании этого пространства. Он приближал либо отдалял каменные глыбы, показывал вдруг не замеченные доселе черты и борозды в граните на той, противоположной стороне

Лемана. Но в этой извечной игре было что-то шарлатанское. Пришелец почти с досадой разглядывал пейзажи Швейцарии. Он чувствовал в них пустоту, за которой ничто не кроется, а вернее — чувствовал ту вездесущую иллюзию красоты, которая влюбилась в гигантские формы и вот выставляет себя напоказ, возбуждая удивление англичан и признательность местных трактирщиков. В его душе не возникло ни единой строчки, ни одного стиха, который бы он мог положить на эту окаменевшую музыку. Поэт начинал понимать, сколь неразрывно связан пейзаж с человеком.

От Вевё до Лозанны было недалеко. Лазурный воздух солнечного дня весь отражался в озере, справа золотились осенние виноградники. Мицкевич и Накваский прибыли в Лозанну и остановились в квартире итальянского эмигранта Мелегари. Поэту не хотелось злоупотреблять гостеприимством итальянца, и он перебрался наутро в отель «Под золотым львом». Тут его нашел другой итальянский эмигрант, Джованни Сковацци. «Я находился, — писал позднее Сковацци, — в кафе Моран, на улице Бург близ отеля «Под золотым львом», когда мне сказали, что какой-то поляк остановился в этой гостинице. С детства я сочувствовал Польше и принял участие в Савойском предприятии в 1834 году. Едва услышав, что поляк находится в отеле «Под золотым львом», я поспешил туда, чтобы с ним познакомиться. Поздоровавшись с ним, я сказал, что являюсь итальянским эмигрантом, что вместе с его соотечественниками принимал участие в Савойском предприятии и что если я могу чем-нибудь быть ему полезным, то я к его услугам. Он поблагодарил меня пылким рукопожатием и объяснил, что, прочитав в газетах известие о конкурсе в Лозаннскую академию на кафедру латинской литературы, хочет принять в нем участие. Я сказал, что представляю его ректору Моннару, с которым нахожусь в дружеских отношениях. Мы вышли вместе пройтись на Монбенон и, прощаясь, условились, что завтра вместе отправимся к ректору... Ректор сердечно нас принял. Мицкевич стал спрашивать об условиях и дате конкурса. Моннар знал уже о приезде Мицкевича в Лозанну. Меня удивило уважение, которое он ему оказывал. Когда Мицкевич стал настаивать о назначении ему даты конкурса, ректор сказал: «Вы уже выдержали экзамен. Для нас большая честь, что Адам Мицкевич будет профессором нашей академии». Потом он пригласил нас отужинать у него. Мы встретили там нескольких профессоров. Мицкевича поразила сердечность, с которой его принимали. Он занялся — с моей помощью — подысканием квартиры, которую снял, наконец, в доме на улице Бург, рядом с отелем «Сокол» и с моим домом. Он говорил мне: «Как вольно дышится в этом городе!»»

Несмотря на «профессиональные» хлопоты, самые скверные, а может быть, только наиболее докучливые из забот, с которыми связано всякое человеческое существование, несмотря на унижительные, как бы там ни было, заботы о месте, поэт хорошо чувствовал себя в Лозанне. В письме к Целине он писал: «Лекций всего шесть или семь часов в неделю, оклад около 2 800 франков... Местность прекрасна, как картина».

Затишье Лозанны после парижской сутолоки действовало умиротворяюще. Этот город, вознесенный над Леманом словно ласточкино гнездо, сжатый в немногих домах, в улицах, лезущих ввысь и ниспадающих к озеру, должен был отныне стать его обиталищем на многие годы, может быть, до самой смерти. В этот миг он жаждал жить больше, чем когда-либо, жить — пусть даже ценой отказа от художественного творчества.

Уже много лет он не писал стихов; если брался за перо, то для того лишь, чтобы настроичить письмо, статью в газету, расписку, подмахнуть счет. Перо почти не повиновалось ему теперь, когда однажды, среди иных забот и дум, он набросал стихи, которым суждено было остаться в рукописи, чтобы когда-нибудь, спустя множество лет, вынырнуть из какого-то ящика на свет божий и после смерти поэта потрясать вое новые и новые поколения поляков. Нет, это не были стихи в духе прежних лирических творений Мицкевича. Они не были выбиты в словесной ткани, как в граните, раз навсегда, без какой бы то ни было текучести, мимолетности, напротив, в них было больше воздуха, чем слов, больше умолчаний, чем окончательных, безапелляционных значений:

Над водным простором чистым...

Поэт отрекся в этом стихотворении от вещей и явлений, как от тех, которые постоянны, стабильны и вечны, подобно скалам, так и от тех, которые сами, не образуя формы, лишь отражают на своей поверхности скалы и небо, да и от тех, которые длятся не дольше, чем молния и гром. Отрекся, чтобы не остановиться нигде, чтобы плыть без конца, без края!..

Не дожив в Лозанне до середины ноября, Мицкевич покинул ее, получив весть из дому о душевной болезни жены. Госпожа Целина, которая в июне благополучно разрешилась от бремени, теперь, обессиленная кормлением и нищетой, неуверенная в будущем дне и, по всей вероятности, также в чувствах, питаемых к ней мужем, уже в течение некоторого времени была погружена в мрачный мир, из которого люди, однажды зашедшие туда, никогда уже не выходят с глазами настолько ясными, чтобы

их не уязвлял дневной свет.

Глаза ее в эту минуту смотрели на мужа, словно окаменев от скорби, но рот, слишком широкий под маленьким красивым носом, тщетно пытался улыбнуться. Брови были сдвинуты, две легкие морщинки около рта чуточку углубились. Прекрасные руки лежали на одеяле и выражали, быть может, всего яснее то, что не высказывали уста. Мицкевич тоже молчал. Лицо этой женщины, которую он как бы вновь и в новом свете увидел по возвращении из Лозанны, ибо достаточно лишь нескольких недель, чтобы стереть в памяти черты женщины, даже близкой, но не любимой, — лицо это было ему в ту минуту ближе, чем когда-либо прежде. Целина молчала. В этом молчании было больше горечи, чем в словах укора, чем в крике протеста, чем в язвительнейших жалобах. Вдруг, по-прежнему полулежа, она погладила его руку. Он заплакал.

Несколько дней спустя он писал Домейке: «Застаю один консилиум у постели жены, другой у постели маленького сына... Помимо отсутствия финансов, я не в состоянии был ничем заняться. В течение этого времени я не мог ничего читать и даже газет, читая, не понимал. Я пережил больше горя, нежели то, что описываю тебе».

Тем временем доктора решили поместить госпожу Целину в лечебницу, предполагая, что временная разлука с мужем и детьми может улучшить ее состояние. Больную поместили в частную лечебницу в Ванв, дочку взяла госпожа Фоше, сына взял каштелян Плятер.

«Я безмерно утешился, любимая Целина, — писал некоторое время спустя Мицкевич жене, — услышав, что ты спокойнее, а стало быть, ближе к выздоровлению. Если только удержишься дольше в этом хорошем состоянии, то все наши несчастья развеются. Молю тебя, постарайся, чтобы это было так!.. Нашу квартиру я давно покинул. Живу теперь в городе, чтобы быть ближе к детям и видеть их каждый день. Напиши, пришлись ли тебе туфли впору».

Период этот Мицкевичу было особенно трудно пережить. Он испытал уже всяческие несчастья, но каждое новое бьет по человеку со свежей силой. Можно сказать, что дно несчастий подвижно и никогда не ведомо, не опустится ли оно еще ниже. К действительно плачевным житейским обстоятельствам прибавились еще угрызения совести. Он мало спал в эту пору и ел не досыта. Глаза его, всегда глядевшие, «как будто он из недр земных хочет нечто исторгнуть», запали теперь на исхудавшем лице. Он явно опустился. Платье его, всегда оставлявшее желать много лучшего, в эти дни пришло в полный упадок. Он имел обыкновение обрывать пуговицы на сюртуке. Никто ему их теперь не пришивал. Одиночество его

углубилось, но одиночество это было мертвенное, мучительное, нетворческое.

«За полгода, — жалуется он брату своему Францишку, — я столько перенес несчастий, что и сам не знаю, как я вытерпел. Но иссох, отоцал телом и духом. Только теперь начинаю приходить в себя».

В одной из записок жене поэт писал: «Слышу, что ты беспокоишься о скверном состоянии наших финансовых дел. Не тревожься. Провидение нас не оставит».

И впрямь, он мог рассчитывать только на провидение. Эмиграция слишком занята была собственными дразгами, чтобы помнить о поэте. В эти дни, когда Мицкевич терпит крайнюю нужду в крохотной квартирке на Рю Сен-Николя, куда он перебрался из пустой и холодной квартиры после отъезда жены; когда дети его находятся у чужих людей, принятые из милости; когда весь этот грустный семейный исход не мог произойти настолько тихо, чтобы весть о нем не достигла ушей повелителей эмиграции, — на одном из приемов, где были также приглашенные французы, кто-то спросил князя Чарторыйского, знает ли он о несчастьях Мицкевичей. Князь Адам Чарторыйский, измученный вечными петициями, был недоволен, что ему именно теперь тычут в лицо нищетой одного из изгнанников. Его длинное лицо, похожее на лицо престарелой дамы, вытянулось еще больше.

«Мое благорасположение к семейству Мицкевичей известно, и я сделаю все, что в моих силах. Но ваша милость знает, как трудно теперь с деньгами и кредитом».

Общество как раз вставало из-за стола, и князь перешел в салон вместе со своими гостями.

Тем временем состояние здоровья госпожи Целины после некоторого нестойкого улучшения снова ухудшилось. Вопреки запрету врачей Мицкевич перевез ее домой. Дома сознание ее прояснилось. Возвратились и дети. Единственным проблеском в их жизни была лишь надежда на выезд в Швейцарию. День отъезда все приближался, и его нетерпеливо ожидали супруги, которым в течение последних месяцев окончательно опротивел Париж. Ибо в перемене места несчастные часто видят единственное спасение, не вполне отдавая себе отчет в своем состоянии, которое обитает в них самих, а не в том, что их окружает, так что перемена места может помочь лишь немногим и только ненадолго.

Накануне отъезда, 10 июня, друзья устроили поэту прощальный обед. Присутствовало около 40 человек. Князь Чарторыйский не явился, написал, однако, графу Плятеру письмо, в котором оправдывал свое отсутствие:

«Любезный граф! Чрезвычайно сожалею, что только нынче и так поздно узнал о сегодняшнем обеде в честь нашего достойного, уважаемого Мицкевича, — если бы не это, то я, конечно, был бы вместе с другими земляками нашими, пришедшими проститься с ним, ибо могу сказать, что никто из них не желает ему больше счастья, чем я, и никто выше меня не ценит его души и гения».

*

Усиленно занятый преподавательской деятельностью, Мицкевич не много имеет теперь времени для размышлений: быть может, в этой постоянной работе он находит оправдание перед самим собой, оправдание своего нетворческого существования.

«Окна моей комнаты выходят на Женевское озеро и на Альпы; жаль только, что до озера далеко. Мне милее наши литовские пейзажи, где можно тут же лечь и поспать, чем эта сверкающая вдали мишура, утомляющая глаза как камера-обскура».

«Я живу в красивом доме, у меня здесь большой зал с огромными зеркалами и громадными окнами, из которых открывается вид на сад и на озеро.

По правде говоря, эта квартира — самая большая и, пожалуй, единственная моя отрада. Часто нападает тяжелая тоска по Литве, и все время вижу во сне Новогрудок и Тугановичи».

Так он пишет. И впрямь, его снедала тоска по родине. К старой уже тоске прибавилось новое чувство, которое трудно было выразить, чувство чего-то нереального во всем том, что его окружало.

Подлинной реальностью был какой-то слякотный и расплзшийся за канавы литовский проселок, какие-то усадьбы под сенью лип и тополей, какая-то корчма, какие-то обшарпанные сермяги и лапсердаки. Там были родные места, где можно было тут же улечься и выспаться. Здесь была только блистающая стена воздуха, как бы искусно выполненная объемная карта с озером, массивом Альп, архитектурой города.

«Город Лозанна, впрочем, довольно скучен. Обитатели его к нам расположены, и нам было бы здесь хорошо, если бы мы могли привыкнуть к чужой земле. Но тщетно. Мы, как цыгане, повсюду гости».

Чувство тоски по родине, приумолкшее некогда после завершения «Пана Тадеуша», чувство, заглушенное парижским шумом и

эмигрантскими склоками, это чувство ежеминутно тут пробуждают виды природы, обманчиво подобные той, литовской: какой-то клочок луга, купы деревьев, уголок озера. Счастливые места, блаженные острова мира и покоя, на которых еще только семь лет назад рождалась его поэзия. Настала пора великого неурожая.

После короткого лирического стихотворения «Над водным простором чистым», написанного почти год назад, всего несколько новых стихов; их немного, пожалуй, меньше страницы «Пана Тадеуша», если набрать их в два столбца, ибо размер стиха преимущественно короткий. Удивительнейшее из этих стихотворений — то, без названия, в колеблющемся ритме, с несколько ослабленной логической связью и небрежностью синтаксиса, напоминающее как бы народное заклинание, стихи о блужданиях и сетованиях души, души, покинувшей тело:

Когда, как труп, сижу я между вами,
Гляжу в глаза, беседую с друзьями,
Душа в тот миг далеко, ах, далеко,
И все скорбит, глубоко, ах, глубоко!

Есть милый край, отчизна дорогая,
Где сердца моего живет родня большая,
Тот край милее мне, чем все края другие,
И люди ближе там, чем кровные родные.

Туда я от трудов, заботы и забав
Бегу, под соснами сижу и наслаждаюсь,
Лежу среди густых и благовонных трав,
За воробьями там и мушками гоняюсь.

И вижу, как с крыльца сбегает в лес она
И, ножкой белою среди зелени мелькая,
Купается в хлебах и светит нам, ясна,
С вершины дальних гор, как зорька золотая.

Ничего тут не осталось от бывшего синтаксиса Мицкевича. И внутренний тон — иной, поэт заглядывает в самого себя, как в бездну, заглядывает в бездну души, а уже не только предчувствует эту бездну, как это было в дрезденских «Дзядях», — нет, он именно заглядывает в нее.

Тот край милее мне, чем все края другие,
И люди ближе там, чем кровные родные, —

говорил живописец пейзажей «Пана Тадеуша» и отец нескольких детей.

Есть в этих творениях — и в этом, и в стихе:
Прясти любовь, как шелковичный червь
Нутром своим прядет мерцающие нити,—

и в других — как бы отдаленное сходство со стихами Гельдерлина эпохи его безумия.

И тут и там стираются четкие контуры, оба поэта как бы ослеплены, оба поэта смотрят как бы внутренним взором, который придает прозрачность всем словам и образам.

Автор «Оды к молодости» и «Фариса», не брезгавший широким шиллеровским риторическим жестом, могучими извивами фразы, строки, напряженной до последних пределов, Мицкевич говорит тут шепотом, отрывочными строками, колышущимися в ритме колядки.

Полились мои слезы, лучистые, чистые,
На далекое детство, безгрешное, вешнее,
И на юность мою, неповторную, вздорную,
И на век возмужания — время страдания:
Полились мои слезы, лучистые, чистые...

В этих нескольких строках есть отречение, чувство, которого доньше не ведал Мицкевич, или, вернее, чувство, от которого он умел защищаться, он, восклицавший: «Защити меня от себя самого!»

Но была также в этих утаенных от всех стихах некая заповедь иной поэзии. В них он как бы поднимал завесу над первыми кущами Земли Обетованной, земли, в которую он уже не мог войти, ибо в нем не было уже прежней веры и прежних сил. И все же он сплетает время от времени замыслы стихов и поэм, поднимается на миг, как подстреленная птица, чтобы едва поволочить крылами.

«Не скоро я смогу состязаться с тобой на лире, — пишет он Богдану

Залескому 29 ноября 1839 года, — так спой пока за нас, мой соловушко. Если бы Юзеф что-нибудь из твоих стихов для меня переписал, он доставил бы мне превеликое наслаждение!»

«И все же наконец, — благодарит он Залеского 7 января 1840 года, — ты хоть несколько песенок прислал. Муза да вознаградит тебя! Эти песни еще больше понравились мне среди холодов и латинского тумана, сквозь который я пробираюсь. Но они и без того архипрекрасны. «Бед-беда» — запевка, превосходно задуманная и выполненная, и если бы я писал теперь стихи, то позавидовал бы твоей выдумке. Я часто напеваю ее и намерен когда-нибудь написать к ней музыку. Разумеется, когда у меня будут деньги и я брошу литературу и книжки, осяду в деревне и буду сочинять музыку. Намерение давнишнее, вот только никто ни капельки не верит в мои музыкальные таланты. Увидим, кто прав. У меня в этом отношении, как говорит Словацкий, запас иронии, которого хватило бы на всю публику. Но, но это твое сонное стихотворение — изумительная и архи-изумительная вещь. Представь себе, в августе или в сентябре я написал или набросал на бумаге несколько десятков стихов для первой части «Дзядов». И там то же самое: юноша скитается среди могил. Только у меня фантастичней: он спит, а над ним хором напевают и седая полынь, и лебеда, и улитки, *etc.* Вдохновение исчезло, и я бросил писать. Твой отрывок даже испугал меня — так он хорош! Кто знает, не обкрадываешь ли ты нас теперь во сне, похищая всю поэзию? Кто знает, не притягиваешь ли ты теперь к себе с огромной силой все тепло и весь свет поэзии? И вот видишь, почему мы не пишем».

Мицкевич писал все это «поэту украинской школы», который в эти месяцы, сидя в Страсбурге, плел длинные цепи рифм своего «Збарасского похода» или слагал песенки, якобы народные, свято веруя, что он один теперь, когда Мицкевич умолк, продолжает эту поэзию, которую в те времена с анахронистическим преувеличением называли «пророческой» и «вещей».

Укреплял его в этой приятной убежденности «пан Адам» (они были на дружеской ноге), Мицкевич порою говорил о Богдане с оттенком чуть заметной иронии или скорее снисходительного доброжелательства, чтобы, однако, вскоре с кафедры Коллеж де Франс воздать официальную уже похвалу виршам Залеского.

И, однако, прав был кто-то иной, недооцененный ими обоими, едва замеченный поэтом-демиургом, который, отработав свои шесть дней, на седьмой опочил и замолк.

Прав был Юлиуш Словацкий, когда в своей нигде не опубликованной

статье о поэзии «украинского лирика» (Залеский быстро вошел в пантеон пророков, и горе дерзновенному, который бы захотел изгнать его из этого капища общенародной Сивиллы), расщепляя стих за стихом, убедительнейшим образом доказывал, насколько тоща и худосочна по сравнению с искусством великих поэтов эта рифмованная болтология «поэта украинских степей».

А Богдан Залеский тем временем, ничего не ведая об этой критике, которая почивала себе среди иных бумаг на квартирке по Рю Кастеллан, 11, строил лиру, считая себя «Вещим Бонном Полонии и Всеславянским Гомером».

За два года до того, как гусяное перо поэта-отшельника вывело каллиграфически слова: «О поэзии Богдана Залеского», — Мицкевич писал Богдану из Швейцарии в письме, помеченном 24 апреля 1840 года:

«Витвицкий^[168] говорит, что ты печатаешь в Страсбурге «Збарасский поход». Я рад что печатаешь, но опечален, что в Страсбурге, раз можно было на родине. Я убежден, что эмиграция немного извлечет из твоих стихов, что она их не оценит, что любая брошюра против Дверницкого или какого-нибудь комитета больше занимает наших, чем твои гимны.

Эмиграция слишком бедна и достаточно глупа, а значит, неспособна слушать песни. Ты не поэт эмиграции и не будешь им. Ее поэт родится разве что в ней самой, до чего мы не доживем. Ты пиши для народа».

И Залеский писал для народа. И народ его читал. А впрочем, читал ли? На польских землях цензура некоторым образом освобождала от обязанности читать творения вещей поэтов, слава которых — крылатая особа, не отягощенная пачками книг, — перелетала пограничные кордоны.

Читал ли его народ изгнанников? Читала ли его эмиграция? Каково реальное соотношение статистики читательского спроса к статистике славы? Сколько людей тогда в эмиграции и в Польше действительно читало Мицкевича? Никогда мы этого не узнаем. И этот пробел в наших познаниях, конечно же, не приближает нас к познанию столетия и его людей.

В то время когда Мицкевич преподавал в Лозаннской академии латинскую словесность, постепенно привыкая к своему ярму, в Париже министерство просвещения решило учредить кафедру славянских литератур.

«Кажется, — писал журнал «Третье Мая»^[169], — что Адам Мицкевич непременно получит кафедру славянских языков и литературы во Французской коллегии (Коллеж де Франс). Это будет важным событием.

Поляк столь известного патриотизма, столь великой учености и вдохновения будет в столице культурного мира открывать, объяснять и учить тому, что есть славянство».

«Млода Польска»^[170] (от 25 апреля 1840 года) Сообщила: «Министр просвещения г-н Кузен запросил от палаты депутатов кредита в шесть тысяч франков на учреждение при Французской коллегии кафедры славянских литератур и языков.

Известно, что общественное мнение и выбор министра предназначают это место для Адама Мицкевича».

Домашние хлопоты и несчастья тем временем не прекращались. Госпожа Целина, родив дочку, тяжело заболела. У маленького сына было воспаление мозга, и он еле избежал гибели.

Лекции, однако, должны были идти своим чередом. Профессор быстро привлек к себе швейцарскую молодежь размахом своих лекций, широкими историко-философскими мазками, отсутствием сухости и педантизма которые обычно присущи столь ученым специалистам. Преподавательская работа, несмотря на все тяготы, давала ему полное удовлетворение. Горный климат укреплял его здоровье и улучшал самочувствие.

Нужно было, однако, оставить этот красивый город и эту работу, которая становилась все легче по мере накопления заметок, материалов и опыта.

Грустно было также покидать друзей. Ближайший из них, профессор и поэт Жюст Оливье^[171] (переписка которого с Сент-Бёвом помогла Мицкевичу получить кафедру как в Лозанне, так и в Париже), был почти домочадцем изгнанника.

Госпожа Каролина Оливье, урожденная Рюше, так же как и ее муж, пишущая стихи, женщина красивая и высокообразованная, дарила Мицкевича чувством, назвать которое дружбой значило бы это чувство обеднить.

Она осталась верна этому чувству и после отъезда поэта в Париж не однажды гостила в доме Мицкевичей.

Стихотворение ее «Au poète Mickiewicz» вопреки условной романтичности, проливает некоторый свет на дружбу-влюбленность экзальтированной лозаннской поэтессы.

Эта тихая страна была, однако, не создана для бурного изгнанника. Он покидал ее с грустью, но в то же время с сознанием, что иначе и быть не может.

«Мы благополучно прибыли в Париж, здоровы, по крайней мере более

здоровы, нежели до путешествия, — писал Мицкевич Виктору Юндзиллу^[172]. — Ищем теперь квартиру и мебель. Я целыми днями бегаю и вижу, что отвык от парижских расстояний, так что очень устал... Эмиграцию нашел постаревшей, но суетливой и беспокойной».

В эмигрантской печати не было недостатка в нападках и поношениях. Уверяли, будто Мицкевич москальскими способами добился кафедры, писали о его былых триумфах в салонах Москвы, Одессы и Петербурга.

Никчемные завистники всячески клеветали на него и старались его унижить.

Мицкевич молчал, ибо он был беззащитен перед клеветой.

ПИР У ЯНУШКЕВИЧА

В первый день рождества Эустахий Янушкевич дал ужин в честь Мицкевича, который за три дня до того открыл курс славянских литератур в Коллеж де Франс. Событие это, немаловажное в жизни эмиграции, почти совпало с днем рождения поэта. По случаю сочельника торжество было перенесено на первый день праздника.

Янушкевич, издатель сочинений Мицкевича, принадлежал к числу вернейших поклонников и друзей поэта. Это был человек образованный и предприимчивый. Он закончил юридический факультет Виленского университета, позднее под началом Самуэля Ружицкого сражался в дни восстания. В первые годы скитальчества Янушкевич издавал «Польского пилигрима».

Вместе с Александром Еловицким Эустахий основал книжную лавку и издательство. Тут печатался «Пан Тадеуш», здесь вышла в свет «Небожественная комедия», тут также появились «Три поэмы», «Балладина» и «Ангелли»^[173]. До нас дошло несколько писем Словацкого к Янушкевичу, а также шуточное стихотворение, сочиненное в Ливорно, в карантине.

Янушкевич относился к Словацкому не слишком благосклонно, так же как и, другие поклонники Мицкевича, однако пригласил его на ужин.

Просторная квартира Янушкевича была торжественно украшена цветами национального флага; лестницу, ведущую на второй этаж, устилал пушистый ковер, так что входящие не слышали собственных шагов. В шандалах пылали свечи. Елочка безо всяких украшений, с истаявшими до половины свечками стояла в углу салона на дощатой крестовине затем лишь, чтобы напоминать изгнанникам отчизну.

Гости собрались в большом салоне и в ожидании ужина одни прохаживались группами, другие расселись в креслах, третьи беседовали, стоя у фортепьяно или у большого окна, выходящего на парижский двор.

Разговоры их никто не застенографировал. Можно только домыслить их содержание и восстановить его с известной долей вероятности. В разговорах этих должно было быть множество вещей вздорных, неприятных и незначительных. Однако следует быть снисходительным к тем, кого уж нет.

Стоящие у окна болтали:

— Эустахию взбрела в голову блестящая мысль — пригласить нас нынче.

— Он зарабатывает на жизнь книжками, стало быть, должен заботиться об авторах, которые их сочиняют.

— Ты полагаешь, что наши земляки покупают книги, а я тебе ручаюсь, что мало есть таких, которые читают, и еще меньше таких, что покупают книги.

— Есть и такие, которые книжки и покупают и читают.

— Вот говорят, будто пан граф Рачинский^[174] до того влюблен в книги, что приказывает на десерт читать себе вслух литовскую поэму пана Мицкевича. За доставленное ему наслаждение он послал автору несколько сот франков, якобы в знак признательности и поощрения ради.

— Говори потише. Потише говори, тебя могут услышать.

— Пан Адам покуривает свою трубку и ничего не принимает слишком близко к сердцу. Я его знаю. Попробуй сказать ему что-нибудь, чего он не одобряет, и он сразу набросится на тебя с отчаянным пылом. Говорят, что он не выносит Словацкого.

— Говорят, что Словацкий — безумно надменный господин, что иронии у него хватит на всю публику, которая его, впрочем, не читает.

— Что ты говоришь? Наши соловьи распевают так громко, что ничегошеньки не слышат.

— Зачем Эустахий свел их? Ведь и он терпеть не может пения, даже соловьиного.

— Ты не любишь поэзии Словацкого?

— Говорят, что не стоит читать.

— Не стоит, ибо понять невозможно. Такой уж он поэт. Не национальный. Вот, например, «Балладина», трагедия. Действие происходит якобы в Польше, а написано так, как будто бы англичанин, или итальянец, или француз написал. Не язык, а какое-то чириканье! Не шляхетский слог.

— Не шляхетский! Этого вам достаточно. Шляхта не понимает! Но что понимает ваша шляхта? Полагаю, что не так уж много!

— Говори потише, ты же в приличном обществе.

В другом углу салона шел еще более бестолковый разговор.

— Отчим его, доктор Бекю, знаете... а сын...

— Правда ли, что Гуровский признает такое революционное правило, что каждый, кому больше сорока лет и кто имеет известные доходы, в этом их республиканском государстве будет отправлен на эшафот? Я слышал, как Гжимала грозился...

— Береги свою голову, Щавель, ведь тебе уже, вероятно, за сорок. Не пей нынче, воздержись.

— Когда же, наконец, подадут ужин?

— По мне, так главное дело — вино.

— Чего это они так разорались?

— Старому Немцевичу, когда он как-то на днях рассказывал нам о четырехлетнем сейме^[175] и о пане Костюшке, вино так в седую голову ударило, что он проговорил четыре часа не переводя дыхания.

— Ну, это ты невесть чего несешь! Ведь старик до того размяк от вина, что не дошел даже до середины рассказа.

— Скучный он, хоть и весьма почтенный.

— Сколько ему лет, Урсыну?

— Bravo, Щепановский^[176], bravo!

— Знаете, он был бы первым в Польше гитаристом, а в Париже не знает, куда сунуться.

— Тише, господа!

Раздвинулся занавес, послышались рукоплескания, и гости увидели месяц, всходящий над деревьями, в тишине, в мертвой тишине — ведь уснули даже псы. Юные влюбленные, имена которых звучали на латинский лад, чуждый этим простым краям и сельским нравам, выходят еще раз, чтобы повторить, как в водевиле, свою старую драму. Из гитарного перебора внезапно вытянулась ветка явора, и показалось вдруг, что музыкант насадил лес посреди зала, — пахнуло листвой и малиной. Гости слышали с детства знакомые стихи:

Лучше корзинку повешу я рядом,
Здесь на ветвях, близ веночка.
Утром он к явору выйдет со стадом:
То-то потешу дружочка!

Нет! Он изменник! Обнял Дориду.
Как поцелуи их жарки!
Чем отомщу я ему за обиду?
Спрячу-ка эти подарки...

Как ты запальчива и тороплива!
Ты уж прости мне, Лаура,
И не карай меня несправедливо.
Что же ты смотришь так хмуро?!

Влюбленные приближаются друг к другу, сплетают руки, сливают уста в нежном лобзании. Коротка летняя ночь, поют вторые петухи, заря всходит над бором, меркнет луна.

Ниспадают театральные наряды, прерывается брэнчание гитары, раздаётся стук отодвигаемых кресел.

— Ты спрашиваешь, сколько Урсыну лет? Право, не знаю, но вспомни, что это он привез возлюбленного Юстины в Варшаву, ко двору его королевского величества Станислава Августа. Эту Лауру или Юстину на самом деле звали Августой Брёссель.

Но в этот миг Щепановский увлекал уже своей гитарой вдаль, к иным временам и деяниям. Звуки «Мазурки» Домбровского раздались в полной тишине столь ясно и отчетливо, что присутствующие воочию узрели то, о чем любой из них втайне мечтал: польское войско. Казалось, будто гитарист, терзая струны своего невзрачного инструмента, сорвал какой-то заслон с сотен верст пространства, отделяющего их от этого зрелища.

Все оцепенели, оцепенел каждый в своих воспоминаниях, будто в молитве или в грезах о будущем, которые внезапно вырвались на волю и облеклись в мимолетные и незримые формы... Отзвуки мазурки еще дрожали в воздухе, когда в группе молодых людей, стоящих в сторонке у окна, за которым на фоне ночного неба видны были ветви дерева, кто-то шепотом кончал рассказывать:

— Конарский^[177] первым выскочил из саней, звенел кандалами, когда шел по снегу. Смелыми шагами приблизился к штабу, поздоровался со своими палачами. Кветницкий подал ему руку. Все молчали. Некоторые плакали. У одного лишь Конарского лицо было светлое, умиротворенное, ясный взор. Казалось, что он идет не на место казни, казалось, что это только этап, откуда его отправят на свободу. Я не мог дольше смотреть. Убежал. Не видел, что случилось потом.

Кто-то спросил:

— Так Конарского расстреляли?

В этот миг Щепановский перестал играть, раздались громкие возгласы «браво».

Каштелян^[178] Людвик Плятер пригласил собравшихся к ужину, за столом рассаживались с охотой, ибо успели проголодаться. Все совершалось в большом порядке, каждый занял заранее предназначенное ему место, каждый прочел свою фамилию на карточке рядом с салфеткой.

За ужином председательствовал Людвик Плятер. Когда были подняты

первые тосты и осушены первые бокалы, настроение у всех поднялось, все стали красноречивы до чрезвычайности, одни — чрезмерно предупредительны, другие — чрезмерно фамильярны.

Их сковывало, однако, присутствие Мицкевича. Нынче был его день рождения.

А вчера был сочельник, который там уже по счету — на чужбине, вдали от родных очагов, к которым им никогда уже не суждено вернуться. Гостей радовало, что нынче, в первый день праздника, они могут быть вместе; гости надеялись, что печали и горести они утопят в вине, а вина было вдоволь, и все с признательностью это приняли.

Провозглашая тосты, осушая бокалы и старательно жуя, они не переставали разговаривать: некоторые — громко, даже слишком громко, почти громогласно, другие — шепотом, отдавая должное серьезности трапезы.

Сидящие у входных дверей, в которых то и дело показывались и исчезали слуги, вели такой разговор:

— Готов побиться с тобой об заклад на бутылку шампанского, что Адам будет импровизировать.

— Но как его купить, шампанское-то, когда даром дают?

— Да он уже импровизировал, я был, слышал. Пришел на час раньше, был курс Ампера, но уже нелегко было найти место. Французы, поляки, даже подданные египетского паши, их-то сразу можно было узнать по фескам. Сплошной шум и гомон, болтовня ожидающей публики. Наша Полония, как всегда, шумлива. Вдруг раздались аплодисменты. Вошел профессор. Он был в пальто, одет как всегда, только новая шляпа в руке, волосы растрепаны... Огромный зал, скамьи идут амфитеатром, почти под самый потолок, кафедра внизу, так сказать, под ногами слушателей. Пан Адам начал с объяснения того, как трудно ему, иностранцу, передать на чужом языке тот пламень, который творил произведения литературы, имеющей быть предметом курса. Я посмотрел в зал. Полно чужих лиц, хотя и знакомых немало. Несколько десятков женщин — все одни польки. Возле кафедры за барьером — Урсин Немцевич, князь Адам Чарторыйский, Монталамбер, Сальванди... несколько русских. Среди них Тургенев^[179]. Вдруг какой-то каменщик, тут же за окном работавший, начал негромко постукивать. Тотчас же один из слушателей отворил окно и приказал ему идти прочь, потому что он мешает. Тогда-то профессор и снял пальто. Позднее уверял, что ему было жарко, ибо выпил перед лекцией шампанского. Но, может быть, и не потому только... Кажется, когда он еще читал лекции в Лозанне, он жаловался порой, что ему во время лекции

становится жарко. Вот и теперь... Говорил очень плавно... о географической беспредельности народов и Литератур славянских, о давней борьбе между Польшей и Россией, наконец, о недостатке сведений из первых веков истории славянства. Тацит оставил краткое упоминание о германцах, вокруг этого упоминания вырос лес комментариев. Но где же свой, славянский Тацит? Собственно, о литературе он еще не говорил, разве что поставил Богдана Залеского на одну доску с греческими лириками, что, как мне кажется, есть грубое преувеличение... Я не все запомнил. Многие делали заметки. Профессор недоволен этой первой лекцией. Говорил, что, идя на лекцию, был не в ударе, что был в кислом и грустном расположении духа. Я этого не заметил. Говорил без аффектации. Именно это мне больше всего понравилось.

— А я не люблю, когда кто-нибудь говорит без чувства, хочу, чтобы меня слова волновали.

— О, не печалься, этого будешь нынче иметь предостаточно.

— Видишь этого чернявого юношу, который встал и просит слова? Это корсиканец, земляк Наполеона. Услышишь сейчас.

Корсиканец от имени Италии приветствовал Мицкевича как католического поэта, в словах поэтичных, чрезмерно подчеркнутых жестикуляцией и мимикой. Речь его одним понравилась, другим не по душе пришла ватиканская этикетка при фамилии национального поэта. Некоторые начали ворчать. Но каштелян Плятер отвлек всеобщее внимание от корсиканца, предоставив слово Юлиушу Словацкому. Словацкий встал и в течение целой минуты, показавшейся бесконечной, молчал, ожидая, когда все утихнут.

Стоящие у стены против входных дверей разговаривали шепотом:

— Он бледен, как будто вся кровь из него вытекла. Кажется, все поэты, когда говорят стихами, бледны, пророчества их благодаря этому кажутся более правдоподобными, хотя, по сути дела, ничего не значат.

— Что ты можешь об этом знать?

— Ничего.

— А я, когда чуть под шафе, понимаю поэтов.

— Стало быть, ты понимаешь что-нибудь в его стихах?

— Мне показалось, что он разговаривает сам с собой, но это только притворное, ибо он обращается к нам всем.

— Сколько надменности в этом тщедушном теле!

— Ответит ли ему пан Адам собственной импровизацией?

— Какие аплодисменты! Он их честно заработал... измучился так, что даже пот выступил у него на лбу.

— Сатана тоже потеет, когда стоит пред ликом господним.

— Слышите, какой одобрительный шумок? Все эта импровизация!

А пан Юлиуш, услышав рокот и шепот, нехотя поднялся снова и произнес несколько фраз голосом чуть дрожащим, глубоко взволнованным. Казалось, что этот голос добивается сочувствия, что он хочет пробиться сквозь равнодушие или неприязнь слушателей, которые, что бы Словацкий ни сказал, не изменили бы своего мнения о нем. Мнение это было широко распространено среди эмигрантов, его поддерживал авторитет Мицкевича. Словацкий знал, что эти люди истерзаны несчастьями отчизны, которые были одновременно и их несчастьями самого личного свойства. Он знал, что людям этим не нужно искусства. Их поглощала всеобщая нужда, которая постепенно сокрушала в них все более утонченные и бескорыстные чувства. Они с головой ушли в борьбу политических партий. Они не понимали искусства, которое не говорило о делах, непосредственно их касающихся, не понимали и поэтому ненавидели. Ненавидели поэта, который говорил им об этих делах языком трудным, считали его гордецом, забывая, что ненависть к нему порождала их собственная спесь. Поэтому напрасно пытался он истолковать в своей новой импровизации то, что всего минуту назад уже поведал им, напрасно пытался он истолковать им это языком, которого они не хотели понять. Если бы это был даже язык ангелов, они не вняли бы ему. Они не читали поэм Словацкого, поскольку у них не было ни терпения, ни отваги, чтобы противопоставить себя всеобщему мнению, которое утверждало, что, дескать, и не стоит читать. Поэтому в почестях, которые воздавал Мицкевичу Словацкий, он, понимавший поэзию своего предшественника лучше, чем все они, в этих демонстративно воздаваемых почестях было столько горечи.

В некий миг присутствующим показалось, что Словацкий упал на колени, иные видели, что он бросился к ногам Мицкевича. Но никто не умел сказать, как оно было в действительности; свидетельские показания их были противоречивы и по мере того, как ужин отдалялся от них во времени, разукрашивались все новыми подробностями, как раз такого сорта, какие именно Время непременно должно было бы стереть в памяти. Примерно так было бы, если бы кто-либо изменил порядок вещей в ландшафте и сказал, что на горизонте мы должны четко различать отдельные листики деревьев и орнаменты старинных церквей, которые ведь видимы на почтительном расстоянии только как пятна и контуры.

История, великая преобразовательница перспектив, уменьшающая либо увеличивающая фигуры людей, предметы и события в своих стеклах с вогнутыми или выпуклыми линзами; история, которая является мастерицей

в этом трудном жанре — ибо деяния ее должны возбуждать милосердие и трепет, — вмешалась также и в это незначительное, по сути, событие. Слушатели начали снова рукоплескать, видя, что Словацкий окончил. Именно в этот миг Щепановский ударил по струнам легко, как бы нехотя, чтобы, с каждой секундой усиливая тон, поднимать его выше и затем вновь понижать, подбросить куда-то ввысь, за сферу инструмента, чтобы позднее из воздуха призвать исчезнувшие в нем звуки и сочетать их все разом в ударе пальцев.

Звуки утихли, и, прежде чем слушатели успели остыть, поднялся Мицкевич.

— Нет, не поднялся, — говорил позднее Стефан Зан^[180], — сорвался, как рыцарь-храмовник былых времен, как архангел наконец. Что он говорил? Никто не знал и не знает. Но все это общество, разгоряченное вином и гитарными аккордами, все это общество изгнанников, вечно ожидающих чего-то — чуда, явления, — вовсе и не собиралось проникнуть в суть того, что говорил импровизатор. Они даже и не могли понять его речь. Слова стихов, произносимые быстро, напористо, едва появившись, исчезали, задавленные внезапным оборотом фразы, заслоненные лицом поэта, которое и впрямь лучилось от возбуждения. Если бы Мицкевич не сказал бы ни единого слова, выражение его глаз, мощь жеста, свидетельствующие о внутренней взволнованности, сами по себе показали бы великолепнейшей поэмой. В любой импровизации таится некий невольный обман, ибо импровизация тщится быть шедевром непосредственности, а всем существом своим противоречит искусству, в котором обдуманность и конструкция никогда не бывают излишними.

Если Мицкевич сказал тогда, что не подбирает рифм и не считает слогов, то была в этом признании, продиктованном непосредственной искренностью, некая ложь. Нет, он подбирал рифмы, шлифовал стихи, но в эту минуту попросту метил в сидящего рядом с ним младшего поэта, который его вызвал на этот словесный поединок. Пан Адам молотил его словами изо всех сил, падал на него, как гигантская птица, и не ведал жалости. А Юлиуш Словацкий, его соперник и смиренный почитатель, преисполненный, однако, чувства собственного достоинства, которое враги и глупцы называли сатанинской гордостью, Юлиуш Словацкий дрожал в эти мгновенья, корчился, и его испуганные глаза словно искали, где бы можно забиться под землю.

Потом голос импровизатора зазвучал мягче. Мицкевич вспоминал детские годы Словацкого. Быть может, воспоминание о собственной молодости, вторгшееся в этот поток фраз, смягчило и изменило тон его

речи. Первые опыты Словацкого он, Мицкевич, держал тогда в руках. Теперь он запоздало воздавал должное молодому поэту.

Словацкий, который в совершенстве формы видел и нравственное совершенство, только этого признания и жаждал, желал только этой похвалы из уст Великого. Услыхав ее, он утратил былую напряженность, лицо его озарилось улыбкой. Он внезапно ощутил прилив силы и уверенности. В бурных излияниях Мицкевича о миссии, посланничестве истинных поэтов он уже не чувствовал оскорбления. Мицкевич имел право так говорить. И он, Словацкий, может, не стыдясь, принять его слова. Пан Юлиуш услышал в себе голос как бы целого рода великих поэтов, голос единственного шляхетства, единственного дворянства, воистину достойного уважения. И когда Мицкевич окончил, Словацкий подошел к нему и раскрыл объятия.

Рукоплескания, которые раздались отовсюду, вовсе не были плодом светской любезности и притворного пыла. Напротив, они были действительно непосредственными, живыми, самопроизвольными. Хотя слушатели немного поняли из импровизации Мицкевича, они чувствовали, что его устами гласило страстное и могучее чувство. Большая и неподдельная искренность заразительна. Все пришли в восторг.

У многих слушателей стояли на глазах слезы, которых они, впрочем, и не думали стыдиться. Мицкевич был почти испуган впечатлением, которое произвел он сам или скорее произвела та необыкновенная сила, что после стольких лет молчания снова дала себя знать. Ему казалось, что в нем происходит нечто таинственное, нечто, чего он не мог предвидеть. Он был печален, быть может, потому, что уяснил себе в этот миг великое несчастье жизни без поэзии, жизни поэта, лишенного возможности создавать поэтические творения. Он снова обратился к Словацкому, беседовал с ним долго, и в речах его, кротких и грустных, было примирение и понимание.

Свечи угасли в шандалах. Угасала беседа. Было это во втором часу ночи.

Из письма Адама Мицкевича Богдану Залескому, Париж, 26 декабря 1840 года:

«Вчера мы были на обильном ужине у Эустахия Янушкевича. Вызванный импровизацией Словацкого, я ответил с вдохновением, какого не чувствовал со времени, когда писал «Дзяды». Вышло хорошо, так как люди разных партий плакали, и полюбили нас, и на мгновение все преисполнились любви. В этот миг дух поэзии был со мною».

Из письма Юлиуша Словацкого матери, Париж, 10 ноября 1841 года:

«Надо тебе знать, что на одном вечере мы оба выступали с

импровизациями... Друзья моего соперника, видя, что мы имеем одинаковый успех, сразу решили чем-нибудь меня обескуражить и унижить, Для этого они 1) предложили, чтобы я после его импровизации поднес ему кубок, чем я, так сказать, признал бы его первенство, 2) написали тут же в иногородние газеты бесстыдную клевету... будто Ад[ам] мне сказал, что я не поэт. Последствия для них были самые неприятные, я же решительно отряхнулся от всей этой грязи, так что они сейчас черт знает как злятся.

Должен тебе сказать, что Адам якобы не знал об этой пущенной ради него клевете, во всяком случае, так он теперь меня уверяет. Но он обязан был знать и опровергнуть ее — ведь тогда на вечере в своей импровизации он не только отдал мне должное, но еще хвалился тем, что ты много лет назад показывала ему мои первые стихотворные опыты и он уже тогда предсказывал, что меня ожидает великая и прекрасная будущность.

...Этим он меня тронул, и в тот вечер мы с ним ходили, по-братски обнявшись, и обсуждали былые наши распри... И если бы люди не испортили все, то мы и до сих пор были бы в прекрасных отношениях».

Из фельетона Юлиуша Словацкого, озаглавленного «Летняя ночь»:

«Верно, вы слышали об одной славкой зимней ночи, о двух импровизирующих поэтах — о слезах слушателей, обмороках критиков, объятиях корифеев, которые, столько лет разделяемые обстоятельствами, наконец, побратались душами... а души их были так светлы, как тень Ангелли, шествующая по сибирским озерам, — и даже будто бы в зале разлилось благоухание ландыша и разгорелась заря, алый блеск душ... Ложь!.. Знаете ли вы, что происходило той ночью? Адам сказал Юлиушу прямо в лицо, что он не поэт, а «Познанский еженедельник»^[181], повторил громогласно слова Адама и назвал это импровизацией! Клянусь богом!.. Если и было так, то уж, во всяком случае, приговор этот не импровизация, а хорошо продуманная заранее поэма, которую Грабовский^[182] в критике положит краеугольным камнем литовской школы.

Возрадуемся же, что столь бурная фантазия прокладывает путь лжи, возрадуемся, что импровизации подобны тем историческим событиям, в которых Шиллер призывал искать поэзию, — ведь, исчезнув из действительности, они уже не могут воскреснуть, чтобы защитить себя, — они безгласные трупы...

Возрадуемся, ибо до Юлиуша наверняка никому нет дела; и если скажут, что той зимней ночью Адам обвинил его в нечестной игре, или в каком-нибудь мерзком пороке, или еще в какой-либо гнусности, — все равно «Еженедельник» напечатает ложь корреспондента, все равно

прокатится среди читателей эхо — громкое, неоспоримое, твердое, кончающееся словами: «Адам сказал!» О! Насколько ж лучше, что его убили только как поэта! И как добры эти литовские рыцари, способные все оболгать — или позволить оболгать, — ибо допустили только одну эту ложь. Такова поэма зимней ночи: звезды сверкали над Сеной; светил месяц; мы стояли на мосту над Сеной; бросили бледный, как Лара, труп в воду; столько раз воскресал он; может, теперь он совсем убит и никогда уж не покажется миру, — а если нет, а если он встанет, — есть у нас глыбы лжи, мы бросим в него багряные камни и закричим: «Кыш, кыш! Зачем приходишь на дзяды?»

О! Он больше не придет — клянусь!..»

ПРОРОК

После долгой череды пасмурных и туманных дней выдался первый солнечный и ясный — 14 декабря 1840 года.

Вот уже много лет в Париже не было такой суровой зимы. Однако, несмотря на адский холод, толпы, затопившие все пространство от Триумфальной арки до Дома инвалидов, терпеливо ожидали появления похоронной процессии с гробом императора. Парижане топали ногами по камням мостовой, пытаясь согреться, но это не слишком помогало им, — впрочем, их согревало воодушевление, которое явно было сильнее стужи.

Деревья, одетые инеем, уподобились в это утро ажурному зодчеству парижских дворцов. Статую императора на Триумфальной арке окружали фигуры гениев войны и мира, а также конные фигуры Славы. По обеим сторонам Елисейских полей возвышались аллегорические изваяния и колонны, увенчанные золотыми орлами.

Крылья этих орлов были в этот миг посеребрены льдом. Орлы с правой стороны, казалось, хищно высматривали, не движется ли уже в отдалении погребальный кортеж; орлы с левой — устремили взор свой в далекую перспективу, которая вела туда, где под куполом Дома инвалидов пустая гробница ожидала уже прибытия останков императора.

Скрещенное оружие, штандарты, увитые трауром, лавровые венки, та рохра mortis, великолепная и перечашая смерти гордыня, которая является одним из проявлений напряженной жизни, до неузнаваемости преобразила облик Парижа вдоль трассы посмертного шествия Триумфатора.

На борту фрегата «Ла Белль Пуль» бранные останки Наполеона были доставлены в Гавр; оттуда гроб с телом императора был перевезен в Курбевау.

Под эскортом старых солдат империи, которые всю ночь провели, на страже у моста Нейи, на восьмиградусном морозе, гроб, установленный на увитом трауром катафалке, двинулся в десять утра в дальнейший путь — к Дому инвалидов.

Старые ветераны с заиндевевшими усами и бровями, чуть похожие на орлов, которые сопровождали их в пути, иные — в мундирах, помнящих еще Ватерлоо, пытаясь унять дрожь в руках и не лязгать зубами от холода, вспоминали другую — куда более страшную — зиму, давнишнюю — ведь

тому уже почти тридцать лет!

Простояв всю ночь на карауле, ветераны промерзли до мозга костей, уже старых и хрупких костей. Но, несмотря на это, они сохраняли воинскую выправку и шли размеренным траурным шагом, шли ветераны великой армии, последние уцелевшие бойцы императорской гвардии, а за ними польские генералы, среди которых можно было видеть Бема, Дверницкого, Солтыка, Рыбинского^[183] и Дембинского.

На их мундирах мерцали кресты ордена Почетного легиона. Они шли вслед за траурным катафалком. Другие польские ветераны наполеоновских войн шли, выдерживая известный почетный интервал, вслед за императорской гвардией. Парижане указывали на них пальцами. Раздавались громкие возгласы: «Вив ла Полонь!» Толпа колышется, напирает; полиция и армия, стоящие на страже порядка, отталкивают эту вздыбленную людскую реку, этот человеческий паводок, разделенный сухой полосой проезжей части, назад, к тротуарам.

Орудийные залпы разрывают воздух и заглушают звуки речи, возгласы и оклики. Идут военные училища, идут корпорации, идет прекрасная Франция, страна 87 департаментов, Франция солдат, моряков и ветеранов.

Шестнадцать вороных коней, влекущих погребальную колесницу, колышут белоснежными султанами. На лоснящейся шерсти поблескивают золотые чепраки. Исполинская тишина; толпа обнажила головы; только подковы цокают о камни мостовой. Кони ступают так осторожно, как будто их бабки обтянуты черным сукном. Двигается погребальная колесница, украшенная императорской короной, которую покрывает фиолетовый креп.

Убийца тысяч людей, поджигатель городов и завоеватель стран возвращается в посмертной славе. Гремят погребальные трубы, потом смолкают; снова раздаются возгласы в честь умершего диктатора. В возгласах этих таится угроза Орлеанской династии.

Женщины прижимают к глазам платочки. Давно умерший, вторично погребаемый, император выжимает слезы даже из глаз тех людей, которые его в свое время проклинали. Умерший возвращается, чтобы стать мстителем за живых, голодных, за всех тех, чья жизнь напрасно растрачивается в погоне за хлебом насущным, в грязных мансардах, на фабриках и в мастерских.

Этих людей обманули живые, их обманул Луи Филипп, и они ожидают избавления от того, который грядет ныне в посмертной славе и который в этот миг больше и значимей, чем все благополучно здравствующие властители мира. Так по крайней мере казалось толпам, глазающим на величественно шествующую мимо них похоронную процессию.

Некоторые уверяли, что если бы не стужа, неслыханная в Париже, то дело дошло бы до возмущения, до революции, до марша на Тюильри.

Природа была явно расположена к Орлеанской династии и попросту предотвратила свержение Луи Филиппа в день возвращения победителя под Аустерлицем и Ваграмом.

В густой толпе неподалеку от Дома инвалидов, высоко вздымающего купол, под которым в саркофаге работы скульптора Висконти вот-вот должны были почтить останки императора, в этой толпе стоял человек малозаметный и невзрачный с виду. Он снял шляпу, легкая седина припорошила его волосы, на нем был плащ с высоким воротником; из-под очков глядели серовато-голубые глаза, удивительно пронизательные и острые. Это был Анджей Товянский^[184].

Он только что прибыл в Париж на похороны Наполеона Первого. В последние дни июля 1840 года Анджей Товянский покинул Литву, семейство, клочок земли, на котором хозяйствовал, покинул пятерых маленьких детей. На мужицкой телеге, сам правя, он выехал из-за плетней родного села, в которое ему никогда уже не суждено было возвратиться.

Впрочем, никого особенно не удивил этот внезапный отъезд, ибо Товянский слыл большим чудаком и оригиналом, в чем и сам был отчасти повинен, ибо рассказывал каждому встречному и поперечному о своих беседах с духами.

Земляки его полагали, что он непременно возвратится, как уже не раз возвращался из дальних, а порою и не слишком дальних странствий. Словом, никто уже не обращал особого внимания на его внезапные исчезновения.

Позднее, когда на Литве узнали о его странствии через Германию и пребывании в Париже, никто не спрашивал, каким это способом Товянскому удалось добиться паспорта. Российские власти не выдали тайны.

Теперь, стоя в толпе чужеземцев, литовский духовидец размышлял о судьбе Наполеона, наследником которого он себя чувствовал, наследником не по династии, а по духу.

Товянский глядел на восторженных парижан, прислушивался к их возгласам и торжественному молчанию. Его возбуждал гром пушек, то и дело раскатывавшийся в студеном воздухе над Парижем. Пришелец не чувствовал смущения или тревоги. Поглощал всеми помыслами своими возвышенную помпезность похорон.

В этот миг он видел не зиму в Антошвинцах, печальную зиму, не скотные дворы и хлева, теперь, должно быть, занесенные снегом, не все это

скарредное и унылое хозяйство, которое он, не жалея, покинул, отправляясь в дальний путь, — он видел перед собой большие пространства, перспективы, широкие и чистые, словно улицы и площади Столицы Мира.

Он никогда уже не вернется в заваленные навозом усадьбы и усадебки в Антошвинцах, он больше не будет мужицким знахарем и доморощенным сенсимонистом в кругу окрестной шляхты, которая откровенно посмеивалась над его пророчествами. Не будет пререкаться с приходским священником об истине земной и небесной, не будет пощипывать антошвинских девок.

Товянский ушел в себя и до того погрузился в раздумья, что почти не заметил пустоты, которая вокруг него образовалась. Погребальная процессия прошла. Император навеки почил под куполом Дома инвалидов. «*Exegi monumentum aere perennius... Dum Capitolium scandet cura tacita virgine Pontifex...*» — звучало в поступи уходящих батальонов.

Вдоль последнего пути Наполеона Бонапарта золотые орлы на колоннах все как один смотрели в сторону купола Дома инвалидов.

Мэтр Анджей теперь только прикрыл лысеющую голову шляпой. Ощутил пронизывающий озноб во всем теле, — литовский пророк на мостовой Парижа! И засеменял — только бы побыстрее, под крышу, в тепло!

История этого человека оказывала поразительно внушающее действие на всех тех, которые, подобно ветхозаветным иудеям, ожидают прихода мессии. Карьеру мессии, карьеру спасителя, испугателя, Товянский начал еще в Вильне.

«В те времена, — пишет мемуарист (Эдвард Массальский), — Товянский начал развивать свои фантазии. Он познакомился с Фердинандом Гуттом^[185] и с Валентином Ваньковичем у меня. Толковал он и со мной о своей теории, которую, видимо, развил тогда, когда прохаживался с Гуттом по бульвару перед ратушей. Увидали они на улице какого-то еврея, везущего дрова на колченогой клячонке: кляча уставала тянуть тяжелый воз, и еврей ее немилосердно колошматил. Товянский остановился, увидя это, и молвил Гутту: «Взгляни, хромая лошадь не может уже тянуть бремя и, однако, страдает без вины. А ведь это существо, имеющее душу живую, как и мы с тобой. За что же эта душа страдает, ежели она невинна? Очень может быть, что за грехи прежней жизни. В страдании этом очищается и приближается к господу. Вот это и должно быть стезею нашей и стезею всякой твари господней.

Души злых людей не могут предстать перед господом даже после очищения через страдание, а очищение это, конечно, происходит в телах

животных. Ведь, кроме очищения, необходимы потом и заслуга, а их невозможно иметь, пребывая в животном состоянии, и поэтому они, души, возрождаются снова в людях и ежели приобретут заслуги, перейдут в некое более совершенное человеческое существо, пока не станут достойны соединиться с господом. Должен существовать, следовательно, некий род лестницы, по ступеням коей мы либо поднимаемся все выше к совершенству, или же опускаемся и входим в тела тварей, более низких, чем мы, и нам приходится сызнова начинать наш трудный подъем.

На протяжении даже одной жизни, одного существования человек может либо подниматься по этой лестнице все выше, путем воспитания своей души исполнением правил добродетели, либо опускаться все ниже, из-за никчемности и изменности подлых поступков своих. Те стремление вниз, а там — ввысь...»

В учении Товянского это воздымание по ступеням, эта «лестница» со многими ступеньками объясняла также последовательность откровений господних.

Христос дал людям евангелие любви. Наполеон должен был принести народам братство, но обманул надежды.

Третье откровение получил пророк, который только что прибыл на похороны Наполеона, — истинный мессия, подлинный спаситель человечества и славянства. Учение свое Товянский почерпнул отчасти из популярного изложения мистической философии Сен-Мартена и Сведенборга, с грубыми поправками, выдержанными в духе доморощенного мракобесия. Он утверждал, что над каждым человеком высится некий столп духов света и тьмы, которые действуют в человеке и через человека. Столпы духов тьмы пребывают вблизи земли, засты солнце любви. Без милости человек не может вознестись к господу. Христос был первым, кто низвел на землю светоч любви, но не смог увлечь и возвести человечество на самую высокую ступень.

В середине XIX столетия должно наступить царство божие. Избранным народом этой эпохи будет Израиль, воплощенный в трех народах: еврейском, французском и польском. Мечом господним эпохи является он, Анджей Товянский, который в Антошвинцах на Литве получил недвусмысленный приказ от всевышнего. Вот он и последовал этому приказу.

Но прежде чем этот пророк окончательно решил эмигрировать и там, в эмиграции, явить миру новую правду, он длительно готовился к своей нелегкой миссии. Его поездку в Петербург в 1832 году можно комментировать по-разному.

Славянофильство Товянского берет свое начало в течениях той эпохи, в панславистских замыслах царизма. Контакты с российским посольством, которое вмешалось в дело Товянского, когда тот был выслан из Франции, открывают широкий простор для домыслов.

Как Товянскому удавалось сочетать с культом царизма культ Наполеона, останется, конечно, его величайшей тайной.

Когда мэтр Анджей отправился на поле битвы при Ватерлоо вместе с генералом Скржинецким, он поступал как превосходный психолог, ибо воспоминанием о последней битве императора Товянский явно хотел поразить бывшего наполеоновского генерала; он нашел в нем хорошего медиума — Скржинецкий, невзирая на слякоть, бухнулся на колени перед вновь явленным пророком.

Однако Товянский вынашивал гораздо более обширные планы, ибо он был человеком гордым и честолюбивым.

По возвращении в Париж, летом 1841 года, Товянский решил заполучить для своего учения Мицкевича.

Мицкевич продолжает в это время чтение курса истории славянских литератур. Вся эмигрантская пресса полна отзвуками лекций, которые собирают толпы поляков и французов. Мицкевич открывал французам мир, совершенно им неведомый.

А поляки впервые слышали историю своей литературы, изложенную в хронологической последовательности, на фоне истории их отечества.

Среди слушателей, зачистивших на лекции польского профессора, можно было увидеть самых выдающихся личностей тогдашнего литературного Парижа. На нескольких лекциях всеобщий интерес вызвала госпожа Жорж Санд. На одной она простояла целый час, потому что опоздала. Присутствующие имели случай ее внимательно разглядеть. Волосы ее были коротко острижены, лицо овальное, глаза чуть навывкате, точь-в-точь, как на портрете работы Делакруа. Пестрая, фантастическим узлом повязанная косынка оттеняла белоснежную шею, контрастирующую с чернотой бархата.

«Когда я устаю от писания, — записал один из слушателей и учеников польского поэта, — я, поднимая голову, обращаю взор от Мицкевича к г-же Жорж Санд и от г-жи Санд к Мицкевичу».

Сопровождал ее Шопен. После лекции он увозил ее в своем экипаже. Одним из частых слушателей профессора является историк Мишле.

Иногда в аудиторию заглядывают Монталамбер и Сент-Бёв. Это была лучшая пора лекций. Их тон, еще не окрашенный мистицизмом, нравился слушателям и покорял их. Только позднее затуманилось ясное течение

лекций, только позднее французские фразы польского профессора прожег тот мистический пламень, который передался также слушателям.

Легенда, тогда еще юная, совсем юная, сопровождает Мицкевича; она ревниво повторяет каждый его жест и каждое движение, и, однако, Легенда не может его уберечь от клеветы. Клевета шла за ним по пятам, коварная и торжествующая.

«Млода Польска» подозревала профессора в чрезмерных симпатиях к России, припоминала ему московские и одесские салоны. «Пан Мицкевич, — писал некто Островский^[186] пресловутым газетным слогом, — читит московские сувениры. На камине в его гостиной сверкает московский кубок, возле которого якобы польский водрузить изволили; явно, чтобы показать, что Белый Орел к Черному Орлу, как к избавителю своему, обращаться должен».

Мицкевич читал эти и подобные им фразы, но имел обыкновение не отвечать на ругань. Ему не позволяли этого гордость, презрение и сознание тщетности борьбы со злой волей и завистью.

Недругов поэт имел множество, число их только возрастало, по мере того как рос он сам. Присущая ему резкость поведения и отвращение к притворству умножали число завистников, а из них так легко вырастают явные враги. Об их моральных качествах свидетельствуют характер и калибр оскорблений и наветов — те камни обиды, которые они поднимали против него, забывая о евангельском предостережении.

Каменья эти были неодинаковой величины и веса, но, как бы то ни было, больно уязвляли его. Мицкевич, к которому одни приближались с почтением, какое обычно оказывают не людям, а божествам, был раним, как никто в нации, весьма склонной к резким контрастам. Ему отказывали во всяком значении, уничижали, перетолковывали и трепали его творения, высмеивали его царство не от мира сего.

Он должен был на самом себе испытать справедливость истины, позднее высказанной поэтом, которого Мицкевич недооценивал, Циприаном Норвидом^[187], истину, не утратившую значения и в наши дни, — что у нас умеют только «рукоплескать или бесчестить».

Мицкевич не принимал оскорблений, клеветы и мелких уколов равнодушно, — он знал, каким жестоким оружием может быть глумление, и пуще всего страшился показаться смешным.

«Смешной поэт!» А ведь именно так называли Словацкого. Пан Адам не любил всегда красивых, всегда заманчивых, всегда чарующе-плавных стихов этого поэта. Он считал его попросту фальсификатором. Поэтому,

щедро приводя выдержки из сочинений Залеского, Гощинского^[188], Мальчевского, он даже не упоминал о Словацком. А ведь литература эта еще не была тогда столь прекрасной и богатой, чтобы неупоминание о Словацком могло пройти незамеченным или найти какое-то оправдание. Мицкевич не говорил о Словацком не только потому, что не ценил его поэзии, — нет, он искренне ненавидел его лично, со всем неистовством и неудержимостью.

Только люди плоские и мелкие могли подозревать в нем завистника. Нет, он не завидовал Словацкому не только потому, что его не ценил, но потому, что чувство зависти было ему вообще органически чуждо, — он был слишком велик и горд, чтобы завидовать кому бы то ни было.

После статьи Красинского^[189], где тот ставил Юлиуша на одну доску с Адамом, демонстративное умолчание о Словацком отнюдь не свидетельствовало о великодушии. После пресловутого ужина у Янушкевича, после нападок журналистов на Словацкого демонстрация эта приобретала особенно неприятный оттенок.

Юлиуш Словацкий ответил Мицкевичу в стихах, на страницах своей замечательной поэмы «Бенёвский», и ответ этот свидетельствует о том, что недруг пана Адама был не только великолепным художником, но и человеком большого характера.

*

Припадки безумия время от времени повторялись у госпожи Целины с момента возвращения из Лозанны. Они были еще слабые, проходили очень быстро, но после каждого приступа недуга наступали явления не менее жуткие и, пожалуй, еще более невыносимые для тех, которые, не смыкая глаз, ухаживали за ней.

Когда ее вопль, ужасный и, казалось бы, последний, как крик Альдоны, раздирал воздух, когда нужно было следить, чтобы она не выпрыгнула из окна или не пырнула себя ножом, борьба с безумием была явной и жестокой, как битва. Но когда в самом темном углу комнаты она сидела, не шевелясь, когда она наотрез отказывалась есть и пить, когда с лицом Богоматери Всех Скорбящих она проводила целые дни, не проронив ни слова, — от этого зрелища можно было и самому сойти с ума.

Однажды (лекций в этот день не было) Мицкевич, сидя в старом

кресле и посасывая трубку, просматривал свои рукописи, перечеркнутые, полные помарок и следов той одинокой и никому не ведомой борьбы, которую каждый поэт ведет с коварным и упорным слогом, чтобы после тяжкого труда, после частых расставаний с рукописью и столь же частых возвращений к ней, после мгновений иллюзорного воодушевления и столь же обманчивых сомнений дело дошло до окончательного совершенства, в котором уже ничего нельзя изменить. Но дойдет ли? Не бросит ли он на полпути начатый труд? Не потеряет ли интереса к рукописи, которую он уже не раз откладывал?

Когда это было? Должно быть, не больше, чем год назад, он оставил незавершенными стихи, которым дал название «Видение». Это было описание некоего мистического состояния, в тоне почти дантовском. В этих стихах нашему взору открывается некое переживание, не вполне ясное самому автору.

Но форма этого стихотворения была вполне ясной, и, если бы не несколько мест, в которых смысл несколько помрачался, мест, которые он не имел теперь ни охоты, ни терпения сгладить, форма этого стихотворения была вполне завершенной. Вопреки тому, что творение это рассказывало о некоем мистическом восторге, форма его была ближе по методу к доводам Фомы Аквинского, чем, скажем, к стихам Хуана де ла Крус, прозванного «патер экстатикус», или стихам Вильяма Блейка с их загадочными пророчествами.

Среди разных стихов, набросанных на разрозненных листках чрезвычайно неразборчивым почерком, над которым еще сто лет спустя хлебнут горя исполненные глубочайших познаний ученые профессора, расшифровщики этих палимпсестов поэта, обнаружили стихи, история которых была долгой и таинственной: «Снилась зима...»

Приписка к стихам, помещенная под заглавием, гласила: «Я видел сон в Дрездене 23 марта 1832 г., таинственный, тяжелый и мне не понятный. Проснувшись, я записал его стихами. Теперь, в 1840 г., переписываю его для памяти».

Были это стихи и вправду весьма странные, ибо видения сменялись быстро, сплетались внезапно и неожиданно, ибо они преображали форму предметов, и порядок событий был туманный, как в сновидении. Воспоминание об Италии, озере Альбано и Палатинских горах смешивалось с видением снега, который «хоть не схлынул, белые крылья, как птица, раскинул, в небо умчался».

Любовное переживание, быть может еще усиленное в восприятии сновидца, было увековечено в словах, которые как бы обладают всеми

тремя измерениями:

Я вижу Еву,
Еву с цветами, в прекрасной одежде,
Так же, как видел в Италии прежде,
Бабочек стая над ней трепетала;
Легкой стопою на землю ступала,
Невыразимо мила и желанна;
Взглядом скользила по глади Альбано,
И молодого лица выраженье
Было прекрасно, как преображенье.
В зеркале ясном себя наблюдала,
Левою рукою венки поправляла.
Жажду промолвить я слово признанья,
Но оковало внезапно молчанье.
Сонная нега, истома ночная,
Ты неотвязней, сильней, чем дневная:
Солнце полудня пылает, а месяц
Нежит, ласкает, туманом завесясь.

Он перечитывал теперь эти слова с чувством, которое было нелегко выразить.

Вот позднейший комментарий к этим стихам, четвертушка листа, исписанная крупным почерком, — письмо от старого друга Кайсевича, датированное: Рим, 18 января 1841 года. «Прибыли сюда на зиму г-жа Анквич с дочерью своей, пани Евой Солтык, обе овдовели, очень к нам ласковы, а имя твое всегда у них на устах и в памяти».

Месяц спустя Зигмунт Красинский писал Станиславу Малаховскому^[190]: «В доме Анквичей не выходят из состояния безумия, маскируются, а так как маски черные, то им кажется, что это траур».

Это письмо, которого не мог знать Мицкевич, — это как бы четвертое измерение к выдержанной в трех измерениях повести о Еве-Генриетте, о ней, которая говорит в тех, так похожих на сновидение стихах:

Прочат родные другого мне мужа,
Но я ведь птичка, умчаться могу же!
Ласточкой стала, теперь мне привольно
Мчаться на Неман, на синие волны.

Мицкевич смотрел ледяным взором на эти строки, которые теперь, спустя десять лет, были уже только выражением еще одной иллюзии.

— Где я? — допытывался он сам у себя. — Это дом Анквичей или Адметов дом?

Лязг стекла и душераздирающий вопль донеслись до его ушей. Он вбежал в соседнюю комнату как раз вовремя.

*

О выздоровлении госпожи Целины, которое так оживленно комментировалось в эмигрантской прессе и в разговорах приятелей поэта, до нас дошло несколько реляций.

Приводим их здесь по Владиславу Мицкевичу:

«Товянский в первый раз пришел к Мицкевичу, когда тот, отвезя жену, только что вернулся в квартиру со сжатой мучениями душой, в состоянии, близком к отчаянию и полной безнадежности».

«В глубокой тоске, — говорил Адам, — я приказал служанке никого не впускать. Вдруг кто-то позвонил у дверей. Служанка стала говорить, что не принимают. Гость отвечал на это: «Скажите вашему хозяину, что я прибыл из Польши и обязан нечто исполнить». Услышав это, я вышел в сени и проводил гостя в мою комнату. Я опасался, не пришел ли он втягивать меня в какие-нибудь заговоры. Столько уже я наслышался подобных прожектов.

Мне стало грустно при мысли о муках, которые каждая такая попытка навлекает на отчизну.

Отрекомендовавшись и напомнив, что двадцать лет назад он встречался со мной, Товянский сказал, что он ко мне с доброй вестью.

Заметив, что я слушаю его невнимательно, он прибавил: «Душа твоя обретается где-то в ином месте». Я на это: «Вы не знаете о моих семейных несчастьях». И рассказал ему о них. Товянский осведомился, как девичья фамилия моей жены. «Шимановская». — «Не из семьи ли графов Шимановских?» — «Нет».

Он заявил мне, что знает могущество духа, возвещенное откровением чрез господа нашего, и что жену мою исцелит; я отвечал ему, что верю в милосердие божие.

Товянский велел предупредить моих друзей, что они увидят ее

здоровой, велел взять ее домой и прибавил: «Если бы войско стояло между нами, я стер бы его в порошок». Тон его поразил меня, и я уверовал в его слова.

Я провел ужасную ночь. То была битва Иакова. Поверил в конце концов в могущество милосердия божьего. Пошел навестить нескольких лиц. Старый доктор, поляк, усомнившись, в здоров ли я уме, взял меня за руку и неприметно начал мне щупать пульс. Я заметил это и рассмеялся. Поехал за женой.

Директор лечебницы решил, что я хочу жену забрать потому, что недоволен его заведением и хочу поместить ее в другое. Отсюда возникла интересная и забавная сцена. Наконец он сказал мне: «Впрочем, это твоя жена, можешь распоряжаться ею, как тебе заблагорассудится».

Я забрал ее. В гостиной собралось несколько лиц, не тех, которым я сообщил о будущем исцелении, но случайно пришедших.

Среда этих четырех или пяти лиц находился Исидор Собанский. Лицо Целины было белое, как из гипса, взор остолбенелый, — она была в пароксизме недуга. Товянский приблизился к ней, взял ее за руку, шепнул несколько слов так тихо, что я ничего не услышал. Целина пала на колени, а поднявшись, начала обнимать меня и детей. Волнение присутствующих было чрезвычайным».

Легенда прибавляет к этим словам: «Возвращенного сознания никогда уже не утратила».

Сама пани Целина несколько лет спустя просила общую знакомую подробно пересказать сестре это событие.

«Г-жа С. расскажет тебе, — писала пани Целина своей сестре, Гелене Малевской, — что слышала от меня о моем выздоровлении, внемли этому всей душой, моя Гелена, ибо это вещи великие и святые, о которых без страха божия даже говорить нельзя».

В рассказах этих нет ничего сверхъестественного. Мнимое чудо объясняется хорошо известным в психиатрии явлением. Все течение жизни пани Целины позволяет сделать предположение о податливости ее к влиянию сильного человека, мужчины, одаренного могучей волей, человека, способного отдавать приказы, способного повелевать. Доселе она во всем подчинялась воле мужа, а отныне чувствовала себя рабыней мэтра Анджея. Выздоровление ее, кстати, было лишь кажущимся. Сильно пораженная взглядом магнетизера, она очнулась на какое-то время от болезни, которая, однако, не покинула ее совсем, возвращаясь после более продолжительных или более кратких промежутков и подрывая ее организм. Мицкевич, пораженный этим внезапным исцелением, как будто позабыл о

первом приступе недуга во время его пребывания в Лозанне, когда Целина оставалась одна в Париже. Из того, правда, более легкого приступа безумия Целина вышла сама, без посторонней помощи. В позднейшие времена и помощь чудотворца уже не давала эффекта.

Но факты тут не имели решающего значения. Мицкевич жаждал чуда, жаждал его, как все эмигранты, люди, терзаемые неизлечимым недугом тоски и неприкаянности в изгнании.

Появление мэтра Анджея поэт сразу же связал с вещим сном о простом литовском шляхтиче, едущем в одноконной тележке; к тому же он смутно помнил лицо Товянского, оно запомнилось ему после какой-то давнишней встречи в Вильно.

Одынец, который был человеком трезвым, оставил нам свидетельство, в данном случае достойное доверия, что многими из этих секретных подробностей жизни Адама, которые Товянский изложил Мицкевичу, чтобы покорить его окончательно, мэтр Анджей был обязан конфиденциальным беседам, которые в 1835 и 1836 годах Одынец имел с ним в Дрездене. Известно, что Одынец был большим сплетником и притом любил хвалиться приятельскими отношениями, которые соединяли его с великими людьми. Товянский поступил с Мицкевичем подобно всем ворожеям и гадалкам, которые сперва обиняком собирают информацию, а потом предсказывают будущее. Можно сказать, что предупредительность Одынца очень облегчила ему задачу. Но что это могли быть за «секреты», «о которых могли знать один только бог да я», как это с глубочайшим изумлением и страхом Божиим признал позднее Мицкевич?

Быть может, это были какие-то интимные тайны, которые подсмотрели царские соглядатаи во время пребывания поэта в России, когда за ним вели непрестанную и систематическую слежку?

Ведь Товянский вращался в самых разнообразных сферах. Впрочем, ничего из этих секретов не выдал Товянский в описании прошедших, настоящих и будущих состояний поэта. Согласно этому мистическому жизнеописанию Мицкевич был некогда «каменным рыцарем, монахом, Орлеанской девой, пророком пред лицом Христовым. Теперь им есть и будет». Этот гороскоп, обращенный вспять, в прошлое, и едва касающийся будущего, отнюдь не свидетельствует о слишком богатом воображении Товянского и о гибкости его пера. Но Великий Несчастливец не требовал у него паспорта. Жаждал чуда. И уверовал.

Товянский обосновался в Нантерре, под Парижем. Нантерр — печальное место, бесплодная земля. Ни реки, ни леса. Суровость округа должна была своею мрачностью и евангельской простотой вооружить пророка новой религии, должна была стать для братьев уроком и назиданием. Много толковали о необычайном напряжении духа, в котором живет Товянский, говорили о суровом уставе, которому должны подчиняться братья и сестры новоявленного ордена. Говорили о нужде, в какой теперь с верой и надеждой живет семейство Мицкевича.

Дети их никогда доселе не были так заброшены и настолько предоставлены самим себе, как в эту пору, в медовый месяц товянщины. И несмотря на то, что прекрасная незнакомка, Ксаверия Дейбель^[191], прибывшая вместе с Товянским в Париж, поселилась в доме поэта, чтобы ухаживать за его детьми и печься о здоровье Целины, никогда семья эта не была так заброшена, никогда еще все не шло у них так вкривь и вкось — не семья, а призрак семьи.

Первым официальным актом товянщины было благодарственное богослужение «за милости, пролитые господом» в Соборе Парижской богоматери. Двести пилигримов выслушали мессу. Мицкевич и Товянский приступили к причастию. После мессы Товянский обратился к собравшимся. И эта речь, произнесенная лицом, не имеющим духовного сана, со ступеней алтаря (что не практиковалось доселе в католической церкви), произвела большое впечатление на собравшихся поляков. Товянский, возвестив пришествие эпохи Христа, «упал лбом на землю». Полумрак средневекового собора, разрываемый отсветами витражей, почти потрясающая красота этого храма, придавали туманным и неуклюжим пророчествам Товянского необычайный фон и словно изваянную из этих стен и красок иллюзию подлинности и силы.

Эмигрантская пресса в общем трезво оценила выступление Товянского и все движение под его эгидой. В ней впервые, порою полунамеками, были высказаны подозрения, что мэтр Анджей находился в контакте с посольством Российской империи. Некоторые газеты попросту называли его агентом царя Николая.

Движение, возникшее вокруг товянщины, заслонило собой иные дела, оно доставило пищу журналистам и любителям сплетен. Сплетня разрасталась до размеров сверхъестественных и, увы, слишком часто оборачивалась правдой, правдой, которая вообще-то редко идет с ней рука об руку.

В Нантерре Мицкевич часто встречается с Товянским, и мы сказали

бы, не опасаясь уязвить Легенду, которая много потрудилась, чтобы весь этот период заслонить все изменяющей переливчатой завесой, что поэт напрасно тратит время, дискутируя с мэтром Анджеем.

Эти последние месяцы 1841 года являются периодом их наилучшего согласия, хотя бы потому, что Мицкевич, пребывающий в мистическом ослеплении после исцеления жены, еще не успел прозреть, — он верил без тени колебания мэтру Анджею и подчинялся ему во всем. Подчинялся в такой степени, как никогда впоследствии.

Товянский был совершенно упоен воистину необычайным триумфом. Как искуснейший престижист, он сумел с первого взгляда завладеть величайшим интеллектом тогдашней Польши, человеком большего масштаба, чем сам некоронованный король эмиграции — князь Адам Чарторыйский, чьей поддержки мэтр Анджей добивался долго и безуспешно.

Конечно, значение Мицкевича было совершенно иного рода; в сфере чисто практической оно было скорее незначительным, но Товянский, царствующий в своей Утопии и повелевающий только призраками — так по крайней мере казалось сперва многим эмигрантам, — шел по линии наименьшего сопротивления, направлял свои удары туда, где ему легче было добиться доверия. Следует заметить, и это заслуживает внимания, что в одной из первых «нот» Товянского к Мицкевичу, тех простецких «нот», которые должны были облегчить мэтру Анджею проведение мистических словопрений с учеником, содержались стихи Товянского, якобы продиктованные ему духом Мицкевича, вирши настолько жалкие, что уже самым видом своим они выдают ложь автора этого «меморандума». Стихи эти призывают Адама сломать свое перо, ибо то, о чем он пел доселе, было начато «из тщеславия». Рукопись этого коварного стишка Товянский вручил Мицкевичу с припиской: «Благодаря господу за сие милосердие, столь редкостное в юдоли земной, вручает сокровище Адаму — Анджей».

В старом храме Святого Северина образ Пречистой Девы Остробрамской взирает на польских пилигримов, которые приходят туда молиться. Это лоснящаяся от лака копия, исполненная Валентином Ваньковичем, тем самым, который написал красивый портрет Мицкевича на фоне крымских скал. Ванькович принадлежал к числу первых сторонников и учеников Товянского.

«Тупоголовый Ванькович, — пишет мемуарист (Эдвард Массальский), — занятый одной только живописью, никогда не вдавался в более глубокие ученые или религиозные идеи, но, склонный к печальным мечтаниям, пораженный кажущимся величием замыслов Товянского и мистицизмом,

которого не понимал, слепо ему, Товянскому, поверил. Даже в практике повседневной жизни и среди домашних своих Ванькович, как мог, проявлял свое рвение и побуждал к «стремлению ввысь» всех, на кого только мог повлиять. Из принципов Товянского проистекало, что, возлюбя ближнего своего, следует побуждать его к «стремлению ввысь» всеми средствами, какие только могут оказаться действенными. Отсюда следовало, что ежели супруга, чада либо домочадцы покажутся кому-либо опускающимися по мистической лестнице, то он должен их укорять, сурово наказывать и даже терзать и мучить, пока они вновь не «устремятся ввысь». Одним словом, по возможности проявлять к ним презрение до тех пор, пока они не исправятся.

Сам Товянский дал пример такого обхождения с родичами, когда сочетался браком. Он пришелся по душе некоей барышне Макс, Каролине Макс, дочери богатого каретника. Отца невесты уже не было в живых, матушка сильно прихварывала. У старушки ужасно болели ноги, и, чтобы смягчить страдания, она приказывала царапать и расчесывать ей пятки перед сном. Товянский счел это «устремлением вниз» и потребовал от своей нареченной, чтобы она не просила материнского благословения, ибо маменька ее того не стоит. Итак, барышня Макс, встав рано-ранехонько, когда маменька ее еще спала, пошла себе в церковь и обвенчалась. Возвратившись тут же дог мой, она забрала все свое движимое имущество и, только стоя уже на пороге, сказала матери, что перебирается к мужу, ибо она уже вступила в брак.

Следуя этому учению, так же поступали с родней и поклонники Товянского, но зато они считали его гласом Божиим и хозяином всего, чем они сами обладали. Они звали его мэтром и пророком, стоящим превыше Христа и даже выше Наполеона. А он, не щадя себя, жил на их средства, пока не получил наследства после кончины отца своего».

Товянский, хитрец, отлично умеющий навязывать свою волю, всячески стремился использовать талант Ваньковича в своих целях. Ванькович написал в Минске миниатюрный портрет Строганова, минского губернатора. Во время писания этой миниатюры ученик мэтра Анджея пришел к убеждению, что губернатор, как человек прогрессивных взглядов, явно способен к «стремлению ввысь». Живописец поделился этими соображениями с Товянским. Тот немедленно презентовал губернатору красивый образ господина Христа кисти Ваньковича и поспешил вслед за Строгановым в Петербург. Строганов, человек неглупый, сразу, после первого же разговора, сообразил, с кем он имеет дело. Образ принял, но не принял самого Товянского, когда тот вознамерился нанести ему повторный

визит. Товянский пытался поучать других россиян в невской столице, но никто как-то не поддался магии его красноречия и чарам его пронзительных глаз. Итак, он вернулся в Вильно, где имел с дюжину поклонников и нескольких поклонниц. Еще из Петербурга, обеспокоенный посланием Ваньковича, в котором тот похвалялся, что он-де поднялся по мистической лестнице так высоко, что мэтр не достоин развязать ему башмаки, Товянский прислал другому ученику своему, Гутту, наказ, чтобы он, Гутт, распорядился устроить Ваньковичу кровопускание, ибо тот, очевидно, спятил. В поездке, которую он совершал с Каролем Массальским, Товянский, желая наказать надменного попутчика «для ради любви к ближнему», как пишет злорадствующий мемуарист, покинул его на почте за несколько станций до Вильно, захватив с собой сверток, в котором находились деньги и паспорт Кароля.

Теперь Ванькович, который вместе с Гуттом прибыл в Париж вслед за Товянским, читает под своим образом Остробрамской Пречистой Девы надпись: «О боже, поспеши ко спасению нашему». В храме находятся несколько поляков, учеников Товянского. Мэтр водит живописца по храму и шепотом изъясняет ему значение надписей:

— Пренаисвятейшая королева короны польской понравилась себе в этой старомодной заброшенной часовне в самом неприглядном парижском квартале. Итак, в чудесном образе виленском, остробрамском ко спасению народа своего поспешает... Обвиняли меня, что копию выдаю за оригинал. Это неправда.

— Неправда? — удивляется Ванькович, который не совсем понимает, в чем дело. — Здесь такая сырость в часовне, — говорит Ванькович, — боюсь, как бы она не повредила образу.

— Да это ведь не оригинал, — отвечает Товянский, иронически взглянув из-под очков на живописца, у которого в этот миг не слишком смьшленное выражение лица.

Товянский приехал в Париж в момент, когда во Франции недовольство общественным и политическим строем выливалось в формы, далекие от рационализма Сен-Симона или Фурье. Появились ворожеи и пророки, предсказывающие скорое падение орлеанизма, возвещающие близость чуда.

Ганно и Вентра провозгласили несколько сходные с учением Товянского мистические теории. Это красноречиво свидетельствовало о трудном положении, в котором находилась Франция, и предвещало скорое падение существовавших доселе правительств.

Апокалипсис порождается неуверенностью в завтрашнем дне,

тревогой, чувством бессилия, когда отказывают иные средства.

Мицкевич зорко следил за этим мистическим движением и, хотя часто не соглашался с развитием идей, тем не менее сочувствовал французскому суеверию, — он, который так презирал разум Франции!

Когда он ознакомился с сочиненьцем Грюо де ла Барра «Соломон Премудрый, сын Давидов, его возрождение в земной юдоли и божественное откровение», его порадовало сходство некоторых мыслей де ла Барра с провозглашенной Товянским теорией земного покаяния душ и мессианизма Израиля. Кафедру свою в Коллеж де Франс Мицкевич превращает в амвон, с которого в необычайно пламенных словах провозглашает истины новой религии. Дамы, склонные к экзальтации, взирают на профессора очами, полными преклонения и восторга. Некоторые плачут.

Мицкевич вспоминает видения и молитвы из времен пребывания своего в Риме, когда он писал стихи Лемпицкой; вспоминает гигантскую работу души, когда он творил в Дрездене третью часть «Дзядов», «Мудрецов» и гневный псалом, в котором разуму противопоставлял веру. Его повергает в гнев все то, что порождено рассудком, разумом, размышлением. Как некогда в «Импровизации», он борется с тиранией мысли. Поэт хочет довериться инстинкту, детским предчувствиям, смутным фантазиям. Он доверительно сообщает Товянскому: «Я больше теперь прилагаю труда к усмирению разума, чем некогда потратил на приобретение оно́го».

Маленький сынишка что-то пролепетал ему о каком-то необыкновенном ребячьем событии, и вот Мицкевич со слезами на глазах говорит: «О, как мне больно, что разум лишил меня этого детского восприятия! О, если бы я мог так чувствовать, как он!»

*

Товянисты объединились в так называемое «Коло», состоящее из семидесяти человек. «Коло» это разделялось на семерки. Каждая семерка выбирала главенствующего. У них была своя хоругвь, на которой мерцал «Эссе Хомо», написанный Ваньковичем по Гвидо Рени. На медалях «Дела» выбит был рисунок, изображающий Пресвятую Деву с опущенными к земле лучистыми руками. Тем временем лекции в Коллеж де Франс шли своим чередом, но только они приобрели теперь оттенок явно лирический.

Экзальтация одних слушателей еще более возросла, другие же просто перестали посещать лекции. Профессор все более явно превращался в священнослужителя, кафедра, за которой он стоял, порою возведя очи горе, становилась амвоном. Эта выразительная голова в ореоле пышных седых волос напоминала головы святых и пророков. Но все понимали, что если с этой кафедры вещает святой — то святой ересиарх, еретик, из речей которого так и вздымались языки пламени; слушатели понимали также, что в ином столетии он, седовласый еретик, непременно сгорел бы в этом пламени...

У правительства Луи Филиппа была превосходно осведомленная тайная полиция. Тайная полиция эта весьма интересовалась лекциями о славянских литературах, и на каждой лекции, смешавшись с толпой слушателей, сидел шпик, которого, однако, без труда мог распознать наметанный глаз.

Профессор не собирался прекратить проповедь основ учения Товянского — славянская литература до поры до времени служила ему просто ширмой. Как еретики былых времен, он хотел бить впрямую — в Луи Филиппа. Мицкевич верил в мощь аргументов, верил, что потрясет короля-буржуа. Решение обратиться к королю зародилось, впрочем, в беспокойной голове мэтра Анджея. Товянский, несмотря на частые разочарования, еще не отказался от подобных методов. В Мицкевиче он обрел покорного ученика.

В день тезоименитства короля Луи Филиппа, 1 мая, Адам Мицкевич и Анджей Товянский отправились в Тюильри. Им удалось проникнуть в салон, откуда вызывали гостей на аудиенцию. Королевские гвардейцы в роскошных мундирах и с каменными лицами уже при входе во дворец с головы до пят оглядели подозрительных пришельцев. Посетители эти были чем-то неприятны придворной челяди, — это были типичные провинциалы и чужаки.

Блещущий звездами и перепоясанный шарфом шамбеллан смерил надменным и оскорбительным взглядом потертый фрак польского поэта и длинно-полый, с высоким воротником старомодный сюртук пророка.

— Вы приглашены королем?

На этом визит был окончен. Гвардейцы издевательскими взглядами провожали выходящих из дворца пилигримов.

Менее болезненно прошло вручение «ноты» некоронованному королю польской эмиграции. Князь Адам Чарторыйский прочел «ноту», поскольку под меморандумом стояла подпись Мицкевича, к которому он питал личное уважение, покачал головой и отдал письмо секретарю, небрежно бросив:

«Ад акта». (К делу.)

В конце июня 1842 года Мицкевич перебрался на лето в Сен-Жермен.

Дыхание леса, сельский пейзаж, безбрежный простор небес, почти незримый в городе, тишина, в которой медленно движется время, — все это на мгновение пробудило дремлющий в нем поэтический дар. Тогда-то он и создал набросок стихотворения о мистических метаморфозах, но не завершил наброска. Ему недоставало веры в святость того, что он пишет. Незаконченное стихотворение он позабыл среди иных бумаг. Как в лирических шедеврах, созданных в Лозанне, и тут есть вслушивание в непрестанный рокот жизни. Но есть также попытка переложения мистической доктрины на язык поэзии:

Так вслушиваться в хладный шум воды,
Чтоб распознать в нем помыслов следы,
Понять ветров безбрежные течения,
Исчислить звуков всех коловращения,
В речное лоно с рыбами нырнуть...
Их взором неподвижным, как звезда...

*

Как гром среди ясного неба, поразила товянистов весть о высылке мэтра Анджея из Франции по обвинению в шпионаже в пользу Российской империи. Товянский отправился в Бельгию. Мицкевич, как заместитель мэтра, отныне возглавляет «Коло». Разум его напряженно работает. Он всецело поглощен лекциями в Коллеж де Франс и мистическими импровизациями в «Коло».

Критикует официальную церковь за ее страх перед новой мыслью, обличает папизм за его косность и готовность во всем идти навстречу желаниям тиранических правительств. В некоем споре с ксендзом Еловицким попросту выставляет его за дверь; та же участь постигает позднее ксендза Семененко^[192]. Ксендзов ужасают и возмущают воззрения и поступки профессора Коллеж де Франс и товяниста, они видят в нем воплощение ужасной ереси.

Терзаемый жаждой убеждения других в истинности своих видений, как если бы в него и впрямь вселилась душа великих ересиархов, поэт не

останавливается даже перед резчайшими словами и насильственными действиями. На графа Владислава Плятера, когда тот перечил ему и загородил дверь, желая вовлечь его в какую-то дискуссию, Мицкевич заорал:

— Прочь с моей дороги, шут! — И замахнулся на него тростью.

Ересиарх напоминал в этот миг папу Юлия II.

Тем временем Анджей Товянский выехал из Брюсселя в Рим, намереваясь добиться аудиенции у папы и обратить его в свою веру. Товянский верил в могущество своего красноречия, в могущество своих глаз, глаз магнетизера. Но заместники бога на земле отнюдь не склонны к мистическим взлетам. Мэтр Анджей, которого приняли за одного из бесчисленных чудаков и маньяков, всеми правдами и неправдами добивающихся аудиенции у папы, едва сумел пробиться к кардиналам. Кардинал Медичи принял его с гневом, а кардинал Ламбускини явно подтрунивал над ним. Папская полиция приказала литовскому пророку ехать прочь из Рима.

Но Товянский, упорный, как все маньяки, никоим образом не счел себя побежденным и не отказался от своих намерений. Так и не пробившись к самому папе, он окольными путями, через посредников, передал ему некую писанину, которую святой отец действительно получил.

Позднее рассказывали, что руки Григория XVI дрожали от восторга, что он был растроган, читая меморандум Товянского. О да, они дрожали, но от дряхлости. Слово Товянского увязло в Риме. Единственной трибуной мэтра была теперь кафедра Мицкевича в Коллеж де Франс.

Мицкевич все более явно переводит лекции в новое русло. Курс его превращается в изложение учения Товянского на фоне литературы славянских народов. Слова его исполнены проповеднического пыла, кишат понятиями мистическими и потусторонними. То, что в беседах Товянского на заседаниях в «Коло» было подобно невнятному бормотанию и невразумительному шамканью, здесь, в устах поэта, приобретает вдруг необыкновенную силу и выразительность.

Сестры из «Коло» товянистов восторженными криками прерывают яркую речь профессора.

И хотя терминология лекций носила мистический характер, острие красноречия профессора Коллеж де Франс было недвусмысленно направлено против правительства Луи Филиппа. Евангельские метафоры, вырывавшиеся из уст оратора, обличали систему, основанную на всевластии денег и эксплуатации людей труда.

Правительство больше не могло безучастно взирать на то, что

творилось вокруг кафедры славянских литератур в Коллеж де Франс. Мицкевич, вызванный министром просвещения, ставится в известность о проекте прекращения курса: министр Вильмен^[193] предлагает профессору выехать с литературной миссией в Италию. Мицкевич отклоняет предложение и после пятинедельного перерыва возобновляет лекции. Он вводит теперь в курс понятие вечного человека — *l'homme éternel*.

Идеальный человек новой эпохи «будет обладать пылом апостолов, самоотверженностью мучеников, монашеской простотой, смелостью революционеров 93-го года, непоколебимым мужеством и великолепной отвагой солдат французской армии и гением их вождя».

После этих слов судьба лекций Мицкевича была решена. Орлеанистов особенно раздражало имя Наполеона. Напрасно Мишле^[194] на аудиенции у министра вступился за Мицкевича. Поэту позволили только прочесть еще последнюю лекцию. В битком набитом зале профессор снова говорил о Наполеоне, как об инициаторе новой эпохи, и о Товянском, не упоминая его имени, как о муже, который продолжает великое интуитивное деяние Наполеона. Впервые Мицкевич процитировал с кафедры отрывок из собственного творения: «Предсказание» из «Видения ксендза Петра».

«Человек этот с тройственным ликом, — сказал профессор, — показывался уже израильтянам, французам и славянам. Они свидетельствовали перед небом, что видели его и узнали».

Под конец лекции наступила драматическая сцена. «Профессор, — рассказывает Михал Будзынский^[195] в своих мемуарах, — развернул свиток гравюр, роздал их по скамьям, а сам, повесив на стену экземпляр гравюры, стал перед ним с указкой. Гравюра изображала Наполеона в сюртуке, застегнутом под подбородком, в блестящих высоких сапогах... На лице его была невыразимая боль, а в чертах было сходство и с императором, так, как его обычно изображают, и с Товянским, так, что эти два сходства как бы сливались друг с другом; император стоял перед столом, на котором развернута была карта Европы, он опирался на нее обеими руками. Внизу мы прочли подпись крупными буквами: «*Le Verbe devant le Verbe*»^[196].

И профессор сказал: «Вглядитесь в эти скорбные черты, в эти очи, пылающие от угрызений совести! Вот оно, Слово, стоит перед господом, Словом Предвечным; руки опер на карту Европы, которую оставил не такой, как ему господь повелел. И с этой скорбью на лице, и с этим взором обезумевшим, и над этой картой Европы он будет стоять до тех пор, пока эту карту по воле божией не переделает. Хорошенько взгляните в эти

черты, чтобы вы его узнали, когда он явится среди вас! Вглядитесь, ибо час его пришествия недалек! Вглядитесь, ибо он грядет — да что я говорю! — он пришел! Он среди нас!»

Весь зал дрожал от рукоплесканий, ибо могуч был голос профессора. И, признаюсь, хотя я с улыбкой слушал прежде эти болезненные фантазии, теперь, услышав громовой голос Мицкевича, как бы вырывающийся из недр его глубоко убежденной души, я весь затрепетал, и глубоко тронуту было сердце мое; чуть ли не в горячке я покинул зал».

И вот, когда Мицкевич увенчал курс именем Наполеона, Товянский, несколько не разочарованный провалом своей миссии у папы, решил обратиться к иному владыке. Избрал «духа низшего», правящего Великой Россией, «духа медведя», а если говорить обычным языком — царя Николая, целью своих мистических умыслов и ходатайств. Подвернулся исключительно удобный случай. Случай этот звался Александром Ходзько. Этот Ходзько, некогда виленский филарет, долгие годы был русским консулом в Тегеране.

В 1842 году он появляется в Лондоне после посещения Швеции и Италии, куда он выезжал в отпуск. Тут он окончательно решает уйти с консульского поста, но и дальше не порывает связи с российскими властями. Его визит к Товянскому в Брюсселе весной 1843 года окутан покровом тайны. Также и после вступления в «Коло» товянистов Ходзько не порывает контакта с петербургскими инстанциями. Должно быть, именно эти инстанции присоветовали ему, чтобы он свою просьбу об отставке с поста консула в Персии подкрепил соответствующим письмом, изъясняющим причины его ухода в отставку. Объяснения эти нужны были не столько царскому правительству, сколько польской эмиграции, которая не могла без известных подозрений взирать на этот сентиментальный роман бывшего вольнолюбца и филарета с северной тиранией.

По стечению обстоятельств, которое может показаться просто удивительным, Товянский великолепно ориентируется во всем этом деле и принимает в нем живейшее участие. Позднейшие комментаторы этих событий уверяют, что «Товянский, в предвидении всей проблемы, издавна уже помышлял воспользоваться подвернувшейся оказией, чтобы захватить в сферу своей деятельности и Россию». Предвидение Товянского в этом случае было подкреплено беседами с Ходзько. И когда мы приближаемся к этому позорному делу о письме Александра Ходзько царю, послании, написанном под диктовку Товянского, нас охватывает чувство, что эта роковая мысль, рожденная за пределами «Коло» и скрываемаемая в течение некоторого времени от «братьев», была не только плодом безумия.

Ходзько — человек прямой и трезвый. А мэтр Анджей порою снимает личину пророка, чтобы явить нам свою пошлую и отталкивающую физиономию. Мы тут уже не в кругу поклонников Утопии — одном из множества кружков, порожденных XIX веком, — мы тут в кругу Дантова ада, где-то между Каином, Антенором и Гвидекко...

За неделю до отречения консула Товянский писал Мицкевичу: «...что до посольства, то я задумал более обширный план, чувствую обязанность сильнее ударить по России». Как Товянский представлял себе этот «удар», выясняется из событий, вскоре последовавших.

Товянский еще только нащупывает дорогу. До поры до времени он еще не выявляет намерения продиктовать Ходзько письмо к царю. События происходят, однако, в стремительном темпе. Спустя семнадцать дней Мицкевич, свободно владеющий устной и письменной французской речью, перевел письмо Александра Ходзько к царю Николаю, сделал несколько поправок и похерил слишком уж верноподданнические обороты. Несмотря на это, они все же остались в письме как вечный памятник дел непостижимых, если их не объяснять атмосферой мистического безумия, в которой жили последователи нового учения; как памятник безумия приверженцев и расчетливости шарлатана, который унес с собой в могилу земную суть своих мистических писаний. Впрочем, в административном языке российского посольства эта мистика могла иметь вполне конкретное значение.

Ходзько в письме рассказывает о путях своей консульской карьеры, от которой он теперь отказывается «по господнему повелению». Ходзько утверждает, что, верно исполняя свой долг на царской службе, он был чист перед господом. Отозванный господом богом с дипломатического поста, во имя господина обращается бывший консул в Тегеране к своему земному владыке и государю с призывом, чтобы он, самодержец всероссийский, внял голосу повелителя воинств.

«Я сохранил память благодеяний, которыми был осыпан, и лишь затем перестал повиноваться распоряжениям вашего императорского величества, чтобы быть послушным велениям господним. И я ставлю перед тобой, мой высокий повелитель, дабы услышал ты о предназначении славян, — ставлю слова правды, которой я себя посвятил. Смею утверждать, что нет на свете никого, кто больше зависел бы от познания воли божией, чем ты, великий монарх».

Письмо это было творением Товянского, хотя подписано было, естественно, Ходзько, оправдывающим свою просьбу об отставке. Текст письма был вручен чинам российского посольства. Ходзько не получил

ответа. Тогда Товянский решил переслать письмо экс-консула непосредственно в канцелярию царя Николая.

Хотя этот замысел может показаться безумным, в безумии мэтра была своя система. Товянский прекрасно ориентировался в панславистских целях политики царизма. Знал, что Николай намеревается ввести русский алфавит в школах для поляков. Он читал «Смесь» графа Генрика Ржевуского, который, подобно большинству защитников старого порядка в Польше, видел в персоне царя главный устой феодализма и первейшую защиту против революции. Мэтр Анджей кое-что слышал о панславистских притязаниях графа Струтынского, адъютанта киевского генерал-губернатора Бибикова.

Среди приверженцев князя Адама Чарторыйского, сторонников политики «Отеля Ламбер» в эмиграции, были также пропагандисты чрезвычайно двусмысленной в условиях владычества царизма идеи объединения славян. Дело явно далеко зашло, если один из редакторов «Третьего мая», Вацлав Яблоновский, провозгласил необходимость создания центрального общеславянского правительства со столицей в Киеве.

Чтобы сделать эмиграцию более податливой и более склонной к этим мрачным пактам, был пущен в обращение слух о якобы имеющем скоро последовать отозвании Паскевича^[197]. Тем временем русский язык в Царстве Польском все более решительно вытесняет родную речь обитателей этого края. В Варшаве находятся в обращении рубли и копейки. Двуглавый черный орел появляется на кредитных билетах варшавского банка и на правительственных актах.

Когда 29 ноября 1844 года, года, в состав которого входило пресловутое «сорок четыре», Мицкевич зачитывает на собрании «Коло» товянистов письмо бывшего российского консула царю Николаю, в Царстве Польском заговор ксендза Сцегенного^[198]. Его, державшего речь перед сборищем крестьян в келецких лесах, предатель выдал в руки властей за тридцать сребреников.

Всегда бдительная и беспокойная власть концентрирует сильные отряды войска в Кельцах и Радоме, чтобы устроить мужицких бунтовщиков. Паскевичу не дает спать воспоминание о мятежах Стеньки Разина и Пугачева.

Царь Николай, к которому адресовано письмо Ходзько, творение Товянского, дожидается только okazji — храбреца, который решился бы отвезти его в столицу всея Руси, — царь Николай пишет 10 ноября

наместнику Царства Польского:

«В том, что ты пишешь о деле Сцегенного, есть две вещи, которые меня утешают: первая, что землевладельцам грозит опасность и что по этой причине им полезней будет держать мою сторону, и вторая, как следствие первой, — что землевладелец доносит на ксендза».

В Париже взоры чиновников российского посольства бдительно следят за «Коло» товянистов; глаза присяжных чиновников и шпииков встречаются в этом пункте с недреманным оком охраны Луи Филиппа.

В Варшаве с цитадели часовые смотрят в воды беспокойной в это время года Вислы. Длинные острые штыки движутся по Сасской площади и Краковскому предместью. Скачут конные патрули.

Военный суд обвиняет Сцегенного в подстрекательстве крестьян к мятежу и распространении пагубных коммунистических идей. Приговоренный к смерти, он, как Христос, поведенный к распятью, встал под виселицей, воздвигнутой на рыночной площади в Кельцах, встал рядом с двумя своими братьями — Каролем и Домиником. В последний миг, когда петля уже коснулась шеи ксендза, раздался гром барабанов. Прочитали царский указ, заменяющий смертную казнь пожизненной каторгой в Сибири.

Вслед за этим пошли, как это уже было нормой в Царстве Польском, ссылки, экзекуции, проведение сквозь строй до тысячи ударов. Нерчинские рудники заполнились каторжниками. Стоны избиваемых и пытаемых витали над покрытыми первым снегом просторами Польши.

29 ноября Мицкевич огласил письмо Ходзько царю в «Коло» товянистов. Он огласил его среди гробового молчания присутствующих. Из членов «Коло» один только Северин Пильховский^[199] принял без всяких оговорок письмо к царю Николаю.

Резче всех против этой жалкой попытки обращения царя на путь истинный выступил полковник Каменский^[200], открыто высказавший свой взгляд па дело: «Мы докатились до пресмыкательства перед великим монархом Николаем, и это в день 29 ноября, будто измываясь над польской кровью». Юлиуш Словацкий, возлагая «вето духа польского против русских стремлений», отчаянно протестовал «против склонения польского духа перед императором Николаем».

Когда Мицкевич, с лицом, изменившимся до неузнаваемости, как будто и впрямь в тело его вселился дух Товянского, крикнул чужим, писклявым голосом: «Братья! Ныне явился мне дух Александра Первого и просил, чтобы мы вознесли молитвы к господу за него!» — отозвался

Словацкий, который обычно на собраниях помалкивал: «А мне, братья, явился дух Стефана Батория^[201] и просил, чтобы я предостерег, чтобы братья никогда не молились ни за одного москаля».

«Мицкевич на это, — как сообщает мемуарист (Михаил Будзынский), — изо всех сил схватил за плечи Юлиуша Словацкого, потащил его к дверям и выставил, закричав по-русски: «Пошел вон, дурак!»

Лицо его еще бледно от гнева, глаза мечут молнии, с седыми волосами контрастирует юношеская порывистость движений. Братья смотрят на него шокированные; сестра Ксаверия сорвалась со стула, она вне себя, хочет что-то сказать, борется с собой и после мгновенья, колебания садится вновь успокоенная.

Не то, что брат Адам выставил за дверь брата Юлиуша, удивляет и шокирует братьев. Они привыкли к подобным сценам в «Коло». Их удивляет и шокирует русская речь в устах Мицкевича. Почему это он заговорил вдруг по-русски? Можно было подумать, что совсем как в драме Словацкого, в которой чужие души вселяются в тела живых людей, так теперь вошел в тело Адама дух чуждый и раздражительный.

Эмигрантская пресса ударила в набат, не щадя никого. Мицкевич, околдованный мэтром Анджеем, верящий в его добрую волю и в его посланничество, должен был читать в эти тяжкие дни всяческие наветы, бросаемые без разбора и наобум. Политические партии давно косились на Мицкевича, ведь он не присоединился ни к одной из них; журналисты не могли простить ему его гениальности. «Третье мая» писал: «Ежели славянство под опекой Николая утратит в г-не Мицкевиче отца, то мать отчизна обретет верного сына».

«Польский демократ»^[202] тоже не скупился на домыслы и инсинуации. Положение Мицкевича было трудным и требовало необычайного душевного закала. Он, такой резкий, яростный, такой нетерпимый к перечащим ему, не восстал против клеветников. Продолжал хранить молчание. Доверял Товянскому и в его руки вручил свою честь и честь Польши. В недостойные руки. Эмигрантские газеты без всяческих обиняков писали правду о Товянском, указывали пальцами на контакты мэтра с царизмом. «Дзенник народовы»^[203] от 1 марта 1845 года писал, что товянисты являются «осмысленным или безумным орудием российского правительства».

Всегда кроткий, мягкий и умеренный в суждениях, Богдан Залеский, который одного только Словацкого никак не хотел понять и простить, жаловался: «Много зла причинил нам прибывший несколько лет назад

Товянский». Запахло скандалом, когда Северин Пильховский, участник «Коло» (тот самый брат, к ногам которого бросился брат Адам на собрании 29 ноября), взяв на себя доставку письма царю, дошел до явной измены: славянскую идею и мистику товянистов он перевел на язык практический, дабы договориться в конце концов с российским посольством и православной церковью. Только тогда, встав на защиту доброго имени Товянского и его учеников, Мицкевич опубликовал декларацию, направленную против отщепенцев и отступников национального дела.

Отступничество Пильховского не было чем-то исключительным в жизни эмиграции. Из членов «Коло» еще до брата Северина отошел брат Мирский^[204]. В Польше случаи национальной измены под натиском враждебной мощи империи Николая или вследствие изворотливой политики то и дело повторялись. Широко известно стало отступничество Юзефа Шанявского^[205], философа, который из патриота и воина сделался одним из гонителей прав польского народа в Царстве Польском.

Мицкевич в это время находится под сильным влиянием самых пылких приверженцев Товянского. Анна и Фердинанд Гутты, Алиса Моннар^[206], Ксаверия Дейбель жаждут беспрекословного подчинения приказам мэтра Анджея. Взаимоотношения в «Коло» становятся все более невыносимыми, настроение, царящее среди товянистов, все более напоминает массовую истерию. И когда Великий Бесноватый никак не может вырваться из-под ига своего доверителя и мэтра, маленький бедный Словацкий после протеста против склонения польского духа перед царем Николаем (этот протест был провозглашен с великолепным жестом, яко старопольское вето) — Юлиуш Словацкий пишет уничтожающую сатиру на товянизм и, чтобы не оставалось никаких сомнений, озаглавливает ее «Берлога».

Намеки здесь весьма прозрачны, форма стиха переносит дантовский ад в «пантадеушевский» тринадцатисложник:

Завесу поднял бог, и вот по воле бога
Отверзлась, наконец, угрюмая берлога:
Развалины умов и помыслов тщедушных,
Гримасы подлых рож, зеленых и синюшных,
Глаза кровавые над жертвенною чашей,
Сердца разбитые, кладбища мысли нашей, —
Скелеты жалкие, и призраки, и духи,
Что биты палками — вполне в москальском духе!

Останки страшные, встающие из гроба,
Кончина разума, змеиная трущоба...

Там черный трон стоит, угрюмый и коварный,
Порой кольшется на нем Медведь Полярный,
Тот пышный властелин, внутри пустой и хилый,
Какого лжепророк мнит некой грозной силой.
Пред мощью той, что царь ссужает благосклонно,
Скелеты спятивших земные бьют поклоны,
И унижается толпа мертвоголовых
Под грохот черепов и стук костей берцовых.
Кто б мог вчера сказать, что всем на зависть дырам
Мы валтасаровым дыру прославим пиром?
Что тот, кто некогда был дорог сердцу Польши,
В запой духовный впал и не проснется больше,
И вакханалию спешит предать огласке,
Не зная, что в гостях — покойницкие маски!
Не зная, что в дому, где нынче мгла теснится,
Выводит царская жестокая десница
Три слова пламенных... Что в общей суматохе
Тела бездушные там подбирают крохи;
Там, в чуждых им телах, каких-то бесов стая,
Иной ответит «Я» — а в нем душа чужая;
Другой, вдруг заглянув в былых событий заметь,
Находит в памяти своей чужую память!
А тот — под Гроховом израненный в сраженье —
Отчизною Москву зовет в полузабвенье,
А вот еще один — распатлан и встревожен —
По-бабьи он вопит: «Что за несчастье, боже!»

*

Тем временем афиша Коллеж де Франс уведомила слушателей об отпуске, предоставленном профессору Мицкевичу министром. Правительство Луи Филиппа избавилось от опасного профессора. Кампания против Мицкевича задела также и некоторых французских

профессоров, прежде всего Кинэ. Кинэ позволил себе в одной из своих лекций утверждать, что, если бы папа Григорий VII жил бы сегодня, он вступился бы за Польшу и Ирландию и осудил бы Россию, Англию и Испанию.

Знаменательным было выступление маркиза Бартелеми в палате. Он назвал чтения в Коллеж де Франс нелепыми и скандалезными.

Официозная газета «Ревю де Пари» откровенно писала: «Г-н Мицкевич впал в заблуждение, очень частое в нашу эпоху, то есть в тот род мистицизма, одновременно политического и философского, где смехотворность непосредственно граничит с возвышенностью».

Слова эти уже не застали Мицкевича в Париже. Он выехал в Рихтерсвиль, где ранее поселился Товянский, выдворенный из Франции. Рихтерсвиль расположен над Цюрихским озером. Тут останавливаются пилигримы, прежде чем поплыть в Эйнзидельн, где высится монастырь, прославленный чудесами. В этой обители находился образ Пречистой Девы Эйнзидельнской, перед которым много часов должен был провести говеющий тут Анджей Товянский. Перед этим образом он назначает Мицкевичу встречу.

Пророк отлично знает, как воздействовать на воображение поэта. Он неустанно и последовательно стремится подавить в нем гордыню и чувство превосходства.

Укоряет поэта за «тщеславие», с которым он якобы черпал, будто из отравленного источника, свою поэзию; навязывает ему идеал покорности, простоты душевной, которая порождает не поэзию, но реальные дела. Этими словами мэтр Анджей снова ударил в самый чувствительный пункт воображения Мицкевича, привел его на высочайшую башню, чтобы показать ему лежащую у ее подножья пустыню. Годы пройдут, прежде чем Мицкевич поймет, наконец, что взгляды мэтра не имеют ничего общего с правдой о «деянии, всегда готовом к реальному действию».

Все эти годы Товянский всяческими способами старается опутать волю Мицкевича, используя для этой цели его поэтическое воображение, его склонность к экзальтации, мобилизует остатки суеверий, которые поэт вынес со своей литовской отчизны.

В сущности, Товянский презирает Мицкевича, презирает его поэзию, презирает его готовность к жертве, его верность делу, ибо все эти качества служат мэтру, как служили бы Ариель и Калибан, если бы они угодили во власть шарлатана.

Теперь он снова требовал от поэта «умаления ради грядущего возвеличения», настоятельно рекомендовал ему совершить паломничество

в Эйнзидельн, куда Мицкевич должен будет отправиться «как литовская бабуля чистых славянских кровей, идущая на исповедь в вере и страхе божием.....»

Итак, Мицкевич ехал в чудотворный монастырь святого Мейнара и к прославленному чудесами образу Пречистой Девы Эйнзидельнской, как литовская бабуля, в страхе божием и вере. Ехал на палубе корабля, который медленно двигался под утренним солнцем по гладкой лазурной поверхности озера. Стоял погожий и теплый день, но на воде было холодно, дул пронизывающий ветер.

Пилигрим был здесь всем чужой, с первого взгляда можно было узнать в нем чужеземца, пришельца из отдаленной провинции. Он кутался в заношенный плащ с потертым меховым воротником. Он смотрел ка чаек-рыболовов, летящих вслед за кораблем, и лицо его в ореоле развевающихся седых волос в этот миг действительно имело сходство с лицом литовской старухи. Он отгонял, как пустой и греховный помысел, строфы стихов Новалиса, которые теперь, когда он совершал паломничество к образу Пречистой Девы Эйнзидельнской, внезапно всплыли у него в памяти; неотвязные строфы, в их звучании было какое-то волшебное очарование:

Все облики твои, Мария,
Необычайно хороши.
Но я узрел тебя впервые
Глазами собственной души.

Узрел тебя — и все земное
В тот миг развеялось, как сон,
И в небо вечного покоя
Навеки был я вознесен.

Звуки эти, еле произносимые стыдливymi устами, смешивались с окружающим его говором пассажиров, с тем швейцарским диалектом, который так далек от изысканности и чистоты языка, свойственных графу фон Гарденбергу, прозванному Новалисом. Звуки этого стихотворения таили древнюю человеческую тоску по неземной, по небесной любви, которой не может наградить ни одна из земных женщин.

Затишье Швейцарии, синева ее вод, очарование аллеи вязов и платанов, таинственность маленьких замков, которые возвышались над сплетенными в объятьях ветвями старых деревьев, придавали этим стихам

земную и грешную прелесть.

Мысль о Ксаверии, легче утреннего тумана, остатки которого еще таились кое-где в кущах этой Обетованной Земли, внезапно появилась и исчезла, подавленная суровым велением.

Товянский проникательно и немного иронически воззрится на Мицкевича из-за голубых стекол. Он был в глухом одnobортном сюртуке со стоячим воротником.

— Каким ты оставил Ружицкого? — спросил Товянский. Голос его в гулких стенах храма звучал угрюмо и резко. Они преклонили колени перед образом Пречистой Девы Эйнзидельнской.

*

Товянский, обеспокоенный состоянием души Адама, который, казалось, отходит все дальше и дальше от путей и перепутий, предначертанных учителем, решил сломить строптивного ученика. Мицкевич не порвал тогда с Товянским, хотя испытывал уже невыносимое принуждение, хотя святость «Коло» представлялась ему все более и более сомнительной.

Мэтр Анджей не ограничился в эти дни устными уговорами, заклинаниями и угрозами, подкрепленными строгим взглядом и повелительным жестом. Уже 28 мая в Эйнзидельне он вручил Мицкевичу «ноту», в которой напоминает о своей роли «исчисляющего счеты с богом, дающего ответ перед богом» и так далее, в том же сакраментальном стиле, высокопарным и неряшливым слогом честит он брата Адама: «Душевная пустота, отсутствие готовности пойти на жертву, малые заслуги не могут принести человеку милости божией. Искра обновленная не пробилась сквозь тело, не воплотилась в нем, не вышла оттуда, как назначено промыслом господним — воплощенным светочем новой эпохи животворящей, — не пошло движение духа и осуществление движения сего. Делу господнему был нанесен ущерб. Христианство, веками поддерживаемое духом, отвергнутое человеком; источник любви без этого устремления человеческого иссякать начал...»

Следующим письмом была «нота» от 2 июня, также поражающая «светочем слова». Инструкция от 3 июня содержит указания также для госпожи Целины. Супружеству Адама и Целины мэтр в этом письме придает елейный оттенок некой связи душ, извечно соединенных друг с

другом. Эта внезапная забота о постоянстве супружеских душ могла быть продиктована Товянскому мыслью о Целине, как, впрочем, и мыслью о Ксаверии. Дальнейшее развитие событий, по-видимому, подтверждает эту гипотезу.

Тем временем мэтр вручает брату Адаму новое обширное послание, начертанное в Рихтерсвиле 4 июня 1845 года. Эту эпистола, наполненную бессмысленными бреднями, сын поэта сравнивает в своей книге о жизни отца с симфонией Бетховена, предусмотрительно замечая, однако, что «как в творениях Бетховена одни и те же звуки почти у каждого слушателя вызывают иные чувства, так тот род мистических симфоний, если позволено так назвать писания Товянского, разными людьми воспринимается по-разному, хотя в те времена эти писания обладали для Мицкевича несравненной прелестью, а также и красотой глубочайшей истины».

«Брат Адам, — писал Товянский, — развивая перед тобой, как свиток, нынешнюю жизнь твою, я дополняю мое покорение воле божией, дня 28 мая учиненное. Верховный священнослужитель славянский, Петр Новой Эпохи Слова — в духе, в земле, в деянии — чрез жертву Христову, я призван встать во главе провозглашать и расширять живое слово божие, призван и способен...» «Веками дремлет мысль, веками жизнь духа коснеет, не озаренная искрой учения. Без того, чтобы душа сама не напряглась, без того, чтобы первый шаг не свершила сама душа на предначертанном ей свыше пути — божья воля не сможет исполниться, и не зачтены будут многие жертвы и добродетели».

Влиянием своим Товянский сумел обезвоить поэта, лишить его свободы действий, вовлечь его в заколдованный круг самобичевания, угрызений совести, пререкательств с «братьями»; оплел его воображение сетью мелочных дрызг, интриг и недоразумений. Много лет спустя Северин Гоцинский записал в своем дневнике: «Какую пользу принесло мне то, что я прошел через товянщину? Я стал меньше презирать поляков, которые ладят с москалями, ибо в товянщине я увидел поляков, которые восторгаются игом более тяжким, нежели царское иго».

Именно тогда, когда Мицкевич возвратился в Париж из Швейцарии, в «Коло», зародилось опасное брожение, именно тогда и произошло окончательное отступничество Пильховского. Этот Пильховский, пользуясь отсутствием Мицкевича, пытался захватить господствующее положение в «Коло», яростно выступал против пребывающего в Швейцарии заместителя мэтра и увлек за собой большинство братьев и сестер. В особенности сестры, чрезвычайно предрасположенные к сектантскому

кликушеству, задавали тон во всей этой истории. В эту пору даже Целина и Ксаверия пошли за Пильховским.

Северин Пильховский стремился не только занять главенствующее положение в «Коло», — влияние свое намеревался использовать в интересах своеобразно интерпретированной славянской идеи, и, по-видимому, не подлежит сомнению, что этот расторопный «брат» Северин оставался в непрерывном контакте с царским посольством. Должно быть, это именно так и было, ибо в августе 1846 года Пильховский поверяет Мицкевичу свой план отдаться на милость царских властей через посредничество царского посольства в Париже и далее планирует выезд всего «Коло» в Россию.

Должно быть, кое-кто из сестер внял бы этому призыву, ибо Пильховский пользовался успехом у женщин. Мицкевич писал уже в 1845 году Товянскому об этом мистическом донжуане: «Всякие следы благодати в душе его стерлись, а осталось только давнишнее стремление покинуть эмиграцию любой ценой; стремление, ради которого он столько раз пытался обречь все «Коло» на изгнание, чтобы самому набрать приверженцев».

Товянский отвечал Мицкевичу мистическими двусмысленностями и приказывал, чтобы в поступках своих он никоим образом не руководствовался человеческим разумом и рассудительностью. О Пильховском же он очень тепло отзывался.

В августе 1845 года Мицкевич был окончательно лишен кафедры в Коллеж де Франс. 5 сентября того же года министр Сальванди уведомил Мицкевича, что с этого дня он будет получать половину профессорского оклада. Тем временем по указанию мэтра Кароль Ружицкий возглавляет «Коло» после ухода Мицкевича. По сути дела, уход этот был не вполне добровольным. Мицкевич был устранен, как тот, кто «взял сторону земных дел».

Великий Бесноватый едет к мэтру в Швейцарию. Во время собрания в Цюрихе Мицкевич неистово обвиняет братьев и сестер; когда он яростно клеймит одних за развращенность, других — за отступничество от национального дела, мэтр преспокойно отвечает Адаму: «Оставь, брате, других в покое. Сестра Анна, быть может, очень грешна, прочие также, но ты, брате, чужими грехами не занимайся, ибо у тебя своих довольно».

«Брат Адам снова впал в ночь», — возвестил Товянский, что в переводе на менее мистический язык означало: не мог дольше оставаться в «Коло», в сетях интриг, сплетаемых братьями и сестрами. Не мог дольше действовать в полном единодушии с другими приверженцами мэтра

Анджея, в частности с сестрой Анной Гутт, с братом Фердинандом Гуттом, которые, если окружение Товянского сравнить с придворным штатом, были в этом штате ревностнейшими наушниками и подхалимами.

Госпожа Товянская после ухода Мицкевича, которого угрозы мэтра не смогли ни застрашать, ни согнуть, испробовала, явно не без ведома своего супруга, коварное и в то же время наивное средство: письмо ее как бы озаряет мгновенным и резким светом облики мэтра и его благоверной.

«Чтобы ответственность на мне не лежала, — пишет скверно владеющая польским языком Каролина Товянская, — я сообщаю тебе, брат Адам, следующее. Снилось мне матушка брата Адама, говорящая ему с необычайной силой: «Ты пребываешь в прежнем своем оцепенении, у тебя нет возвышенных порывов, ты собираешься свершить нечто в грядущем, но дни твои сочтены. Скоро господь призовет тебя. Итак, спасайся! Слишком много времени ты упустил безвозвратно, у тебя осталось еще три дня сроку».

От этих слов ты, брат Адам, впал в экзальтацию, отступил на шаг и споткнулся.

«Будь терпелив и бди, — снова обратилась она к тебе, — источник всех грехов — своенравие и упрямство». Ты испугался и стоял, как бы остолбенев. Огорченная этим, твоя покойная матушка исчезла с глаз твоих... Совести твоей, брат Адам, я предоставляю считать это сном, видением или же гласом Божиим, из потустороннего мира идущим к человеку... как я это во сне и наяву приняла...

Я почувствовала, что этот призыв господень означал кончину брата Адама; кроме нынешнего дня, снилось мне трижды, что брат Адам тут умирает».

Эти цюрихские сновидения пани Каролины несколько не отразились на здоровье Мицкевича, — скорее они вышли боком самой пани Каролине, которая этим гнусным шарлатанством оттолкнула от себя и от мэтра Анджея многих братьев.

Свыше двадцати участников «Коло» высказалось в пользу Мицкевича. С этого дня Товянский начал утрачивать влияние и авторитет.

*

События 1846 года^[207], галицийское кровопролитие, упразднение статута вольного города Кракова, преследования и репрессии потрясли

Польшу и эмиграцию. Велико было возмущение польского дворянства, ибо тысячи шляхтичей погибли под палицами взбунтовавшихся крестьян, многие были заколоты вилами. Видимо, даже самые благородные забывали в эти тяжкие дни о прегрешениях и преступлениях шляхты, в течение столетий терзавшей мужиков с дозволения закона как польского, так и австрийского.

Кровь близких, погибших ужасной смертью, взывала к отмщению. «А случилось-то на масленицу...» — распевал странствующий лирник, идя по Галиции, из села в село, по жирной весенней, слякоти.

Люди с ужасом рассказывали о том, что творилось в Смержовой, в Едловой, в Пильзне под Тарновом. Окна усадеб были затянуты трауром. Над свежими могилами еще как следует не окрепла земля. Молодой шляхетский поэт в гимне «С дымом пожаров, с кровью собратий» обвинял «руки, а не слепой меч».

Все, однако, считали, что этот кровавый год отбрасывает Польшу в далекое прошлое, к давно позабытым мужицким бунтам времен короля Мешко Второго^[208].

Мицкевич, когда у него допытывались, что он думает о галицийских событиях, отвечал: «В истории славян испокон веков повторяется один и тот же акт. Мужики долго терпят угнетение и в конце концов вырезают панов. Так было и в римскую эпоху в Иллирии и Паннонии и в прочих славянских провинциях. То, что историки пишут о внезапных нападениях, было не чем иным, как бунтом обитавших там славянских мужиков, — так мстили они тогдашней господствующей шляхте».

Призрак классового возмездия окровавленным платком размахивал на польских проселочных дорогах. Эмиссары «Демократического общества», курсирующие между Парижем и Польшей, видели его на всех трактах, по которым они проезжали с фальшивыми паспортами.

Мистическим грезам шляхетства они противопоставляли деяние и огненные слова манифестов.

Восстание было безжалостно подавлено, но надежда продолжала жить. Гуляя в июне 1846 года по лесу в Сен-Жермен, Мицкевич размышлял об этих делах, живых и болезненных, однако рассматривал их в аспекте отдаленных исторических параллелей. Размышлял об истории первых славян, о «римском вопросе», но готовился к грядущим великим событиям, о неизбежности которых всюду говорили с тревогой и печалью.

Порой, отдыхая под сенью старых дубов или вязов, лежа на спине, лицом к небу, просвечивающему меж ветвей, поэт чувствовал, как постепенно проясняются его еще недавно спутанные мысли. Лето было

уже на исходе, дни становились все короче, парижские поляки возвращались к мелким делишкам, к маленьким сварам, к сплетням, к каждодневной битве за хлеб насущный.

Эмигрантская пресса продолжала заниматься делом Пильховского. «Польский демократ» в статье «Московские махинации и товянщина» писал об измене Пильховского: «Прислужник и подручный Товянского уже исполнил волю своего господина и мэтра: этот подлец уже дошел до второй степени совершенства, ибо предался Москве и решил перейти в греческую ересь».

Однако, несмотря на эти голоса и вопреки им, Мицкевич не утратил доверия к Товянскому, хотя между ними и углубляется пропасть в понимании «учения». Мэтр в это время, в дни подпольного брожения, захватившего всю Европу, все яснее подчеркивал свой абсентеизм, отмежевываясь от какого бы то ни было действия, провозглашал нейтральность товянистов.

Подобно сильным мира сего, защищающим свои привилегии, подобно Меттерниху, который, чуя приближение грозы, преисполненный отвращения и изумления, присматривается к развитию событий, мэтр Анджей, провозвестник нового вероучения, поддерживает политику правительств. Получал ли он какие-нибудь инструкции от царского правительства, состоял ли он с ним в постоянном контакте?

Происходило все это перед закатом буржуазного королевства Луи Филиппа, но часть приверженцев новой религии оставалась верна пророку и по-прежнему проводила время в пустячных спорах, в бессмысленной и омерзительной практической деятельности.

Кароль Ружицкий, возглавивший теперь группу участников «Коло», сохранивших верность Товянскому, создал своего рода семинарий, в коем разбирались и комментировались писания мэтра Анджея, пресловутую «Беседу», жалкую пародию платоновского «Пира».

Мицкевич с нетерпением и тоской ожидает взрыва революции, он жаждет вдохновить идеей вооруженного восстания горстку преданных ему учеников. В мечтах о грядущем восстании Ружицкому предназначается роль командующего польской армией, тому самому Ружицкому, который выполняет в этот момент функции заместителя Товянского и косо смотрит на несогласованные с волей мэтра увлечения строптивного поэта в «сфере деяния». Время от времени различные доброхотные осведомители, следящие за каждым шагом Мицкевича, рапортуют мэтру, обитающему в Швейцарии.

А поэт тем временем, сбросив иго непосредственной зависимости от

мэтра, вновь почувствовал себя самим собой и преодолел отчаяние, которое так долго владело им.

Его охватило драгоценное чувство взлета, без которого жизнь была бы почти невыносима.

Поэт проясненным взором охватил все, существование в целом, проникнул в глубь его, — даже страдание принимал как должное.

На похоронах одного из благороднейших изгнанников, свято верного ему Исидора Собанского, когда в смерзшуюся январскую землю могильщики стали опускать убогий гроб, сколоченный из наспех обструганных досок, Мицкевич уносился мыслью не к почившим, но к живым, ко всем тем, которые в это самое мгновение, когда студеный ветер хлестал по деревьям Монмартра, страдали, уповали, восставали-против угнетения, добывали хлеб насущный, проклинали и любили — во Франции, в Австрии, в Германии и, наконец, в России и Польше, в городках и селах, в хатах, занесенных снегом до самых окон. Одному из участников погребения запомнились жаркие слезы, обильно струившиеся тогда по лицу поэта. В этих слезах было освобождение.

*

По странной прихоти судьбы в то время, когда Мицкевич пробуждался от оцепенения, когда он ощутил в себе прилив новых сил, его очам явилась женщина с другого полушария, американка, мисс Маргаретт Фуллер^[209]. Именно явилась, ибо их встрече не предшествовало ничего, кроме письма, в котором мисс Маргаретт просила Мицкевича, чтобы он нанес ей визит, если обстоятельства ему это позволят.

Из письма он узнал, что Маргаретт была ученицей и сотрудницей Эмерсона и что она восторгается его, Мицкевича, лекциями о славянских литературах. Ну что ж, он пошел с визитом. Застал мисс Фуллер в обществе нескольких не знакомых ему дам. Это была еще довольно молодая женщина, светловолосая, с большими темными глазами; у нее было лицо ясновидящей, и чувствовалось, что она немножечко синий чулок.

Они завязали разговор, быстро и без тех препятствий, какие обычно затрудняют взаимопонимание между совершенно чуждыми друг другу людьми. Он дивился ее широкой образованности, поразительной отваге, с которой она сопрягала весьма далековатые идеи, ее необычайной

способности к смелому синтезу. Течение рассуждений философско-мистического толка, столь близких ему, что с каждой минутой он все более поражался совпадению взглядов этой незнакомой ему женщины с его собственными взглядами, Маргаретт прерывала рассказом о своей жизни.

Она вспоминала Кембриджпорт в штате Массачусетс. Там она увидела свет. Вспоминала занятия свои в Конверсейшен Клуб в Бостоне, вспоминала учителя своего Эмерсона. Он ввел ее в мир помыслов Сократа и Плотина, Порфирия и святого Павла, Якова Беме и Сведенборга, Спинозы и Канта.

Она всегда мечтала о поездке в Европу. Теперь, наконец, мечта ее исполнилась. Она была глубоко потрясена всем тем, что увидела. Познакомилась с Карлейлем и Мадзини. Была в восторге от Старого Света и в то же время возмущалась несправедливостями, отлично знакомыми ей и привычными также и в ее отечестве.

Мицкевич постепенно дал себя вовлечь в ее пламенную исповедь, в ее столь чуткую к каждому его ответу готовность сочувствия. Давно уже ни с кем он не разговаривал так откровенно и искренне. Она узнала его в течение часа лучше, чем те, которые часто с ним общались. Было в ее доверчивом взгляде нечто отворяющее сердца. Он стоял, опираясь о спинку кресла, и всматривался в лицо незнакомки, которая с каждой минутой становилась ему ближе и дороже. В некий миг побуждаемый какой-то мыслью, высказанной Маргаретт как будто мимоходом, мыслью, которую он сам вынырнул и которую не высказал и не доверил никому, он взвился и начал говорить со свойственной ему пылкостью.

По мере того как он говорил, лицо его прояснялось, как будто слова извлекали на поверхность затаенный свет. Подруги Маргаретт не понимали того, что говорил Мицкевич, но и они были тронуты: волнение передалось им, подобно свету, который изменяет все, на что падает.

Он обрывал фразы, выражал свои мысли сжато, порой только взглядом. Она понимала его с полуслова, на лету схватывала едва только начатую фразу. Это не была теоретическая лекция. Поэт рисовал перед ней картины, которые носил в себе с давних пор, образы грядущего.

Маргаретт казалось, что она видит уже первые вертограды той страны, где не будет несправедливости и угнетения, где солнце не будет заходить никогда. Мицкевич у нее на глазах превращался в пророка. Так, должно быть, выглядел Моисей, когда господь указал ему Землю Обетованную.

Ей казалось, что трость, которую поэт теперь вертел в руках, ибо он собирался откланяться и уйти, что этот убогий посох пилигрима расцвел виноградской лозой.

Внезапно, не владея собой, Маргаретт без чувств опустилась на софу.

Маргаретт писала позднее Эмерсону: «Я увидела человека, в котором интеллект и страсть находятся в такой пропорции, в которой должны быть в каждом совершенном человеческом существе; человека с непрестанно пылающей душой».

Вскоре мисс Фуллер выехала в Италию. Мицкевич в марте 1847 года писал своей новой приятельнице в словах, исполненных необычайной искренности:

«Дорогой друг,

Твое письмо обрадовало меня. Вижу, что ты ожила и расцвела на воздухе юга. Твоему организму нужна эта помощь южного неба. У тебя в душе обильный источник жизненных сил, но душа твоя рассеивается в излучениях, ты должна покрепче связать ее со своим телом.

Живи в более тесном общении с природой, ищи общества итальянцев, разговоров с итальянцами, итальянской музыки (Россини, Меркаданте и т. д.).

Позже у тебя еще будет время вернуться к Моцарту и Бетховену. Теперь радуйся тому, что тебя окружает. Вдыхай жизнь всеми порами.

Правда, это жизнь низшая, земная, материальная, но для тебя она необходима.

Я не пытался задерживать тебя в Париже, так как чувствовал, что твоя поездка в Италию необходима. И все, что я сказал тебе, имело целью твое счастье и твое развитие. Ты говоришь, что я был слишком занят. Но мои занятия, дорогой друг, не из тех, которые занимают твоих соотечественников. Я был занят не по-американски. Ежедневно меня поглощали дела, которые захватывают всего человека, и я не мог всецело отдаться тебе.

Между тем я хотел видеть тебя лишь тогда, когда я был весь, без остатка, с тобой.

Ты знаешь, чем я занят, и можешь вообразить, какие препятствия, какая борьба, какие победы и поражения встречаются на этом пути. И до сих пор не знаю, смогу ли приехать в Италию; я напишу тебе об этом.

Напиши мне и назови местности, через которые будешь проезжать. Мне очень приятно думать, что я снова тебя увижу. Я распознал в тебе подлинную индивидуальность. Других похвал говорить не стану. Такая встреча на долгом жизненном пути утешает и придает силы. Какое бы это было счастье, если бы все женщины поняли цену искренности и правды!

Тебя поражает красота женщин юга. В Риме и его окрестностях ты увидишь образцы этой красоты. И мужчины в Италии тоже красивы. Но

какое внутреннее убожество! Какое младенчество духа! Я был в Италии в годы моей молодости, долго жил там. Меня не тронула ни одна женщина. Я предпочитал картины. Но наступает время, когда внутренняя красота, внутренняя духовная жизнь становится первым и самым существенным достоинством женщины. Без этой внутренней красоты женщина не привлекает даже физически.

Научись ценить в себе красоту и, отдав дань восхищения своим римлянкам, скажи себе: и я ведь прекрасна!

Жду вести от тебя, дорогой друг.

Преданный тебе

Адам.

Какой у тебя том моих сочинений?

Среди них есть такие, от которых я отрекаюсь».

В течение последующих месяцев продолжается переписка между поэтом и Маргаретт Фуллер. Не прерывает этой корреспонденции и важная перемена в жизни Маргаретт: она выходит замуж за маркиза д'Оссоли.

В 1848 году Мицкевич встречается со своей приятельницей в Риме. В это время Маргаретт является корреспонденткой «Нью-Йорк трибюн».

Эта воительница за женское равноправие, чуткая к красоте искусства переводчица «Разговоров с Гёте» Эккермана, автор прекрасной и умной книги «Лето над озерами», отважная публицистка, имя которой прославила книга о женщине XIX века, благодаря Мицкевичу становится глашатаем идеи независимости Польши.

Мицкевич видел в Маргаретт наиболее полное олицетворение женщины и сказал о ней, что она призвана чувствовать, говорить и действовать в трех светах: в Старом, Новом и Грядущем.

*

Мишле, о котором много лет спустя Норвид писал: «Старый Мишле, чьи юношеские черные глаза и белоснежная грива еще стоят в моей памяти», — бывал в то время частым гостем в доме Мицкевичей, в просторной квартире в Батиньоле, тогда еще предместье Парижа.

Он был ровесником Мицкевича. Но он очень отличался от польского поэта своим чисто галльским чувством реальности — трезво оценивал людей и события, но, подобно польскому поэту, яростно восставал против тирании, подобно Мицкевичу, предвещал приход новой революции, которая

неприменно принесет свободу народам.

«Твой труд, — говорил Мицкевич, обращаясь к Мишле, — открыл мне Францию. Ты дал мне услышать голос твоего народа». Мицкевича захватила и убедила нравственная серьезность «Истории французской революции».

Он переводил язык Мишлена свою польскую речь, речь пилигримства, наученного горьким опытом бесчисленных страданий, пилигримства, паломничества, которое ожидало чуда и жило этим грядущим чудом. Какое могло быть сходство между Мишле и Товянским? В эти годы упадка и заблуждений разве мог Мицкевич в таком сравнении хоть на единый миг сблизить этих двух людей? Взор его был еще теперь, после разрыва с мэтром, помраченным. Но уже сквозь расселины этой темной эпохи его жизни начинает пробиваться свет.

Он все еще продолжает говорить о Товянском, как «брат, слуга и ученик». В письме к «мэтру и господину», отправленном 12 мая 1847 года из Парижа, подводя итоги длительному периоду деятельности в «Коло» товянистов, поэт пишет следующие слова об апостолах нового нравственного уклада, и это поразительные слова:

«Мы, требующие от других веры, сами пребывая в безверии, в ничтожестве, в мучениях, не умея вынести одиночества, которое оставляло нас наедине с самими собой, изобличая пред нами наше ничтожество, — мы нападали на братьев. Мы причиняли им страдания, чтобы обрести трагическое развлечение в зрелище их мук. Мы, требующие, взыскующие, едва не уподобились дряхлеющим тиранам, которые только в кровавой купели тепло находят. Нашей купелью были души братьев наших. Чем меньше мы ощущали в себе свободы, силы, жизни, тем больше мы звали к жизни.

Мы искусственно добывали жизнь: приказывали братьям предпринимать шаги, часто несовместимые с их внутренним состоянием. Мы отнимали у братьев их уже последнюю свободу, свободу, которую уважает любая тирания, — свободу молчания...

Мы утверждали власть самую печальную и гнусную, какая только есть на земном шаре, власть, которую в нашем отечестве имеют управительницы, экононы и дворовые служители да заезжие паньчи над мужиками. Власть гнуснейшую, ибо она ничего не ведает, кроме доносов и кар, ибо там нет жалобы и защиты, расследования, и суда, и приговора! Власть, которую провидение уже убирает даже со славянских земель.

Эту власть мы хотели узаконить, спаять ее с властью духовной. Поэтому повторяли, что говорим, что приказываем от имени духа святого, а

ведь духа этого не было в нас. Братьев, запуганных такими приказами, мы ежеминутно стращали божьими карами, мы призывали эти кары, мы тешились, когда брата настигала скорбь или нищета, мы отталкивали его, топтали. Мы уподоблялись стае волков, которые разрывают и пожирают раненого собрата.

Все злоупотребления, которые были в древней синагоге Израиля, все те, которые допустил на протяжении веков церковный строй, быстро среди нас привились и стали приносить плоды. Дух со страхом чувствовал семена грядущих злоупотреблений — горших, чем те, которые видали пещеры магометанских изуверов, иезуитские кельи и темницы святой инквизиции».

Мэтр Анджей читал эти обвинения в тихом швейцарском городке, и лицо его заливала смертельная бледность. Когда он гневался, явно проступала едва пробивающаяся сквозь его черты в нормальном состоянии вульгарная грубость и полнота его лица. В голубых очках он выглядел теперь, как существо из какого-то иного мира.

Он терпеть не мог прозревших, ненавидел тех, которые вырвались из его берлоги.

В это самое время Словацкий, писавший «Короля Духа», упивался кровавыми видениями.

Душный, тяжкий от кровавых испарений воздух этой поэмы был воздухом, которым дышали товянисты. Поэзия позлащала угрюмые бездны моральной инквизиции.

Великий Инквизитор не отвечал на обвинения, которые прочел в письме Мицкевича.

Проклял только в помыслах своих первого ученика своего и, став перед образом, который был копией образа Богоматери Эйнзидельнской, молился о скоропостижной кончине брата Адама.

Пресвятая Дева не выслушала его на этот раз. Новое «Коло», которое было основано и возглавлено Мицкевичем уже в 1846 году, шло теперь своим собственным путем. Мицкевич, основывая новую организацию, не желал, чтобы она занималась мелкими дрызгами, рассматривала действительные или мнимые проступки сестер и братьев. Он сразу же придал своему «Коло» размах, разжег воображение его участников зрелищем приближающегося деяния. Поэт не хотел, однако, действовать на территории Франции. В грезах ему представлялся исход эмиграции с земли французской в землю итальянскую. Этот exodus он воображал себе, яко Исход народа израильского из Египта. «Нельзя нам умереть на сей земле!» — повторял он братьям и сестрам.

«Откровение духа христианского в политике, создание царства Христова должны взять начало в Риме, который есть церковью и государством равно. Мы призваны завоевать этому духу царство на земле, затем-то мы и должны сойти из Рима, устоя и поста нашего, на землю».

Мицкевич, который рвался к немедленному действию, ощущал еще на руках своих оковы товянщины. Между ним и реальным миром лежал еще туман мыслей и грез. И хотя теперь, как и прежде, он верил в революцию, хотя в любую минуту готов был бросить все и сражаться за свободу, — мистический налет все еще лежал на его помыслах и речах. Познанским узникам он советовал быть покорными, как будто они были участниками его «Коло», он мечтал о людях одухотворенных, о людях, которые отбросят все, кроме пыла и энтузиазма, — он набрасывал картины «истинной демократии», которая обойдется без мудрости земной.

Он грезит так в эпоху, когда по поручению тайно собравшегося в Лондоне конгресса коммунистов Маркс и Энгельс обратились в «Коммунистическом Манифесте» к народам мира их собственным языком, твердым, сжатым, точным — языком земной мудрости.

Эти люди не верили в ценность мистического лексикона тогдашних свободомыслящих. Не разделяли энтузиазма по поводу возведения на папский престол Пия IX, а ведь ему даже такой человек, как Мадзини, адресовал послание, призывающее его пренебречь дипломатией и провозгласить царство божие на земле.

Мицкевич, подобно Мадзини, верил, что папа, надежда либералов, может стать путеводной звездой, озаряющей народам дорогу к вольности. Верил, что сможет потрясти старца, заставить его провозгласить крестовый поход народов.

Между тем предполагаемый выезд Мицкевича в Рим обеспокоил главным образом Товянского, а также привел в действие соответствующие бюро парижской тайной полиции, которая страшилась одновременно как реального действия, так и призраков товянщины и Наполеона.

Мицкевич спешил. В феврале 1848 года он прибыл в Рим. Политические события быстро разворачивались: за развитием их не поспевали ни призраки, ни души усопших.

ЦАРЕВНА ИЗРАИЛЬСКАЯ

«1. Когда царь Давид состарился, вошел в преклонные лета, то покрывали его одеждами, но не мог он согреться.

2. И сказали ему слуги его: пусть поищут для господина нашего, царя, молодую девицу, чтобы она предстояла царю, и ходила за ним, и лежала с ним, — и будет тепло господину нашему, царю.

3. И искали красивой девицы во всех пределах Израильских, и нашли Ависагу Сунамитянку, и привели ее к царю».

Госпожа Каролина Товянская перестала читать и взглянула на мужа. Мэтр Анджей не глядел на нее — пронизательный взор его был прикован к молодой девушке в черном; она благоговейно застыла перед пророком. Глаза ее в этот миг были полужакрыты. Товянский встал, подошел к книжному шкафу и, отвернувшись, начал что-то искать. Тогда Ксаверия подняла глаза и стала смотреть прямо в лицо госпоже Каролине, — глаза у нее были черные, большущие, поистине колдовские глаза Царевны Израильской^[210].

«Когда я беседовал с сестрой Ксаверией, — признался позднее Товянский, — глаза ее всегда были опущены; иначе я не мог на нее глядеть».

Он взглянул на нее, а она снова прикрыла веки, и на губах ее, ярко-красных и пухлых, появилась едва приметная улыбка.

— Я призвал тебя, чтобы ты дала мне отчет об успехах брата Адама. Холод, в котором он живет, невозможно изгнать с помощью внешнего тепла. Он, сидя в комнате, кутается в плащ, но теплее ему не становится. Я приказал Каролине прочесть тебе отрывок из Книги Царств, чтобы ты лучше поняла. Не поднимай очей, Ависага.

Ксаверия провела рукой по густым черным кружевам, сквозь которые чуть просвечивала белизна ее тела; как слепая, которой осязание заменяет зрение; улыбка исчезла с ее губ, она склонила голову и сказала почти шепотом:

— Я поселилась у брата Адама, я учительница детей супругов Мицкевич. Я хотела сохранить тон, но Целина грубит. Мне приходится ухаживать не только за детьми. В этом доме есть щели. Прошу тебя, мэтр, уволь, — я не чувствую в себе сил для этого...

Товянский сорвался с кресла, подошел к девушке, которая не подняла

на него глаз. Стал перед ней и так и впился в ее лицо. Замкнутое лицо ее изменялось, поддаваясь силе его взора, которую она физически ощущала на себе. Казалось, что, если бы девушка сейчас подняла взор, она не выдержала бы удара его глаз. Он был не выше ее, коренастый, похожий лицом на Наполеона; это природное сходство еще усугублял клок волос, начесанный на лоб. Лицо было холодное и решительное, глаза — привыкшие повелевать.

Госпожа Товянская, которая не отрывала глаз от лица мэтра и мужа, тоже встала в эту минуту и подошла к сестре Ксаверии.

— Тот жаждет медальона от Ксаверии, другой — ее улыбки; я опасуюсь недоразумений в «Коло».

Она произнесла эти слова очень серьезно, почти благоговейно, как будто речь шла о бог весть каком великом деле; у нее был приятный голос и сдержанный гон. Была она красивая женщина, одетая очень тщательно, но несколько экстравагантно. Товянский грубо отстранил ее и приказал ей выйти. Каролина не произнесла ни слова, но, может быть, чересчур энергично захлопнула дверь.

— Желаю от тебя, — Товянский возвысил голос и говорил, почти кричал прямо в лицо красавицы, — желаю от тебя, чтобы ты помогла брату Адаму. Он взывает о спасении, пребывая в холоде и тьме. Ты одна можешь спасти его. Я сказал уже: лениво служит делу Первый Призванный. Передам тебе служащих брату Адаму и сестре Целине — Каролину и Анну. Они покажут тебе, как в мелочах выдерживать тон христианский, за шитьем и плитой, на каждом шагу. Не может быть щелей в этом доме, щелей, сквозь которые проникали бы ночные духи, ночные духи, похожие на нетопырей... Понимаешь ли меня, Ксаверия?

— Понимаю, но у меня нет сил.

— Ты должна. Одно прикосновение фурий уничтожит тебя. Ты знаешь об этом.

— Не грози мне! Ни единого вздоха, воздымающегося к господу, мне не извлечь насильно из его груди. Он состарился. Он мертв.

— Подымешь царя Давида с ложа его, блеск твоих очей обогреет его, юность войдет в жилы его.

— Я свершу все, что ты приказываешь, как только обрету в себе надлежащий тон.

— Ты с ним уже в связи, Ависага?

— Не спрашивай об этом.

— Жду от тебя ответа, Ксаверия.

— Только не сейчас, не сейчас. Умоляю тебя. Позволь мне отдохнуть.

— С тревогой я думаю о тебе. Тебе нельзя поддаваться собственной слабости. Вспомни, чему я учил тебя еще в Вильно, вспомни, царевна, — с покорности, с полнейшего подчинения ты должна начать, все начать сызнова.

— Тяжко мне.

— Ты поступаешь так, как тот, у кого есть дрова и спички, кузнечный мех и все, что только нужно для раздувания огня, и который кладет дрова в лужу и в слякоть и хочет развести костер. Я буду молиться о милосердии божьем для тебя.

— Благодарю тебя, мэтр.

— Помни, Ксаверия, ты должна быть, яко дрова сухие, и от дров этих должно ринуться на него пламя.

— Чувствую на себе взор твой, чувствую, что взор твой вселяет в меня новые силы. Позволь мне поднять глаза, мэтр.

— Можешь открыть глаза, сестра Ксаверия.

Подняла веки и открыла глаза, огромные, черные, блестящие. Об этих очах Царевны Израильской писывал, по свидетельству современников, длиннейшие послания Анджей Товянский, мэтр и пророк дела. Теперь он подошел к ней еще ближе, нежно взял ее за плечи и запечатлел на ее устах поцелуй. Был это поцелуй слишком церемонный, чтобы его можно было признать поцелуем любовника, и гораздо более пылкий, чем это приличествовало мэтру и пророку.

*

«Ксаверия много помогает мне, — писала госпожа Целина Мицкевич своей сестре Елене, — но главное, что перемена в образе жизни и во вкусах вынудила меня искать счастья там, где оно действительно есть, а не там, где ищет его тщета мирская».

Так писала мать нескольких детей в дни, когда учительница и певица из Вильно была уже не только учительницей детей, но и другом дома. Она вошла в это бедное парижское семейство и благодаря особенному стечению обстоятельств была сразу принята как близкий, самый близкий человек. Даже огромное влияние Товянского не могло бы при нормальном положении вещей заставить Мицкевича ввести под свой кров никому не ведомую виленскую певичку.

Барышня Ксаверия Дейбель начала было незадолго до отъезда своего в

Париж давать уроки пения Зосе Путткамер, дочери Марыли. Она привезла с собой в Париж воспоминание об усадьбе в Больценниках и Острой Броне в Вильно. Привезла с собой воспоминание о Марыле, которая была в эту пору сорокалетней женщиной.

Но в этом пробужденном в Париже воспоминании она была юною девушкой. Та, которая привезла это воспоминание, была молода и красива и что-то от своей прелести как бы перенесла на забытую так глубоко, что уже нетрудно было теперь подарить этой, не существующей, девушке — облик другой, прибывшей с «отчизны помыслов» его.

Он ощутил возвращающуюся волну молодости.

Великая радость от исцеления жены, к которой он был настолько глубоко привязан, что присутствие ее было ему необходимо для хорошего самочувствия, и столь естественно, что он почти не замечал его, как никто не замечает воздуха, которым дышит; эта великая радость была настолько емкой, что в эти минуты вмещала в себе безо всяких противоречий радость от прибытия незнакомой и далекой, которая, вскоре стала знакомой и близкой.

Мистическая вера в пророчества Товянского не противоречила этой радости, напротив, мотивировала ее более высокими материями, перетолковывала банальнейшие человеческие чувства на язык мира духов, с которым он был так сильно связан с виленских лет, присутствие которого ощущал в минуты особенного взлета мыслей. Поэт был сыном своей эпохи, переменчивым и бурным, чутким к ее токам, к ее склонности переносить дела умственной жизни в сферу инстинкта, ясновидения, тончайшей игры подсознательных побуждений. Он был, так же как и многие его современники, чрезмерно экзальтирован и предрасположен к чувственной разнузданности. Если говорил о том, что чувствует, то говорил громко, как Байрон, как Шиллер, без недомолвок и недосказанностей; не понижал голоса, напротив, доводил каждую мысль до белого каления, слова наполнял до краев восторгами, ибо он свято верил в познавательную ценность чувства...

И теперь, 11 августа 1841 года, он, изливаясь в письме к Богдану Залескому, прибывающему в Бонн, — письмо это поражает таким радостным тоном, что напрасно мы стали бы искать во всей его переписке столь же звонкого и ликующего голоса... Какие-то отзвуки, скорее, пожалуй, «Песни Песней», чем «Псалмов Давида», витают в словах письма и в приложенном к нему стихотворении: «Мой соловей! Лети и пой...»

«Спешите теперь, теперь, теперь к нам, — пишет поэт другу — чтобы сердце твое утешилось, возрадовалось, расцвело, укрылось зеленью. У

меня в доме цветы и весна, весна на душе и в сердце».

Был август, но вопреки всему весна поселилась под кровом Мицкевича. Одним из цветов этой весны была молодая литвинка, которая прибыла из тех цветущих краев, принося весть о Неманском крае и о позабытой, а все же памятной.

Виленская певица, приехав в Париж, отказалась как будто от светской карьеры. Отказалась, быть может, потому, что была втянута в дело мэтра Анджея тут, на чужбине, в отравленной атмосфере эмиграции, намного сильнее, чем это могло быть в Вильно. Ее роль учительницы в семействе Мицкевичей вскоре окончилась. Та, которую Товянский называл Царевной Израильской, находилась в этом доме ради осуществления иных целей. Повидимому, Мицкевич поначалу принял всерьез ее роль воспитательницы и наставницы. Забота о детях, хотя воспитание их он понимал весьма своеобразно, пробивается не раз сквозь слова его писем и бесед, записанных современниками. Дети росли, требовали все большей заботы и более бдительной опеки, чем те, которыми могла окружить их больная, живущая с момента последнего приступа безумия в постоянном полупомрачении. Маленькая Мися, любимое дитя Целины, уже большая девочка, она уже начинает брэнчать на фортепьяно и бегаёт в город за табаком для отца. У Олеся уже прорезались зубки, Владзя перестал прихварывать; теперь он совсем здоровый мальчуган; Еленку отец любит больше всех, говорит о ней, что она «простодушная и добрая, веселая и чистосердечная... Жаль только, что ленивая, а родительскими заботами в лености слишком долго цветет и даже не хочет учиться говорить».

Леонард Недзвецкий^[211] описал одну из семейных сцен в доме супругов Мицкевич, весьма характерную. «Из детей своих, — пишет Недзвецкий о Мицкевиче, — не любит старшую дочь, потому что она проявляет разум — разум не по возрасту, а страстно любит младшую, в то время еще совсем глупышку, — она тогда еще говорить не умела.

— Правда, что это чистая славянка? — сказал он, обращаясь к Залескому. — Правда, что она иной расы, чем те двое? — (показывая на старших детей). И, не дожидаясь ответа, повторил: — «Правда, что она иной расы?»

На это Недзвецкий, обращаясь к Целине Мицкевич, сказал: «Этого говорить не следует!» А она прибавила: «Этого нельзя говорить!»

Недзвецкий, поддержанный в убеждении своем словами госпожи Целины, осмелевший и поощренный, видя явную несправедливость и ничем не подкрепленную уверенность суждения поэта, повторил громче: — «Этого говорить нельзя и не следует!»

Мицкевич не вспылал на этот раз и не приказал гостю идти прочь, как это порой с ним случалось, ибо он не выносил противоречия в делах, справедливость и истинность которых была для него вне сомнения. Он только сурово взглянул на жену, ибо приписывал ей полное неумение воспитывать детей.

С тех пор как Ксаверия поселилась в доме Мицкевичей, в семействе изгнанников, пребывающих теперь в состоянии вечной экзальтации и искусственного напряжения; с тех пор как она стала здесь главным лицом благодаря своей красоте, темпераменту и неподдельной преданности делу, — с этой минуты жизнь супругов Мицкевич, с самого начала неудачная, начала становиться все более драматичной.

Драма эта слишком осложнена, и ее едва ли возможно истолковать, если не исходить из предпосылок, на которые она опирается и которые в какой-то мере ее объясняют.

Но интрига тут слишком сложна, целый ряд обстоятельств и действий переплетается в течении событий, психология действующих лиц, и так уже отделившихся от нормального понимания вещей, по мере приближения к развязке все более отдаляется от известных норм, которые возможно истолковать в рамках привычных человеческих взаимоотношений.

К драме главных героев присоединяются лица посторонние, но связанные с семьей поэта узами товыящины. Брат Зан, позабыв о благе «Коло», объяснился в любви Ксаверии, а она отвергла его, но не так, как отвергает мужчину женщина, а во имя неких дел, отдаленных, туманных и непостижимых для простых смертных.

И не вполне ясно, какую роль в мистических спорах между братом Северином и Ксаверией играет дело и какую — любовное вожделение.

Целина видит все эти хитросплетения страстей и откровенного лицемерия, видит в этом меловом кругу, начертанном рукой злого колдуна, людей, мечущихся между страстью, ханжеством и ненавистью. Она вышла на дневной свет из своей ночи, из недуга, в котором потеряла счет времени и ясный облик окружавших ее человеческих лиц. Но этот день вскоре уподобился ночи. В состоянии умопомрачения, в котором сознание не одержало еще победы над затмением, она восприняла учение мэтра; это было для нее тем легче, что уже с давних пор она искала счастья не там, где его обыкновенно ищут люди, но там, где оно действительно есть.

Повторяла, как эхо, слова мужа, который ей когда-то сказал их: «Там, где оно действительно есть».

Вначале чувствовала себя действительно счастливой в этом новом мире, в котором она испытывала чувства, подобные первым ощущениям

детства.

Ей запомнился один из этих давних дней. Солнце грело уже сильно, но в костеле все еще стоял холод, приятный и пронизывающий одновременно. Торжественная тишина смешивалась с воспоминаниями о сказках, некогда слышанных, сказочных персонажах, которые в зимние вечера покидали свои снежные берлоги и, не страшась солнца, начинали водить дружбу с людьми.

Так было и теперь, в начале этой странной истории, что совершалась не то наяву, не то во сне.

И вот снова постукивает давнишний чародейный перстень. Не возродилась ли она? Не сбросила ли она, как насекомое, свою мертвую оболочку?

Нет, видимо, большим в ее жизни было то, что привлекало ее к земле, все, что ее окружало: дом, дети, муж, привычные семейные неурядицы. К заботам и хлопотам, к нужде присоединилось унизительное соперничество с этой чужой женщиной, которая втерлась в их семью. Целина бдительно наблюдала за поведением мужа, — ведь она насквозь знала его привычки, пристрастия, дурные настроения, его ничем не удержимую ярость, которая вспыхивала внезапно и безо всякого видимого повода.

Его сердечность к людям, которых она недолюбливала, была непонятна ей; его раздражительность в отношениях с другими была для нее не менее загадочной и неожиданной. В душу Целины стали закрадываться подозрения. Это правда, что он не баловал Ксаверию похвалами, но разве ее, жену, он похвалил хоть когда-нибудь? А если и хвалил, то за веселость в ранние годы их супружества, за веселость, которой сам не обладал, по которой изголодался.

Он радовался каждому новому ребенку, но как только дитя немного подрастало, он мрачнел и начинал упрекать ее, что она понятия не имеет о воспитании детей. Может быть, она плохо выполняла свою роль, может быть, она не была так внимательна и нежна к нему, как он этого хотел.

Целина сделалась подозрительной и впервые в жизни стала досадовать на близкого человека, с которым прожила столько лет. Начала подозревать не только его и людей из его ближайшего окружения, но также и слова, непонятные ей, слова, которые возникали вдруг на устах мужа, Ксаверии, Анны Гутт, Фердинанда или Каролины. В некий день появилось словечко «магнетизм».

Было это одно из тех таинственных выражений, которые употребляли в «Коло», на собраниях троек или семерок, и которые оттуда входили под их домашний кров и становились как бы расхожей монетой. Она услышала,

как однажды мэтр сказал об Адаме: «Брат Адам никому не дал своего братства. Ничем его не соблазнишь, отвергнет престол, золото, все блага земные, но женщина возьмет его магнетизмом».

Только позднее она поняла, что означает это выражение. Под мистической ширмой скрывалась банальная суть, скрывался любовный соблазн и ничего более, — вот так восхитительная ваза с цветами скрывает порой на дне своем омерзительного червя.

Нелегко ей было примириться с мыслью, что она должна уступать со дня на день место чужой девушке, смазливой наставнице ее детей. Целина чувствовала, как жилье, в котором ей до сих пор было хорошо и просторно, становится все теснее и все неудобнее. Были вокруг нее друзья, братья, товянисты, и, однако, одиночество окружало ее.

«У меня был долгий и серьезный разговор с сестрой Целиной, — записал Северин Гоцинский 23 августа 1843 года. — С ее стороны это была своего рода исповедь. Она призналась, что, только услышав последнее послание мэтра, прониклась Делом и приняла Дело, и как доселе она не имела решимости и силы говорить о Деле, — так доселе не знала тона, который в доме, как хозяйка дома, должна поддерживать.

Целина не скрывала дисгармонии, которая была доселе между ней и сестрой Дейбель, чье духовное превосходство над собой она признает. В последнее время они обе провинились тем, что не предприняли трудов, предписанных сестрой Анной.

Во всей беседе я чувствовал великую покорность и сильную решимость к достижению полной душевной чистоты».

Бедная! Едва успела она выйти из помешательства, едва чуть прозрела, ибо с момента первого приступа уже навсегда утратила ясность взора, погруженная в тихую меланхолию, прерываемую только воплями, когда ее терзали сонные кошмары, — как оказалась в этом адском кругу постоянных мучений, соперничества, стремления к чистоте духовной, которые не разрешали ей даже ощущать обычной человеческой ненависти, подавляли вспышку справедливого гнева!

Она измотала себя в этих внутренних битвах, напрасных и бесполезных. Барышня Дейбель не ограничивалась ролью учительницы и воспитательницы детей, не ограничилась также влиянием на домочадцев. Она была наиболее деятельной и наиболее фанатичной сестрой в «Коло». Организовала женщин, принадлежащих к «Коло», возглавила этих сестер, которые во время чтений Мицкевича в Коллеж де Франс демонстрировали во имя «духовной свободы» — рыдали, заламывали руки, рвали волосы,

словно плакальщицы на еврейских похоронах, к изумлению присутствующих на лекциях французов, которые объясняли эти взрывы истерии сходством с экзальтацией древних христиан.

Случались минуты, когда Целина начинала тосковать по давним временам, до своей болезни, по временам, которые виделись ей как сквозь туман; дно несчастья опускалось, она чувствовала, что утрачивает равновесие; счастье, которое она должна была обрести в мистических деяниях, было не по ней. Она упрекала себя за это, но время от времени возвращалась к мысли о привычной мирной жизни вдвоем.

Однажды вечером, это было, кажется, 12 июля 1844 года, во время визита москвича Чижова^[212] в доме Мицкевичей, Ксаверия пела голосом чистым и красивым. Целина отлично знала этот голос, хотя Ксаверия пела неохотно и всегда нужно было ее долго упрашивать.

Она пела идиллию Карпинского, мелодия которой чаровала Мицкевича, — он остался ей верен, ибо она напоминала ему молодость. Поэт сидел в эту минуту, потупив взор, бледный; а за последнее время он несколько обрюзг, в облике его появилось нечто дисгармоническое, какие-то чуждые черты. Пышные седые волосы придавали ему странное выражение. Лицо Ксаверии менялось, когда она пела так, стоя посреди комнаты; она была красива вопреки тому, что сильное движение мышц, изменяющаяся, форма рта, который она широко раскрывала или чрезмерно сужала, порою уродовали ее. Когда она кончила, Чижов упросил госпожу Целину сыграть мазурку.

Целина давно уже не играла, но, как только прикоснулась к клавишам, ощутила прилив силы и радостного упоения. Ей казалось, что тень Марии Шимановской, тень матери, с нею теперь и направляет ее пальцы.

На мгновение у нее явилась было иллюзия, что счастье возвращается в этот сумрачный дом, но, взглянув на Ксаверию, она внезапно прервала игру, и руки ее повисли, как плети.

1 апреля 1845 года Мицкевич писал Товянскому: «Ксаверия счастливо вышла из замешательства. Она вновь у меня и в лучшем состоянии, чем когда-либо. Все это произошло после долгой борьбы, с большой с моей стороны тратой сил и ущербом для здоровья. Я с самого начала чувствовал, что Ксаверия в подавленном состоянии. Фердинанд меня в этом винил, пошли после этого большие беспокойства. Но Северин^[213], в некое мгновение любви и мощи, разбил оковы, которые, как я чувствовал, удручают Ксаверию. Она мне казалась по приезду в таком состоянии, в каком была жена моя перед болезнью. Благодарение господу, все это

позади».

14 июля того же года: «Ксаверия находится в Нантерре. Перед отъездом я оставил ее как будто, бы в наилучших отношениях с Целиной; однако я все же сказал, что если бы дошло до крупных пререканий между ними, в таком случае Ксаверия лучше сделает, удалившись из дому впредь до моего возвращения. Так это и случилось. Кароль видел Ксаверию возбужденной, заметил, что она детей мучила и сама морально опустилась, он хотел ее даже сам из дома моего удалить. Ксаверия признавалась в винах, признавалась, что детей моих не любит, что изолгалась, что даже мэтру не открыла всей правды

Обещала исправиться, старалась в последние дни своего пребывания в доме переломить себя, но тогда как раз возбуждение Целины дошло до наивысшей степени, и брат Кароль не мог больше с Ксаверией сохранить братские и официальные отношения. Это я слышал от Кароля и считаю правдой. Целина жалуется, что ее чрезмерно унижали... Ксаверии еще не видал. Уповаю, что это даст себя победить. Целину нашел значительно лучше и умиротворенней и несколько участливей настроенной... О братьях французах слышу от всех, что продолжают пребывать в согласии, в любви и в деянии. Ссора наших женщин была для них соблазном, ибо Целина к ним раздражение свое занесла. Сестра Алиса^[214] всегда велика душой и в деянии неумоима. Целина говорит, что Ксаверия и ее и жену Ходзько постоянно настраивала против меня, уверяя, что нужно, чтобы кто-нибудь другой из братьев стал заместителем мэтра, что есть братья более достойные этого и т. д. и т. д. Правда ли это, не ведаю».

Ксаверия после возвращения в дом Мицкевича, из которого она убралась после какой-то шумной сцены с Целиной, сразу же вошла в жизнь, которую было оставила, естественно и непринужденно, как будто ровно ничего не случилось. Дети встретили ее с радостью.

Ранняя весна мощной волной воздуха врывалась сквозь распахнутые окна в просторную квартиру Мицкевича. Мися звонко смеялась, сбегая по внутренней лестнице квартиры в нижнюю комнату. Ксаверия больше привязана была к девочкам, особенно к Еленке. Она говорила как раз об этом сестре Алисе, которая слушала ее внимательно и задумчиво:

— Я много прошла, прежде чем решилась вернуться сюда: мысль о детях, кажется, склонила меня к возвращению. Это не было мне легко. Да ведь я и не скрываю ни от кого: я была виновата. Видишь ли, она бедная, очень бедная. Если даже захотела бы обходиться без моей помощи, то не решится в этой мысли признаться самой себе. Я хотела бы все исправить и полюбить детей, которых мне доверили.

— Ты была виновата, но не только ты одна.

— Да, не только я, но я должна была взять всю вину на себя. Этого хочет от меня Анджей, но если бы даже и не хотел, я не могу иначе. Она несчастная. Когда я приехала сюда из Вильно, она была еще в том жутком состоянии, которое иногда возвращается. Я понимаю ее состояние, я сама перед уходом отсюда была такая же несчастная, не совсем в себе, и не вполне сознавала то, что делала. Шла за какими-то знаменьями, которые являлись мне вдруг, как светочи, чаще всего во сне.

— Во сне я однажды видела тебя, Ксаверия, бледную, с распущенными волосами; глаза твои сияли так, что я не могла смотреть прямо в лицо твое. Царевна!

— Не говори так, Алиса, не обвиняй меня, сама того не желая; я не хочу, я не хочу ничего, кроме добра. Я вовсе не гордячка. Когда я приехала сюда из Вильно, Париж улыбался мне, я упивалась им до такой степени, всем, всем — движением на улицах, говором толпы, видом красивых пар, сияющих витрин и экипажей, — всем всем, что у меня дух захватило. Я ступала легко, не ведая, что ступаю над пропастью. Какая-то незримая струна была натянута во мне до предела, за которым начинается безумие. Струна лопнула. Теперь я вижу, что это Содом и Гоморра. Я молилась словами Адама. Знаешь ли ты эти чудесные слова: «Пронизали меня насквозь вздохи его, все его слезы стекли в сердце мое... Пока любовь моя превратилась в зримую искру, и весь дух мой окружил ее и только в нее смотрел. И почувствовала я в лоне трепещущее дитя, как второе сердце, а прежнее сердце мое усладилося, успокоилось и утихло».

— Царевна!

— Не шути со мной, Алиса, бедная я. Я одна из бедных сестер, которые облачаются в рубище и пеплом посыпают главу свою. Не хочу иной радости, кроме радости, которая проистекает из добрых поступков. Я была в заблуждении и тревоге из-за дурных видений, это прошло. Хочу быть доброй к этим детям и к Целине.

— О тебе говорили много скверного. Ты знаешь, как я строга, но я не всему верила.

— Не знаю, что говорили обо мне, но верь, что это была правда, Алиса. Ты чистая, а я никогда даже в помыслах не была чистая, даже когда мне было столько лет, как Мисе. Никогда. Понимаешь? Я вспыльчивая, не владею собой, не знаю, что сегодня подумаю, что завтра совершу.

— Ты говоришь так, как будто ты родная сестра Адама.

— Да, я его сестра, и больше, чем сестра, и меньше, чем сестра. Не проклинай меня, Алиса.

— Плачь! Слезы очищают.

— Слезы не очищают. Я приговорена, воистину приговорена. Что ни день, я вступаю на эшафот, здесь, где все некогда было обагрено кровью, ежедневно снимают мне голову с плеч, и, что ни ночь, она снова отрастает. Прости меня, я занеслась и сказала больше, чем хотела, больше, чем думаю...

— Я хотела бы дать тебе один совет, Ксаверия: брось думать об этих делах. Когда я была маленькой девчушкой, я повторяла слова молитвенника, не думая, что они означают. С тех пор в тяжелые минуты я возвращаюсь к этому детскому способу. Тогда я поняла, почему моя мать часто перебирала четки, шепча какую-то молитву. Душевную чистоту можно приобрести без таких борений и страданий, как те, через которые проходят наши братья и сестры. Я хотела бы, чтобы в нашем «Коло» все делалось более кротко, тише, более по-христиански. Я придаю великое значение разным мелким знакам внимания, сувенирам и талисманам. Не понимаю тебя, Ксаверия, почему ты не дала брату Фердинанду медальон, почему ты отказала сестре Целине, не дала ей освященный в Острой Бrame нарамник. Братья и сестры взаимно причиняют друг другу страдания, которых можно было бы избежать. Шпионят друг за другом, как будто служат в полиции. Мэтр Анджей этого не хочет и не одобряет.

— Мэтр Анджей... — сказала как будто про себя Ксаверия и умолкла, потому что вдруг раскрылись двери, и вошла Целина. Глаза ее были широко раскрыты, но глаза эти были в этот миг незрячи. Она шла медленно, как будто воздух оказывал ей сопротивление. Обошла обеих женщин равнодушно, как обходят неодушевленные предметы, и исчезла в дверях, ведущих в соседнюю комнату.

*

В некий час упадка духа (а они с некоторых пор нередко посещали его) Юлиуш Словацкий накропал злорадный стишок:

Панна Дейбелька — так, пустомелька!
Разнообразны ее соблазны —
Змий-искуситель тут попросту лишний:
Ты ниспошли ей супруга, всевышний!

Этого супруга всевышний ниспослал лишь много лет спустя; Ксаверия Дейбель вышла замуж за француза Эдмона Майнара. Словацкий увидел ее однажды на собрании «Коло». Она была очень возмущена, вся пылала от гнева, протестуя против чего-то, а против чего именно, поэт не вполне уяснил. Сперва он следил за течением ее мысли, но вдруг она начала зачаровывать его, втягивать в глубину, бездонную и жадную, как музыка воображения. Его впечатлительность и чуткость к внешнему блеску и звучанию слов были так велики, что вопреки его усилиям, вопреки его попыткам пригасить свою все захлестывающую фантазию он не мог овладеть собой; также и в этот миг не мог следить за ходом рассуждений братьев и за яростными инвективами сестры Ксаверии.

Словацкий сидел изможденный и бледный — кости и дух, — как эхо, возвратилась в воспоминании Мицкевича эта метафора, которую он высказал когда-то в отношении к Клаудине Потоцкой, когда уже болезнь проложила глубокие следы на ее прекрасном лице; так сидел он, брат Словацкий, поэт, чьих многочисленных поэм и трагедий не прочла ни одна живая душа.

Теперь он смотрел на Ксаверию, прекрасную в этом воодушевлении, от которого глаза ее сияли еще ярче. Ее движения должны были выражать какую-то истину, которую она отстаивала, но только чрезвычайно увеличивали ее чисто женскую привлекательность.

Поэт сохранил ее образ в своей памяти и, когда писал «Ксендза Марека», почерпнул нечто из этого воспоминания, преображая Ксаверию в прекрасную и мстительную Юдифь. Портрет Юдифи озарил сиянием стиха, заимствованного у Кальдерона, слишком расплывчатого и текучего, чтобы точно выразить образ; но в неопределенности и расплывчатости этого стиха было что-то от той текучей материи, которая наполняет воспоминания:

На твой лоб, в благоуханном
Млеке горлицы омытый,
И на уст твоих румяных
Напряженный гибкий лук!
.....
И на очи, где пылают
День, и ночь, и душный зной,
И на шею, что сверкает
Лебединой белизной!
И на щек твоих рубины,

И на блеск очей-зарниц,
Осененных длинной-длинной
Тенью бархатных ресниц!

Его подхватил и понес головокружительный поток стиха, описание превратилось в верификационный парад, эротизм, неизжитый, как в фантазии подростков, которые не познали еще телесной любви, выдавал себя в этих гиперболизированных и чересчур высокопарных образах. Но когда поэт заговорил о духовной силе Юдифи, когда стилизовал ее в духе мощного барокко, в котором библейские сравнения идут рядом с инструментовкой ускоренного стиха, он достиг большого впечатления.

Лица многих женщин, виденные в разные времена, заслонили от него лицо Ксаверии. Юдифь не была похожа ни на одну из них, когда он слагал этот псалом о Мстительнице:

Вся как ночь, в огнях и звездах,
Вся как вихрь, что мчит рывками,
Вся как сила по затишьям,
Как с пращи Давида камень,
И как плач, что богу слышен,
Вся как град, что хлещет яро,
Вся как ужас преисподней,
Вся как меч господней кары,
Вся — как страшный суд господний.

В своей памятной книжке на листке с 30 апреля на 1 мая Юлиуш Словацкий записал:

«Снилось мне, что некая авторша Марахта (дух индийский) декламировала «Ксендза Марека» и «Стойкого принца», говоря, что это великолепная поэзия. На следующий день Мицкевич то же самое повторил о «Мареке».

*

«Мы покинули прежнюю квартиру, перебрались, за город, в Батиньоль,

Рю де Булевар, 12, — пишет госпожа Целина сестре своей Гелене 12 июля 1845 года. — Ясь здоровый и прелестный, ему уже три месяца, родился 7 апреля, я кормлю его и беды с ним не знаю. Адам уже два месяца в Швейцарии, через несколько дней вернется».

Год спустя она сама отправилась к мэтру Анджею. Решение совершить это паломничество было принято внезапно, но для поездки госпожи Целины Мицкевич возникли многочисленные причины, которые тут невозможно в полной мере изложить, ибо они тонут в непроглядном мраке недосказанных фраз, домыслов, которые нельзя проверить и сличить, и, как все дела нашей интимной жизни, затаены в ее глубочайших пластах — целомудренно-стыдливых, — там, куда редко доходит дневной свет.

Госпожа Целина в споре мужа с мэтром Анджеем, в споре, сущности которого она полностью не понимала, взяла сторону мэтра. Руководствовалась в этом выборе исключительно чувством, порывом темным и бессознательным, которому верила, который принимала за нашептывание духов. Мэтру была обязана выздоровлением. Верила в это чудо верой ничем непоколебимой, с простодушием крестьянки. Считала своим долгом безоговорочное повиновение мэтру, восторгалась его силой, решительностью, могуществом мысли. Чувствовала себя в его присутствии слабой, никчемной, его повелительный взор лишал ее собственной воли, она не умела ему ни в чем противостоять даже тогда, когда что-то нашептывало ей прямо в уши, что мэтр заблуждается. Нет! Он никогда не заблуждался. Нашептывания злого духа можно отогнать молитвой. Нужно только преклонить колени и возбудить в себе то «стремление ввысь», о котором столько говорилось в «Коло», отсутствие этого стремления было несчастьем, грехопадением, окончательной духовной нищетой.

Муж становился ей все более чужим. Под одной крышей с ними жила Ксаверия. Ксаверия лучше понимала ее мужа. Товянский учил, что нет в супружестве иных уз, кроме уз взаимопонимания любящих сердец.

На протяжении этих долгих трудных лет Целина старалась пробудить в себе любовь к Чужой. Шла на величайшие жертвы, доходила до полного отречения от собственного достоинства, до подавления собственной любви, более того — собственного отчаяния! Она знала, что ей запрещено отчаиваться. Она старалась обелить Адама в собственных глазах. Молчала по целым неделям, не желая произносить слов, которые могли бы его уязвить. Но тщетно! Целина не могла пробудить в себе любви к Ксаверии. Хуже того, она ощущала, как нарастает в ней нерасположение к мужу.

Однажды, когда она увидела на лице Ксаверии выражение счастья — она почувствовала это — абсолютно земного, в ней что-то сломилось, и она

крикнула, не властная больше над помыслами своими:

— Я больше не могу! Поезжай, поезжай в Нантерр, поезжай в Рихтерсвиль, поезжай в Эйнзидельн, к Пречистой Деве, не знаю, возвращайся в Вильно, куда угодно!

А минуто спустя, совершенно придя в себя, как бы пробужденная собственным криком, сказала тихо и спокойно:

— Потому что, видишь, вы обо мне забыли, не знаете, как я мучаюсь.

Госпожа Целина выехала из Парижа 12 сентября и уже 14-го прибыла в Эйнзидельн. С покорностью и восторгом в душе преклонила колени перед образом Эйнзидельнской Божьей Матери.

Всматривалась в ее лик, прекрасный и печальный, до тех пор, пока сонный лик не начал меняться в ее глазах, пока не затуманились черты и краски. Только очи ожили вдруг, и Богоматерь взглянула на коленопреклоненную слишком хорошо знакомыми глазами женщины, которую Целина ненавидела, ненавидела, сама того не желая.

Целина, пристыженная, вышла из храма. «Перед мэтром, — писал ей муж, — предстань в такой полной свободе, чтобы забыть, что имела или имеешь обязательства по отношению ко мне. Занимайся прежде всего своим делом. С мэтром будь искренна до последних пределов... Считай твое нынешнее состояние новым чудом над тобой, чудом, все величие которого вижу только я один и чувствую, равно как и чудо твоего исцеления».

Нет, не следовало бы ему писать ей об этом. Она и впрямь забыла, что имела или имеет какие бы то ни было обязательства. Снова подчинилась мэтру в великой покорности, совсем как рабыня; не видела в этом ничего дурного, даже дивилась, до чего это неважно, до чего пусто и мелко по сравнению с великими делами, в кругу которых она теперь жила.

Ее пробудило из этого состояния неприятное письмо мужа. Он писал напрямик и не слишком учтиво:

«Посылаю тебе семьдесят франков, больше у меня нет. Того, что ты оставила, не хватило до конца месяца. Я заложил крышки от часов. Больше у нас закладывать нечего.

В этом месяце мне уже выдали лишь половину оклада. После того как я уплатил за хлеб, молоко, пиво и. т. д., у меня осталось на неделю жизни; по истечении этой недели начну хлопотать и добывать, хотя совершенно не знаю, куда обратиться. Ты знаешь, что я не огорчаюсь такими вещами больше, чем следует, будь покойна и ты. Все же твое долгое отсутствие поставило бы меня в затруднительное положение. Будь здорова, дома ничего нового не произошло...

Служанка очень ждет твоего возвращения, Еленка особенно тоскует по тебе».

— Служанка очень ждет моего возвращения, и Еленка особенно тоскует по мне, — повторила Целина и горько усмехнулась.

Из дневника Софии Шимановской:

«Первое впечатление в незнакомом месте обычно (по крайней мере для меня всегда) безошибочно; и вот едва только я переступила порог квартиры Мицкевичей, меня поразило какое-то всеобщее неустройство, запущенность какая-то. Это первое впечатление было, признаюсь, неприятно для меня; но это меня не отпугнуло, а только утвердило в намерении как-нибудь обособиться, чтобы сохранить собственную свободу и образ жизни, к какому я привыкла.

После этого общего впечатления я заметила еще кое-какие отдельные детали; главное было следующее: жена Мицкевича (когда я увидела ее, у меня возникло такое чувство, будто я ее вижу впервые в жизни) несла на всей своей личности явственный отпечаток неряшливости, угнетенности, что во мне вызвало какую-то опасливую грусть и, признаюсь искренне, не возбудило во мне доверия к не знакомой мне сестре, ибо во взгляде ее, движениях я всем облике я нашла подтверждение всеобщей молвы, что-де дух ее остался расстроенным с того памятного недуга; однако радость, с которой она встретила меня, показала мне ее сестринские ко мне чувства и привлекла меня к этой несчастной сестре.

Вид Мицкевича сперва не вызвал у меня безоговорочной симпатии; первый взгляд, который он на мне задержал, порастил меня какой-то испытующей силой, это был взгляд экзаменатора; мне казалось, как будто он хотел увидеть меня насквозь; в эту минуту возникло во мне уязвленное чувство собственного достоинства.

В душе я решила стараться сохранить во всем волю, мнение и чувство собственное даже и по отношению к этому человеку, величие которого я признавала, а преданность отчизне чтит в нем, и хотела бы подражать ему в этом, если бы имела к этому силы и поле деятельности.

Из детей Мицкевича старшая дочка, Марыся, одна произвела на меня особенное и милое впечатление: я прочла в ее чистом взоре искреннюю симпатию, детскую, остальные ее сестры и братья показались мне совершенно безнадзорными; мне показалось, что я вижу в них как бы детей природы, но природы какой-то дикой, путаной, — тут мне вновь взбрело на ум, что я слышала перед приездом в Париж, якобы Мицкевичи, следуя теории Товянского, покинули детей своих на милость божию, как это говорится, совершенно не занимаясь развитием их разума и не заботясь о

каком-либо их образовании; но, однако, так как я наряду с прочими детьми видела Марысю, я подумала, что это все должно происходить в значительной мере от индивидуальных склонностей самих детей; во всяком случае, я сразу же решила не судить здесь ни о чем по видимости; я чувствовала, что прибыла с предвзятым неблагоприятным суждением и что, кроме того, мне была свойственна врожденная недоверчивость, и я решила это иметь в виду, ибо материнские наставления по этой части еще лежали передо мной, как бы врезанные накрепко в мыслях и в сердце, так же как и все советы, от нее полученные, и все воспоминания о ней.

Итак, повторяю, что, помимо этих первых несимпатичных впечатлений, намерение мое остаться с сестрой осталось непоколебленным; но признаю, что после того, что я заметила, возникло во мне какое-то ощущение нравственного одиночества, граничащее с равнодушием ко всему, что меня окружало.

Наряду с этими первыми впечатлениями, о которых я сказала выше, я должна вспомнить еще об одном, быть может сильнейшем из всех; это впечатление произвела на меня чужая женщина, то есть не принадлежавшая к семейству Мицкевича и, однако, занимающая в этом доме какое-то особое и уважаемое положение: ее звали Ксаверией.

Опишу тут подробно первую мою встречу с ней, ибо встречу с этой женщиной в доме Мицкевича я считаю важным фактом, поскольку из моего непродолжительного с ней сближения возникли все дальнейшие околичности. Несмотря на то, что это мне противно, я должна тут вызвать это и множество других воспоминаний; речь идет об истолковании печального прошлого.

После того как я поздоровалась с семейством Мицкевича, после первых объятий сестра повела меня в приготовленную для меня комнату, наверху, над ее комнатой. Вступив на лестницу, я взглянула вверх и увидела стоящую в передней женщину с ребенком на руках; я встретила взгляд этой женщины, направленный на меня с такой пронизывающей силой, что я ощутила какую-то тревогу вместе с неприязнью к этой женщине. Мгновенно мне вспомнились предостережения, которых я наслушалась дома от наших пожилых дам: «Ты увидишь и услышишь там людей, идеи которых, якобы новые и возвышенные, приводят к самым безнравственным поступкам». Это предостережение вспомнилось мне, едва я увидела Ксаверию, а совестью своей клянусь, что никто мне до приезда в Париж о Ксаверии не говорил; я не только ведать не ведала, что увижу ее у Мицкевича, но я не знала даже, что эта женщина существует на свете. Это, быть может, лучше всего доказывает, насколько беспристрастна и

осторожна в суждении я хотела быть; вопреки неприязни, которую пробудил во мне облик Ксаверии, когда сестра представила ее мне как друга дома, я подала ей руку искренне, от всего сердца и, упрекая себя внутренне, решила подавить первое ощущение Непроизвольной неприязни. Бросилось мне в глаза...»^[215]

*

Зимнее утро медленно пробуждалось из ночного тумана. На дворе большого каменного Дома в парижском предместье пел петух, не литовский кур, друг детских лет, с птичьего двора родного дома в Новогрудке, но здешний, галльский петух, Coq, oiseau de France^[216]. Да и консьерж, что в потертой куртке поспешно семенит мимо флигелей, это не Улисс, старый сказочник и заядлый пустобрех, любимец ребят.

Мицкевич зябнет в этой просторной квартире, он кутается в истертую шубейку, размышляет о чем-то, посасывая свой чубук, длинный, как епископский посох. Лицо его очень изменилось. Жестокое время совершенно выбелило ему волосы, тело его обрюзгло, поэт располнел, но, говоря его собственными словами, это была «ужасная полнота». Однако, когда он поднимал припухшие веки, глаза его глядели, как прежде, из глубины, поражали сконцентрированной волей, разумом, тем самым разумом, который он так презирал.

Со двора доносились странные звуки — то как будто стук молотка, то как будто ножи точили, то хлопанье, как будто выбивали что-то. Не услышал даже, как открылись двери. Вошла Ксаверия, поправила горшок с цветами на столике и вдруг развела руками, движение ее стряхнуло отцветшие альпийские фиалки — посыпались пурпурные лепестки, увядшие, мертвые.

Он улыбнулся.

— Не волнуйся, детка... — сказал он.

Она стояла испуганная, несмелая. Ничего не утратила из прежней красоты, почти не изменилась с того памятного года, когда прибыла с Литвы, принося весть о Позабытой.

Наконец отозвалась:

— Осталось только немного зелени, зелень — это цвет надежды.

— Надежды... — повторил он.

— Разве совсем не осталось надежды? — спросила она шепотом.

— Никакой. Видишь, я уже отхожу.

Пыталась перечить. Хватала воздух быстро, как утопающая, руками искала опоры в воздухе. Опоры нигде не было.

— Отхожу, конечно. В этом нет ничего страшного, не отчаивайся.

— Нет, ты не можешь умереть. У тебя дети, и наши тоже...

Он вспыхнул:

— Но ведь я говорю не о физической смерти, хотя, конечно, и она не за горами. Говорю о том, что отхожу от себя. Понимаешь?

Отошел действительно, отошел от себя, от собственной великой готовности сердца, от деяния, которое было его второй натурой, от молодости, которая жила в нем, пока он действовал.

Дом был холоден и пуст. Дети, заброшенные, и осовелые, слонялись из угла в угол. Целина целыми часами сидела неподвижно или молилась молча перед образом Остробрамской Божьей Матери. Он тоже молчал.

Только однажды, когда младшая дочка принесла горшочек альпийских фиалок, он начал кричать на испуганную девчушку, что она выбрасывает деньги на ветер, вырвал из ее рук горшочек, швырнул об пол, так что осколки полетели. Потом успокоился, приласкал ее и, подведя к письменному столу, приказал ей сесть и читать по большой книге в черном кожаном переплете, — она эту книгу терпеть не могла.

Указал пальцем:

— Читай.

Читала, послушная, сквозь слезы, потому что не знала, не ведала, почему отец разгневался на нее.

«Тело мое одето червями и пыльными струпами; кожа моя лопается и гноится. Дни мои бегут скорее челнока и кончаются без надежды.

Вспомни, что жизнь моя — дуновение, что око мое не возвратится видеть доброе...

Редет облако и уходит; так нисшедший в преисподнюю не выйдет.

Не возвратится более в дом свой, и место его не будет уже знать его...»

ЛЕГИОН

Рим в первые месяцы 1848 года нисколько не был похож на тот город, который Мицкевич покинул восемнадцать лет тому назад, при вести о восстании. Новый Рим жил будущим. Самые противоречивые новости циркулировали по городу, пробуждая тревогу, радость, страх и отвращение. Весть из Неаполя о том, что король дал конституцию, была поводом к большой манифестации римского народа. Реформы, проведенные Пием IX, вызвали в народных массах взрыв энтузиазма. Из уст в уста передавалось его благословение Италии. Падение Луи Филиппа довело энтузиазм улицы до радостного возбуждения и напугало купцов и аристократов.

Зигмунт Красинский, который в это время находится в Риме, с тревогой наблюдает развитие событий; он не утрачивает, однако, бодрости и пытается восстановить польских эмигрантов против Мицкевича, которого считает теперь пророком мятежа и провозвестником убийств. Напротив, Красинский поддерживает противника народных движений, графа Владислава Замойского^[217].

— Мы снова встречаемся в канун великих событий, — сказал Мицкевич, встретив Красинского на одной из римских улиц.

— Не верю в близость перемен в Европе, когда курс акций поднимается на парижской и лондонской бирже, — возразил Красинский.

Мицкевич смотрел на морщинистое лицо поэта. Красинский носил темные очки, ибо страдал болезнью глаз, и ему постоянно угрожала слепота. На губах его играла то ли ироническая, то ли соболезнующая улыбка. Его движения, изящные и сдержанные, его аристократическое поведение и хорошие манеры контрастировали с задумчивостью, которая придавала неуловимую прелесть этому некрасивому лицу. Донжуан был в эти минуты всецело захвачен политическими событиями. Нервы его не выдержали испытания в эти месяцы, когда решались судьбы Европы. Однажды он сказал о Мицкевиче свойственным ему, Красинскому, патетическим слогом: «Титанический дух, Прометей, прикованный к скале то ли национальных несчастий, то ли собственных верований», — а однажды сказал иначе: «Я уверовал в дьявола, глядя на этого человека, глядя на его ненависть, на его радость, как только где-либо льется кровь...» В другой раз он приписывает ему еврейское происхождение, что в устах графа было тягчайшим оскорблением. «Знаешь ли, что мать его была

еврейка, которая крестилась...» — пишет он в письме Цешковскому, опираясь на молву, которая кружила среди эмигрантов о покойной Варваре Маевской, поскольку эту фамилию носили тогда многочисленные в Литве выкресты.

В письме к Дельфине Потоцкой Красинский описывает свой визит к Мицкевичу:

«Застал там на третьем этаже Адама. Вхожу. Был с ним его ученик Герыч^[218]. Сразу не узнал, но тут же бросился ко мне и чуть не задушил в объятьях и сказал монгольским тоном Герычу, с которым я хотел вежливо поздороваться и свести знакомство:

— Иди прочь, оставь нас одних.

Тот, как невольник, не смея даже откланяться мне, исчез. Мы остались одни. Он сразу стал говорить мне о величии моего духа и что из нашей встречи должно проистечь некое общее благо.

Я, не причисляя себя к великим, стал ему перечить, уверяя, что это он отбросил на меня свое сияние. Он тогда сразу в гнев:

— А, это шуточки, вечные шуточки, все только ирония... Неужели ты не чувствуешь, неужели ты не знаешь, кто ты есть? Тут не о скромности или о гордыне речь идет, а о даре, который обязывает. Всегда шуточки, никогда ничего всерьез, точь-в-точь как Мыцельский. Превосходный человек, благородный, честный, но расстрелял всю силу на шуточки, не скупится никогда. Это как пани Д. (тут я наострил уши). Высокая душа, да, высокая душа, необыкновенная женщина, но что с того? Прихожу к ней, с глубочайшим чувством ей говорю: «Еду в Рим», а она: «Ah! comme je voudrais aller avec vous». Итак, я говорю: «Я возьму вас с собой», а она тогда: «Je ne puis pas». Так на что же говорить, что хотелось бы, если не можешь. Зачем лгать? Таким это мне тоном сказала, легким, — искреннее, глубокое крестьянское чувство иначе бы выразилось».

Я тотчас же начал его вразумлять:

— А тебе хотелось бы, дорогой Адам, с неслыханным тиранством подавлять каждое слово, каждый порыв, каждый возглас человеческий? Как же, нельзя уже крикнуть: «Мне хочется!» Господи боже, ну что это значит? Неужели нельзя уже госпоже Дельфине выразить какое-либо желание, а потом признать, что не может его выполнить. Это был наивный крик ее души, а потом сказала: «Не могу». Это, в свою очередь, вынуждено обстоятельствами, что же тут удивительного? Это обыденная жизнь, мельчайшая ее подробность. Стоит ли о ней говорить?

— Но крестьянское чувство иначе бы как-нибудь выразилось. Вот она сказала бы как-нибудь со вздохом: «Ах! Если бы и мне попасть в Рим!» — а

не таким образом: «Emmenez moi avec vous, comme je voudrais» etc, etc.

Я ему на это:

— Забываешь, что все воспитание возложило на госпожу Дельфину как некую повинность обязанность никогда не выражаться по-мужицки.

— Ах! Ах! И это правда, ты верно говоришь — так потолкуем о чем-нибудь другом!

Первую эту схватку выдержав и не уступив, я начал во множестве вещей приостанавливаться, когда мог, сопротивляться, когда не чувствовал, что правда, когда он голос возвышал, я еще более громкий голос вызывал из груди, — это производило на него особенное впечатление. Но знаешь, в споре кого он мне больше всего напоминал поведением своим, изломанным и деспотичным, — знаешь кого?

Да отца моего^[219], и не только в методе, но и во многих мнениях своих, когда он говорил о пороках нации.

Нет ничего более неприятного, чем разговор с ним, — это вечная поножовщина, никогда его в логическом течении вещей не удержать, скачет через пучины умозаключений с берега на берег. Однако, как каждый деспот, как только чувствует сопротивление сильное и от истинных привилегий вольности происходящее, спотыкается смущенный.

Тут ужасная боль изображается на его лице. Раны, которые он тебе все время наносит, ты ему тогда наносишь в свой черед. Хотя бы и истина вечная была в товянщине, я бы снова сказал, что она его опутала. Ибо желать не разливать истину, как разливается свет, а желать налагать ее так, как налагаются кандалы, — это значит быть одержимым, а не просвещенным истиной! Я думал, что подвергнусь мистическому влиянию — знаешь, тому, которое, в мозгу вспыхнув, протекает морозом сквозь позвоночник, заискрится слезами в растроганных глазах. Ничего подобного, вовсе ничего я не испытывал. Разумеется, действительную только почувствовал энергию, во мне пробуждающуюся, твердую сталь духа, сопротивляющегося другой стали, — святой вольности дар мне от небес дан; мы оба пользуемся одинаковой свободой независимого мышления. Я имею святое право говорить и высказывать то, что мыслю, чувствую, во что верую или что отвергаю!

А он тогда: «Правда, правда», — и снова, как раненый, запинается, и морщит лоб, и жмурит глаза, и ноздрями хватает побольше воздуха...»

Рядом со Скала Санта, лестницей дворца Пилата, папа Пий IX подарил польским базилианкам часовню, в которой они, возглавляемые Макриной Мечиславской^[220], совершали богослужения и распевали польские народные песнопения.

В полутемной часовне простые слова, возвращающиеся в подъемах и спадах литании, отворяли сердца польских дам, среди которых супруга Зигмунта Красинского привлекала взоры своей холеной красотой.

«Сердце Иисуса и сердце Марии», — распевали монашки, склоняя головы в трепетном пламени свечей.

Макрина Мечиславская пламенно молилась, мы сказали бы — образцово-показательно, как и подобает игуменье. Была это женщина преклонных лет, с лицом расплывчатым и заурядным; она была похожа скорее на экономку в шляхетском фольварке, чем на настоятельницу монастыря.

Мать Макрина, к которой паломничали, как к святой, толпы верующих, чтобы она уделила им что-то от своей святости, прибыла в Париж спустя пять лет после Товянского. Рассказам ее о мученичестве базилианок, вместе с которыми она, игуменья монастыря в Минске, претерпела всяческие муки и утонченнейшие пытки, — этим рассказам поверили. Об этом позаботились польские ксендзы.

Но не только эмиграция — вечно жаждущая чуда — уверовала в мученичество Мечиславской, которая якобы вырвалась из ада преследований. Французские дамы рассказывали в салонах с безмерной экзальтацией и со слезами на глазах о преследованиях католических монахинь в России; называли даже этапы муки базилианок: Минск, Витебск, Полоцк, Мадзиолы. Наиболее неправдоподобные муки, якобы причиненные монахиням причетниками, московскими солдатами, епископом Семашкой и черницами, принимались на веру — рассказы о злоключениях Макрины обсуждению не подлежали. Не спрашивали о том, как старая женщина вытерпела все эти муки, не спрашивали о том, как она могла быть настоятельницей обители базилианок в Минске, где такого монастыря и вовсе не было.

Когда Мечиславская повествовала о том, как монахинь насильно окунали в пруд в Мадзиолах, или жалостно рассказывала о том, как она, игуменья, блуждала около трех месяцев по пущам, в голоде и жажде, преследуемая палачами, в простоте, с какой она говорила, было нечто производившее правдивое впечатление. Мечиславская, в отличие от мэтра Анджея, обладала живым воображением, языком простым и свежим той

свежестью, которая свойственна людям из села. Не спрашивали, почему настоятельница монастыря, якобы аристократического происхождения, не знает ни одного иностранного языка, почему она лишена воспитания и манер.

Когда она рассказывала, как палачи вознамерились изнасиловать ее, старую женщину, слушатели принимали и это, ибо ничто так не украшает женщину, а особенно монашку, как то, что она ускользнула от насильников. Сексуальные дела занимают много места в религии и порой приобретают несколько садистский оттенок. Макриной, по прибытии ее в Париж, заботливо занялись ксендзы-ресурреക്ഷонисты. Ксендз Еловицкий сопровождал ее повсюду и великолепно себя чувствовал в этой новой роли расторопного импрессарио смиренной мученицы за веру и нацию.

Католические круги Парижа приняли Макрину с почестями, достойными святой. Эмиграция, которой уже мало было одного Товянского, увидела в Мечиславской живое воплощение своей тоски, подтверждение своих страданий. Учение Товянского было темное, путаное и сухое. Мечиславская же не предлагала какого-то нового рецепта избавления, нет, она казалась попросту наивной посланницей ангелов. Так воспринял ее Словацкий. Его поэма «Беседа с матерью Макриной Мечиславской» вся так и дышит изумлением и преклонением перед святой простотой этой женщины, которая не избежала мук. Но одновременно нелегко отыскать более трагический документ той эпохи. Словацкий преклоняет колени перед святой аферисткой. В жестоких и прекрасных стихах этой поэмы двойной ад: ад обманутого воображения. Обманутый Данте! Только условия эмигрантского существования могли вызвать к жизни столь трагическое недоразумение.

Из Парижа Мечиславская ехала в обществе и под опекой ксендза Еловицкого через Лион в Рим. Это было триумфальное путешествие, все как бы выхваченное из какой-то чудовищной комедии предрассудков и мракобесия. В Риме мать Макрина поселилась у монахинь монастыря Святого Сердца на Тринита дель Монти. Григорий XVI дал мученице специальную аудиенцию и, по-видимому, был потрясен повестью Макрины о ее терзаниях, переведенной ксендзом Еловицким на итальянский язык. Это, впрочем, не помешало папе принять позднее Николая Первого, императора всероссийского, в Ватикане. В ходе дипломатических беседований между Ватиканом и представителем «северной тирании» не прозвучало имени Мечиславской.

По-видимому, Ватикан был склонен к осторожности за отсутствием достоверных доказательств. Одна только Легенда не спрашивала о

доказательствах, несмотря на то, что уже во время пребывания Мечиславской в Риме вера в правдивость ее рассказов не была в эмиграции всеобщей. Даже князь Адам Чарторыйский, один из первых покровителей Макрины, уже в 1846 году колебался, не следовало ли бы, пока не поздно, отойти и «все дело замять и покрыть забвением».

В сумрачной часовне монашки, молящиеся на коленях, уставившись на кровавое сердце Иисусово, не знали ничего об этих грустных делах. Польские дамы возвращались после богослужения в часовне у Скала Санта в состоянии истинного душевного подъема. В салонах позднее передавали из уст в уста сильно приукрашенную и значительно измененную повесть о святой женщине. Золотой крест на декольте, позволяющий как бы домыслить себе истоки девственных грудей, прибавлял серьезности благоуханным устам, когда они выговаривали простецкое название Мадзиолы.

Дамы были довольны, ибо благодаря появлению Мечиславской они могли отдать князю Адаму свечку и народу огарок. Хотя протеже князя выводила свой род от аристократии, манеры ее были весьма Мужичские, речь простецкая. Напор народных масс в эти времена был уже слишком велик, чтобы можно было им пренебречь. Итак, ничего удивительного, что дамы из великосветских домов пытались найти какой-то компромиссный выход. Так точно Зигмунт Красинский извинял некогда Норвиду (если привлечь сравнение из иной сферы) его тривиальную нищету, искупаемую, впрочем, известной благоприобретенной изысканностью обхождения и манер.

Для Мицкевича Мечиславская была зримым знаменем чуда, живущего на земле. Простонародность была в его глазах величайшим украшением и в то же время ручательством истинности того, что говорилось попросту, с такой превеликой натуральностью, которая, казалось, перечила всяческим сомнениям. Он принял ее рассказы на веру, без малейших колебаний, точно так же, как принял некогда учение Товянского.

Макрина не ограничилась ролью святой мученицы, которую толпа легковерных просила о благословении, мученицы, чье монашеское покрывало рвала в клочья толпа, преисполненная религиозного пыла. Макрина смотрела на этих людей с известным превосходством, — она отлично знала, что эти самые набожные простаки сохраняют, как талисман, лоскут одеяния повешенного или обезглавленного бритвой гильотины. Силою вещей она стала козырем в крупной политической игре. Ксендз Еловицкий, ее опекун и импресарио, хотел при помощи этой святой

женщины оказать давление на Мицкевича, поставить его на колени перед страшным ликом надвигающихся событий.

Таинственный мрак окутывает беседу Мицкевича с матерью Макриной, беседу, после которой он решил исповедаться. В исповедники навязался вездесущий ксендз Еловицкий, давний недруг поэта. Тем глубже должна была быть покорность грешника. Исповедник сохранил тайну исповеди. Но сцена, которая происходила под сенью каменных колонн, перед деревянной решеткой исповедальни, имела некоторое сходство с «Импровизацией» из «Дзядов», — это была импровизация в земной карикатуре. Впоследствии уверяли, что исповедь эта длилась семь часов, в два приема; что поэт рычал так, что слышно его было даже на хорах, над органами. Мечущийся в путях ксендзов-ресурреktionистов, пошедший на исповедь, чтобы отец Александр снял с него обвинение в ереси, Конрад и ксендз Робак, страстный и ошалевший от боли, слышит доходящий к нему из-за решетки исповедальни пронзительный голос отца Александра. О чем спрашивает его этот голос, трезвый и чересчур земной? О чем? О ереси, в которой был повинен, о грехах молодости, о еще худших грехах зрелых лет, о скверной совместной жизни с Целиной, о предосудительном романе с Ксаверией, о ереси, о гордыне, о сочувствии убийствам и поджигательству преступников-революционеров и о том, наконец, что детей своих брал в Париже на развратные и безнравственные спектакли...

Утешался Зигмунт Красинский покорством Адама перед властями церковными: «Ни один ксендз не добился этого, этого добилась Макрина, это несомненное начало святости и величия, скрытое в душе этой женщины, что через мученичество прошла. Перед этим началом расчувствовался дух Адама, и вчера произошло то, о чем пишу».

Но Красинский не верил в длительность обращения духов убийства и революционного поджигательства. «Теперь и то тебе скажу, — предостерегал он Гашинского^[221], — что еще тридцать раз отпасть может. Коротко скажу: насколько мне кажется, Товянский — это капитан-исправник в Новом Иерусалиме, Макрина — это шляхтянка польская в этом Новом Иерусалиме...»

А она, Макрина, тем временем радовалась победе, одержанной над строптивым поэтом, сидя в своей келье, впрочем уютно обставленной, с ковром под ногами, теми самыми ногами, которые якобы были утопляемы в пруду в Мадзиолах. В этот миг рубеж между правдой и вымыслом стирался в ее глазах.

Быть может, она и в самом деле шла этой мученической стезей в Витебск, по снегу и лужам, влача деревянный крест на согбенной спине?

Может быть, и впрямь происходило то, о чем она рассказывала уже такое множество раз, что сама почти уверовала в истинность этого жестокого апокрифа? Припоминала лица монашек в обители, где она была светской, нанятой на стороне, ключницей. Что с того, что она изменяла фамилии? Что с того, что переименовала бернардинок в базилианок?

Арцимович, Бжозовская Феврония, Белдовская Анеля, Быстшицкая Магдалена... Да, лица их стираются уже в ее памяти. Она удовлетворена была в эту минуту, довольна, даже горда своей находчивостью, своей изобретательностью и сообразительностью... Ну и что же? Эти стершиеся в памяти лица могут с таким же успехом носить иные фамилии и имена: Бабианская Каликста, Балинская Марта, Брохоцкая Анеля, Ботвидувна Саломея...

Нет, нельзя вспоминать о том, как однажды, было это под вечер, как нынче, она, вдова русского офицера Виньча, была осуждена за мошенничество и побита сопровождающим ее стражником. У нее до сих пор еще остались синие полосы на спине. Она может их каждому показать. Откуда эти синяки и полосы? Ах, это заплечных дел мастера из своры епископа Семашко! Она видит их еще. А ведь того мошенничества не было никогда, никогда! Или где та женщина, которая, спазматически рыдая, явилась к ксендзу Зубке восемь лет тому назад? Выдавала себя за базилианку, бежавшую из монастыря в Полоцке с бернардинцем. Этот бернардинец — она плела дальше свою повесть — соблазнил ее, но теперь хочет грех свой, искупить, и она тоже... Почувствовала в себе снова рыдания и спазмы той женщины.

В келье было уже темно, вечерний благовест уплывал в синеву исполинского города. Приориеса знала, что сейчас начнется долгая бессонная ночь.

Несколько дней спустя папа доверительно беседовал в ватиканской пинакотеке с ксендзом Еловицким.

— Что говорит на это мать Макрина? — осведомился святой отец.

— Благословляет предприятие.

— Кто возглавляет легион? Я соглашусь только на графа Замойского.

— К несчастью, его тут нет, выехал, у нас множество забот, ваше святейшество.

— Если имеете какого-либо другого, но надежного предводителя, пусть придет ко мне. Я благословлю польское знамя с орлом и крестом, хотя войны никому не объявляю.

— Мать Макрина горячо отстаивает Мицкевича, но это человек

ненадежный, как я уже докладывал вашему святейшеству.

— Показывали мне тут брошюру его, полную крамольных мыслей, которую святейший предшественник мой осудил. Польский Ламеннэ...

— Это человек импульсивный и невменяемый.

Святой отец задумался, его полное лицо выражало теперь сосредоточенность и внимание. Видно было, что под этим обычно столь безмятежным челом совершается работа мысли.

— Приведи своего брата, — сказал он в конце концов, — и нескольких старших; я приму польскую депутацию, хотя знамени не благословлю. Следует действовать осторожно.

Оставшись один, Пий IX отдышался и повел повеселевшими очами по мраморным колоннам и изукрашенному розетками потолку ватиканской пинакотеки. Он любил эти удлиняющие перспективу потолки своих дворцов. Все чаще замыкался в одиночестве, защищаясь от вторжения крикливой римской улицы. Запутанные политические дела здесь упрощались, преображаясь в линии и дуги мудрого и совершенного зодчества. Случалось, что в иные часы он всей душой отдыхал, разглядывая какой-нибудь кусок мрамора, лаская очами его гладкость и нежную игру прожилок или взирая на старинный пейзаж, где темно-зеленые деревья осеняли пастушескую лужайку и ручеек. Были это места покоя, а теперь, приближаясь к шестидесяти годам, он ставил превыше всего покой. Отвращал очи от картин, изображающих женщин. Он с пониманием и почти с симпатией размышлял о суровом Григории XVI, предшественнике своем на папском престоле. Втайне восторгался выдержкой этого монаха и его ненавистью к либерализму. А ему, Пию, недоставало выдержки и убежденности. Он умел лишь маскироваться, не из коварства, а только из страха перед тем, что скажет свет.

Вечером 25 марта польская депутация направилась в Квиринал. В воздухе еще дрожали последние отзвуки «Ave Maria», когда польские делегаты поднимались по мраморной лестнице дворца. За Мицкевичем шли: полковник Эдвард Еловицкий и брат его, ксендз Александр Еловицкий, ксендз Губе, Орпишевский^[222], Лубенский и Постемпский, представитель «Демократического общества». Пий IX уже ожидал их. На лице его, несколько обрюзглом, изображалась призванная на этот миг кротость, к губам прилипла добродушная улыбка.

С заметным навыком папа высунул из-под белой туники алую туфлю, расшитую золотой нитью.

— Меня радует, что я вижу объединенных поляков, представителей

разных политических принципов, — сказал он, глядя в глаза ксендзу Еловицкому и его брату. Лубенский и Орпишевский стояли в покорной позе, пристально глядя на туфлю папы, которую они мгновение назад облобызали. — Благословение мое Польше католической, Польше упорядоченного труда и согласия сословий. Благословение людям доброй воли, с покорством несущим крест, который и мы несем. Благословляю Польшу, верную церкви и традиции, бенедико...

Из депутации первым выступил Мицкевич и начал говорить по-французски, спокойно, бегло, потом несколько возвысил голос, делая особое ударение на некоторых фразах. Говорил о многолетней верности польской нации апостолическому престолу, вспоминал о турецких знаменах, которые король Ян Собеский^[223] прислал в Рим.

— Слава Польши наиболее христианская, ибо Польша претерпела более, чем все другие нации мира. Взгляни, отец святой, — сказал он, — на эту покинутую королями и народами Польшу, которая умирала на Голгофе своей, одинокая. Была радость среди тиранов, которые думали, что Польша умерла и уже не встанет. Но господь милостив. Вот голос Пия IX пробудил Италию. Час Польши пробил.

Папа, услышав свое имя из уст этого поляка, о котором он знал, что это человек порывистый, человек, который режет правду в глаза, — папа в глубине души затрепетал. Он чувствовал, что сейчас начнутся хорошо ему знакомые уже в течение двух лет попытки привлечь его к делу революции. Он терпеть не мог ораторов, прославляющих его лишь затем, чтобы навязать ему роль, которой он не только боялся — которой не мог постичь! «Есть какая-то неслыханная глупость и наглость в этих попытках превратить меня в якобинца. Они добиваются этого потому только, что я не столь беспощаден, как тот великий монах, мой предшественник, которого они теперь обвиняют во всех прегрешениях, не понимая того простого обстоятельства, что восседание на папском престоле обязывает к некоей выдержке и требует иного поведения, чем если ты являешься, скажем, Ламартином...» — Тут он невольно улыбнулся.

Эту его улыбку Мицкевич явно принял за доброе предзнаменование, потому что с удвоенной энергией заговорил, нет, почти закричал, чтобы Пий IX бесповоротно встал во главе великого движения народов, чтобы он, наконец, поведал миру, что он думает о деспотизме, чтобы проклял тех, которые из разделов Польши создали закон.

— Ежели не совершишь этого, святой отец, если не станешь во главе народов, пробуждающихся к жизни, господь изберет иные пути и иные орудия. Кровь зальет мостовые европейских столиц! — почти завопил он, и

голос его стал в этот миг резким и неприятным.

На физиономии Пия IX изображалось теперь явное неудовольствие. Оба Еловицких, Орпишевский и Лубенский смотрели с тревогой и возмущением на поэта. Злорадно улыбался Постемпский.

— Figlio, non tanto forte, alzate stroppo la voce^[224], — сказал папа. — Ничего для Польши учинить не можем покамест. Будьте терпеливы и ждите!

Он взглянул на Мицкевича, увидел его лицо, пунцовое от возбуждения, глаза его, глядящие как из-под откинутого забрала, его длинные седые волосы; взглянул и вновь прикрыл глазки обвисшими веками.

— Будьте терпеливы и ждите... — Как эхо, возвратились эти слова, откуда-то знакомые ему, Пию IX. Ах, да, ведь это была только переделка, только пародия пресловутых и непопулярных слов Григория XVI. Казалось, что мрачная тень его стоит за креслом папы.

— Но мы не можем ждать, мы страдаем, отче!

— Знаю, знаю, — теперь, более мягко сказал Пий IX. — Рассказывали мне ваши дамы, из наилучших родов ваших.

— Ты слышал, святой отче, только салонных комедианток. Если бы ты хоть раз услышал стон польских матерей, матерей из народа нашего, то ты не смог бы сомкнуть век с этого мига. Не мы, а все народы требуют, чтобы ты стал избавителем!

Папа улыбнулся, хотя, собственно, это не был подходящий момент для улыбок, улыбнулся собственным мыслям: «Чего они хотят от меня? Хотят меня насильно превратить в Наполеона? Глупцы!»

— Знаю молодежь нашу, — продолжал далее Мицкевич, повысив голос. — Эти люди обладают пылом и верою. Они святые, они готовы на величайшие жертвы. У них нет вождя. Папа, который станет во главе молодых, спасет церковь и человечество. Взгляни, руки твои чисты, смотри, как бы их не запятнала кровь этих юношей!

— Не грози мне, сыне! Те руки, которые поднимают чашу с кровью господней, отвергают пролитие крови невинных. Если поляки хотят республики, тем хуже для них!

— Тем хуже для церкви, если она не благословит знамен свободы. Благослови Польский легион!

— Что это за легион и зачем он? Вождя у вас нет. Граф Замойский, только он один был бы способен возглавить вас, поляков.

— Полковник Замойский против дела свободы.

— Полковник Замойский — верный сын церкви и несомненный

патриот.

— Благослови дело свободы!

— Я благословил итальянские легионы, хотя сам никому не объявил войны. Они хотели идти на помощь Ломбардии, пусть идут с богом. Войны я не объявил, как же я могу благословить ваши знамена? Ежели хотите идти туда, куда идут итальянцы, договоритесь с правительством, не мое это дело.

— С монсеньором Корболи? — спросил ксендз Еловицкий.

— Да, с монсеньором Корболи, — ответил папа.

— У нас нет времени беседовать с посредниками, это дело божье!

— Не горячись, сыне, пыл твой благороден, но господь наш, вспомни, завещал отдать богу божье, кесарю — кесарево. Я не могу объявлять войну мирским владыкам.

Христос дал себя распять за правду! — кричал Мицкевич голосом жестким, охрипшим фальцетом.

— Пиано, пиано, — сказал папа Пий IX.

Тогда Мицкевич подошел вдруг к изумленному первосвященнику и, схватив его за руку, закричал:

— Знай, дух божий ныне в блузах парижских рабочих!

Папа побледнел и прикрыл глаза веками.

— Сыне, забываешься, не помнишь, с кем говоришь.

Орпишевский потянул Мицкевича за полу сюртука, чтобы он опамятовался. Тогда папа крикнул и даже сам изумился силе своего голоса:

— Изыди! — И зазвонил.

Вошли швейцарские гвардейцы. Мицкевич вышел с поднятой головой. Аудиенция была окончена. У папы остались только ксендзы Еловицкий и Губе.

*

Польские барышни из аристократических семейств под началом панны Одровонж-Кушлювны шили и вышивали знамя легиона. Мать Макрина следила за этой работой. На алом поле, под орлом и погоней, золотом шитая надпись: «За веру и свободу». Лик Христа отпечатан кровью на плате Вероники: «Христос победит». На другой стороне лик Ченстоховской... Божьей Матери: «Королева Польши, молись за нас».

На самом верху: Пий IX благословляет возрождающуюся Польшу.

Таким было знамя Макрины.

В эти мартовские недели, когда знамя росло на глазах, когда расширялось, алое, белое и золотое, Мицкевич, озабоченный дрызгами, вызванными вопросом, кто возглавит легион, терзаемый интригами ксендзов-ресуррекционистов и аристократов, которые паче всего страшились народного движения, заходил вечерами в эту сводчатую белую комнату, где, как в старинном польском замке, панночки расшивали боевое знамя.

Панна Одровонж, склонная к экзальтации, занимала тут первое место среди девушек, которые смеялись и пели, чтобы не клевать носом за шитьем. Были мгновенья, когда поэт вспоминал тут, в кругу веселых панночек, молодость свою, покинутую где-то там, в шляхетских усадьбах, среди полей и лесов, озаренных теперь не солнцем, а забвением.

Одна из девушек, высокая, со светлыми сухими волосами, вьющимися крупными локонами, напомнила ему Иоасю. Как-то в поле, в жатву, он увидел ее и запомнил эту картину. Он запомнил также и голос ее, похожий на голос Анны, подруги панны Одровонж. Она пела голосом сильным и чистым, как некогда Иоася: «Ждем вас, рыцари, с победой!»

— Гитары у вас нет? — спросил Мицкевич и в эту минуту вспомнил вдруг, что Иоася играла на гитаре. Спустя несколько лет он потерял ее из виду. Встретил ее снова, когда она была уже женою его родственника, Фелициана Мицкевича. До чего же она изменилась! Лицо ее пожелтело и исхудало. Неужели это было лицо той Иоаси? Но теперь, спустя тридцать лет, она снова помолодела и похорошела, как бы возродившись в юном облике, в глазах и устах иной девушки.

Знамя расцветало со дня на день все ярче, но оно так и не дождалось папского благословения вопреки тому, что гласила надпись по верхнему краю полотнища. Другое знамя должно было развеяться над легионерами: одна сторона белая с красным крестом и другая — красная с белым крестом. К древку этого знамени Мицкевич прибил серебряную крышку от своих часов, на которой был выгравирован белый орел.

Барышни все еще корпели над знаменем, когда в один прекрасный день за окнами раздался топот марширующих отрядов. Итальянские волонтеры в зелени и цветах шли на помощь жителям Ломбардии. Выступали из Рима шеренги гражданской гвардии с барабанным боем и песней на устах. Время не ждало. После изгнания австрийцев из Милана, после этой пятидневной борьбы, временное правительство призвало поляков к оружию. Словно птицы войны, кружились над ломбардскими нивами листовки с итальянской литанией: Литанией Ломбардских

паломников, написанной в подражание «Литании пилигримов» Мицкевича.

На Виа деи Префекти в квартире Эдварда Еловицкого собралось более десятка пилигримов. Были это преимущественно люди, не знающие военного ремесла: художники, адепты изящных искусств, архитектуры, музыки. Большинство из них хотело видеть во главе легиона Мицкевича, вопреки интригам ксендзов-ресуррекционистов и козням аристократической реакции, считавшей, что легион должен возглавить Владислав Замоиский и никто другой.

Граф Лубенский громко протестовал против других проектов. Замоиский — племянник и клеветник князя Чарторыйского; Владислав Замоиский — человек, к которому благоволил сам Пий IX, казался клиру и аристократам вернейшим гарантом проведения антиреволюционной и династической политики.

Мицкевич, как сообщает мемуарист^[225], побагровев от негодования, прервал Лубенского:

— Нет, нет и сто раз нет! Пусть пан Замоиский сперва как простой солдат смоем кровью пятна позора со своего имени! Ведь он опозорил себя попытками протащить своего дядюшку в основатели польской династии!

На это Лубенский:

— Политические убеждения не позорят человека.

— Ну, а ты, — вне себя заорал Мицкевич, — ты, который был клеветником Замоиского, смой сперва пятно публичного грабежа, пятно, которое отец твой положил на твое чело!

Тогда ксендз Еловицкий, председатель собрания, стукнул кулаком по столу:

— Это не дело — клеймить сына за вину отца!

Но Мицкевич топнул ногой и закричал:

— Ах ты поп, ах ты иезуитское отродье! Я гнал вас отовсюду, а вы, платье сменивши, с иезуитской душою под тысячами личин приходите людей уловлять... Растопчу вас! — И обратился к молодым: — Вам говорю, слушайте меня и затыкайте уши, когда вякают эти трухлявые пеньки!

Прерывая Мицкевича, снова поднялся Лубенский и, слепой от гнева, закричал:

— Руки прочь от нашей молодежи, еретики и якобинцы! Вместе с мужиками и дворней идти против шляхты и ксендзов? Сорок шестой год не повторится!

Лубенского поддержал Орпишевский, и оба они шумели, не давая говорить оппонентам. Вдруг Мицкевич вскочил и, багровый от гнева,

завопил:

— Видно, что топор галицийский ничему вас не научил! — После чего, разъяренный, среди всеобщего молчания покинул сборище.

Но на следующий день пилигримы (их было двенадцать, как апостолов в евангелии) явились на квартиру к Мицкевичу, прося его возглавить их. Они теперь образовали вооруженный отряд, дружину, которая должна была стать зачатком армии, формируемой на демократических началах, вплоть до принципа выборности включительно. Целью создания легиона, как гласил Акт создания Польского Войска, было вооруженное возвращение на родину вместе с братскими отрядами славян. Принцип выборности исходил из традиций французской армии времен великой революции.

Второй акт определял политические и социальные основы будущего устройства Польши. Свод принципов содержал пятнадцать статей:

«1. Дух христианский в вере святой римско-католической, явленный деяниями свободными.

2. Слово божие, в евангелии возвещенное, есть закон народов, отечественный и общественный.

3. Церковь — страж слова.

4. Отчизна — поле жизни слова божьего на земле.

5. Дух польский — евангелия слуга, земля польская со своим обществом — тело. Польша воскресает в теле, в котором она страдала и в течение ста лет лежала в могиле. Польша возрождается свободной и независимой и протягивает руку славянству.

6. В Польше устанавливается свобода всех вероисповеданий, всех обрядов и церковных общин.

7. Слово свободное, свободно высказываемое, по делам судимое законом.

8. Каждый из народа является гражданином, каждый гражданин равен в правах и перед властями.

9. Каждая должность избирается, свободно дается и свободно принимается.

10. Израилю, старшему брату, уважение, братство, помощь в его пути к благу вечному и преходящему, равные во всем права.

11. Подруге жизни, женщине, братство и гражданство, равные во всем права.

12. Каждому славянину, проживающему в Польше, братство и гражданство, равные во всем права.

13. Каждой семье своя земля под опекой общины, каждой общине общинная земля под опекой народа.

14. Каждая собственность уважается и является неприкосновенной под охраной народной власти.

15. Помощь политическая, родственная, полагающаяся от Польши брату Чеху и братскому чешскому народу, брату Русу и русскому народу. Помощь христианская всякому народу, как ближнему.

Рим, 29 марта 1848 г.».

Когда Мицкевич огласил этот законодательный акт будущего Польского государства, восторг обуял легионеров, людей молодых и полных веры в правоту дела, за которое они отныне должны были сражаться. Руки их, непривычные к ношению оружия, должны были привыкнуть к карабинам. Лица их должно было опалить солнце итальянской земли, как некогда — лица их предков.

Они не нашли в эту минуту иных слов, чем те, которые когда-то в тоске по вооруженному деянию написал Мицкевич, отныне вождь и глава легиона. Они упали на колени и в один голос сосредоточенно повторяли военную молитву пилигримов:

О всемирной войне за свободу народов.
Молим тебя, господи!
Об оружии и знамени польском
Молим тебя, господи.
О независимости, целостности и свободе отчизны нашей
Молим тебя, господи.

*

День 5 апреля 1848 года выдался ясный и теплый... Лучи солнца ярко озаряли Пиацца дель Квиринале, прозванную Монте Кавалло. Диоскуры, яростные братья мирных capitoлийских диоскуров, сдерживают вздыбленных мраморных коней. Покой почивших веков хранит египетский обелиск. Рокочет фонтан. Толпа зевак на дворе и в портиках Квиринала молча ожидает появления процессии. Порты Пиа почти пуста.

Процессия с головой Святого Андрея медленно движется к собору Святого Петра.

Судьбы этой реликвии были довольно странными. Впрочем, подобные превратности случаются с реликвиями, пожалуй, даже чаще, чем с книгами, которые, если верить поговорке, «имеют свою судьбу». Голову Святого Андрея, привезенную в Рим во времена Пия II, неведомый осквернитель святынь украл было из собора Святого Петра, где она хранилась. Позднее реликвия была обнаружена благодаря указаниям раскаявшегося и сокрушенного похитителя в подвале виллы за воротами Святого Панкратия и перенесена в храм святого, который некогда носил на плечах своих эту голову, впоследствии испытавшую столько передраг. А теперь, став великолепным предлогом для торжественной процессии, возглавляемой самим папой, голова после временного пребывания в храме Святого Андрея делла Валле возвращалась в собор Святого Петра. Пий IX шел во главе шествия, сопровождаемый свитой кардиналов и епископов в алых и фиолетовых одеяниях, весь в белом и золотом, под яркими лучами весеннего солнца. Быть может, он размышлял теперь об удивительных путях и перепутьях своей жизни. Из всех этих дорог та, по которой продвигалась процессия с головой многострадального святого, была самой, прямой. Ах, если бы все дороги были столь же прямыми и ясными! Джованни Мариа Мастаи не любил резких поворотов и ситуаций, которые требовали немедленных решений.

Будучи епископом, он участвовал в церемониях и обрядах с пылом, можно даже сказать — со страстью. А теперь ему как-то наскучили торжества, перестали щекотать его честолюбие непрестанные возгласы римских толп: «Эввива иль Санто Падре!» Он страшился чрезмерной популярности, ибо знал, что она зиждется на ошибочном убеждении масс в его либерализме и симпатиях к революционным реформам. Недавние манифестации римского народа, который видел в нем своего защитника, поразили его не менее, чем падение Луи Филиппа. Года два назад Пий IX объявил амнистию всем политическим заключенным, и это привлекло к нему многие сердца, порою даже сердца недавних недругов. «Анджело ди Ватикано» (ватиканским ангелом) называла его улица. Но позднейшие события вынудили святого отца несколько поправесть: с возрастающей тревогой прислушивался он теперь к возгласам римской толпы.

«Они хотят от меня действий, на которые я не способен, мне недостает сил и гения, — думал, он теперь, медленно выступая в торжественной процессии. — События привели к тому, что я дал себя перехитрить. Трудно будет теперь выбраться, но необходимо. Я не одобрял убийств, ненавидел революции — и вот что со мною сделали обстоятельства. Пио Ноно, Пий IX — вождь народной революции! Это смешно и неблагопристойно, —

думал он с ужасом, хотя на лице его при этом не выражалось ничего, кроме приветливого равнодушия. — Мадзини, этот глупец! Ему я обязан половиной своих лавров. Народный трибун, демагог!»

Ничего из этих мыслей не передалось толпам, разглядывавшим процессию. Они восхищенно глазели на воистину великолепную игру красок и лиц. Под лазурным небом, среди белых зданий пластика фигур, выступающих в церемониальном шествии, была совершенно поразительной, напоминала полотна старых мастеров. Высокие митры епископов, белые и золотые, колыхались во главе процессии; на солнце переливались все оттенки пурпурного, алого и фиолетового. Разгоряченные, чрезмерно бледные или чрезмерно раскрасневшиеся физиономии тщились выразить покорность и набожность.

Тени на гладких плитах мостовой еще увеличивали ощущение объемности тел и предметов. Голова святого, несомая в украшенном драгоценными камнями ларце, привлекала взоры простонародья, отчаянно суеверного и падкого до сенсаций. Колыхались знамена всех мелких итальянских государств, шел отряд поляков, предводительствуемый человеком в костюме пилигрима, с непокрытой головой, в ореоле пышных седых волос. Польское знамя, впервые со времен легионов Домбровского публично поднятое на этой земле, привлекало внимание римлян. На одной стороне этого знамени виднелась надпись: «Первая польская дружина», на другой: «Славянство». Легкий ветер морщил его красную половину с белым крестом и белую с красным крестом. Нес это знамя ученик Мицкевича, по фамилии Герыч.

«Герыч все время шел первым, — писал позднее Мицкевич, — и с нашим знаменем стал у гробницы Святого Петра». Действительно, он стоял вместе со своим отрядом, сжимая древко, у алтаря, что удалось не без труда, ибо уже у входа в храм Святого Андрея папская полиция преградила польскому знамени путь вовнутрь храма. Мицкевич, энергично действуя, преодолел сопротивление блюстителей порядка. Когда поляки вошли на площадку перед собором Святого Петра, никто уже не преградил им дороги.

Почетным местом во главе шествия знамен итальянских корпораций поляки были обязаны не протекции Пия IX, но хитрому мастеру всех папских церемоний Брунетти, недавнему виноторговцу, а теперь народному трибуну и осведомителю папы. Этот Брунетти, в шутку прозванный «Цицерончиком» — «Чичерначчо», тактично умерял пыл поэта, и все сошло как нельзя лучше.

С алтаря папа благословил головой Святого Андрея польское знамя.

*

Под знаменем, благословленным папой, Польский легион выступил из Рима. На сардинском корабле «Кастор» пилигримы отплыли из Чивита Веккиа в Ливорно. В бурном море корабль сильно качало. Знаменщик держал знамя обернутым в клеенку.

Мицкевич с учеником своим Геритцем, или Герычем, стоял на корме корабля, глядя на разъяренные волны. В Ливорно капитаны стоящих там славянских кораблей приветствовали Польский легион. Из Ливорно по железной дороге легионеры прибыли в Эмполи над Арно. Народная манифестация приветствовала пилигримов. Вечером при свете факелов толпа, собравшаяся перед домом, где остановился поэт, издавала возгласы в честь Польши, Италии и папы. Мицкевич держал речь с балкона. Еще прежде, чем пилигримы расположились во Флоренции, «Гадзетта ди Фиренце» передала следующее сообщение:

«Нас просят объявить, что поляки в Риме, имея обязательство, как союзники народов, принять участие в борьбе итальянской нации против общего врага, сформировались в отряд, чтобы шествовать в Ломбардию. Святой отец благословил польское знамя, к которому римский народ пожелал присоединить знамя Пия IX. Во главе этой колонны избранников стоит гражданин Адам Мицкевич. Он имеет намерение выпустить воззвание к солдатам польским, чешским, хорватским, иллирийским и далматинским, находящимся в австрийской армии, чтобы они отказались участвовать в борьбе за столь несправедливое дело, как война Австрии против Италии: он обратится к ним во имя всеобщего братства. Все эти солдаты принадлежат к славянскому семейству и говорят почти на одном и том же языке; все они стремятся к национальной независимости. Поляки, католики, начинают во главе всех славян и во имя Пия IX священную войну против варварского деспотизма. Польский отряд прибыл во Флоренцию. Когда он проходил через Эмполи, его приветствовали радостно и от всего сердца».

Перед гостиницей «Альберго Сан Марко» на Пьяцца д'Арно, где остановились польские пилигримы, флорентийский народ демонстрировал дружеские чувства к Польше. Мицкевич держал речь. Тот, кто вит дел его тогда, запомнил его прекрасную седую голову над толпой, сосредоточенно

слушавшей его. Лицо поэта, разбуряившееся от возбуждения, как будто в его черты вступила вторая молодость, казалось в этот миг лицом апостола или народного трибуна. Слова, которые исходили из его уст, были проникновенными, точными и меткими. С верой и уважением принимал флорентийский народ пылкую речь польского поэта. Слова не были еще тогда стерты, еще не отличались двусмысленностью, которая их умерщвляет; слова еще не утратили содержания.

Тогда еще риторика не возбуждала сомнений, ее воспринимали из уст трибунов как ценную монету, передавали ее звучание из уст в уста как символ братства; лишь позднее эта великолепная риторика обречена была стать расхожей монетой в холодных устах.

Роскошная элоквенция романтических поэтов подготовила толпы к восприятию патетических слов и жестов. Она стояла за плечами ратора, который словом своим возбуждал толпы, приводя их в колыхание, подобное движению морских волн, извлекая из этой человеческой массы крики и возгласы либо заставляя ее молчать. Стояла она как невидимый оркестр с гигантскими инструментами. «Чтобы это видение, которое светило Данте, Макиавелли, вашим пророкам, которые, подобно пророкам иудейским, зывали к вам: «Горе! Горе!» — и которых не понимали и терзали им сердце и душу, — говорил Мицкевич, — чтобы это видение воплотить в действительность, сделать слово явью, нужен был муж, а мужем этим был один из ваших, он был вашим мессией — Наполеон».

Профессор Коллеж де Франс вынес в эту минуту имя императора из парижской аудитории на улицы и площади Флоренции. Он говорил об императоре с дрожью в голосе, как старый ветеран. Он был в цивильном платье, но широкий плащ с застежками в виде львиных пастей напоминал солдатский плащ.

Над толпой развевались знамена: тосканское знамя, трехцветные итальянское и германское, поскольку множество немцев, сочувствующих делу свободы, находилось тогда во Флоренции. Речи итальянцев, приветствующих польских легионеров, были патетичными и выдержаны в самых возвышенных тонах. Не было в них пауз и понижений.

«Тосканский народ! Друзья! Братья! — ответил Мицкевич. — Господь справедлив. Голос Пия IX привел в движение Италию (возгласы в толпе: «Да здравствует Пий IX!»). Парижский народ изгнал величайшего предателя народов (возгласы в толпе: «Да здравствуют рабочие Парижа!»). Вскоре раздастся мощный голос Польши, Польша восстанет против северного тирана (возгласы в толпе: «Восстанет!»)».

Незримый оркестр с гигантскими инструментами, стоящий за спиной

оратора, рассыпался в звучании реальных труб и фанфар городского оркестра.

Кто-то крикнул: «К Санта Кроче!»^[226] — после чего толпа, возглавляемая польским отрядом, двинулась к храму. Флоренция, тесно застроенная, средневековая, суровая, купалась в солнце последних апрельских дней. По вечерам четче становилась стрельчатость церквей, в синеватом сумраке объемней становились изогнутые кровли.

Мицкевич, проходя со знаменщиком Герычем по улицам, вдоль садов, ощущал в себе легкость этого итальянского сумрака, который он узнал еще восемнадцать лет назад. Но если тогда он постоянно ощущал нечто вроде безвредного сплина, то теперь он уже не поддавался этой прекрасной хвори, прилипчивые чары которой некогда опозитизировал и привил многим современникам Байрон.

Мицкевич шел по флорентийским улицам в своем широком плаще не как изгнанник, не как Данте, изболевшийся, изнуренный, с лицом, изборожденным горестями, нет, не как Данте, с которым его сравнивали ораторы этого города, желая польстить ему сравнением высоким, как храм Санта Кроче. Он чувствовал в себе высочайшую, ибо почти безличную, радость от развивающегося дела, деяния, действия, которое он ценил превыше всех когда-либо им написанных книг. Он не обрадовался, когда в какой-то библиотеке ему показали его собственные сочинения. Он отдалился от своих книг. Они были ему чужды в это мгновенье, которое казалось первым часом новой эпохи. Весенний ветер пронизывал сумерки благоуханием флорентийских садов. Красивые девушки в длинных платьях шли, нет, плыли по улицам, их движения, исполненные грации, казалось, вызывают из закоулков таинственной архитектуры и из-под древесной сени мелодии флейты и повторяющиеся слова любовной канцоны.

Та из них, что исчезла в это мгновенье в резных дверях старого дома, та, чьи движения были плавными и пробуждали тоску, та, конечно, зовется Беатриче, она на шесть веков моложе своей бессмертной сестры.

Он узнал некий маленький неказистый дом, заросший диким виноградом, на улочке, в которую без определенной цели забрел с неразлучным Герычем. Жалюзи были опущены. Ступеньки вели к дверям этой ныне пустой виллы. Казалось, будто с давних пор никто не поднимался по ним.

Комната на втором этаже хранила тайну.

— Несчастья наши происходят всегда от нашего чрезмерного интереса к собственной судьбе. Освободиться от этого интереса — это значит завоевать счастье.

— Я не хочу такого счастья, — ответил Герыч.

На приеме, данном в честь прибывших князем Каролом Понятовским, племянником короля Станислава, Герыч впервые в жизни услышал музыку Моцарта. Князь великолепно играл. Княгиня Элиза, стоявшая за креслом Герыча, внезапно наклонилась к нему и спросила:

— Вы впервые слушаете Моцарта?

Герыч смотрел на своего наставника и повелителя, который слушал эту музыку, сомкнув веки. Приписывал ему, однако, совсем иные чувства, чем те, которые овладели теперь старым поэтом. Выяснилось это из краткого разговора с художником и легионером Зелинским.

Наткнувшись случайно на сочинения Леонардо, том которых в кожаном переплете с золотым тиснением лежал на столике в салоне князя, Зелинский прочитал одно из таинственных замечаний этой поразительной книги. Зелинский читал вслух итальянский текст, который Герыч не вполне понимал:

«Случилось мне некогда создать картину, представляющую божественную особу. Когда ее приобрел любитель, он захотел удалить признаки святости, дабы он мог ее лобызать, не вызывая подозрений. Но в конце концов совесть одержала победу над влечением и страстью, и с тяжелым сердцем он убрал картину из дома своего...»

Мицкевич молчал одно мгновение, как будто тщательно взвешивал то, что хотел сказать, и в конце концов произнес с особенной холодностью:

— Художники влагают слишком много любви в свои творения, вместо того чтобы более справедливо применить эту любовь. Я удалил бы из моего дома картину, которая не учит ничему доброму. Нынче не время слушать музыку или разглядывать картины.

Сказав это, он вдруг спросил Зелинского, как обстоят дела с обмундированием солдат и сделали ли они успехи во владении оружием. «Из Флоренции, — писал Герыч, — уже в польском мундире (в темно-синей венгерке с малиновым воротом, в конфедератке и с белым крестом на сердце) мы двинулись к Милану».

Столица Ломбардии была освобождена от австрийцев еще месяц тому назад. Старый генерал Радецкий после четырехдневной борьбы вынужден был отступить. Именно в этот период Венеция отдала свою судьбу в руки народного трибуна Манина.

Король Карл Альберт нанес поражение Радецкому под Гоито. Весенний пролог предвещал благоприятное развитие событий. Множились ряды волонтеров итальянской народной армии и росла надежда.

Из Парижа пришла весть, что полковник Каменский во главе 130

поляков и 160 французов пешим маршем отправится в Италию, чтобы соединиться с легионерами Мицкевича.

Через Болонью, где овации, речи, приветствия были еще более непосредственными, чем во Флоренции; через Модену, где пилигримов приветствовала ликующая молодежь, легион дошел до Милана. В Парме, в городке Корреджо, повторилось то же, что во Флоренции, Болонье и Модене. Двенадцать пилигримов под предводительством польского Христа, обладавшего, однако, суровыми чертами Данте, вступили на понтонный мост через реку По.

Когда пилигримы дошли до Порта Романа, раздались возгласы делегаций, которые уже ожидали прибывающих. Легионеры не отличались особо бравым видом, военной выправки у них не было. Они были в мундирах, правда, но ехали на повозках. Это не был способ передвижения, достойный солдат, да и апостолам не слишком пристало передвигаться таким образом. Их было так немного! Они попросту терялись в толпе, которая забрасывала их цветами. Шпалеры национальной гвардии вдоль Корсо делла Порта Романа отдавали им воинские почести. На площади Сан-Федале облаченных в мундиры апостолов приветствовали речами и овациями. Мицкевич отвечал; неутомимый, господствующий над толпой, восхищающий ее своим энтузиазмом, речью, исполненной великих исторических гипербола, речью, в которой библейские метафоры переплетались со стилистическими фигурами «Оды к молодости».

Именно тут, на мостовой итальянских городов, по которым прошли некогда легионы Домбровского, воплощались теперь в кликах толпы и возгласах пылкой молодежи неправдоподобные метафоры его юношеской «Оды». Поэт шел, чтобы «извести из Тартара души». Но в этих сценах было еще нечто большее. Зрелищу этой божественной и все же такой человеческой комедии сопутствовал идущий сразу же вслед за Гением Пафоса грустно улыбающийся Гений Иронии. Дюжина молодых художников, изгнанников, во главе с поэтом и профессором Коллеж де Франс шла на помощь итальянскому народу, против могущества вооруженной до зубов Австрии, шла с верой, что дойдет до Польши, дойдет, ибо «еще Польша не погибла», еще исполнятся слова песенки, сочиненной некогда Юзефом Выбицким!

«Я первый, — признался позже Герыч, — шел вслед за оркестром, неся польское знамя. С сокрушением и трепетом в душе нес я польское знамя в Риме, и всюду, молясь Пречистой Деве, которая меня, столь малого, возвела на такую сцену. Адам стоял рядом с членами правительства на балконе ратуши, а я был при нем со знаменем».

«...музыка играла под балконом, и все войско дефилировало перед нашим знаменем, на миг склоняя перед ним свои знамена.

Когда я стоял перед ратушей, какая-то дама, сказав несколько слов, раскрыла свой висевший у нее на шее золотой медальон с портретом Пия IX и, достав из него белый серебряный крестик, подарила его мне».

— Ни один монарх не удостоивался такого приема, — сказал Мицкевич, г Увы, он был на чужой земле, под опекой колеблющегося правительства, которое страшилось движения масс и предпочитало тянуть время. Народу недоставало руководства. Искренний пыл Мадзини, человека, который считал нужным нанести визит польскому поэту, симпатия республиканцев немногим могли изменить суровые условия, которые событиям диктовала история. Волонтеры из Парижа прибывали не в столь большом числе, как это ожидалось.

Только «четыре новых товарища прибавилось в отряде, и число его участников утратило свою евангельскую символичность. Эти новые легионеры были: Михал Ходзько, Игнаций Ходкевич, Люциан Стыпулковский и Генрик Служальский^[227].

Нужно было использовать иные возможности:! привлечь военнопленных славян, которые, еще одетые в австрийские белые мундиры, томились в тюрьмах Милана. Ломбардское правительство не доверяло этим «диким славянам»; особенно оно опасалось хорватов, у которых было прескверное реноме.

Наконец правительство дало согласие на этот рискованный эксперимент. Тогда Служальский с Ходкевичем пошли в тюрьму вербовать военнопленных. Для этого им не потребовалось особенно напрягать свое красноречие. Запертые в тюрьме, где с ними скверно обходились и еще хуже кормили, военнопленные охотно вышли на свободу, не слишком надежную, правда, но куда более надежную и привлекательную, чем пребывание в стенах тюрьмы. К тому же у них возникли упования, впрочем весьма приватного свойства. Выведенные из тюремного замка, они шли в своих белых, сильно замаранных мундирах в баню, эскортируемые легионерами, но, несмотря на Это, оскорбляемые толпой, которая начала даже швырять камни, — так велика была ненависть к австриякам после недавних событий.

Но когда они возвращались из бани, чистые, распаренные и побритые, переодетые в польские мундиры, та же толпа приветствовала их рукоплесканиями.

В казармах Мицкевич обратился с речью к хорватским мужикам. Ничего из этой речи они не поняли. Да и вообще им не нужно было уже

ораторства, они уже не верили словам. Верили ломтям хлеба, который им дали, и солдатской похлебке, которую они хлебали, громко чавкая и наслаждаясь ее вкусом после тюремной голодухи. От них впоследствии немного было толку.

А ломбардское правительство что-то все не слишком поторапливалось с подписанием устава Польского легиона. Легион Мицкевича основан был на принципах республиканских, родственных воззрениям Мадзини. Между Мадзини и ломбардским правительством были серьезные расхождения во взглядах по итальянскому вопросу. Мадзини был сторонником федерации, которая как раз в эту пору охватила земли северной Италии. Мадзини мечтал о единстве всей Италии, а не кажущемся только ее объединении. Правительство Ломбардии, отвергающее концепцию Мадзини, взирало также с недоверием на Польский легион. Дело вербовки добровольцев из числа бывших австрияков-военнопленных становилось все труднее. Даже итальянцы, бежавшие из австрийских рядов, не проявляли желания служить в ломбардском войске, они сбывали свое оружие и пускались наутек при первом удобном случае.

Печальный опыт научил итальянцев недоверию к бывшим военнопленным, в особенности к славянам... «Лучше бомбы, чем хорваты!» — гласили воззвания, расклеенные на стенах Венеции. Хорваты, вовлеченные в легион, отнюдь не были удачным приобретением. Их нужно было бдительно стеречь в миланских казармах, где они находились вместе с поляками.

Тем временем в Милан прибыл Каменский со своим отрядом — после долгих скитаний, после перехода через Альпы. Он расположился в казармах Сан-Джироламо. Легионеры принесли присягу, обязавшись служить святому делу Италии под опекой ломбардского правительства, доколе австрийцы не будут полностью изгнаны с итальянской земли. Позднее они смогут пойти туда, куда позовет их: польская отчизна. Число легионеров не превышало ста пятидесяти. Они были прекрасно обмундированы и вооружены. Во главе отряда, уже не апостолов, а волонтеров стоял Каменский.

Мицкевич на личной аудиенции предложил королю Карлу Альберту более широкий проект формирования легиона, но ничего не добился. Напрасные попытки добиться соглашения с ломбардским правительством и с Венецианской республикой, еще до прибытия Каменского, измучили Мицкевича, — результаты были половинчатые, неудовлетворительные; добрая воля ломбардцев столь неразрывно переплеталась с интригами и кознями, что трудно было различить, где кончается добрая воля и где

начинается хитроумное интриганство.

Во всяком случае, факт, что за легионом не признавали даже права на собственное знамя. В казармах Сан-Джироламо скука, самая пренеприятная подруга солдата, снедала легионеров.

Из Парижа прибывали посланцы польской аристократии, пытавшиеся всяческими обещаниями перетянуть легионеров на службу в парижскую «подвижную гвардию» — ту самую «гард мобиль», которая стреляла в рабочих. Часть легионеров попросту дезертировала.

«Польские легионеры в Италии, убегая, бросая винтовки и возвращаясь во Францию при вести, что там повысили жалованье, предавали польские знамена. Я был там, и можешь себе представить, как страдал».

Так писал Мицкевич Домейке. Страдал действительно сверх всякой меры, — у него бывали пароксизмы ярости, когда, запершись в своей комнате, он проливал горькие слезы. Положение было тяжелое. После дней славы снова наступили дни поражения.

Знамя Польского легиона, знамя, которое сопутствовало ему в дни торжества и упования, было теперь подобно призраку: двусмысленное и нереальное. Почивало на нем благословение папы, от которого потом отрекся этот либерал поневоле, но это благословение пробуждало неприязнь и недоверие у руководства «Демократического общества», в то же время отворачивались от этого знамени и приверженцы Чарторыйского и паписты. Интрига, вездесущая интрига раздирала знамя в клочья, хотя с виду оно и было целехоньким.

Даже король Карл Альберт в беседе с Мицкевичем сказал:

— Ну, да что теперь ваше знамя? Я слышал о ваших вождях. Дембинский не ходит в церковь. Бем — записной картежник, один только Хшановский^[228] — человек набожный!

Каменский, новый вождь легиона, измаявшийся от ничегонеделания, мучил Мицкевича. Герыч помалкивал, он один заботился о знамени: извлекал его из клеенчатого чехла, разглаживал, расправлял складки. Крышка от часов с серебряным, выгравированным на ней маленьким орлом, некогда прибитая к древку первым вождем легиона, мерцала, как прежде, — печальный символ дела.

Никто уже и не вспоминал о некоем апрельском дне в Риме, где двенадцать легионеров с вождем шли в процессии, сопровождавшей последнее земное странствие головы Святого Андрея во храм Святого Петра. Но дело легиона было в этот миг подобно этой отрубленной голове.

На следующий день после выезда Мицкевича в Париж легион под началом Каменского вышел в поход. В нем насчитывалось сто двадцать человек. В казармах остался отряд под начальством Съодлковича; в отряде этом служили преимущественно чехи и словаки. Этот отряд должен был стать основой вооруженных сил, ибо надеялись на наплыв многочисленных волонтеров из Франции.

Рота Каменского была послана на тирольскую границу, в Каффаро, на берегу озера Идро, и включена в наблюдательный корпус генерала Джакомо Дурандо. Тут польские солдаты должны были заменить итальянских стрелков на далеко выдвинутых вперед форпостах. Целый месяц они стояли лагерем в полнейшем бездействии. В легионе наряду с поляками было множество польских евреев. Несколько художников-живописцев придавали этому отряду своеобразный характер, ибо они не умели скрупулезно подчиняться предписаниям военной дисциплины, ускользали от ее распорядка, уравнивающего всех подчиненных.

В военном лагере перед лицом серьезных и кровавых событий были извлечены испещренные красками палитры. Молодые живописцы растягивали холст на кое-как сколоченных подрамниках, раскладывали живописные принадлежности, купленные на солдатское жалованье, и ревностно писали восхитительный пейзаж с озером или какую-нибудь из бивачных сцен.

Тем временем офицеры легиона держали совет с генералом Дурандо, пытаясь склонить его к тому, чтобы ударить по австрийским позициям близ Вероны. Но тщетно. Лагерь стоял на месте и таял, как вешний снег; десятая часть выбыла из-за болезней, кое-кто дезертировал. Дисциплина совсем расшаталась, ссоры и драки случались каждый божий день.

Рота, оставшаяся в Милане, должна была пережить падение этого города. Австрийцы шли победоносным маршем. Битва под Кустоцой неожиданно приблизила их к стенам города. Король Карл Альберт, прибывший из Лоди, задержался под Миланом в трактире Сан-Джорджо. У него было еще 30 тысяч человек, но фельдмаршал Радецкий командовал пятидесятитысячной армией, упоенной победой, действовавшей уверенно и молниеносно. Король решил дать битву под стенами города. Сам он перенес свою главную квартиру в палаццо Греспих, на Корсиа дель

Джардино, в центре города. Народ возводил баррикады. Клич «К оружию!» оглашал улицы. Не было оружия для народа. На площадях гремели пьемонтские барабаны, с колоколен раздавался набат. В шанцах стояли готовые сражаться насмерть итальянские солдаты. Их жены и любовницы или незнакомые девушки приносили защитникам Милана еду и питье. Когда наступал сумрак, рядом с передовой, в заповедных рощицах и в зарослях, солдаты дарили им свою короткую и яростную любовь, на земле, мокрой от росы, среди острых запахов зелени.

На следующий день — 4 августа — состоялась жестокая битва на дорогах в Лоди и Падую. Но когда наступила ночь, пьемонтцы вынуждены были искать убежища в стенах Милана. Белые мундиры приближались сомкнутыми колоннами. 5 августа пушки смолкли. Тишина эта поразила миланцев больше, чем пушечный гром. Вскоре после этого разнеслась весть о капитуляции.

— Смерть предателям! Смерть королю! — вопили черные потные толпы под гулкие удары набата, гремевшего со ста колоколен, что так и тряслись в пляске обезумевшей меди. На соборной площади два незнакомца, принесшие весть о сдаче города, в мгновение ока были растерзаны толпой.

В ночь с 4 на 5 августа, когда король подписал капитуляцию, поляки, повинувшись четкому королевскому приказу, стояли на страже во дворце. Они находились под ружьем, охраняя короля, расположившись биваком на плитах внутренних дворов королевского палаццо. В полночь им было приказано взойти на мраморную лестницу: в раззолоченных и увешанных картинами салонах им были постелены тюфяки. Король не доверял ломбардцам. Он рассчитывал на испытанную верность поляков и на их высокое понятие о чести. Утром польских воинов разбудил набат. На валах стояли орудия без канониров. Кавалерия беспорядочно бежала. Австрийцы вошли в Милан. Король ускакал на чужой лошади. Дома, харчевни и музеи Милана кишели белыми мундирами. В галерее изящных искусств Аполлон, на мраморные локоны которого был нацеплен кивер венгерского гусара, Аполлон с подсумком на боку, улыбался идиотической улыбкой. Венера поддавалась грубым объятиям завоевателей под гогот и шутки солдатни. Исчезла демаркационная линия между искусством и жизнью. Искусство утратило всю свою возвышенность и вековое благородство, — жизнь была низменной и жестокой.

Польский отряд покинул город. После трудного марша в жуткий зной он пересек пьемонтскую границу и расположился биваком близ местечка Фрекате.

А в это время отряд полковника Каменского сражался между Лонато и Десензано, на берегах озера Гарда, за два дня до падения Милана. По команде: «Примкнуть штыки! Бегом марш!» — они пролетели Чезарго — перед ними было белое пыльное шоссе. Свистели пули. Это укрытая во рвах австрийская стрелковая цепь была из тысячи карабинов. В дыму и посвисте пуль польская рота бежала с карабинами наперевес в атаку. Недалеко от нее итальянские стрелки летели вперед с большими интервалами друг от друга, криками придавая себе отваги. Потом из клубов пыли вынырнули галопирующие кавалеристы. Команда: «Стройся в каре!»

Оказалось, однако, что это был небольшой отряд, который должен был прикрыть отступление главных австрийских сил, бегущих со своих позиций к Лонато. Итальянское войско и Польский легион медленно двигались вслед за ними. Солдаты были измучены бегом и зноем. Австрийцы непрерывно отступали, оставили Лонато и маршировали к Десензано. Вскоре снова началась стрельба, падали картечь и ракеты. Атака союзников была направлена на соседние холмы. Когда полковник Каменский, сопровождаемый легионером Дзеконским^[229], поднимался на голый холм, тирольские стрелки, укрытые в зарослях за ложбинкой, которая разделяла холмы, дали несколько выстрелов. Полковник вдруг вскрикнул и упал. Он был ранен в ногу. Подбежал барабанщик отряда, француз, который как раз целил из винтовки, лежа неподалеку на прогретой земле. Затем оба солдата, Дзеконский и барабанщик, позвали товарищей и, сделав носилки из винтовок, снесли полковника вниз, к Лонато.

Трубачи просигналили отход. Поляки и итальянцы, смертельно измотанные, покидали поле битвы. В польской роте двое были убиты и двое ранены. «Из этих жертв, — рассказывал Дзеконский, — трое были евреи, — кровью своей они окупили уважение, в котором им многие из наших так упорно отказывали». Их похоронили в земле, которая равно принимает всех. Полковник Каменский стонал на повозке. Пуля, хотя фельдшера ее и зондировали, осталась в ране.

Ночью неожиданно пришла весть о сдаче Милана. По скалистым тропам начался отход в направлении на Каино. Тем временем какой-то всадник на взмыленном коне принес иную весть: Милан еще держится! Тут же повернули назад. Начался форсированный марш по трудным дорогам, на которых так и подскакивали повозки с больными. Это был нелегкий и опасный переход. Австрийцы могли в любую минуту пойти в атаку. Во мгле ночной сторожевые посты высматривали, нет ли белых мундиров. Никому в этот миг не хотелось воевать. Все почувствовали себя в большей

безопасности и повеселели, когда по пути в Бергамо соединились, наконец, с корпусом генерала Дурандо.

Теперь все это войско шло в атаку под пронзительный грохот барабанов к горе, на которой высится Бергамо. Польская рота шла впереди. Не раздалось ни единого выстрела. Они вошли боевым маршем в засаду!

В силу соглашения со Шварценбергом отряды, сохраняя оружие, покинули город и пошли по назначенному им победителями маршруту в направлении К Пьемонту. В Верчелли отряд Каменского соединился с миланской ротой, которой командовал Съодлкович. Быстрыми шагами приближалось поражение. Легион соединился 21 августа, через одиннадцать дней после манифеста Карла Альберта «К народам королевства». Слова этого манифеста не могли никому придать мужества, хотя они гласили, что дело независимости Италии еще не проиграно. Однако прекращение огня было куда более явным фактом. Еще сражался Гарибальди, но и он был разбит под Мураццоне. И когда этот храбрый предводитель итальянских партизан отправился на поиски убежища в швейцарских горах, восьмидесятидвухлетний фельдмаршал Радецкий торжествовал, хотя война еще не была закончена. Черные австрийские орлы с хищным профилем появились на желтых вывесках, прибитых к правительственным зданиям Милана.

*

Тогда, когда пылали дома рабочих в предместье Сент-Антуан в Париже, когда стонами раненых огласились госпитали, когда в течение нескольких июньских дней «мобили» и солдаты Кавеньяка замучили три тысячи пленных, в парижских салонах на все лады толковали о пролетарской опасности. Либералы, утописты, республиканцы, которые объявили себя сторонниками февральских событий, теперь отворачивались от усмирленного пролетариата. Картечь Кавеньяка, которая в течение пяти дней раздирала в клочья тела рабочих и сметала их баррикады, смыла отвагу в сердцах умеренных демократов и республиканцев. Они ощутили страх перед революцией. Жаждали возвращения к былым условиям, к прежней легальной оппозиции.

Польская реакция, олицетворенная в фигурах князя Чарторыйского, Замойского и Зигмунта Красинского, была всецело на стороне французской буржуазии. Красинский упивался победой «Порядка» над революционным

хаосом и во имя блага человечества и христианства принимал июньскую резню и террор Кавеньяка.

Мицкевич остался верен делу народа. Он явно почувствовал значение этих июньских дней, которые потрясли Францию. Задумывался над причинами и последствиями «июньской грозы». Он считал, что анализ последней революции дает ключ к пониманию прошлого и будущего Франции.

Он думал о судьбе своего легиона. Об интригах и плутнях партий, которые ставили ему палки в колеса, когда он организовывал легион, и теперь, когда речь шла о его сохранении. Вспоминал интриги князя, которому он доверял, вспоминал графа Замойского, который пытался создать другой легион, как бы конкурирующий с легионом Мицкевича, — легион явно антидемократического характера. Всегда вежливый, всегда предупредительный, ласковый даже, никогда не возвышающий голоса, этот магнат был полной противоположностью Мицкевичу. Замойский смотрел на поэта свысока: он чувствовал себя выше его — происхождением, воспитанием, дипломатическими способностями. Он и князь были людьми политики, были искушены в политической тактике. Мицкевича они считали неисцелимым мечтателем. Интриги графа были направлены к тому, чтобы завладеть легионом и придать ему характер, какого желал князь Чарторыйский и вместе с ним консервативные партии. Итальянскому правительству Замойский пытался внушить мысль, что легион не является военной частью, что это попросту кучка апостолов. Он старался очернить Съодлковича, завидуя его успехам. Тем временем легион разлагался изнутри, чему способствовали агенты графа. Острые политические противоречия вышли в нем на свет божий, дело доходило до ссор и драк. Дисциплина все более явно рушилась с каждым днем. Случались грабежи и кражи во время маршей, пьянство ширилось в рядах. «Крест наш, белый на мундире, черным был на сердцах наших», — писал Александр Бергель [\[230\]](#) Мицкевичу.

Когда интриган-граф попытался лишить Съодлковича командования, в легионе произошел раскол, и легион в конце концов распался. А по Орлеанской железной дороге продолжали прибывать в Италию новые польские волонтеры из Парижа. Им позволили формировать отряд в Тоскане. Туда также направил Мицкевич с трудом набранных добровольцев. Благодаря пожертвованиям Ксаверия Браницкого [\[231\]](#) появилась возможность экипировать их. В день битвы при Лонато рота легионеров двинулась в Италию. На знамени их были начертаны слова:

«Per la nostra e la vostra libertà!» (За нашу и вашу свободу!)

После того как подсланный тайный агент убил министра России, толпы обступили Квиринал, и папа бежал в Гаэту, что повлекло за собой вооруженную интервенцию со стороны Франции. Новая ситуация поставила также и легион в новое положение. При штурме ворот Рима Польский легион плечом К плечу с солдатами Гарибальди сражался против французских войск, к великому негодованию польской реакции, которая упрекала Мицкевича в том, что он-де решился толкнуть поляков в войну против папы и против Франции — покровительницы эмигрантов. Проходя по изменчивым путям восстаний, вспыхивающих в Италии, бросаемый провинциальными властями на передовые позиции, легион, разоруженный, наконец, французами, завершил свою эпопею в Греции, в той самой Греции, которую некогда воодушевил Байрон, но которая теперь не могла даже предоставить убежища потерпевшим крушение полякам.

Я СПЕШУ В БАТИНЬОЛЬ!

Взрыв июньской революции застал госпожу Целину Мицкевич в доме супругов Кинэ^[232]. Она как раз собиралась в дальний путь, домой, в предместье Батиньоль, где оставила детей под присмотром служанки, когда раздались первые выстрелы. Они трещали близко; казалось, что пули проскользнули по оконным стеклам. Июньский зной вздымался от бульжников, которые парижский люд укладывал поперек улиц, вырывая их из земли натруженными руками. Худые, изможденные женщины, те самые, что зимой бегут за телегами с углем, те самые, которые приносят обед своим мужьям на фабрики и в мастерские, тащили теперь изломанную утварь, какие-то двери, сорванные с петель, куски железа и жести, все, что могло хоть как-нибудь пригодиться для возведения баррикады.

Мужчины в рабочих блузах, люди разного возраста, от старцев и взрослых молодых людей до подростков, трудились в пылу, в горячке, не отдыхая ни на миг. Какой-то громадный, красный от жары и усталости ouvrier^[233], в блузе, распахнутой на широкой груди, только что опрокинул себе на голову ведро воды и, явно довольный, что-то крича своим товарищам, пытался теперь вырвать бульжник, накрепко, как зуб в челюсти, засевший в затвердевшей и спекшейся земле.

Когда раздавался посвист пуль, строители баррикады падали наземь и, поднявшись, снова принимались за работу.

Господин Кинэ, едва раздались выстрелы, улизнул из дому. Жена его умоляла госпожу Целину не выходить теперь в город. Объясняла ей, что с детьми ничего не станется, что под присмотром служанки они в полной безопасности. До предместья Батиньоль далеко, очень далеко, она не найдет, конечно, фиакра, не пройдет по забаррикадированным улицам; вспоминала февральские дни, заклинала.

Но госпожа Целина почти не слышала ее слов. Бледная, как в мгновенье приступа, с лицом, напоминающим гипсовую маску, она непрестанно повторяла только одно: «Я должна!» И пошла. Пробиралась между баррикадами, видела всюду пылающие лица, радостные лица, лица людей, готовых на смерть.

Эти труженики в рабочих блузах, в грязных рубашках, сжимающие карабины в почерневших от пороха и пыли руках, возбуждали в ней симпатию. Она здоровалась с ними коротким приветом вольности.

Прислушивалась к их возгласам, колким, как штыки, и свистящим, как винтовочные пули. Национальная гвардия заняла позиции и выставила пушки; какой-то растрепанный паренек с лицом серьезным не по годам кричал, составив ладони рупором, чтобы услышали национальные гвардейцы:

— Долой воров! Долой убийц!

Молодая девушка в красной шапке на пышных черных волосах, опираясь на карабин, словно богиня свободы из парижских предместий, смотрела в далекий просвет улицы, где располагалась полевая артиллерия.

Госпожа Целина пробиралась в этой вооруженной толпе, сгибалась, заслышав посвист пуль, прижималась к стенам, пробиралась по дворам больших домов, отыскивая каким-то особенным чутьем проходные дворы. Знала: во что бы то ни стало она должна добраться до Батиньоля!

На некоторых улицах уже кипела борьба. Когда госпожа Целина, с трудом дыша в раскаленном воздухе, который оцепенело повис над улицами, пробежала через какую-то площадь, вдоль вырванных из земли плит и булыжников, она едва не наступила на тело убитого.

Он был сражен осколком, лежал скорченный, лицо его было серое, будто посыпанное пеплом; казалось, что он мучим смертельной жаждой, что он приник к земле, чтобы припасть к луже крови, собственной крови. На нем была измятая, замусоленная рабочая блуза, но в этот миг он не принадлежал уже ни к одной из воюющих сторон, — он лежал на ничейной земле Смерти.

А вокруг гудела раскаленная июньским солнцем пустыня вымерших домов. Целина убежала из этого города, чтобы скорее оказаться среди людей, все равно с той или с этой стороны, только бы среди живых людей! Попала в толпу, идущую как раз на подмогу защищающейся баррикаде. Целина видела людей, залитых потом, черных от пыли. Они были плохо вооружены. Размахивали железными палками или какими-то старыми ржавыми ружьями, помнящими, верно, еще взятие Бастилии. Увидела плотного человека в замаранном фартуке. Это был как бы призрак санкюлотизма. Человек этот размахивал топором, распевая под аплодисменты сопровождающих его мужчин и женщин популярную песенку:

Un jour un Coq dans du fumier
Trouva Louis-Philippe Premier... [\[234\]](#)

Белобрысый мальчуган, босой, бежал вприпрыжку за санюлотом, стуча в барабан. Сигналы барабанщика подавали ритм: толпа шагала в лад барабанной дроби.

На другой улице несколько вооруженных рабочих задержали госпожу Целину. Ей приказали вместе с другими женщинами сносить камни на постройку баррикады. Не помогли ее объяснения и мольбы. Она вынуждена была приняться за работу. Трудилась так, быть может, часа два, работа заняла ее, и тревога за детей постепенно ослабевала. Она чувствовала, как постепенно во время этой трудной, возни с камнями ее пронизал ритм дела, которое в этот миг становилось также и ее делом. Она изранила себе руки о камни, но теперь ее это не заботило. Пот заливал ей глаза, она разодрала платье о кусок жести, больно ушибла колено и продолжала трудиться дальше. В какой-то миг ее освободили, она пошла; с ней сердечно попрощались и даже дали ей проводника до ближайшей площади.

Там лежали трупы лошадей, раздутые и жуткие, в мелких болотцах крови, так похожей на человеческую. Целину задержали «мобили» — патрули подвижной гвардии. Это были молодые люди, преимущественно из люмпен-пролетариев. Начальство одело их в мундиры, назначило им жалованье. Пролетариат Парижа в первые минуты не ориентировался в характере этой гвардии: поскольку национальная гвардия была окружена всеобщей ненавистью, «мобили» пользовались симпатиями рабочих.

Когда они маршировали по улицам в канун июньской революции, народ, сынами которого были эти гвардейцы, приветствовал их дружными возгласами. И вот теперь выяснилось, кто они такие и за кого стоят. Эта гвардия, казавшаяся пролетарской, когда вспыхнуло восстание, стреляла в рабочих и превзошла в жестокости национальную гвардию и отряды Кавеньяка.

Целина смотрела теперь в их лица, спесивые и злобные. Заметно было, что эти парни гордятся своим мундиром, что из-за ордена и серебряных лычек они готовы содрать с братьев своих не только их рабочие блузы, но и кожу, содрать живьем! «Мобили» тотчас же увидели, что имеют дело не с работницей, а с дамой, и пропустили госпожу Целину, которая все повторяла: «Я спешу в Батиньоль... Оставила там детей... одних...» И она пробиралась дальше, сквозь кордоны войск, пехоты и кавалерии, повторяя эти слова солдатам и офицерам.

Целина устала до смерти. Оперлась о какую-то стену, поросшую диким виноградом, и прижалась лицом к прохладе свешивающихся растений. Смотрела на правительственных солдат и «мобилей» и

чувствовала, как поднимается в ней ненависть к ним, ненависть, которая была ей доселе чужда.

Думала с сочувствием и приязнью о недавно оставленной той стороне города и той стороне гражданской войны. Была уже недалеко от дома, но не могла ступить и шагу. Увидела вдруг толпу людей, изнуренных, покрытых пылью. У многих из них сочилась кровь из неперевязанных ран. Их вели гвардейцы с карабинами наперевес. Она долго еще помнила глаза этих пленных пролетариев, глаза, обезумевшие от отчаяния и ярости.

Она опиралась спиной о стену и чувствовала, как эта стена превращается в ее горячечном бреду в стену смерти. Война изменила вдруг суть всех вещей. Стена, увитая романтично свисающим диким виноградом, стена, у которой в летние вечера встречались влюбленные, внимая шуму деревьев в дворцовом саду или в парке, явила вдруг свое лицо, преобразившееся и жуткое.

Как будто это все, чему стена эта служила до сих пор, было только маской, улыбающейся двусмысленно, как маски греческих актеров. Под этой маской, да, должно быть, и под масками стольких иных вещей, таилась смерть, которая, видимо, ожидала только подходящего мига, чтобы проявить себя во всей своей жестокости.

Спускался вечер, когда госпожа Целина, волочась из последних сил, добралась до своей квартиры в предместье Батиньоль.

Там творились удивительные вещи. Служанка, испуганная треском выстрелов, спряталась в погребе, дети стояли у окна. События, которые должны были потрясти мир, занимали их со стороны внешней, чисто зрелищной. Другое дело, что из окон батиньольской квартиры они могли увидеть не так уж много. Они встретили маму радостными криками. Она целовала каждого ребенка, счастливая, не чувствуя уже усталости и тревоги.

Тем временем над Парижем опустилась ночь, роковая и гибельная для многих человеческих существований. Выстрелы и взрывы картечи утихли. Но в этой тишине было что-то еще более устрашающее. Зарево поднялось над рабочими кварталами. В сиянии пылающих домов «мобили» и солдаты убивали пленных. Во многих семьях оплакивали павших и пропавших без вести.

Красное знамя, водруженное на баррикаде, которую госпожа Целина еще недавно возводила вместе с рабочими, красное знамя приобрело теперь в отсветах пожара цвет настоящей крови, крови, которая так щедро лилась этой ночью.

«Трибуна Народов»

Перемены, происшедшие во Франции после июньской резни, ни в коей мере не были соизмеримы с количеством пролитой крови. Кровь не очистила воздуха в эти душные летние дни. Гора — дешевая, уменьшенная копия Горы 1793 года — родила мышь. Луи Наполеон, который своим избранием в президенты был обязан единственно ненависти пролетариата к Кавеньяку, а популярностью среди зажиточного крестьянства — громкому звучанию заимствованного имени, позднее, хотя и продолжал питать слабость к императорской треуголке и наполеоновским орлам, собственной своей персоной решительным образом опроверг иллюзию, будто история может повторяться. Не повторился 1793 год, и не восстал Наполеон из саркофага под куполом Дома инвалидов.

К тем немногочисленным идеалистам, у которых имя нового Наполеона еще пробуждало надежды, принадлежал Мицкевич. И, несмотря на то, что новый министр просвещения не вернул ему кафедру в Коллеж де Франс, Мицкевич не отвернулся от президента Франции, призывающего на высокие государственные посты врагов наполеонизма и народа.

«Мы вступаем в варварский век преследования мысли», — сказал Мишле, который, не поддаваясь мистическим иллюзиям, мог трезвей, нежели Мицкевич, оценить ситуацию. Однако он понимал польского поэта и любил его таким, каким он был, со всеми его противоречиями, чуждыми историку и философу вольнодумной Франции. Преследование мысли! Что мог знать об этом Мишле?

Только наш век показал, каким может быть преследование мысли.

Были минуты, когда Мицкевич намеревался покинуть Францию и принять кафедру в Ягеллонском университете в Кракове. Не хотел, да и не мог сидеть сложа руки. Но как раз в этот трудный миг ему навстречу попался граф Ксаверий Браницкий, тот самый, который финансировал Польский легион в Италии.

Браницкий по-прежнему поддерживал контакт с французскими социалистами и сразу же согласился на предложение поэта основать французскую газету, которая служила бы делу свободы, делу народов. Александр Герцен так описывает в своих мемуарах первые дни новой газеты:

«...Граф Ксаверий Браницкий дал семьдесят тысяч франков на

основание журнала, который занимался бы преимущественно иностранной политикой, другими народами и в особенности польским вопросом. Польза и своевременность такого журнала были очевидны...

Когда все было готово и начеку: дом был нанят и устроен с большими столами, покрытыми сукном... а главным заведователем назначен Мицкевич, в помощники которому дан Хоецкий^[235], — оставалось торжественно начать, и когда же лучше, как не в годовщину 24 февраля, и чем же приличнее, как не ужином?

Ужин был назначен у Хоецкого. Приехав, я застал уже довольно много гостей, в числе которых не было почти ни одного француза, зато другие нации, от Сицилии до кроатов, были хорошо представлены. Меня, собственно, интересовало одно лицо — Адам Мицкевич; я его никогда прежде не видал. Он стоял у камина, опершись локтем о мраморную доску. Кто видел его портрет, приложенный к французскому изданию и снятый, кажется, с медальона Давида д'Анже, тот мог бы тотчас узнать его, несмотря на большую перемену, внесенную летами.

Много дум и страданий в его лице, скорее литовском, чем польском. Общее впечатление его фигуры, головы с пышными седыми волосами и усталым взглядом выражало пережитое несчастье, знакомство с внутренней болью, экзальтацию горести; это был пластический образ судеб Польши. Подобное впечатление делало на меня потом лицо Ворцеля; впрочем, черты его, еще более болезненные, были живее и приветливее, чем у Мицкевича. Мицкевича будто что-то удерживало, занимало, рассеивало...

Первое, что меня как-то неприятно удивило, было обращение с ним поляков его партии: они подходили к нему, как монахи к игумену: уничтожаясь, благоговая, иные целовали его в плечо. Должно быть, он привык к этим знакам подчиненной любви, потому что принимал их с большим *laisser aller*^[236]...

Хоецкий сказал мне, что за ужином он предложит тост «в память 24 февраля 1848 г.», что Мицкевич будет отвечать речью, в которой изложит свое воззрение и дух будущего журнала; он желал, чтобы я, как русский, отвечал Мицкевичу. Не имея привычки говорить публично, особенно не подготовившись, я отклонил его предложение, но обещал предложить тост «за Мицкевича» и прибавить несколько слов к нему о том, как я пил за него в первый раз в Москве, на публичном обеде, данном Грановскому в 1843 году.

Хомяков поднял бокал со словами «за великого отсутствующего

славянского поэта!». Имени (которое не смели произнести) не было нужно: все встали, все подняли бокалы и, стоя в молчании, выпили за здоровье изгнанника.

Хоецкий был доволен; подтасовавши таким образом наше extempore, мы сели за стол. В конце ужина Хоецкий предложил свой тост; Мицкевич встал и начал говорить. Речь его была выработана, умна, чрезвычайно ловка, то есть Барбес и Людовик-Наполеон могли бы откровенно аплодировать ей; меня стало коробить от нее.

По мере того, как он развивал свою мысль, я начинал чувствовать что-то болезненно тяжкое и ждал одного слова, одного имени, чтоб не оставалось ни малейшего сомнения; оно не замедлило явиться!

Мицкевич свел свою речь на то, что демократия теперь собирается в новый открытый стан, во главе которого Франция, что она снова ринется на освобождение всех притесненных народов, под теми же орлами, под теми же знаменами, при виде которых бледнели все цари и власти, и что их снова поведет вперед один из членов той венчанной народом династии, которая как бы самим провидением назначена вести революцию стройным путем авторитета и побед.

Когда он кончил, кроме двух-трех одобрительных восклицаний его приверженных, молчание было общее. Хоецкий заметил очень хорошо ошибку Мицкевича и, желая поскорее загладить действие речи, подошел с бутылкой и, наливая бокал, шепнул мне:

— Что же вы?

— Я не скажу ни слова после этой речи.

— Пожалуйста, что-нибудь.

— Ни под коим видом.

Пауза продолжалась, некоторые опустили глаза в тарелку, другие пристально рассматривали бокал, третьи заводили частный разговор с соседом. Мицкевич переменялся в лице, он хотел еще что-то сказать, но громкое: «Je demande la parole» — положило конец затруднительному положению. Все обернулись к вставшему. Невысокий старик лет семидесяти, весь седой, со славной энергической наружностью, стоял с бокалом в дрожащей руке; в его больших черных глазах, в его взволнованном лице были видны гнев и негодование. Это был Рамон де ла Сагра.

— За 24 февраля, — сказал он, — таков был тост, предложенный нашим хозяином. Да, за 24 февраля и на гибель всякому деспотизму, как бы он ни назывался: королевским или императорским, бурбонским или бонапартовским! Я не могу делить воззрения нашего друга Мицкевича; он

смотреть может на дела, как поэт, и по-своему прав, но я не хочу, чтобы его слова в таком собрании прошли без протестации...

И пошел, и пошел со всею страстью испанца, со всеми правами семидесяти лет.

Когда он кончил, двадцать рук, в том числе и моя, протянулись к нему с бокалами, чтобы чокнуться.

Мицкевич хотел поправиться, сказал несколько слов в объяснение, они не удались. Де ла Сагра не сдавался. Все встали из-за стола, и Мицкевич уехал...»

Наиболее деятельным сотрудником «Трибуны» был Кароль Эдмунд Хоецкий. Но между ним и Мицкевичем сразу же выявился антагонизм. Хоецкий принадлежал к наиболее решительным противникам Луи Наполеона среди сотрудников газеты. У него за плечами было сотрудничество в «Revue Indépendante», редактируемом госпожой Жорж Санд и Пьером Леру. Он был человеком молодым, полным энергии и уверенности в себе. Большинство сотрудников «Трибуны» поддерживало отрицательное отношение Хоецкого к президенту. Сотрудники в частных разговорах, в анекдотах и шутках не щадили особы Луи Наполеона. Мицкевич, который не выносил противоречия и не терпел инакомыслящих в делах серьезных, написал на листке бумаги: «Il est interdit d'invectiver ici le Chef de l'État» (Здесь запрещается оскорблять главу государства) — и прилепил этот листок к зеркалу в редакционном зале. Эта фраза, которая была недвусмысленной для редакторов, имевших в конце концов право не вникать в мистические причины бонапартизма польского поэта, вызвала бурю. Особым обстоятельством следует приписать факт, что редакция не распалась тотчас же. Но сдержанное отношение «Трибуны» к президенту вызвало позднее нападки на нее с левого крыла. Для людей, которые мыслили, подобно Герцену, позиция Мицкевича была абсолютно неприемлема.

Во вступительной статье «Трибуны народов» Мицкевич подчеркивал характер и излагал программу нового печатного органа.

«Мы, люди февральской революции, — писал он, — солидаризуемся... с идеями великой революции и с наполеоновским периодом, осуществившим эти идеи. Ибо Наполеон в республиканской фазе своей жизни действительно осуществлял революционный принцип, являясь его вооруженным носителем».

Его отношение к Наполеону и наполеонизму не подверглось изменению, несмотря на то, что времена переменились. А ведь в иных делах он имел ясное и трезвое суждение.

На следующий день, посвящая статью процессу в Бурже, он защищал обвиненных в подготовке восстания 15 мая 1848 года социалистов и республиканцев, которые, завладев ратушей, вывесили на ней красный флаг. Попытка восстания была подавлена, демонстрация разогнана, красное знамя сорвано и растоптано отрядами войска, Барбес — вождь заговорщиков — арестован.

Заговорщики на протяжении немногих часов своей социалистической власти успели выпустить несколько декретов, среди них — о восстановлении независимой Польши. Путь солидарности с революцией оказывался на каждом шагу единственным путем польских патриотов.

Когда Мицкевич писал в марте 1848 года о февральских событиях: «Отказ Ламартина от красного знамени — дурное предзнаменование...», — он знал, что это дурное предзнаменование не только для дела народов, но и для дела независимости Польши. Теперь, год спустя, он в майской демонстрации видит еще одно проявление благородных стремлений французского народа к братству и всеобщей солидарности наций.

И теперь, в тот же самый день, он берет под защиту от нападок итальянских аристократов и консерваторов борца за свободу Италии Мадзини. Демаскирует их лицемерие и иезуитство:

«Они обвиняют Мадзини в том, что он плохо служил революции, но, в сущности, опасаются, не слишком ли хорошо он ей служил!»

С такой же откровенностью и страстной силой убеждения он наносит удар лицемерию официальной церкви за ее вечные пакты с дьяволом.

Папа Пий IX, который успел уже сбросить личину свободолюбца и защитника народов, явно жаждал теперь «изгнания демона революции» и «восстановления церковного государства».

«Совершенно очевидно, — пишет Мицкевич, — что против этого демона папа уже бессилён; наследник и представитель того, кто пришел, чтобы лишить власти ад, кто одним своим словом обращал в бегство полчища духов тьмы, папа чувствует себя беспомощным перед тем духом, который он называет демоном революции».

Позднее, клеймя «ложь королевской и парламентской политики» во Франции, публицист расправляется словами, напоминающими страстностью и достоинством стиль «Книги народа польского и пилигримства польского», но ставшими мудрее на целые годы исторического опыта, с нерешительностью и слабостью временного правительства, которое не осмелилось стать во главе революционной армии всемирной республики.

Члены этого правительства не обладали даже мужеством герольда или

парламентера, которому доверено вручить ультиматум, — это правительство в отношениях с другими народами Европы не вышло из круга политики Луи Филиппа, Гизо и Тьера.

На протяжении всех этих дней, не выпуская пера из рук, Мицкевич возвращается к делу итальянской революции. С прозорливостью старого революционера он предостерегает перед уступками, призывает к бескомпромиссной борьбе:

«Пусть итальянские республиканцы знают раз навсегда, что как бы осмотрительны они ни были в своих действиях, реакционная партия Европы все равно будет смотреть на них как на негодяев и разбойников.

Для правящих кругов всех великих держав Радецкий, который грабит, дает приказы о расстрелах и резне и опустошает страну во имя монархических принципов, будет всегда достойным представителем идеи порядка и законности. Единственным оправданием, достойным итальянских революционеров, может быть победа республики...»

И еще раз возвращается к принципам солидарности народов. Он верил в нее всегда, уже в 1832 году писал в «Воззвании к русским»: «Нации не имеют никакой надобности губить друг друга. День падения деспотов будет первым днем согласия и мира наций».

Теперь он ссылается на Лафайета, который считал нации лишь различными частями единого европейского народа. В статье «О преследованиях печати», написанной почти одновременно с предыдущими, поэт клеймит преследование социалистов, которых сравнивает с христианскими мучениками, обвиняет правителей из Елисейского дворца, которые продолжают дело орлеанистов, изгнанных из Тюильри.

Тщетно пытается Мицкевич обелить Луи Наполеона за счет его министров. Но когда в следующих статьях он становится на защиту клубов и собраний, когда защищает свободу слова, аргументация его великолепна, примеры, которые он привлекает, дабы подкрепить свои тезисы, преисполнены справедливой иронии:

«В Америке можно говорить все; в России всякий принужден законом говорить то, что говорит правительство... В день казни полковника Пестеля, приговоренного за участие в заговоре, его отец, сенатор Пестель, был принужден явиться ко двору; и не только явиться, но и вести себя подобающим образом, принимать участие в разговорах. Русский закон воспрещал ему молчание».

Мицкевич видит, что некоторые шаги, предпринятые французским правительством против свободы слова, неизбежно приведут к приказу говорить в пользу правительства.

В статье, озаглавленной «Россия», он предупреждает о возможности интервенции царя в Австрии. Едва успели просохнуть чернила в рукописи этой статьи, судьба итальянской революции решилась под Новара без вмешательства царя. Но в мае того же года Николай удушил революцию в Венгрии.

29 марта Мицкевич в статье, озаглавленной «Состояние моральных и материальных сил революционной Италии», оценивал дальнейшие возможности итальянской войны. Даже после катастрофы под Новара в Париже считали, что война еще не закончилась.

И только позднейшие дни принесли весть о бесславном мире с Австрией.

30 марта Мицкевич выступил в защиту Прудона, обвиненного в антиправительственной деятельности. Прудон был приговорен к трем годам тюрьмы и штрафу на сумму три тысячи франков.

Несмотря на то, что Прудон был противником Луи Бонапарта, Мицкевич, не колеблясь, написал апологию «гражданина Прудона», ибо он солидаризировался с ним, как с приверженцем республиканских принципов.

В тот же день Мицкевич атаковал в коротком политическом фельетоне принцип «невмешательства». Формула эта позволяла отдавать в руки недругов свободы целые страны, одну за другой.

«Французский народ, — утверждает публицист, — всегда понимал так же, как мы, смысл этого варварского слова «невмешательство», придуманного Луи Филиппом, отмененного февральской революцией и восстановленного в дипломатическом словаре г. Ламартином».

И еще раз в этом же фельетоне восхваляет единство, неделимость и всеобщность дела свободы:

«В Риме, Варшаве, Брюсселе и Мадриде, а ныне и в Турине происходит борьба и столкновение тех же интересов, какие борются в Париже, — на его улицах и в Национальном собрании».

Старые недруги свободы действовали в новых условиях. Измена шла, как тень, рядом с самопожертвованием и верностью. Мицкевич, обращаясь к недавним событиям, набросал в сжатых словах портрет генерала Раморино^[237], генуэзца, который, будучи командующим корпусом во время ноябрьского восстания, самовольно оставил позиции, открывая царским войскам дорогу на Варшаву.

Начальником штаба этого генерала был граф Владислав Замойский, представитель польской аристократии, орудием которого Раморино становился в Польше и в последнее время в Пьемонте, где по наущению

Замойского сделал все возможное, чтобы расколоть Польский легион. Мицкевич, клеймя гегуэца, обвинял в то же время и Замойского, заклятого врага свободы.

Уже даже самое понятие свободы было в эти месяцы под угрозой. Комитет улицы Пуатье, специально созданный для борьбы против «революционного безумства», начал свою деятельность.

«Комитет заказывает книги и брошюры против социализма, — писал Мицкевич 1 апреля 1849 года. — Он будет платить построчно антисоциалистическим писателям; каждый враг социализма получит надежный кусок хлеба... Однако комитет улицы Пуатье ошибается. Ошибается и «Ла Пресс». Статьи гражданина Прудона не перестанут читаться хотя бы потому, что благородный представитель народа не получает за них платы, но, наоборот, сам платит за них деньгами и свободой».

Днем позже в статье, озаглавленной «Лепта Святого Петра», Мицкевич выступил против «себялюбивого подвига», как он называл возобновление лепты Святого Петра, этой складчины в пользу папы после изгнания его из Рима. В этой статье, где стиль современной общественной публицистики сочетается с евангельской патетикой, поэт снова клеймил ограниченность и лицемерие официальной церкви.

К критике клуба антиреволюционной пропаганды с улицы Пуатье он вернулся в статье, датированной 4 апреля: «Социализм, пропагандируемый улицей Пуатье».

«Пропагандисты улицы Пуатье, кажется, собираются пойти еще дальше, чем Луи Филипп, Гизо и Тьер. Они поставили себе целью сделать звание собственника столь же ненавистным, каким стало звание короля, столь же смешным, как звание пэра Франции или кавалера Золотого руна».

*

Утром статья эта была напечатана, а поздним вечером некий молодой человек постучался у дверей редакции «Трибуны народов». Он принес известие о смерти Юлиуша Словацкого.

Назавтра в «La Tribune des Peuples» появилась краткая заметка следующего содержания:

«Всеобщая республика, польская эмиграция и искусство скорбят по поводу горестной утраты — кончины Жюля Словацкого, последовавшей

вчера в четыре часа пополудни. Отпевание состоится в приходской церкви святого Филиппа Рульского, сбор — на квартире покойного (рю де Понтье, 34, бывш. 30) в четверг, 5 апреля, в 11 часов утра-Тело будет предано земле на Монмартрском кладбище».

За гробом шло не более тридцати человек. Никто не произнес речи на кладбище, ни одна из книжных лавок не выставила творений почившего поэта. Мицкевич на похоронах не присутствовал.

*

Жизнь эмиграции шла тем временем по избитой колее среди ссор, споров, среди всеобщего несчастья, среди обманутых надежд и развеянных замыслов.

Один только дворец на острове Святого Людовика представлялся многим эмигрантам убежищем и основой порядка. Отель Ламбер, дворец, снаружи не весьма приглядный, но украшенный большой аркой со стороны Сены, вмещал в своих многочисленных апартаментах некую частицу национального прошлого, перенесенную сюда; пансион для бедных барышень, апартаменты княжеской четы, музей памятков и сувениров. Тут был центр консервативной политики эмиграции. Тут собирались приверженцы князя, преданные ему душой и телом, агенты его, родственники и домочадцы.

В канун Нового года устраивались базары в залах княжеского отеля. Великосветские дамы продавали тут разные предметы роскоши из парижских магазинов. Доход от продажи шел на благотворительные цели. За прилавком этой благотворительной распродажи можно было увидеть княгиню Вюртембергскую, авторшу «Мальвины», предлагавшую посетителям базара свои изделия из гаруса, коврики, сумочки и кошельки. После закрытия базаров дамы из семейства Чарторыйских снова возвращались к кроснам. Бок о бок с этой идиллией располагалась канцелярия князя Адама, горнило консервативной политики. Тут собирались многочисленные агенты князя, дававшие ему отчет о беседах с представителями великих держав; отсюда исходили директивы для «Третьего мая», органа князя; тут вел переговоры с могущественным своим дядей граф Владислав Замоиский, энергичнейший деятель консервативного лагеря и заклятый враг «Демократического общества».

Общество это уже с 1840 года готовится к вооруженной борьбе. Его

центральное руководство, «Централизация», недвусмысленно высказывается по этому вопросу, в противоположность умеренной и осторожной политике Отеля Ламбер. Первый акт грядущего Польского государства должен быть актом признания самостоятельности и наделения землей миллионных крестьянских масс. Но час польского восстания еще не пробил. «Демократическое общество» не обладало еще достаточным влиянием, чтобы решительно воздействовать на события 1848 года. К легиону Мицкевича и к его участию в итало-австрийской войне оно отнеслось отрицательно. Руководители «Демократического общества» не могли примириться с фактом, что во главе итальянского движения стал король Карл Альберт. Польская демократическая тактика только зарождалась, преодолевая трудности и колебания. Польские демократы дрались во всех современных им революциях, где бы они ни вспыхивали, но организация их была слабее организации консервативной партии. «Социализм только вынашивался в малочитаемых книжках, — утверждает мемуарист (Фальковский), — и имел настолько незавершенный вид, что даже бедных ремесленников не привлекал, а польскому духу был совершенно чужд. Кроме одного Ворцеля, я никогда не знал поляка эмигранта-социалиста». И действительно, демократическая и социалистическая мысль перечила шляхетскому духу.

Шляхетский консерватизм ударял в голову даже революционерам определенного типа, например Мохнацкому. Михал Будзынский, агент князя Адама, завзятый реакционер и роялист, автор интересных воспоминаний, влагает в уста умирающего Мохнацкого следующие поразительные и знаменательные для тогдашних отношений слова: «Чтобы знать, чем Польшу поднять, нужно выбить из головы все эти шумные демократические пропаганды и разглагольствования о правах народа, а кричать на Польшу: «Да здравствует король, великий князь литовский!»

Действительно, вечный кандидат на польский престол, князь Адам мечтал о короне — в своем кабинете, в чужом буржуазном Париже.

Эмиграция этих времен сохранила еще черты Польши 1831 года. «Во главе ее, — пишет мемуарист (Фальковский), — были прежние члены правительства, министры, депутаты, генералы той эпохи. Плеяда наших великих поэтов, ушедших в изгнание, была еще тогда вся налицо, а в большой массе эмиграции, насчитывающей около пяти тысяч сражавшихся под Гроховом, Остроленкой, Варшавой, все полки старые и новые тогдашней армии нашей и все провинции польские были великолепно представлены. Эмиграция имела своих капелланов и своих сестер милосердия, имела свои учреждения, тогда в полном расцвете, польскую

библиотеку, «Историческое товарищество», школы и пансионы для подрастающего поколения, имела свои газеты и клубы и даже ресторан, где литвины обретали колдуны^[238], а выходцы из Царства Польского — борщ и зразы с кашей...»

Год 1849-й был для эмиграции, как, впрочем, и для всей Европы, переломным годом. Эмиграция явно начала таять. Редели или пребывали в бездействии ряды польской духовной элиты. Старый князь продолжал пребывать в прежней форме. Во время праздников и торжеств, семейных и национальных, он принимал у себя представителей эмиграции, друзей дома, знакомых, всю эту привычную толпу изгнанников, которые в Отеле Ламбер чувствовали себя, как в отечестве. Мицкевич утратил иллюзии, которые вызывала в нем некогда личность князя, как представителя польской государственной мысли, однако сохранил уважение и даже несколько сентиментальные чувства к нему, как к человеку.

Давно уже он не бывал у князя. Знал, что князь неприязненно относится к его деятельности в «Трибуне народов». Пошел, однако, считая, что если не достигнет взаимопонимания, что было, впрочем, маловероятным, то по крайней мере изложит князю свои нынешние принципы и стремления. Поэт вошел во дворец князя в неурочный час: князь Адам обычно не принимал в это время. Мицкевич опять увидел развешанные вдоль лестницы портреты, долгий перечень лиц, писанных в разное время и в разной манере. Поднялся на третий этаж, в галерею, украшенную фресками Лесюэра, где обычно устраивались балы и рауты. Прошел мимо частного музея Чарторыйских, в котором хранились сувениры, вывезенные из Пулав, и сообразил, что поднялся на этаж выше, чем надо было. Повернул и вновь прошел по рассеянности в комнату с малиновыми стенами, с белой кроватью под балдахином. Внимание его привлек большой портрет девушки в белом платье. У кого-то он уже видел когда-то столь же выразительные глаза. Его пронзила догадка, резкая и хищная, как свет, пронзающий сердце узника, который, выйдя из тюремных нор, увидел вдруг утреннюю зарю. Отвел глаза и быстро вышел из комнаты.

Старый князь находился в салоне, среди дам. Княгиня Чарторыйская, княгиня Марцелина, княгиня Вюртембергская, княгиня Анна Сапега и княжна Изабелла, которую сравнивали с луврской Дианой, окружали князя. Ему было около восьмидесяти, но он был еще здоров и сохранял свежесть мысли.

Князь расспрашивал Мицкевича о Браницком.

— Поражаюсь его щедрости, — сказал он, намекая на «Трибуну

народов», которую этот граф финансировал. — Можно было бы подумать, что богатство его растет, по мере того как возрастает авторитет демократического лагеря.

— Ах, ты о них... — вмешалась княгиня Вюртембергская. — Они вечно пишут на нас пасквилы, а ведь и мы тоже демократы. Не знаю, право, чей авторитет от этого возрастает.

— Бесспорно, — сказал как бы самому себе старый князь, — что промахи клуба пуатьерцев могут лишь увеличить авторитет господина Прудона. — И вдруг, обращаясь прямо к Мицкевичу: — Ты оскорбил графа Замойского, заподозрив его в нечистых намерениях...

— Не имел ни малейших сомнений, если речь идет о графе. Я предостерегал ваше сиятельство.

— Это мой племянник, — кротко и как бы с укором сказал князь. — Конечно, он чрезмерно проникся теориями де Местра, но это человек с характером.

— У Щенского тоже был характер.

— В самом деле! Потоцкий сам руководил своей партией, и, хотя он заблуждался, это был сильный и деятельный человек.

— Я знавал сына его жены, рожденного от первого ее брака, сына этой знаменитой гречанки, Софии. Отсутствие характера было в нем не более разительным, чем сила характера у Щенского, его отчима. Таков и характер пана Замойского.

Физиономия князя явственно омрачилась. Лицо его вытянулось и стало похоже на написанный несколько лет спустя портрет кисти Делароша, о котором с таким отвращением говорил Делакура, посетив Марцелину Чарторыйскую.

Княгиня Марцелина пыталась в эту минуту перевести беседу на иные рельсы, поскольку ее беспокоила политическая окраска беседы князя с поэтом. Однако Мицкевич, не обращая на нее внимания, произнес:

— Я никогда не жалел времени, чтобы осведомить вас о том, что я намерен предпринять. Незадолго до моего последнего выезда из Франции я дважды навещался к вам, собираясь изложить вам свои взгляды, но, к сожалению, ни разу вас не застал. Вы помните, мой князь, как во время долгих лет нашей эмиграции я предварительно ставил вас в известность о каждом своем намерении, о каждом действии, которое намеревался предпринять, хотя меня и не воодушевлял прием, который встречали мои намерения. И нынче...

— Ваши принципы мне известны, — заметил князь, — я всегда относился к ним с уважением, хотя, как и многие наши земляки, сожалел,

что вы отошли от поэзии.

Мицкевич поднялся; он с трудом удерживал слова, которые сами просились ему на уста.

— Нет, я не отошел. Это вы покинули меня. Вы все. Я не имел никакой поддержки, ничего, кроме милосердия божьего. Вы утратили чувство времени, растеряли на дорогах изгнания ощущение современного мира и Польши. — И прибавил после недолгого молчания: — Вы, ваше сиятельство, всегда хотите идти по тротуару, а сражающиеся за Польшу должны идти даже по немощеным улицам.

Княжна Изабелла, беседовавшая с дамами, остановила свои выразительные глаза на лице поэта. Теперь он узнал ту, давешнюю красавицу из портретной галереи. Этим мигом воспользовалась супруга князя Адама и пригласила всех отужинать тоном, исполненным неподдельной сердечности.

*

На следующий день Мицкевич возвратился к своей работе. Обманывался ли он еще, что возможно взаимопонимание с приверженцами старого порядка? Знал, что это невозможно. Трудился теперь на малом отрезке. Из всей огромности проблемы он выбирал лишь те ее частности, которые требовали наибольшего внимания, не терпели ни малейшего отлагательства. Дела актуальным, проблемам революционной тактики, он посвятил несколько статей в первой половине апреля 1849 года. О деле социализма писал в цикле статей.

«Социализм — слово совершенно новое. Кто создал это слово? Неизвестно. Самые грозные слова — это те, которых никто не создавал и которые все повторяют. Пятьдесят лет назад слова революция и революционер тоже казались неологизмами и варваризмами.

Впервые социализм выступил официально во время февральских дней в народных программах. Имена авторов этих программ не известны. Чья-то неведомая рука, к великому ужасу всех самодовольных Валтасаров Франции, начертала в них слово «социализм».

Старое общество и все его представители, даже не поняв этого слова, прочли в нем свой смертный приговор...

Подлинный социализм... доказывает... что в старом обществе нет уже ни одного принципа, на который могла бы опереться законная власть, то

есть власть, соответствующая современным потребностям человечества»,

В статье, озаглавленной «Рабочие кварталы», Мицкевич писал: «В Париже пытаются строить рабочие кварталы. Это строения совершенно нового для Франции типа. За них мы должны благодарить февральскую революцию и идеи, которые она начала воплощать в жизнь. В этих домах рабочим будет гарантирована возможность дышать свежим воздухом, ночлег и отопление — благодеяния, которых пролетариат был доселе лишен...

Однако лица, давшие на них средства, и основатели этих предприятий лишь мнимо служат идее социализма, ибо они договорились между собой пользоваться ею только в преходящих интересах. Это старая тактика эксплуататоров, старающихся из идеи, великолепной самой по себе, принять только то, что им лично подходит.

Поэтому реакция поспешила взять под свою опеку рабочие кварталы. Она рассчитывает на то, что эти социальные учреждения послужат им как армия против социализма. Слушая реакционеров, можно было бы предположить, что это они изобрели эти кварталы. Социализм, напротив, является якобы врагом благосостояния рабочего».

«Мы обращаем эти замечания к рабочим, — писал Мицкевич, — будущим обитателям этих кварталов. Пусть будут убеждены, что это революционный и социалистический дух, что это дух июля и февраля вынудил капиталистов признать необходимость заняться, наконец, благосостоянием пролетария. Помощь, которую капиталисты оказывают рабочему классу, следует считать уступкой, вырванной у эгоизма прогрессом идеи гуманности, а не проявлением христианской любви».

Другой цикл предвыборных статей был посвящен крестьянскому вопросу во Франции: «Долг крестьянина осознать, что он призван править страной... Все народы Европы ожидают решения великого народа, великой нации.

Крестьяне всей Европы ожидают своего спасения от французских крестьян».

В дальнейших статьях он атаковал орлеанизм за его религию наживы, за ненависть ко всяким моральным ценностям и нравственной критике. Луи Филипп изгнан из Франции, но остались его ученики, которые, подобно ему, спрашивали: «Сколько я за это получу?» После февральской революции капитализм, который укрепили приверженцы орлеанизма во Франции, не дал народу воспользоваться плодами его победы, обратился против народа. Орлеанизм победил. Но Мицкевич не верит в длительность его победы.

«Когда Венгрия окончательно вернет себе независимость, когда Польша отвалит камень своего склепа, когда возродятся Германия и Италия, когда, наконец, все народы освободятся, одни с помощью других, одни ради других, и объявят подлинный, единственно священный союз, священный союз народов, тогда первая половина дела всех наций будет сделана. И тут все народы сообща смело возьмутся за другую половину, более трудную, за то, чтобы приобщить отдельную личность к счастью, завоеванному общим трудом».

Публицист бил по орлеанизму, показывая одновременно всю моральную и политическую никчемность партий, на которые опиралась эта система. Перед воинствующей демократией, перед революцией есть только один путь: «Я буду жить и восторжествую над смертью!»

Когда Мицкевич писал эти слова, он верил, что торжество зла не является окончательным. Это ничего, что революции сорок восьмого года, которые вспыхивали под лозунгами равенства, братства, свободы, изменяли этим лозунгам. Это ничего, что Германия, борясь за установление у себя республики, одновременно мечтала о том, чтобы отобрать у Франции Рейнскую область. Это ничего, что Кошут не допускал хорватов к братанию с венграми. Это ничего, что Ламартин в первом же своем воззвании отрекся от обязательства оказывать помощь другим народам...

Только малодушные страшатся признать ту жестокую истину, что великое единение наций не будет идиллией. Те, которые мечтали, что их ожидает странствие, полное опасностей, но увенчанное радостным прибытием в гавань Острова Любви, предпочли бы, конечно, погибнуть на полпути, чем увидеть исполненной мечту, которая обманула их ожидания. Они верили, что страна, в которой они нашли убежище, является страной утренней зари, где беседуют люди, прекрасные и мыслящие, как в диалогах Платона. Тем временем их ожидала новая борьба.

Поэт увидел в эпохе, которая настала после года бурной надежды, как падают пограничные столбы между нациями, как возникают солидарные в контрреволюционных действиях союзы людей, объединенных общей корыстью и общей мечтой: «Люди, которые погубили польское восстание, все эти Чарторыйские, Замойские, Раморино, поддержанные своими французскими союзниками, изменившими июльской и февральской революциям, — эти же люди пустили в ход генерала Хшановского, свое прежнее орудие, чтобы поразить в самое сердце итальянскую революцию. Вольтерьянские философы, еврейские банкиры, потомки крестоносцев объединяются ради общих выгод».

А с другой стороны, народы объединялись ради общего дела. Чтобы

быть с ними, он должен был оставить давнюю мечту о совершенном воплощении того, что легко можно было вообразить, но труднее исполнить. В это время он полон самоотречения. Перед лицом фактов развеиваются его слишком пышные мечты, в которые эти факты никак не вмещаются, как не вмещаются они в солнечной системе. Учение Товянского было в эти дни подобно туманности Млечного Пути, оно не было ни большим, ни малым, оно не соприкасалось с теми событиями, которые уже творились вокруг и которые еще должны были наступить. Только немногочисленным эмигрантам казалось еще, что они видят, как это бывает с людьми, неуверенными в будущем, в каждой звезде комету-предвестницу.

*

13 июня в помещение редакции «Трибуны» вбежал Лешевалье, нагруженный кипой революционных воззваний. «Трибуна» перепечатала это воззвание на первой полосе. Оно призывало рабочих к оружию. В первом часу ночи в типографию вломилась солдата во главе с комиссаром полиции и офицером. Комиссар заявил ответственному редактору, что имеет приказ об его аресте; в этот же самый час были арестованы два других редактора «Трибюн де Пёпль». Помещение редакции было опечатано, Лешевалье бежал в Англию. Из Лондона он написал министру внутренних дел; в письме этом брал на себя всю вину, заверяя, что в опубликовании революционных воззваний виноват только он один.

Во время этих событий Мицкевич оставался дома, ибо был болен. Предупрежденный о происшедшем, он решил как можно скорее скрыться. Поэт нашел убежище у молодого адвоката, господина Дессю, друга Мишле и Кинэ. В фиакре с поднятым верхом он поехал на Рю д'Ансьен Комеди, где находилась бедная квартирка молодого юриста. Окна ее глядели во двор. Дессю информировал консьержа, что приезжий — его дядя, что он — офицер инженерных войск на пенсии и что он прибыл из провинции в Париж для лечения. Сам Дессю снял номер в гостинице. Мицкевич неплохо чувствовал себя в этом убежище. Выходил мало, по вечерам, ходил по малолюдным улицам, чтобы не наткнуться на кого-нибудь из знакомых. Обед приносили ему из ресторана Пэнсон, что помещался в первом этаже. В эти дни поэт пробовал продолжать свою «Историю Польши». В квартирке царила полная тишина. Мицкевичу приходили в голову замыслы стихов, но настолько неуловимые, что он даже не пытался придать им

словесную форму. Однажды, посетив его, Дессю увидел, как поэт жжет в камине какие-то бумаги. Это была незавершенная рукопись «Истории Польши».

— Верь мне, мой дорогой друг, — сказал Мицкевич господину Дессю, — время книг миновало.

Он произнес эту фразу равнодушным тоном, но видно было, что это жертвоприношение дорого ему стоило, и он уже не проронил ни слова с этой минуты и до самого конца визита.

Несколько раз за время этого вынужденного одиночества ему казалось, что он слышит на лестнице шаги вооруженных людей. Но его не искали. Волна террора улеглась.

После нескольких недель, проведенных в комнатухах мосье Дессю, Мицкевич возвратился в свою квартиру в предместье Батиньоль. Возвращение домой не успокоило его: это было возвращение к прежним заботам, от которых нельзя было найти спасения. Прибавились к ним новые, самого обыденного характера.

Дальнее эхо венгерской революции теперь вдруг приблизилось и пробуждало надежды. Со свойственной ему способностью мгновенно переходить из состояния отчаяния в состояние ожидания чуда Мицкевич вдруг сбросил с себя все, что его доселе угнетало. Он буквально жил известиями из Венгрии. Однажды, рассказывая детям сказку, он нетерпеливо прервал рассказ на полуслове:

— Докончу, когда Дембинский возьмет Вену!

Товянскому, который в письме сообщал, что выезжает в Швейцарию, и давал указания в связи с дальнейшей деятельностью «Коло», Мицкевич не ответил. Зрелище вооруженных польских отрядов — вот что могло его утешить. Когда однажды посетил его Шопен, Мицкевич спросил:

— А ты еще играешь? Ну, так играй!

Тогда госпожа Целина начала упрашивать Шопена. Мгновенье он колебался. Потом зашелся сухим и резким кашлем.

Казалось, что движения его рук, прикосновения пальцев не имеют никакой связи с мелодиями, которые из-под них возникали. Пальцы его шли по клавишам сами по себе и порознь. Можно было подумать, что он только каким-то более сильным ударом открывает в воздухе источник скрытой там музыки, и музыка эта, вызволенная из плена тишины, овладевает им, подчиняет его своей власти, направляет его движения, склоняет или отбрасывает назад эту выразительную голову с прикрытыми веками. Голова эта была похожа на голову мертвеца, только руки жили. Весь он был в пальцах. Но слушателям казалось, что руки пианиста

неподвижны, что плывут только звуки. Не они приближались к берегу — это берег приближался к ним. Вот так же пассажирам, едущим по недавно построенной Орлеанской железной дороге, кажется, что движется пейзаж, в то время как они сидят неподвижно. И как часто, когда мы смотрим на ваятеля за работой, мы находимся во власти иллюзии, что это не он извлекает из глины образ, вырастающий перед нашими глазами, но что сам пластический материал укладывается в некое организованное целое, направляя движения рук художника в зависимости от своей собственной природы.

Вставленная внезапно вместо окон стена из звуков гнулась и ширилась. Стены комнаты раздвигались, открывая пространство в грозе и буре.

Мицкевич сидел, посасывая свой чубук. На лице его не было видно волнения. Время от времени он отбрасывал рукой длинные седые волосы. Когда Шопен закончил, Мицкевич встал и начал быстро говорить; по мере того как он говорил, голос его становился сильнее, звучал раздражительней.

— Как это? Значит, ты, вместо того чтобы волновать души, совершаешь променады в предместье Сен-Жермен! Щекочешь нервы французской буржуазии и наших князьков, вместо того чтобы пробуждать толпы!

Шопен внимал этим словам покорный и пристыженный. Он совсем сгорбился. Но когда Мицкевич перестал говорить, Шопен начал играть другую мелодию, простую, как народные песенки.

По мере того как он играл, лицо поэта все заметнее прояснялось. Как будто с этого лица спала отталкивающая личина. Он подошел к Шопену и пожал ему руку.

Молчание, которое воцарилось тотчас же после ухода Шопена, было мертвым, как будто из дому вынесли любимого и неизлечимо больного человека. Мицкевич заперся в своей каморке. Он рассматривал картину, представляющую Михаила Архангела. Тишина его не успокоила. Он сражался с собственным отчаянием.

«Мы презирали это все, — думал он, — призывая к оружию, требуя оружия. У нас было оружие. Драться не хотели. О горькое проклятье!»

Тяготело оно не только над Польшей. Карабины смолкли, расколоты были древки знамен, алые лоскуты их пошли на трехцветные флаги.

Солдаты свободы погибали на виселицах. Да, время шло. Дни были похожи друг на друга и в одинаковой мере отвратительны. Триумфаторы после подавления революции и после беспощадного полицейского террора

начали рядиться в мантии закона и законности. После более чем двухмесячного пребывания в тюрьме был освобожден Шарпантье, ответственный редактор «Трибуны». Был также выпущен из предварительного заключения Герман Эвербек. «Трибуна» начала выходить снова, несмотря на то, что полиция грозила высылкой тому, кто ее так самоотверженно финансировал, — графу Браницкому. Мицкевич не показывался в редакции, справедливо опасаясь провокации. Статьи свои посылал теперь в печать через приятелей, писал о французских делах, желая сохранить инкогнито.

Восстание из мертвых «Трибуны» вновь подняло на ноги ее заклятых врагов: польских помещиков и товянистов. Товянский, полный негодования и презрения, протестовал против втягивания его мистического учения в адский круг политики и революции. Трясся от бессильного гнева в своем швейцарском уединении, насылал фурий, одно прикосновение которых должно было уничтожить брата Адама. А Адам тем временем считал перо публициста самым быстрым и метким оружием. Перо это теперь свободно и изящно писало по-французски. Оно то обвиняло с беспощадностью прокурора, то вновь сверкало остроумием игривого летучего фельетона.

Это была эпоха расцвета публицистики во Франции. Но стиль Мицкевича отличается от стиля современных ему политических писателей своей сжатостью и отсутствием какой бы то ни было напыщенности. Великая сила убеждения так и пышет из его слов, поэтому ему не приходилось прибегать к риторике Виктора Гюго или мадам Жорж Санд.

Теперь после вынужденных вакаций он снова возвращается к своему письменному столу, заваленному книгами и заметками. И когда он поднимает глаза, отрывается от исписанных страниц, во взоре его не видно усталости.

*

«Трибуна народов» разделила судьбу дела, защите которого она себя посвятила», — писал Мицкевич 1 сентября 1849 года. Вместе с осенью года наступила осень вольности. Были подавлены восстания в Италии и в Германии. Народные армии были разгромлены.

«Державы, ставшие сообщниками в убийстве стольких народов, — пророчествовал Мицкевич в статье от 2 сентября, — осуждены роком продолжать это дело, убивая народы, еще оставшиеся в живых. Война

будет длительной, но все уже предчувствуют ее исход...»

«Прежний Священный союз, — писал он в следующей статье, — был, как известно, заключен, чтобы задержать развитие того, что называли тогда революционным или французским духом. Новый союз возрождается против духа всех возрождающихся национальностей».

В позднейших статьях публицист пытался аргументировать возможность сочетать наполеоновскую идею с социализмом. Критиковал утопический социализм, который не считается достаточно ни с историческим прошлым нации, ни с условиями жизни в конкретном географическом пространстве. Вера в наполеоновскую идею связывается в понимании Мицкевича с верой в инициаторскую миссию французского народа.

Хотя в этих статьях можно уже подметить следы разочарования после поражения революции, хотя публицист, учитывая подозрительность цензуры, должен теперь взвешивать каждое слово, гнев его против недругов вольности, подавивших восстание народов, не ослабевает. С ненавистью он рисует портрет сторонников статус-кво:

«...всякий раз, как лица апостолов невмешательства и мира во что бы то ни стало озаряла внезапная радость, можно было с уверенностью сказать, что где-то произошла бомбардировка или резня. Никогда так не сияли глаза господина Дюпена, господина Фульда и господина Монталамбера, как в те дни, когда в них отражались пожары Праги, Вены и Брешии. Лица этих людей меняли выражение в лад с работой телеграфа и служили ей комментарием.

Подобно грешнику Дантова ада, чье тело прогуливалось по городской площади в Генуе, а душа отправлялась на адские сборища, наши ретрограды участвовали в Национальном собрании лишь телесно, душа их была далеко, она простаивала в передних императора Николая, блуждала по лагерю Радецкого, кружилась вокруг виселиц, на которых тлели трупы польских, итальянских и венгерских патриотов».

Были среди недругов свободы также и такие, которые в определенный период, казалось, ей содействовали, по крайней мере во мнении народа, пребывающего во власти иллюзий. Ведь и сам Мицкевич одно время доверял Пию IX лишь затем, чтобы вскоре разочароваться. «Он объявил себя, — писал Мицкевич с горькой иронией о папе, — врагом войны, ибо, по его словам, питал отвращение к пролитию крови, австрийской разумеется, ибо позднее он, не колеблясь, навлек войну на свою отчизну, а в последнем своем воззвании радуется исходу этой войны, в которой было пролито немало итальянской крови».

12 октября Мицкевич писал свою последнюю статью в «Трибуне народов», статью о политическом положении в связи с франко-американским конфликтом. 16 октября появилось «Заявление правления «Трибуны народов», в котором все поляки, сотрудники газеты, сообщили о своей отставке.

Это произошло в результате заявления префекта полиции, что поляки, которые не прекратят сотрудничества в «Трибуне народов», будут высланы из Франции.

Таков был финал «Трибуны»; попытки дальнейшего издания газеты без участия иностранцев и без помощи Браницкого не дали результатов. Мицкевич-публицист замолк.

«Орлеанизм замкнул ему некогда уста, — писал позднее сын поэта. — Республика вырвала у него из рук перо».

Аресты и депортации задели также и польских изгнанников. Французские власти без суда высылали в колонии на каторжные работы людей, подозреваемых в участии в июньских волнениях. Среди задержанных нередко попадались ни в чем не повинные люди, однако новые власти отличались особенной жестокостью, ибо, пораженные недавними событиями, они не имели ни времени, ни желания рассматривать каждое дело в отдельности. После кровавых экзекуций наступили репрессии бескровные, но столь же лютые.

Только по чистой случайности, которая, впрочем, не замедлила подвернуться в это тревожное время, был арестован Анджей Товянский. Случайность эта именовалась доносом. Доносительство свирепствовало в Париже, гнусное, обнажающее все низменные стороны природы человеческой; доносительство, которое всегда поднимает голос в години внезапных перемен и переворотов.

Страх и корыстолюбие, высвобожденные внезапно, обнажают тогда свое отвратительное лицо. Бурные эпохи истории ломают слабые характеры, тем заметнее оттеняя благородство сильных. Товянский не принимал участия в июньских волнениях, но доносчик видел его на баррикадах. Обвинение слишком почетное для мэтра Анджея, ибо он в эти жаркие дни не прекратил ежедневных прогулок в сторону Триумфальной арки. Во время этих прогулок он размышлял о делах, чрезвычайно далеких от того, что творилось в Париже. Триумфальная арка в фантазии мэтра была символом его миссии, конечным этапом, апофеозом.

Товянский жил на Елисейских полях, это был исходный пункт его ежедневных променадов. Он шел, толкая прохожих и обводя их невидящим взором. Попав в тюрьму при префектуре, он совершенно пал духом. Не слышал слов, которыми старались утешить его товарищи по несчастью.

В эти бурные дни он потерял свои очки с голубыми стеклами, и взор его, как бы оголенный, выражал теперь беспредельный испуг.

Ученики начали тут же хлопотать об освобождении мэтра, пытались переубедить тех представителей временного правительства, к которым их допустили после продолжительных хлопот. Самое деятельное участие в этих хлопотах принимали женщины. Алиса Моллар пыталась добиться аудиенции у Ламартина. Но поэт-политик, получив от нее письмо, в

котором она расписывала миссию Товянского, писала о светоче для всего земного шара, о светоче, несомом сим мужем, не принял экзальтированную поклонницу. Не добилась никаких результатов и депутация, обратившаяся к временному правительству с просьбой об освобождении мэтра, подкрепленной изложением его учения. Сент-Илер, принявший депутацию, сделал вид, что со вниманием слушает ее аргументы, и, как бы поддакивая, проводил приверженцев Товянского словами: «Ваше сообщение очень важно, оно требует зрелого размышления».

Госпожа Целина предприняла еще более решительные действия. Не добившись аудиенции у Кавеньяка, она сумела тем не менее проникнуть к нему, попросту проскользнув в его кабинет. Палач парижского народа слушал ее уговаривания, ее жаркие доказательства и наивные просьбы о милосердии для арестованного пророка, арестованного по ошибке.

Он улыбался, заметив, что в словах ее слишком много чувства. Власти, которые видели в Товянском неисцелимого маньяка, выпустили его, наконец, из тюрьмы с предписанием покинуть Париж. Товянский выехал в Авиньон. Он собирался отправиться в Рим, но отказался от этого плана, узнав, что Пий IX бежал в Гаэту. И вскоре мэтр, уstraшенный событиями, которые переросли его планы и мечтания, уехал в Швейцарию, где и обосновался окончательно.

В марте 1850 года по приезде в Париж панны Софии Шимановской, которая начала брать уроки живописи в ателье Анри Шеффера, но была втянута в семейные дела Мицкевичей и вскоре забросила живопись, дело воспитания и образования детей снова выдвинулось в этой семье на первый план и стало предметом споров и недоразумений между родителями.

Старший сын, отданный еще раньше в польскую школу, прескверно чувствовал себя среди своих сверстников. С жестокостью, свойственной малышам, они докучали ему, били его, повторяли услышанные дома сплетни о семейной жизни Мицкевичей, о душевной болезни Целины, о еврейке, которая живет с ними под одной крышей, наконец, и больше всего о ереси.

«Ах! Это твой отец, который верит в мэтра! Когда этот мэтр будет въезжать в Польшу на белом осле, твой отец поведет того осла под уздцы!» (Из дневника С. Шимановской.)

Все переменки были для мальчика отравлены. Однокашники его, мальчуганы из лучших польских семейств, показывали ему вырезки из старых эмигрантских газет с клеветническими статьями, направленными против его отца — Адама Мицкевича.

Отравленная трясина эмигрантщины засасывала и детей.

«Я раз папеньке сказал, что не хочу ходить в польскую школу, потому что меня там изводят, а когда рассказал все, папенька со мной пошел и поговорил с директором, а потом сказал мне, что теперь все будет хорошо, а между тем осталось все по-прежнему, и папенька меня взял из школы». (Из дневника С. Шимановской.)

Делать было нечего, пришлось забрать мальчика из польской школы. Записанный в какую-то французскую начальную школу, он не слишком преуспевал.

Мицкевич не был удовлетворен направлением, господствующим в тогдашней педагогике. Он носил в сердце своем прежние идеалы века просвещения. Идеи, провозглашенные некогда Руссо: развитие жизни чувств, самовоспитание, — взгляды, основанные на вере в познавательную и нравственную ценность чувства, взгляды, возникшие из глубокого неверия в разум, эти взгляды были ему ближе всего. Учение Товянского, приверженцем которого он был доселе, или, пожалуй, снова себя считал, хотя воодушевление его и сильно поостыло, также поддерживало в нем этот предрассудок, которому великий швейцарский философ некогда придал столь торжественную форму.

Мицкевич хотел обучить своего сына какому-либо ремеслу. Марысе приказал учиться рукоделию и придавал ему большее значение, чем умственному развитию или точным наукам, которые он считал мертвым инвентарем столетий. Поэт забывал о том, сколько сведений вынес он из отличной школы доминиканцев, какой массой надежных и отлично изложенных знаний он был обязан Виленскому университету. Он недооценивал того, что именно благодаря этим познаниям он сумел сформировать свои собственные чувства и что пламя его сердца никогда не взметнулось бы так высоко, если бы его не питала ученость, которую он презирал, он, профессор древних и славянских литератур. А ведь он на каждом шагу пользовался завоеваниями науки, и не только гуманитарной науки. Мечтал по вечерам о мужицкой колымаге, но ездил по Орлеанской железной дороге. Любил таинственный огонек лучины или бледный свет свечи, медленно тающей, однако куда легче и приятней было ему возвращаться поздно ночью в отдаленное предместье Батиньоль при зеленоватом свете газовых фонарей на площадях и улицах Парижа, освещенных столь ярко, как будто дух этого века вселился в язычок газового пламени.

И этот же всемогущий дух XIX века упрямой струйкой пара с яростным свистом вырывался из паровозного котла.

Размышляя о том, чтобы обучить детей какому-либо ремеслу или,

скажем, профессии садовника, Мицкевич выражал свою тоску по конкретному и полезному труду, противопоставляя шляхетской праздности именно этот новый, демократический идеал. Поэт говорил об этом, ударяясь в крайности, явно не желая считаться с давно укоренившимися привычками и обыкновениями. В беседах Того времени он все решительнее подчеркивает, что пути будущей Польши ведут только через народ. Автор «Пана Тадеуша» все более отдаляется от той самой шляхты, певцом которой ему предстояло остаться в памяти потомства. Когда сын поэта, добравшись однажды до гербовника Несецкого, хотел прочитать, что в этой книге написано о гербе Порай, с митрой в золотом поле, о гербе, которым гордилось семейство Мицкевичей, поэт отобрал у него книжку. «А тебе-то что до этого?» — сказал он, явно разгневанный. В тот же вечер он жаловался одному из своих друзей: «Стоит ли удивляться, что почти в каждом поляке есть следы шляхетчины, если даже дети наши во Франции имеют склонность к этим глупостям».

Действуя в социальном вакууме тогдашней эмигрантской Польши, на руинах обветшалых форм ожидая еще не рожденной зари грядущего, поэт нередко ошибался и заблуждался. Он сам себя ловил на противоречивых мыслях и поступках. Гневался на Целину, когда, побуждаемая жалостью к детям, брошенным и отданным на воспитание натуре вероломной и несовершенной, пыталась изменить это положение вещей. Пани Целина решительно и стойко противилась педагогическим проектам мужа.

Больная и одинокая, она собрала все силы и добилась того, чтобы дети были отданы в старшие классы. Это повлекло за собой финансовые затруднения. С деньгами было туго. И все ж таки они должны были отыскаться! Мицкевичи были бедны, но они не были беднейшими среди изгнанников. Случалось, что они поддерживали других эмигрантов, попавших в еще горшую нужду. Так было хотя бы с тем бедным портным Якубом Крейтелем, польским евреем, который шил некогда в Польше мундиры офицерам, а когда они ушли за границу, пошел и он за ними. Осел в Париже, но жилось ему здесь не сладко. Якуб Крейтель рассказывал Любомиру Гадону, племяннику предводителя Владимира Гадона, автора брошюры «О реформе израелитов польских», как Мицкевич заходил к нему, бедному портному; как во время какой-то затянувшейся болезни он принес ему бутылку вина; как пани Мицкевич посылала ему в горшочке бульону. Хотя автор «Пана Тадеуша» сам был в бедственных обстоятельствах, случалось, что он платил Якубу Крейтелю больше, чем стоила его работа. «Бери, Якуб, — говорил он, — 10 франков будет на хлеб, а 2 франка спрячь на табачок».

Долго еще после смерти Мицкевича вспоминал портной Якуб Крейтель польского поэта.

Политические и имущественные различия в эмиграции углублялись по мере того, как шли годы; росли противоречия, антагонизмы взаимно бросались в глаза, милосердие, отечеством которого является страна нужды и бесправия, тут обретало пищу, но сколь часто пищу отравленную!

Когда в сентябре, находясь на взморье, в Гавре, Мицкевич встретился с Владиславом Замойским, граф приветствовал его с той милосердной, с той сострадательной учтивостью, которая свойственна лишь людям хорошо воспитанным и притом отличным притворщикам. Это была *caritas*, это было воплощение милосердия. Граф представил Мицкевичу своего шестилетнего племянника и со сладостью в голосе произнес (впрочем, в тоне, каким были сказаны эти слова, соболезнование сочеталось с известным оттенком уважения):

— Запомни, что ты видел величайшего из наших поэтов!

Мицкевич взглянул на графа из-под нависших век и, явно с трудом сдерживая негодование, ответил не своим голосом:

— Тычете мне в глаза тем, что я поэт. Если б я носил камергерский ключ, тогда вы считались бы с моими взглядами!

Граф почувствовал себя уязвленным, но не показал и виду. Взгляд его было трудно уловить: один глаз графа Владислава был неподвижен после некогда полученной раны.

Мицкевич смотрел в этот миг на море, которое кипело и пенилось, вздымаясь и опадая в постоянном ритме. В течение одной секунды он снова увидел все отчаяние проигранного дела, проник взглядом в тончайшие хитросплетенные сети интриги. Снова он померился с тупой силой, которая сломала шею его мечте, убила легион, вынудила его самого бездействовать. Не проронив ни слова, поэт повернулся и пошел своей дорогой.

*

В тяжелом 1850 году Мицкевич получил известие о смерти друга: 19 июня Маргаретт Фуллер вместе с мужем и маленьким сыном утонула на обратном пути в Америку, во время бури при Лонг Айленд, в 500 ярдах от берега ее отчизны. В декабре того же года у Мицкевича родился четвертый сын — шестой ребенок. Этот сын, Юзеф, не принес отцу особенной радости. «К моему многочисленному семейству... прибавился несколько

дней назад мальчик», — сообщал Мицкевич Домейке в письме, сопровождая это едкими замечаниями об институте брака. Ксаверия быстро пришла в себя, но состояние Целины возбуждало опасения.

Труды Мицкевича в это время и несколько позднее, его участие в Литературном обществе, беседы с Мишле, только что лишенным кафедры в Коллеж де Франс, — все эти дела несли на себе отпечаток какой-то временности. Поэт жил, как тот, кто вскоре должен переехать в чужой город, покинуть жилье, к которому привык, и каждый взор его — прощальный. И, однако, ему предстояло долго еще оставаться в этом городе, равнодушном к нищете и страданиям изгнанников.

В летние месяцы в лесистом Фонтенбло Мицкевич встречался с Богданом Залеским, который снова сблизился с ним. Брал в руки ту или иную книгу, охотнее всего — мистиков, но не читал. Ожидал чуда, внезапного события, которое вырвет его из жизни в изгнании. Изгнание — это была Польша, доступная ему Польша. Реальная Польша уходила в легенду. Ведь он, собственно, и не знал отчизны. Уголок Литвы и Познани — и это все. Он никогда не был в Варшаве, не видел Кракова. Изгнание было его отчизной. Страшная это была отчизна. К сожалению, правду сказал Мишле: «Зло мира сего было тут представлено во всей полноте. Изгнанники, бездомные, удрученные, старцы, сломленные годами, живые руины ушедших времен, проигранных битв; бедные пожилые дамы в простеньких платьях, вчера принцессы, а нынче — поденщицы; все утрачено: положение, имущество, кровь, жизнь; их дети, их мужья погребены на поле брани или в сибирских копиях».

Вот из таких людей и рекрутировались его, поэта этой нации, читатели; из недавних слушателей профессора Коллеж де Франс.

Только прошлое было постоянным местожительством его и всех этих людей. Возвращение к нему было невозможно, ибо его не было уже ни на одной карте, оно, прошлое, существовало только в памяти. Ему казалось, что, если бы он теперь снова погрузился в поэзию, ему удалось бы вернуться в эту утраченную страну. Но не было возврата. Поэт думал о дальнейших книгах «Пана Тадеуша», где шла бы речь о годах тридцатом и тридцать первом. Гуляя над морем в Гавре, составлял план новой книги. Эти мечты и замыслы были столь же неуловимы, как и радужные медузы, которые появлялись в погожие дни и исчезали мгновенно и бесследно. Оставалось будничное возвращение домой. Горчайшее из возвращений, несмотря на то, что этот изгнанник все же любил своих детей и был привязан к жене.

В это время барышня София Шимановская выехала в Рим и взяла с

собой Марысю, старшую дочку Мицкевичей. Сделала она это по доброте сердечной. Совместная жизнь ее родителей, с каждым годом становившаяся все трагичней, уже не была тайной для этой девочки-подростка. Она знала все и мучилась знанием о вещах, о которых ей в ее годы отнюдь не следовало бы знать.

БИБЛИОТЕКАРЬ АРСЕНАЛА

В ноябре 1852 года Мицкевич был назначен сотрудником библиотеки Арсенала. 30 ноября новый библиотекарь приступил к исполнению служебных обязанностей в главном зале здания. Хранителем библиотеки и непосредственным начальником Мицкевича был некий Лоран де л'Ардеш, друг принца Наполеона и сенсимонист. Один из сотрудников, Лудон, входил прежде в состав редакции «Трибуны народов».

Три дня в неделю проводил поэт в библиотеке, исполняя обязанности, связанные с новой должностью. Зрелище множества книг поначалу доставляло ему удовольствие, — ему казалось, что он отдыхает в этих книжных дебрях, среди этих томов в кожаных переплетах с золотым тиснением, среди бесчисленных книг, до верхних рядов которых приходилось карабкаться по стремянкам.

Когда снимали с полки какой-нибудь увесистый том, пыль сыпалась на руки. Пробужденные от долгого сна, книги, казалось, отрясают с себя вековую пыль, будто пыльцу с крыльев ночных мотыльков.

Когда Мицкевич выходил из холодного здания библиотеки, он ощущал двойную радость от безбрежного воздуха; голуби, воркуя, копошились у колес экипажей, а потом вспархивали сверкающей стаей; лужи после дождя отражали небесную синеву; прохожие спешили по своим делам, а иные к своим развлечениям в тихо опускающихся сумерках.

Дул ветер от Сены. Но когда библиотекарь назавтра или после двухдневного перерыва возвращался к своим занятиям, он с трудом отгонял мысль, что он только каторжник, только галерный раб, прикованный к этому каменному кораблю. Мрачное здание библиотеки Арсенала, здание с холодными и гулкими лестницами, было теперь частью его жизни, да и не столь уж малой частью.

На первых порах распорядок занятий кое в чем даже помогал ему, определял границы времени, ускорял либо замедлял его бег, сдерживал слишком смелые мечты. Да, эти отважные грезы казались нереальными, а стало быть, и комичными, в этом здании, где чиновники управляли и распоряжались духовными сокровищами столетий, нисколько не занимаясь несущественным для них вопросом об истинной, хотя и неуловимой, ценности этих сокровищ.

Однако затишье библиотеки, постоянство быта, общение с книгами

привели к тому, что Мицкевич теперь время от времени набрасывал несколько строк, зачины стихов или поэмы. Шло это вяло, пальцы его отвыкли от пера, воображение не подсказывало ему уже внезапных и быстрых сочетаний слов и образов.

По вечерам он запирался дома, но больше думал, чем писал. Этот дом была жена, дети, это были прежде всего заботы. Однажды, когда сын поэта Владислав, который часто заходил к отцу в библиотеку Арсенала, попросил у него какой-то из томов Адама Мицкевича, поэт, протянув руку за книжкой, заколебался вдруг и поставил том на прежнее место, среди других, тесно стоявших на полке. Удивленному мальчику он сказал, словно оправдываясь:

— Подожди, пока я напишу что-нибудь получше.

Он отошел от своих творений; они казались ему далекими и почти чуждыми. Он видел их промахи, не оценивал их достоинств. Мицкевич был жесток к себе, как только большой поэт может быть жесток к собственному давнему творчеству.

Быть может, эта беспощадность является неизменным условием возникновения новых творений, быть может, поэт должен умирать не однажды, чтобы многократно возрождаться. Знал об этом Гёте, когда писал: «Умри и снова возродись».

Те, которые навещали его теперь, люди, недавно приехавшие из Польши, жаловались порой на его суровость и чрезмерную лапидарность, в которой им чудилось нечто обидное.

На молодого поэта Ленартовича^[240] неприятное впечатление произвел его облик, не по душе пришелся тон его беседы. Только более близкое знакомство с Мицкевичем позволяло посетителям библиотеки Арсенала и квартиры поэта оценить то, что было в нем постоянного, прочного, крепкого. Так поверхностное перелистывание великого творения нередко отталкивает, — с ним нужно сжиться, и это отверзает замкнутые в застывших строках прелести. «Он прочел всех прославленных, — пишет Ленартович, — очень восхищался, к Гёте питал самые нежные чувства, считал его чародеем художества, но когда я ему однажды на музыкальном утреннике у Фонтаны^[241], когда зашла речь о Гёте, которого он хвалил, сказал: «У нас есть наш Анти-Вертер и Анти-Фауст, и они учат нас кое-чему большему, чем эгоизму», — он с улыбкой спросил меня: «А ты откуда это знаешь?» Беседу прервал пан Альберт Гжимала^[242]. Мы обратились к княгине Марцелине, вошедшей в этот миг в салон, но улыбка Адама осталась у меня в памяти, как украденная тайна...

Фонтана играл посмертные произведения Шопена. Адам слушал, стоя в дверях, ведущих в гостиную, но исполнение его явно не приводило в восторг, каждый сильный удар раздражал его, зато игра княгини Марцелины, которая в ответ на просьбы села за фортепьяно, произвела на всех отменное впечатление.

Вечером я показывал пану Адаму письмо Шопена, оригиналом которого благодаря Теофилю Квятковскому обладаю... Письмо это Шопен послал другу своему — варшавянину Домашевскому.

— О! Это он! — прочитав, сказал Мицкевич. — Забавнейшая фигура, какую знал на свете; талант Гаррика, юмор варшавско-французский, и одно меня только в нем неприятно поражало: это то, что он забавлял своей персоной салонных фигурантов, над которыми, впрочем, издевался, и правильно делал. Что о нем теперь за романы только не пишутся и не рассказываются! Если бы ему их кто-нибудь прочитал тогда, какую бы он из себя состроил карикатуру по наброску этих меломанов, что за лик с меланхолически возведенными очами!..»

Эти отрывки разговоров, записанные, конечно, не слишком точно теми, кто беседовал с «паном Адамом», как его все называли в эмиграции, долетают до нас из того времени, которое давно уже исторгло из себя все свое пространство, запах и звук. Это время идеально плоское. Порядок событий утратил уже прежнюю последовательность и непреложность.

Иногда кажется, будто поверхность того минувшего времени была похожа на цепь высоких гор, сплюснутых и укатанных неким могучим катаклизмом природы.

Фразы, отрывки диалогов, зарисовки лиц, движений, жестов и взглядов, которых уже нет, внезапно воскрешенные в нашей эпохе, выглядят в ней неловко и чуждо.

Таково, например, описание внешности поэта, оставленное нам Алоизом Лигензы Невяровичем, описание, захватывающее многие годы, тем более полное, беспретенциозное в своей непосредственности, не приглаженной стилизацией:

«Мицкевич Адам был роста среднего. В нем был 1 м 64 см. Вы удивитесь, что я сообщаю это с такой точностью. Причина этому та, что и во мне столько же, мы были одного роста. Был он хорошо сложен. Руки и ноги у него были небольшие. Описывая славянина в лекциях своих, он замечает, что для славянина характерна большая нога. Если это правильно, то Мицкевич не происходил из славянского рода, но, впрочем, нет правил без исключений. Говоря о руках его, должен еще прибавить, что мизинец левой руки у него был согнутый, не от рождения, но стало это в Париже,

безболезненно и внезапно. Кто бы поверил, что были поляки, я сам это слышал, которые не умели иначе изобразить Адама, как только знаком согнутого пальца? Быть может, услышите о Мицкевиче с согнутым пальцем. Предупрежденные, будете знать, о ком идет речь. Лоб у него был прекрасный, хотя и невысокий. Волосы очень густые. Он имел обыкновение отбрасывать их рукой, словно гребнем, на правую сторону, откидываясь при этом назад.

В 1824 году, когда я впервые увидел Мицкевича, волосы его были очень черные, кожа бледная, взгляд смелый и даже дерзкий, с каким я всегда представлял его себе, читая «Импровизацию» из «Дзядов». Кожа, бледная в те времена, с возрастом покраснела, вот почему он однажды горько заметил: «В моих стихах люди видят не больше чувств, чем крови в моем лице». Воистину определение выразительное и правдивое. Черные волосы быстро поседели, в 1850 году были уже совершенно белые. Глаза у него были черные, с выражением обычно очень серьезным. Улыбка редкая, но искренняя и, как это говорится, сердечная. Легче всего можно было ее вызвать живописным рассказом, и поэтому он любил общество людей, приятно рассказывающих и живо изображающих события. Отсюда такая симпатия к Генрику Ржевускому, которого он считал замечательнейшим рассказчиком в Польше, и приязнь к Генрику Служальскому, Адаму Колыске^[243], Квятковскому-живописцу и многим другим. Нос у него был тонкий, прямой, довольно острый. Со временем отпустил бакенбарды и носил их до смерти. Голос его был не сильный, но внятный, обыкновенно спокойный, но в увлечении быстрый и резкий. Мы имели пример этому при аудиенции, данной ему папой, и во время приема польской делегации Наполеоном III. Походка у него была медленная, когда он отдыхал дома, ибо имел он обыкновение, расхаживая, беседовать с теми, которые его посещали, но на улице и на прогулке он ходил быстро.

Конечно, общество интересуется мельчайшими подробностями жизни Мицкевича. Итак, я вспомню и о том, как он одевался. До 1841 года одевался, как все прочие. Не раз я видел его во фраке, в цилиндре, — всю жизнь, впрочем, не носил иного головного убора. После 1841 года, когда он познакомился и подружился с Товянским, покрой одежды Мицкевича подвергся изменениям. С фракком наступил полнейший разрыв, и он носил с тех пор мешковатый сюртук, старомодный, со стоячим воротником, всегда застегнутым на все пуговицы, ибо так носил Товянский и все приверженцы его.

В еде и питье был скромен и воздержан. Его деликатное сложение требовало этой скромности, и поэтому в выборе блюд он был капризен и

прихотлив, а скорее — разборчив. Жена, Целина, бдительное на это обращала внимание. Если бы она всегда была при нем, он наверняка не умер бы преждевременно. У себя дома он всегда ел в одиночестве, за исключением праздничных дней и когда бывали гости. Питаться отдельно ему было необходимо, как необходим покой людям столь значительным, как Мицкевич. Курение табака вошло у него в привычку. Дома он почти не выпускал изо рта длинного чубука с втиснутой туда стамбулкой; говорю «втиснутой», потому что рука его всегда была занята прилаживанием и приминанием ее или зажиганием спичек, потому что, занятый разговором, он забывал об огне в трубке. Из дому выходил всегда с тростью, которая не отличалась элегантностью, да и вообще элегантности напрасно было бы искать во всем туалете Адама...»

Таким видел его посторонний свидетель, дотошный до крайности и, быть может, немного трогательный в своей наивности. Другие, которые смотрят на него, не могут избавиться от суггестивного воздействия его творений, так, как, скажем, любитель пейзажей Рюйсдаля нередко не отдает себе отчета в том, что он смотрит на реальный пейзаж глазами художника. В особенности это было заметно, когда дело доходило до бесед. Тон и течение разговора зависели от того, с кем поэт говорил. С земляком, литвином, который бродил по ромайнским оврагам, видел Вендзяголу и Ромайню и, быть может, охотился на чирков в плавнях Невджи, он разговаривает иначе, чем, к примеру, с Виктором Баворовским^[244], переводчиком «Оберона».

Мицкевич неохотно беседовал о литературе. И с наибольшей неохотой — о собственных поэтических произведениях. Когда хранитель библиотеки Арсенала, господин де л'Ардеш, показывает ему номера «Revue Contemporaine» со статьями Клячко^[245] о поэзии Адама Мицкевича, поэт говорит:

— Я никогда не читаю того, что пишут обо мне.

— Прошу для меня сделать исключение. Я не могу читать ваших творений в оригинале и хотел бы по крайней мере знать, как вы судите об этой статье.

Через несколько дней Мицкевич возвращает журнал хранителю и, глядя ему прямо в глаза, как привык смотреть, когда хотел подчеркнуть какую-либо свою мысль, подводит итог своим впечатлениям в следующей фразе:

— Нелегко было настроичить столько страниц о «Крымских сонетах», не упомянув ни одной мысли, заключенной в них.

Когда Баворовский показывает ему свой перевод «Оберона» Виланда, поэт рекомендует переводчику более достойные его усилий творения: Шекспира, Данте, «Одиссею», Ариосто, Гёте, «Чайльд Гарольда».

— «Одиссея» мне недоступна, — говорит Баворовский, — ибо я не знаю по-гречески.

— Так научись, — коротко отвечает Мицкевич.

Баворовский упомянул о «Последней песне паломничества Чайльд Гарольда» Ламартина.

— Ах, до чего это слабо! — возмущенно воскликнул Мицкевич.

Он терпеть не мог Ламартина как человека и как поэта. Видно, что разговор докучает ему, ибо на замечание Баворовского, что подражатели и эпигоны бывают подчас истолкователями замыслов великого мастера, он отвечает невежливо:

— Мне это ни к чему.

Речь зашла о переводах Одынца. Мицкевич порицает в них неестественность языка, чрезмерную литературность синтаксиса и слога. Он предпочитает естественное течение фразы и хвалит великолепный польский язык «Дневника пана Северина Соплицы»^[246].

— Да, истинно польский, а не условный оборот речи употребили вы, — вмешивается его собеседник, — в переводе «Гяура» в стихе:

Когда же явится Фемистокл Второй?

Классик тех времен не осмелился бы сказать: «Когда же явится Фемистокл Второй?»

— Не сказал бы даже «Когда же явится...», — ответил Мицкевич, прерывая Баворовского, и заговорил дальше о влиянии сельской песни на его поэзию.

На замечание собеседника, что изо всех его творений самый теплый и повсеместный прием встретил «Пан Тадеуш», что даже самым простым людям это сочинение должно нравиться, Мицкевич ответил коротко:

— Да, как псалмы Давида,

Разговор этот происходил на квартире Мицкевича по улице Нотр-Дам-де-Шан, под № 75, в чрезвычайно скромной гостиной этого пригородного дома, стоявшего позади Люксембургского дворца. Иной характер имели беседы с посещающими его в библиотеке Арсенала земляками, которые после осмотра французской столицы приходили обычно сюда, чтобы увидеть эту достопримечательность польского Парижа. Поэт не любил

элегантно одетых, подозревал в каждом щеголе лентяя и глупца. Были ведь и такие, что специально облачались в костюм поплоче, чтобы не наткнуться на скверный прием.

«Он вышел к нам в коридор и тут нас принял, — описывает свой визит в Арена Валерьян Мровинский, студент-юрист, который вместе с несколькими коллегами приехал в Париж на выставку. — Лицо у него было бледное, измученное; в обрамлении седых длинных растрепанных волос, оно казалось намного старше, чем было поэту на самом деле. Я обратился к нему, волнуясь, и закончил... просьбой указать нам путь в наших будущих трудах на благо отчизны.

Мицкевич слушал внимательно, наконец, прищурил глаза, как привык это делать, когда задумывался, и миг спустя медленно произнес:

— Будущее?.. В народе, господа мои! Трудиться с народом — вот первое. Снести китайскую стену, которая разделяет нас на сословия. Народ — это будущее, это задача молодежи.

После этих слов он подал нам руку и простился с нами».

Чаще всего вопросы, которые он задавал прибывавшим из Польши землякам, касались состояния сельских школ. Мицкевич обладал не только конкретным воображением; в делах практического разрешения задач, которые выдвигала жизнь, он руководствовался здравым рассудком. Человек интуитивный, обладающий великолепным чутьем, он носил в себе две эпохи, словно два сердца, — ведь он вырос из века, который доверял познавательной силе разума, из столетия, которое верило в возможность преобразования человека, если только руководить им умело и целесообразно. Бунт Мицкевича против разума не противоречит этому, свидетельствует только, что идеи и мысли XVIII столетия еще глубоко коренились в его душе, если приходилось вырывать их с такой яростью и мукой.

Когда в 1853 году поэта посетил Эварист Эстковский, педагог и редактор «Школы для детей», он был прекрасно принят. Это было Мицкевичу по душе. От такого труженика, педагога, можно что-то узнать, такому стоит поверить важные мысли, не ограничиться несколькими дежурными фразами о народе.

Пан Адам собирался как раз в Монжерон, на полпути между Парижем и Фонтенбло. Там в эти летние месяцы находилась его семья. Когда вошли в вагон, Адам уселся рядом с каким-то рабочим с приятным лицом. Ouvrier подвинулся и дал ему место рядом с собой, очень уважительно, но с достоинством, а Адам обратился к Эстковскому и Ленартовичу, как Сократ, сплетая речь свою из основы фактов, которые в голове его сразу

складывались в систему. Говорил он с чувством и убежденностью, которым трудно было сопротивляться:

— Хотите видеть, что есть Франция: это *ouvrier*. Аристократия, которая как сквозь сон бормочет о своих правах, это сомнамбулы, приводимые в движение лунным светом! Если бы вы знали так, как я, это Сен-Жерменское предместье и этих законсервировавшихся в провинции легитимистов, вы имели бы представление, как выглядят души после разрыва с действительностью.

Переезд с улицы Нотр-Дам-де-Шан на улицу Сюлли, где находилось здание Арсенала, требовал долгих предварительных приготовлений. Объявление на парадном гласило, что такая-то и такая-то квартира сдается. Время от времени звонил какой-нибудь неизвестный интересант, просил извинения, быстро осматривал каждую комнату и уходил, сказав на прощанье, что еще поразмыслит. Однажды вошел какой-то почтенных лет господин с длинным худым лицом, в черном сюртуке до пят, напоминающем сутану. У него были кроткие и словно застланные слезами глаза. Когда увидел перед собой Мицкевича, тихо сказал ему по-французски:

— Как живешь, Мицкевич? Видишь, ищу квартиру, чтобы в ней умереть.

Начался разговор, отрывочный, перескакивающий с предмета на предмет, быстрый и беспорядочный.

— Меня приговорили к году тюрьмы, — сказал Ламеннэ, — за брошюру «Народ и правительство». Посетил меня как-то в тюрьме Мишле, милый, добрый Мишле. Заметил, что это жилье мое слишком сырое, что со стен каплет вода. Умолял меня, чтобы я потребовал от администрации по крайней мере оклеить стены; говорил, что, если они этого не сделают, я недолго протяну в таких условиях. Знаешь, что я ему на это ответил? — Ламеннэ выпрямился, и из глаз его возрилась ненависть. — Я сказал Мишле (голос Ламеннэ стал теперь резким и сухим): «Я не стану их ни о чем просить, этих подлецов! Чтобы, когда для них придет черед сидеть здесь, они не смогли сослаться на свою мягкость, сволочные души!»

Этот визит оставил горький привкус, был в этот миг как укор совести. Мицкевич не смотрел на отца Ламеннэ, глядел в пол.

Он жаждал теперь прежде всего покоя. Крушение шло за ним по пятам. Сорок восьмой год. Легион. «Трибуна народов».

— Но, — крикнул он, хватаясь за голову, — я должен перевезти семью в Арсенал!

К счастью, вскоре после визита Ламеннэ какая-то супружеская чета

сняла квартиру Мицкевичей, и они переехали на улицу Сюлли. Ни один из переездов, предшествовавших этому, не шел с такими препятствиями, ни один не требовал таких трудов и усилий.

С тех пор как семейство Мицкевича поселилось в стенах библиотеки Арсенала, казалось, что в их жизни воцаряются покой и согласие. Семейство было весьма многочисленным. Родители, пятеро детей; позднее из Рима вместе с Марысей вернулась панна София Шимановская, которая, замещая Ксаверию, вела теперь хозяйство.

Марыся была высокая стройная девушка; тетка воспитала ее в Риме на свой лад. Сын Владислав с восторгом читал все, что только попадалось ему под руку, предпочитая приключения графа Монте-Кристо идиллиям Шимоновича^[247], подсунутым ему влюбленным в классические творения отцом. Маленький Юзя, когда гости в шутку спрашивали его: «Ты кто такой?» — отвечал мгновенно и внятно: «Юзя Мицкевич — польский эмигрант!» «Знает свои титулы», — смеялся отец.

Юзя отчаянно завидовал намного старшему Владиславу, который как ни в чем не бывало бегал по арсенальным крышам, пугая голубей, стаяй взвивавшихся у него из-под ног. Здание Арсенала, украшенное каменными пушками, детская фантазия преображала в средневековый замок. В окнах стояла лазурь или вечерний сумрак, внизу видна была Сена, Пантеон и приплюснутые башни Собора Парижской богородицы.

Госпоже, Целине, здоровье которой несколько улучшилось, казалось, что возвращаются давние, давно утраченные и все-таки счастливые годы, прожитые в Лозанне. Она по-прежнему устраивала дома музыкальные вечера, а иногда выбиралась с визитами к знакомым. Но вскоре возвратились приступы старого недуга, которые очень ее обессиливали. Время делало свое: его беспощадная работа медленно подтачивала ее тело, проникала в сердце, задела легкие. Бывали дни, когда Целина не вставала с постели. Врачи утверждали, что болезнь госпожи Целины редкая и странная. Немногим они могли помочь. Их искусство тогда еще было похоже на чистейшее знахарство. Новый приезд Софии Шимановской обрадовал больную, хотя это радостное возбуждение миновало, и болезнь возобновилась с удвоенной силой.

По утрам ей было легче, утром она обычно спала, бесконечно измотанная бессонной ночью, но примерно в полдень возвращались боли, пробирающие насквозь, ужасные, невыносимые. Она, никогда не кричавшая во время частых родов, теперь издавала такие страшные стоны, что они были слышны и под окнами Арсенала. Нечеловеческий крик разрывал ночь, когда она внезапно просыпалась. Целина принимала

снотворное, но оно ослабляло ее сердце.

Уничтожение начало прикасаться к ее лицу медленно, но явно. Она очень исхудала, черные глаза глубоко впали, кожа покрылась морщинами; только на устах блуждала иногда, в минуты, когда страдания утихали, улыбка. Она испытывала в эти минуты счастье, доступное несчастливym. И, по мере того как она погружалась все ниже, на дно несчастья, сильнее становилось ощущение счастья в мгновенья облегчения и передышки. Страдания души, уступив место телесным мукам, утратили над ней власть. Нужны были такие вот пытки, чтобы сознание, совесть, эта великая инквизиторша, потеряла способность терзать помыслы, воспоминания, воображение.

Муж смотрел на это ее медленное умирание; больная таяла, догорала, как лампа, меркнущая на глазах. Какая-то завеса, как бы дымка, делала ее лицо непроницаемым, когда она отдыхала, уставившись в потолок, неподвижная, а черные ее волосы лежали вокруг головы как бы отдельно, на белоснежной подушке. Она лежала так и ждала, пока не возвращались боли и не начинали сотрясать ее тело и вырывать из ее посинелых губ страшный крик, в котором не было уже ничего человеческого.

Однажды в какой-то светлый промежуток, когда она лежала с улыбкой счастья на губах, к которым снова прихлынула кровь, муж подошел к ней и поцеловал ее восковую исхудалую руку. Целина долгим взглядом поглядела в его глаза и прошептала:

— Смотри, что от меня осталось.

Он пытался ее утешить:

— Было еще хуже, а ведь ты уже выздоравливаешь...

Она слышала, однако, что он произнес это без внутреннего убеждения.

При больной неустанно бодрствовали старшая ее дочка Марыся и панна София. Врачебные консилиумы ничем не помогали. Латинские формулы, которыми обменивались между собой доктора, и рецепты, начертанные их торопливым почерком, значили не больше, чем чародейские символы колдунов и авгуров.

Настало 5 марта 1855 года. Силы больной были на исходе, она утратила речь. Когда служанка хотела сменить лед на ее запекшихся губах, Целина знаком показала, что не нужно. В последние мгновения при умирающей оставались трое: Адам, София Шимановская и служанка. По очереди или вместе они помогали ей подняться, когда наступало удушье. День медленно померк и переходил в предвесенние сумерки. Сквозь раскрытое на миг окно врывались отголоски городского шума. Умирающая боролась со смертью, лицо ее было напряженно, глаза неподвижны.

Казалось, что глаза эти смотрят на висящий против постели портрет Товянского. Думала ли она еще о чем-нибудь? Сознавала ли она еще что-нибудь? Да, сознавала, ибо в некий миг протянула руки к мужу и сестре, которая не отгадала значения жеста умирающей.

Но Адам сказал:

— Целина хочет, чтобы мы подали друг другу руки.

Она явно думала еще в эту минуту о детях.

София стояла потрясенная, скорбная; она не видела даже, как лицо Целины застыло неподвижной маской. Не поняла в первое мгновение, почему Мицкевич сорвал вдруг зеркало со стены и приложил его холодным, трезвым движением к губам Целины. Как сквозь сон София услышала его твердый голос:

— Отошла...

*

Спустя два месяца после похорон жены Мицкевич писал госпоже Констанции Лубенской, которая сохранила дружбу к нему до этих поздних лет:

«Болезнь покойницы Целины долго продолжалась, и страдания ее были чрезвычайно жестоки... Эти последние минуты ее объяснили мне отчасти загадку стольких мучительных лет. Можно сказать, что в эти мгновения разлуки мы впервые соединились. Она как будто обещала мне, что будет душою мне постоянно помогать и быть со мной. Отчего этого не было при жизни!

Не хочу распространяться об этих горестных событиях».

После смерти матери дети остались под опекой панны Шимановской, только маленький Юзя был отдан госпоже Фалькенгаген-Залеской, которая взяла его на воспитание. Снова стало шумно в комнатах, которые еще полны были умершей, как будто она не хотела оттуда уйти. Это вырастание из земных дел, этот переход в нечеловеческую форму распада и гниения организма, эта вторая, незримая стадия умирания, до чего же она горестна и ощутима для тех, кто остался в живых!

Весна в садах и парках Парижа, колышущая массы теплого воздуха, как бы останавливалась на пороге, у самого входа в библиотеку Арсенала. Под высокими сводами царил тишина. Книги в тесных шеренгах, как колонны солдат, стояли вдоль стен, казалось бы готовые к маршу. Но это

была армия умерших. «Я погребен среди этих трупов», — признался однажды Мицкевич одному из друзей, указывая на шеренги книг в безмолвных залах библиотеки. За окном переливалась свежая зелень деревьев, сквозь распахнутые окна доносился стук экипажей и голоса прохожих. «Я погребен среди этих трупов», — повторил поэт.

*

Примерно в это время посетил Мицкевича Циприан Норвид, и об этом визите оставил нам в своих «Черных цветах» краткий отчет:

«Позднее, — вспоминает Норвид, — когда я вернулся в Европу, Адам Мицкевич обитал по соседству с площадью Бастилии, в здании библиотеки Арсенала, где и был библиотекарем. Место это дал ему человек, приход которого был им предсказан, человек из династии великого Наполеона (нынешний французский император); оно было пожертвовано в святой и непреходящей памяти Адаму Мицкевичу, — место небогатое, мало даже средств для пропитания многочисленной семьи приносящее и пожертвованное ему, кажется, уже много времени после того, как в газетах было сообщено, что профессор Коллеж де Франс Адам Мицкевич и малочисленные иные отказались принести присягу на верность французскому императору. Уже в позднейшие месяцы этого правления библиотекарь сложил в честь императора оду на языке Горация, которая не приличествовала ни его призванию, ни месту, данному ему.

Итак, незадолго до миссии на востоке, в которую после библиотекарства отправился пан Адам, я зашел в здание библиотеки Арсенала, здание мрачное, с бесконечными коридорами и каменными лестницами. Было это в воскресенье, ибо помню, что шел я с обедни и имел с собой молитвенник. А шел я приветствовать его более сердечно, ибо стал он мне ближе... ближе уже просто потому, что он вспоминал обо мне, когда я был в Америке, как до меня доходило, а когда я оттуда отплывал, он только сказал кому-то: «Это так, словно он отправился на Пер-Лашез!» — и, само собой разумеется, было мне приятно, что кто-то обо мне вспоминал в Европе, и поэтому я тоже с приятным чувством шел его приветствовать. Он весело взглянул на меня и обнял, и я разговаривал с ним до захода солнца, ибо помню, что окно заалело, когда я собрался уходить. Это была маленькая комнатка с жарко натопленной печью, в которой Адам время от времени поправлял, немного угли кочергой.

Одет был пан Адам в потертую шубейку, крытую серым сукном, — ума не приложу, откуда в Париже можно было раздобыть наряд этого цвета и покроя? Вопрос занятный, ибо это было, по-моему, нечто вроде халата, какой мелкие шляхтичи зимой носят в провинциях, порядком от Варшавы отдаленных. В комнатке висела прекрасная гравюра, представляющая святого Михаила Архангела, по оригиналу, который находится у капуцинов в Риме, или тоже по той картине Рафаэля, которая есть в Лувре, нынче уж хорошо не помню. Также Остробрамская Божья Матерь и оригинальный рисунок Доменикино, представляющий причащение святого Иеронима; еще также маленькая гравюрка с Наполеона Первого в кругу его генералов, а под ней дагерротип мужчины почтенного, стоящего прямо, в сюртуке, застегнутом на все пуговицы, как ходят французские ветераны, — а было это, собственно, время начальных шагов последней войны... А на письменном столе, должно быть, недавно появилась у пана Адама статуэтка: два борющихся медведя — слепок из гипса.

Это было еще перед кончиной супруги Адама Мицкевича, после смерти и погребения которой, примерно две недели спустя, я вновь зашел к пану Адаму, должно быть в десятом часу утра, и застал его на пороге, — он тоже выходил в город, так что я чуть не столкнулся с ним, когда отворились двери. Итак, он возвратился еще примерно на полтора часа, которые я с ним проговорил, а потом мы вместе с ним вышли, потому что он должен был быть где-то еще полтора часа назад. Говорил мне о смерти жены подробно, очень спокойно, сделав небольшое отступление, что кончина и все дела, касающиеся смерти, вызывают в нас ужас потому, что мы не сознаем всей правды... И только когда я должен был на одной из улиц пойти другой дорогой, а он пойти как-то иначе, он пожал мне руку и громко сказал мне: «Ну... адье!» Никогда ни по-французски, ни таким тоном он не прощался со мной, а ведь столько раз мы прощались с ним, и я прошел потом чуть ли не на другой конец города и, поднимаясь к себе по лестнице, все слышал еще то слово: «...адье!»

Случай пожелал, чтобы я не смог с тех пор ни повидать пана Адама, ни попрощаться с ним, когда он уезжал на восток, — словом, что это последнее было так странно тогда прозвучавшее для меня прощание. Чтобы яснее было, следует прибавить, что покойный пан Адам отличался тем свойством, что не только то, что он говорил, но и то, как он говорил, оставалось в памяти».

«...жизнь моя, — писал Мицкевич 8 апреля 1855 года, — есть почти непрерывный поиск кого-то или чего-то. Из того поколения, с которым я жил и привык бедовать, одни уже нас навсегда покинули, другие — живые мертвецы, существование их не лучше смерти».

Да и сам он был таким же изгнанником из Страны Жизни. Погребенный заживо среди книг Арсенала, он еще раз попытался сокрушить своды этой исполинской библиотеки. С начала русско-турецкой войны он пытался добиться разрешения на выезд в Турцию. Мечтал о воскрешении своего легиона. Дела текущей войны занимали все его помыслы. Тем больше он страдал, что вынужден бездейственно прислушиваться к дальним отголоскам событий. Когда ему рассказывали о проектах восстановления Польши, имя которой было теперь в Турции популярно, когда сообщали ему подробности, касающиеся формирования оттоманских казаков, он вдруг загорался, с глаз его спадала пелена мрачной задумчивости, он начинал говорить быстро и многоречиво, как будто напился крепкого горячительного напитка.

— Я вижу, — сказал он однажды, — что сегодня явственно пришло для поэтов время созидания из оструганных ими балок, отесанных ими камней и обожженных кирпичей того, что они из этих материалов в фантазии своей доселе создавали.

И, однако, далеко еще было до этого времени, несмотря на то, что политические события развивались быстро. Франция и Англия объявили войну царю 27 марта 1854 года, а 2 марта 1855 года Николай Первый скончался.

31 мая 1855 года Мицкевича в библиотеке Арсенала посетил Людвик Зверковский-Ленуар, бывший поручик в дни ноябрьского восстания, а теперь дипломатический агент князя Адама.

«Ну, раз уж снова начали драться, — сказал Мицкевич, — то и придут к чему-нибудь толковому, ибо, втягиваясь в войну, придут, наконец, к тому, чтобы с Австрией или без нее подумать, наконец, о Польше».

Зверковский был ловким дипломатом. Посланный князем Чарторыйским, чтобы заполучить Мицкевича, он истолковал поэту планы князя, объяснил, почему этот некоронованный король эмиграции не провозгласил до сих пор лозунга национального восстания. Князь-де считает, что в настоящий момент восстание потерпело бы поражение, но вооруженный легион, составленный из эмигрантов, мог бы стать зачатком армии, когда придет подходящий час, а уж тогда...

Это было весьма туманное обещание. Мицкевич знал о княжеских

опасениях и боязнях, знал, что страх перед социальной революцией сдерживает его начинания. Знал, что князь будет его контролировать на каждом шагу и посредничать в делах между ним и французскими властями. Знал о споре между Чайковским^[248] и Владиславом Замойским. Изведал на собственной шкуре беспардонную дипломатическую тактику Замойского, ибо граф Владислав умел и в сладких речах подсунуть отраву. Но теперь, глядя в честное загорелое лицо агента князя Адама, он готов был принять предложение князя. Да, Чарторыйский — это магнат, но в отличие от прочих магнатов он все-таки думал о Польше, и, когда эмиграция была погружена в сон, подобный смерти, князь Адам хотел поставить на ноги вооруженные отряды, чтобы показать всему свету, что Польша «еще не сгинела»... Мицкевич готов был принять предложение князя.

— Князь никого не отталкивает, — ввернул Зверковский, — вот он и Высоцкого^[249], что демократов представляет, тоже искал, хоть и не на роль вождя-президента Речи Посполитой, — засмеялся он, — но на роль генерала.

— Нужно призвать Польшу к оружию и стоять на страже ее достоинства. Независимость должна быть утверждена, хотя бы даже не было дано гарантий ее существования, — сказал Мицкевич, затрагивая чувствительнейшую струнку политики князя — его повинование указаниям европейских кабинетов.

Зверковский-Ленуар не придрался к этим словам. Он дал разговору другой оборот и вдруг сказал поэту напрямик:

— Если нашлись бы средства, чтобы вы, не опасаясь за судьбу ваших детей, могли бы поехать на восток, князь мог бы ожидать вашего решения?

— Да, я готов. В Италию больше пешком шел, чем ехал. И теперь готов.

После этих слов глаза Мицкевича внезапно угасли. Его черты, утратившие былую резкость, с тех пор как он располнел и обрюзг, казались в этот миг заслоненными легким туманом; седые длинные волосы придавали ему вид глубокого старика.

«Он похож на литовского вайделота, политик он никудышный, — думал Зверковский, смотря прямо в глаза поэта. — Бедный старик!..»

— Передайте князю уверения в моем почтении к нему, — усталым голосом произнес Мицкевич.

Зверковский низко поклонился и ушел.

За два дня до отъезда Мицкевича на восток князь Адам Чарторыйский дал прощальный обед в Отеле Ламбер. С поэтом должен был выехать также сын князя, Владислав. Неясно было, кто за кем должен присматривать. В делах политических вопрос возраста не является главенствующим.

Князь в сюртуке, наглухо застегнутом под подбородком, лицом напоминающий старую даму, сложив губы так, чтобы они не выдавали отсутствия зубов, восседал в кресле, крытом алым бархатом. Движения у князя были сдержанные; усталым, но внимательным взором он обвел присутствующих.

По правую руку его сидел Мицкевич, по левую — граф Адам Замойский из Галиции. Адам Замойский был облачен в черный атласный жупан, черный кунтуш, подпоясан золотым кушаком, с кривою саблей на боку. После тоста, поднятого Мицкевичем в честь князя, произнес речь сам Чарторыйский. К его словам внимательно прислушивались.

— Я надеялся, — сказал князь, что смогу сообщить землякам своим добрую весть, что британское и французское правительства уполномочили меня, наконец, создать Польский легион. Обещание это, даваемое мне уже не раз, до сих пор остается только обещанием. К несчастью, здоровье моего старшего сына требует весьма тщательных попечений. Обстоятельство это все же не остановило бы моего сына. И я послал бы его на восток, — тут князь придал своему голосу меланхолический оттенок, — но удержала меня мысль, что этот шаг пробудил бы в эмиграции и в отечестве чувства, какие мы еще не вправе пробуждать. Наши земляки сочли бы, что западные державы, разрешив основать Польский легион, тем самым решили восстановить Польшу. Но, увы, к такому решению еще не пришли, — говорил все меланхоличнее князь, — и даже такого обещания до сих пор не дано. Поэтому я не мог ни обещать отчизне то, в чем меня еще и самого официально не заверили, ни ублажать надеждами, которые доселе остаются только надеждами. Посылаю теперь младшего сына моего, Владислава, в Турцию, к создающимся там казачьим полкам. Он донесет до них помощь нашу и слово наше и скажет им, что, служа султану, они не перестают принадлежать Польше и будут живым свидетельством участия, какое все мы принимаем в формировании полков.

Произнося эти слова, князь имел вид гетмана былых времен, посылающего сына на войну с турками. Это все подметили, а граф Замойский из Галиции ударил по кривой сабле на золотом кушаке.

— Произошло счастливое совпадение, — продолжал далее князь, — что французское правительство направляет от себя в Турцию господина

Адама Мицкевича. Имя это говорит само за себя, и то, что он уезжает одновременно с моим сыном, придает этой поездке национальный характер. Я собрал вас, господа, чтобы вы попрощались с этим достойным мужем.

Затем начались тосты. В честь Мицкевича, в честь князя Адама, за здоровье молодого князя Владислава. Держал речь граф Замоиский. Ставил молодому князю в пример отца, давних предков, вспоминал также о прекрасном пути Адама Мицкевича. Речь графа была очень торжественная и боевая, в ней слышался скрежет кривых сабель и трепет бунчуков; он говорил так, как будто расправлял польское знамя против полумесяца, хотя, собственно, поляки шли на помощь Турции... После Замоиского держал речь Баржиковский, бывший министр финансов. И он ссылаясь на великолепные заслуги рода Чарторыйских, вспоминал также о достойной уважения деятельности князя Адама в эпоху Александра Первого и о его трудах в изгнании.

Чудесное настроение на обеде несколько испортил граф Замоиский, ибо он начал декламировать присутствующим свои стихи. Их слушали из вежливости. Князь Адам делал вид, что слушает, но мысли его были далеко, — мысли его улетали во времена, которые учтивые ораторы снова воскрешали перед его умственным взором. Князь Адам вспоминал молодость свою, вспоминал нежных и прекрасных женщин тех благословенных времен, вспоминал, наконец, императора Александра, юношеский образ которого он и доныне носил в своем сердце. Вздохнул и прикрыл глаза. Все полагали, что его вывели из равновесия патриотические вирши галицийского графа.

Мицкевич курил трубку и помалкивал. Видел уже у себя за спиной неотвязную тень Владислава Замоиского. Доверял князю, поскольку уважал его характер, забывая, что в делах политики решают не личные качества человека, но принципы, перед которыми характер всегда отступает на второй план.

На следующий день Мицкевич получил от министра иностранных дел устное указание писать в министерство, одновременно посылая копии писем князю Чарторыйскому, который будет отныне по воле Наполеона Третьего единственным представителем польской эмиграции перед лицом Франции. Таким образом, дело Польши становилось только частицей политики французского двора.

Назавтра Мицкевич, как солдат оружие перед битвой, осматривал только что принесенную дорожную подзорную трубу и палатку, купленную в магазине дорожных вещей. Разбил палатку в своей комнате.

— Я предпочитаю этот переносный дом стенам Арсенала, — сказал он своей старшей дочери. Взял из ее рук малиновое знамя с орлом и всадником. Гербы эти девушка вышила, корпя ночи напролет, только бы успеть к сроку. — Спасибо тебе, дитя мое, — сказал он. Поэт был очень скуп на похвалы и нежности. Марыся стояла с глазами, полными слез, ибо знала, что отец уезжает надолго, в дальнюю землю, которую она даже вообразить себе не могла.

В тот же день, накануне отъезда, взяв с собой сына Владислава, Мицкевич сидел за письменным столом и просматривал свои бумаги и рукописи. Перед далеким и опасным странствием он хотел привести их в порядок и ненужные сжечь. В комнате его была печка, он приказал наложить дров и хвороста, сам поджег и, как ребенок, радуясь пламени, пожирающему сухое дерево, швырнул в огонь без колебания довольно толстый сверток бумаг.

— Этого уже никогда не закончу, — сказал он сам себе, не глядя на сына. Над некоторыми бумагами он задерживался на мгновение, чтобы в конце концов энергичным жестом предать их огню.

Когда он наклонялся, приближая лицо к топке, голова его становилась фантастической в алом озарении, пышные седые волосы, отброшенные назад, придавали ему вид какого-то языческого жреца. Но таинство, которое сейчас совершалось в комнате на улице Сюлли, было обрядом уничтожения.

В огне погибали его мысли, случайные заметки, незавершенные стихи и драматические сцены.

На дворе стоял сентябрь. Ветер бил в стекла окон, гудящее пламя озаряло комнату, изгоняя из углов застоявшийся в них сумрак.

— Помнишь легенду о Персефоне? — спросил Мицкевич сына и, услышав ответа, углубился в чтение какого-то отрывка:

Пока не сжалился господь всевышний в небе,
Семейства этого был слишком тяжек жребий:
Приюта не было для них в широком свете,
В тюрьме иль под копной на свет являлись дети,
О гибели отца сызмальства знал ребенок,
Скиталец, пилигрим и арестант с пленок;
В сиротстве пестован он матерью-вдовою
И знает об отце, что тот погиб, как воин.
Зато в округе всей семья известна эта,
Все рады, что она надеждою согрета.

Там губернатор был помещиком богатым,
В свой замок въехал он со всем придворным штатом.
Хотя обычно он весь год проводит в Гродно,
Недели две у нас провести ему угодно
Зимой, под рождество...

Чем это должно было стать? Продолжением «Пана Тадеуша», которого все ожидали? Радовали его сейчас эти стихи, простые, как будто произнесенные невзначай; даже метрические шероховатости, поскольку стихи были написаны в спешке и без поправок, только увеличивали естественность течения. Отложил страницу. Взглянул на другую рукопись, из времен, когда хотел писать дальнейшие части «Дзядов»; было там о мальчике, заблудившемся среди могил, о песне лебеды и сорных трав на погосте... Бросил после недолгого колебания в огонь. Рукопись вспыхнула, свилась, как лопух, почернела, пожелтела и рассыпалась в прах...

Сцена эта глубоко запечатлелась в памяти Владислава. Правда, он не вполне понимал тогда, зачем отец жжет свои бумаги, но чувствовал, что совершается какое-то важное дело, любовался огнем и помогал отцу, который вручал ему некоторые страницы и жестом указывал, какова должна быть их судьба. Понял одно: не все, что отец написал, должно быть сохранено. Испробовал позднее, спустя много лет после смерти отца, всеистребляющую силу пламени, когда приводил в порядок его наследство. И произошла удивительная вещь: стихия, которая как огонь вулкана очернила и ожгла эту великую и трудную жизнь, автору первого жизнеописания Адама Мицкевича послужила для уничтожения того, что не вмещалось в рамки общепринятых представлений о гении.

Мицкевич длинной обгоревшей палкой поправил Догорающие поленья; с явным удовольствием совершил он это действие. Сын зажег лампу, в свете которой ожила гравюра, представляющая святого Михаила Архангела. Вынырнул из полутьмы виленский пейзаж. На письменном столе два борющихся гипсовых медведя выступили из мрака.

В КРАЮ ВОСПОМИНАНИЯ

Эдвард Хлопицкий, парижский студент, осенью 1850 года навестил Мицкевича в доме на Рю де ла Санте, а год спустя вернулся в родную Вендзяголу, в Ковенском уезде. Встретился в Вильно с Одынцей, сыновьями супругов Маркевичей и Яном Чечотом; возобновил прежние знакомства и связи, приветствуемый всеми сердечно и, как он подметил, с оттенком уважения. И для этого были свои основания: ибо он возвращался из мировой столицы совершенно преображенный внешне и внутренне, физически и духовно; настоящий вояжер и притом студент парижских курсов. Из уст его звучала безупречная французская речь, а его изысканно-скромный наряд был предметом зависти виленских франтов. Да, теперь он, Эдвард Хлопицкий, — надежда национальной словесности и светский человек, познакомиться с которым мечтают здешние виленские красавицы. Но то, что в глазах интеллектуального мира придавало ему больше всего прелести, не имело ни малейшего отношения к его личным достоинствам. Всею виной был факт, которому он сам придавал немалый вес, а именно то обстоятельство, что он еще совсем недавно своими глазами видел Адама Мицкевича. Он сообщал теперь всем интересующимся кое-что из этих неполных и отрывочных воспоминаний о встречах и беседах с Адамом, живописал перед ними словом, недостаточность и неполноту которого болезненно ощущал, фигуру поэта; старался не забыть ничего из произнесенных им фраз, причем ничего не прибавлять и не приукрашивать, нисколько не пытаясь выдвинуть себя на первый план, — совсем иначе, чем его тезка Одынец, который, не питая ни малейшего уважения к правде, предпочитал ей прекрасную выдумку.

Для улаживания разного рода имущественных дел, главным образом для того, чтобы договориться с должниками и кредиторами, Хлопицкий вынужден был совершить в эту пору, мало подходящую для разъездов, поездку по окрестностям Вильно и Новогрудка. Едучи по дорогам, уже скованным стужей и занесенным снегом, молодой человек задерживался в иных местах сверх всякой надобности — должники и кредиторы были здесь ни при чем, — ему просто хотелось впервые взглянуть на эти места очами Великого. Несколько дней Хлопицкий провел в Новогрудке у старых Маркевичей, рассказывал им подробно то же, что и виленским друзьям, выслушивал их жалобы на здешние несчастья, приветствовал его глазами

гору Миндовга, позднее навесил Константина Тугановского в Тугановичах, Осмотрел озеро Свитезь ночью и удивился, что оно такое небольшое и не столь прекрасное, как в балладе. А ничего тут вроде бы и не изменилось с тех времен: вода поблескивала в темноте, только звезды казались слишком высокими; нет, они не могли бы отразиться в воде! Ночь была холодная и безлунная.

Хлопицкий переночевал в Тугановичах и на следующее утро должен был выехать, но, прежде чем запрягли лошадей в бричку, произошло событие, которое спутало планы молодого человека. Хлопицкий как раз сидел с тугановическим помещиком за завтраком, когда вбежал экононом с известием, что кто-то взбунтовал мужиков и они идут на усадьбу. Вскоре и впрямь перед усадьбой загудела толпа крестьян, желавшая говорить с помещиком. Хлопицкий через окно видел их угрюмые лица. Было среди них несколько бородачей в заплатанных кожах, были исхудалые бабы с детишками, завернутыми в платки.

Хлопицкий неясно представлял себе, чего хотят от Тугановского. Толпа гудела во дворе усадьбы. Из отрывочных фраз и возгласов он понял только, что дело шло о барщине и каких-то злоупотреблениях со стороны дворовых.

Молодой человек с грустью и стыдом смотрел на эту сцену. Он возвратился в родные края в момент, когда еще усилилось давление правительства, когда царизм на этих землях вводил «военные порядки», когда шляхта, сама преследуемая, в свою очередь, вдвойне начала угнетать подвластный ей народ, чтобы было чем заплатить чиновникам империи. То и дело на Виленщине вспыхивали бунты, со всей суровостью подавляемые полицией, чаще всего вызываемой на подмогу помещиками, которые находились в крайности.

Тугановский уладил спор, но почти насильно задержал в доме гостя, ибо считал, что, хотя он и достиг взаимопонимания с главарями, выезжать в такую минуту не стоит, да и более того — это просто небезопасно! Помещик уверял гостя, что притязания мужиков ничем не подкреплены с точки зрения действующего закона, что крестьяне были подстрекаемы к непослушанию коноводами, подосланными царским правительством, жаждущим углубить пропасть между мужиками и шляхтой.

Юный студент имел об этом иное мнение, считал существование панщины в наш просвещенный век чудовищным безобразием, заступался за угнетенных, высмеивал шляхетские привилегии, сравнивал шляхту с яблоней, источенной изнутри червями, с яблоней, которая лишь в грезах этого отсталого на целый век сословия угнетателей может еще приносить

золотые плоды.

При этом он вспылил и, вовсе не считаясь с воззрениями гостеприимных хозяев, не поскупился на цитаты из умных книжонок французских авторов. Более того, он произнес даже нечто вроде небольшой лекции по социальной экономике, однако так и не убедил тугановического помещика. Распрощались они наутро весьма прохладно, и Хлопицкий, донельзя раздраженный и опечаленный, пустился в дальнейший путь. Однако вскоре он съехал с тракта и, что еще хуже, уж вовсе несогласно с целью поездки, приказал вознице ехать в Больценники, где и доселе жила Марыля Верещак, теперь вдова Вавжинца Путткамера, год назад завершившего здесь свое многотрудное существование.

Хлопицкий имел уже сведения об этой своей, не очень близкой правда, знакомой, которую он много лет назад видел в последний раз в Вильно.

Ехал теперь в Больценники, понуждаемый труд-необъяснимым решением — увидеть ту, о которой беседовал в Париже с Великим.

Было в этом решении что-то чрезвычайно болезненное и грустное. С минуты, когда он снова ступил на отеческую землю, дела, которые упрощались для него на чужбине, в беготне по громадному городу, среди ученых занятий и повседневных забот, здесь, в лесном затишье, приобретали снова значение, которое ему бы не хотелось им придавать, ну, просто ради покоя душевного!

Березки и сосны перед усадьбой подросли за это время — это он сразу заметил, — а хозяйка усадьбы, напротив, стала как будто меньше ростом и сильно состарилась. Волосы ее были уже совсем седые, точь-в-точь как волосы того, о котором жила уже только легенда в этом краю.

Сидя в комнате с деревянным потолком, в полумраке, при одной свече, он разговаривал со вдовой, осиротелость которой еще подчеркивало траурное платье с широкими буфами. В комнате было бы совсем темно, если бы не алый отсвет от печки, в которой весело пылал сильный огонь, ибо, хотя было только начало ноября, на дворе стояла уже заправская зима.

Госпожа Путткамер рада была гостю, которого сразу вспомнила, и похвалила его, что он так возмужал за то время, что они не виделись. Разговор потек гладко, скорее не разговор, а несколько рассказов, ее и его, о смерти пана Вавжинца, которого Хлопицкий знал и любил, о детях, о Париже, о крестьянах и национальных гонениях, наконец, о филomатах и филаретах, с которыми «Пери» некогда состояла в переписке. Но в течение всей этой беседы обе стороны старательно избегали некоего имени. Оно прозвучало, наконец, из уст приезжего, который тут же смутился и уже хотел было невежливо откланяться, когда вдруг увидел небесный взгляд

Марыли Верещак, умолявший его о чем-то. Начал, неуверенно строя фразы, рассказывать о своем первом визите в доме на Батиньоль. Описал дом и квартиру супругов Мицкевич, не преминув при этом вспомнить о тревоге, с которой шел на первый визит, — да, ведь он пропетлял час без малого вокруг дома, прежде чем отважился, наконец, протянуть руку к звонку. Он даже нарочно облачился в мешковатый и потертый костюм, ибо знал, что пан Адам не выносит щеголей в белых перчатках, видя в чрезмерной заботе о наряде проявление антинародности и пустоты.

После этого вступления Хлопицкий перешел к передаче первого разговора, стараясь сохранить как смысл, так и течение диалога.

— «Вы, наверное, кузен моего прежнего ученика в Ковно, Юзефа Хлопицкого?» Это были его первые слова. «Да, — ответил я, — он был сыном моего дяди...» — «Был, говорите, стало быть, его уже нет в живых?» — подхватил пан Адам это словечко «был», и в этот миг лицо его, которое сперва показалось мне каменной маской, ожило, да, печаль оживила его лицо. «Он слишком быстро жил, потому и кончил быстро», — произнес я вполголоса и сам устыдился своих слов, ибо был уверен, что говорю банальнейшую глупость. Но он взглянул на меня из-под нависших век и произнес другим голосом, почти панибратским тоном, как будто это говорил не он, а кто-нибудь из шляхтичей «Пана Тадеуша»: «Ох, драгоценный мой, в кипятке был этот ваш родич выкупан! Я имел с ним множество хлопот, избаловала его пани супруга Подкомория, почтенная матрона, но безвольная мамаша; не хотел он вовсе брать в руки книжек, зато амуры были у него на уме, за девицами гонялся... Красивый был он мальчуган...»

По вкусу мне пришлось это воспоминание о моей родне в устах наставника, и я искал слов, чтобы выразить ему мою признательность, но так ничего и не нашел и молчал в смущении. А он продолжал говорить, как бы уже на меня не обращая внимания: «Ромайнье! Вендзягола! Невяжь! Охотился там на чирков с паном Маврикием, помещиком ромайнским. Я как будто вижу теперь, как тебя вижу, — перешел он вдруг на «ты», и тогда же я почувствовал на себе всю силу его взгляда, — как тебя вижу, — повторил он, — те края и тамошних людей. Там только радость и веселье, там только быстро растут хлеба и шумят леса. Нигде на земле нет таких лесов. Возвращайся, друг мой, в те края». Он сказал это и еще какое-то словечко, которого не повторяю, ибо не умею, и лицо его впало вновь в прежнее состояние неподвижности. А в неподвижности этой было что-то от каменной маски. Говоря «каменная маска», я, быть может, преувеличиваю, впадаю в чрезмерно литературный стиль, пусть мне,

однако, пани предводительша простит эту метафору, ибо она в его духе, в то время как все неуклюжее и неумелое в этой реляции от меня происходит.

— Так вот он теперь какой... — сказала пани Путткамер и поправила седую прядь, которая сдвинулась ей на лоб. — Я его всегда вижу таким, каким он был тогда, — молодым, с черным чубом, с глазами, которые казались то голубыми, то зеленоватыми, то вновь темными и блестящими. Так, значит, вот он какой теперь! Ну, а могла бы я его теперь узнать?

— Я не видел пана Адама в его юные годы, но те, которые его знают с давних пор, говорят, что, хотя он очень изменился, все же сохранил прежний взгляд, прежнюю улыбку.

— Я уже тоже не та, какой была в ту счастливую пору. Передо мной была вся жизнь, все грядущее, огромное, как воздух, а теперь все у меня за плечами, все плоское и мертвое, как страницы книги. Если бы я могла хоть раз перед смертью услышать его голос! Если бы могла увидеть его лицо! Правда ли, что волосы его совершенно седые, как мои? Она нежно прикоснулась к пряди, падающей ей на лоб, — Правда?

— Вижу его, как будто он стоит тут, передо мной, но у меня не хватает слов, чтобы изобразить его вам. Он сам себя наиболее удачно изобразил в «Валленроде». Вы помните, конечно, эти строки:

Он был ли равнодушен от рожденья
Или с годами стал, — хоть годы были
Не стары, но главу посеребрили
И бледность щек печатью охлажденья
Отметили, — решить про это трудно.
Лишь на певца взглянуть, и все понятно:
Он память напрягает до предела,
Его душа куда-то улетела,
Он время хочет повернуть обратно!
О чем тех песен горькие стенанья?
Должно быть, мыслью он следит незримо
За юностью, промчавшеюся мимо...
Где дух его? В краю воспоминанья.

И что более всего удивительно, это что он написал эти строки, когда был еще молод, ненамного старше меня, что как бы предвидел свой грядущий облик. Он говорил мне однажды об удивительной способности поэтов, мысли которых опережают иногда их собственный опыт, вот точно

так, как легавая нюхом опережает охотника, нападаая на незримый след оленя... То, что я тогда услышал от него, потрясло меня. Вокруг него атмосфера совершенно необычная, как в магнитном поле. Я скажу вам, что часто после визитов на Рю де ля Санте я возвращался исполненный противоречивых чувств. Я спрашивал себя, как в человеке, который, как и я, любит литовский борщ и «колдуны», может быть такая мощь...

— Что он? Я ему всем обязана. Могла бы сказать, если бы это не было кощунством, что он меня создал, сотворил... — Произнеся эти слова, она спустя мгновение тихо прибавила: — И погубил.

Хлопицкий вопросительно взглянул и даже сделал вопросительный жест, придвинув свой стул к креслу, в котором сидела матрона, и потом снова удивленно глянул в ее небесно-голубые глаза, в очи Марыли Верещак.

— Да, погубил меня, — спокойно повторила она.

Свеча, стоявшая сбоку, на дамском письменном столике, освещала половину ее лица. Почти было слышно, как тает воск, такая тишина воцарилась после этих слов.

— Погубил меня, — продолжала пани Путткамер, — открыл мне страну, в которую я не могла войти. Мучилась долгие годы в напрасной тоске. Хотела поехать за ним в Дрезден. Хотела отправиться в Рим, когда получила от него эти четки; они всегда со мной; но послала тогда только письмо через Жеготу, и только. В ту пору я еще не страдала, как теперь, когда осталась одна. При мне сейчас только Зося. Станислав и Каролина живут в Вильно. Мне здесь совершенно нечего делать, с тех пор как я потеряла Вавжинца. Теперь, когда он ушел от меня навсегда, теперь я впервые вижу, что это был за человек — одинаково добрый ко всем: к шляхтичам, мужикам и евреям. Когда он был лидским маршалком, некоторые презрительно называли его мужицким маршалком. Это прозвище радовало Вавжинца. Это было в те времена, не знаю, помните ли вы, вы ведь были тогда еще так молоды, когда по селам вводили закон об инвентарной описи^[250]. Никогда при его жизни мужики в нашем уезде не бунтовали против панщины, а что сейчас творится, когда его нет, вы сами видели, поездив по здешним краям. Мне всегда казалось, что это он не понимает меня, а теперь я знаю, что я его не могла оценить. Не имела ни малейшего представления о том, что было его жизнью. А он, хотя всегда такой спокойный и кроткий, по сути дела, был страстно увлечен всяческими делами. Сначала бумажная фабрика, потом сахарный завод. И подумайте, ничего не удавалось ему довести до конца, быть может, из-за его необыкновенной доброты. Упрашивал, убеждал, а людям нужно

приказывать. И я тоже, больно вспоминать, дурно отплатила ему за эту его доброту и снисходительность. Дети не похожи на него, никто из них. Поверите ли, что я не могла при них произносить имя, которое все в наших краях знают, так что еще и нынче Софья не хочет даже и слышать о нем, что, поверите ли, его книги, с тех пор как дети подросли, я должна прятать от них в ящичке стола. Софья, когда была еще ребенком, певала некоторые баллады, но, когда стала барышней, перестала заглядывать в те книжки, которые переживут нас всех. А он, бедный Лоренц, какой он был чуткий, какой справедливый! Вот уже год, как я, собственно, перестала жить, я как будто снова впала в то удивительное состояние, похожее на летаргию, как тогда, в те благословенные годы. Нет, я не умерла, а я так хотела умереть! Крепко держится жизнь в человеке, хотя все остановилось, ничто не удерживает больше, и это-то, собственно, всего печальней. Но подумайте, ведь я столько лет занималась этим одним печальным делом. Делом, причиняющим боль, ибо я ведь была не безвинна в нем. Я постигла, что слабость может быть наибольшей виной человека; я боялась решения, страшилась перемены. Я оправдывала себя доводами высшего, не зависящего от меня порядка, чтобы признаться позднее, что этих доводов не было вовсе... И вот со временем оказалось, что постоянство и безопасность, которыми я наградила его и себя, превратились в моих врагов, что они не давали мне спать, денно и ночью стояли у изголовья моей постели. Вы молодой человек, и я хочу, чтобы вы, уйдя от меня, унесли с собой этот урок и предостережение: кто не способен к действию, тот не способен к жизни; кто страшится перемены, получает от судьбы постоянство, которое хуже любой перемены. Он пошел иным путем. Я не понимала его в те юные годы, ужасал меня порыв его души, гневало то, что было в нем ценнее всего; я предпочла бы в те времена, чтобы чувства его не обладали той правдой и силой, ибо я была только чувствительной, только мечтающей о чувствах, но неспособной чувствовать. Я пребывала в мире иллюзий так долго, что оскорблял меня каждый правдивый порыв чувства; я полагала, что в действительном мире все может происходить так, как в романах. Я не видала, что руки свои могу обагрить кровью, которая повсюду, где только есть истинная жизнь, близко, под кожей, как в теле человека и животного. Вина моя была тяжелой, но искупление слишком жестоко. Когда я теперь думаю о тех годах раскаяния, не оконченных еще, я не могу уже ни в чем себя упрекнуть. Я была хорошей женой и матерью. Может быть, это удивит вас, что я, так долго пребывавшая в сомнениях и внутреннем разладе, не написала ему, кроме этих нескольких фраз в письме Жеготе, ни слова больше о моей вечной скорби.

Не написала, не только потому, что он уже отошел от меня, ибо иначе и быть не могло, и не только потому, что я не хотела беречь его старые и затянувшиеся уже раны; но не написала прежде всего потому, что нельзя найти общий язык с человеком, которого от нас отделяет безмерное пространство Времени, да, Времени, которое изменило его и меня, хотя меня в меньшей степени, ибо я осталась на прежнем месте, в то время как он менял города, климаты и людей...

На мгновение она прервала свою речь; Хлопицкий заметил, что глаза ее не видят его: они стали прозрачными, и казалось, что она смотрит в пустое пространство, минуя каждый предмет на своем пути. Пламя в камине постепенно разгоралось, и свеча горела прямо.

— Поразительно, — молвила Марыля, — что он не отступил даже перед этим ужасным вызовом, который нынче все могут прочесть в гимне, единственном на свете, в этой жестокой песне, где он поднимается на борьбу с богом. Видела его однажды в гневе, речь зашла тогда о сильных мира сего, об этих «ясновельможных панах», которых он ненавидел со всей своей молодой яростью; тогда мне подумалось, что когда-нибудь он и сам сделается тираном. И я не ошиблась; если он обладает такой гордыней, что попрал всех мудрецов, пророков и поэтов мира, как топчет змей и гадюк земных, — если он хочет осчастливить людей наперекор их воле, а только в угоду своей завоевательной мечте, насильственно, вопреки им самим, то кто же он такой? Жесточайший из тиранов! Каково же его покаяние, если он выдает себя за равного всевышнему?

Любит ли он людей, способен ли он любить? Ах, сколько снисходительного потворства, против которого я всем сердцем восстаю, в его книгах о здешних людях, в его отзывах о них, хотя бы в этой твоей реплике, мой юный друг, которую я тут услышала из твоих уст! Когда я сравниваю его с моим бедным Лаврентием, который умер раньше меня, чтобы я могла испытать до дна горечь мира сего, не изведав истинной любви, а узнав сиротство и вдовство, поверь мне, он, муж мой, который меня так гневил своей трезвостью, был достоин того, чтобы я его любила.

Сейчас при мне его дочь. Я говорю «его дочь», потому что она ничего не знает обо мне, ничего не понимает из того, что я есть. Была ли я способна к дружбе? Давно уже, должно быть четырнадцать лет тому назад, муж мой взял для Зоси учительницу музыки и пения. Она жила у нас. Хотя я и годилась панне Ксаверии в матери, я была ее подругой. У нас не было друг от друга тайн.

Не знаю, что с ней теперь случилось, кажется, она некоторое время была в Париже воспитательницей его детей. Люди уходят, не оставляя о себе

даже и следа...

Хлопицкий припал к рукам госпожи Путткамер и начал осыпать их поцелуями. Она вдруг оттолкнула его и заплакала.

— Скажите мне, мой юный друг, — молвила она, пристально глядя на него остекленелыми старушечьими глазами, — должно ли это так быть, чтобы благородные творили зло вопреки собственной воле, чтобы они наносили ужасные раны даже своим самым близким и самым любимым? Знаете ли вы, что, когда я услышала о болезни госпожи Целины, я сама была близка к помешательству?

— У госпожи Целины Шимановской было наследственное предрасположение, — вмешался Хлопицкий, чтобы сказать хоть что-нибудь осмысленное, ибо ему уже с какого-то мига стало казаться, что атмосфера в этой комнате среди зимней ночи становится все более наэлектризованной и ненатуральной.

— Нет, это неправда! — крикнула госпожа Путткамер и поднялась в явном негодовании. — Это он ее погубил! Погубил ее! Как меня, — добавила она мгновенье спустя, и руки ее опустились.

Хлопицкий изумился: в первую минуту он хотел вскочить с кресла, к которому сидел прикованный, неведомо за какие грехи, но потом вдова успокоилась после этой неожиданной вспышки и, попросив прощения за то, что вспыхнула, начала глухим голосом:

— Я знаю, что я несправедлива, знаю, что он поступился личным счастьем ради борьбы за счастье человечества; знаю, что у борьбы свои законы, которые он был не вправе преступить. Он смертен, а ведь куда бы он ни обратил взор, перед ним было бессмертие, — оно шло перед ним, почти не касаясь земли, и все еще идет. Кто бы ни находился вблизи от него, благодаря ему становится бессмертным. Меня он тоже наградил этим сомнительным даром.

Я могла бы умереть тогда, тридцать лет тому назад; мне казалось тогда, что я близка к смерти. Могу умереть теперь или спустя десять лет. Немного это значит для будущего. Что я такое в сравнении с ним и с тем великим чувством, которым он объял всю нацию? Я не имею ни малейшего права требовать от него того, что мне не принадлежит. И, наконец, разве он уже теперь властвует над стихиями, которым он дал волю?

Хотя бы я на коленях умоляла его, чтобы он позволил мне умереть неприметной, ничего не значащей и безвестной, он уже не в силах это сделать.

Так восхвалим его за все, что он совершил, за доброе и даже за злое!

Именно в эту минуту вошла, не постучавшись, Марыля Верещак, нет,

прекраснее той, которой уже не было на свете. Юная дочь Марии и Вавжинца Путткамер — Софья. И как только она вошла, наступила полная перемена. Комната, скупо освещенная пламенем свечи, переплетающимся с красным отсветом от камина, повеселела при ее появлении.

Софья не удивилась, увидев в доме гостя, она знала уже о его приезде от слуг. Она поздоровалась с ним, знакомым ей по Вильно, обрадованная тем, что, наконец, кто-то заглянул в эту глушь, где можно было сдохнуть от скуки.

Эдвард смотрел на светловолосую девушку, и в глазах его отражалось восхищение.

«Как это чудесно, — подумалось ему, — что жизнь преобразается с каждым поколением, что она покидает прежние скорбные этапы; что земля, которая является страной воспоминаний для одних, для других является просто землей, землей, порождающей хлеб и счастье!

Эта девушка, нет, женщина уже (взглядом знатока он оглядел ее и решил, что ей двадцать с небольшим), будет хорошей женой и матерью. Она не станет ворошить в памяти давно позабытые дела; жестокость жизни, любви и смерти она воспримет как долг, а не как наказание...»

— Ты не подумала, мама, что пан Хлопицкий устал с дороги и, наверное, проголодался! Прошу вас отужинать, — сказала Софья и шутливо присела, взяв широкую черную юбку за краешки в белые руки. Она сделала это с прелестной иронией.

Прошли в столовую. Свечи ярко пылали в шандалах. В окна была видна ясная зимняя ночь, в окрестных хатенках пылали красные огни, по проселку, засыпанному снегом, двигались черные фигуры, укутанные в тулупы и платки.

— Вот, — сказала панна Софья, — село идет на хаутуры, или, как говорят другие, дзяды.

В чисто подметенных горницах с величайшей тихостью рассядутся по лавкам. Перед каждым хозяйки поставят миску с похлебкой из свиной крови, перед каждым — черную колбасу, набитую мукой, смешанной с кровью, поставят жаркое и пиво в жбанах.

Хозяин в белой рубахе, похожий на призрака, произнесет заклятье: «Душечки мертвые, зовем вас на пир, ешьте и пейте!»

Она произнесла эти слова наполовину в шутку, наполовину всерьез.

— Но это прекрасно сказано, вы могли бы волхвовать, панна Софья! — изобразил удивление Хлопицкий.

— Чьи же это души сойдутся на эту нашу нынешнюю тризну?

Софья шепнула, приложив палец к губам:

— Души светлые, светлые, как облака в лунную ночь.
Госпожа Путткамер сказала тихо:
— Его не будет среди них.

ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ

Одиннадцатого сентября 1855 года в 8 часов вечера Адам Мицкевич вместе с Генриком Служальским и князем Владиславом Чарторыйским выехали из Парижа, с вокзала Лионской железной дороги. В Лионе к ним присоединился Арман Леви^[251]. В Марселе они поднялись на корабль «Табор», который должен был доставить их в Стамбул. На суда, стоящие в гавани, поспешно карабкались навьюченные волонтеры. Все знали уже о взятии Малахова Кургана и части Севастополя. Плавание совершалось при благоприятной погоде. Ночью с палубы видны были звезды.

«Итак, после отъезда из Мальты, — писал Мицкевич дочери своей Марии, — мы направились к берегам Лаконии, имея в поле зрения далекий Крит с его горой Ида; обогнули мыс Матапан. Олесь должен знать его классическое название и какой храм там некогда находился. Оставив в стороне остров Киферу, мы поплыли вдоль Кикладских островов к Паросу и Сиро. Там нас не приняли, так как у нас было несколько больных и один покойник. Мы похоронили его на острове Делос. Место это ныне пустынно, берег лазарета охраняется стражей. Далее, между Хиосом и сушей, мы свернули к Смирне, а возвращаясь оттуда и приближаясь к берегам между Лесбосом и древним Пергамом, увидели троянскую Иду, где греческие боги столько раз сходились на совет. У подножья горы Иды — троянская равнина. Мы были слишком далеко от устья Ксанта и Симоента, чтобы их увидеть, но местоположение могилы Ахиллеса выбрано так хорошо, что ее видно долго и с разных мест; она царит над всем побережьем. Могила Аякса несколько дальше и видна менее отчетливо. Дарданелльский пролив так широк, что было бы трудно поверить, что кто-нибудь мог бы его переплыть, если бы в наше время этого не совершил Байрон. Босфор, хотя и уже, но в нем, как мне казалось, очень сильное течение. Однако через него некогда переправился вплавь наш г. Ленуар, что до сих пор сохранилось в памяти турок. Таким образом, после Леандра и Байрона можно признать Ленуара третьим архипловцом.

Места, по которым мы кочуем, также полны воспоминаний. Вблизи от нас расположена Язония, знаменитая тем, что здесь останавливался на отдых Язон с аргонавтами; с другой стороны Аянтион, где некогда ежегодно устраивались игры в честь Аякса, сына Теламона.

Обо всем этом сохранилась лишь память, да и то в книжках. Все

источено турецким муравейником и прямо-таки облеплено им. Даже здешние греки обо всем этом забыли.

Все время со дня отъезда нам сопутствовала хорошая и очень жаркая погода. Сегодня впервые дождь. Скоро отправляемся на судно».

*

Приближаясь к гавани, путники увидели Стамбул, окруженный холмами; туман рассеялся — ясно были видны исполинские кипарисы. Многочисленные торговые суда, транспорты и военные корабли стояли в гавани.

«Табор» протискивался теперь среди парусников, едва не задевая за пароходные трубы.

Начался таможенный досмотр. Потом носильщики взвалили на плечи чемоданы и саквояжи приезжих и повели их в сторону квартала Галаты.

Путники вступили в узкие грязные улочки, шли среди деревянных лачуг. Мицкевич поселился в обители лазаристов вместе с Леви и Служальским.

Небольшая комната, вернее — келья. В трех углах — матрацы, в четвертом — дверь. Плащи должны были служить одеялами в холодные ночи; дорожный сундук, покрытый узорчатой тканью, — кушеткой для гостей; седло имитировало ночной столик^[252].

Весть о прибытии польского поэта мгновенно облетела Стамбул и его окрестности. Уже на следующий день казацкие старшины пришли по древнему славянскому обычаю поднести Мицкевичу хлеб-соль.

Во главе этой депутации стояли Гончаров, атаман Некрасовцев. Это были казаки, которые от царского гнета бежали с Кубани в Добруджу. Их главарь Игнат Некрасов предался Турции.

«Взгляните, — сказал Мицкевич своим друзьям, — это наши донские, запорожские, украинские братья. Эти кунтуши, пояса, эти бараньи шапки, эти желтые и красные сапоги — вспоминаете? — гордость наших предков, нынче наша скорбь! Нынче наши польские жантильомы во фраках и белых перчатках хотят возглавить народ. Но народ чувствует в них чужаков и языка наших графов не разумеет».

Это посещение очень взволновало его. «Отчего это я так волнуюсь, — подумал он, — неужели старость пришла?»

И то же самое повторилось во время визита к некоему Гропплеру,

краковянину, когда жена этого торговца мрамором и бурой, увидя Мицкевича у себя в доме, до того смутилась, что у нее чуть не отнялся язык. И только непринужденное поведение поэта вывело ее из замешательства.

Кароль Бжозовский^[253], сопровождавший тогда пана Адама, рассказывает, что когда они выходили от Гропплеров, Мицкевич, приостановившись, сказал вдруг:

— Значит, вы меня так любите? А что же вы отдаете святым? — Он отвернулся и стал глядеть на темные волны Босфора. Ветер, веющий оттуда, развеивал его седые волосы. Из-под век незаметно скатилась слеза.

В другой раз, во время прогулки по стамбульскому кладбищу, он рассказывал Каролю Бжозовскому некий эпизод путешествия, который глубоко запомнился ему:

«Меня уверяли, что в Смирне должен быть грот Гомера, но там меня это не занимало. Я присматривался к кое-чему иному. Валялась там куча навоза и мусора, все остатки разом: навоз, помои, кости, битые горшки, кусок подошвы от старой туфли, чуточку перьев — вот что мне пришлось по душе! Я долго стоял там, ибо все было точь-в-точь, как перед корчмой в Польше. Но сын мой уже не понял бы этого...»^[254]

Беседуя с молодыми, он вдвойне ощущал бремя своих лет. Неужели это была старость?

Пришел к нему князь Владислав Чарторыйский, который только что вернулся из Терапии, где находился по приглашению французского посла.

Мицкевич тщетно подыскивал слова, беседа прерывалась не только из-за расхождения во взглядах между молодым князем и старым поэтом. Князь Владислав чувствовал неловкость, когда обращался к Мицкевичу с просьбой, — он был не вправе приказывать ему. Эта покорность перед лицом славы и возраста мучила его в особенности потому, что из обязанностей, которые были на него возложены, проистекала необходимость контролировать каждый шаг, предпринимаемый Мицкевичем.

Доверенные лица отдавали молодому князю рапорты чуть ли не о каждом разговоре Мицкевича. Рапорты эти странствовали морским путем, а потом посуху попадали в руки старого князя.

Адам Мицкевич и молодой князь нанесли дипломатические визиты послам Англии и Франции. Лорд Стрэффорд принял князя Владислава с хорошо продуманной холодностью, — это должно было означать, что Англия ничего не сделает для Польши, официальным представителем

которой был князь; однако массу любезностей посол расточал Мицкевичу, не имеющему никаких официальных полномочий.

Миссия, с которой прибыл Мицкевич, сразу же встретила затруднения. Садыка-паши не было в Константинополе. Он выехал в Чингане-Искельси. Зато Мицкевич нередко навещал жену Садыка, Людвигу Снядецкую, с которой был знаком с виленских времен.

В те давно прошедшие времена она была красива. Теперь она была уже пожилой дамой; худая, смуглая, рослая, она не обжигала уже поклонников черными очами, но теперь людей сгибала ее врожденная властность.

«Императрица», — впоследствии скажет о ней Зигмунт Милковский^[255]. И в самом деле, в ней было нечто вызывающее уважение.

Ее сильная индивидуальность, ее воля, умеющая повелевать, сочеталась с немалой пронырливостью. После бурной молодости она встретила на своем пути мужчину, одаренного буйным темпераментом, но удивительно податливого.

Она сумела поработить его строптивый и зыбкий характер, подчинить своему разуму его дюжинный ум, подрезать крылья его слишком смелым грезам.

С тех пор как Михал Чайковский узнал эту женщину и поддался чарам ее разума и воли — ибо в момент, когда она стала его женой, она не могла уже привлечь его ни красотой, ни молодостью, — все чаще перо его, понаторевшее в писании стихов и пухлых романов, оказывалось порабощенным и покорно поскрипывало, правя подсунутые мудрой Ксантиппой докладные записки и дипломатические отчеты. Женщина, юная прелесть которой некогда покорила Словацкого (следует заметить, что она заведомо не принимала в этих поэтических восторгах ни малейшего участия), в действительности была полной противоположностью тому, что романтические поэты ценили в представительницах прекрасного пола.

В молодости она обожала альбомы, переплетенные в сафьян, была байронически бледна, и все-таки душа ее не вмещалась в рамках своей эпохи. Чайковский обрел в Людвиге свое дополнение, признал ее превосходство и бесповоротно подчинился ей. Это под ее влиянием он без особых раздумий принял мусульманство. Дочь Енджея Снядецкого во взглядах своих далеко опередила современных ей женщин; она отличалась непреоборимой склонностью к эмансипации.

Дом Садыка-паши стоит на холме над Босфором. Большая деревянная усадьба. Людвика Снядецкая, привлеченная сначала экзотикой Востока, в дальнейшем не намеревалась играть роль байроновских героинь. В этих

мерцающих рубинами краях, в этих краях, похожих на поэмы лорда Байрона, сидя взаперти в деревянных хоробах, она сразу же погрузилась в хитросплетения дипломатических интриг, не боясь запутаться в их сетях. Усадьба превратилась вскоре в политическое агентство. Чайковский отлично почувствовал себя на турецкой земле. Он верил, что полякам назначено судьбой отважно рубиться саблями и нюхать порох; он питал отвращение к европейской цивилизации, которая не давала выхода его огненному темпераменту. Он и впрямь был создан для коня и сабли.

*

Вскоре Садык-паша возвратился в лагерь под Бургасом и стал ожидать там приезда Мицкевича с молодым князем.

Четвертого октября Мицкевич вступил на борт английского корабля «Патрик» и, переночевав в каюте, утром отправился в Бургас. Князь Владислав на этом же корабле вез мундиры для второго казачьего полка. В лагере под Бургасом 14 казачьих сотен приветствовали прибывших.

Два польских полка, составленных преимущественно из казаков, стояли лагерем под Бургасом, оглашая воздух бряцанием шпор и гомоном. С холма открывался широкий вид на темно-синее в этот миг море. Темные клубящиеся тучи висели низко над головами. Спускались сумерки, зажглись тысячи костров.

Наступала ночь, небо было затянуто тучами. Пространство между землей и небом сокращалось и как бы сгущалось. Казаки Садыка-паши в свете бивачных огней выглядели экзотично даже на этой земле. Экзотика их располагалась не в пространстве, а во времени. Фигуры их воскрешали Запорожскую Сечь, вызывали смутную память о делах давно минувших; они были удивительно чужды своему времени, в той новой роли, которую навязала им чужая, непостижимая для них воля Садыка-паши.

Бараньи шапки, высокие сапоги, усатые лица, пики и бунчуки — все это было уже несколько театрально, как будто эти люди позировали Истории для живой картины.

Спутанные кони топтали давно общипанный луг, покусывали друг друга и ржали. Печальный визг несся в темноту, сливаясь с бречением оружия и отдаленным рокотом моря.

Вскоре произошла встреча Мицкевича с Садыком-пашой. Садык-паша в эти дни как раз яростно пререкался с графом Замойским. Граф, получив

от своих британских покровителей генеральское звание, которого долго добивался, ибо со званием этим был связан высокий оклад, вербовал офицеров и солдат в полк, который должен был состоять на жалованье у англичан. Мицкевич доверял Чайковскому, план Замойского считал диверсионным, отвлекающим, гневался на то, что граф подчиняет духовные цели целям материальным. Перед поэтом стоял в эту минуту в турецком шатре Садык-паша, а собственно — Михал Чайковский, польский шляхтич. Плотный, крепко сбитый, лицом похожий на кречета, чернобородый, в феске со звездой и полумесяцем. Плащ с откидными рукавами, золотые эполеты, ордена на груди. Ударял по эфесу сабли, когда говорил о Замойском.

— Я и он — огонь и вода. Взгляни, — и показал на письмо от графа. — Пишет мне тут, что договорился с англичанами. А вот *corpus delicti*, — Садык отвел завесу шатра, — четыре пушчонки, дар оттоманским казакам. *Timeo Danaos...*

Мицкевич взвился с места; седые волосы посыпались на потертый воротник его сюртука.

— Я знаю Замойского! Это предательство! Прислал пушки, чтобы салютовать своему предательству, как салютовал вступлению в Галицию генерала Раморино и лучшего корпуса польской армии [\[256\]](#).

— Я досыта насмотрелся на то, как тут начинал всесильный лорд Ретклиф, — произнес Садык-паша. — Вся наша надежда на Францию. Людвика такого же мнения. Пока мне хватит сил, я буду привлекать славян к Турции и Франции. Император и господин Валевский ничего не смыслят в деле. Игра князя Адама весьма прозрачна... Прислал тут этого дурня Владислава... Этот шпион Ленуар...

*

Князь Владислав выехал из Бургаса, даже не попрощавшись с Садыком-пашой. Он не обладал дипломатической гибкостью отца и той сладкоречивостью, которая вербовала князю Адаму приверженцев. Он молчал, слишком явно демонстрируя, что не хочет ни с кем считаться. Мицкевича он недвусмысленно игнорировал. В этих условиях трения были неизбежны.

Однажды ночью Мицкевич, оставшись с ним с глазу на глаз в палатке, сказал напрямик:

— Ведь ты, князь, приехал сюда, чтобы вырвать из рук Садыка его дело? Ты думаешь, что я этого не вижу? Ты хочешь погубить Садыка, но не делай этого по крайней мере под его кровлей и за его столом!^[257]

После чего вышел из палатки. На следующий день молодой князь получил письмо от Мицкевича. Мы не знаем содержания этого письма. Но, во всяком случае, князь не пришел проститься с Мицкевичем перед своим отъездом из Бургаса. Мицкевич сокрушался по поводу такого оборота дел. Силы покидали его. Холодные ночи в палатке вредили ему, хотя он и не решался себе в этом признаться. Две недели, проведенные в Бургасе, дали ему предвкушение военного житья, несколько горькое предвкушение, ибо он был уже далеко не юношей. И, однако, он не хотел отказать себе в этих бивачных наслаждениях. Он спал в лагере, ел простую солдатскую пищу, участвовал во всех смотрах, выезжал с другими на охоту. Ибо офицеры Садыка-паши страстно охотились. Можно сказать без преувеличения — жили охотой. Итак, Мицкевич сажался на кроткого буланого коня по кличке Крокодил, сажался в седло со стула, поскольку он был уже грузен и не имел навыка в верховой езде.

На рисунке Петра Суходольского, капитана 1-го полка казаков Садыка-паши, сделанном с натуры, мы видим одно из чуть ли не ежедневных возвращений с охоты, закрепленное на вечную память: Мицкевич на коне, в бурке; сопровождают его Садык-паша и Генрик Служальский в казацкой шапке. Ординарец Садыка-паши Мехмед с убитым зайцем-русаком в руке скачет рядом. На заднем плане — шатры бургасского лагеря, знамя, на котором крест кощунственно соседствует с полумесяцем.

*

Во время одного из смотров войска Мицкевич увидел группу евреев, служащих под знаменем оттоманских казаков. Тогда ему пришло в голову, что можно бы создать отряд, составленный исключительно из иудеев. Он зажегся этой мыслью. Из группы — отряд, из отряда — легион. Решил действовать немедленно.

«Дело началось чисто бескорыстно и вне всяких расчетов человеческих... Вот, собственно, под шатрами Бургаса и родился этот проект. Вдохновил Мицкевича вид еврейских солдат. При первых словах, которые я произнес, Мицкевич, Садык и я признались, что одновременно пришли к одной и той же мысли и каждый говорил то, что от него ожидали

другие. Таким образом, творятся великие дела. Вот и все». (Письмо Леви к Беднарчику.)

Поэт доверял своей мистической историософии, в унии с Израилем видел укрепление грядущей Речи Посполитой. Шел за ним верный его ученик, преданный ему не на жизнь, а на смерть, Арман Леви. Ученик евангелиста. Он тотчас же отправился в полк оттоманских казаков, и вскоре от главнокомандующего оттоманских казаков Мехмед-Садыка, или, что то же, Михала Чайковского, получил грамоту, в которой этот последний уполномочил молодого волонтера вербовать людей для корпуса казаков, а также уполномочивал его вести переговоры с еврейскими старостами в Константинополе в деле создания полка, составленного исключительно из евреев.

Евреи эти были преимущественно военнопленные, родом из Польши и из России, добровольно согласившиеся служить в полку оттоманских казаков. Они ненавидели николаевскую империю, которая причинила им множество несправедливостей, ненавидели не меньше, чем поляки. Да и вообще у них не было другого выхода. Отечество отказало им во всех правах, кроме права на жизнь, жалкую и презираемую всеми, которые не родились евреями. Тщетно искали бы они в мире иную отчизну, чем та, которую они обрели здесь, на чужбине, под покровительственной и суровой властью Садыка-паши. Этот паша, подобно им, был не в ладах с самим собой: отрекся от веры и знатной фамилии; они не отреклись, правда, от веры и жалкой, возбуждающей смех фамилии, но там, в Польше, в России и всюду по белу свету, их отвергали, недолголюбивали или ненавидели. Паша хорошо относился к этим евреям-солдатам, хотя и он посмеивался порой над их фамилиями, а иногда над их солдатской выправкой.

Фамилии их и впрямь были конгломератом звуков польских, немецких, древнееврейских и бог весть каких. Были там солдаты: Мошек Цибуля, и Аарон Розенберг, и Давид Целёнчик, и Шлёма Огаринский, и Самуэль Виногура, и Ария Гликсманович, и Берек Штамберг, Абрам Пайтач, Каган и др.

Были среди них brave солдаты. Герман Шапир, вахмистр Якуб Цигельбаум и подпоручик Михал Горенштейн были награждены военными медалями за отвагу в бою. Но, конечно, ни отвагой, ни кровью, ни смертью даже не могли смыть первородного греха — факта, что родились евреями. Это было до того привычно и естественно, что никто не удивлялся этому, даже они сами.

— Это грустно, но так уж есть... — говорили они, и это казалось им

достаточным объяснением этого феномена. — Так уж есть, — говорили они, — может, через сто лет будет иначе.

Это «может» придавало их словам оттенок скептицизма, который рассматривался многими как специфически еврейская черта. Удивительная логика аффекта и отвращения приписывала им противоречивейшие свойства.

Свободен от этих черт, свойственных по распространенному мнению расе, которая произвела царя Давида и Иисуса Назарейского, был неразлучный товарищ Мицкевича в дни турецкой эпопеи Арман Леви. Леви был католиком; уже дед его, родом из Меца, ради любимой женщины изменил вере отцов. Отец Армана был наполеоновским офицером, а затем стал нотариусом в Париже. Арман Леви о своем еврейском происхождении знал уже только из семейного предания. Бонапартист и либерал в одно и то же время, находившийся в дружественных отношениях с аббатом Ламменэ, он не придавал никакого значения этим своим давнишним уже связям с расой царя Давида.

Только под влиянием Мицкевича пробуждается в нем поначалу чисто теоретический интерес к еврейскому вопросу; теперь, когда вопрос этот стал осязаемым и конкретным, Леви со свойственной ему увлеченностью занялся формированием иудейского легиона. Любовь, которую он питал к Мицкевичу, воодушевила его на дело, дорогое польскому поэту. Леви склонен был, подобно самым пылким своим современникам, в любую минуту совершить рискованный прыжок в пропасть, отделяющую реальную землю от утопии. Теперь его больше всего занимала мысль об участии солдат Садыка-паши. Действительно, в войске царила суровая дисциплина, за пустячную провинность били палками. Телесные наказания были фактом, с которым этот француз, чувствительный к человеческим страданиям, никак не мог примириться. Он не раз поверял свои заботы Мицкевичу. Но ведь была война, лазареты были залиты кровью солдат, раненных под Севастополем. Среди потоков крови русской и турецкой никто не обращал внимания на эти придорожные лужицы. Дипломатия и интрига старались выиграть любую мелочь ради своего дела, а не ради человеческого блага.

Выезд Армана Леви в Турцию обеспокоил бдительного агента князя Адама Зверковский шлет письма Служальскому с настоятельной просьбой сообщить ему, какова, собственно, роль «этого еврея» в Стамбуле. Зверковский не доверяет Арману Леви, знает о нем, что тот принимал участие в баррикадных боях 1848 года. Этого обстоятельства агенту князя Чарторыйского более чем достаточно. Служальский в письме к

Зверковскому-Ленуару успокаивает его, характеризуя Армана Леви как дотошного копуна, кабинетного ученого, филолога, который денно и ночью корпит над книжками, обучаясь турецкому, греческому и польскому языкам.

Дело еврейского легиона как-то все не клеилось. Великие державы отнеслись к нему весьма сдержанно, явно не желая брать на себя излишних обязательств; также и Блистательная Порта, хотя она в принципе и выразила согласие на создание легиона, не дала фирмана. В этой затяжной тактике был отчасти повинен и сам Садык-паша, который под влиянием жены не слишком энергично действовал в столь неблагоприятном и не сулившем особых выгод деле.

Тем временем Мицкевич возвратился в Константинополь, в свою монастырскую келью у лазаристов, на Галате. Келья была сырая, к тому же очень докучали мухи. Он пытался найти приют где-нибудь в другом месте. Перебрался, наконец, на Перу. Жалкое это было жилье. Сквозь единственное квадратное оконце сочился свет, мебель была убогая, «комната пахла запустением и напоминала наши корчмы осенней порой на украинских шляхах»^[258].

Улочка, на которой стоял этот домик, последнее пристанище пилигрима, была очень узкая и грязная. Чтобы глотнуть воздуха, нужно было выбраться отсюда на берег Босфора. Гигантские кипарисы стреляли тут высоко в небо. От вод пролива шло оживляющее дуновение, вдали были видны затуманенные горы азиатского берега.

Мицкевич чувствует себя тут свободней, чем в Париже, хотя здоровье изменяет ему. Он вспоминает Литву, которая по характеру и обычаям куда ближе этим восточным краям, чем Франция времен Второй империи. Стамбул, древняя Византия, дышит памятью давних событий: полуразрушенные крепостные стены; врата, сквозь которые Магомет Второй въехал в город. В беломраморной мечети Эйюб хранится знамя Пророка. Храм Святой Софии, огромный, как горный кряж; византийские святые неподвижны и плоски, как прошлое. Краски и позолота потемнели от времени. Острые, как пики, минареты мечети султана Ахмеда. Главная улица Перы кишит дикими контрастами. Нищий в отрепьях и богатый купец в феске, нищенка и женщина под яшмаком^[259]. Носильщики тяжестей, бочек и тюков сгибают шеи под жердями. Они покачиваются на ходу и хрипло покрикивают на зазевавшихся пешеходов: «Гварда! Гварда!» Языки мешаются в говоре узких улочек. Истинное вавилонское столпотворение! Когда проезжают крытые лазурным лаком рыдваны с

султанскими одалисками, прохожие ускоряют шаги: им возбраняется наслаждаться этим чересчур соблазнительным зрелищем. Чадры молодых девиц из гарема султана настолько прозрачны, что можно мельком увидеть, как горят за ними черные очи, как пылают румяные лица.

Купцы на базарах пребывают в молчаливой задумчивости. Великолепные ковры и парча соседствуют со слякотью. Бронзоволицые всадники сдерживают диких жеребцов на улицах, где экипажи — великая редкость. Чужеземец должен терпеливо учиться азам этой чуждой для него жизни. Если он живет здесь недолго, все для него внове. Куда труднее тем, которые навсегда поселились тут.

*

Мицкевич в споре между Садыком и Замойским мог не только из принципа, но и от всего сердца стать на сторону Садыка. Спустя несколько дней после возвращения из Бургаса он писал князю Адаму:

«Я нашел Садыка в тех же самых чувствах к Польше и к особе вашего сиятельства, какие знал в нем прежде, и все его ближайшее окружение настроено таким же образом. Я пробыл там две недели. У меня было достаточно времени, чтобы часто и обстоятельно беседовать почти со всеми офицерами. Я посещал и солдат. Мне не раз приходила мысль, сколь большой была бы ваша радость, если бы вы там были с нами. Прибавлю, что до нашего выезда в Бургас мы наслушались здесь удивительнейших рассказней о Садыке и его лагере. Нас предостерегали, что там голод, чтобы мы запаслись сухарями и ветчиной. Нам нашептывали, что мы можем подвергнуться нападению. Мы смеялись над этим, и справедливо. В лагере Садыка царит порядок, а вместе с тем бодрость и веселость. Солдаты очень привязаны к своему командиру, офицерский корпус подобран из замечательных людей. Там имеются и старые военные и молодежь из Познани и Польши. Все живут в согласии, по-братски. Дух и тон, царящие там, далеки и от грубой солдатчины и от салонной расхлябанности. Мне казалось, что я побывал на лоне отчизны, и, если бы не внезапное недомогание, нелегко было бы мне расстаться с этим лагерем.

Ты, конечно, знаешь, княже, что у Садыка-паши есть разные сотни: наряду с украинскими есть добруджийские и кубанские. У нерегулярных казаков введена более строгая дисциплина, однако я видел, что эта дисциплина не ослабляет их привязанности к полку и к командиру. Второй

полк меньше мне знаком, ибо жил я в первом; все говорят, однако, что он составлен из храбрых солдат (это видно также по их наружности) и что сегодня они могли бы стать на линии огня. Такое формирование, если бы оно развилось в большее число поляков, могучим стало бы орудием для польского дела. Для этого есть казацкий элемент в самой Турции, ему сочувствуют болгары, валахи, не говоря уже об Украине.

Чем сильнее я все это чувствую, тем больше огорчает меня нынешнее разделение двух полков, за коим пойдет разделение элементов, которые, без сомнения, следовало бы объединить и которые так счастливо начали объединяться сами. Виновник этого разделения — пан генерал Владислав Замойский; не с нынешнего дня он этим занят. В Париже я ничего об этом не знал. Слухам не верил, а пан генерал Замойский неоднократно меня заверял, что все делает согласно воле вашего сиятельства, в согласии с Садыком-пашой. Так не было и так не есть. Не может быть вашей волей, князь, чтобы порушить дело Садыка. Пан генерал Замойский этим занимался. Противопоставляемый тут Садыку, как доверенный и родственник князя, он имел большой перевес над Садыком, как над своим протеже. Протежировал ему, но выражая сожаления одному, что Садык-де не знает войны; другому, что он-де ославлен в Польше, и т. д. и т. д. Тем у некоторых турок Садыку повредил; помог ли себе, не ведаю. Теперь у Садыка снова отнята часть солдат задержанием военнопленных, которые гурьбой валили к казакам. Князь Владислав говорил, что их задерживают затем, чтобы в лагере они не бедствовали. А нынче слышу, что они должны быть отправлены в английский контингент безусловно со вторым полком. Какие будут отношения этого контингента с Польшей и с казаками, которые именем и традицией связаны еще с нашим делом, не ведаю.

В настоящий момент второй полк, который долго не получал жалованья и не имел обмундирования, находится материально в лучших условиях, поддерживаемый англичанами, но в дальнейшем возникнут трудности, которых, как мне кажется, генерал Замойский не предвидит. Лица, разделяющие мнение пана генерала Замойского и ревностно жаждущие перехода на английское жалованье, постоянно говорили мне о воинских званиях, славных в будущем, о большой плате, о скорых авансах — словом, только о выгодах.

На таких людей мало можно рассчитывать, и преувеличенные надежды их быстро развеются. Могу заверить ваше сиятельство, что за все время пребывания в лагере ни разу, ни единого разу не слышал ни одного слова о званиях, выгодах и будущих спекуляциях, и система привлечения людей только материальными видами, которая, кажется, свойственна пану

генералу ЗамоЙскому, не столь могущественна, что мы видели на примере короля Луи Филиппа.

Я оскорбил бы, может быть, себя самого, если бы стал заверять князя, что во всем том, что я пишу о генерале ЗамоЙском, нет никакой личной неприязни или предубеждения. Так или иначе дело сделано. Уповаю только, что ваше сиятельство в будущем более точно станете оценивать донесения пана генерала ЗамоЙского и судить о его действиях не по речам, а по его делам. Я говорил это все, что тут пишу, князю Владиславу; говорил и то, что князь Владислав смотрит на вещи глазами генерала ЗамоЙского и все течение польского формирования знает по истории, которую ему рассказал пан генерал ЗамоЙский, истории, совершенно несогласной с фактами.

При нынешнем положении вещей я не знаю, что предпримет Садык-паша. Он, во всяком случае, питает надежду продолжения казацкой эпопеи и в усилиях не ослаб; не вижу, однако, каким способом он сможет реально действовать именем вашего сиятельства и опираясь на ваш авторитет, имея рядом с собой пана генерала ЗамоЙского, который, также именем вашего сиятельства, будет ставить ему палки в колеса.

Недомогание удерживает меня до сих пор дома. Небольшую имею также охоту видеться с официальными лицами, которые прежде всего спрашивают о причинах дразг между поляками. Отвечаю, что следует об этом спросить ваше сиятельство. Не умею придумать иного ответа».

И в самом деле, он чувствовал себя прескверно. Он утешал себя тем, что слабость пройдет, и в конце концов все, которые сюда приехали, чем-то переболели, это как карантин! Любовь к делу, ради которого он прибыл в Турцию, помогала ему справляться с немощами стареющего тела. Он, который с верой средневекового монаха презирал эту брентную оболочку, решил снять с порядка дня все, что связывало его свободу. Ведь он восстал из библиотечного склепа, чтобы оказаться тут, над Босфором.

«Теперь я здоровее, — писал поэт Софии Шимановской. — У меня было обычное недомогание, лагерное, все им гам перестрадали. Несмотря на то, что я там прихварывал, я тоскую по лагерю». И вспоминая общих знакомых: «Может быть, ты вспомнишь Кучинского? Он часто бывал у меня в Батиньоле. Марыля его видывала, он просил кланяться ей. Теперь он полковник арабов и начальник штаба египетских войск. Я его сначала совсем не узнал. Черен как араб и бедуин в каждом жесте... Не помню, знали ли вы поэта Бервинского?^[260] Он бывал у меня в Париже в прошлом году. Я ценил его сочинения, разве только что он впадал в хворобу, похожую на Норвидову, и становился занудливым. Теперь он в лагере,

здоров и крепок, командует взводом и одновременно трудится в штабе. Его немного дразнят коллеги тем, что он литератор, от чего он отпирается. Тут ведь литература не приносит выгод».

И, однако, теперь, сидя дома, ибо он скверно себя чувствует, Мицкевич пытается писать. Сделал набросок сцены к драме о Ясинском. Она не была повторением французской драмы. Могла стать зачатком польской версии. Перо, подневольный батрак поэта, отказалось повиноваться ему. Он бросил эту сцену и перешел к другой, на французском языке — «Conversation des malades»^[261] — и снова убедился, что время книг для него минуло безвозвратно.

А в эти дни дело еврейского легиона входило в новую фазу. Мицкевич и Леви в смелых грезах видели уже развевающиеся знамена макавеев. Но великий мечтатель не остановился на одной только идее. Он тотчас же хотел облечь ее в плоть. Он не принадлежал к пассивным созерцателям, он должен был мять жизнь в руках, как глину.

С яростью одержимости одолевала его не раз уже идея, и он бросался в жизнь, чтобы вырвать у материи образ для своей мечты. И именно тогда, когда он брался за исполнение ее, когда ему казалось, что она исполняется, разверзался ад. Он хотел, отдавая себя всего, из воздуха и слякоти лепить изваяния, а это никак не получалось. Однажды он уже проиграл в единоборстве с Замойским, проиграл в борьбе с папой, лишился кафедры в Коллеж де Франс и теперь вновь погрузил руки в глину Стамбула. В мечтах своих он видел Израиль, вооруженный и возрожденный. Ничего из этого не понимал Чайковский, считающийся единственно только с еврейской плутократией, представитель которой в лице Израиля Ландау, посланца барона Альфонса Ротшильда, только что прибыл в Стамбул, чтобы вести переговоры с Портой касательно военного займа. Миллионы Ротшильда должны были — ради целей, известных только ему одному, — перенестись в Турцию.

Мицкевич знает, что земные средства неизбежны и необходимы для того, чтобы совершить что-либо на грешной земле, но он совершает все это так, как будто за пределами земли существует еще что-то, что с магнетической силой привлекает его мысли и чувства. Идея еврейского легиона беспокоит также супругу Садыка-паши. Всяческие подозрения зарождаются в трезвой и практической голове госпожи Людвики. «Дорогой мой, — признается она уже после кончины Мицкевича мужу, — часто мне приходила мысль, я доверю ее только тебе, ибо тебе она, быть может, тоже взбрела на ум; если бы он еще жил, то я бы не сказала даже тебе: быть

может, и Мицкевича origine^[262] было таким, или происхождение его семейства, или его жены, ибо откуда такая его любовь к Израилю?

Никогда, однако, этой мысли не имела, пока, читая ему твое письмо, не дошла до «паршивого жида»; как он задрожал, как возмутился, не знаю, можно ли вчуже так любить, а может быть, он так любил свой замысел и идеи свои?» (Письмо от 16 января 1856 года.)

А он и впрямь любил свой замысел, мечту свою и поэтому искал воплощения для этой своей любви, поэтому впадал в гнев, когда земные обстоятельства становились ему наперекор. Влетело от него и Чайковскому за его сопротивление в деле легиона Израиля. Садык-паша жаловался потом в своих «Мемуарах»: «Адам Мицкевич был душой этой комбинации и руководил всей работой и письменно дал мне нагоняй за то, что я написал своей жене, что это будет неслыханный ужас — видеть вооруженных евреев бок о бок с казаками под командой польского шляхтича».

Вот и создавай тут легион! Облачай его в мундиры оттоманских казаков и приказывай ему маршировать в польское отечество и дефилировать под окнами шляхетских усадеб, чуть ли не с маюфесами на устах!

*

Князь Владислав Чарторыйский выехал из Константинополя, не простившись с Мицкевичем. В день отъезда он получил от Мицкевича письмо, в котором поэт говорил без обиняков, не скупясь на упреки и горькие укоризны.

«Ты предстал здесь, князь, — писал он (письмо от 19 ноября 1855 года), — не как представитель или один из представителей польского дела, но как доверенный агент пана Владислава Замойского, присланный для того, чтобы вредить Садыку-паше... Идеалом пана Замойского было, как видно, стать генералом британской службы. Этого он достиг. Предназначение его, — прибавлял с иронией, — приближается к своим пределам. Но каково может быть положение ваше под главенством этого генерала, какова может быть будущность нации? Не вижу никакой!»

В тот же день он писал Северину Галензовскому^[263]: «Пан Замойский, введенный тут в службу турецкую благодаря Садыку, начал с того, что ему именем князя Чарторыйского всюду вредил и после бесчисленных интриг

оторвал у него второй полк и передал в английский контингент».

«То, что говорилось о злоупотреблениях, волнениях и стычках в лагере, является ложью. Могу ручаться, как свидетель и очевидец, что никогда не видал более красивых, бодрых и исправных войск. Тем печальней было мне видеть эту связь, уничтоженную роковым влиянием Замойского, который тут своими жульническими действиями восстанавливает турок против поляков... Я представил князю Адаму всю истину, представил во всей неприглядности образ действий пана Замойского, не сомневаясь в том, будут ли из этого какие-либо последствия, в особенности потому, что князь Владислав, который сюда приехал, околдован Замойским, и все видит глазами Замойского, и из-за него окончательно погибнет».

«Околдованный Замойским», молодой князь уехал в Париж. Не стоило и искать какого-либо пути к сердцу графа Замойского. Мицкевич знал, что все попытки были бы напрасны. Граф, пребывающий теперь 'в Англии, был всегда вежлив, он был слишком учтив, чтобы быть искренним. Между человеком, каждое слово которого взвешено, и человеком, уста которого не умеют лгать, не может быть взаимопонимания. Гнев является единственным оружием праведного. Но гнев этот в столкновении с вероломством оказывается бессильным, обращается против самого праведного, как тяжкий меч, отраженный ловким и легким движением противника. Уже князь Владислав говорил с иронией и тайным презрением о вечном возбуждении поэта. Граф еще глубже презирал это оружие справедливых и слабых. Аргументы праведного и справедливого в поединке с коварством, аргументы, подобные легкой кавалерии, переносящейся с места на место молниеносными скачками, утрачиваются пункт за пунктом; их правдивость ставится под вопрос передвижением внезапным и целенаправленным. Оружие справедливого выбито у него из рук; единственное, что ему остается, — это его собственное постоянство, постоянство, с которым одинокий противопоставляет себя Земле и Небу.

Замойский продал второй полк англичанам за генеральское звание. Князь Адам Чарторыйский помалкивал, сидя вдали от этого театра гражданской войны — в Отеле Ламбер.

Если Мицкевич еще обманывался, если он еще тешился иллюзиями, что старый князь вмешается в эти дела, ошибка его была благородной, однако не свидетельствовала о знакомстве с закулисной стороной всей этой истории.

Происки графа оскорбляли нравственное чувство Мицкевича. «В последние дни он говорил об этом, — по свидетельству Леви, — с

удивительной, но правдивой горечью, как об истинном ударе для Польши». Однако он не опускал рук, трудился дальше вместе с Леви, принимал рапорты о делах еврейского легиона. Он учился турецкому языку, как будто предполагая остаться здесь надолго. Так проходили дни, которым суждено было стать последними днями его в земной юдоли. Но вот пришла та ночь и тот роковой день. Дождь без устали, косо бил в стекла жалкой комнатухи. Мицкевич чувствовал себя неважно. Леви тоже прихварывал.

«В десятом часу вечера, — писал Леви сыну поэта, — я пошел пожелать ему спокойной ночи. Потом он зашел еще ко мне, чтобы принести мне, как обычно, на ночь вторую шубу. Я чувствовал себя прескверно. Примерно в полночь твой отец встал, чтобы напиться чаю. Я заметил это, но был настолько обессилен, что только повернулся на другой бок, не подумав даже помочь ему».

«26 ноября, — согласно свидетельству Служальского, — Мицкевич встал вдруг с постели, чувствуя тошноту. Я пристал к нему, прося, чтобы он показал язык. Он ответил мне, что это пустяки, что это желчь, и улыбнулся, говоря: «Ты так, вижу я, как Юзя, во время болезни матери. Кто бы ко мне ни приходил, малыш требовал: «Покажь язык!» Внезапно, среди постороннего разговора, я сказал ему, что, может быть, неплохо было бы посоветоваться с доктором; может быть, он признал бы необходимым прописать слабительное или какие-нибудь травы. «Оставь меня в покое, это пустяки; вот скажи лучше, чтобы мне поскорее подали кофе». Выпил, как обычно, около восьми утра, стакан кофе с коньяком, густыми сливками, без сахара и с маленьким, в два пальца, кусочком хлеба. Стал курить».

Позднее ему полегчало. Леви пошел за врачом, но и в мыслях не имел, что это холера или какая-нибудь другая столь же тяжелая болезнь. Мицкевич не поддавался слабости, беседовал с посетителями, хотел подавить в себе недуг. С полковником Кучинским он весело болтал как ни в чем не бывало, после чего, переменяв внезапно тему, начал говорить с оживлением, как всегда, когда дело шло об общественных делах, о войне, о последних известиях с театра военных действий. Кучинский ушел, обещая еще вернуться. Вид Мицкевича, несмотря на то, что поэт явно не придавал значения своей слабости, беспокоил полковника. Позднее, когда в светлых мундирах еврейского легиона вошли поручик Горенштейн и его приятель Де Кастро, испанский еврей, Мицкевич шутил с Горенштейном и с его товарищем, что они вырядились в мундиры израильских гусаров.

— Голиафы, Самсоны, Олоферны... — добродушно шутил он.

После полудня его стали терзать ужасные боли, он не хотел принимать никаких лекарств, а когда его принуждали, воскликнул:

— Дайте мне лучше нож!

Позднее спазматические боли несколько ослабли. Больной принял лекарство. После первой ложечки капель ему стало лучше. Боли утихли, но вскоре разыгрались снова, хотя и с меньшей силой. Врач сказал ему:

— Пройдет, если вы терпеливо будете принимать лекарства.

Больной улыбнулся. Миг спустя он обратился к Служальскому и сказал естественным тоном:

— Возьми бумагу и перо, буду диктовать.

Но когда Служальский исполнил просьбу и стал у постели, больной произнес изменившимся голосом:

— Нет. Мне плохо. Взгляни, не синют ли у меня руки и ноги. Я хотел бы немного поспать... — И, выставив указательный палец правой руки, прибавил — Я не могу согнуть его.

Тогда Служальский согнул ему палец.

— Ага! — Больной пытался улыбнуться.

Руки и ноги его похолодели. Пришлось согреть ноги бутылками с горячей водой. Лекарь обкладывал тело горчичниками. В эту самую минуту вошли два других доктора и ксендз Лавринович. Около половины пятого вернулся Арман Леви. Мицкевич, увидев его, спросил очень внятно:

— Как ты себя чувствуешь?

Присутствующие решили, что было бы лучше, если бы он мог теперь заснуть. Вышли из комнаты. Остался только Леви, которого больной задержал движением руки.

— Не знают, что со мной, хотят меня согреть, а я весь горю...

Потом Леви показалось, что больной заснул.

А Мицкевич погрузился в теплое и блаженное состояние, ибо страдания на некоторое время оставили его. Говоря «на некоторое время», мы, собственно, в этих условиях не имеем в виду какого бы то ни было определенного отрезка времени. Утопающий видит в мерцаниях каких-то долей секунды всю свою жизнь. Только ожидание растягивает время. Кто уже ничего не ждет, кто уже не имеет будущего, для того минута способна отразить, как капля воды отражает небо, все прошлое. Он вошел в мечту, впал в грезу, которая ожидала только мгновенья, когда ослабнут телесные страдания, чтобы окутать его теплой, сонной, подобной благодному затишью сумерек, пеленой. За этой пеленой не было уже ни неба, ни звезд, да и ничего из того, что относится к грядущему. Была это уже страна теней, в которую он вступил еще заживо, как Одиссей, чтобы беседовать с душами. Лицо больного прояснилось в миг, когда утихли боли, расслабились напряженные мышцы и не менее напряженная неусыпность

страдания уступила вдруг место чувству блаженства. В полусне, в полуобмороке он видел теперь картины, которые, казалось, давно уже погребла его память в глубочайших тайниках своих. Далекие, разбросанные по разным местам события, дела минувшие. Он не будет уже спорить с папой, добиваясь благословения для легиона. Не будет уже никогда сражаться со светом за то или иное гиблое дело...

Кто вновь начнет жестокую, без надежды на скорую победу войну с ложью, так глубоко укоренившейся, что потребуются столетия, чтобы хоть один из этих корней вырвать из почвы, из мостовых Парижа и десятка иных городов Европы? Не обманывался ли он?

Объявил войну им всем: чиновникам империи, чиновникам церкви. Вспоминал римских попов, их непрестанную заботу: не восстают ли уже народы к свободе? Вспоминал друзей. Кто из них уцелел до сих пор в нем самом? Вспоминал врагов, которые обвиняли его в измене и отступничестве, в дьявольских опытах с мэтром Анджеем Товянским. Товянский! Имя это доселе обладало для него таинственной силой. Лицо мэтра, похожее на лицо Наполеона, явилось ему теперь в железной маске императора. Это сходство, которое решило его судьбу! Это пламя безумия, которое вспыхнуло из лекций в Коллеж де Франс. «Как это? Ведь самому звуку имени мог я так доверять! Слышу звон. Упала монета. Чей орел вычеканен на ней? Келья базилианцев или комнатка в обители лазаристов? Следствие. Прибыл ли в Вильно Новосильцев со сворой палачей? Кавеньяк приказал стрелять в рабочих. Они получают квартиры на Пер-Лашез. Победенным нет пощады. Есть ров, залитый негашеной известью, где лежат груды окровавленных тел. Пусть его засыпят поскорей!»

Боли вернулись вновь. Больной очнулся от полусна и охрипшим голосом крикнул тем, которые натирали его тело:

— Сдерут мне кожу, как бедному полковнику Идзиковскому, и она у меня уже не отрастет... — Он уже не узнавал их лиц.

Ему снова дали лауданум^[264]. Однако больной продолжал страдать, это видно было по его лицу и рукам, хотя он и не жаловался. Когда в комнату вошел полковник Кучинский, больной узнал его и, желая как бы подтвердить самому себе, что он в сознании, произнес:

— Кучинский, полк оттоманских казаков...

Но, как только он выговорил эти слова, спазм боли пробежал по его лицу, пальцы сжались, ногти впились в кожу ладони. Его снова начали сильно растирать. Почувствовал известное облегчение; присутствующим казалось, что он задремал.

Из тьмы, которая его окружала, вынырнул внезапно человек с продолговатым лицом. Увидел его руки, длинные и выразительные, как глаза, руки иезуита либо дипломата. В первый миг не узнал его.

— Это удивительно, что я уже не узнаю людей. — Человек приблизился к его постели. — Ах, да, это ксендз Еловицкий.

Чужой спросил:

— Принял ли ты последнее помазание?

— Нет.

— Приношу тебе письмо от Марыли, а быть может, от Ксаверии. Хочешь прочесть?

Пальцы, держащие густо исписанный лист, впились в бумагу и смяли ее.

— Хочешь? А помнишь, как было с той американкой, с которой ты познакомился благодаря единственному слову? Повторить ли тебе это слово? Ты позабыл его? Это было имя, которое прозвучало из твоих уст на лекции в Коллеж де Франс: Эмерсон. Не помнишь? Маргаретт Фуллер. Взгляни, у меня письмо от нее! Она пишет о буре при Лонг-Айленде. В пятистах ярдах от берега.

— Нет, меня никак не касается этот клочок бумаги, исписанный женским почерком; меня касается мое тело, а ему худо, очень худо... Я слышу, как все во мне переворачивается. Должно быть, кто-то вгоняет мне в живот раскаленное железо. Может, это ты...

В этот миг у Еловицкого добродушное лицо ксендза Лавриновича. Склоняется над больным, лицо которого очень изменилось. Щеки впали, кожа лица пожелтела, кровь отхлынула от губ. Сердце работает через силу.

Он ощутил ложный — и последний — голод. Но у него уже не было сил, чтобы поесть. Он снова впал в полудремоту, и ему показалось, что он сидит за столом у жены Садыка-паши в доме на Бешикташе и говорит: «Какой у тебя белый и вкусный хлеб, какая чудесная вода!»

Он снова почувствовал, как ему вгоняют железо в живот. Увидел вдруг ясно, как наяву, может быть даже яснее, графа Владислава Замойского. Граф развалился в кресле, положив ногу на ногу; вся фигура его при мнимой небрежности исполнена благовоспитанности и сдержанности. Длинный черный сюртук, руки, лежащие на хорошо отутюженных панталонах, длинные и нежные руки. Лицо спокойное, один глаз смотрит быстро, быть может, несколько холодно, неопределенного цвета, другой — неподвижен после давнего ранения. В лице этом как бы вместились длинная родословная; оно вмещало в себе — в костях, в прикусе челюстей, в строении лба и в благородной форме носа — историю бесчисленных

предков, изящных мужчин и женщин, которые не трудились никогда. Он не помнит уже, когда видел графа в последний раз. «Нет, он отнюдь не был каким-то там дьяволом, он, польский граф, несколько даже похожий на графа Анквича. Он ненавидел меня, я знал об этом. Я платил ему тем же. Я не мог иначе. Теперь мне это совершенно все равно. А ведь я умираю...»

Он чуть было не крикнул, но сказал только Служальскому, когда тот спросил, не хочет ли он что-либо передать детям:

— Пусть любят друг друга. — И миг спустя прибавил еще еле слышным шепотом: — Всегда.

Но слова эти уже, собственно, ничего не значили. Они были как любовное послание на другую планету. Позднее он заснул или, быть может, потерял сознание. Врач пощупал пульс. Больной явно угасал.

— Есть ли еще какая-нибудь надежда? — спросил кто-то из присутствующих.

— Нет никакой... — ответил лекарь.

Тогда ксендз Лавринович соборовал умиравшего. В восьмом часу вечера началась последняя битва между жизнью и смертью. В девятом часу лекарь склонился над умирающим. Мгновенье он оставался в этой позе. А когда обратил лицо к присутствующим, они прочли в нем все.

*

Ночь с 26 на 27 ноября, которая теперь объяла землю и небо, безраздельно завладев ими, была, как все прочие ночи Востока, когда улицы пусты и темны, когда воют псы и шныряют крысы, когда только лишь сквозь щели суеверных домишек просачивается немного света. В комнате, где завершилась долгая борьба между жизнью и смертью, свеча озарила ничем не застланный стол, несколько простых стульев, походную койку, на которой распростерлось тело пилигрима. Те, которые были тогда при нем, запомнили до конца дней своих этот стол, эти несколько стульев и койку, на которой скончался Адам Мицкевич.

«Была ли это холера? — писал Леви в своем дневнике. — После бальзамирования тела кто это может знать наверное? Не было и следа почернения лица, что, как говорят, бывает в подобных случаях, ни после смерти, ни до нее. Никакого изменения дыхания, даже во время агонии. Ни следа разложения, даже по прошествии суток. Один из врачей уверял за полтора часа до смерти, что совершенно нет холеры, другой до конца

твердил, что это не холера...»

Граф Замойский 12 декабря издал приказ по дивизии султанских казаков, которым распорядился установить в войске трехмесячный траур по Адаму Мицкевичу.

*

30 декабря день выдался дождливый и сумрачный. Гроб с останками Адама Мицкевича, водруженный до сих пор на импровизированный помост, сооруженный из створок входных дверей, опирающихся на деревянные козлы, — гроб с останками поэта подняли на плечи офицеры первого пехотного полка и перенесли на телегу, запряженную парой волов. Телега была задрапирована черным сукном. Между двумя шеренгами солдат из дивизии Владислава Замойского, в красно-синих мундирах, в каскетках, прикрытых клеенкой, с оружием, опущенным дулом вниз, между офицерами, эполеты которых были затянуты крепом, телега двигалась узкими улочками под дождем вниз с горы Пера. Перед кортежем ксендзов шел оркестр, игравший траурный марш. Вслед за повозкой шли по-братски, плечом к плечу поляки, турки, евреи, армяне, французы, сербы, албанцы, болгары, греки, итальянцы и далматинцы.

По мере того как похоронная процессия продвигалась вперед, толпа росла. Невозможно было охватить взглядом все шествие. Черные тюрбаны и непокрытые головы, нищие и богачи. И хотя гроб внесли на время богослужения в католический костел на улице Пера, толпа, которая густо стояла под холодным морозящим небом, не расходилась. Ожидали терпеливо, в молчании...

По Пера и Галате похоронная процессия достигла Топханэ, где гроб был поставлен в лодку и перевезен на пакетбот «Евфрат».

31 декабря гроб с телом Адама Мицкевича отбыл во Францию. Небо в этот день было ясное, а потом взошли звезды. На земле и на море насколько хватало глаз ночь была тихая и спокойная.

ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА МИЦКЕВИЧА

1798, 24 декабря — У новогрудского адвоката Миколая Мицкевича и его жены Барбары Маевской в фольварке Заосье родился сын Адам Бернард Мицкевич.

1806—Мицкевича отдают в доминиканскую школу в Новогрудке.

1812—Поход наполеоновской армии через Польшу. Штаб Жерома Бонапарта в Новогрудке. Смерть Миколая Мицкевича, отца поэта.

1815 — Мицкевич зачисляется студентом филологического факультета Виленского университета.

1817, 1 октября — Утверждение устава «Общества филоматов».

1818—Мицкевичу поручается руководство секцией «литературы и моральных наук» в «Обществе филоматов».

Первые стихотворные опыты Мицкевича.

1819 — «Ода к молодости». Окончание университета и переезд из Вильно в Ковно на должность учителя латинской словесности в гимназии. Увлечение Марией Верещак.

10 апреля — основание «Союза филаретов».

1820, январь — Мицкевич в Вильно. Смерть Барбары Мицкевич, матери поэта. Баллады «Свитезянка» и «Романтика».

1821 — Разрыв с семьей Верещак. Укрепление конспиративных связей с национально-освободительными кружками. Начало драматической поэмы «Дзяды». Окончание сборника «Баллады и романсы».

1822, май — Выпуск первого сборника стихов в количестве 500 экземпляров.

1823 — Работа над второй частью «Дзядов». С 1 сентября Мицкевич в двухгодичном отпуске. Следствие о тайных обществах в Польше и Литве.

23 октября — Арест Мицкевича в Вильно и заключение в тюрьму в помещении базилианского монастыря. Издание пролога, второй и четвертой частей поэмы «Дзяды» вместе с «Одой к молодости», мелкими стихотворениями и поэмой «Гражина».

1824— Следствие о 108 арестованных филаретах и филоматах.

21 апреля — Мицкевича выпускают из тюрьмы на поруки.

24 октября — Мицкевич выслан в Россию.

9 ноября — Мицкевич в Петербурге.

1825 — С февраля по октябрь Мицкевич в Одессе, с выездом в Крым от 14 августа до 14 октября.

Декабрь — Мицкевич в Москве.

1826 — С 1 февраля Мицкевич в штате канцелярии московского военного генерал-губернатора.

Издание сборника сонетов («Крымские сонеты»).

1827 — Мицкевич в Москве работает над поэмой «Конрад Валленрод». Встречи с Пушкиным.

Апрель. Выпуск в Петербурге двух томов «Стихотворений». Статья «О критиках и рецензентах варшавских», написанная в защиту романтической школы.

Знакомство с семьей пианистки Марии Шимановской.

1829, 15 мая — Мицкевич навсегда покинул Россию и Польшу, выехав из Петербурга за границу.

1830 — Мицкевич в Риме.

20 июня — Возвращение в Рим из Неаполя и Помпеи.

24 июня — Мицкевич и Одынец выехали в Швейцарию. Мицкевич в Женеве.

Ноябрь. Мицкевич в Риме, где застаёт его известие о восстании в Польше.

Зиму Мицкевич проводит в Риме.

1831 — Начало года Мицкевич в Риме. 25 января восставшая Польша объявила детронизацию Николая Первого.

19 апреля — Выезд на север вместе с Соболевским. Расставшись с Соболевским в Парме, Мицкевич едет в Женеву.

Июнь — Мицкевич в Париже. Мицкевич едет в Женеву. Июнь — Мицкевич в Париже.

6 августа Мицкевич под чужим именем приезжает в Дрезден, направляясь через Саксонию в Польшу.

Август — сентябрь — Скитания в Познани вдоль границ Царства Польского. Мицкевич в имении «Смелев», на прусской границе.

8 сентября — Капитуляция Варшавы.

Мицкевич в местечке Будзицево в Познани у Лубенских.

1832, январь — февраль — март — Мицкевич в Познани. Переводит «Гяура» Байрона, читает книги Ламениэ, задумывает поэму «Пан Тадеуш». Первые наброски третьей части «Дзядов».

Июнь — Мицкевич в Дрездене. Начало «Книг народа польского и польского пилигримства». Военные баллады.

1 августа — Мицкевич в Париже.
Выход в свет «Книг народа и пилигримства».
Возникновение «Демократического польского общества». Организация польских депо. Первое издание третьей части «Дзядов».
Ноябрь. Мицкевич редактирует газету «Польский пилигрим».
1833, июнь — Мицкевич выезжает в Дрезден к больному другу Стефану Гарчинскому.
Сентябрь — Париж. Продолжение работы над поэмой «Пан Тадеуш».
1834, февраль — Выход из печати поэмы «Пан Тадеуш».
22 июня — Мицкевич женится на Целине Шимановской.
1835, сентябрь — рождение первого ребенка.
1836 — Мицкевич с семьей поселяется в Домон под Парижем, у художника Давида д'Анже.
1837 — Свидание с Соболевским. Статья на смерть Пушкина в журнале «Ле Глоб».
Драматические опыты: «Барские конфедераты», «Якуб Ясинский, или Два поляка». Дружба с Кинэ, Мишле, Жорж Санд.
1838, июнь — Рождение сына Владислава, впоследствии биографа поэта.
Ноябрь. Избрание Мицкевича на кафедру римской словесности в Лозаннском университете.
Психическое заболевание Целины Мицкевич.
1839 — Погодин, Шевырев, Вяземский у Мицкевича. Статья Жорж Санд о Мицкевиче. Преподавание в Лозаннском университете. Открытие кафедры славянских литератур в Коллеж де Франс.
1840 — Начало лекций в Париже.
24 декабря — Пир у Янушкевича. Встреча Мицкевича и Словацкого.
1841, август — Знакомство с А. Товянским. Лекции в Коллеж де Франс. Конец первого курса.
1842, июль — Изгнание Товянского из Франции. Организация «Коло».
1843 — Третий курс славянских литератур. Свидание с Товянским в Брюсселе, совместная поездка в Рим.
1844, 28 мая — Последняя лекция в Коллеж де Франс.
1845 — Лето в Швейцарии.
С осени Мицкевич под Парижем в Батиньоле.
1846 — Разрыв с Товянским. Мицкевич в Цюрихе.
1847 — Батиньольский кружок Мицкевича.
1848 — Мицкевич в Риме.
Март. Организация польских легионов в Италии.

Июнь. Мицкевич в Париже.
1849 — Встреча Мицкевича с А. И. Герценом.
Мицкевич основывает газету «Трибуна народов».
1850 — Рождение шестого ребенка.
1851 — Мицкевич принимает участие в «Литературном обществе».
1852, март — Мицкевич ходатайствует о принятии его в французское подданство.
Апрель. Декретом Луи Наполеона Мицкевич увольняется в полную отставку.
1854 — Латинская ода Наполеону Третьему.
1855, 5 марта — Смерть Целины Мицкевич.
11 сентября — Отъезд из Парижа в Константинополь.
26 ноября в 9 часов вечера Мицкевич умирает от холеры.
1856, 21 января — Прах Мицкевича перенесен в Париж на кладбище Монморанси.
1890, 4 июля — Прах Мицкевича перенесен в Краков и погребен в отдельной нише древнего Вавеля.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

А. Мицкевич, Собрание сочинений в переводах русских писателей, тт. I–IV. Изд. 2. С.-Петербург, 1902.

Адам Мицкевич, Книги народа польского и польского пилигримства. Перевод Анатолия Виноградова, издание второе, с предисловием и примечаниями переводчика. Изд-во «Русский книжник». Москва, 1918.

А. Мицкевич, Избранные произведения. М.—Л., 1929.

Адам Мицкевич, Собрание сочинений в пяти томах. М., Гослитиздат, 1948–1954.

Адам Мицкевич, Избранные произведения в двух томах. М., Гослитиздат, 1955.

Жорж Санд, Эюд о фантастической драме. Гёте — Байрон— Мицкевич. «Интернациональная литература» № 1, 1941.

Проф. А. Л. Погодин, Адам Мицкевич. Его жизнь и творчество, т. 1 и II. Издание В. М. Саблина. Москва, 1912.

А. Луначарский, Мицкевич в России. В кн.: А. Мицкевич, Избранные произведения. М.—Л., 1929.

Р. Люксембург, Адам Мицкевич. В кн.: Р. Люксембург, О литературе. «Академия», 1934.

Д. Благой, Мицкевич в России. «Красная новь», кн. 11–12, 1940.

А. Лаврецкий, Поэт всеславянской демократии. «Октябрь» № 3–4, 1944.

М. Живов, Поэзия Мицкевича в переводах и откликах русских писателей. В кн.: А. Мицкевич, Избранное. М., 1946.

М. Живов, Адам Мицкевич. Вехи жизни и творчества. В кн.: А. Мицкевич. Собрание сочинений, т. I. М., 1948.

И. Тихонов, Певец свободы и дружбы народов-3. «Правда», 1948, 24 декабря.

Г. Д. В е р в е с, Адам Мицкевич в украшськш літературь Khіb, 1952.

Е. А. Г о в е р д о в с к а я, Реализм поэмы Мицкевича «Пан Тадеуш». «Ученые записки Института славяноведения», т. II. М.—Л., 1950.

К. Н. Державин, «Дзяды». В кн.: А. Мицкевич, Собрание сочинений, т. 3. М., 1952.

И. Миллер, Мицкевич-публицист. В кн.: А. Мицкевич, Собрание сочинений, т. 5. М., 1954.

М. Живов, Мицкевич-критик. В кн.: А. М и ц к е в и ч, Собрание

сочинений, т. 4. М., 1954.

С. С. Советов, Творческий путь Адама Мицкевича. «Ученые записки Института славяноведения», т. VIII. М., 1954.

И. Беккер, Мицкевич в Петербурге. Л., 1955.

И. К. Горский, Адам Мицкевич. М., Изд-во Академии наук СССР, 1955.

Б. Ф. Сгахеев, Мицкевич и прогрессивная русская об- щественность. М., Госкультпросветиздат, 1955.

Арагон, Да здравствует Польша, сударь! «Иностранная литература» № 4, 1955.

М. Рыльский, Об Адаме Мицкевиче. «Иностранная литература» № 5, 1955.

С. Кирсанов, Читая Мицкевича. «Иностранная литература» № 5, 1955.

М. Рыльский, Гордость польского народа. «Октябрь» № 11, 1955.

И. Беккер, Мицкевич в России. «Звезда» № 11, 1955.

«Литература славянских народов», Вып. 1.

«Адам Мицкевич. К столетию со дня смерти». Сборник статей. М., Изд-во Академии наук СССР, 1956.

М. Ф. Рыльский, Поэзия Адама Мицкевича. М., Гослитиздат, 1956.

С. С. Советов, Адам Мицкевич. Л., Изд-во Ленинградского университета, 1956.

М. С. Живов, Адам Мицкевич. Жизнь и творчество. М., Гослитиздат, 1956.

Ю. Соловьев, Поэт-патриот. (К 160-летию со дня рождения А. Мицкевича.) «Молодая гвардия» 12, 1958.

A. Mickiewicz, Dzieła (w 161.). Sp. w-cza «Czytelnik». Warszawa, 1949–1955.,

W. Mickiewicz, Żywot Adama Mickiewicza (t. 1–4). Poznań, 1890–1895.

P. Chmielowski, Adam Mickiewicz. Wyd. 3, t. 1–2. Warszawa, 1901.

J. Kleiner, Mickiewicz (t. 1–2). Lublin, 1948.

T. Boy-Żeleński, O Mickiewiczu. «Czytelnik», 1949.

S. Fiszman, Mickiewicz w Rosji. PIW, 1949.

L. Gomolicki, Dziennik pobytu Adama Mickiewicza w Rosji. 1824–1829. Warszawa, «Książka i wiedza», 1949.

L. Gomolicki, Mickiewicz wśród Rosjan. «Książka i wiedza», 1950.

H. Szyper, Adam Mickiewicz — poeta i człowiek czynu.

«Czytelnik», 1950.

S. Żółkiewski, Spór o Mickiewicza. Wrocław, 1952.

L. Podhorski-Okółów, Realia mickiewiczowskie, PIW, 1952.

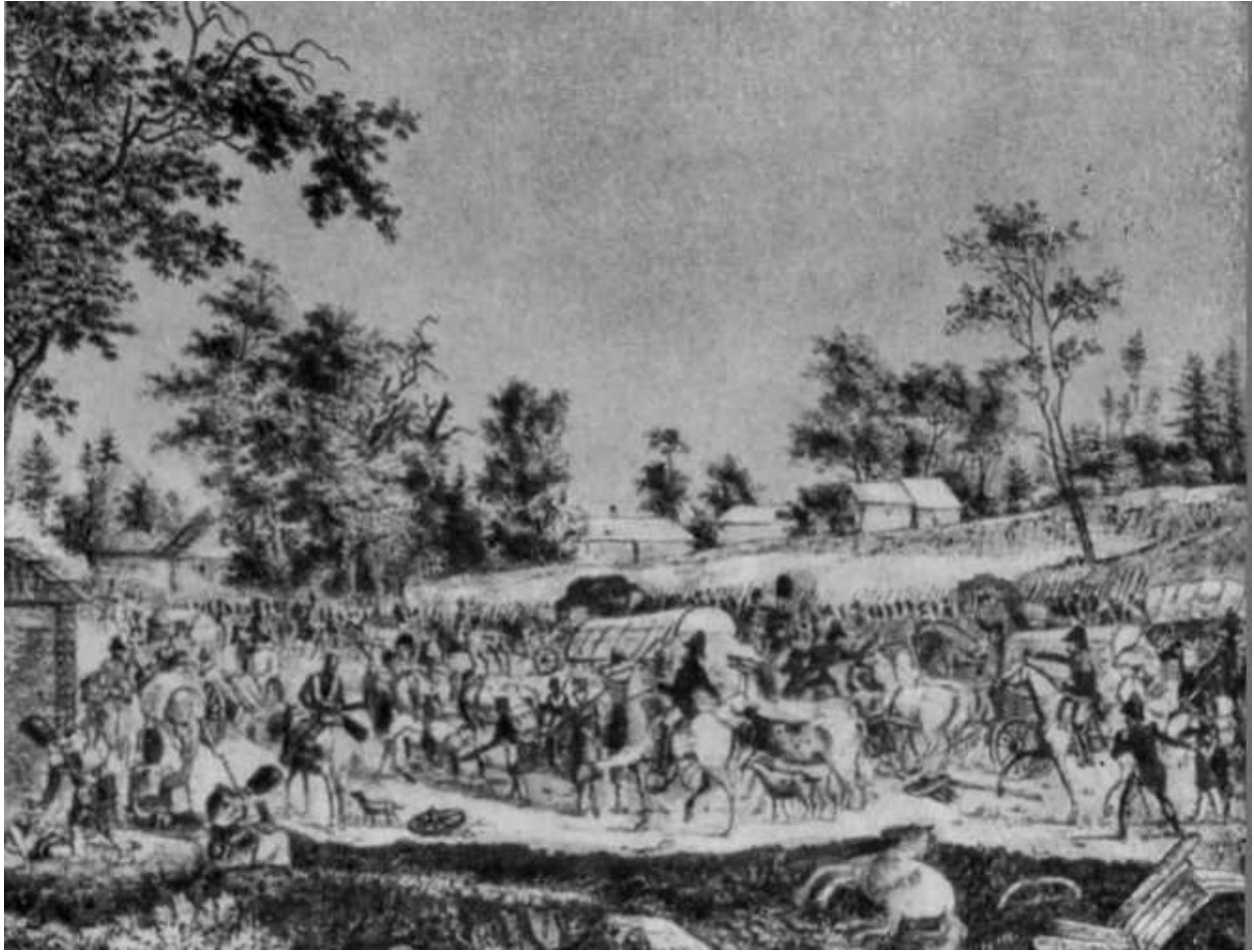
St. Strumph-Wojtkiewicz. z, Droga Mickiewicza W.,

J. Satoni, Kompozycja «Dziadów» wileńskich. Łódź, 1961.

ИЛЛЮСТРАЦІИ



Новогрудок. Фрагмент города с видом замка. Литография М. Фаянса по рисунку Н. Орды.



Прохождение наполеоновской армии 1 июля 1812 года. Литография XIX века.

WIADOMOŚCI

BRUKOWE

Wino w Sobótę

Dnia 1. Marca.

*Leet a Lect.*Dziła wędrówka na podwórku czar-
owniczym.

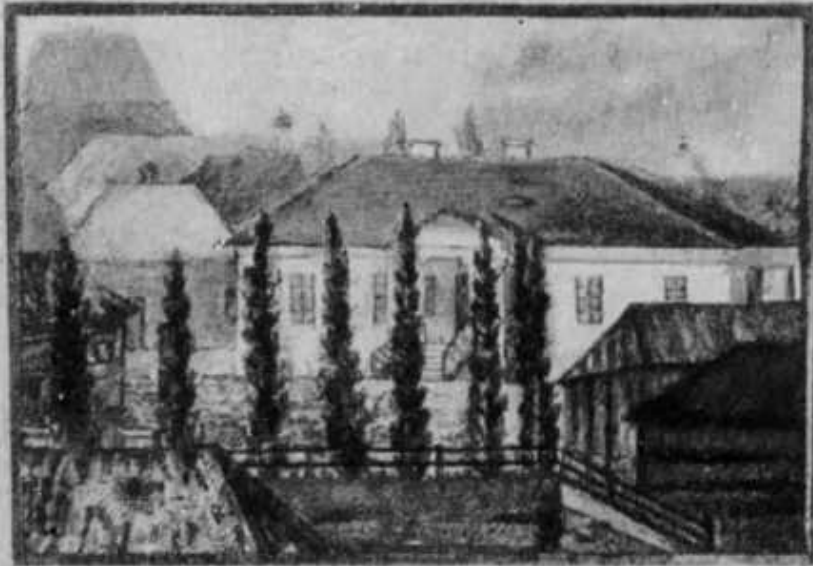
Jak się widzi, tak się mówi

Zachęcony kłką pomysłnie od-
bytami podwórku małego przywie-
ła na czarownicowej łopacie, wielką
chęcią i miłą doświadczył tę po-
wielaną zagłęb. Jako przyzwy-
szy u niego cudownej łopaty, wy-
tworzył sobie na niej jedynego pa-
runka. Co za radość w małym
oku przelicytę ogromną przesła-
nie u towarzysze tak wygodnie i bez
najmniejszego zmęczenia. Nie u-
plynęła kilkunasto minut, kiedy
nie wyrzucił w powietrze małego
okna za granicę smutku i żalu. Pię-
sty rok zażywał wesołości w tej stras-
nie. Miałem prawdziwą przyjemność
widzieć dobrze wyrosłą gronitę, na
Liesach smog był pod rozbiórą żarost.

W owy okoliczne zaurobie. Iwó w bli-
kości ich budocy, a pierwszego wy-
rzenia skazywał rządowego darcia.
Dobry mieszkalny, budowie gospodar-
skie, aż do najmniejszej, wszyst-
kie, w porządku i symetrycznym
rozkładzie, gustownie załadowane,
nie tylko czynią przyjemność dla oka,
lecz i wygodom ekonomicznym od-
powiadają. Natrafiłem na rozmowę
Pana, stojącego ze swoimi poddanymi,
w środku pełnymi drzewami ozda-
bionego darcia. Cel rozmowy,
jak podobałem, był ten, iż darcie,
nie będąc czarodziegi w tych da-
brach, chciał się sam przeciwstawić,
czy poddani jego nie mają jakiejś
lezywy. Z tego rozmowy prze-
kazałem, że to Pan rządowy, spra-
wiedliwy, jest ojcem dla swoich
poddanych i nawzajem od nich ko-
chaony. Gdy już rozmowa była ku

«Вядомосци брукове» («Уличные известия»). 1817.

Dla Artysty



Originalny kopija rysunku zrobionego
przez Ignacego Domejke. Idzie sie do origi-
nat. Tak wyglada dom rozbiciosci, kie-
dy byl. Znacznie inny przez architektura,
jezeli sie nie myle, Kasprowieca. Po prawej
stronie do wyjscia byla Arteta
Fili

Дом Мицкевичей в Новогрудке. Рисунок И. Домейки.



Адам Мицкевич. Пастель В. Ваньковича, 1823.



Томаш Зан. Автотип с портрета Рустема.



Францишек Малевский. Современный портрет.



Виленский университет. Литография Р. Бенуа и Байо.



Ян Чечот. Гравюра на дереве по рисунку Польского.



Марыля Верещак. Гравюра на дереве по современной миниатюре.



Часовня и береза Мицкевича в Тугановичах. Акварель В. Дмоховского, 1861.



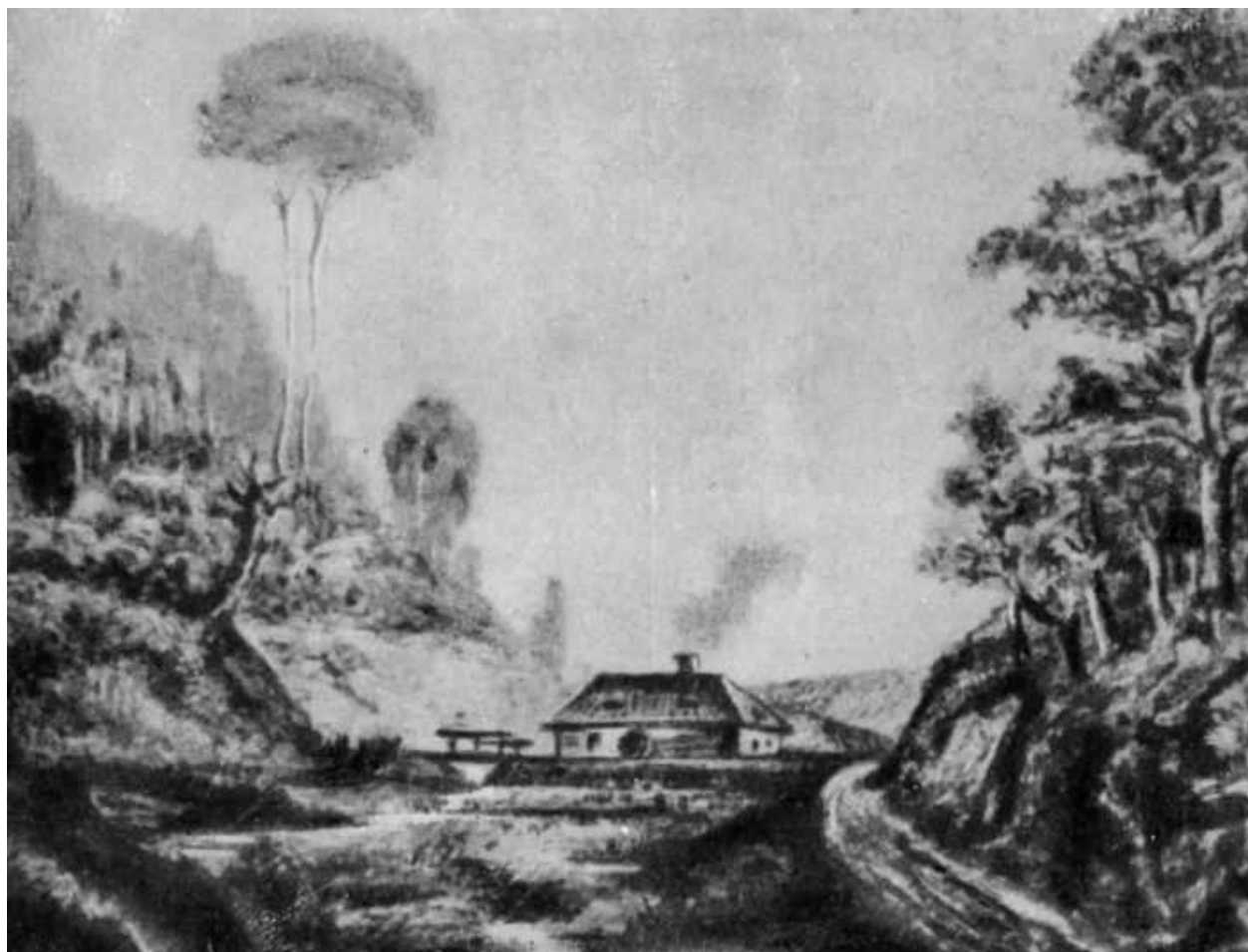
Станислав Трембецкий. (1735–1812). Литография В. Сливицкого, 1820.



Адам Мицкевич. Рисунок в альбоме Марии Шимановской: автор неизвестен.



Озеро Свитезь. Акварель В. Дмоховского.



Долина Мицкевича в Ковно. Акварель Б. Русецкого, 1849.



Адам Мицкевич в заключении. Офорт Б. Залеского по рисунку В. Ваньковича.



Сенатор Новосильцев. Современный портрет.



Вацлав Пеликан. Литография Крауцольда по рисунку Петцольда.



Адам Мицкевич. Портрет кисти Олешкевича.



Кондратий Рылеев. Современный портрет.



Наводнение в Петербурге. Дворцовая набережная. Гравюра на дереве
А. Зубчанинова, XIX век.



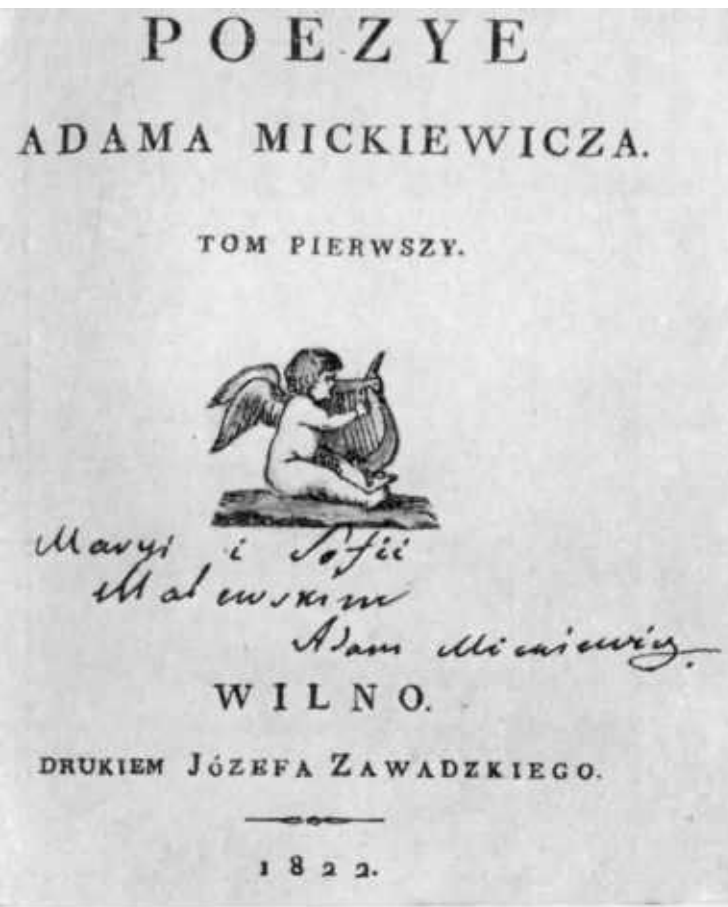
Адам Мицкевич. Портрет Каролины Яниш-Павловой.



Каролина Яниш (Каролина Павлова). Портрет Бинемана.



Мария Шимановская. Портрет А. Кокуляра, Рим, 1825.



Титульный лист с посвящением Марии и Софье Малевским.



Адам Мицкевич. Рисунок А. Орловского.



Гёте. Бюст работы Давида д'Анже.



Страница со стихами и подписью Гёте, подаренная им Мицкевичу при прощании.



Авдотья Бакунина.



Адам Мицкевич. Рисунок И. Шмеллера, Веймар, 1829.



Давид д'Анже.



Медальон Мицкевича работы Давида д'Анже (сделан в Веймаре).



Шильонский замок. Современная литография.



Антон Эдвард Одынец.



Княгиня Зинаида Волконская. Портрет К. Брюллова, Рим, 1830.



Генриетта Анквич. Гравюра на дереве А. Малиновского.



Адам Мицкевич и князь Голицын за шахматами. Акварель в альбоме Марии Шимановской; автор неизвестен.



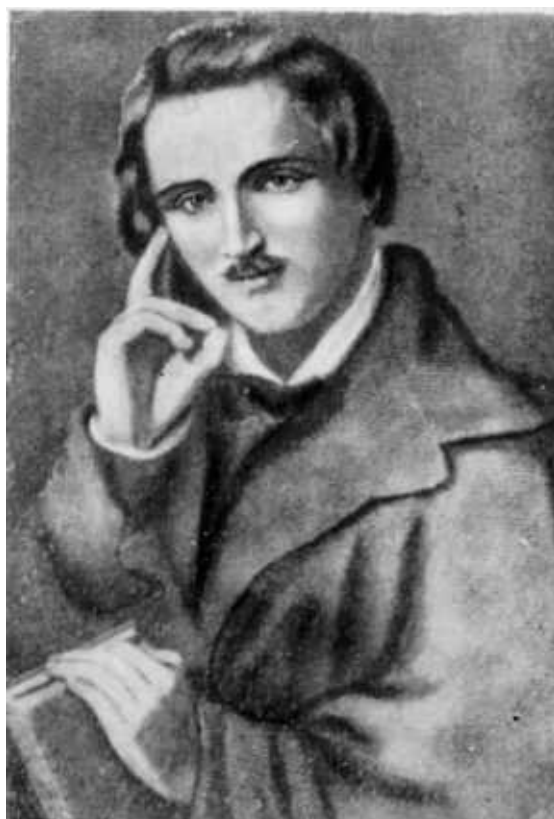
Иоахим Лелевель. Гравюра на меди Гюара по рисунку Малинского.



Процессия в честь декабристов в революционной Варшаве 25 января 1831 года. Акварель А. Унеховского.



Юлиан Урсын Немцевич. Литография Маршалковича.



Стефан Гарчинский.



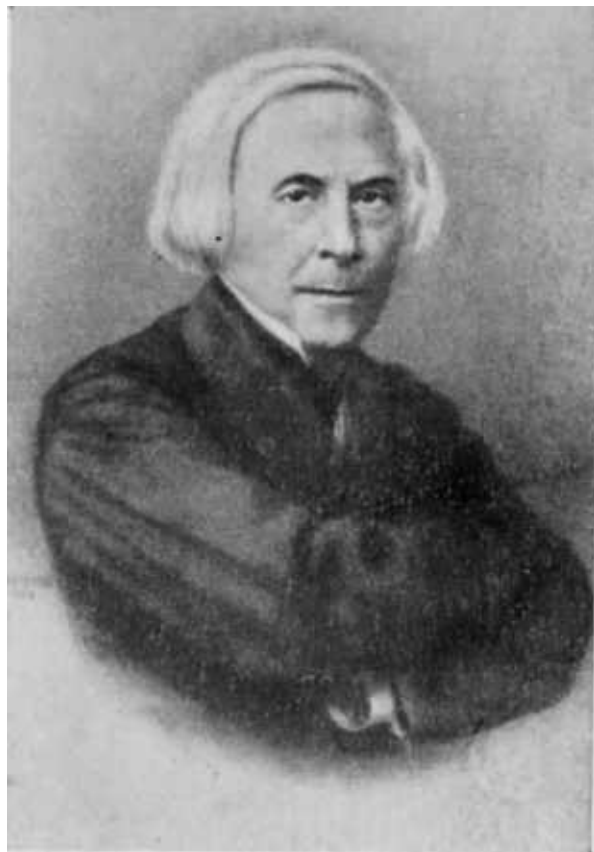
Францишек Мицкевич.



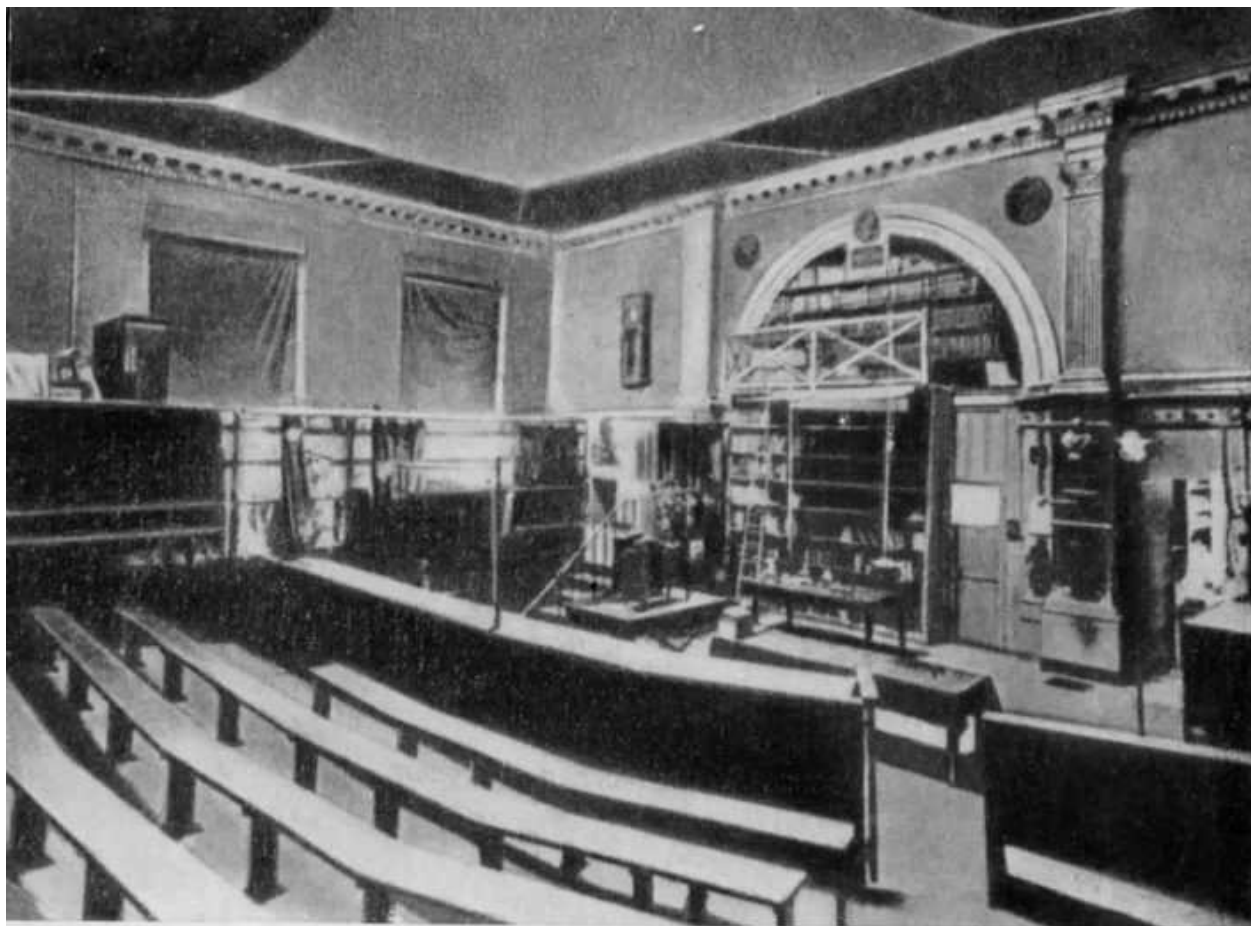
Адам Мицкевич. Рисунок Э. Делакруа, 1840–1841.



Целина Шимановская. Рисунок И. Каневского.



Жюль Мишле (1798–1874). Литография Лафосса.



Аудитория в Коллеж де Франс, в которой Мицкевич читал лекции в 1840–1844 годах. Современная фотография.



Адам Мицкевич. Скульптура Кс. Дуниковского, дерево.



Зигмунт Красинский. Портрет Ари Шеффера, 1834.



Анджей Товянский. Современный портрет.



Юлиуш Словацкий. Гравюра на меди Хопвуда по рисунку Куровского.



Папа Пий ІХ. Литографія ХІХ века.



Маргарет Фуллер (1810–1850). Современный портрет.



«За свободу Польши». Литография Бари. Этот листок раздавали на бульварах Парижа в 1848 году.



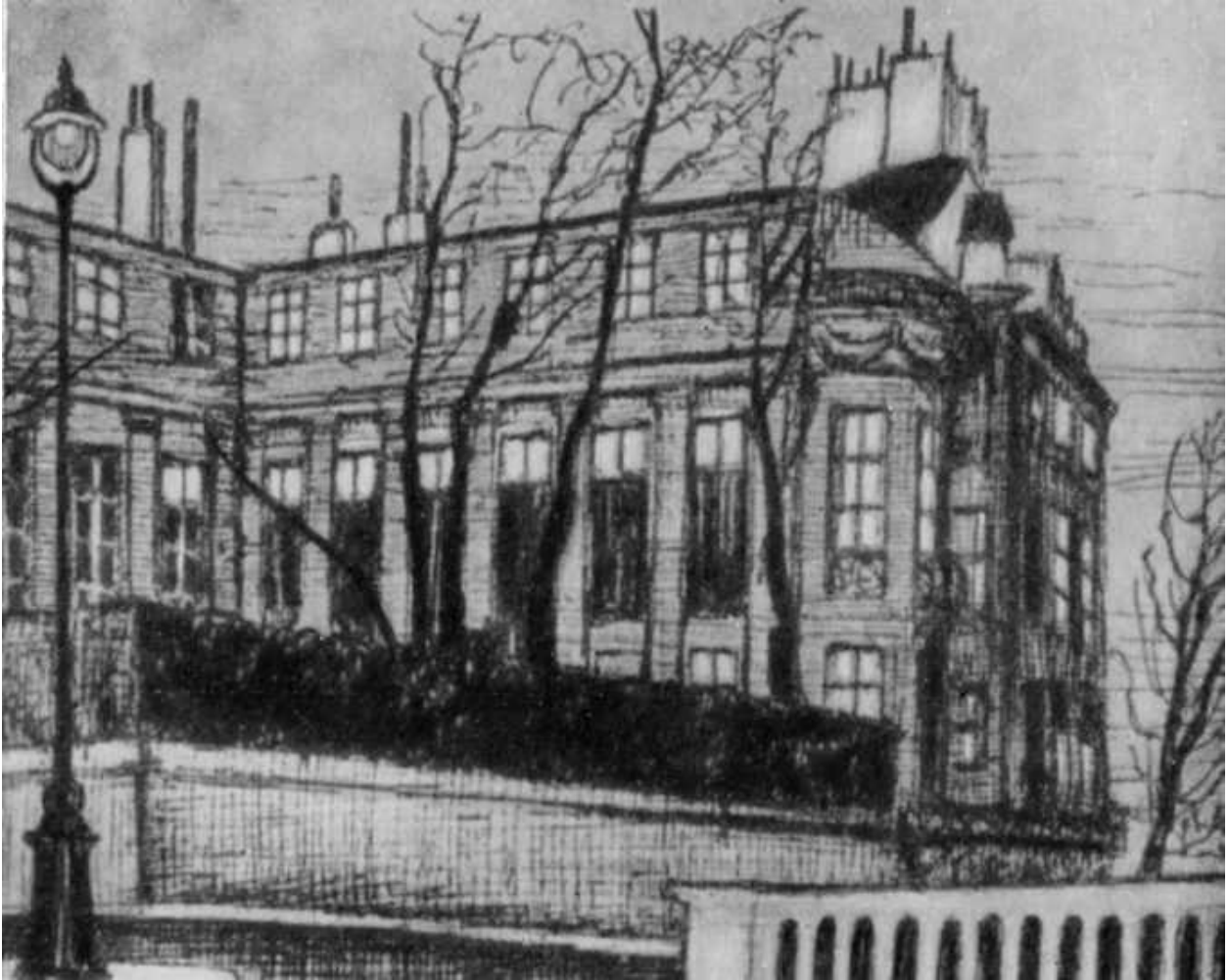
Непомук Съодлович.



Адам Мицкевич. Рисунок Циприана Норвида, 1848.



Адам Чарторыйский. Рисунок и литография Рубиса.



Отель Ламбер, парижская резиденция Чарторыйских.



Адам Мицкевич. Фотография Швейцера, 1853.



Библиотека Арсенала в Париже. Гравюра XIX века.



Михал Чайковский (Садык-паша).



Возвращение с охоты. Мицкевич и Садык-паша. Гравюра на меди Суходольского.



Генрих Служальский. Современный портрет.



Арман Леви. Современный портрет.



Адам Мицкевич. Портрет Ф. Тепи, 1856.

notes

Примечания

Сложившееся в XIII веке Великое княжество Литовское постепенно захватило ряд русских, белорусских и украинских земель. С конца XIV века (Кревская уния 1385 года и избрание Ягелло польским королем) идет процесс сближения и слияния Литвы с польским феодальным государством, сопровождавшийся полонизацией местной шляхты и польской феодальной экспансией на восток. Люблинская уния 1569 года оформила объединение Литвы с собственно польскими землями (так наз. «Корона») в одно феодальное государство — Речь Посполитую с общим сеймом и королем. В результате разделов Польши в конце XVIII века литовские, белорусские и украинские земли (кроме Галиции) отошли к Российской империи.

Последним польским королем был Станислав-Август Понятовский (1732–1798).

После того как в итоге первого (1772) и второго (1793) разделов Польши последняя лишилась большей части своих земель, польские патриоты подняли национально-освободительное восстание, торжественно провозглашенное в Кракове 24 марта 1794 года. Верховным вождем восстания стал генерал Тадеуш Костюшко (1746–1817). Основные силы восстания составили патриотическая шляхта и горожане: участие крестьянства было менее значительным, ибо попытки привлечь в войско крестьян, несколько улучшить их положение. (Полонезкий универсал от 7/V давал им личную свободу, уменьшал барщину и обещал защиту от панского произвола) были недостаточными и натолкнулись на сопротивление помещиков. Осенью 1794 года восстание было разгромлено: 10 октября Костюшко был разбит в битве под Мацейовицами и попал в русский плен, 4 ноября А. В. Суворов взял штурмом предместье Варшавы Прагу, и польская столица капитулировала.

Якуб Ясинский (1759–1794) — генерал, был в апреле 1794 года инициатором польского национального восстания на Литве, погиб в ноябре при обороне Праги. Он был также революционным поэтом, автором ряда патриотических стихотворений.

Стихи Мицкевича, Шиллера и др. даны в переводах Пушкина, Курочкина, Асеева, Мартынова, Левика, Живова, С. Мар и др.

Сеймиками назывались в Речи Посполитой собрания всей шляхты по провинциям («землям»). Сеймики выбирали послов на общий («вальный») сейм, инструктировали их, выслушивали их отчеты, решали местные дела и т. д. Они были ареной ожесточенной политической борьбы, соперничества различных магнатских группировок, которые всяческими способами привлекали шляхетскую массу на свою сторону и пользовались полнотой власти в стране.

Радзивиллы, Несёловские, Володковичи, Рейганы — влиятельные магнатские роды на Литве.

Литовский статут — сборник законов Литовского государства, относящийся к XVI веку.

Герцогство Варшавское было создано в 1807 году Наполеоном I и включало в себя лишь незначительную часть польских земель, полностью зависело от Франции и прекратило свое существование с падением наполеоновской империи.

Каэтан Козьмян (1771–1856) — польский поэт, принадлежавший к группе эпигонов классицизма, ярый противник романтической поэзии.

Конституция, данная Наполеоном 22 июля 1807 года герцогству Варшавскому, предусматривала предоставление крестьянам личной свободы, но помещичья собственность на землю в княжестве была сохранена.

Ян Чечот (1797.—1847) впоследствии учился вместе с Мицкевичем в университете, был поэтом и собирателем белорусского фольклора. Высланный в 1823 году из Литвы, вернулся на родину лишь в 1841 году.

Перевод этот, выполненный Петром Кохановским (1566–1620) и вышедший в 1618 году в Кракове под названием «Готфрид, или Освобожденный Иерусалим Торквато Тассо», получил в Польше весьма широкую популярность и оказал большое влияние на развитие поэтического языка и стихосложения.

Университет в Вильне существовал под наименованием Виленской Академии с конца XVI века; после пережитого в XVII веке упадка, в период Просвещения вступил в полосу расцвета, преобразованный в 1781 году в Литовскую Главную школу, а в 1802 году названный университетом. После восстания 1830–1831 годов был закрыт царскими властями.

Иоахим Лелевель (1786–1861) — выдающийся польский историк и политический деятель, в восстании 1830–1831 годов и в послеповстанческой эмиграции был одним из лидеров польской демократии.

Письмо к Яну Чечоту и Томашу Зану, 10 мая 1820 года.

Адам Ежи Чарторыйский (1770–1861) — князь, был в начале царствования Александра I одним из его приближенных, министром иностранных дел, затем членом Административного совета Королевства Польского, попечителем виленского учебного округа. В 1831 году присоединился к восстанию, возглавлял национальное правительство, в эмиграции был лидером консервативно-аристократической партии.

«Дзенник виленьски» («Виленский дневник») выходил в 1805–1806 годах и в 1815–1830 годах как ежемесячник, являвшийся органом университетской профессуры.

«Уличные известия» («Вядомосьци бруковэ») издавались с 1816 по 1822 год шуточным «Обществом бездельников» («Товажеством шубравцев»), объединявшим виленскую либеральную интеллигенцию, сторонников просветительства, главным образом университетских профессоров.

Из дневника Габриэли Пузыниной (Габриэля Пузынина (1815–1869) — писательница, издала несколько сборников стихотворений, драм и прозы.), урожденной Гюнтер.

Юзеф Франк (1771–1842) преподавал в университете медицину с 1804 по 1822 год. «Дневники» его вышли в 1921 году.

Марцелло Бачарелли (1731–1818) — итальянец, работавший в Польше, при дворе Станислава-Августа, внес значительный вклад в развитие польской живописи, был учителем ряда польских художников. Ян Рустем (1762–1835) — польский художник — жанрист и портретист, с 1798 года адъюнкт, затем профессор Виленского университета.

Шимон Малевский (1759–1832) — профессор естественного права и политической экономии, был ректором университета в 1816–1822 годах. Отец друга Мицкевича Францишка.

«Городская зима» — первое опубликованное в печати стихотворение Мицкевича (1818).

Здесь находилась знаменитая вленинская икона «Остробрамская Матерь Божья».

Томаш Зан (1796–1855) окончил физико-математический факультет университета, писал стихи, был членом масонской ложи и патриотических организаций, 13 лет пробыл в оренбургской ссылке, в 1837 году переехал в Петербург, в 1841 вернулся в Литву. Юзеф Ежовский (1796–1855) — филолог по образованию, после ссылки в Россию преподавал греческий язык в Москве, затем стал профессором университета в Казани.

Ян Снядецкий (1756–1830) сыграл выдающуюся роль в развитии польской науки, распространении идей Просвещения, борьбе против обскурантизма и предрассудков, выступал также по вопросам философии и литературы (хотя вместе с тем придерживался умеренно-консервативных политических взглядов и выступал против литературных новшеств). В 1806–1814 годах был ректором Виленского университета. Енджей Снядецкий (1768–1838) был профессором университета с 1797 года, врачом и физиологом. Людвика Снядецкая (1802–1866) — предмет юношеской любви Юлиуша Словацкого (о ней идет речь в ряде его произведений). Влюбленная в русского офицера Владимира Римского-Корсакова (сына виленского генерал-губернатора), после его гибели в русско-турецкой войне (1828) выехала в Турцию, где стала затем женой Михаила Чайковского (Садыка-паши), о котором говорится в главе этой книги.

Готфрид Эрнест Гроддек (1762–1826) занимал с 1803 года кафедру греческой и римской литературы в Виленском университете.

Леон Боровский (1784–1846) с 1814 года преподавал на кафедре риторики и поэзии Виленского университета, был автором литературно-критических работ, переводчиком зарубежных писателей.

Станислав Трембецкий (1739–1812) один из крупнейших польских поэтов эпохи Просвещения, автор ряда вольнодумных произведений. Особенно известна его описательная поэма «Зофьювка» (1806), высоко оцененная с точки зрения языка и стиля Мицкевичем, написавшим к ней комментарий.

Послание «Иоахиму Лелевелю» вышло в Вильне отдельным изданием в марте 1822 года.

Францишек Малевский (1801–1870) — юрист, был оставлен при университете для подготовки к профессорскому званию. После высылки в Россию поселился в Петербурге и дослужился до высших чинов (участвовал в составлении «Свода законов»).

Томаш Каэтан Венгерский (1757–1787) — видный поэт эпохи Просвещения, смелый обличитель, сатирик и памфлетист.

«Новые Афины» — изданное в 1745–1746 и 1753–1756 годах «энциклопедическое» сочинение киевского каноника Бенедикта Хмелевского, обскуранта и графомана, стало популярным чтивом среди невежественной провинциальной шляхты и свидетельством состояния образования во времена упадка польской культуры при королях «саксонской династии».

Поэма «Картофель» при жизни Мицкевича издана не была и дошла до нас только в отрывках.

«Паментник Варшавски» («Варшавский дневник») выходил с 1821 по 1823 год, был научно-литературным журналом умеренно-либерального направления.

Шимон Жуковский (1782–1834) — адъюнкт, затем профессор греческого и древнееврейского языков в Виленском университете.

Имя филоматов — то есть «любящих науку».

Онуфрий Петрашкевич (1793–1863) после окончания Виленского университета учился в Варшавском, затем был учителем в Люблине, высланный из Литвы, был адъюнктом Московского университета, в 1832 году был сослан в Тобольск и лишь через 20 лет вернулся в Вильно.

Игнаций Домейко (1801–1889) впоследствии участвовал в восстании 1830–1831 годов, эмигрировал, окончил в Париже горный институт и поселился в Чили, был профессором университета в Сант-Яго.

Теодор Лозинский был студентом физико-математического факультета.

Обществом филаретов — то есть любящих добродетель.

Ксаверий Огинский был представителем варшавских тайных молодежных обществ.

Станислав Ворцель (1799–1857) — польский революционно-демократический деятель, социалист-утопист, участвовал в восстании 1830–1831 годов, в деятельности эмигрантского «Демократического общества» и общества «Люди польский», был другом А. И. Герцена.

Новосильцев Николай Николаевич (1761–1836) — один из приближенных Александра I, с 1815 года занимал ряд должностей в Королевстве Польском, был уполномоченным императора при правительстве королевства, состоял при великом князе Константине, деятельно подавлял польское патриотическое движение. В 1823–1824 годах был попечителем виленского учебного округа, руководил следствием по делу о тайных польских обществах в Литве.

Юзеф Твардовский (1786–1840) был одним из сотрудников Чарторыйского, имел степень доктора философии, избран в 1822 году ректором, в 1823 — был арестован, в 1824 — подал в отставку.

Отто Слизень — сын новгородского помещика, был членом общества филаретов.

Полету посетившего Варшаву в конце XVIII века французского воздухоплавателя Бланшара Трембецкий посвятил стихотворение «Воздушный шар».

Тот страдает высшей мукой... (ит.).

Игнаций Красицкий (1735–1801) — крупнейший польский поэт эпохи Просвещения, выдающийся мастер сатиры.

Отто Слизень, Год 1822. На вакациях.

Владислав Мицкевич, автор капитальной четырехтомной биографии поэта.

Вавжинец Лаврентий Путткамер (1794–1850), помещик и предприниматель, впоследствии уездный предводитель дворянства в Лиде, имевший репутацию либерала и защитника крестьян.

Юзеф Завадский (1791–1838) — виленский книгоиздатель. Он же издал в 1823 году второй том «Поэзии» Мицкевича.

Александр Ходзько (1804–1891) — поэт. Окончил Виленский университет, изучал в Петербурге восточные языки, был на русской дипломатической службе в Персии. С 1842 года поселился во Франции.

Францишек Карпинский (1741–1825) и Францишек Дионизий Князьнин (1750–1807) — виднейшие поэты польского сентиментализма.

Дызма Боньча Томашевский (1749–1825) — поэт, эпигон классицизма. На его «Ягеллониду» (1817) написал рецензию Мицкевич.

Казимеж Бродзинский (1791–1835) — поэт-сентименталист, видный критик и теоретик литературы, профессор Варшавского университета. В 1818 году выступил со знаменитой статьей «О классицизме и романтизме», где высказывался за равноправие обоих направлений. С этой статьей и спорил Я. Снядецкий.

Август Людвиг Бекю (1771–1824) — врач, профессор Виленского университета, один из тех, кто сотрудничал с царскими властями.

Людвиг Осинский (1775–1838) — критик, поэт, переводчик, директор Национального театра, профессор Варшавского университета, один из лидеров группы варшавских эпигонов классицизма.

Михал Плятер, Ян Чехович и другие виленские гимназисты были по окончании следствия определены рядовыми в Литовский корпус.

Вацлав Пеликан (1790–1873) — медик, профессор, в 1826–1830 годах ректор Виленского университета. Лев Сергеевич Байков (1776–1829) — действительный статский советник, камергер, ближайший подручный Новосильцева. Петр Шлыков — виленский оберполицмейстер. Винцентий Лавринович — губернский советник в Вильно. Иероним Ботвинко — виленский губернский прокурор.

Как известно, В. К. Кюхельбекер после восстания 14 декабря пытался бежать за границу, но был задержан в Варшаве.

Ян Янковский, студент-филолог, был затем приговорен к ссылке в отдаленные от Литвы губернии.

Ян Соболевский, студент физико-математического факультета, затем учитель в Крожах, был сослан, умер в Архангельске. Антоний Фрейенд, студент физико-математического факультета, впоследствии погиб во время восстания 1831 года. Юзеф Каласантий Львович, ксендз, был также учителем математики. Адам Сузин (1800–1879), студент университета, был приговорен к заключению в крепости (Орск), затем сослан в Уфу, возвратился лишь в 1837 году.

Циприан Янчевский, ученик Мицкевича в ковенской гимназии, был приговорен военным судом к смертной казни, замененной каторжными работами, содержался в бобруйской крепости, а затем был переведен в солдаты.

Юзеф Эмануэль Пшецлавский (1779–1879) жил в Петербурге с 1822 года, служил в министерстве внутренних дел и кодификационной комиссии для Королевства Польского, редактировал польский проправительственный журнал «Тыгодник петербуржа».

Кристоф фон Дамель, график и портретист, адъюнкт Виленского университета. Ян Петр (Жан Пьер) Норблин (1745–1830) — крупнейший польский художник эпохи Просвещения, по происхождению француз.

Александр Орловский (1777–1832) вошел в историю как польского, так и русского изобразительного искусства. Свою деятельность он начал в Польше, а в 1802 году переехал в Петербург.

Эмануэль Сведенборг (1688–1772) — шведский теософ и мистик.

Валентий Ванькович (1799–1842) — художник-портретист, воспитанник Виленского университета и Петербургской академии художеств, автор нескольких портретов Мицкевича, в том числе известного под названием «Мицкевич на скале Аю-Даг» (1827–1828).

Туманский Василий Иванович (1800–1861) — русский поэт, в 20-е годы одновременно с Рылеевым, Бестужевым и другими литераторами-декабристами был членом «Вольного общества любителей российской словесности».

Генерал Иван Осипович Витт (1781–1840) был также начальником военных поселений и тайной полиции на юге России.

Станислав Щенсный Потоцкий (1752–1805) — польский магнат, владелец огромных имений на Украине в 1792 году, один из главарей реакционной Тарговицкой конфедерации, направленной против патриотических реформ и вызвавшей интервенцию царских войск в Польшу. Имя жены его Зофьи связано с поэмами С. Трембецкого «Зофьювка» и Ю. Словацкого «Вацлав».

Генрик Ржевуский (1791–1866) — известный писатель, автор популярных исторических романов, реакционер, сотрудничавший с царскими властями.

Бонавентуре Залескому, владельцу имения на Украине, и его жене Иоанне, с которыми Мицкевич встречался в Одессе и в Москве, он посвятил поэму «Конрад Валленрод».

Петр Мошинский был членом польского тайного Национально-патриотического общества, принимал участие в контактах между польскими и декабристскими организациями, был арестован и сослан.

Густав Олизар (1798–1865) был впоследствии привлечен к следствию по делу декабристов, содержался в Петропавловской крепости, в 1831 году сослан в Курск.

Мария Николаевна Раевская, в замужестве Волконская, жена декабриста, последовавшая за своим мужем в Сибирь.

А. И. Кошелев.

С. А. Соболевский (1803–1870) — библиограф, автор известных в свое время эпиграмм, встречался с Мицкевичем и после его отъезда из России.

М. П. Погодин (1800–1875) — русский историк, славянофил. Н. М. Рожалии (1805–1834) — критик, переводчик, член кружка «любомудров».

Антоний Эдвард Одынец (1804–1885) — польский поэт. Был членом филаретских кружков, в эти годы и познакомился с Мицкевичем. Во время восстания 1830–1831 годов находился в заграничной поездке. В 1837 году возвратился в Литву, редактировал правительственную газету.

Княгиня Зинаида Александровна Волконская (урожд. Белосельская-Белозерская) — блестяще образованная женщина, сама сочинявшая музыку и стихи, организовывала в своем доме литературно-музыкальные вечера. Мицкевич посвятил ей стихотворение «На греческую комнату».

Ксенофонт Алексеевич Полевой (1801–1867) — брат Н. А. Полевого, участвовавший вместе с ним в издании «Московского телеграфа», в своих воспоминаниях уделил значительное место пребыванию Мицкевича в Москве.

Имеются в виду сделанные им записи высказываний Гёте.

Е. П. Елагина — мать И. В. и П. В. Киреевских.

Мария Шимановская (1789–1831) — знаменитая польская пианистка, с большим успехом выступавшая в России.

Картина Г. Г. Мясоедова «Мицкевич в салоне княгини Зинаиды Волконской» написана в 1899–1908 годах, ныне хранится во Всесоюзном музее А.С. Пушкина в Ленинграде.

Самуэль Зборовский — польский магнат, выступавший против короля Стефана Батория и казненный в 1584 году.

Юлиан Урсын Немцевич (1757–1841) — поэт, прозаик, драматург, политический деятель, участник восстания Костюшко и восстания 1830–1831 годов.

Станислав Моравский (1802–1853) — врач, окончил Виленский университет.

Каролина Карловна Яниш (1807–1893) — дочь профессора Медико-хирургической академии, впоследствии известная русская поэтесса (в замужестве Павлова).

Младший брат поэта Александр Мицкевич (1801–1871) — юрист, был профессором Кременецкого лицея, затем Киевского и Харьковского университетов.

Миколай Малиновский (1799–1865) учился в Виленском университете, принадлежал к обществу филаретов, занимался публикацией исторических памятников.

Барбара Радзивилл (1520–1551) — вторая жена польского короля Зигмунта-Августа. Брак этот вызвал недовольство и сопротивление шляхты и магнатов, а также королевы-матери, Боны, которой молва приписывала отравление Барбары. К этой истории обращались многие польские писатели (особенно популярной стала трагедия А. Фелинского).

Циприан Дашкевич (1803–1829) — университетский товарищ Мицкевича, член общества филаретов, умер в ссылке.

Красовская — по-видимому, жена сотрудника «Московского телеграфа» Авенира Красовского.

В. Г. Анастасевича (1775–1845), литератора и переводчика, Мицкевич знал, по-видимому, еще с Вильна, где последний был на службе в университете и у А. Чарторыйского.

«Морлак в Венеции» — стихотворение П. Мериме.

Лагранж — французский поэт, автор вышедшей в 1828 году «Арабской антологии».

Принцип «льва и лисы»... Имеется в виду эпиграф, предпосланный Мицкевичем поэме «Конрад Валленрод»: «Ибо должны вы знать, что есть два рода борьбы... надо поэтому быть лисицей и львом». Эпиграф был взят поэтом из сочинения Н. Макиавелли «Князь».

Ю. И. Венелин (наст. фам. Хуца, 1802–1839) — русский филолог-славист, по национальности — украинец, уроженец Закарпатья, автор книги «Древние и нынешние болгаре».

Стефан Гарчинский (1805–1833) — польский поэт, участник восстания 1830–1831 годов.

Речь идет о Кароле Князевиче (1762–1842), участнике восстания Костюшко, командире одного из польских легионов, созданных в 1797 году в Италии.

«Вот почему храбр русин, почему лях беспокоен» (польск.).

Вацлав Ганка (1791–1861) — чешский поэт и филолог, один из авторов «Краледворской» и «Зеленогорской» рукописей, выданных им за древние памятники. Франтишек Ладислав Челаковский (1799—1858) — чешский поэт и фольклорист, автор сборников «Эхо русских песен» и «Эхо чешских песен».

Речь идет о Яне Замойском (1542–1605), выдающемся деятеле феодальной Речи Посполитой.

Битва под Грюнвальдом, в которой объединенные силы поляков, литовцев, русских при участии чешского отряда разбили войска Тевтонского ордена, произошла в 1410 году.

Ян Жижка (ок. 1360–1424) — герой чешского народа, прославленный
вождь таборитов в период гуситских войн.

Карл-Фридрих Цельтер (1758–1832) — немецкий композитор.

Короли так называемой «саксонской династии» (Август II и Август III) занимали польский престол с 1697 по 1763 год (одновременно они были курфюрстами Саксонии)...ягеллонских... Династия Ягеллонов правила в Польше с 1386 по 1572 год.

«Дяды».

Анквич Станислав — состоятельный галицийский помещик. Эва-Генриетта (1810–1879) — его дочь (в первом браке Солтык, во втором — Кучковская). Марцелина Лемпицкая (1809–1843) впоследствии стала монахиней.

Войцех Корнелий Статтлер (1797–1875) — известный портретист, впоследствии профессор краковской Академии изящных искусств.

Антоний Стшелецкий (1793–1859) наряду с филологией и археологией занимался историей искусства..

Речь идет о Станиславе Холоневском (1791–1846), проповеднике и религиозном писателе.

В образе Евы — героини поэмы «Пан Тадеуш».

Фелисите-Робер Ламеннэ (1782–1854) — французский религиозный мыслитель и публицист, глашатай так называемого «христианского социализма».

Зигмунт Красинский (1812–1859) — польский поэт, крупнейший представитель консервативного крыла в польском романтизме. Связанный с польской аристократией, стоявшей в стороне от освободительного движения, он создал вместе с тем весьма интересные произведения («Небожественная комедия», «Иридион»), в которых показал определяющую роль социальной борьбы в историческом процессе, предсказав социальную революцию и гибель старого порядка, но выступал как решительный противник демократии.

Восстание началось в ночь с 29 на 30 ноября 1830 года нападением группы заговорщиков на Бельведерский дворец — резиденцию великого князя Константина.

Остатки разбитой повстанческой армии перешли границу и капитулировали в октябре 1831 года.

Великое герцогство (княжество) Познанское было образовано из части захваченных Пруссией польских земель.

Юлия Ржевуская — жена писателя Генрика Ржевуского.

Антоний Горецкий (1787–1861) — поэт-баснописец. Принимал участие в восстании 1830–1831 годов, после восстания эмигрировал.

Констанция Лувенская (урожд. Бояновская) была женой помещика Юзефа Лубенского, владельца имения Будзишево. Смелов принадлежал (как и упоминаемое ниже Щёдржеево) Иерониму Гоженскому, за которым была замужем сестра К. Лубенской Антонина. Кшекотовице — владение Бояновских, братьев К. Лубенской.

Генерал Антоний Гелгуд командовал повстанческими силами в Литве, капитулировал, перейдя прусскую границу. Юзеф Дверницкий руководил повстанческой экспедицией на Волыни, перешел границу и сдался австрийским властям.

Старший брат Мицкевича, Францишек, был горбат.

Юзеф Грабовский (1791–1881) — познанский помещик, участвовал в деятельности местного сейма и кредитных обществ.

Юзеф Тачановский — помещик, у которого Мицкевич гостил в сентябре 1831 года, январе — феврале 1832 года.

Клаудина Потоцкая (1802–1836) участвовала как санитарка в восстании 1830–1831 годов, затем основала в Дрездене комитет помощи польским эмигрантам.

Виктор Феликс Шокальский.

Юзеф Хлопицкий (1771–1853) — генерал, в декабре 1830 — январе 1831 года был провозглашен диктатором и при поддержке правых кругов вел линию на свертывание восстания. Был тяжело ранен в битве под Гроховом.

Сражение под Гроховом, самое крупное и кровопролитное за время восстания, произошло 25 февраля 1831 года и не привело к победе ни одну из сторон: главные польские силы отступили к Варшаве, но командовавший царской армией Дибич ввиду потерь на штурм польской столицы не решился. Под Остроленкой 26 мая повстанцы были разбиты. Падение столицы произошло 7–8 сентября.

Ян Скржинецкий (1796–1860) — генерал, в феврале — августе 1831 года главнокомандующий повстанческой армией. По политическим взглядам — реакционер. В ведении военных действий проявил нерешительность, медлительность, бездарность.

Ян Круковецкий (1772–1850) — генерал, во время восстания губернатор Варшавы, с августа 1831 года глава повстанческого правительства с диктаторскими полномочиями, крайний реакционер. Осуществил капитуляцию Варшавы.

Мауриций Мохнацкий (1804–1834) — литературный критик и теоретик, горячий сторонник романтизма, публицист, революционный деятель. Член тайных обществ конца 20-х годов, во время восстания — один из лидеров его демократической организации — Патриотического общества, офицер повстанческих войск. В эмиграции написал (но не окончил) исторический труд «Восстание польского народа в 1830 и 1831 гг.».

Малаховский Казимеж — генерал, подписавший капитуляцию Варшавы.

Монаха, чернеца.

Петр Высоцкий (1799–1875), которого вывел Мицкевич в 3-й части «Дзядов», был организатором патриотического заговора в школе подхорунжих, участники которого Стали инициаторами восстания. Раненный, был взят в плен и сослан в Сибирь.

Бестужев, изображенный в «Дзядях», по мнению большинства исследователей, не А. А. Бестужев (Марлинский), а М. П. Бестужев-Рюмин, который участвовал в переговорах с поляками и в 1823 году побывал в Вильно.

Юстин Ромуальд Поль (1802–1831) — студент юридического факультета Виленского университета, участник патриотической конспирации.

Национальный Польский Комитет — организация демократического направления, выступавшая за союз с левыми течениями во Франции и европейским революционным движением; просуществовал до декабря 1832 года, когда был распущен французскими властями.

Бонаventura Немоевский (1787–1835) был в сейме Королевства Польского одним из лидеров легальной шляхетской оппозиции, в 1831 году — министром, а с сентября — председателем Национального правительства.

Решения Венского конгресса 1815 года, произведшего новый передел польских земель, предусматривали образование конституционного Королевства Польского с русским императором на престоле.

Организованная в 1883 году демократическими кругами эмиграции с целью поднять новое восстание партизанская экспедиция в Королевство Польское под командованием полковника Юзефа Заливского не встретила поддержки у населения и потерпела неудачу: группы партизан были разбиты или покинули королевство.

Группа польских эмигрантов во главе с Людвигом Оборским направилась из Франции в Швейцарию, чтобы участвовать в будущем революционном перевороте в Германии. Эта же группа участвовала позже в савойском походе Мадзини, стремясь оказать помощь итальянской революции.

Богдан Залеский (1802–1886) — польский поэт, автор поэм, песен, «думок», связанных с Украиной и украинским фольклором. Участвовал в восстании 1830–1831 годов, в эмиграции был одно время членом «Демократического общества», затем подпал под влияние католицизма и мистицизма. Юзеф Залеский — участник восстания и тайных патриотических организаций в Галиции, прибывший оттуда во Францию с целью установить связь с эмиграцией... Кароль Ружицкий (1789–1870) — офицер армии Королевства Польского, участник восстания, действовавший с организованным им кавалерийским полком на Волыни.

Письмо к Кайсевичу и Реттелю.

Эустахий Янушкевич (1805–1874) — журналист, основал польское эмигрантское книгоиздательство и книжную лавку в Париже.

Адам Гуровский (1805–1866) — участник восстания 1830–1831 годов, примыкавший к «Патриотическому обществу», в эмиграции один из основателей «Демократического общества», впоследствии стал ренегатом, примирился с царскими властями.

Письмо к Игнацию Домейке.

Зося — жена А. Э. Одынца, урожденная Мацкевич.

Из письма к И. Домейке, Авињон, 7 сентября 1833 года.

Александр Еловицкий (1804–1877) — участник восстания, в эмиграции — журналист и книгоиздатель, впоследствии священник.

«Громада Грудзенж» — одна из секций революционно-демократической эмигрантской организации «Люд польский», созданная в 1835 году лондонскими эмигрантами, в прошлом крестьянами — повстанческими солдатами, вышедшими из «Демократического общества» вследствие недовольства умеренностью его программы. Название дано в честь солдат-повстанцев, арестованных прусскими властями и заключенных в Грудзенжскую крепость.

Иероним Кайсевич (1812–1873) — участник восстания 1830–1831 годов, священник и богослов, вел в эмиграции религиозно-пропагандистскую деятельность, создал «Собор воскресения господня».

«Демократическое общество» — крупнейшая организация польской демократической эмиграции 30—50-х годов (основана в 1832 году), выдвинувшая программу буржуазно-демократических преобразований, проводившая агитацию в стране, проделавшая значительную идеологическую работу, готовившая восстание, поддерживавшая связи с революционерами других народов.

Богдан Янский был основателем возникшего в 1835 году ультрамонтанского кружка «Братство Национального Служения».

Кароль Сенкевич (1793–1860) — историк, поэт, до восстания — библиотекарь Чарторьских, в эмиграции — секретарь исторической секции Литературного общества, инициатор создания Польской библиотеки в Париже.

Людвик Плятер (1774–1846) был во время восстания эмиссаром Национального правительства за границей, в эмиграции — публицист аристократической партии, сторонник А. Чарторыйского.

Ян Чинский (1801–1867) — юрист, писатель, демократический публицист. В 1831 году — один из лидеров «Патриотического общества». В эмиграции сперва примыкал к «Демократическому обществу», затем вышел из него, участвовал в ряде демократических изданий, проявлял интерес к идеям утопического социализма.

«Кордиан»— драма Ю. Словацкого.

Братья Собанские — Изидор и Александр, участники восстания 1830–1831 годов, уроженцы Подолии. Цезарий Плятер (1810–1869) — в 1831 году офицер повстанческих войск, в эмиграции — сторонник А. Чарторыйского, председатель «Литературного общества».

Михал Мыцельский (1796–1849) — генерал, в 1831 году командовал полком. Генрик Дембинский (1791–1864) — генерал, участник восстания 1830–1831 годов, в эмиграции — сторонник А. Чарторыйского. В 1848–1849 годах участник венгерской революции.

Александр Потоцкий (1798–1868) — сын богатого магната, участник восстания 1831 года.

Генрик Накваский (1800–1876) — публицист, в 1831 году посол повстанческого сейма, затем в эмиграции.

Стефан Витвицкий (1802–1847) — поэт. Начал литературную деятельность в 20-е годы, в группе «варшавских романтиков», в 1831 году эмигрировал, в эмиграции примыкал к клерикальным кругам.

«Третье Мая» (название связано с конституцией 1791 года) был органом аристократического крыла польской эмиграции.

Журнал «Млода Пильска» издавался Э. Янушкевичем в 1838–1840 годах и был органом умеренного направления с известным влиянием католицизма.

Жюст Оливье (1804–1876) преподавал в Лозанне историю Швейцарии.

Виктор Юндзилл (1790–1863) — литовский помещик, участник войны 1812 года, в 1831 году находился за границей, отказался вернуться в Россию.

«Три поэмы», «Балладина», «Ангелли» — произведения Ю. Словацкого.

Эдвард Рачинский (1787–1845) — богатый великопольский магнат, археолог, издатель древних памятников, литературный меценат.

«Четырехлетний сейм» — сейм Речи Посполитой 1788–1792 годов утвердивший ряд важных политических реформ, принявший конституцию 3 Мая 1791 года.

Станислав Щепановский (1814–1879) — популярный гитарист.

Шимон Конарский (1808–1839) — выдающийся польский революционер, участник восстания 1830–1831 годов, деятель демократической эмиграции, организатор подпольного «Содружества польского народа». Был арестован царскими властями и расстрелян в Вильно.

Каштелян — придворная должность в феодальной Речи Посполитой, затем почетный шляхетский титул.

Лекции Мицкевича посещали декабрист Н. И. Тургенев (1789–1871) и его брат А. И. Тургенев (1785–1846), друг Пушкина.

Стефан Зан (1803–1859) — брат Томаша, участник восстания, эмигрант.

«Познанский еженедельник»... Правильное название — «Тыгодник литерацки» («Литературный еженедельник») — литературный журнал демократического направления, выходивший в 1838–1846 годах в Познани, печатавший ряд вещей Ю. Словацкого.

Михаил Грабовский (1804–1863) — литературный критик, принадлежавший к так называемой «украинской школе», затем к группе журнала «Тыгодник петербургски», автор исторических романов. В политическом отношении крайний реакционер, сотрудничавший с царскими властями.

Мацей Рыбинский (1784–1874) — генерал, последний командующий повстанческой армии 1831 года.

Анджей Товянский (1799–1878) учился на юридическом факультете Виленского университета в одно время с Мицкевичем, затем служил в суде. В патриотическом движении и восстании 1830–1831 годов не принимал участия.

Фердинанд Гутт (ок. 1796–1871) — виленский врач, родственник и ревностный последователь А. Товянского.

Бзефат Болеслав Островский (1803–1871) — публицист, участник восстания 1830–1831 годов. Издавал в 1833–1837 и 1839–1846 годах газету «Нова Польска».

Циприан Норвид (1821–1883) — выдающийся польский поэт. Творчество его не было оценено современниками и завоевало популярность лишь много позже, после смерти поэта. С Мицкевичем Норвид познакомился в 1848 году в Риме.

Северин Гоцинский (1801–1876) — видный поэт-демократ и революционный деятель. Антоний Мальчевский (1793–1826) — поэт, автор популярной поэмы «Мария».

Статья «Несколько слов об Юлиуше Словацком» появилась в 1841 году.

Станислав Наленч Малаховский (1798–1883) — в 1831 году капитан повстанческой кавалерии, затем эмигрант.

Ксаверия Дейбель была дочерью владельца пансиона в Вильне, занималась пением. Воспитательницей в доме Мицкевича была в 1841–1842 годах. Впоследствии вышла замуж за француза Эдмона Мэнара.

Петр Семенов (1814–1886) — участник восстания 1830–1831 годов. В эмиграции сперва примкнул к «Демократическому обществу», затем принял духовный сан, стал религиозным публицистом и проповедником, участвовал в основании ордена «Воскресения господня».

Абель Франсуа Вильмен (1790–1870) — критик и историк литературы, был министром просвещения в 1839–1844 годах.

Жюль Мишле (1798–1874) — французский историк, был одновременно с Мицкевичем профессором Коллеж де Франс

Михал Будзынский (1811–1864) — окончил Виленский университет, участвовал в восстании, затем в галицийской конспирации, в эмиграции стал агентом Чарторыйского... в 1850 году вернулся в Россию.

«Слово пред словом» (фр.).

И. Ф. Паскевич (1782–1856) — князь, фельдмаршал, командовал войсками, подавившими восстание 1830–1831 годов, а затем стал наместником в Королевстве Польском.

Петр Сцегенный (1800–1890) — революционер-демократ, ксендз, сын крестьянина. Создавал повстанческую организацию среди крестьян, был арестован, приговорен к смертной казни, замененной каторгой в Сибири.

Северин Пильховский — офицер во время восстания 1830–1831 годов, в эмиграции один из самых ярых сторонников Товянского. Воспользовался царской амнистией и вернулся на Украину.

Миколай Каменский (1789–1873) — повстанец 1831 года, будущий командир Польского легиона в Италии.

Стефан Баторий — польский король в 1576–1586 годах, вел войну с Иваном Грозным.

«Польский демократ» («Демократа польски») — орган «Демократического общества», выходивший в 1837–1849 и 1851–1863 годах.

«Дзенник народовы» (1840–1848) — журнал умеренно-демократической ориентации.

Эмигрант Теофиль Мирский (самозванно именовавший себя князем Святополком Богумилом Мирским) принял в 1843 году амнистию, заявил о своем переходе в православие и развернул агитацию в этом духе среди эмигрантов.

Юзеф Каласантий Шанявский (1764–1843) — польский философ-идеалист, был сторонником политической реакции, занимал должность царского цензора.

Алиса Моннар — француженка, сперва член мистической секты Вэнтра, затем последовательница Товянского.

Имеются в виду Краковское восстание (февраль — март 1846 года), подавленное иноземными войсками, после чего была ликвидирована существовавшая с 1815 года Краковская республика, а Краков присоединен к Австрии, а также крестьянское восстание в Галиции, в ходе которого был разгромлен ряд имений польских помещиков.

Мешко II был польским королем в 1025–1034 годах.

Маргарет Фуллер (1810–1850) — американская публицистка, деятельница женского движения.

Прозвище это в мистическом лексиконе Товянского относилось к одному из прежних воплощений Ксаверии Дейбель и не содержало намека на ее якобы еврейское происхождение.

Леонард Недзвецкий (1811–1892) — участник восстания 1830–1831 годов, в эмиграции был связан с аристократическими кругами, издавал религиозно-философские сочинения, застенографировал лекции Мицкевича.

О. В. Чижов (1811–1877) — математик, профессор университета, славянофил.

Северин — Пильховский. Фердинанд — Гутт. Кароль — Ружицкий.

Алиса — Моннар.

215

Тут обрывается уцелевший отрывок дневника.

Петух, птица Франции (фр.).

Владислав Замойский (1803–1868) — видный деятель аристократического крыла эмиграции, ярый реакционер. В 1853–1856 годах — генерал, командир дивизии на английской службе.

Эдвард Герыч (или Геритц, 1811–1860) — в 1831 году повстанческий офицер. В 1848 году был адъютантом Мицкевича в Италии.

Отец поэта, генерал Винцентий Красинский, крутой, самовластный человек, был отъявленным реакционером, противником патриотического движения, ревностным слугой самодержавия.

Макрина Мечиславская была авантюристкой и обманщицей, которая, прибыв в эмиграцию, выдала себя за настоятельницу женского монастыря в Минске и жертву гонений со стороны царских властей.

Константин Гашинский (1809–1866) — польский поэт, повстанец 1831 года, эмигрант.

Людвик Орпишевский (1810–1875) — эмигрант, литератор и журналист, сторонник Чарторыйского.

Король Ян III Собеский разбил в 1683 году турок под Веной.

Сын мой, не так громко, умерь голос свой (ит.).

Михал Будзинский, Воспоминания из моей жизни.

Храм Святого Креста.

Михал Ходзько (1808–1879) — повстанческий офицер, в эмиграции — литератор. Игнаций Ходкевич (1810–1861) — в 1830 году студент, участник восстания, затем эмигрант, после 1848 года вернулся на родину. Генрик Служальский — член кружка Товянского, участвовал и в последней поездке Мицкевича (1855), остался служить в Турции.

Войцех Хшановский (1793–1861) — генерал, участник восстания 1830–1831 годов, в эмиграции сторонник аристократической партии, служил некоторое время в турецкой и сардинской армиях.

Юзеф Богдан Дзеконский (1816–1855) — писатель, член группы так называемой «варшавской богемы», участвовал в конспиративных кружках, эмигрировал в 1846 году, спасаясь от ареста.

Александр Бергель (1805–1891) — участвовал в восстании 1831 года, в эмиграции был членом секты Товянского.

Ксаверий Браницкий (1814–1879) — богатый польский магнат, с 40-х годов жил во Франции, участвовал в политической жизни, финансировал ряд патриотических предприятий, был связан с демократическими кругами.

Эдгар Кинэ (1803–1875) — литератор, публицист, одновременно с Мицкевичем читал лекции в Коллеж де Франс.

233

Рабочий (фр.).

Однажды петух откопал в навозе Луи Филиппа Первого (фр.).

Эдмунд Хоецкий (1822–1899) — эмигрант с 1844 года, демократический публицист.

Непринужденностью (фр.).

Джираламо Раморино (1792–1849) — генерал польской и итальянской службы, участник наполеоновских войн, в 1831 году командир повстанческого корпуса, командовал отрядом инсургентов в Савойском походе 1834 года.

238

Род пельменей.

239

Милосердие (лат.).

Теофиль Ленартович (1822–1893) — известный поэт, чьи стихи отмечены сильным влиянием народного творчества, занимался также скульптурой, в 1848 году эмигрировал, читал лекции о славянских литературах в Италии.

Юлиан Фонтана (1810–1869) — музыкант, консерваторский товарищ и друг Шопена, участник восстания 1830–1831 годов.

Войцех (Альберт) Гжимала (1793–1871) — офицер, участник войны 1812 года, член Национально-патриотического общества, в 1831 году директор банка и эмиссар повстанцев за границей. В эмиграции был другом Шопена и Жорж Санд.

Адам Кольско (1796–1871) — в 1831 году участник восстания в Литве, депутат повстанческого сейма.

Виктор Баворовский (1826–1894) — литератор-переводчик, библиофил, оставил воспоминания о Мицкевиче.

Юлиан Клячко (1825–1906) — публицист, литературный критик, теоретик искусства.

«Дневник... Соплицы» — исторический роман Г. Жевуского.

Шимон Шимонович — польский поэт XVII века.

Михал Чайковский (1804–1886) — писатель, политический деятель, участник восстания 1831 года, в эмиграции член «Демократического общества», затем атен. Чарторыйского в Турции. Приняв в 1850 году ислам и имя Садыка-паши, формировал отряды казаков на турецкой службе. В 1870 году принял русское подданство.

Юзеф Высоцкий (1809–1873) — генерал, участник восстания 1830–1831 годов и венгерской революции 1848–1849 годов, член «Демократического общества».

Ведомость о повинностях крестьян, следуемых помещику за наем принадлежащей ему земли.

По сообщению Людовика Зверковского.

Арман Леви (1827–1891) — французский журналист. После смерти поэта опекун его сына Владислава.

По сообщению Людовика Зверковского.

Кароль Бжозовский (1821–1904) — поэт, особенно интересовался Востоком (30 лет прожил в Турции).

По сообщению Кароля Бжозовского.

Зигмунт Милковский (1824–1915) — известный писатель, выступавший под псевдонимом Т. Т. Еж, деятель патриотической эмиграции.

По сообщению Фр. Равиты-Гавронского.

По письму Людвика Снядецкой.

Тадеуш Падалица, Письма с дороги.

259

Тонким покрывалом, закрывающим лицо.

Рышард Бервинский (1819–1879) — известный поэт, пламенный демократ, соратник Э. Дембовского. Служил у М. Чайковского в 1854–1865 годах.

«Разговор больных» (фр.).

262

Происхождение.

Северин Галензовский (1801–1878) — хирург, деятель польской эмиграции, директор польской школы в Париже.

264

Препарат опия.